Р. Л. Стивенсон



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Роберт Луис

СТИВЕНСОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



ТОМ
1



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1981

Составление
и общая редакция
М. Урнова

Иллюстрации художника
С. Бродского

РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН

(Жизнь и творчество)

В читательской памяти Роберт Луис Стивенсон нередко оказывается автором одной книги. Называют имя Стивенсона и вслед за ним, как исчерпывающее его пояснение,— «Остров Сокровищ». Особая популярность «Острова Сокровищ» в школьной среде укрепила за произведением Стивенсона репутацию книги открытой и очень доступной, а за ее автором — славу литератора, пишущего для юношества. Подобное обстоятельство побуждает видеть в этом романе, как и в творчестве Стивенсона вообще, явление более простое и по значению своему довольно узкое (приключения, увлекательность, романтика) в сравнении с действительным его смыслом, реальным значением и воздействием.

Между тем сложнейшие узлы многих литературных проблем на английской почве сходятся как прежде, так и теперь к творчеству Р. Л. Стивенсона. И когда, например, крупный современный писатель Грэм Грин ставит это имя в ряд наиболее влиятельных своих учителей, такой жест на первый взгляд кажется неожиданным и даже произвольным: Грин — новейший психолог, предпочитающий для наблюдений теневую сторону душевного мира, и Стивенсон — создатель столь «легкой» книги, вроде «Острова Сокровищ»?! Чтобы понять выбор Грэма Грина, чтобы проследить линии соединения таких фигур, как Достоевский и Стивенсон, или связи Стивенсона с Теккереем, с Уолтом Уитменом или же с Уилки Коллинзом, чтобы уяснить своеобразие Стивенсона и его значение, надо вспомнить о нем — авторе многих других, кроме «Острова Сокровищ», книг и разобрать пристальнее очевидную романтику, так явственно выделившую его творчество.

Не только книги, почти в равной мере и биография Стивенсона способствовала его популярности. Цельность характера, мужество поведения, необычность фона и обстановки, в которой оказывался Стивенсон, драматизм судьбы — все волновало воображение. Имя писателя сопровождали легенды. Его жизнь представлялась, как и книги его,

то совершенно открытой, вполне доступной пониманию, то таинственной, не вдруг легко объяснимой. Бродили слухи, складывались разноречивые мнения, и одни и те же биографические факты являлись на печатных страницах то в розовом, то в черном свете.

В 1901 году Уильям Хенли, некогда заметный и влиятельный литератор, бывший друг и соавтор Стивенсона (совместно ими написано несколько пьес), заявил во всеуслышание, что созданные семейным кругом представления о Стивенсоне сильно приглажены, что он вовсе не был «ангелом с засахаренными крылышками». Не суть самих слов, в большей степени акцент, с которым они были произнесены, подстрекнул другую крайность, задал тон, породив страсть и стиль сенсационно-«разоблачительного» толкования Стивенсона. Отношения между Хенли и Стивенсоном — тема сложная; все же можно напомнить, что в их дружбе давно обозначилась трещина. Хенли дал повод к затяжной ссоре, виной тому был его характер, писательские наблюдения над которым отразились в знаменитом персонаже «Острова Сокровищ» Джоне Сильвере.

Двухтомная биография Стивенсона, написанная его двоюродным братом Грэхэмом Бэлфуром и появившаяся год спустя, не разъяснила сомнений и не внесла умиротворения. Теперь читатель мог вооружиться новыми сведениями, и все же было заметно, что автор «Жизни Роберта Луиса Стивенсона» сэр Грэхэм Бэлфур урезывает факты и оставляет недомолвки.

После смерти в 1914 году жены писателя, Фанни Стивенсон, на аукционе в Нью-Йорке пошли с молотка его письма, разные рукописи, возбудившие естественный интерес и понятное любопытство. В недремлющих очах «разоблачителей» зажегся лихорадочный огонек, и начали являться статьи и книжки, «проясняющие» портрет Стивенсона. Обрывочные сведения и намеки служили основанием для решительных выводов и широких концепций. Критическая мысль вертелась вокруг нескольких «проблем» интимного свойства, извлеченных из туманных лет стивенсоновской юности. Больше всего горячила страсти неясная история отношений Стивенсона к Кэт Драммонд, юной певичке из ночной таверны. Будто бы он горячо полюбил обесчещенную девушку, тяготившуюся предосудительным ремеслом, собирался жениться на ней, но отцовский ультиматум заставил его капитулировать. Как это было и что именно было, до сих пор остается неясным. Ничто, однако, не помешало представителям стороны, действовавшей под девизом «Стивенсон не был ангелом», широко обсуждать его нравственный облик, суть его характера и литературной позиции.

Особые усилия к тому, чтобы обесславить и принизить Стивенсона, приложил Е. Ф. Бенсон, сын архиепископа кентерберийского, в своем язвительном выступлении «Миф о Роберте Луисе Стивенсоне» на страницах журнала «Лондон Меркюри» (июль — август 1925 года).

Отзвуки этой полемики слышны до сего времени, хотя страсти давно утихли. Еще можно видеть вялые круги от шумного всплеска, произведенного «иконоборцами» в 20—30-е годы, и в то же время еще держится традиция дидактико-романтического толкования стивенсоновской биографии. Каким бы ни был шум, поднятый вокруг Стивенсона в 20-е и 30-е годы, его последствия выражаются не одними минусами. Критическое отношение к моделям приглаженного Стивенсона сменило тон и стиль и в книге Мальколма Элвина «Странный случай с Робертом Луисом Стивенсоном» (1950), приняло вид серьезного и обдуманного обсуждения спорных вопросов.

Появление новых материалов о Стивенсоне, возросший интерес к нему, потребность истины вызвали необходимость углубленного изучения его жизни и творчества. В 1951 году вышло большое исследование жизни Стивенсона — книга Дж. Фернеса, эпиграфом к которой автор поставил слова из последнего монолога шекспировского Отелло: «Скажите обо мне то, чем я на самом деле являюсь. Ничего не смягчайте, ничего не припишите по злобе». Эта книга — первый обстоятельный свод обширного материала и основательная попытка разобраться как в сути дела, так и в частностях, не подменяя одно другим и не смягчая произвольно акцентов.

В 1957 году Ричард Олдингтон, талантливый писатель и знаток литературы, выступил с книгой о Стивенсоне. Живое исследование писателя о писателе всегда представляет интерес, а в условиях, когда возникает необходимость сказать смелое и решительное слово в защиту честного имени и доброго дела, этот интерес приобретает принципиальное значение. Тон и дух убежденного достоинства, с каким рассуждает Олдингтон, мысль и слово опытного человека и профессионала высоко поднимают его книгу над многими произведениями, перегородившими колючим частоколом путь к живому Стивенсону.

Название книги Олдингтона «Портрет бунтаря», как и монографии Фернеса «Плавание против ветра», выражает суть их представлений об авторе «Острова Сокровищ», его жизненной и творческой позиции.

Роберт Луис Стивенсон — романтик, вполне убежденный и вдохновенный, сам выражение и пример провозглашенных им принципов, но романтик особого склада, не столько сторонник, сколько противник романтизма начала прошлого века, тех его идей и настроений, которые исходили от эгоцентрического индивидуализма, лишь себе желавшего воли.

Стивенсон — основоположник, теоретик и ведущая фигура английского романтизма последней четверти XIX века, значительного литературного направления, которое принято называть неоромантизмом в отличие от романтизма первых десятилетий века. Самым значительным неоромантиком, помимо Стивенсона, был Джозеф Конрад.

Противодействие духовной инерции, потребность самостоятельности, бунт против нравственного шаблона и бытовой условности сказались у Стивенсона рано и послужили толчком для его романтических исканий. Едва он стал литератором, как выразил озабоченность кризисными явлениями, эстетскими и упадочническими настроениями. «К сожалению, в литературе мы все предпочитаем играть на сентиментальной флейте, и никто из нас не хочет встать во главе марширующей колонны, чтобы ударить в барабан»,— сказал он на страницах очерков «Путешествие внутрь страны», изданных в 1878 году. В этих словах сожаление соединяется с отчетливым пожеланием. В статье «Уолт Уитмен» та же беспокоившая Стивенсона мысль представлена уже как личная установка, принятая на себя задача и широкий призыв: «Будем по мере сил учить народ радости. И будем помнить, что уроки должны звучать бодро и воодушевленно, должны укреплять в людях мужество».

Принцип мужественного оптимизма, провозглашенный Стивенсоном в конце 70-х годов, явился основополагающим в его программе неоромантизма, и он следовал ему с убежденностью и воодушевлением. Особым смыслом в связи с этим наполняется предпочтительный интерес Стивенсона к молодому возрасту: герои Стивенсона, всех его знаменитых романов — юноши или совсем еще молодые люди. Подобное пристрастие вообще свойственно романтизму. У Стивенсона увлечение временем юности приходится на «конец века», протекает в кризисные для Англии десятилетия и по одной этой причине, как проницательно заметил видный писатель Генри Джеймс, обретает философский смысл. Автор «Острова Сокровищ» ценит здоровую юность, смотрит на мир как бы ее глазами, широко открытыми и ничем не замутненными. Не расслабленное и болезненное, а жизнелюбивое, яркое мироощущение здоровой юности передает он в своих книгах, помещая юного героя в среду отнюдь не тепличную, сталкивая его при посредстве увлекательного сюжета с чрезвычайными обстоятельствами, требующими напряжения всех сил, энергичных, самостоятельных решений и действий.

«Я пришел к его порогу почти что нищим, почти ребенком, и чем он встретил меня? Коварством и жестокостью» — вот ситуация, в которой оказывается с первых самостоятельных шагов бездомный сирота семнадцатилетний Дэвид Бэлфур, герой романов «Похищенный» и «Катриона». Неопытный и благодушный, влекомый радужной надеждой, он сразу, без психологической подготовки или передышки, без предупредительных знаков с чьей-либо стороны, сталкивается с насилием и злобным коварством. Вполне возможно было ожидать духовного потрясения, неизгладимой обиды, растерянности. Ничего подобного со стивенсоновским романтическим героем не происходит. Следует совсем иная реакция, и потому прежде всего, что при всей приподнятости и беззащитности его романтического воображения он не страдает эгоцентризмом и не мучается болезненной рефлексией. Раздумье Дэвида Бэлфура о трагическом положении тут же перебивается энергичной мыслью: «Но я молод, отважен...» Дэвид Бэлфур рассуждает, как юный Робинзон Крузо, очутившийся на необитаемом острове. Это сопоставление возникает невольно, его подсказывает и сам автор, когда его герой попадает на дикий, безлюдный островок.

В последнюю треть прошлого века «Робинзон Крузо» сделался вдруг необычайно притягательным для разных английских писателей. Им зачитывался Томас Гарди. К нему тянулся и над ним раздумывал Стивенсон. «Робинзон Крузо» казался загадкой, хотелось проникнуть в секрет неувядающего образа. Привлекала удивительная простота его конструкции и слога и неотразимая убедительность описаний. И вместе с тем ясность, натуральность и трезвый оптимизм выраженного в нем мироощущения. Держа в памяти литературный образец и многочисленные подражания, прибегая к сопоставлениям, Стивенсон делает поправку. «Во всех книжках читаешь,— говорит Дэвид Бэлфур,— что, когда люди терпят кораблекрушение, у них либо все карманы набиты рабочим инструментом, либо море как по заказу выносит вслед за ними на берег ящик с предметами первой необходимости. Со мной получилось совсем иначе». Стивенсону не удается освободиться от этого «как по заказу», оно появляется у него в виде счастливого случая или неожиданной поддержки доброжелателя, повертывающих сюжет и выручающих попавшего в беду героя. Однако заслуживает быть отмеченной его установка: он выдвигает задачу преодолеть инерцию, он, романтик, не хочет отрываться от реальной почвы и это устремление берет за принцип. «Две обязанности возлагаются на всякого, кто избирает литературную профессию: быть верным действительности и изображать ее с добрым намерением»,— подчеркивает он в статье «Нравственная сторона литературной профессии». Для Стивенсона, принципиального противника натурализма, соблюдать верность действительности не означает довольствоваться ее копией, внешне документальным жизнеподобием.

Стивенсон высоко мыслит о литературе, ее возможностях и общественном значении, считает литературу одной

из деятельных форм жизни, не только отражением реальности. Литературе, по его глубокому убеждению, не следует ни подражать жизни, то есть копировать ее, ни «соперничать с нею», то есть делать бесплодные попытки сравняться с творческой энергией и масштабом самой жизни. Он решительно заявил об этом в статье «Скромное возражение», явившейся откликом на литературную полемику середины восьмидесятых годов между Генри Джеймсом и популярным в то время английским беллетристом Уолтером Безантом. Стивенсон настаивал на необходимости отбора фактов и их толкования по принципу типического. «Наше искусство,— писал он,—занято и должно быть занято не столько тем, чтобы делать сюжет доподлинным, сколько типическим; не столько тем, чтобы воспроизводить каждый факт, сколько тем, чтобы все их направить к единой цели» для выражения правдивого замысла.

Романтизм начала девятнадцатого века, как ни порывал он с канонами классицизма, все же во взгляде на личность и ее отношения с обществом не мог преодолеть схемы. Романтический герой обычно представал «лучшим из людей», высоко поднявшимся над средой, оказывался жертвой общества, был ему противопоставлен, внутренние их связи оставались скрытыми, или предполагалось, что они отсутствуют вовсе. В самой личности и в общественной среде добро и зло располагались по принципу контраста. Стивенсон отказывается от подобной трактовки сложной проблемы.

В «Воспоминаниях о самом себе», написанных в 1880 году, Стивенсон вспоминает, как его волновала проблема героя. «Стоит ли вообще составлять чье бы то ни было жизнеописание, если в нем нет героического?» — спрашивал он себя. Ответ оформился сам собою. Сомнения разрешились в ходе размышлений писателя над своей юностью.

«Нет людей совершенно дурных: у каждого есть свои достоинства и недостатки» — в этом суждении одного из героев Стивенсона, Дэвида Бэлфура, выразилось убеждение самого писателя. Так и художественное произведение, о котором можно сказать, что оно живет и будет жить, по мнению Стивенсона, соединяет в себе правду жизни и идеальное в ней, является «одновременно реалистическим и идеальным», как сформулировал он избранный им принцип художественного творчества в краткой статье «Заметки о реализме».

Стивенсоновский неоромантизм противопоставлен своекорыстию буржуазного бытия, измельчавшего, бесцветного, придушенного делячеством, как откровенным, так и сдобренным либеральной фразой. В то же время ему чужды декадентский скепсис, снобизм, упадочные настроения эстетов. Не мирится он и с установками натуралистов, с их практикой поверхностного бытописательства и с демоническими воспарениями и эгоцентризмом романтиков.

В отличие от многих выдающихся литераторов, например, Томаса Гарди, Герберта Уэллса или Джона Голсуорси, Стивенсон очень рано, еще в детстве, почувствовал свое призвание и тогда же начал готовиться к намеченной профессии, хотя не сразу выбрал прямой путь.

«В детские и юношеские мои годы,— вспоминал Стивенсон,— меня считали лентяем и как на пример лентяя указывали на меня пальцем; но я не бездельничал, я был занят постоянно своей заботой — научиться писать. В моем кармане непременно торчали две книжки: одну я читал, в другую записывал. Я шел на прогулку, а мой мозг старательно подыскивал надлежащие слова к тому, что я видел; присаживаясь у дороги, я начинал читать или, взяв карандаш и записную книжку, делал пометки, стараясь передать черты местности, или записывал для памяти поразившие меня стихотворные строки. Так я жил, со словами». Записи делались Стивенсоном не с туманной целью, им руководило осознанное намерение приобрести навыки, его искушала потребность мастерства. Прежде всего ему хотелось овладеть мастерством описания, затем диалога. Он сочинял про себя разговоры, разыгрывал роли, а удачные реплики записывал. И все же не это было основным в тренировке: опыты были полезны, однако таким образом осваивались лишь «низшие и наименее интеллектуальные элементы искусства — выбор существенной детали и точного слова... Натуры более счастливые достигали того же природным чутьем». Тренировка страдала серьезным изъяном: она лишена была мерила и образца.

Дома втайне от всех Стивенсон изучал литературные образцы, писал в духе то одного, то другого писателя-классика, «обезьяничал», как он говорит, стараясь добиться совершенства. «Попытки оказывались безуспешными, я это понимал, пробовал снова, и снова безуспешно, всегда безуспешно. И все же, терпя поражение в схватках, я обрел некоторые навыки в ритме, гармонии, в строении фразы и координации частей».

Редкая биография Стивенсона обходится без цитаты из его статьи «Университетский журнал», без слов о том, что он «с усердием обезьяны подражал Хэзлиту, Лембу, Вордсворту, сэру Томасу Брауну, Дефо, Готорну, Монтеню, Бодлеру и Оберману», многим знаменитым литераторам разных стран и эпох. Подражание было у него сознательным, с ранних лет стало личной установкой, представленной как общее правило: «Только так можно научиться писать». Писать—может быть, но стать самобытным?! Самобытности, отвечал Стивенсон, научиться нельзя, самобытным надо родиться. Тому же, кто самобытен, нечего бояться временного подражания как средства выучки, оно не опалит крыльев. Монтень, самобытный из самобытных, меньше всего напоминает Цицерона.

Однако профессионал заметит, как много первый подражал второму. Сам Шекспир, глава поэтов, учился у предшественников. Когда пренебрегают школой, классическими образцами и традицией, нечего надеяться, что появятся хорошие писатели. Великие писатели всегда проходили через школу.

Рассуждая таким образом, Стивенсон высказывал выношенную мысль, проверенную личным опытом. Требование профессиональной выучки укреплялось в нем наблюдением за современной практикой. Литература сделалась профессией не одиночек и не узкого цеха. Все шире становилось ее русло, смыкавшееся с потоком повседневной журналистики. Стивенсон замечал, с какой легкостью даже некоторые даровитые литераторы относились к своему призванию и сколь упрощенно, с каким теоретическим схематизмом и утилитарностью толковали литературные проблемы.

До сих пор, ссылаясь на статьи и другие высказывания Стивенсона о литературе, его сближают с эстетами и формалистами, хотя пафос его выступлений, их логика и аргументы лежат в иной плоскости. Можно укорить Стивенсона в излишней изощренности слога, явившейся, по-видимому, следствием усиленных урочных занятий, когда отточенная фраза несет порой отпечаток нажима, блеск и холодок внешнего усилия. Но невозможно оспаривать высокую степень его профессиональной техники, выработанного им литературного вкуса, чувства ритма и гармонии. Это большой мастер, оригинальный и тонкий стилист. Справедливы его слова о классической традиции, о ее значении в формировании и развитии писательского мастерства, оправданна его ориентация на высокие образцы, заслуживает признания и уважения его неустанная и вдохновенная забота о совершенстве формы. В эстетической программе и в творчестве Стивенсона можно найти немало изъянов, впрочем, как и у всякого писателя. Однако важно понять его позицию и условия, ее определившие, не цепляясь за словесные формулы и термины, не вкладывая в них произвольно представлений нашего времени.

Стивенсон и романтика сами собою соединяются в читательском представлении, его личность и творчество овеяны духом романтики. Шотландская родословная, уходящая корнями в глубь национальной истории, «бродяжья» жизнь под разными широтами, близость к морю как семейная традиция, стойкость и мужество перед лицом смертельной опасности, книги, насыщенные приключениями,— многое в этом писателе способно воспламенить романтическое воображение.

Стивенсон — заманчивая модель для литературного портрета Это отметил еще при жизни писателя его старший современник и близкий друг Генри Джеймс, предупредив вместе с тем: отличная модель, модель моделей, только не в смысле нравственного или иного образца.

Жизнь Стивенсона была непродолжительной и почти совпадает со второй половиной XIX столетия. Родился писатель в самой его середине, 13 ноября 1850 года, а умер 3 декабря 1894 года, шесть лет не дожив до нашего века. Томас Гарди (1840—1928) всего на десять лет старше Стивенсона, а Оскар Уайльд (1856—1900) и Бернард Шоу (1856—1950) едва не его ровесники.

Стивенсон — коренной шотландец, шотландец по рождению, воспитанию и национальному чувству, по духовной связи с историей народа и его культурой. Как и Вальтер Скотт, его великий земляк, Стивенсон родился в Эдинбурге — политическом и культурном центре Шотландии. Стивенсонов в Эдинбурге было много, фамилия эта распространенная, но та семья, к которой принадлежал писатель, пользовалась известностью и признанием.

Самые далекие предки Стивенсона со стороны отца были мелкими фермерами, менее далекие — мельниками, солодоварами, дед, Роберт Стивенсон, стал видным гражданским инженером, строителем маяков, мостов и волнорезов. Наиболее известное его сооружение — маяк на сильно затопляемой скале Белл-Рок (восточное побережье Шотландии), гремевшей в бурю набатом, которую моряки именовали «Кулаком дьявола». В свое время маяк поражал воображение. Его посетил Вальтер Скотт, работая над романом «Пират», Джон Тернер, знаменитый английский художник, изобразил его в лунную ночь (картина «Маяк Белл-Рок»). На мозаичном фризе в Национальной галерее в Эдинбурге Роберт Стивенсон представлен в ряду прославленных шотландцев. Его гербовый щит — он был удостоен герба — украшали не традиционные символы воинской доблести; на нем изображение маяка и девиз «Coelum non solem», смысл которого можно передать словами: когда не светит солнце. Дело Роберта Стивенсона продолжили его сыновья, талантливые инженеры— Алан, дядя писателя, и Томас, его отец.

Роберт Луис Стивенсон избрал иной путь, но семейную традицию он ценил, ее историю знал превосходно, в очерках «Семья инженеров» и «Томас Стивенсон» говорит о ней с уважением и обоснованной гордостью, что заметно даже в простом перечислении: «Томас Стивенсон, родившийся в 1818 году в Эдинбурге, внук Томаса Смита, первого инженера в Управлении северными маяками, сын Роберта Стивенсона, брат Алана и Дэвида; таким образом, его племянник Дэвид Алан Стивенсон, сменивший его на инженерном посту после его смерти, является шестым в семье, кто занимал эту должность. Белл-Рок был построен до рождения Томаса; но под началом брата Алана он участвовал в сооружении Скерривора, лучшего из маяков, построенных в открытом море, а в содружестве с братом Дэвидом к малому числу аванпостов человека, выдвинутых далеко в океан, добавил еще два

маяка». В том же очерке «Томас Стивенсон» писатель вспоминает речевую манеру отца, по-видимому, оказавшую влияние на его стиль: «Точность и красочность выражения отличали его речь». Тут же сказано о нем: «Он был упорным консерватором, или тори, как он сам предпочитал называть себя». Многие биографы утверждают, что консерватизм отца отозвался даже на имени сына.

Распространенная легенда гласит, будто неподалеку от Стивенсона жил правоверный либерал Льюис, и Томас Стивенсон, правоверный консерватор, опасаясь, как бы его не причислили к либералам, решил писать имя сына на французский лад, однако произносить по-английски. Как бы то ни было, имя Стивенсона пишется Louis, и англичане, называя его, говорят Луис (не Луи или Льюис), так обращались к нему и в кругу семьи, если не называли именем уменьшительным — Лу. Робертом его звали редко.

По материнской линии Стивенсон принадлежал к старинному роду Бэлфуров, к «знатным людям» из видных кланов равнинной и пограничной Шотландии. Мать Стивенсона, Маргарет Изабель Бэлфур, была дочерью священника из Колинтона — прихода, расположенного вблизи Эдинбурга.

Стивенсон живо, отнюдь не праздно и без чувства снобизма, интересовался своей родословной. Он испытывал особую радость художника и гражданина, который может обратиться к истории родной страны как к истории в известном смысле «семейной», ощутить ее «по-домашнему», глубоко в ее почве обнаружить свои корни. Семейные предания и легенды он знал с детства, впоследствии искал им документальное подтверждение, проверял в ряду других романтических историй вероятность родственной близости к воинственному клану Мак Грегоров, к знаменитому Роб-Рою, о котором Вальтер Скотт написал роман. Отзвуки этого интереса и энергичных разысканий обнаруживаются не только в письмах Стивенсона, но и в книгах его, особенно в дилогии о Дэвиде Бэлфуре и в неоконченном романе «Уир Гермистон».

Роберт Луис Стивенсон был в семье единственным ребенком. На третьем году жизни он перенес болезнь, по определению врачей, это был круп, и последствия заболевания оказались непоправимыми. Луис страдал тяжелым недугом, его часто лихорадило, он задыхался, страшный кашель в долгих приступах сотрясал его хилое тело, внешний облик его изменился, и метафорическое выражение «худой, как щепка» точно подходило ему. «Страна Кровати» была его вынужденным поселением, неделями и месяцами он не покидал ее и в любую минуту мог оказаться в ней снова.

Во всех распространенных биографиях Стивенсона сказано, что он страдал туберкулезом легких. Этот диагноз в книге Э. Н. Колдуэлл «Последний свидетель Стивенсона», вышедшей в 1960 году, подвергается сомнению. Автор, ссылаясь

на мнения врачей, в разное время лечивших или смотревших писателя, делает вывод, что у него была тяжелая болезнь бронхов.

Факт остается фактом, что еще в детстве Стивенсон почувствовал себя инвалидом, и это чувство сопровождало его до могилы. Не столько боязнь скорой смерти, сколько ощущение недоданной природой и ускользающей жизни побудило его в одном из писем, может быть, несколько выспренне, но с понятной горечью воскликнуть: «О Медея, убей или сделай меня молодым!» В письмах Стивенсона к родным и друзьям прорываются сетования. Не раздраженные или немощные жалобы, но искренне печальные свидетельства испытываемого или только что пережитого мучительного состояния.

Болезнь ограничивала и делала односторонним жизненный опыт Стивенсона. «Детство мое,—вспоминал он,—сложная смесь переживаний: жар, бред, бессонница, тягостные дни и томительно долгие ночи. Мне более знакома «Страна Кровати», чем зеленого сада». В ответ на упрек, почему он воспевает светлые стороны жизни, избегая теневых, он отвечал, что невольно отворачивается от всего болезненного, не желая ворошить пережитые печали.

Нормально учиться Стивенсону не пришлось. В школу он пошел рано, шести лет, но систематических занятий выдерживать не мог. Частые пропуски, переезды, самовольные вакации, недостаток прилежания не способствовали успехам. И он для школы и школа для него были «божьим наказанием». Даже читать он научился не сразу, а когда научился, увлекся чтением, открыв еще одну страну — «Страну Книг».

Томас Стивенсон рассчитывал, что его сын продолжит семейную традицию и станет инженером — строителем маяков. Сменив несколько школ и приватных наставников, поучившись некоторое время в Эдинбургской академии, среднем учебном заведении для детей состоятельных родителей, в 1867 году, семнадцати лет, соглашаясь с пожеланием отца, Луис поступил в Эдинбургский университет. Курс наук сочетался с практикой на строительных площадках, и Луис не без удовольствия принимал в ней участие. Однажды, это тоже входило в программу практических занятий, он в скафандре спускался на морское дно, чтобы изучить рельеф скалы, выбранной для постройки маяка. В 1871 году за сочинение «Новый вид проблескового огня для маяков», представленное на конкурс в Королевское шотландское общество искусств, студент Роберт Луис Стивенсон был удостоен серебряной медали. Казалось, выбор сделан, временем проверен, судьбой одобрен. Спустя две недели в мучительном разговоре с отцом Луис заявил, что строителем маяков он не будет и мысль о профессии инженера оставляет навсегда. Тогда же было решено, что Луис станет адвокатом. Отец

успокаивал себя соображением, что лучше быть хорошим юристом, чем плохим поэтом; сын надеялся, что занятия адвокатурой оставят ему довольно свободного времени для занятий литературных. Вот и Вальтер Скотт: был же он адвокатом, и это не помешало ему стать прославленным романистом.

Положенные экзамены были сданы, юридическое звание высокой градации получено, и все только затем, чтобы лишний раз убедиться: Луис — прирожденный литератор.

Впервые в печати имя Роберта Луиса Стивенсона появилось в октябре 1866 года — ему едва исполнилось шестнадцать лет. То была книжечка в двадцать две страницы, изданная в Эдинбурге в количестве ста экземпляров на средства Томаса Стивенсона. Ее составил очерк под названием «Пентландское восстание. Страница истории, 1666 год». Юный автор на свой лад отметил двухсотлетие крестьянского восстания в Шотландии, подчеркнув намерение «быть снисходительным к тому, что явилось злом, и честно оценить то доброе, что несли пентландские повстанцы, боровшиеся за жизнь, свободу, родину и веру». Юношеское сочинение Стивенсона заслуживает упоминания уже потому, что в нем выразилось устойчивое направление его мысли: постоянный интерес к национальной истории, к важным ее событиям и стремление быть объективным.

Первым печатным произведением Стивенсона, с которого началась его профессиональная деятельность литератора, явился очерк под знаменательным, можно сказать, символическим, названием «Дороги» (1873). Так сложилась судьба Стивенсона, что он, абориген «Страны Кровати», был почти вечным странником — по душевной потребности и по жестокой необходимости. Душевную потребность он выразил в стихотворении «Бродяга», в строках, которые звучат девизом:

Вот как жить хотел бы я,
Нужно мне немного:
Свод небес, да шум ручья,
Да еще дорога.
. . . .
Смерть когда-нибудь придет,
А пока живется,—
Пусть кругом земля цветет,
Пусть дорога вьется!

(Перевод Н. Чуковского)

В 1876 году Луис и его друг Уолтер, сын знаменитого эдинбургского врача Джеймса Симпсона, на байдарках «Аретуза» и «Папироска» совершили путешествие по водным путям, рекам и каналам Бельгии и Франции. Конечным пунктом намечался Париж, но, не доплыв до Сены, они остановились в деревушке Грез, где обычно шумной колонией располагались молодые английские и американские художники, приезжавшие практиковаться к барбизонцам в прославленную сень Фонтенбло. Некогда глухая деревенька Барбизон, давшая громкое имя школе французских художников, находилась неподалеку, на окраине леса. Место, среда, обычаи и нравы художнической богемы были Стивенсону хорошо знакомы. Классические времена Барбизона давно отошли. Теодор Руссо, глава барбизонцев, умер в 1867 году, но Стивенсон еще застал в живых Милле, правда, накануне его смерти, когда впервые побывал здесь в 1875 году.

Франция, ее столица, но, пожалуй, особенно среда Барбизона оставили в жизни Стивенсона большой след. Он хорошо знал французский язык, был начитан во французской литературе, классической и современной. «Барбизонский период» — время его усиленной литературной выучки и момент, когда он почувствовал, что пришла пора творческого штурма. «Наступает время,— вспоминал он восемь лет спустя в очерке «Фонтенбло»,— когда приходится оставить подготовительную тренировку, подняться во весь рост, напрячь всю волю и — будь, что будет — начать созидательный труд».

У барбизонцев Стивенсон встретил Франсес Матильду Осборн, впоследствии Фанни Стивенсон, урожденную Ван де Гриф, или Вандергрифт, как произносили фамилию ее предки, переселившиеся в Америку из Швеции и Дании. Когда Луис встретил Фанни, она увлекалась живописью, потому и находилась в кругу художников. Смерть ребенка, младшего сына, заставила ее к тому же искать уединения. Фанни была замужем, старше Стивенсона на десять лет, с нею находились шестнадцатилетняя дочь и девятилетний сын, Ллойд Осборн, его будущий пасынок и соавтор. Биографы любят воспроизводить встречу Луиса с Фанни, когда он впервые увидел ее в окне ярко освещенной комнаты, и уверяют, что это был случай любви с первого взгляда.

Возвратившись в Эдинбург поздней осенью 1876 года, Стивенсон принялся описывать путешествие на байдарках, и вскоре у него была готова порядочная рукопись. Очерки «Путешествие внутрь страны» появились, однако, спустя два года, и это была первая книга Стивенсона, если не считать «Пентландского восстания».

Стивенсон нарочито устремляется «внутрь» страны, где вовсе не ищет ничего примечательного, тем более отвлекающе-авантюрного. И до него были английские писатели — «внутренние» путешественники, причем великие: Лоренс Стерн и Чарльз Диккенс. В отличие от Стерна автор очерков не поглощен «диалектикой чувств», в отличие от Диккенса, или,

вернее, от мистера Пиквика, не преследует целей широковещательной познавательности и восторженной добродетели. Стивенсоновские очерки, разумеется, вещь гораздо менее значительная, и сопоставление делается лишь затем, чтобы оттенить направление мысли. Стивенсон не был склонен преувеличивать достоинств своей первой книги и в изящно написанном, остроумно-задорном предисловии признается читателю, что автору лучше всего делать вид, «словно книгу написал кто-то другой, а вы лишь бегло ее просмотрели и вставили все лучшие места».

Автор описывает повседневные события путешествия, забавные недоразумения, делает пейзажные и бытовые зарисовки, наброски лиц и характеров, делает точно и тонко. однако без видимого расчета и напряжения. Плывя по течению, он отдается ему, но противится инерции ходячих представлений, отстаивает внутреннюю самостоятельность, добиваясь того, чтобы восприятие было подвижным, отзывчивость непосредственной, а вывод самостоятельным.

Заключительные слова «Путешествия» могут озадачить. Может показаться, что, путешествуя, Стивенсон испытал глубокое разочарование, поблекли в его глазах дальние дороги, и последняя фраза написана лишь для того, чтобы охладить пыл ретивых путешественников.

«Греби хоть весь день напролет, но, только вернувшись к ночи домой и заглянув в знакомую комнату, ты найдешь Любовь или Смерть, поджидающую тебя у очага; и самые прекрасные приключения — это не те, которые мы ищем».

Некоторые биографы находят в этих словах скрытый намек на встречу Стивенсона с Фанни в тот момент, в деревушке Грез, когда путешествие завершилось. Может быть, и так, но не в этом суть. Главная мысль состоит в том, что внутреннее развитие и наполнение, собственно жизнь, нельзя заменить механическим передвижением, сколь бы ни было оно динамичным и многокилометровым. И в путешествии, ближнем или дальнем, важен отправной пункт, в конечном счете сам человек, предпринимающий путешествие. И вместе с тем: «Великое дело быть в движении, непосредственно ощутить потребности и тяготы жизни, спуститься с перины цивилизации и почувствовать под ногами земную твердь» — в этих словах выражено не только личное умонастроение Стивенсона; с приближением «конца века» оно становилось все более заметным, как и желание «ударить в барабан». Недоверие к нравственным прописям, ощущение идейного кризиса вызвало порыв самостоятельных исканий, потребность сквозь все наслоения пробиться к «сути вещей» и «собственной кожей» почувствовать «твердь земли». У Стивенсона этот порыв не имел ничего общего ни с нигилистическим отрицанием предшествующего опыта, ни с декадентским своеволием.

В своих очерках Стивенсон создал тип путешественника, который не значится в известном перечне Лоренса Стерна в его романе «Сентиментальное путешествие», хотя в некотором отношении мог бы этот перечень продолжить. Это тип нерасчетливого путешественника, «путешественника-некоммерсанта», если воспользоваться более ранним определением Диккенса. Он оказался своего рода моделью на известный период. Такой путешественник, обычно художник или литератор, не преследует выгоды, пренебрегает стимулом барыша, говоря словами Олдингтона, «отказывается от наград и привилегий, а равно и от ответственности и обязательств человека, делающего деньги».

«Это литература»—то есть не ремесленная поделка,—сказал об очерках «Путешествие внутрь страны» Джордж Мередит, творчество и авторитет которого Стивенсон ставил высоко.

Путевые очерки Стивенсона начинают традицию, воплотившуюся позднее в книгах Джерома К. Джерома «Праздные мысли лентяя» (1886) и «Трое в одной лодке» (1889), где «путешествие» подменяется стандартной «прогулкой» и где как бы сам собой обнаруживается идиотизм обывательского быта.

Радость, обретаемая в муках творчества, дар слова и воображения, рано определившиеся призвание, потребность самоутверждения давно побуждали Стивенсона выйти за круг литературных статей и очерков. В октябре 1877 года (в журнале «Темпл Бар») появилось первое его художественное произведение — рассказ «Ночлег Франсуа Вийона». Это сюжетное осмысление личности выдающегося французского поэта XV века еще связано с литературно-критическим опытом Стивенсона и подсказано им. Наряду с рассказом он пишет статью «Франсуа Вийон, ученый, поэт и взломщик». И все же «Ночлег» — уже выход в иную область творческой деятельности.

Стивенсона занимали характер и судьба Вийона: талантливейший поэт — и в то же время бродяга, пропойца и вор; человек свободомыслящий и на свой лад рыцарь чести, у которого, говоря словами Шекспира, «душа добра во зле», и вместе с тем — пример внутренней расшатанности, образец нравственной аморфности. Франсуа Вийону противостоит старик Энгерран де ла Фейе, рыцарь без страха и упрека в буквальном и переносном смысле. Сталкивая характеры, Стивенсон не спешит с выводом и вовсе избегает назидания. Он готов и хочет подчиниться неумолимой логике объективного анализа.

Вместе с Вийоном автор называет Энгеррана де ла Фейе «чудесным стариканом». Ему нравятся прямота его характера, цельность чувств, широта гуманного жеста. Ему приятно слышать из его уст, как решительно отвергает он принцип

наживы, противопоставляя ему принцип чести. И тут же, пробивая его обветшалые рыцарские доспехи, он острием слова колет уязвимые места нравственной модели, слепленной феодальной Европой. Отдавая должное душевной силе и обаянию старого рыцаря, он неспроста замечает, что его «прекрасное лицо, скорее почтенное, чем умное», и что стройная система его принципов далеко отлетела от реальности.

Вместе с Энгерраном де ла Фейе Стивенсон, одолеваемый какой-то неисповедимой симпатией, вглядывается в поэта, стараясь понять, как это в нем столь причудливо смешались добро и зло. В отличие от старика Стивенсону нравится, что Вийон чужд этического ригоризма, что в нем живет творческий дух, и потребность свободы, и жажда самостоятельной оценки истины, и не утрачена честь.

Когда же в конце рассказа Энгеррану де ла Фейе становится не по себе в присутствии Вийона, ему «тошно видеть» его, а поэт, не сомневаясь в порядочности сеньора, все же не может уверовать в его ум и на этот раз называет его «нудным старичком», то очень похоже, что автор равно разделяет их чувства и мнения. Однако в отличие от средневекового рыцаря писатель новейшего времени, пристально вглядываясь в причудливый облик поэта, видит в нем проявление самобытной артистической натуры и гротескных условий жизни. Бродяга Вийон и зимний Париж 1456 года, описанные с проникновенной выразительностью, хорошо передают и мысль и настроение Стивенсона, проникающего в трагическую судьбу необычайно талантливой личности переходного времени. Несмотря, казалось бы, на замкнутость литературной темы и неразвернутость ее трактовки в малом жанре, рассказ «Ночлег Франсуа Вийона» и его герой тогда же вызвали живой читательский интерес.

В 1878 году, находясь во Франции, в горной деревушке Монистье, Стивенсон закончил серию рассказов, которые с июня по октябрь под общим названием «Современные тысяча и одна ночь» печатались в журнале «Лондон». Подыскать для них издателя оказалось не так просто, и отдельной книгой с несколько измененным заголовком («Новые тысяча и одна ночь») они вышли только в 1882 году. Эту серию составляют два цикла — «Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи»; в первый входят три, во второй четыре рассказа.

Со знаменитыми «арабскими сказками», широко известными как «Сказки Шахразады», или «Тысяча и одна ночь», Стивенсон познакомился еще в детстве и увлекся ими. «Сказки», едва они появились в переводе Галлана на французский язык, приобрели в Европе популярность и литературное влияние. «Новые тысяча и одна ночь» Стивенсона— еще одно свидетельство не только устойчивости, но и разносторонности этого воздействия.

«Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи» объединены общим замыслом и единым героем, романтическим принцем Флоризелем, таинственным и добродетельным правителем Богемии, выступающим в роли современного Гарун аль Рашида, в новейшем написании Харун-ар-Рашида, великодушного халифа книги «Тысяча и одна ночь». Стивенсон обратился к этому классическому и популярному произведению с намерением использовать его сюжетные и иные мотивы в пародийных целях.

«Новые тысяча и одна ночь»—остроумная пародия на жанр авантюрно-приключенческой и сенсационной литературы в том его затасканном виде, в каком он являлся под ремесленным, пошло-развлекательным или утилитарно-нравоучительным пером. Стивенсоновская пародия не замыкается литературной темой. В отличие от рассказа «Ночлег» в семи циклизованных новеллах отчетливо проступают современный материал и немаловажные проблемы времени.

«Клуб самоубийц»—ироническое наименование эстетских кружков и групп, предшествовавших декадентским содружествам и группировкам «конца века». Предметом стивенсоновской пародии служит мнимая значительность, эгоцентризм и крикливая поза поклонников меланхолии, проповедников упадочнических идей и настроений.

«Клуб самоубийц» — заведение для избранных, его посещают чувствительные юноши и молодые люди «со всеми признаками острого ума», однако без намека на энергию и волю, которые способны обеспечить жизненный успех. Клубная атмосфера насыщена экзальтацией. Вспышки лихорадочного веселья сменяются жуткой немотой. Занятия немногочисленны, праздны, но по-своему деловиты, и все делается с позой пресыщенности и под знаком упадочнической бравады. Вино, беседы о смерти и способах самоуничтожения, карточная игра, в которой фатальная карта намечает очередную жертву и очередного убийцу,— таков ритуал этого «храма опьянения». Дух смерти витает над собравшимися, тема смерти на смоченных вином устах. «Что касается меня,— говорит один из добровольных самоубийц,— единственное, о чем я мечтал, это о повязке на глаза да вате, чтобы заткнуть уши. Но увы! В этом мире не сыскать достаточно толстого слоя ваты!» Другой уверяет, что он ни за что не стал бы членом клуба, если бы теория мистера Дарвина не представлялась ему столь убедительной. «Мысль, что я являюсь прямым потомком обезьяны,— сказал сей оригинальный самоубийца,— показалась мне невыносимой». «Неужели все это так важно, чтобы поднимать такую суету,— комментирует про себя предмогильную беседу принц Флоризель.— Если человек решился уйти из жизни, какого черта он не совершает этот шаг, как подобает джентльмену?» Иронический характер диалога и комментария очевиден, и в словах комментатора слышен голос самого автора.

Замысел авантюрных историй с «Алмазом Раджи» более разветвлен и обширен. Бытовая и психологическая его основа и социальная направленность выступают вполне отчетливо, едва прикрытые призрачным покровом фантастического сюжета.

В четырех новеллах рассказывается о том, как некий Томас Венделер, находившийся в Индии в рядах английских колониальных войск, оказывается владельцем необыкновенного алмаза кашгарского раджи. Загадка этого таинственного приобретения, щедрого подарка за «услуги», служит предметом недвусмысленных толков. Новоявленный собственник поразительной драгоценности из бедняка превращается в немыслимого богача, и автоматически безвестный и грубый служака становится прославленным светским львом. Почтительно и радушно его принимают в избранных кругах Лондона, и в скором времени объявляется знатная девица, пожелавшая обладать алмазом «даже ценою брака с сэром Томасом Венделером».

Алмаз Раджи, подобно лоскутку шагреня из романа Бальзака «Шагреневая кожа», наделен магической и зловещей силой. Разжигая вожделения, он переходит из рук в руки, вовлекая в авантюрный круговорот новых участников и новые жертвы. Это завораживающий символ собственности, и под его воздействием ничтожества возвеличиваются, нравственные понятия искажаются, истинные ценности подменяются ложными. И так тянется цепь злополучных событий, пока принц Флоризель своим вмешательством не кладет им предел. Нарушая права собственности, он завладевает чужим алмазом и, в надежде избавиться от наваждения, бросает его в реку. Но Венделеры, истинно предприимчивые буржуа, организуют водолазные работы и не смущаются их безуспешным началом.

Стивенсоновские «сказки Шахразады», несмотря на шуточный тон затейливой пародии, основаны на сюжетах реальных и отнюдь не шуточных. Характеры действующих лиц обрисованы точно, их психологический рисунок не только верно намечен, но и оживлен, обсуждаемые проблемы не надуманы и не пустячны.

Герой одной из новелл, молодой человек Саймон Роллз, выражает желание «больше узнать о жизни», имея «в виду не ту жизнь, которая описана в романах Теккерея». Он хотел бы проникнуть как в скрытые преступления общества, так и в его тайные возможности, желал бы постичь основы разумного поведения «в исключительных обстоятельствах». Таково намерение и самого автора. Он будет обнажать скрытые пороки общества, он будет ставить своих героев в исключительные обстоятельства и следить за тем, как они отыскивают основы разумного поведения.

Казалось бы, избитые в дидактических рассуждениях формулы в «Алмазе Раджи» получают живое наполнение. «И самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение»,— делает малоутешительный для себя вывод юный джентльмен Гарри Хартли, оказавшийся «круглым сиротой и почти нищим». Горестная замета и плачевный опыт незадачливого героя, который тратил юность, «совершенствуясь в пустячных и чисто светских навыках», бросают свет на состояние молодого поколения и уточняют понятие и проблему «добропорядочности», весьма существенную для житейской философии викторианского общества тех времен, как и проблему «сомнительного положения», ее отвлеченно-нравственного и реального смысла.

Все тот же Саймон Роллз не знает, «кем ему больше восхищаться — человеком, привыкшим действовать с безрассудной смелостью, или тонким наблюдателем и знатоком жизни». Эта альтернатива занимала многие, и не только молодые, умы, она занимала и Стивенсона с точки зрения и личного и общественного благоразумия. Принц Флоризель, которому автор явно благоволит, и представляет собой тип олимпийца, тонкого знатока и созерцателя жизни. И ему, однако, приходится отступить с занятых позиций. Движимый гуманными чувствами, он вмешивается в события, но его деятельный всеблагой порыв не способен вселить устойчивую надежду перед лицом бесцеремонного нажима со стороны изворотливых Венделеров. Олимпийское безразличие сиятельного принца по отношению к «общественным обязанностям» приводит к тому, что в итоге «очередной» буржуазной революции он теряет свои привилегии и удовлетворяется скромной ролью владельца табачной лавочки. Впрочем, иронически заключает автор, «его высочество» продолжает сохранять верность романтическому принципу и «за своим прилавком выглядит настоящим олимпийцем».

«Клуб самоубийц» и «Алмаз Раджи» при всей оригинальности их замысла обнаруживают связь с традицией, с двумя разнохарактерными направлениями в английской литературе, представленными именами Уилки Коллинза и Уильяма Теккерея. Первый, автор образцовых произведений так называемой сенсационной литературы, в том числе «Лунного камня», интересовал Стивенсона главным образом умением строить занимательный сюжет, второй, классик реалистического романа,— мастерством сатирической характеристики. В новеллах этих циклов заметны манера и приемы сенсационного жанра уже на той стадии его развития, когда он начинает смыкаться с жанром собственно детективным. Симптоматично упоминание в «Алмазе Раджи» французского романиста Эмиля Габорио и героя его уголовно-детективных романов сыщика Лекока, как и появление детектива, правда, во второстепенной роли, в новелле с отвечающим

случаю заглавием: «Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком». Впрочем, стивенсоновские пробы в этом жанре сопровождает ирония — то шутливая и веселая, то едкая и не лишенная горечи, но, как правило, остроумная, напоминая о влиянии Теккерея и Мередита.

Осенью 1878 года, закончив свои «сказки Шахразады», Стивенсон совершил еще одно путешествие «внутрь страны», на этот раз сухопутное и одиночное, если не считать строптивого ослика, неохотно тащившего спальный мешок и другую поклажу. Стивенсон пересек Севенские горы, прошел по глухим и малонаселенным местам, где некогда скрывались французские протестанты, спасаясь от преследований карательных отрядов Людовика XIV и ведя с ними упорную партизанскую войну. Стивенсона занимала история социально-религиозной борьбы в Шотландии, интересовали восстания непокорных протестантов-ковенантеров, их готовность к решительному сопротивлению во имя независимости и свободы убеждения. Подобный же интерес подтолкнул его к походу в Севенны. Вскоре он написал книгу «Путешествие с ослом», которая в июне 1879 года вышла из печати. Название книги служило поводом не всегда безобидных шуток, чему способствовал упрямый ослик, представленный автором с живым юмором. В одной из рецензий в результате недосмотра или нарочитой ошибки книга была названа «Путешествие осла», а в кругу литературной молодежи уже в начале XX века, как вспоминал Олдингтон, очерки ходили под заголовком «Путешествие с Сиднеем Колвином». В свое время видный литератор и влиятельный редактор, Сидней Колвин был близким другом Стивенсона. Под его редакцией вышло четырехтомное издание писем Стивенсона, первое и пока единственное столь полное издание эпистолярного наследия писателя. Колвин, как близкий друг, считал себя вправе подвергнуть письма личной цензуре, и многие из них напечатаны с изъятием главным образом тех мест, которые касались отношения Стивенсона к родителям, к вопросам религии и содержали интимные биографические сведения.

В начале августа 1879 года Стивенсон получил от Фанни Осборн, давно уже находившейся в Калифорнии, извещение, слова которого так и остались неизвестны. Предполагают, что Фанни сообщала о своем тяжелом заболевании. Стивенсон быстро собрался и седьмого числа на пароходе «Девония» отплыл в Нью-Йорк. Сильное недомогание, нехватка денег, осложнившиеся отношения с отцом, увещевания друзей, запутанность ситуации — Фанни оставалась замужней женщиной, и еще не было ясно, как и когда ей удастся развестись с беспутным супругом,— ничто не остановило его. Это новое «путешествие» явилось для Стивенсона необычайно трудным и едва не стоило ему жизни. К общему недомоганию прибавились усталость и нервное напряжение. В пути

Стивенсон не переставал писать и вести дневник, сознавая необходимость самостоятельного и значительного заработка. Условия поездки были тяжелыми даже для здорового человека, особенно в набитом и душном вагоне эмигрантского поезда, в котором он ехал много дней до Сан-Франциско. Здесь он рассчитывал встретить Фанни, но не нашел ее на месте: она переехала в Монтерей, некогда столицу Калифорнии, а теперь полузабытый городок на берегу Тихого океана, находящийся от Сан-Франциско на расстоянии ста пятидесяти миль.

Один, верхом на лошади, без передышки Стивенсон отправился следом. В пути, в прибрежных горах, не доехав восемнадцати миль до Монтерея, он почувствовал себя совсем плохо и две ночи пролежал под деревьями почти без сознания. Его нашел старый охотник на медведей и препроводил к себе на козье ранчо, где он пролежал немало дней, пока к нему не вернулись силы. «Это был странный и мучительный отрезок моей жизни,— писал он другу в доверительном письме.— Согласно всем правилам, смерть казалась неизбежной, но спустя некоторое время мой дух снова воспрял в божественном бешенстве и стал понукать и пришпоривать мое хилое тело с немалым усилием и немалым успехом».

За время пребывания в Америке Стивенсон не раз оказывался на грани жизни и смерти. От него требовалось громадное душевное напряжение, чтобы одолевать немощь. В конечном счете духовное мужество ставило его на ноги. «Упорный смертный»,— можно было сказать о нем словами Байрона.

19 мая 1880 года в Сан-Франциско Стивенсон сочетался браком с Фанни, а 7 августа, ровно через год после того, как он сел на «Девонию», направляясь в Нью-Йорк, он вместе с женой и пасынком Ллойдом Осборном отплыл из Нью-Йорка в Ливерпуль. Так завершился существенный этап в жизни Стивенсона, оказавшийся важным и для его творческого развития. Он не только много пережил, но и многое видел, видел жизнь без прикрас, Америку с ее контрастами, и образ ее совсем не отвечал тем идеальным представлениям, какие сложились у него под влиянием литературных и газетных источников. Он писал без устали статьи и очерки, вдохновлялся художественными замыслами. Книга очерков «Эмигрант-любитель» и повесть «Дом на дюнах» — основной итог его литературной работы за это время. «Дом на дюнах» Стивенсон закончил в октябре 1880 года, уже вернувшись из Америки.

Короткая повесть «Дом на дюнах» — одно из лучших, если не лучшее произведение раннего Стивенсона, предваряющее его приключенческие романы и психологические новеллы периода творческой зрелости. В этой повести занимательный сюжет, сочетаясь с содержательной темой, развет-

влен и развернут, характеры, сохраняя четкость внешнего и внутреннего рисунка, даны в энергичном развитии, пейзаж не только точен и выразителен, но и разнообразен при общей выдержанности и слаженности тона. Стивенсон трезво оценивал свое новое произведение, видел его слабости, однако не собирался умалять его достоинств. «Конечно, работа плотницкая, но добротная,— писал он Хенли, оспаривая его придирчивый отзыв.— Кто еще может так плотничать в английской литературе теперь, когда Уилки Коллинз едва стучит топором». (Коллинз умер в 1889 году, его наиболее известные романы «Женщина в белом» и «Лунный камень» появились соответственно в 1860 и 1868 годах.)

В повести «Дом на дюнах» обнаруживается зависимость Стивенсона не только от сенсационного романа Коллинза, но и от романтической традиции. Вместе с тем отчетливо видно, как он отталкивается от нее, в каком направлении и сколь последовательно подвергает критике, не приемля многие ее нормы и образцы, указывая на их уязвимость или полную несостоятельность. Из писателей-романтиков он выделял для себя Виктора Гюго, которому еще в 1879 году посвятил специальную статью.

Стивенсон приемлет и поддерживает романтическую одухотворенность и приподнятость чувств, однако воодушевление и деятельный порыв не склонен изолировать от реальной почвы. Не склонен он идеализировать первобытную дикость и вольность цыганского табора, привлекавших к себе европейский романтизм как альтернативу цивилизации и прогресса. Герой романтиков обычно бежал от своей среды, герой неоромантика Стивенсона ищет родственную среду. Фрэнк Кессилис, герой повести «Дом на дюнах», от имени которого ведется повествование, поначалу гордится тем, что держится особняком, восхищается жизнью одинокого цыгана. Но вскоре под влиянием отрезвляющих обстоятельств меняет и свои взгляды и свой образ жизни.

Трезво-критическую, беспощадную оценку получает у Стивенсона еще Байроном утвержденный тип романтического героя, сильной и яркой бунтарской личности, однако чрезмерно сосредоточенной на самой себе, не способной даже при высоком воспарении чувств освободить их от гибельной примеси бесконтрольного эгоизма. Примером такой личности выступает в повести Норсмор. Ему дана не только психологическая, но и социальная характеристика, краткая, но содержательная.

Норсмор унаследовал мрачное, запущенное поместье, последним владельцем которого был «бестолковый и расточительный дилетант». Натура незаурядная, но бесцельная, Норсмор весь во власти непомерно раздутого и ничем не сдерживаемого себялюбия. Чувства не получили у него естественного, нормального развития и при его необузданном

темпераменте проявляют себя в уродливых контрастах. Даже в своем отношении к Кессилису, составившему вместе с ним «содружество двух нелюдимов», он в одно и то же время и друг и недруг. В самую добрую минуту, приглядевшись к нему, можно было «за наружностью настоящего джентльмена... разглядеть душу, достойную насильника и работорговца». И все же Стивенсон отдает безоговорочное предпочтение Норсмору, когда сталкивает его с «грабителем-банкиром» Хеддлстоном, обманувшим доверие своих вкладчиков, среди которых оказались итальянские революционеры, участники национально-освободительного движения, готовившие восстание.

Норсмор и Кессилис, отщепенцы и нелюдимы, мнящие себя мизантропами, втягиваясь в конфликт принципиального смысла и значения, невольно поверяют практическим опытом свой романтический образ мыслей и поведения. Создается ситуация, которая позволяет Стивенсону произвести наглядный анализ и здравую переоценку традиционных романтических характеров.

В повести «Дом на дюнах» — можно сказать, не в одной этой повести, а почти во всех произведениях Стивенсона приключенческого жанра — психологический анализ лишен обстоятельности, развернутых подробностей и завершенности: тому препятствует природа жанра, который немыслим без острого, динамичного сюжета, насыщенного внешними, быстро сменяющимися событиями. Но психологический анализ у Стивенсона точен, и логика его убедительна. Даже в таком, казалось бы, маловероятном случае, как решение Норсмора вступить в ряды итальянских повстанцев и бороться под знаменем Гарибальди, исключается мысль об авторском произволе — поведение этого героя внутренне обосновано, как вполне объяснима и его драматическая судьба. Стремление к анализу, трезвому и вдумчивому, явлений сложных и противоречивых — важное свойство стивенсоновского неоромантизма, утверждающего мужественный оптимизм.

В повести «Дом на дюнах» звучит, хотя и приглушенно, тема национально-освободительной борьбы итальянского народа, имеющая в английской литературе основательную и давнюю традицию. К этой теме обращались старшие современники писателя — Джордж Мередит в романе «Виттория» (1867) и Чарлз Суинберн в некогда знаменитых «Песнях перед восходом солнца» (1871). В начале века Байрон проявлял живейший интерес к освободительному движению в Италии, был связан с тайным революционно-демократическим обществом карбонариев. В повести Стивенсона, действие которой относится к середине XIX столетия, итальянских мстителей называют карбонариями уже по традиции, поскольку

в это время революционно-демократической организации карбонариев уже не существовало.

«Рано или поздно, мне суждено было написать роман. Почему? Праздный вопрос»,— вспоминал Стивенсон в конце жизни в статье «Моя первая книга — «Остров Сокровищ», как бы отвечая на вопрос любознательного читателя. Статья была написана в 1894 году по просьбе Джером К. Джерома для журнала «Айдлер» («Бездельник»), который затеял тогда серию публикаций уже прославившихся современных писателей на тему «Моя первая книга». «Остров Сокровищ», собственно, не отвечал теме, так как этот первый роман писателя был далеко не первой его книгой. Стивенсон имел в виду не один хронологический порядок появления своих книг, но прежде всего их значение. «Остров Сокровищ» — первая книга Стивенсона, получившая широкое признание и сделавшая его всемирно известным. В ряду самых значительных его произведений эта книга действительно первая по счету и вместе с тем самая популярная.

Сколько раз, начиная с ранней юности, принимался Стивенсон за роман, меняя замыслы и приемы повествования, снова и снова испытывая себя и пробуя свои силы, побуждаемый не одними соображениями расчета и честолюбия, но прежде всего внутренней потребностью и творческой задачей одолеть большой жанр. Долгое время попытки оказывались безуспешными.

«Рассказ — я хочу сказать, плохой рассказ,— может написать всякий, у кого есть усердие, бумага и досуг, но далеко не всякому дано написать роман, хотя бы и плохой. Размеры — вот что убивает». Объем пугал, изматывал силы и убивал творческий порыв, когда Стивенсон принимался за большую вещь. Ему с его здоровьем и лихорадочными усилиями творчества вообще трудно было одолеть барьеры большого жанра. Не случайно у него нет «длинных» романов. Но не только эти препятствия стояли на его пути, когда ему приходилось отказываться от больших замыслов. Для первого романа нужна была известная степень зрелости, выработанный стиль и уверенное мастерство. И надо, чтобы начало было удачным, чтобы оно открывало перспективу естественного продолжения начатого. На этот раз все сложилось наилучшим образом, и создалась та непринужденность внутреннего состояния, которая особенно нужна была Стивенсону, когда воображение, полное сил, одухотворено и творческая мысль как бы развертывается сама собой, не требуя ни шпор, ни понукания.

Все началось, можно сказать, с забавы. Стивенсон сам рассказал о том, как это было. Ллойд Осборн попросил его «написать что-нибудь интересное». Наблюдая, как пасынок что-то рисует и чертит, он увлекся и набросал карту воображаемого острова. Своим контуром карта напоминала «приподнявшегося толстого дракона» и пестрела необычными наименованиями: Холм Подзорной трубы, Остров Скелета и др. Больше многих книг Стивенсон ценил карты: «за их содержательность и за то, что их не скучно читать». На этот раз карта вымышленного «Острова Сокровищ» дала толчок творческому замыслу.

«Промозглым сентябрьским утром — веселый огонек горел в камине, дождь барабанил в оконное стекло — я начал «Судового повара» — так сперва назывался роман». Впоследствии это название получила одна из частей романа, а именно вторая. Длительное время, с небольшими перерывами, в узком кругу семьи и друзей Стивенсон читал написанное за день — обычно дневная «порция» составляла очередную главу. По общему свидетельству очевидцев, читал Стивенсон хорошо. Слушатели проявляли живейшее участие к его работе над романом. Некоторые из подсказанных ими деталей попали в книгу. Благодаря Томасу Стивенсону появился сундук Билли Бонса и бочка с яблоками, та самая, забравшись в которую герой раскрыл коварный замысел пиратов.

Роман еще далеко не был закончен, когда владелец респектабельного детского журнала «Янг Фолкс», ознакомившись с первыми главами и общим замыслом произведения, начал печатать его. Не на первых страницах, а вслед за другими сочинениями, в успехе которых он не сомневался,— сочинениями пустячными, рассчитанными на банальный вкус, давно и навсегда забытыми.

«Остров Сокровищ» печатался в «Янг Фолкс» с октября 1881 года по январь 1882 года под псевдонимом Капитан Джордж Норт. Успех романа был ничтожным, если не сомнительным: в редакцию журнала поступали недовольные и возмущенные отклики, и подобные отклики не являлись единичными. Отдельным изданием «Остров Сокровищ» — уже под настоящей фамилией автора — вышел только в конце ноября 1883 года. На этот раз его успех был основательным и бесспорным. Правда, первое издание разошлось не сразу, но уже в следующем году появилось второе издание, в 1885-м — третье, иллюстрированное, и роман и его автор получили широкую известность. Журнальные отзывы были разных градаций — от снисходительных до чрезмерно восторженных,— но преобладал тон одобрения. Романом зачитывались люди различных кругов и возрастов. Стивенсону стало известно, что английский премьер-министр Гладстон читал роман долго за полночь с необычайным удовольствием. Стивенсон, не любивший Гладстона (он видел в нем воплощение ненавистной ему буржуазной респектабельности), сказал на это: «Лучше бы этот высокопоставленный старик занимался государственными делами Англии».

Роман приключений невозможен без напряженной и увлекательной фабулы, ее требует природа самого жанра.

Стивенсон разносторонне обосновывает эту мысль, опираясь на психологию восприятия и классическую традицию, которая в английской литературе ведет начало от «Робинзона Крузо». События, «происшествия», их уместность, их связь и развитие должны, по его мнению, составлять первоочередную заботу автора приключенческого произведения. Психологическая разработка характера в приключенческом жанре попадает в зависимость от напряженности действия, вызываемой быстрой сменой неожиданных «происшествий» и необычных ситуаций, оказывается невольно ограниченной ощутимым пределом, как это видно по романам Дюма или Марриэта.

Стивенсон с иронией отзывался о пристрастии к дотошному бытовизму, одно время получившему в Англии распространение в повествовательной литературе и в драме, особенно в пьесах, которые критика причисляла к произведениям «школы чайной ложки и супницы».

«В наши дни англичане склонны, не знаю почему,— писал Стивенсон в 1882 году,— смотреть свысока на происшествие» и с умилением прислушиваются к тому, «как постукивает в стакане чайная ложечка и дрожит голос священника. Считается хорошим тоном писать романы вовсе бесфабульные или хотя бы с очень скучной фабулой». Выступая против тягучего описательства, за динамичное повествование, Стивенсон отнюдь не претендовал на то, чтобы событийный сюжет проник во все виды и жанры повествовательной литературы. Он размышлял над жанром «романтического романа» и прежде всего романа приключенческого и в связи с этим говорил о значении острой и занимательной фабулы, понимая роль «происшествия» по-своему, на свой лад. Необычно звучит его афоризм: «Драма — это поэзия поведения, роман приключений — поэзия обстоятельств». Интерес к «Робинзону Крузо», самому выдающемуся образцу этого жанра, развивает он свою мысль, «в огромной мере и у подавляющего числа читателей» вызывается и поддерживается не просто цепью «происшествий», но «очарованием обстоятельств».

В самом деле, лишь детские воспоминания выделяют ощущение напряженной увлекательности фабулы «Острова Сокровищ». Когда же ранние впечатления от романа проверяются повторным знакомством с ним в зрелые годы, внимание сосредоточивается на иных чертах и сама фабула начинает выглядеть иначе. Интерес к увлекательному приключению не пропадает, но очевидным становится, что его вызывает не эффект чисто внешнего действия. События в романе возникают и развиваются соотносительно с обстоятельствами места и времени, и автор придает большое значение тому, чтобы эти возникающие ситуации не были произвольными, а отвечали требованию психологической достоверности и убедительности.

Стивенсон не очень заботится о том, чтобы держать читателя в таинственном неведении, и не склонен чистой иллюзией подогревать его любопытство. Он не боится предуведомляющих намеков относительно исхода событий. Такой намек содержится в словах Джима Хокинса, героя книги, о том, что он записал всю историю по просьбе своих старших друзей; таким образом сообщено, что основные участники приключений, за судьбу которых приходится тревожиться читателю, вышли из испытаний с торжеством. И вывеска трактира «Адмирал Бенбоу», проткнутая саблей разгневанного Билли Бонса, след от которой, как подчеркивает, забегая вперед, Джим, до сих пор виден, и подстрочные примечания, сделанные доктором Ливси, где говорится о том, что о некоторых событиях на острове узнали позднее, и другие детали — все это последовательно нарушает таинственность будущего, столь будто бы для приключенческого жанра важную и даже обязательную. Однако, предуведомляя читателя о ходе событий, автор усиливает доверительный тон повествования, рассчитывая на эффект достоверности. По-видимому, Стивенсон учитывал опыт Джорджа Мередита, который, развертывая сюжет, не боялся забегать вперед. Небезынтересно, что в статье, посвященной романам Дюма, обозначая задушевный круг своего чтения, Стивенсон рядом с образцовым авантюрно-приключенческим романом «Виконт де Бражелон» ставит психологически изощренный роман Мередита «Эгоист», явившийся для своего времени новым типом психологического романа.

Переходы от эпизода к эпизоду в «Острове Сокровищ» и в других приключенческих произведениях Стивенсона не всегда кажутся точно выверенными, но коль скоро сюжетный поворот сделан, ситуация определена, персонажи заняли исходные позиции, то все начинает двигаться без нажима и скрипа, возникает живая картина событий, и создается впечатление точности и психологической достоверности происходящего. В самом деле, раскройте книгу, и вы увидите старого «Адмирала Бенбоу» и морского волка, который стучится у двери, и услышите его хриплый голос.

Важно учесть в связи с этим признание самого Стивенсона. В ответ на письмо Генри Джеймса с разбором романа «Катриона» Стивенсон, между прочим, подчеркнул: «Справедливо ваше замечание относительно того, что в этой книге ослаблено зрительное впечатление. Это несомненно, и, коль скоро я приложу к этому дополнительные усилия, а я так убежден в их необходимости, боюсь, что в будущем это станет еще более несомненным. Две мои основные цели можно определить так:

1. Война прилагательному.
2. Смерть зрительному нерву.

Если считать, что мы переживаем в литературе эпоху зрительного нерва. Сколько веков литература успешно обходилась без него».

Автохарактеристика, как это нередко случается, может противоречить творческой реальности, создаваемой художником. Так и со Стивенсоном в его бунте против «прилагательного» и неприязни к «зрительному нерву» не так просто согласиться, припомнив картины, им же самим набросанные. Однако стоит присмотреться к этим картинам, чтобы лучше понять позицию Стивенсона, и надо иметь в виду, что он не пренебрег замечаниями Генри Джеймса. Пояснив свои задачи в литературной технологии, он умерил воинственный тон словами: «Все же я учту Ваше письмо».

Вот Джим Хокинс, спрятавшись в бочке из-под яблок, подслушивает злодейский разговор непокорных матросов. Они сговариваются захватить корабль, и эта новость приводит Джима в отчаяние. Еще более непосредственный ужас охватывает его, когда один из матросов собирается подойти к бочке, чтобы достать оттуда яблок. От этого рокового намерения его отвлекает случайность, и он отправляется за бочонком рома для своих дружков.

«Когда Дик возвратился, все трое по очереди взяли кружку и выпили — один «за удачу», другой «за старика Флинта», а Сильвер даже пропел:

За ветер добычи, за ветер удачи!
Чтоб зажили мы веселей и богаче!

В бочке стало светло. Взглянув вверх, я увидел, что поднялся месяц, посеребрив крюйс-марс и вздувшийся фок-зейл. И в то же мгновение с вахты раздался голос:

— Земля!»

Как все здесь точно! Мы в самом деле слышим, когда на палубе говорят, мы ловим движения и действия пиратов и вдруг ясно и ярко видим, как подымается луна, освещая нутро пустой бочки, где притаился мальчик, и даже различаем проступающие из темноты крюйс-марс и фок-зейл, хотя скорее всего представления не имеем о том, как эти снасти выглядят. Наконец, все это покрывает книжно знакомый, а тут столь внезапный, и уместный, и убедительный зов — «Земля!».

Умение дать возможность услышать, если впечатление от реальности должно быть звуковым, увидеть, если изображение должно стать картинным, причем увидеть даже в том случае, когда перед взором встают предметы, ничем, как крюйс-марс и фок-зейл, в зрительной памяти не помеченные, это умение, а точнее сказать, мысль о подобном мастерстве составляет для Стивенсона не просто заботу о нескольких выигрышных приемах, но целую творческую программу.

«Война прилагательному» означает борьбу с одномерным изображением, с наиболее распространенной и принятой литературной техникой, которая приводит к выразительности исключительно описательным путем. Смерть «зрительному нерву» передает решительную неприязнь к натуралистической изобразительности, к дотошным копиям внешних форм. Стивенсон усиливает те начала в повествовательном жанре, которые сближают его с драмой,— диалог, энергично подвигающий сюжет и насыщенное событиями действие. Вместе с тем он стремится установить гибкие и многосторонние связи между изображаемыми явлениями, рассчитывая на подвижность ассоциативного восприятия и учитывая опыт новейшей для него повествовательной техники.

Стивенсон создает картину, почти не прибегая к помощи «зрительного нерва», то есть без назойливой апелляции к глазу, он не делает никакой уступки прилагательному — не определяет предметов по одним внешним и статичным признакам; он заставляет подниматься луну, дает свет, называет неведомые снасти, бросает картинный клич. Читатель воспринимает все как-то целостно, без предпочтения зрительным или слуховым впечатлениям: во всяком случае, он оказывается убежден в достоверности происходящего. Заботясь о многомерном движении стиля, Стивенсон добился немалого, и здесь заключена одна из главных основ его долговременного и «серьезного» воздействия на английскую литературу. «Серьезного» — в противоположность поверхностному следованию его манере по части приключений, пиратов и пиастров, которое с легкостью распространилось после завидного успеха «Острова Сокровищ». Подражатели поддались на шутливые уверения Стивенсона, будто он не преследовал в работе над этим романом сколько-нибудь существенных литературных задач. Между тем нельзя не заметить изощренности этой книги: эффект совершенной достоверности на материале, вовсе не реальном. Взяв обстановку вымышленную, так сказать, «бутафорскую», Стивенсон сумел вместе со своими персонажами психологически правдиво вжиться в нее. Уловив эту убедительность, Стивенсон движется уже совершенно свободно в пределах вымысла, он легко ведет литературную «игру», и стоит ему произнести «фок-зейл», как читатель готов верить, будто все понятно, подобно тому, как пираты оказались способны по одним только выбеленным за многие годы костям признать своего незадачливого соратника: «Э, да это Аллардайс, накажи меня бог!»

Стивенсон улавливал ход развития повествовательной техники и сумел создать несколько искусных литературных «моделей». Без них не могли обойтись, их держали в своей творческой лаборатории многие писатели — младшие современники и преемники Стивенсона.

Простая и легкая на вид книга «Остров Сокровищ» при внимательном рассмотрении оказывается многоплановой. Авантюрный сюжет в ней при всей его традиционности — повествование о пиратах, приключениях на море и затерянном острове — оригинален. Он построен по принципу увлекательной мальчишеской игры, вдохновляемой энергичной мечтой и требующей от юного участника приложения всех своих сил.

Герою романа Джиму Хокинсу, то ли подростку, то ли мальчику, автор не уточняет его возраст, приходится самостоятельно ориентироваться в сложной обстановке при неблагоприятных обстоятельствах, проявлять инициативу, идти на риск, напрягать мозг и мускулы, но также делать нравственный выбор, определять жизненную позицию. Им движет мечта, он предается ей с естественной восторженностью, действует, подталкиваемый необходимостью и любознательностью, руководствуется высокими чувствами и здравым соображением. Ему приходится встречать лицом к лицу опасность, глядеть в глаза смерти, прибегать к решительным и крайним мерам. Ему же удается познать радость моральной и практической победы.

Джим Хокинс являет собой образец характера цельного, слаженного, устойчивого, не ослабленного и малейшей червоточиной. Смело-доверчивое и здраво-энергичное, мужественное отношение Джима к жизни задает тон всей книге. И в ней не слышится ни назидательных интонаций, ни бодряческих ноток.

Пираты в «Острове Сокровищ» мало похожи на пиратов традиционных. Некогда пиратство носило узаконенный характер, правители Англии находили в пиратах поддержку для борьбы с флотом враждебных стран и дополнительный источник пополнения казны. Пиратство знало свои героические времена. Среди пиратов оказывались не одни авантюристы и головорезы, но и люди, преданные морской стихии, жаждавшие независимости и свободы. Литература помнит не только образ морского хищника, но и «благородного корсара». В пиратской теме сложилась романтическая традиция, идеализировавшая морского разбойника. Стивенсон и здесь идет своим путем. Его пираты лишь вспоминают знаменитого Флинта, да и этот герой, главарь шайки морских разбойников, представлен без розовой краски.

Ведь в самом деле, из «морских соколов», какими еще можно вообразить пиратов в эпоху Возрождения, они со временем превратились в грязных стервятников. Когда, например, в начале XVIII века в руки правосудия попалась личность не менее легендарная, чем Флинт, а именно капитан Кидд, то он удивил всех своей заурядностью. «Я знал, что он мерзавец,— даже с некоторым разочарованием сказал судья,— но не думал, что он еще и дурак».

Джим Хокинс и его друзья сталкиваются с пиратами, вовсе лишенными романтического ореола и какого-либо исторического обоснования для своих действий. Это сущие мародеры, утратившие опору хотя бы разбойничьего союза. Почти все они воплощение мерзкого негодяйства, злобного и хищного коварства. Джим в их среде — «остров», «Остров Сокровищ», и весь смысл его приключений — в самом себе обнаружить истинные сокровища. Под конец в награду за труды и в итоге победы он тоже получает долю пиратского наследства, но она не занимает его, другая «жар-птица» его манила, и если он почувствовал ее свет, то только в порывах самоотверженных исканий, о чем и поведал в своих воспоминаниях, предупредив читателя, что не скрывает «никаких подробностей, кроме географического положения острова».

Сочувствие Джиму и его друзьям, законным владетелям «Испаньолы», не мешает читателю среди всех персонажей выделить Джона Сильвера. Одноногий корабельный повар, соратник Флинта, невольно обращает на себя внимание. Джон Сильвер—значительная фигура в «Острове Сокровищ» и в ряду самых ярких характеров, созданных Стивенсоном. Этот персонаж остается в памяти и будоражит воображение своей незаурядностью. Джон Сильвер коварен, злобен, жесток, но также умен, хитер, энергичен, ловок. Его психологический портрет сложен и противоречив, однако убедителен. Невозможно облечь в риторические формулы отвлеченной морали подобную двойственность живого характера. Писателя озадачивала и волновала деятельная жизнеспособность зла и порока и их коварная привлекательность. С детства ему внушали религиозно-нравственные представления шотландских кальвинистов, строгие и рассудочные, покоившиеся на принципе четкого разделения добра и зла и безусловного воздаяния за добро и возмездия за зло. Едва он обрел способность самостоятельного суждения, он стал выражать сомнения и протест, но глубочайший интерес к нравственной сущности человека сохранился у него на всю жизнь.

Уже в ранние годы Стивенсона занимала проблема усложненного характера, душевные противоречия и контрасты, явления затемненности и раздвоенности сознания, смешавшие религиозно-нравственные представления о добре и зле. В середине семидесятых годов он замышлял написать книгу «таинственных» рассказов или рассказов «ужасов». Тогда замысел не был осуществлен, и Стивенсон вернулся к нему лишь спустя шесть лет. Намечено было название: «Черный человек и другие рассказы» (образ «черного человека» связан с народными поверьями, с представлением о «нечистой силе»). И на этот раз книга не получилась, но несколько рассказов все же было написано. Первый из них, «Окаянная Дженет», появился в октябре 1881 года. К этому же циклу

относится рассказ «Веселые Молодцы». Он был напечатан в журнале «Корнхилл» в июньском и июльском номерах за 1882 год, а затем в 1887 году в сборнике рассказов под тем же заглавием.

Стивенсону был дорог рассказ «Окаянная Дженет» его народными шотландскими мотивами, развивая которые, ему удалось убедительно передать случай драматического душевного состояния и его загадочность, передать в таком соотношении фантастического и реального, когда реальное вдруг представляется фантастическим, а фантастическое — реальным и вместе с тем не утрачивается ощущение подлинности происходящего. Стивенсон говорил, что он сам пережил состояние «смертельного» испуга, когда воспроизводил жуткие события и обстоятельства, в которых отразился дикий быт, мрачное поверье, суровая обстановка. Он ставил «Окаянную Дженет» рядом с «Тодом Лапрайком», с этим «кусочком живой Шотландии», как он называл написанную им на основе шотландской легенды «вставную новеллу» — «Рассказ Черного Энди о Тоде Лапрайке» (см. первую часть романа «Катриона»). Если бы, говорил он, «я не написал ничего, кроме «Тода Лапрайка» и «Окаянной Дженет», все же и тогда я был бы писателем».

Рассказу «Веселые Молодцы» необычайно высокую оценку дал Ричард Олдингтон. Он считал его произведением «подлинно трагическим и великолепно написанным от начала и до конца». Хотя бы в одном направлении Стивенсон «сделал здесь шаг вперед по сравнению с прозаиками своего времени. Может ли кто-либо, читавший «Веселых Молодцов», забыть содержащееся там описание бури?» Бури на Шетландских Островах, которая предшествует «Тайфуну» Джозефа Конрада. Превосходное описание бури читатель находит у Томаса Гарди в его романах «Вдали от безумствующей толпы» и «Возвращение на родину». Но это буря на суше, а не на море, о чем и говорит Олдингтон, мнение которого интересно уже в том отношении, что еще раз подтверждает разностороннее историко-литературное значение Стивенсона.

В 1885 году Стивенсон прочитал во французском переводе роман Достоевского «Преступление и наказание». Русский роман произвел на английского писателя потрясающее впечатление необычайно смелым и глубоким обсуждением нравственных проблем, столь близких интересу самого Стивенсона и представших теперь перед ним в отчетливой форме. Под непосредственным впечатлением от романа «Преступление и наказание» и был написан психологический этюд «Маркхейм», более известный нашему читателю под названием «Убийца» От «Маркхейма» открылся прямой путь к повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», так же как от рассказа «Олалла» — к роману «Владетель Баллантрэ».

В краткой исповеди, завершающей повесть «Странная история», ее герой, почтенный, добропорядочный доктор Генри Джекил, рассказывая о трагических последствиях фантастического опыта по расщеплению собственной личности, поясняет за автора суть волновавшей его проблемы.

Тяготясь повседневной рутиной, испытывая соблазн скрытых желаний, намереваясь определить грань между добром и злом в собственной душе и проверить прочность ее добродетельной основы, доктор Джекил посредством изобретенного им чудодейственного химического препарата обособляет темные ее силы. На свет является двойник доктора Джекила, уродливый карлик мистер Хайд, давая возможность своему патрону пережить захватывающее чувство полной внутренней собранности, легкости и свободы.

Мистер Хайд обнаруживает поразительную и заманчивую жизнеспособность, необычайно деятельную энергию, направленную, однако, исключительно к злодеянию. Мистер Хайд с наглядностью точно поставленного эксперимента демонстрирует потенцию дурных свойств доктора Джекила. В облике мистера Хайда он действует с решимостью автомата, не испытывая колебаний, нравственных сомнений или мук совести. Совершенная слаженность его существа оказывается не одухотворенной, а чисто механической слаженностью. В облике мистера Хайда доктор Джекил совершает преступление за преступлением, испытывая только два чувства — страх и злобу. Повторяя свои опыты, доктор Джекил все более подпадает под власть мистера Хайда, пока наконец не становится его жертвой.

Вдумчивый читатель угадывал трезво реальную сторону этой мрачной притчи. Прозревать ее живой смысл побуждали его и точно воспроизведенные в повести черты лондонского быта восьмидесятых годов. Для самого Стивенсона повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» явилась почти непроизвольным иносказанием давно переполнявших его чувств, сюжет и образы возникли у него во сне, картина сложилась в столь отчетливых и детализованных формах, что ему оставалось перенести ее на бумагу.

Стивенсон писал американскому художнику Уильяму Г. Лоу, отправляя ему экземпляр своей повести: «Посылаю Вам готического карлика... думаю, что этот карлик небезынтересен, он вышел из глубины моего существа, где сторожит фонтан слез». Повесть о Джекиле и Хайде сразу стала предметом широкого обсуждения, и, по словам современника, литератора Эдмунда Госса, с момента ее появления «Стивенсон, уже пользовавшийся восхищенным признанием сравнительно узкого круга, стал занимать центральное место в большом мире литературы».

В «Джекиле и Хайде» тему двойника Стивенсон разработал в приемах научной фантастики и детектива, оказав

влияние и на эти литературные жанры, на их развитие в английской литературе. Можно, например, «Невидимку» Герберта Уэллса ставить в определенную связь с этой повестью Стивенсона.

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» была опубликована в январе 1886 года. Прошло всего несколько месяцев, и уже в мае (в журнале «Янг Фолкс») появились первые главы «Похищенного» (в том же году роман вышел отдельным изданием). Некоторых биографов Стивенсона поражала подобная смена творческих замыслов. «Два произведения, столь различные по своей сути, редко выходили из-под пера одного и того же автора даже в гораздо более продолжительные промежутки времени»,— писал Стивен Гвинн, автор монографии «Роберт Луис Стивенсон». Все же несхожесть этих произведений не так разительна, как можно подумать. «Похищенного» соединяет с «Джекилом и Хайдом» внутренняя связь, не только «подчеркнутое внимание к нравственным вопросам» и «трезвая выразительность стиля».

В «Похищенном» и его продолжении, романе «Катриона», те же основные вопросы обсуждаются вновь и вновь. Стивенсон рассматривает их с разных сторон и уже не в условном плане. Его все более начинает интересовать историческая перспектива, он обращается к прошлому своей страны, к тем событиям и обстоятельствам, которые резко изменили ее социальный и политический облик: XVIII век, обострившаяся борьба Шотландии с Англией за независимость. Более далекие времена, эпоху вражды Алой и Белой розы (XV столетие), Стивенсон описал в первом своем историческом романе «Черная стрела», над которым он, готовя его для журнала «Янг Фолкс», работал еще в 1884—1885 годах. Отдельным изданием «Черная стрела» вышла уже в 1888 году. Стивенсон находился тогда в США, куда приехал еще раз на непродолжительный срок.

«Я отправляюсь в путешествие с горьким сердцем»,—писал Стивенсон близкому другу Чарлзу Бакстеру в мае 1888 года, когда он вместе с Фанни и ее детьми готовился отплыть из Сан-Франциско к тихоокеанским островам. Такое состояние писателя не было кратковременным, и причин у него имелось несколько, но в ту минуту все как-то сошлось на одном: неизбежный разрыв между Стивенсоном и Хенли. Это была не только потеря советчика, сотрудника; это пролегал рубеж, отсекающий полосу жизни — все прошлое, всю молодость. Стивенсон делился с Бакстером под непосредственным впечатлением письма от Хенли: «О, письмо Хенли! Я не могу прийти в себя после него».

Однако вопрос заключался не только в Хенли и его бесцеремонности. Как для ссоры с ним или с другими близкими

приятелями, нараставшей исподволь, нашелся в итоге заметный повод, так и сама размолвка лишь выражала процесс более глубокий и неотвратимый: иногда в литературе можно видеть, как распадаются связи юности, дружеские кружки и что значит это для их наиболее сознательных участников. Естественно в расцвете сил бросать гордый вызов: «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастие куда б ни повело, всё те же мы»,— и так же естественно перед натиском лет и обстоятельств признать эпохой позже: «Прошли года чредою незаметной, и как они переменили нас!» Пушкин оборвал рыданием чтение этих последних в его жизни стихов о «лицейской годовщине»...

И Стивенсон бился в конвульсиях: «Да, да, я пишу об этом ночь напролет, несмотря на всю пропасть работы, которая у меня на руках, и все за девять дней до отъезда. Это камень на моей могиле, мне никогда не вернуться по-настоящему к жизни. О, я говорю дикие вещи, но прежнего уже больше не будет». Стивенсон чувствовал свое бессилие остановить неумолимо растущую трещину или хотя бы уловить и учесть причины, побуждающие ее рост. Причины были действительно неисчислимы как сама жизнь, ее оттенки, а главное, как неуловимое чередование приобретений и утрат, которое сопровождает жизненное движение.

Наиболее беспристрастные и вдумчивые биографы впоследствии вполне объективно восстановили цепь событий: «Напористость Фанни подготовила почву. Коварство Хенли подыскало случай. И медленный по воспламеняемости характер Стивенсона дал в конце концов взрыв» (Дж. Фернес). Но это только внешние вехи, а там, в глубине, в человеческих натурах, прежде всего в самом Стивенсоне определялся новый этап его судьбы. Тот же Фернес справедливо отметил, что ссора с Хенли значительно продвинула Стивенсона к зрелости. И сам Хенли, что бы ни хотел он этим сказать, засвидетельствовал много лет спустя, уже после смерти Стивенсона, что в ту пору «Луис стал не тот».

Стивенсон, переживая в себе перемену, но не находя ей еще ни объяснения, ни названия и потому особенно ошеломленный, испытывал специфическое состояние душевной муки, переходящей в телесную боль: «Я бы ногу ему отдал ради того, чтобы зачеркнуть то, что случилось» (у Хенли была ампутирована одна нога, а другая с трудом спасена). Но прошлое было невозвратно, и Стивенсон, ступая на борт яхты «Каско», готовясь отбыть к незнакомым ему берегам, в самом деле держал курс на новые рубежи, устремлялся к какой-то другой жизни. Состояние его было смутно, тягостно. «Лучше всего,— писал он Бакстеру,— если бы «Каско» вместе со мной пошла ко дну. Ведь осталось дьявольски мало такого, ради чего стоило бы жить».

Но вот Америка скрылась за гребнем волн, и мало-помалу новизна морских впечатлений стала отвлекать Стивенсона от свежих его тревог. Предстояло увидеть те острова, где плавал и погиб знаменитый Кук, где русские кругосветные мореплаватели оставили на карте имена своей родины, где странствовал Герман Мелвилл, а потом написал об этих краях в «Тайпи» и «Ому», где чуть позже Стивенсона, но в ту же собственную пору искал пристанища тогда еще не признанный француз Поль Гоген, где потом вел «Снарка» Джек Лондон. Хуан Фернандес, «остров Робинзона Крузо», лежал в тех же водах, в неделях пути под парусом, как подтвердил это отважный Джошуа Слокам, шедший по следам своих прославленных соотечественников и соединивший удивительным маршрутом их судьбы. Словом, за два года, сменив три судна, Стивенсон посетил несколько архипелагов Тихого океана: на «Каско» — Маркизские, Паумоту (называемые теперь Туамоту) и Гавайские острова, на «Экваторе» — острова Гилберта и Самоа, на «Жанет Николь» — Маршалловы острова, Новую Каледонию. Более или менее продолжительные стоянки они делали в Папеэте, Гонолулу, Сиднее, Нумеа и, наконец, на Самоа.

Впечатления просились на бумагу. «Я слышу, как мой дневник взывает ко мне: «Пиши, пиши!» — сообщал Стивенсон Чарлзу Бакстеру.— У меня получится прекрасная книга путешествий, в этом я чувствую уверенность». Стивенсону казалось, что он сумеет рассказать об океане и об островах так, как не удавалось еще никому из писателей. Один только Мелвилл, создатель «Моби Дика», считался у него серьезным соперником. Стивенсон чувствовал себя настолько обновленным, что посылал сердечный привет Бобу Стивенсону (двоюродный брат), Симпсону и Хенли, то есть прежним друзьям, с которыми у него поочередно наступал разрыв. Писал он, как обычно, много, почти непрерывно, выполняя договор с американскими газетчиками.

Однако не тропические моря послужили Стивенсону основой наиболее значительного произведения, завершенного им в пору океанских странствий. Морская стихия освежила его, с воспрянувшими силами он мысленно вернулся в родную Шотландию и к сентябрю 1889 года закончил рукопись, которую уже не раз с безнадежностью прятал в стол,— «Владетель Баллантрэ». У почитателей Стивенсона в отношении к его вещам встречаются различные, подчас весьма неожиданные пристрастия; сам Стивенсон менял симпатии к своим произведениям; если же взглянуть на его наследие с более постоянной, историко-литературной точки зрения, то, безусловно, рядом с «Островом Сокровищ» и «Доктором Джекилом и мистером Хайдом» окажется «Владетель Баллантрэ». Многие находят этот роман чересчур мрачным, безрадостным и не особенно высоко ставят его. Но это взгляд субъективный,

так сказать, любительский. Между тем и в творчестве Стивенсона и в английской литературе вообще место «Владетеля Баллантрэ» определилось почти сразу. Тогда же, с выходом книги в свет, рецензент журнала «Бук Байер» писал: «В своем последнем романе «Владетель Баллантрэ» Стивенсон достиг для себя, кажется, высшего уровня. Я осмелился бы пойти дальше и утверждать, что ни одно из новейших беллетристических произведений на английском языке нельзя расценить столь высоко по шкале литературных достоинств, как это».

В романе соединились две темы, особенно глубоко занимавшие Стивенсона: границы добра и зла в человеческой природе и шотландская история. От ранней новеллы о беспутном Франсуа Вийоне к жутким опытам доктора Джекила Стивенсон сам, подобно дерзкому экспериментатору, вновь и вновь соединял и по-разному дозировал злое и доброе в своих персонажах, пристально наблюдая за результатами. Этим объясняется и его столь живой отклик на Достоевского. «Искалеченная даровитость», которую Стивенсон считал наиболее примечательным и вместе с тем опасным свойством старого приятеля — Хенли и которую он воплотил в памятной фигуре одноногого Сильвера, на этот раз в обличье более привлекательном и еще более опасном, выразилась в хозяине поместья Баллантрэ. Прежде для подобных экспериментов Стивенсон выбирал обстановку условную и главным образом случайную. Теперь же он встал на почву, ему хорошо знакомую и близкую во всех отношениях.

Стивенсон воспроизвел прибрежные районы Шотландии у Ирландского моря, где некогда он много бродил, отнеся повествование к середине XVIII столетия. И в судьбах, в характерах главных героев романа, двух братьев-соперников, сыновей лорда Дэррисдира, говорило шотландское прошлое. Сила, дьявольская удачливость и порочность одного, нравственная, но какая-то безжизненная натура другого, их путаные права наследства и неразрешимое пересечение чувств к одной женщине — весь клубок проблем Стивенсон признавал типично шотландским. «Мой роман — трагедия»,— говорил он, работая над «Владетелем Баллантрэ». Корни этой трагедии Стивенсон собирался проследить глубоко: в семейном укладе шотландцев, в традициях шотландского пуританизма, в чертах национального характера. «Все это в моем давнем вкусе»,— признавался он.

И Стивенсон горячо поначалу принялся за роман — еще в Америке. «Четыре части из шести или семи написаны и отправлены к издателю»,— сообщал он. Уже готовилась журнальная публикация «Владетеля Баллантрэ», когда Стивенсон оборвал над ним работу. Замысел оказался слишком усложненным, и дело дальше не двигалось. «Пять частей ясная, человеческая трагедия, последние же части, одна или

две, печально сознаваться, вырисовываются не столь ясно. Я даже сомневаюсь, стоит ли их писать. Они очень красочны, но фантастичны. Они путают и, я бы сказал, снижают начало»,— жаловался Стивенсон искушенному авторитету в литературной технике Генри Джеймсу. Перерыв был довольно длительным, и только на борту «Экватора» Стивенсон смог продолжить «Владетеля Баллантрэ».

То, что в свое время потребовало от Стивенсона особых усилий, весь искусно сконструированный им механизм повествования, а также всевозможная «фантастика», вроде неоднократного воскрешения из мертвых старшего брата, теперь хотя и выглядит по-прежнему красочным, но все-таки кажется несколько бутафорским. Тогда еще тот же Генри Джеймс добивался перемещения так называемой «точки зрения» в своих романах без передачи повествования от одного лица к другому, как это потребовалось Стивенсону. Но психологический конфликт, схваченный автором «Владетеля Баллантрэ», и направление, в котором Стивенсон стремился найти истоки семейной драмы Дэррисдиров, оказались принципиально новы и плодотворны; вот почему у новейших писателей нередко упоминается этот роман.

За время плавания совершилось важное событие в жизни Стивенсона и его семьи: в декабре 1889 года Стивенсон приобрел на острове Уполу (архипелаг Самоа) участок земли в двадцать гектаров, и на нем было начато строительство дома. Уполу с городом Апиа — наибольший из Самоанских островов. На нем тогда насчитывалось около трехсот белых жителей (архипелаг Самоа находился под тройным протекторатом — английской короны, Соединенных Штатов и Германии). Через Апиа и Сидней было налажено ежемесячное сообщение пароходом. Земля и строительство здесь были дешевы. Эти обстоятельства определили выбор Стивенсона, хотя сам по себе остров ему не очень понравился, например, Маркизские острова, Таити произвели на него гораздо большее впечатление. В этом смысле Стивенсон отличался от Гогена, на которого вначале не подействовала и экзотика. «Все та же Европа,— писал Гоген о Таити 1891 года,— Европа, от которой я хотел избавиться, да еще ухудшенная колониальным снобизмом, каким-то подражанием, детским и комичным до карикатуры. Это совсем не то, из-за чего я приехал так издалека». Потом Гоген несколько «отошел» и смягчился. «Цивилизация мало-помалу уходит от меня. Я начинаю мыслить просто, испытывать очень мало ненависти к моим ближним, лучше того — начинаю любить их. Я обладаю всеми радостями свободной жизни, животными и человеческими. Я избавляюсь от всего искусственного, я растворяюсь в природе...»

Стивенсон не был человеком подобных крайностей, и, хотя от его взора не ускользнул тот же «колониальный снобизм», который удручал Гогена, все-таки он смотрел с надеждой на новые берега. Его здоровье стало крепче, он успешно работал, и это давало ему основание называть себя «вполне довольным островитянином Южных морей».

Прошел, впрочем, почти год, прежде чем Стивенсон получил возможность окончательно обосноваться на Самоа: за это время была продвинута постройка дома, а Стивенсон и Фанни между тем совершили на «Жанет Николь» третье из своих плаваний. Тут Стивенсон чуть было не понес очень чувствительную потерю: едва они покинули Новую Зеландию, как на корабле от фейерверочных огней начался пожар, загорелся и один сундук из багажа Стивенсона — матрос готов был выбросить его за борт. Его вовремя остановили: в сундуке были все рукописи!

Но вот в октябре 1890 года Стивенсон впервые приветствовал Чарлза Бакстера с «добрым утром» из своего нового местожительства. Адрес был: Вайлима, Апиа, Самоа. Вайлима, то есть Пятиречье,— так называлось владение Стивенсона на океанском берегу у подножия горы Веа неподалеку от Апиа. Дом, правда, не был еще закончен, но уже обрел не только основание, а и четкие контуры; мирок, который друзья обозначили «Стивенсонией».

Жизнь Стивенсона была напряженна и однообразна — он писал. Теперь уже в буквальном и полном смысле — непрерывно писал. Стивенсон подымался в пять-шесть утра и работал до полудня, потом следовал перерыв, и с пяти вечера он снова садился за письменный стол. Отдыхом ему служили флейта, чтение вслух в семейном кругу и прогулки верхом. Так изо дня в день. К этому следует добавить, что на первых порах Стивенсон вместе со всем своим семейством помогал строить дом, вырубать кругом лес и т. д. Но, в общем, свидетельствуют очевидцы, почти вся его жизнь проходила в кабинете. Лишь два раза за весь самоанский период Стивенсон отлучился из дома так далеко, что ночевал не под крышей Вайлимы.

Художественные произведения, политические статьи о положении на Самоа, обширная переписка, которая сама по себе есть значительный литературный труд,— таков был объем работы Стивенсона.

За какой из литературных жанров ни взялся бы Стивенсон, он создавал в этом роде нечто классическое. Его книги путевых очерков положили начало целой традиции. Он написал образцовый приключенческий роман. Точно так же принадлежит ему несколько первоклассных стихотворений, ставших хрестоматийными. Многие знают с детства «Вересковый мед». В зрелом возрасте даже странно узнавать, что это написал Р. Л. Стивенсон или вообще кто-либо написал! Кажется, будто эта баллада существовала всегда, что при-

шла она к нам в самом деле из неведомой дали веков: столь «настоящей» сделал ее Стивенсон.

Писатель внимательно, а подчас с известной ревностью следит за новыми литературными именами и явлениями. Среди его корреспондентов крупные писатели: Джордж Мередит, Генри Джеймс, Конан Дойл, Киплинг, Дж. М. Барри, критики Эндрю Ланг и Эдмунд Госс. Его слава, а вместе с тем и благосостояние подымаются высоко. «С тех пор, как Байрон находился в Греции,— писал ему Эдмунд Госс,— ничто не привлекало такого внимания к литератору, как ваша жизнь в тропических морях».

Это, конечно, опасный для писателя уровень популярности: когда его личность и быт начинают привлекать читающую публику больше, чем его произведения. «Для романтического писателя не может быть худшей обстановки, чем романтическая, вот что стало ясно для меня,— рассуждал Оскар Уайльд под впечатлением от публицистической книги Стивенсона «Примечание к истории» (о самоанских событиях).— Живи Стивенсон на улице Гоуэр, он мог бы написать книгу вроде «Трех мушкетеров», между тем на острове Самоа он писал письма о немцах в «Таймс». Прославленный парадоксалист думал так, сидя за решеткой в Редингской тюрьме (через два года после смерти Стивенсона) и, должно быть, не зная как следует его последних книг. Да они тогда еще не все были опубликованы. В одном все-таки, сам опять же того не зная, уловил Оскар Уайльд существенный для Стивенсона мотив: как ни благоприятно складывалась жизнь писателя в красочных краях, его душой тянуло домой, в Шотландию. «Не многое остается в памяти за всю жизнь, дорогой Чарлз,— писал Стивенсон Бакстеру в августе 1890 года из гостиницы «Севастополь» в Ноумеа.— Когда оглядываешься на яркую, казалось бы, вереницу прежних дней, они мелькают один за другим, вспыхивая и тут же угасая, а в конце концов, словно во вращающемся калейдоскопе, составляют некий однообразный тон. Лишь некоторые вещи остаются сами по себе, и вот среди них мне всегда особенно ясно видится Ретланд Сквер». Так что Стивенсон по-своему стремился на «улицу Гоуэр», и, не имея практической возможности попасть снова в родные места, он постоянно возвращался туда мысленно — в своих книгах.

«Я дьявольски много работаю»,— извещал он Генри Джеймса на рубеже 1891—1892 годов.

Исследователи Стивенсона обратили внимание на то, что наиболее крупные свои произведения, созданные во время океанских странствий и жизни на Самоа, он написал о Шотландии. «Когда-то в молодости,— не без иронии заметил один его биограф,— у него не было времени заглянуть в Эдинбургскую библиотеку, зато теперь, из Вайлимы, он постоянно просит друзей высылать ему оттуда книги по шотландской

истории». Даже «Потерпевшие кораблекрушение», роман странствий, роман начинающийся и оканчивающийся на островах Океании, все-таки уводит читателя к Эдинбургу и Парижу.

«Потерпевшие кораблекрушение» — книга, в сущности, автобиографическая. Сквозь все приключения, которых Стивенсон, как истинно романтический писатель (согласно парадоксальной логике Уайльда), сам никогда не переживал, проступает схема его сознания и вырисовывается чуть смещенная, но в принципе выдержанная география его судьбы: Эдинбург, Париж, Сан-Франциско, Маркизские острова, Самоа... На страницах романа эти названия появляются несколько в иной последовательности, как и герой книги Лауден Додд, по крови шотландец, но по рождению американец. Все-таки шотландец — это, конечно, не случайно и существенно, а главное, ведь и другой персонаж, Джим Пинкертон,— американец, однако по-настоящему американец, и сразу видна между ними разница: это Стивенсон через Лаудена Додда вновь и вновь затрагивает столь важную для него самого проблему расставания с родиной, соприкосновения с американской психологией и особенно проблему призвания. Тут же как бы фоном развивается общественная линия книги: «дух нашего века, его стремительность, смешение всех племен и классов в погоне за деньгами, яростная и по-своему романтическая борьба за существование с вечной сменой профессий и стран»...

Так что же, если фигура Лаудена — символ, то, стало быть, сам автор — «потерпевший крушение»? Прямолинейно, разумеется, нельзя судить, но, безусловно, в книге много суровых авторских признаний и даже приговоров Стивенсона над самим собой.

«В юности я был во всем привержен идеалам своего поколения»,— говорит Лауден Додд, разумея молодежь интеллигентную, творческую, мечтавшую об успехах в искусстве, о высоком артистизме, о независимости духовной и материальной. Со временем рамки профессионализма, хотя бы истинно творческого и безупречного, кажутся ему слишком узкими. «Те, кто трудится в кабинетах и мастерских, возможно, умеют создавать прекрасные картины или увлекательные романы, но им не следует позволять себе судить об истинном предназначении человека, ибо об этом они ничего не знают». Трудно не увидеть тут же, что в устах недоучившегося дилетанта и неудачливого дельца, каким обрисован в романе Лауден Додд, подобные суждения звучат малоестественно. Тем заметнее, что это передано Лаудену Стивенсоном от себя. Однако Лауден продолжает: «Если бы я мог, то захватил бы с собой на остров Мидуэй всех писателей и художников моего времени. Я хотел бы, чтобы они испытали все то, что пришлось испытать мне: бесконечные дни разоча-

рования, жары, непрерывного труда, бесконечные ночи, когда болит все тело и все-таки ты погружаешься в глубокий сон, вызванный физическим утомлением. Я хотел бы, чтобы они... услышали пронзительные крики бесчисленных морских птиц, а главное, испытали бы это чувство отрезанности от всего мира, от всей современной жизни — здесь, на острове, день начинался не с появления утренних газет, а с восходом солнца...» Как видно, Стивенсон через посредство своего героя прописывает коллегам-литераторам рецепт, им на собственном опыте испробованный.

Оскар Уайльд, судя по всему, «Потерпевших кораблекрушение» не читал, однако кажется, будто прямо против этих программных тирад Стивенсона направлена его мысль, вызванная, впрочем, чтением Стивенсона же, только другой его книги — писем о Самоа. Уайльд нашел эту публицистику неудачной, она, по его мнению, свидетельствовала о творческом упадке Стивенсона в его поздний период, и в связи с этим Уайльд рассуждает: «Я вижу, какой страшной борьбы стоит вести естественную жизнь. Кто рубит дрова — для себя или для пользы других,— тот не должен уметь описывать это. Ведь естественная жизнь в действительности бессознательна... Если бы я и провел остальную часть жизни в кафе, читая Бодлера, все же она будет для меня более естественной, чем если б я стал чинить заборы или сажать какао в топком болоте».

Два крупных писателя, две этапные фигуры, замыкающие собой историю английской литературы XIX столетия, говорят вещи противоположные, но стоят перед одной проблемой — писатель и жизнь, творец и материал его труда в эпоху, когда литературное творчество окончательно и полностью сделалось профессией, собственно, ремеслом, средством существования наряду со всеми прочими занятиями. Творческая жизнь Шекспира как поэта и драматурга была, надо думать, не менее напряженной и насыщенной, чем у писателей конца прошлого века. Однако автор «Гамлета» жил главным образом не литературой, он преуспевал как хозяин театра, а драматургия в этом практическом смысле не могла еще в ту пору служить основным источником дохода. Но как быть Стивенсону, если именно гонорар за «Потерпевших кораблекрушение», и только гонорар, дал ему возможность завершить постройку дома в Вайлиме? Как ему быть, если та жизнь, которую он ведет с семьей на Самоа, требует от него фактически безостановочного писания? Где взять для этого силы и наконец запас наблюдений? Должен ли писатель новейшей эпохи уподобиться пауку и, забившись в угол, тянуть из себя нескончаемую паутину, поджидая тем временем какую-нибудь случайную жертву, чтобы поглотить ее, и она пойдет на изготовление все той же паутины? Сколь однообразно-серой получится нить! Следует ли художнику

идти на риск и где-то искать новизны ради накопления внутреннего багажа? Но когда и как, если творческий труд должен быть размеренным и регулярным, как всякая заурядная служба,— иначе нельзя будет этим трудом существовать?

Вопрос возник не во времена Стивенсона и Уайльда. Творческий профессионализм всегда являлся проблемой, но именно на исходе прошлого века эта, как и многие другие извечные проблемы, приобрела характер исключительно масштабный, массовый, и почти каждый человек, серьезно берущийся за перо, вынужден был решать ее для себя.

Кажется, совсем недавний предшественник Стивенсона и Уайльда — Диккенс — не знал таких проблем. Его недаром называют «невежественным великаном»: он создавал роман за романом, будто и не задумываясь, как это у него выходит. Но то лишь кажущееся неведение. Он преодолевал все трудности величием — иначе, чем способны были писатели более поздние, более скромные, которых литература, как особая сфера жизни, поглощала целиком. Стивенсон и Уайльд будто бы противоречат друг другу, а на самом деле предлагают одно и то же — жизненный эксперимент. Уайльд признает лишь эксперимент над собой и внутри себя. Стивенсон, прокладывая и в этом направлении путь для многих писателей нашего времени, звал и в прямом и переносном смысле «странствовать». Но тут вспоминается сомнительное одобрение, высказанное ему критиком, одобрение той популярности, которую он стяжал благодаря своему необычному образу жизни. Легенда вокруг личности писателя часто кладет конец серьезному воздействию его книг. С другой стороны, писатель, сколько-нибудь способствующий развитию легенды, невольно подает сигнал о том, что близко его творческое крушение.

Стивенсон, отважно провозглашавший во времена своих первых, европейских, поездок и ранних очерковых книг, что для него «жизнь — это литература», что «слова — часть его существа», с годами все осторожней говорит об этом. Неким мрачным заклинанием звучит одно из его поздних писем 1893 года — к маститому Джорджу Мередиту: «...Я работаю непрестанно. Пишу в постели, пишу, поднявшись с нее, пишу при кровотечении из горла, пишу совершенно больной, пишу, сотрясаемый кашлем, пишу, когда голова моя разваливается от усталости, и все-таки я считаю, что победил, с честью подняв перчатку, брошенную мне судьбой». Тут сила, но и беззащитность какая-то. И в «Потерпевших кораблекрушение», там, где слышен программный авторский пафос, там же — нота тревоги: Стивенсон чувствует, какие всесторонние трудности назревают для художника, для литературного профессионализма, верным рыцарем которого он себя признавал.

«Потерпевших кораблекрушение» и кое-что еще Стивенсон выпустил в соавторстве со своим пасынком Ллойдом Ос-

борном. Это признано самим Стивенсоном: на титульном листе романа стоят два имени. Но что означает подобное соавторство? Как могло сложиться сотрудничество прославленного писателя с ничем особенно не выделявшимся и очень еще молодым человеком? Вокруг Стивенсона все писали. Пробовала перо Фанни, и ее литературные опыты стоили Стивенсону дружбы с Хенли: новелла, сочиненная Фанни, явилась поводом для ссоры между ними. Ллойду Осборну Стивенсон посвятил «Остров Сокровищ» — его «образцовому вкусу». Ллойду было тогда пятнадцать лет. Посвящение, конечно, шутливое, но звучало оно вполне серьезно, так как имя «американского джентльмена» было обозначено только начальными буквами. Даже ближайшим друзьям Стивенсона и в голову не приходило, что господин, чье литературное чутье будто бы оказалось способным помочь в создании столь изящной книжки, пятнадцатилетний мальчик. Только на исходе своих дней, подготавливая собрание сочинений, Стивенсон раскрыл, что литеры Л. О. означают Ллойд Осборн. Тогда все стали принимать комплимент «образцовому вкусу» за добродушную иронию, а вместе с этим являлась мысль, что и последующее соавторство Стивенсона со своим пасынком — мистификация.

Нет, здесь Стивенсону было не до шуток. Оба отпрыска Фанни от первого ее мужа помогали Стивенсону в работе. Дочь — Айсобель Осборн, или, как ее называли, Бель, писала под диктовку. Ллойд, считалось, принимает участие более творческое — сочиняет сам, помогает развивать сюжет и т. д. Почему же в таком случае не мог он завершить оставшиеся после Стивенсона недописанными «Сент-Ив» и «Уир Гермистон»? Еще при жизни отчима Ллойд Осборн опубликовал самостоятельно один рассказ, а потом, когда Стивенсона уже не было, он напечатал несколько романов, новеллы и пьесы. Так что имеется возможность объективно оценить его данные — весьма средние. В самом деле, что-либо значительное подсказать Стивенсону Ллойд был едва ли способен. Его соавторство со Стивенсоном хотя и не являлось мистификацией, но в то же время не было действительным. Оно формально: приобщив Ллойда к своей работе, поставив его имя рядом со своим на обложке, Стивенсон обеспечивал за ним в дальнейшем авторские права.

«Деньги» или, точнее, «деньги для моей семьи» — вот слова, на каждом шагу попадающиеся в поздних письмах Стивенсона. Даже соболезнуя Бакстеру о смерти близкого человека, Стивенсон, извиняясь и прося его понять, сводит в конце концов разговор на деньги, на ту часть своего литературного наследства, которая должна достаться Айсобель Осборн. В этом отношении он действительно стал «не тот». У него возникает странный план: просить своих основных корреспондентов вернуть ему его письма с тем, чтобы тотчас собрать их в книгу, издать. «Я хочу,— пишет полушутя-полусерьезно Стивенсон,— чтобы в случае моей смерти моя более или менее в том неповинная и милая семья могла бы извлечь из этого денежную выгоду». Он прекрасно понимает бестактность подобной просьбы, но все-таки намерен просить Бакстера сыграть роль посредника, и тот поневоле ищет слова, чтобы разъяснить абсурдность такого плана — разъяснить Стивенсону, отличавшемуся всегда редкой душевной деликатностью. Бакстер подал другую мысль — выпустить собрание сочинений, назвав его «Эдинбургским». Стивенсон воспрянул духом. Ему необычайно понравились и сама идея и особенно титул «Эдинбургское издание Стивенсона». В ответ он писал Бакстеру нечто вроде того, что, осуществив «Эдинбургское издание», можно бы и умереть [1].

Слово «смерть» также на разные лады склоняется в эти годы Стивенсоном. Постоянные рассуждения о близкой смерти подсказаны резким ухудшением здоровья и все теми же заботами о будущем семьи, а потому возможная кончина писателя обсуждается всесторонне и практически им самим и вокруг него. «Кстати, мнение моей жены таково, что в случае моей смерти им придется выкупать дом и мебель у остальных наследников; так ли это? Жена упорно утверждает это, поэтому я спрашиваю твоего мнения, чтобы ответить ей»,— типичные для тех лет строки из письма Стивенсона.

Еще в декабре 1889 года, во время поездки Стивенсона по островам вместе с английскими миссионерами, он был представлен ими местному населению как Тузитала, то есть Рассказчик, Повествователь. Среди самоанцев репутацию Тузиталы ему снискал сборник повестей, из которого туземцы знали «Сатанинскую бутылку». Эту повесть Стивенсон пытался читать им еще в рукописи, а потом она была переведена на язык самоанцев. Самоанцы верили, что Тузитала в самом деле обладает волшебным сосудом и он хранится в сейфе, который занимал угол большого холла Вайлимы.

Однако Тузитала откликнулся на увиденное им на островах не только как увлекательный рассказчик. Те самые «письма о немцах» в «Таймс», а также составленное им «Примечание к истории», что так удручили своей политической прозой Оскара Уайльда, правдиво изображали бесчинства английской, американской и главным образом немецкой администрации на Самоа.

Сидней Колвин, публикуя письма позднего периода и комментируя их, просил читателей лишь из любви к Стивен-

---

[1] Иногда говорится, будто Киплинг был первым и единственным из английских писателей, чьи сочинения заслужили высокую честь выйти полным собранием при жизни автора. Впервые свое прижизненное собрание сочинений издал еще современник Шекспира Бен Джонсон (1616).

сону вникнуть в тогдашние перипетии самоанской политики: и ему это казалось мелким и не стоящим внимания. Но Сидней Колвин, почитатели, друзья были далеко, Стивенсон же видел все своими глазами и не только беспристрастно наблюдал, но старался дать политическое объяснение событиям, происходящим на Самоа. Его гражданское и гуманное чувство не позволило ему остаться в стороне. Он защищал интересы самоанцев. Вот почему на островах с особенным уважением произносили имя Тузиталы и бережно хранили память о нем.

Ллойд Осборн сказал однажды с недоумением, что его поражает несоответствие между гражданской горячностью и отзывчивостью отчима и малым количеством его выступлений по текущим событиям. В то же время некоторые доброжелатели считали, что талантливый и слабый здоровьем *писатель, истинный художник, слишком много потратил сил* и времени на публицистические письма, которые он с 1889 по 1895 год печатал в лондонской «Таймс» и в других газетах, выступая в защиту мира и справедливости. Эти письма дополняют книгу Стивенсона «Примечание к истории», изданную в конце 1892 года. Письма и книга рассказывают о бесчинствах колонизаторов, о «режиме террора» на островах Самоа, об испытаниях самоанцев. В Германии «Примечание к истории» было предано сожжению, а его издатели подверглись штрафу. Позиция Стивенсона была уверенной и определенной — он решительно расходился с теми английскими писателями, кто бил в милитаристский барабан, пропагандируя «величие» Британской империи.

Еще в 1881 году, когда он узнал подробности о действиях английских войск в Трансваале, он не мог сдержать своего возмущения. Он написал письмо-протест, назвав агрессивные действия англичан против буров мерзостными. «Кровь буквально закипает у меня в жилах,— писал он.— Не нам судить, способны буры к самоуправлению или не способны; в последнее время мы достаточно ясно показали Европе, что и наша нация отнюдь не самая гармоническая на свете... Быть может, настанет такой час в истории Англии, так как история эта еще не завершилась, когда ей придется испытать гнет какого-либо могущественного соседа; и хотя я не могу сказать, есть ли бог на небесах, я знаю, есть справедливость в цепи событий, которая еще заставит Англию за каждую каплю крови, взысканную ныне с Трансвааля, заплатить ведрами крови лучших из лучших».

Письмо выражало не минутное настроение писателя, а глубокие убеждения и чувства. Стивенсон просил жену передать письмо в печать, однако Фанни, опасаясь, по-видимому, враждебной реакции со стороны официального и благонамеренного общественного мнения, сулившего неприятные последствия для всей семьи, не выполнила поручения мужа.

Письмо не появилось тогда в печати, и в какой-то мере этот факт разъясняет недоумение Ллойда Осборна.

О нравственных принципах и гражданском мужестве Стивенсона может свидетельствовать его «Открытое письмо преподобному доктору Хайду из Гонолулу» от 25 февраля 1890 года в защиту памяти отца Дамьена, простого, но сильного духом человека, пожертвовавшего собой ради обреченных в лепрозории. Писатель сам посетил этот лагерь прокаженных и пробыл в нем около недели, рискуя здоровьем и жизнью.

Стивенсон не мог оставить без ответа клевету благоденствующего и политиканствующего служителя церкви, с которым был знаком и у которого был благосклонно принят. «Однако,— говорил Стивенсон в открытом письме,— существуют обязательства превыше благодарности и оскорбления, *которые решительно разделяют близких друзей, не то что* знакомых. Ваше письмо к преподобному Гейджу — документ такого свойства, что, на мой взгляд, если бы даже я умирал с голоду и Вы напитали меня хлебом, если бы Вы дежурили у постели моего умирающего отца, то и тогда я почел бы себя свободным нарушить долг вежливости».

Последние, наиболее масштабные по замыслу произведения Стивенсона позволяют, словно в панораме, увидеть целенаправленное движение его интересов, их последовательное развитие — от ранней пробы пера, очерка о Пентландском восстании, к поздним историческим романам. «Прошлое звучит в памяти!» — воскликнул Стивенсон в середине 80-х годов — он жил тогда в Борнемуте, а его тянуло в Эдинбург к воспоминаниям студенческой молодости. «Прошлое» было для него лично его прошлым на фоне древнего города, сердца Шотландии, ее старины. Это символическое совмещение, эта память стала для него еще более притягательной, когда он оказался далеко и к тому же безвозвратно далеко от родины. «Никогда не придется больше мне бродить возле Фишерз Трист и Гленроз. Никогда не увижу я больше Олд Рики. Никогда больше не ступит моя нога на наши пустоши»,— писал он в 90-х годах из Вайлимы земляку-шотландцу. И с этим чувством Стивенсон продолжал «Похищенного», писал «Катриону» (в журнальной публикации — «Дэвид Бэлфур») и «Сент-Ив», у него возникали очередные замыслы, и они так же, как эти романы, по месту и времени действия пролегали все в той же плоскости. Стивенсона интересовала Шотландия после 1745 года, пережившая в тот год последнюю решительную вспышку шотландского национализма. В отличие от Вальтера Скотта, демонстративно отнесшего действие «Уэверли» от начала XIX века на «шестьдесят лет назад» — как раз к 1745 году, Стивенсон отодвинул события этого времени, постоянно упоминаемые в его книгах, за пределы по-

вествования, в некую историческую перспективу, сделав их в сознании персонажей исходной точкой. «Вы уже не дитя, вы должны ясно помнить сорок пятый год и мятежи, охватившие всю страну»,— говорят Дэвиду Бэлфуру: это очень важная для Стивенсона дистанция во времени. Она дает ему возможность. как бы вместе с людьми середины XVIII столетия живо вспоминать роковой рубеж.

И опять-таки вместе со своим героем Стивенсон произносит следующие слова: «Есть пословица, что плоха та птица, которая грязнит собственное гнездо. Помнится, я слышал еще ребенком, что в Эдинбурге был мятеж, который дал повод покойной королеве назвать нашу страну дикой, и я давно понял, что этим мы ничего не достигли, а только потеряли. А потом наступил сорок пятый год, и все заговорили о Шотландии, но я ни от кого не слышал мнения, что в сорок пятом году мы что-нибудь выиграли».

Стивенсон мог с полным основанием сказать, что и он ребенком слышал о том же, о чем говорит Бэлфур, хотя для Бэлфура это непосредственная память его детства, а для Стивенсона — предания почти вековой давности. Но как бы там ни было, Стивенсон действительно слышал все это из живых уст — от родителей, от няни, от местных жителей. Он вырос в тех краях, где некогда должен был родиться, жить, бедствовать и добиваться у судьбы справедливости молодой человек середины XVIII века, современник смутной поры, решившей судьбу Шотландии. На собственном опыте писатель знал, что такое запас, заряд исторической памяти народа, передаваемый нераздельно от эпохи к эпохе. Стивенсон старался разобраться в наслоениях этой памяти. Она была для него и далеким историческим уроком и реальностью его собственных воспоминаний. Упорство шотландской патриархальной самобытности, английская политика, вклинившаяся между горной и равнинной Шотландией, распад и вражда кланов, характеры, формирующиеся в жестоких условиях,— «все это в моем давнем вкусе!» — мог бы сказать тут Стивенсон, как сказал некогда о «Владетеле Баллантрэ».

В романе «Сент-Ив» Стивенсон взял иное время, но от Шотландии не отвлекся. В 1892 году Генри Джеймс прислал ему мемуары наполеоновского генерала Марбо. Память о наполеоновских войнах вообще тогда вызвала вспышку литературного интереса. Любопытно, что в том же году ту же книгу получил из рук Джорджа Мередита Конан Дойл. Марбо послужил Конан Дойлу моделью для бравого бригадира Жерара. У Стивенсона Марбо не вызвал подобного вдохновения, но все-таки и Стивенсон, быть может, отчасти под воздействием этих воспоминаний, взялся за наполеоновскую тему, построив ее по-своему: французский военнопленный бежит

из Эдинбургского замка[1]. ...У Стивенсона намечался замысел еще одного исторического романа о Шотландии. «Идея в том,— писал он двоюродному брату,— чтобы сделать настоящий исторический роман, охватывающий эпоху целиком и народ, наш народ...» Он придумал только заглавие — «Дикий кот», что также может означать «Бродяга».

Шотландии же, ее национальному герою Роберту Фергюссону, воспетому Бернсом, Стивенсон намеревался посвятить собрание своих сочинений. Однако практические соображения взяли верх над патетикой, и в итоге Стивенсон адресовал посвящение жене. Судьба семьи поглощала его мысли, Он страшился творческого кризиса и утраты средств к существованию. «Я дошел до мертвой точки,— извещал он Бакстера.— Я обычно не помню прежних своих плохих состояний, но именно сейчас мне достаточно плохо, я имею в виду литературную работу; здоровье пока хорошо и крепко». О том, что он чувствует себя исписавшимся, конченным, Стивенсон говорил в эту пору многим. Болезни также оставили его в относительном покое ненадолго. Стивенсон стал испытывать заметные нелады с правой рукой. И вот она почти отнялась. Участились «визиты старого знакомого — Кровавого Джека»,— так называл Стивенсон кровотечение из горла. Творческая работа, однако, продолжалась заведенным порядком.

Однажды в эти последние свои годы Стивенсон сделал такое признание: «Да будет известно нынешнему подвижному поколению, что я, Роберт Луис Стивенсон, сорока трех лет от роду, проживший двадцать лет литературным трудом, написал недавно двадцать четыре страницы за двадцать один день, работая с шести утра до одиннадцати, а затем вновь с двух до четырех или около этого, без отдыха и перерыва. Таковы деяния богов нам, таковы возможности плодовитого писателя!»

В конце 1894 года Эдмунд Госс прислал Стивенсону книжку своих стихов с посвящением — «Тузитале». «Что ж, мой дорогой Госс,— отвечал ему Стивенсон,— желаю вам всяческого здоровья и процветания. Живите долго, тем более, что вам, видно, все еще нравится жить. Пишите новые книги, такие же хорошие, как эта; одно лишь будет для вас невозможно: вам не удастся больше никогда написать посвящение, которое доставило бы столько же удовольствия исчезнувшему Тузитале» (1 декабря 1894 года).

---

[1] «Сен-Ив», оставшийся, как и «Уир Гермистон», незаконченным, был дописан литератором А. Квиллер Кучем и вышел в свет в 1898 году. Первоначально наследники Стивенсона просили об этом Конан Дойла. Но автор Шерлока Холмса, считая себя в сравнении со Стивенсоном писателем недостаточно искусным, не взялся дорабатывать книгу.

3 декабря 1894 года Стивенсон по обыкновению с утра весь день напряженно работал над рукописью «Уира Гермистона», который был доведен почти до половины. К вечеру он спустился в гостиную. Жена была в мрачном настроении, и он старался развлечь ее. Потом собрались ужинать. Стивенсон принес из погреба бутылку бургундского. Вдруг он схватился за голову: «Что со мной?» И упал. Кровоизлияние в мозг. В начале девятого Тузиталы уже не было.

С почестями, в окружении самоанцев, покрытого государственным английским флагом, его подняли на вершину горы Веа. Все было исполнено по его стихам:

Здесь лежит он, где хотел лежать...

«Эдинбургское издание» своих сочинений, первые тома которого были подготовлены к выпуску при жизни автора, Стивенсон разбил на четыре раздела — романы, рассказы и повести, очерки и статьи, стихотворения,— думая разместить их примерно в пятнадцати книгах. Сидней Колвин, редактор издания, выпустил к 1897 году двадцать семь томов. В этом, как и в последующих, столь же многотомных и отнюдь не компактных изданиях, большую часть занимали литературные статьи, очерки, публицистика и переписка.

В настоящем собрании представлены лучшие художественные произведения Стивенсона.

М. Урнов

Рассказы и повести

НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА

Это было в последних числах ноября 1456 года. В Париже с нескончаемым, неутомимым упорством шел снег. Временами на улицы налетал ветер и тут же вздымал снежный смерч; временами наступало затишье, и тогда из темноты ночного неба в безмолвном кружении валили неисчислимые крупные хлопья. Бедному люду, поглядывавшему на все это из-под намокших бровей, оставалось только дивиться, откуда берется столько снега. Мэтр Франсуа Вийон, стоя днем у окна таверны, выдвинул такое предположение: то ли это языческий Юпитер щиплет гусей на Олимпе, то ли это линяют святые ангелы. Сам он всего лишь скромный магистр искусств и в вопросах, касающихся божественного, не смеет делать выводы. Дурашливый старый кюре из Монтаржи, затесавшийся в их компанию, тут же поставил юному мошеннику еще одну бутылку вина в честь как самой шутки, так и ужимок, с которыми она была преподнесена, поклялся своей седой бородой, что и сам он в этом возрасте был таким же богохульным щенком, как Вийон.

Воздух резал легкие, хотя лишь слегка подмораживало; хлопья были большие, влажные, липкие. Весь город словно укутали в простыню. Целая армия могла пройти из одного его конца в другой, и никто не услышал бы ни звука. Если пролетали в небе запоздалые птицы, то остров Сита виделся им как большая белая заплата, а мосты — как тонкие белые швы на черном полотнище реки. Высоко над землей снег садился на рельефы башен Собора Парижской богоматери. Многие ниши были сплошь забиты им, многие статуи надели высокие снеговые колпаки на свои рогатые или коронованные головы. Химеры на водостоках преврати-

лись в длинные, свисавшие вниз носы. На резьбе карнизов наросли сбившиеся на сторону подушки. В перерывы, когда ветер стихал, был слышен приглушенный звук капели по плитам паперти.

Кладбище Сен-Жан получило свою долю снега. Все могилы были благолепно укрыты; высокие белые крыши стояли вокруг в своем важном уборе, почтенные буржуа уже давно почивали в постелях, напялив на себя колпаки, не менее белоснежные, чем те, что были на их обиталищах; по всей округе ни огонька, кроме слабого мигания фонаря, качавшегося на церковных хорах и отбрасывавшего при каждом размахе причудливые тени. Еще не пробило десяти, когда мимо кладбища Сен-Жан, похлопывая рукавицами, прошли патрульные с фонарями и алебардами — прошли и не обнаружили ничего подозрительного в этих местах.

Но там, притулившись к кладбищенской стене, стоял домишко, и в нем единственном на всей похрапывающей во сне улице не спали, и это было явно не к добру. Снаружи его почти ничто не выдавало: только струйка дыма из трубы; темное пятно там, где снег подтаял на крыше, и несколько полузанесенных следов на пороге. Но внутри, за закрытыми ставнями, поэт Франсуа Вийон и кое-кто из воровской шайки, с которой он водился, коротали ночь за бутылкой вина.

Большая куча раскаленных углей в сводчатом камине рдела и дышала палящим жаром. Перед огнем, высоко подоткнув рясу и грея у гостеприимного огня свои жирные голые ноги, сидел монах-пикардиец Домине Николас. Его могучая тень надвое рассекала комнату, свет из камина еле пробивался по обе стороны его тучного тела и маленькой лужицей лежал между широко расставленными ногами. Одутловатая физиономия этого запойного пьяницы была вся покрыта сеткой мелких жилок, обычно багровых, а теперь бледно-фиолетовых, потому что хоть он и грел спину, но холод кусал его спереди. Капюшон рясы был у него откинут и топорщился двумя странными наростами по сторонам бычьей шеи. Так он восседал, ворча что-то себе под нос и рассекая комнату надвое своей мощной тенью.

По правую его руку Вийон и Ги Табари склонялись над куском пергамента: Вийон сочинял балладу, которую позднее назвал «Балладой о жареной рыбе», а Табари восторженно лопотал что-то у него за плечом.

Поэт был весьма невзрачный человек: небольшого роста, с впалыми щеками и жидкими черными прядями волос. Его двадцать четыре года сказывались в нем лихорадочным оживлением. Жадность проложила морщины у него под глазами, недобрые улыбки — складочки вокруг рта. В этом лице боролись волк со свиньей. Своим уродством, резкостью черт оно красноречиво говорило о всех земных страстях. Руки у поэта были маленькие, цепкие и узловатые, как веревки, пальцы все время мелькали перед его лицом со страстной выразительностью движений. Что касается Табари, то его приплюснутый нос и слюнявый рот так и говорили о разливанной, благодушной, восторженной глупости; он стал вором (так же как мог бы стать наитишайшим буржуа) силой всемогущего случая, который управляет судьбой гусей и ослов во образе человеческом.

По другую руку монаха играли в карты Монтиньи и Тевенен Пансет. В первом, как в павшем ангеле, еще сохранился какой-то след благородного происхождения и воспитания: что-то стройное, гибкое, изысканное в фигуре, что-то орлиное и мрачное в выражении лица. А бедняга Тевенен был сегодня в ударе: днем ему удалась одна мошенническая проделка в предместье Сен-Жак, а теперь он выигрывал у Монтиньи. Довольная улыбка расплылась на его лице, его розовая лысина сияла в венке рыжих кудрей, изрядное брюшко сотрясалось от подавляемого смеха каждый раз, как он загребал выигрыш.

— Ставишь или кончать? — спросил Тевенен.

Монтиньи угрюмо кивнул.

— «Есть предпочтут иные люди, — писал Вийон,— на позолоченной посуде». Ну, помоги же мне, Гвидо!

Табари хихикнул.

— «Или хотя б на серебре»,— писал поэт.

Ветер снаружи усиливался, он гнал перед собой снег, и временами вой его переходил в торжествующий рев, а потом в замогильные стенания в трубе. Мороз к ночи крепчал. Вийон, выпятив губы, передразнивал голос ветра, издавая нечто среднее между свистом и стоном. Именно этот талант беспокойного поэта больше всего не нравился пикардийскому монаху.

— Неужели вы не слышите, как он завывает у виселицы? — сказал Вийон.— И все они там сейчас от-

плясывают в воздухе дьявольскую жигу. Пляшите, пляшите, молодчики, все равно не согреетесь! Фу! Ну и вихрь! Наверняка кто-нибудь сорвался! Одним яблочком меньше на трехногой яблоне! А небось и холодно же теперь, Домине, на дороге в Сен-Дени? — сказал он.

Домине Николас мигнул обоими глазами, и кадык у него передернуло, словно он поперхнулся. Монфокон, самая ужасная из виселиц Парижа, видна была как раз с дороги в Сен-Дени, и слова Вийона задели его за живое. А Табари, тот всласть посмеялся шутке насчет яблочек — никогда еще он не слышал ничего смешнее. Он держался за бока и всхлипывал от хохота. Вийон щелкнул собутыльника по носу, отчего смех его перешел в приступ кашля.

— Будет ржать,— сказал Вийон,— придумай лучше рифму на «рыба».

— Ставишь или кончать? — ворчливо спросил Монтиньи.

— Конечно, ставлю,— ответил Тевенен.

— Есть там что-нибудь в бутылке? — спросил монах.

— А ты откупорь другую,— сказал Вийон.— Неужели ты все еще надеешься наполнить такую бочку, как твое брюхо, такой малостью, как бутылка? И как ты рассчитываешь вознестись на небо? Сколько потребуется ангелов, чтобы поднять одного монаха из Пикардии? Или ты вообразил себя новым Илией и ждешь, что за тобой пришлют колесницу?

— Hominibus impossibile[1],— ответил монах, наполняя свой стакан.

Табари был вне себя от восторга. Вийон еще раз щелкнул его по носу.

— Смейся моим шуткам,— сказал он.

— Но ведь смешно,— возразил Табари.

Вийон состроил ему рожу.

— Придумывай рифму на «рыба»,— сказал он.— Что ты смыслишь в латыни? Тебе же лучше будет, если ничего не поймешь на страшном суде, когда дьявол призовет к ответу Гвидо Табари, клирика,— сам дьявол с большим горбом и докрасна раскаленными когтями. А раз уж речь зашла о дьяволе,— добавил он шепотом,— то посмотри на Монтиньи.

[1] Для человека сие невозможно (*лат.*).

Все трое украдкой взглянули в ту сторону. Монтиньи по-прежнему не везло. Рот у игрока скривился набок, одна ноздря закрылась, а другая была раздута. У него, как говорится, черный пес сидел на загривке, и он тяжело дышал под этим зловещим грузом.

— Так и кажется, что заколет он своего партнера,— тараща глаза, прошептал Табари.

Монах вздрогнул, повернулся лицом к огню и протянул руки к каминному жару. Так на него подействовал холод, а вовсе не избыток чувствительности.

— Вернемся к балладе,— сказал Вийон.— Что же у нас получилось? — И, отбивая ритм рукой, он начал читать стихи вслух.

Но уже на четвертой строке игроки прервали его. Там что-то произошло в мгновение ока. Закончилась очередная партия, и Тевенен готовился объявить взятку, как вдруг Монтиньи стремительно, словно гадюка, бросился на него и ударил кинжалом прямо в сердце. Смерть наступила, прежде чем Тевенен успел вскрикнуть, прежде чем он успел отшатнуться. Судорога раз-другой пробежала по его телу, пальцы у него разжались и сжались снова, пятки дробно стукнули по полу, потом голова его отвалилась назад, к левому плечу, глаза широко раскрылись, и душа Тевенена Пансета вернулась к своему создателю.

Все вскочили, но дело было сделано мгновенно. Четверо живых глядели друг на друга сами мертвецки бледные, а мертвый как бы с затаенной усмешкой разглядывал угол потолка.

— Боже милостивый! — сказал наконец Табари и стал читать латинскую молитву.

И вдруг Вийон разразился истерическим хохотом. Он шагнул вперед и отвесил Тевенену шутовский поклон, засмеявшись при этом еще громче. Потом тяжело опустился на табурет, не в силах удержаться от надрывного смеха, словно разрывавшего его на куски.

Первым пришел в себя Монтиньи.

— А ну-ка, посмотрим, что там у него имеется,— сказал он и, мигом опытной рукой очистив карманы мертвеца, разложил деньги на столе четырьмя ровными стопками.— Это вам,— сказал он.

Монах принял свою долю с глубоким вздохом и только искоса взглянул на мертвого Тевенена, который начал оседать и валиться вбок со стула.

— Мы все в этом замешаны! — вскрикнул Вийон, подавляя свою радость.— Дело пахнет виселицей для каждого из присутствующих, не говоря об отсутствующих.

Он резко вздернул правую руку, высунул язык и наклонил голову набок, изображая повешенного. Потом ссыпал в кошелек свою часть добычи и зашаркал ногами по полу, как бы восстанавливая кровообращение.

Табари последний взял свою долю. Он ринулся за ней к столу, а потом забился с деньгами в дальний угол комнаты.

Монтиньи выпрямил на стуле тело Тевенена и вытащил кинжал. Из раны хлынула кровь.

— Вам, друзья, лучше бы убраться отсюда,— сказал он, вытирая лезвие о камзол своей жертвы.

— Да, верно,— судорожно глотнув, проговорил Вийон.— Черт побери его башку! — вдруг взорвался он.— Она у меня как мокрота в горле. Какое человек имеет право быть рыжим и после смерти? — И он снова рухнул на табурет и закрыл лицо руками.

Монтиньи и Домине Николас громко засмеялись, и даже Табари слабо подхихикнул им.

— Эх ты, плакса,— сказал монах.

— Я всегда говорил, что он баба,— с презрительной усмешкой сказал Монтиньи.— Да сиди ты! — крикнул он, встряхивая мертвеца.— Затопчи огонь, Ник!

Но Нику было не до этого, он преспокойно взял кошелек Вийона, который, весь дрожа, едва сидел на той самой табуретке, на которой три минуты назад сочинял балладу. Монтиньи и Табари знаками потребовали принять их в долю, что монах также молчаливо пообещал им, пряча кошелек за пазуху своей рясы. Артистическая натура часто оказывается не приспособленной к практической жизни.

Едва успел монах закончить свою операцию, как Вийон встряхнулся, вскочил на ноги и стал помогать ворошить и затаптывать угли. Тем временем Монтиньи приоткрыл дверь и осторожно выглянул на улицу. Путь был свободен, поблизости ни следа назойливых патрулей. Но все же решено было уходить поодиночке, и так как сам Вийон спешил как можно скорей избавиться от соседства мертвого Тевенена, а остальные еще больше спешили избавиться от него самого, пока он не

обнаружил кражи, ему было предоставлено первому выйти на улицу.

Ветер наконец осилил и прогнал с неба все тучи. Только тонкие волокнистые облачка быстро скользили по звездам. Было пронизывающе холодно, и в силу известного оптического обмана все очертания казались еще более четкими, чем при ярком солнце. Спящий город был совершенно безмолвен. Скопление белых колпаков, нагромождение маленьких Альп, озаренных мерцающими звездами. Вийон проклял свою незадачу. Снег больше не идет! Ведь теперь, куда он ни подастся, повсюду за ним будет неизгладимый след на сверкающей белизне улиц; куда он ни подастся, он всюду будет прикован к дому на кладбище Сен-Жан; куда он ни подастся, он сам протопчет себе дорогу от места преступления к виселице. Насмешливый взгляд мертвеца приобрел теперь для него новое значение. Он щелкнул пальцами, словно подбадривая самого себя, и, не выбирая дороги, наугад шагнул по снегу в один из переулков.

Два видения преследовали его неотступно: Монфоконская виселица, какой она представлялась ему в эту ясную ветреную ночь, и мертвец с лысиной в венке рыжих кудрей. Оба видения сжимали ему сердце, и он все ускорял шаг, как будто от назойливых мыслей можно было убежать. По временам он тревожно и быстро озирался через плечо, но на заснеженных улицах, кроме него, не было ни души, и только ветер, вырываясь из-за углов, то и дело взметал прихваченный морозом снег струйками поблескивающей снежной пыли.

Вдруг он увидел вдали черное пятно и огоньки фонарей. Пятно двигалось, и фонари покачивались из стороны в сторону. Это был патруль. И хотя он лишь пересекал улицу, Вийон счел за благо поскорее скрыться с глаз. Ему совсем не хотелось услышать оклик патрульных, но он отлично понимал, как выделяется на снегу его одинокая фигура. По левую руку от него возвышался пышный когда-то особняк с башенками и портиком парадных дверей. Вийон помнил, что здание заброшено и давно пустует. Он в три шага достиг его и укрылся за выступом портика. Там было совсем темно после блеска заснеженных улиц, и, вытянув вперед руки, он нащупывал дорогу, как вдруг наткнулся на что-то странное на ощупь, одновременно и жесткое и мягкое, плотное и податливое. Сердце у него екнуло, он отпря-

нул назад и стал испуганно вглядываться в это препятствие. Потом с чувством облегчения засмеялся. Всего-навсего женщина, и к тому же мертвая. Он стал возле нее на колени, чтобы удостовериться в этом. Она уже одеревенела и закоченела, как ледышка. Рваное кружево трепалось на ветру, едва держась на ее волосах, а щеки были совсем недавно густо нарумянены. В карманах ни гроша, но в чулке, ниже подвязки, Вийон нашел две маленькие монетки, те, что зовут в народе «беляшками». Не жирно, но хоть что-нибудь, и поэта взволновала мысль, что женщина умерла, так и не успев потратить их. Странная и жалостливая история Он перевел взгляд с монеток на мертвую и обратно и покачал головой, размышляя о загадках человеческой жизни Генрих Пятый английский умер в Венсенне сразу после того, как завоевал Францию, а эта бедняжка замерзла на пороге дома какого-то вельможи, так и не истратив двух беляшек. . Да, жестоко управляет миром судьба Долго ли истратить эти две монетки, и все-таки во рту был бы еще один вкусный кусок, и губы лишний раз со смаком причмокнули бы перед тем, как дьявол заберет душу, а тело пожрут вороны или крысы. Нет, что касается его, то пусть уж свечка догорает до конца, прежде чем ее задуют, а фонарь разобьют.

Пока эти мысли проносились у него в мозгу, он почти машинально стал нащупывать кошелек в кармане. И вдруг сердце у него остановилось. Холодные мурашки побежали по икрам, и на голову словно обрушился удар. С минуту он стоял, как бы оцепенев, потом судорожным движением снова сунул руку в карман и наконец осознал свою потерю, и тогда его сразу бросило в пот. Для гуляки деньги — это нечто живое и действенное, всего лишь тонкая завеса между ним и наслаждением. Предел этому наслаждению кладет только время. С несколькими луидорами в кармане гуляка чувствует себя римским императором, пока не истратит их до последнего гроша. Такому потерять деньги — значит испытать величайшее несчастье, мгновенно перенестись из рая в ад, после всемогущества впасть в полное ничтожество. И особенно, если ради этого суешь голову в петлю, если завтра тебя ждет виселица в расплату за тот же кошелек, с таким трудом добытый и так глупо утерянный!

Вийон стоял, сыпля проклятиями, и вдруг швырнул обе беляшки на улицу, погрозил кулаком небесам и затопал ногами, не очень смутившись тем, что они попирают труп несчастной женщины. Потом он быстро зашагал обратно к дому близ кладбища. Он позабыл всякий страх, позабыл про патруль, который, правда, был теперь уже далеко, забыл про все, кроме утерянного кошелька. Напрасно оглядывал он сугробы по обе стороны дороги: нигде ничего не было Нет, он обронил его не на улице. Может быть, еще в доме? Ему так хотелось пойти туда и поискать, но мысль о страшном бездыханном обитателе этого дома пугала его. И кроме того, подойдя поближе, он увидел, что их усилия загасить огонь оказались безуспешными, более того, пламя там разгоралось, и пляшущие отсветы его в окнах и щелястой двери подстегнули в поэте страх перед властями и парижской виселицей.

Он вернулся под арку особняка и стал шарить в снегу в поисках монеток, выброшенных в порыве ребячливой досады. Но найти ему удалось только одну беляшку, другая, должно быть, упала ребром и глубоко зарылась в снег. С такой мелочью в кармане нечего было и мечтать о буйной ночи в каком-нибудь притоне. И не только мечта об удовольствии, смеясь, ускользнула из его пальцев, ему стало не на шутку плохо, все тело заломило от нешуточной боли, когда он остановился перед аркой этого дома. Пропотевшее платье высохло на нем; и хотя ветер стих, крепчавший с каждым часом мороз пробирал его до мозга костей. Что ему делать? Время, правда, позднее, рассчитывать на успех не приходится, но он все же попытает счастья у своего приемного отца — капеллана церкви Святого Бенуа.

Всю дорогу туда он бежал бегом и, добежав, робко постучал в дверь. Ответа не было. Он стучал снова и снова, смелея с каждым ударом. Наконец внутри послышались шаги. Зарешеченный глазок обитой железом двери приоткрылся, и через него глянул луч желтоватого света

— Станьте поближе к окошечку,— сказал изнутри голос капеллана.

— Это я,— жалобно протянул Вийон.

— Ах, это ты, вот как! — сказал капеллан и разразился вовсе не подобающей священническому сану бранью за то, что его потревожили в такой поздний

час, а под конец послал своего приемного сына обратно в ад, откуда он, должно быть, и пожаловал.

— Руки у меня посинели,— молил Вийон.— Ноги замерзли и уже почти не чувствуют боли, нос распух от холода, мороз у меня и на сердце. Я не доживу до утра. Только на этот раз, отец мой, и, как перед богом, больше я не попрошусь к вам.

— Пришел бы пораньше,— холодно возразил капеллан.— Молодых людей надо кое-когда учить уму-разуму.— Он захлопнул глазок и не спеша удалился.

Вийон был вне себя, он колотил в дверь руками и ногами и бранился вслед капеллану.

— Вонючий старый лис! — кричал он.— Попадись ты мне только, я тебя спихну в тартарары!

Где-то далеко в глубине переходов хлопнула дверь, и звук этот еле донесся до уха поэта. Он с проклятием утер рот рукою. Потом, поняв всю комичность своего положения, рассмеялся и с легким сердцем поглядел на небо, туда, где звезды подмигивали, потешаясь над его неудачей.

Что ему делать? Похоже, придется провести эту ночь на морозе. Ему вспомнилась замерзшая женщина, и мысль о ней оледенила его сердце страхом. То, что случилось с ней поздним вечером, может случиться с ним под утро. А он так молод! И столько еще у него впереди всяких буйств и развлечений! Глядя на себя как бы со стороны, он совсем растрогался при мысли о такой судьбе, и воображение тут же нарисовало ему картину, как утром найдут его окоченевшее тело.

Вертя в пальцах беляшку, он мысленно перебрал все шансы. К несчастью, он перессорился со своими старыми друзьями, которые когда-то выручали его в подобных случаях. Он издевался над ними в своих стихах, дрался с ними, обманывал их. И все же теперь, в час последней крайности, хотя бы один человек, пожалуй, смягчится Вот он, единственный шанс. Во всяком случае, попытаться стоило, и он непременно это сделает.

В пути два обстоятельства, сами по себе не столь уж значительные, настроили его мысли совсем на другой лад. Сначала он напал на след патруля и шел по нему несколько сот шагов. Это уводило его в сторону от цели, зато он приободрился: хоть свои следы запутаешь. Ему не давал покоя страх, что его выслеживают по всему занесенному снегом Парижу и схватят сонным

еще до рассвета. Второе обстоятельство было совсем иного рода. Он прошел мимо перекрестка, где несколько лет назад волки сожрали женщину с ребенком. Погода была сейчас самая для этого подходящая, и волкам опять могло прийти в голову прогуляться по Парижу. А тогда одинокий прохожий на этих пустынных улицах едва ли отделается одним испугом. Он остановился и наперекор самому себе стал озираться — в этом месте сходилось несколько улиц. Он вглядывался в каждую из них, не покажутся ли на снегу черные тени, и, затаив дыхание, вслушивался, не раздастся ли вой со стороны реки. Ему вспомнилось, как мать рассказывала про этот случай и водила его сюда показывать место. Его мать! Знать бы, где она теперь — тогда убежище было б ему обеспечено. Он решил, что утром же справится о ней и непременно сходит навестить ее, бедную старушку! С такими мыслями он подошел к знакомому дому — здесь была его последняя надежда на ночлег.

В окнах было темно, как и по всей улице, но, постучав несколько раз, он услышал, что внутри задвигались, отперли где-то дверь, а потом чей-то голос осторожно спросил, кто там. Поэт назвал себя громким шепотом и не без страха стал ждать, что же будет дальше. Ждать пришлось недолго, вверху распахнулось окно, и на ступени выплеснули ведро помоев. Это не застало Вийона врасплох, он стоял прижавшись, насколько было возможно, к стене за выступом входной двери, и все же мигом промок от пояса до самых пяток. Штаны на нем сейчас же обледенели. Смерть от холода и простуды глянула ему прямо в лицо. Он вспомнил, что с самого рождения склонен к чахотке, и прочистил горло, пробуя, нет ли кашля. Но опасность заставила его взять себя в руки. Пройдя несколько сот шагов от той двери, где ему оказали такой грубый прием, он приложил палец к носу и стал размышлять. Единственный способ обеспечить себе ночлег — это самому найти его. Поблизости стоял дом, в который как будто не трудно будет проникнуть. И он сейчас же направил к нему свои стопы, теша себя по пути мыслями о столовой с еще не остывшим камином, с остатками ужина на столе. Там он проведет ночь, а поутру уйдет оттуда, прихватив посуду поценней. Он даже прикидывал, какие яства и какие вина было бы предпочтительнее найти

на столе, и, перебирая в уме все свои самые любимые блюда, вдруг вспомнил про жареную рыбу. Вспомнил — и усмехнулся и в то же время почувствовал ужас.

«Никогда мне не закончить эту балладу»,— подумал он, и его всего передернуло при новом воспоминании.

— Черт бы побрал эту башку! — громко проговорил он и плюнул на снег.

В намеченном им доме на первый взгляд было темно; но когда Вийон стал приглядывать уязвимое для атаки место, за плотно занавешенным окном мелькнул слабый луч света.

«Ах ты, черт! — мысленно ругнулся он.— Не спят! Какой-нибудь школяр или святоша, будь они неладны! Нет, чтобы напиться как следует и храпеть взапуски с добрыми соседями! А на кой тогда бес вечерний колокол и бедняги звонари, что надрываются, повиснув на веревках? И к чему тогда день, если сидеть до петухов? Да чтоб им лопнуть, обжорам! — Он ухмыльнулся, видя, куда завели его такие рассуждения.— Ну, каждому свое,— добавил он,— и коль они не спят, то, клянусь богом, тем более оснований честно напроситься на ужин и оставить дьявола с носом».

Вийон смело подошел к двери и постучал твердой рукой. В предыдущие разы он стучал робко, боясь привлечь к себе внимание. Но теперь, когда он раздумал проникать в дом по-воровски, стук в дверь казался ему самым простым и невинным делом. Звуки его ударов, таинственно дребезжа, раздавались по всему дому, словно там было совсем пусто. Но лишь только они замерли вдали, как послышался твердый, размеренный шаг, потом стук отодвигаемых засовов, и одна створка двери широко распахнулась, точно тут не знали коварства и не боялись его. Перед Вийоном стоял высокий, сухощавый, мускулистый мужчина, правда, слегка согбенный годами. Голова у него была большая, но хорошей лепки; кончик носа тупой, но переносица тонкая, переходящая в чистую, сильную линию бровей. Рот и глаза окружала легкая сетка морщинок, и все лицо было обрамлено густой седой бородой, подстриженной ровным квадратом.

При свете мигающей в его руках лампы лицо этого человека казалось, может быть, благородней, чем на самом деле; но все же это было прекрасное лицо, скорее почтенное, чем умное, и сильное, простое, открытое.

— Поздно вы стучите, мессир,— учтиво сказал старик низким, звучным голосом.

Весь сжавшись, Вийон рассыпался в раболепных извинениях; в таких случаях, когда дело доходило до крайности, нищий брал в нем верх, а гениальность отступала назад в смятении.

— Вы озябли,— продолжал старик,— и голодны. Что ж, входите.— И он пригласил его войти жестом, не лишенным благородства.

«Знатная шишка»,— подумал Вийон. А хозяин тем временем поставил лампу на каменный пол прихожей и задвинул все засовы.

— Вы меня простите, но я пойду впереди,— сказал он, заперев дверь, и провел поэта наверх в большую комнату, где пылко рдела жаровня и ярко светила подвешенная к потолку лампа. Вещей там было немного: только буфет, уставленный золоченой посудой, несколько фолиантов на столике и рыцарские доспехи в простенке между окнами. Стены были затянуты превосходными гобеленами, на одном из них — распятие, а на другом — сценка с пастухами и пастушками у ручья. Над камином висел щит с гербом.

— Садитесь,— сказал старик,— и простите, что я вас оставлю одного. Сегодня, кроме меня, в доме никого нет, и мне самому придется поискать для вас что-нибудь из еды.

Едва только хозяин вышел, как Вийон вскочил с кресла, на которое только что присел, и с кошачьим рвением, по-кошачьи пронырливо стал обследовать комнату. Он взвесил на руке золотые кувшины, заглянул во все фолианты, разглядел герб на щите и пощупал штоф, которым были обиты кресла. Он раздвинул занавеси на окнах и увидел, что цветные витражи в них, насколько удавалось разглядеть, изображают какие-то воинские подвиги. Потом, остановившись посреди комнаты, он глубоко вздохнул, раздув щеки, задерживая выдох и повернувшись на каблуках, снова огляделся по сторонам, чтобы запечатлеть в памяти каждую мелочь.

— Сервиз из семи предметов,— сказал он.— Будь их десять, я, пожалуй, рискнул бы. Чудесный дом и чудесный старикан, клянусь всеми святыми!

Но, услышав в коридоре приближающиеся шаги, он шмыгнул на место и со скромным видом стал греть мокрые ноги у раскаленной жаровни.

Хозяин вошел, держа в одной руке блюдо с мясом, а в другой кувшин вина. Он поставил это на стол, жестом пригласил Вийона пододвинуть кресло, а сам достал из буфета два кубка и тут же наполнил их.

— Пью за то, чтобы вам улыбнулась Судьба,— сказал он, торжественно чокнувшись с Вийоном.

— И за то, чтобы мы лучше узнали друг друга,— осмелев, сказал поэт.

Любезность старого вельможи повергла бы в трепет обычного простолюдина, но Вийон повидал всякие виды. Не раз ему случалось развлекать сильных мира сего и убеждаться, что они такие же негодяи, как и он сам. И поэтому он с жадностью принялся уписывать жаркое, а старик, откинувшись в кресле, пристально и с любопытством наблюдал за ним.

— А у вас кровь на плече, милейший,— сказал он.

Это, должно быть, Монтиньи приложился своей мокрой лапой, когда они покидали дом. Мысленно он послал ему проклятие.

— Я не виноват,— пробормотал он.

— Я так и думал,— спокойно проговорил хозяин.— Подрались?

— Да, вроде того,— вздрогнув, ответил Вийон.

— И кого-нибудь зарезали?

— Нет, его не зарезали,— путался поэт все больше и больше.— Все было по-честному — просто несчастный случай. И я к этому не причастен, разрази меня бог! — добавил он с горячностью.

— Одним разбойником меньше,— спокойно заметил хозяин.

— Вы совершенно правы,— с несказанным облегчением согласился Вийон.— Такого разбойника свет не видывал. И он сковырнулся вверх копытами. Но глядеть на это было не сладко. А вы, должно быть, нагляделись мертвецов на своем веку, мессир? — добавил он, посмотрев на доспехи.

— Вволю,— сказал старик.— Я воевал, сами понимаете.

Вийон отложил нож и вилку, за которые только было взялся.

— А были среди них лысые? — спросил он.

— Были, бывали и седые, вроде меня.

— Ну, седые — это еще не так страшно,— сказал Вийон.— Тот был рыжий.— И его снова затрясло, и он постарался скрыть судорожный смех большим глотком вина.— Мне не по себе, когда я об этом вспоминаю,— продолжал он.— Ведь я его знал, будь он неладен! А потом в мороз лезет в голову всякая чушь, или от этой чуши мороз пробирает по коже — уж не знаю, что от чего.

— Есть у вас деньги? — спросил старик.

— Одна беляшка,— со смехом ответил поэт.— Я вытащил ее из чулка замерзшей девки тут в одном подъезде. Она была мертвее мертвого, бедняга, и холодна, как лед, а в волосах у нее были обрывки ленты. Зима — плохое время для девок, и волков, и бродяг, вроде меня.

— Я Энгерран де ла Фейе, сеньор де Бризету, байи из Пататрака,— сказал старик.— А вы кто?

Вийон встал и отвесил подобающий случаю поклон.

— Меня зовут Франсуа Вийон,— сказал он.— Я нищий магистр искусств здешнего университета. Немного обучен латыни, а пороки превзошел всякие. Могу сочинять песни, баллады, лэ, вирелэ и рондели и большой охотник до вина. Родился я на чердаке, умру, возможно, на виселице. К этому прибавлю, что с этой ночи я ваш покорнейший слуга, мессир.

— Вы не слуга мой, а гость на эту ночь, и не более,— сказал вельможа.

— Гость, преисполненный благодарности,— вежливо сказал Вийон, молча поднял кубок в честь своего хозяина и осушил его.

— Вы человек неглупый,— сказал старик, постукивая себя по лбу,— очень неглупый и образованный, и все же решаетесь вытащить мелкую монету из чулка замерзшей на улице женщины. Вам не кажется, что это похоже на воровство?

— Такое воровство не хуже военной добычи, мессир.

— Война — это поле чести, — горделиво возразил старик.— Там ставкою жизнь человека. Он сражается во имя своего сюзерена-короля, своего властелина господа бога и всего сонма святых ангелов.

— А если,— сказал Вийон,— если я действительно вор, то разве я не ставлю на карту свою жизнь, да еще при более тяжких обстоятельствах?

— Ради наживы, не ради чести.

— Ради наживы? — пожимая плечами, повторил Вийон.— Нажива! Бедняге надо поужинать, и он промышляет себе ужин. Как солдат в походе. А что такое эти реквизиции, о которых мы так много слышим? Если даже те, кто их налагает, не поживятся ими, то для тех, на кого они наложены, они все равно ущерб. Солдаты бражничают у бивачных костров, а горожанин отдает последнее, чтобы оплатить им вино и дрова. А сколько я перевидал селян, повешенных вдоль дорог; помню, на одном вязе висело сразу тридцать человек, и, право же, зрелище это было не из приятных. А когда я спросил кого-то, почему их повесили, мне ответили, что они не могли наскрести достаточно монет, чтобы ублаготворить солдат.

— Это горькая необходимость войны, которую низкие родом должны переносить с покорностью. Правда, случается, что некоторые военачальники перегибают палку. В каждом ранге могут быть люди, не знающие жалости, а, кроме того, многие из наемников самые настоящие бандиты.

— Ну вот, видите,— сказал поэт,— даже вы не можете отличить воина от бандита, а что такое вор, как не бандит-одиночка, только более осмотрительный? Я украду две бараньи котлеты, да так, что никто и не проснется. Фермер поворчит малость и преспокойно поужинает тем, что у него осталось. А вы нагрянете с победными фанфарами, заберете всю овцу целиком да еще прибьете в придачу. У меня фанфар нет; я такой-сякой, я бродяга, прохвост, и вздернуть-то меня мало. Что ж, согласен. Но спросите фермера, кого из нас он предпочтет, а кого с проклятием вспоминает в бессонные зимние ночи?

— Поглядите на нас с вами,— сказал сеньор.— Я стар, но крепок, и всеми почитаем. Если бы меня завтра выгнали из моего дома, сотни людей рады были бы приютить меня. Добрые простолюдины готовы были бы провести с детьми ночь на улице, если бы я только намекнул, что хочу остаться один. А вы скитаетесь без приюта и рады обобрать умершую женщину, не гнушаясь и мелочью. Я никого и ничего не боюсь, а вы, я сам видел, от одного слова дрожите и бледнеете. Я спокойно жду в своем доме часа, когда меня призовет к себе господь или король призовет на поле битвы. А вы ждете виселицы, насильственной мгновенной смерти, лишенной и чести и надежды. Разве нет между нами разницы?

— Мы небо и земля,— согласился Вийон.— Но, если бы я родился владетелем Бризету, а вы — бедным Франсуа, разве разница была бы меньше? Разве не я грел бы колени у этой жаровни, не вы елозили бы по снегу, ища монету? Разве тогда я не был бы солдатом, а вы вором?

— Вором!— воскликнул старик.— Я — вор! Если бы вы понимали, что говорите, вы пожалели бы о своих словах!

Вийон дерзко, с неподражаемой выразительностью развел руками.

— Если бы ваша милость сделали мне честь следовать за моими рассуждениями...— сказал он.

— Я оказываю вам слишком много чести, терпя самое ваше присутствие здесь,— сказал вельможа.— Научитесь обуздывать язык, когда говорите со старыми и почтенными людьми, а то кто-нибудь менее терпеливый расправится с вами покруче.— Он встал и прошелся по комнате, стараясь подавить гнев и чувство отвращения. Вийон воспользовался этим, чтобы снова наполнить кубок, и уселся поудобнее: закинув ногу на ногу, подпер голову левой рукой, а локоть правой положил на спинку кресла. Он насытился и согрелся и, поняв характер хозяина, насколько это было возможно при такой разнице натур, теперь ни капельки не боялся старика. Ночь была на исходе, и в конце концов все обошлось как нельзя лучше, и он был вполне уверен, что под утро благополучно покинет этот дом.

— Ответьте мне на один вопрос,— приостанавливаясь, сказал старик.— Вы действительно вор?

— Я всецело полагаюсь на законы гостеприимства,— ответил поэт.— Да, мессир, я вор.

— А вы еще так молоды,— продолжал старик.

— Я не дожил бы и до этих лет,— ответил Вийон, растопырив пальцы,— если бы мне не помогали эти десять слуг. Они меня вспоили, как мать, вскормили вместо отца.

— У вас еще есть время раскаяться и изменить свою жизнь.

— Я каждый день каюсь,— сказал поэт.— Мало кто так склонен к покаянию, как бедный Франсуа. А

насчет того, чтобы изменить свою жизнь, пусть сначала кто-нибудь изменит теперешние обстоятельства моей жизни. Человеку надо есть хотя бы для того, чтобы у него было время для раскаяния.

— Путь к переменам должен начаться в сердце, — торжественно произнес старик.

— Дорогой сеньор,— ответил Вийон,— неужели вы полагаете, что я краду ради удовольствия? Я ненавижу воровство, как и всякую прочую работу, а эта к тому же сопряжена с опасностью. При виде виселицы у меня зуб на зуб не попадает. Но мне надо есть, надо пить, надо общаться с людьми. Кой черт! Человек не отшельник — Cui Deus feminam tradit[1]. Сделайте меня королевским кравчим, сделайте аббатом Сен-Дени или байи в вашем Пататраке, вот тогда жизнь моя изменится. Но пока Франсуа Вийон остается с вашего соизволения бедным школяром, у которого ни гроша в кошельке, никаких перемен в его жизни не ждите.

— Милость господня всемогуща!

— Надо быть еретиком, чтобы оспаривать это,— сказал Франсуа.— Милостью господней вы стали владетелем Бризету и байи в Пататраке. А мне господь не уделил ничего, кроме смекалки и вот этих десяти пальцев. Можно еще вина? Почтительнейше благодарю. Милостью господней у вас превосходное винцо.

Владетель Бризету расхаживал по комнате, заложив руки за спину. Может быть, он еще не успел освоить сравнение солдат с ворами; может быть, Вийон вызывал в нем какое-то неисповедимое сочувствие, может быть, мысли его смешались просто от непривычки к таким рассуждениям, — как бы то ни было, ему почему-то хотелось направить этого молодого человека на путь истинный, и он не мог решиться выгнать его на улицу.

— Чего-то я все-таки не могу тут понять,— наконец сказал он.— Язык у вас хорошо подвешен, и дьявол далеко завел вас по своему пути, но дьявол слаб перед господом, и все его хитрости рассеиваются от одного слова истины и чести, как ночная темнота на рассвете. Выслушайте же меня. Давным-давно я постиг, что дворянин должен быть исполнен рыцарского благородства, должен любить бога, короля и даму своего сердца, и, хотя много неправедного пришлось мне повидать на

[1] Ему бог подарил женщину (*лат*).

своем веку, я все же стремился жить согласно этим правилам. Они записаны не только в мудрых книгах, но и в сердце каждого человека, лишь бы он только удосужился прочитать их. Вы говорите о пище и вине, я знаю, что голод — тяжкое испытание, которое трудно переносить, но как же не сказать о других нуждах, о чести, о вере в бога и в ближнего, о благородстве, о незапятнанной любви? Может быть, мне и не хватает мудрости — впрочем, так ли это? — но, на мой взгляд, вы человек, сбившийся с пути и впавший в величайшее заблуждение. Вы заботитесь о мелких нуждах и полностью забываете о нуждах великих, истинных. Вы уподобляетесь человеку, который будет лечить зубную боль в день Страшного суда. А ведь честь, любовь и вера не только выше пищи и питья, но, как мне кажется, их-то мы алчем сильнее и острее мучимся, если лишены их. Я обращаюсь к вам потому, что, кажется мне, вы меня легко можете понять. Стремясь набить брюхо, не заглушаете ли вы в сердце своем иного голода? И не это ли причина того, что вместо радости жизни вы испытываете лишь чувство горечи?

Вийон был явно уязвлен этими наставлениями.

— Так, по-вашему, я лишен чувства чести? — воскликнул он.— Да, бог тому свидетель, я нищий! И мне тяжело видеть, что богачи ходят в теплых перчатках, а я дую в кулак. С пустым брюхом жить нелегко, хотя вы говорите об этом с таким пренебрежением. Потерпи вы с мое, вы бы, может, запели иначе. Да, я вор, ополчайтесь на меня за это! Но, клянусь господом богом, я вовсе не исчадие ада. Знайте же, что есть у меня своя честь, не хуже вашей, хоть я и не хвастаю ею с утра до вечера, словно чудом господним. Нет в этом ничего примечательного, и я держу свою честь в суме, пока она мне не понадобится. Смотрите, вот вам пример: сколько времени я провел здесь с вами, в вашей комнате? Разве вы не сказали мне, что одни в доме? А эта золотая утварь! Вы сильны духом — допускаю, но вы старик, безоружный старик, а у меня с собой нож. Что стоит мне разогнуть руку в локте и всадить вам клинок в кишки, а там ищи меня по всем улицам с вашими кубками за пазухой! Думаете, не хватило у меня на это смекалки? Хватило! А все-таки я от этого отказался. Вот они, ваши проклятые кубки, целехоньки, как в ризнице. И у вас сердце отстукивает ровно, как часы.

А я сейчас уйду отсюда таким же бедняком, каким и вошел, с единственной беляшкой, которой вы меня попрекаете. И вы еще говорите, что чувство чести мне неведомо, да разразит меня бог!

Старик поднял правую руку.

— Знаете, кто вы такой? — сказал он.— Вы разбойник, милейший, бесстыдный и бессердечный разбойник и бродяга. Я провел с вами только час. И, поверьте мне, я чувствую себя опозоренным! Вы ели и пили за моим столом, но теперь мне тошно видеть вас. Уже рассвело, и ночной птице пора в дупло. Пойдете вперед или за мной?

— Это как вам угодно, — сказал поэт, вставая со стула.— В вашей порядочности я не сомневаюсь.— Он задумчиво осушил свой кубок.— Хотел бы я уверовать и в ваш ум,— продолжал он, постучав себя пальцем по лбу,— но годы, годы! Мозги плохо работают, размягчаются.

Из чувства самоуважения старик пошел вперед; Вийон последовал за ним, посвистывая и заткнув большие пальцы за кушак.

— Да смилуется над вами господь,— сказал на пороге владетель Бризету.

— До свиданья, папаша,— ответил ему Вийон, зевая.— Премного благодарен за холодную баранину.

Дверь за ним захлопнулась. Над белыми крышами занимался рассвет. Студеное, хмурое утро привело за собой пасмурный день. Вийон стал посреди улицы и потянулся всем телом.

«Нудный старичок,— подумал он.— А любопытно, сколько могут стоить его кубки?»

КЛУБ САМОУБИЙЦ

ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ С ПИРОЖНЫМИ

Блистательный Флоризель, принц Богемский, во время своего пребывания в Лондоне успел снискать всеобщую любовь благодаря своим обворожительным манерам и щедрой руке, всегда готовой наградить достойного. Это был человек замечательный, даже если судить на основании того немногого, что было известно всем; известна же была только ничтожная часть его подвигов. Спокойный до флегматичности, принимающий мир таким, каков он есть, с философским смирением простого землепашца, принц Богемский тем не менее питал склонность к жизни более эксцентрической и насыщенной приключениями, нежели та, к которой он был предназначен волею судеб. Порою на него находили приступы хандры, и если в это время на лондонских подмостках не было ни одного спектакля, на котором можно было как следует посмеяться, а сезон к тому же был не охотничий (в этом виде спорта принц не знал себе равных), он призывал к себе своего шталмейстера, полковника Джеральдина, и объявлял, что намерен совершить с ним прогулку по вечернему Лондону. Молодой офицер этот был постоянным наперсником принца, и отвага его подчас граничила с безрассудством. Он с неизменным восторгом встречал подобные приказы своего господина и, не мешкая, совершал все нужные приготовления. Богатый опыт и разностороннее знание жизни развили в нем необычайную способность к маскараду; к любой избранной им роли, независимо от положения, характера и национальности лица, которое он брался изображать, он умел приспособить не только лицо и ма-

неры, но и голос и даже образ мышления. Благодаря этому своему дару ему удавалось отвлекать внимание от принца и вместе со своим господином спускаться во все слои общества. Власти, разумеется, в эти приключения не посвящались. Непоколебимая храбрость принца вместе с изобретательностью и рыцарской преданностью его наперсника не раз вызволяла эту пару из самых опасных положений, и доверие, которое они питали друг к другу, с каждым годом все возрастало.

Однажды вечером холодный мартовский дождь пополам со снегом загнал их в кабачок неподалеку от Лестер-сквера. Полковник Джеральдин был одет и загримирован под рыцаря прессы в несколько стесненных обстоятельствах; грим Флоризеля, как всегда, заключался в накладных бакенбардах да паре косматых бровей, которые изменяли его изысканный облик до неузнаваемости, придавая ему вид человека, испытавшего превратности судьбы. Под прикрытием этого маскарада принц со своим шталмейстером спокойно сидели в устричном заведении и потягивали бренди с содовой.

Зал был переполнен посетителями обоих полов, и хотя среди них оказалось немало охотников вступить в беседу с нашими искателями приключений, ни один не представлял особого интереса. Здесь были собраны ординарнейшие обитатели лондонского дна. Принц начал было уже зевать и подумывать о том, чтобы идти домой, как вдруг двустворчатые двери трактира с треском распахнулись, впустив молодого человека в сопровождении двух слуг. В руках у каждого слуги было по большому подносу, покрытому салфеткой, которую они тотчас сдернули. На подносах лежали маленькие круглые пирожные с кремом, и молодой человек принялся обходить столики, с преувеличенной любезностью предлагая каждому посетителю полакомиться. Одни со смехом принимали его угощение, другие решительно, а подчас и грубо от него отказывались. В последнем случае молодой человек неизменно съедал пирожное сам, отпуская при этом какую-нибудь шутливую реплику.

Наконец он подошел к принцу Флоризелю.

— Сударь,— произнес он тоном глубочайшего почтения и протянул ему пирожное,— не окажете ли вы любезность человеку, не имеющему чести быть с вами знакомым? За качество пирожного могу поручиться,

ибо за последние два-три часа я сам проглотил ровно двадцать семь штук.

— Качество угощения, которым меня потчуют,— отвечал принц,— представляется мне не столь важным, сколько чувство, с каким мне это угощение предлагают.

— Чувство, сударь,— сказал молодой человек, отвесив еще один поклон,— с вашего позволения, самое издевательское.

— Издевательское? — повторил Флоризель.— Над кем же вы намерены издеваться?

— Видите ли,— сказал молодой человек,— я пришел сюда не для того, чтобы развивать свои философские воззрения, а лишь затем, чтобы раздать эти пирожные с кремом. Если я сообщу вам, что я самым искренним образом включаю в число тех, над которыми издеваюсь, собственную персону, ваша щепетильность, я надеюсь, будет удовлетворена и вы снизойдете к моему угощению. В противном случае я буду вынужден съесть двадцать восьмое пирожное, а мне эти гастрономические упражнения, признаться, немного надоели.

— Мне вас жаль,— сказал принц,— и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вас вызволить, но только при одном условии. Если я и мой приятель отведаем ваших пирожных — а надо сказать, что ни у меня, ни у него они не вызывают большого аппетита,— то и вы должны будете за это с нами отужинать.

Молодой человек как будто что-то обдумывал.

— У меня на руках осталось еще несколько дюжин,— сказал он наконец.— А следовательно, мне придется наведаться еще в несколько подобных заведений, прежде чем я разделаюсь со своим основным делом. Боюсь, что это займет некоторое время, и если вы голодны...

Принц остановил его речь любезным мановением руки.

— Мы будем вас сопровождать,— сказал он.— Нас очень заинтересовал избранный вами чрезвычайно приятный способ проводить вечера. Теперь, когда мы договорились о предварительных условиях мира, позвольте мне скрепить наш договор.

И принц любезно взял протянутое ему пирожное.

— Превосходное угощение,— сказал он.

— Я вижу, вы большой знаток,— заметил молодой человек.

Следуя примеру своего патрона, полковник Джеральдин тоже отдал должное пирожному. Молодой человек обошел все столы и, получив от каждого посетителя отказ или благодарность, повел своих спутников в другой трактир. Двое слуг, которые, казалось, вполне смирились со своим нелепым занятием, следовали за молодым человеком, между тем как принц с полковником, взявшись под руку и улыбаясь, замыкали шествие. В таком порядке вся компания посетила еще два кабачка, и в каждом повторилась та же сцена — одни принимали угощение бродячего хлебосола, другие отказывались, и тогда молодой человек неизменно проглатывал пирожное сам.

После третьего заведения молодой человек пересчитал оставшиеся пирожные: на одном подносе их оказалось шесть, на другом три — итого девять штук.

— Господа,— сказал он, обращаясь к своим новым знакомцам,— мне неприятно, что я задерживаю ваш ужин. Я уверен, что вы проголодались не на шутку, и к тому же у меня есть по отношению к вам известные обязательства. В этот многознаменательный для меня день, когда мне предстоит завершить мой дурацкий жизненный путь последним и наиболее ярким дурачеством, я не хотел бы оказаться невежей перед теми, кто меня так благородно поддержал. Господа, я не заставлю вас больше ждать. И пусть здоровье мое и без того расшатано излишествами, я готов, рискуя жизнью, отказаться от условия, которое сам себе поставил.

И, окончив свою речь, молодой человек проглотил одно за другим оставшиеся девять пирожных. Затем, отвесив по поклону обоим слугам и протянув им по золотому, он сказал им:

— Примите, пожалуйста, мою благодарность за ваше долготерпение.

Отпустив слуг, он с полминуты постоял, уставясь на кошелек, из которого только что извлек для них плату, и вдруг засмеялся, бросил его на мостовую и сообщил своим спутникам, что готов идти с ними ужинать.

В маленьком французском ресторанчике в Сохо, пользовавшемся незаслуженно громкой славой, которая, впрочем, уже начала идти на убыль, принц, его шталмейстер и их новый знакомый попросили себе отдельный кабинет на третьем этаже, уселись за изящно сервированный стол, заказали к ужину четыре бутылки

шампанского и принялись непринужденно беседовать между собой. Молодой человек был весел и оживлен, однако смеялся несколько громче, чем можно было ожидать от человека его воспитания; к тому же руки его заметно дрожали, в голосе появлялись неожиданные резкие переходы, как у человека, который не совсем владеет собой. Когда официант унес со стола последнее блюдо и все трое закурили сигары, принц обратился к своему новому знакомцу со следующей речью:

— Я надеюсь, что вы простите мне мое любопытство. Хоть мы и знакомы всего лишь несколько часов, вы мне очень симпатичны и, признаться, чрезвычайно меня интригуете. Я бы не хотел показаться нескромным, но я должен вам сказать, что мы с приятелем в высшей степени достойны доверия. У нас великое множество своих тайн, которые мы постоянно доверяем тем, кому не следует. А если, как я полагаю, ваша история достаточно нелепа, то и в этом случае, уверяю вас, вы можете, не стесняясь, изложить ее нам, ибо более нелепых людей, чем мы, вы не сыщете во всей Англии. Меня зовут Годол, Теофилус Годол; имя моего друга — майор Альфред Хаммерсмит, во всяком случае, ему угодно выступать под этим именем. Всю свою жизнь мы посвятили поискам экстравагантных приключений; и нет такой экстравагантной выходки, которой бы мы не могли посочувствовать всей душой.

— Вы мне нравитесь, мистер Годол,— ответил молодой человек,— к тому же вы во мне вызываете инстинктивное доверие; и я не имею ничего против вашего друга, майора, который представляется мне переодетым вельможей. И уж, во всяком случае, я убежден, что к армии он не имеет ни малейшего касательства.

Полковник только усмехнулся, услышав такой комплимент своему искусству перевоплощения.

— Существует множество причин, по которым мне не до́лжно бы вам открыться,— продолжал между тем молодой человек, постепенно воодушевляясь.— Быть может, поэтому-то я и намерен рассказать вам все без утайки. Во всяком случае, я вижу, что вы настроились услышать нечто нелепое, и у меня не хватает духа вас разочаровать. Свое имя, в отличие от вас, я не назову. Возраст мой не имеет прямого отношения к моему рассказу. Я прямой наследник своих предков, и наследство мое заключается в весьма сносном жилище, которое я зани-

маю по сей день, и капитале, дававшем триста фунтов годового дохода. Вместе с домом и этим капиталом я, должно быть, унаследовал от предков и легкомыслие, не противиться которому составляло высшее наслаждение всей моей жизни. Я получил хорошее образование. Я изрядный музыкант — еще немного, и мог бы играть на скрипке в каком-нибудь захудалом оркестре, однако как раз этого немногого мне и недостает. То же относится к моей игре на флейте и на валторне. Выучился играть в вист и в этой премудрости преуспел настолько, что с легкостью могу проигрывать до ста фунтов в год. Знакомство мое с французским языком оказалось достаточным, чтобы мотать деньги в Париже почти с той же легкостью, что и в Лондоне. Как видите, я человек всесторонне образованный. Жизнь не обошла меня и приключениями всевозможного рода, я даже дрался на дуэли, для которой не было ни малейшего повода. А два месяца назад я повстречал молодую особу, которая показалась мне олицетворением всех совершенств, как духовных, так и физических. Сердце мое растопилось. Я наконец встретил свою судьбу и чуть было не влюбился. Но когда я принялся подсчитывать, чтó осталось мне от всех моих капиталов, оказалось, что у меня нет и полных четырехсот фунтов! И вот я вас спрашиваю: может ли уважающий себя человек позволить себе влюбиться, имея за душой всего четыреста фунтов? Естественно, я должен был ответить на этот вопрос: нет, не может. Засим, расставшись с очаровательницей и несколько ускорив темп проматывания своих капиталов, к сегодняшнему утру я остался с суммой в восемьдесят фунтов в кармане. Разделив эти деньги на две равные части и отложив на одно дело сорок фунтов, остальные сорок я решил во что бы то ни стало промотать до наступления ночи. Я премило провел день, разыграл не одну комедию, подобную этой, с пирожными, благодаря которой я имел честь познакомиться с вами. Дело в том, что я, как я вам уже докладывал, задумал привести свои дурацкие похождения к еще более дурацкому концу. Когда я выбросил у вас на глазах свой кошелек на середину мостовой, те сорок фунтов у меня уже кончились. Итак, вы теперь не хуже меня самого знаете, что я представляю собой: безумец, но последовательный в своем безумии и, как вы, надеюсь, подтвердите, не нытик и не трус.

По всему тону речей молодого человека можно было заключить, что он не питает относительно себя никаких иллюзий и, напротив, горько в себе разочарован. Его собеседники догадывались, что сердечная история, которую он им поведал, затрагивала его больше, нежели он хотел показать, и что они имеют дело с человеком, задумавшим покончить все счеты с жизнью. Комедия с пирожными обещала обернуться трагедией.

— Какое, однако, совпадение,— воскликнул Джеральдин, сделав глазами знак принцу Флоризелю,—что в этой пустыне, именуемой Лондоном, мы трое совершенно случайно повстречали друг друга! И что к тому же мы все находимся, можно сказать, в одинаковом положении!

— Что вы говорите? — воскликнул молодой человек.— Неужели вы тоже дошли до полного разорения? И этот ваш изысканный ужин — такое же безумие, как мои пирожные с кремом? Неужели сам сатана свел нас вместе для последней пирушки?

— Как видите, сатана подчас бывает весьма любезным джентльменом,— сказал принц Флоризель.— Что касается меня, я так поражен этим совпадением, что, хоть сейчас мы с вами и не совсем в равных обстоятельствах, я намерен положить этому неравенству конец. Пусть ваш героический поступок с пирожными послужит мне примером.

С этими словами принц вынул бумажник и извлек из него небольшую пачку банкнот.

— Видите ли, я отстал недели на две, но хочу вас догнать с тем, чтобы прибыть к цели вместе с вами, ноздря в ноздрю,— продолжал он.— Этого,— сказал он, положив несколько бумажек на стол,— довольно, чтобы оплатить счет за ужин. Что касается остального...

Принц швырнул остаток в пылающий камин, вся пачка вспыхнула и пламенем взвилась в трубу.

Молодой человек попытался было удержать его руку, но не успел дотянуться до него через стол.

— Несчастный! — воскликнул он.— Зачем вы сожгли все ваши деньги? Надо было оставить сорок фунтов.

— Сорок фунтов? — переспросил принц.— Но отчего именно сорок, скажите на милость?

— И почему бы не все восемьдесят в таком случае? — подхватил полковник.— Ибо, насколько мне известно, в пачке находилось ровно сто фунтов.

— Больше сорока фунтов ему не понадобилось бы,— мрачно произнес молодой человек.— Но без них путь ему прегражден. Правила наши суровы и не допускают исключений. Сорок фунтов с души. Что за проклятая жизнь, когда человеку без денег и умереть нельзя?

Принц и полковник обменялись взглядами.

— Объяснитесь,—сказал последний.— Мой бумажник при мне и, кажется, не совсем пуст. Незачем говорить, что я готов поделиться всем, что у меня есть, с Годолом. Но я должен знать, для чего. Вы обязаны нам точно все разъяснить.

Молодой человек словно внезапно очнулся от сна. Он перевел взгляд с одного из собеседников на другого, и краска залила его лицо.

— А вы не смеетесь надо мной? — спросил он.— Вы в самом деле разорены дотла?

— Что касается меня — вне всякого сомнения,— сказал полковник.

— А что касается меня,— сказал принц,— я, по-моему, вам это доказал. Ибо кто, кроме совершенного банкрота, станет швырять деньги в огонь? Мои действия говорят за себя.

— Банкрот? — задумчиво протянул молодой человек.— Пожалуй. Или миллионер.

— Довольно, сударь,— сказал принц.— Я не привык к тому, чтобы мое слово подвергалось сомнению.

— Итак, вы разорены? — повторил молодой человек.— Разорены, как и я? Привыкнув не отказывать себе ни в чем, удовлетворять малейшую свою прихоть, вы наконец дошли до той точки, когда у вас остается возможность выполнить только одно, последнее, желание? И вы,— по мере того как он говорил, его голос становился все глуше,— и вы готовы позволить себе эту последнюю роскошь? Вы намерены с помощью единственного, безотказного и самого легкого способа избежать последствий собственного безрассудства? Вы хотите улизнуть от жандармов собственной совести через единственную дверь, оставшуюся открытой?

Молодой человек неожиданно оборвал свою речь и через силу засмеялся.

— Ваше здоровье! — вскричал он, осушая бокал шампанского.— И покойной вам ночи, господа веселые банкроты!

Он поднялся было со стула, но полковник Джеральдин удержал его за руку.

— Вы нам не доверяете,— сказал он.— Напрасно. На каждый из ваших вопросов я готов ответить утвердительно. Впрочем, я человек не робкого десятка и намерен называть вещи своими именами. Да, мы тоже, подобно вам, пресытились жизнью и твердо решили с ней расквитаться. Раньше или позже, вдвоем или порознь, мы решили схватить смерть за косу. Но поскольку мы повстречались с вами и ваше дело не допускает отлагательства, пусть это случится нынче же ночью — тотчас же — и, если вы согласны, давайте пойдем ей навстречу втроем. Такие бедняки, как мы,— воскликнул он,— должны войти рука об руку в царство Плутона, поддерживая один другого среди теней, его населяющих!

Джеральдин точно попал в тон взятой на себя роли. Принц даже был несколько обескуражен и метнул в своего наперсника тревожный взгляд. Между тем краска вновь залила лицо молодого человека, и глаза его засверкали.

— Нет, нет, я вижу, вы для меня идеальные товарищи! — вскричал он с каким-то отчаянным весельем.— Итак, по рукам! — И протянул холодную, влажную руку.— Вы и понятия не имеете, в каком обществе вам предстоит выступить в поход! И в какую счастливую для себя минуту вы согласились отведать моих пирожных с кремом! Я всего лишь рядовой боец, но рядовой боец великой армии. Я знаю потайную калитку в царство Смерти. Я с нею накоротке и могу препроводить вас в вечность без всяких церемоний. При этом уход ваш не вызовет никаких кривотолков.

Оба собеседника принялись горячо уговаривать его покончить, наконец, с иносказаниями.

— Можете ли вы вдвоем наскрести восемьдесят фунтов? — спросил он.

Джеральдин для вида пересчитал наличность в своем бумажнике и ответил утвердительно.

— Да вы баловни судьбы! — воскликнул молодой человек.— Сорок фунтов с каждого — вступительный взнос в Клуб самоубийц.

— Клуб самоубийц? — повторил принц.— Это что еще за штука?

— Сейчас расскажу,— сказал молодой человек.— Мы с вами живем в век комфорта, и я должен поведать

вам о последнем усовершенствовании в этой области. Так как у нас дела во всех уголках планеты, человечеству пришлось придумать железные дороги. Железные дороги успешнейшим образом разъединили нас с друзьями, поэтому пришлось изобрести телеграф — чтобы и на больших расстояниях люди могли общаться друг с другом. В отелях, например, завели лифты, чтобы людям не приходилось карабкаться какие-нибудь сто ступеней по лестнице. Жизнь, как вы знаете, всего-навсего подмостки, на которых каждому предоставляется возможность кривляться, покуда не наскучит. В системе современного комфорта недоставало лишь одного усовершенствования: пристойного и удобного способа сойти с этих подмостков, так сказать, черного хода на свободу, или, как я уже говорил, потайной калитки в царство Смерти. Этот-то ход, дорогие мои бунтари-единомышленники, эту калитку и открывает нам Клуб самоубийц. Не думайте, что мы с вами одиноки или даже исключительны в этом своем в высшей степени разумном желании. Таких, как вы, людей, которым до смерти надоело участвовать изо дня в день в спектакле, именуемом жизнью, великое множество, и они не уходят со сцены лишь из-за тех или иных соображений. Того удерживает мысль о близких, которых слишком ошеломил бы подобный конец, а в случае огласки, быть может, и навлек бы на них нарекания; другой слишком слаб духом, чтобы собственноручно лишить себя жизни. До некоторой степени к этому второму разряду принадлежу и я; я, например, решительно неспособен приложить к виску пистолет и нажать на курок: нечто, сильнее меня самого, мешает мне произвести этот последний жест, и, хоть жизнь мне опротивела совершенно, у меня нет сил пойти навстречу смерти самому. Вот для таких-то субъектов, а также для всех, кто мечтает вырваться из плена жизни, избежав при этом посмертного скандала, и основан Клуб самоубийц. Как он был организован, какова его история и имеются ли у него филиалы в других странах — всего этого я не знаю; то же, что мне известно относительно его устава, я не вправе вам открыть. Но вот в какой мере я берусь вам способствовать: раз вы в самом деле пресытились жизнью, я вас этим же вечером представлю собранию членов клуба, и если и не нынешней ночью, то по крайней мере на этой неделе вы будете с наименьшими для себя неудобствами избавлены

от существования в этом мире. (Молодой человек взглянул на часы.) Сейчас одиннадцать. Через полчаса мы должны отсюда выйти. Итак, у вас тридцать минут, чтобы обдумать мое предложение. Это дело несколько более серьезное, я полагаю, нежели пирожные с кремом,— заключил он с улыбкой,— и, как мне кажется, более заманчивое.

— Что оно более серьезное,— сказал полковник Джеральдин,— это так. Поэтому я позволю себе попросить пять минут для обсуждения его наедине с моим другом мистером Годолом.

— Это — ваше право,— сказал молодой человек.— и я с вашего разрешения вас на время покину.

— Вы очень любезны,— сказал полковник.

— Для чего вам понадобилось это совещание, Джеральдин? — спросил принц Флоризель, как только они остались вдвоем.— Вы, я вижу, несколько взволнованы, между тем как я совершенно спокойно решил довести всю эту историю до конца.

— Ваше высочество,— сказал полковник, побледнев.— Позвольте вам напомнить, что ваша жизнь не только дорога вашим близким, но и необходима для блага отечества. Вы слышали, как выразился наш безумец: «если и не нынешней ночью». А что, как именно этой ночью с особой вашего высочества приключится какое-нибудь непоправимое несчастье? Попытайтесь, молю вас, представить себе мое отчаяние, а также скорбь вашего великого народа.

— Полковник Джеральдин, я намерен довести эту историю до конца,— повторил принц голосом, не допускающим возражений.— Будьте добры помнить и уважать свое слово джентльмена. Ни при каких обстоятельствах, без особого моего на то разрешения, вы не должны открыть инкогнито, под которым мне угодно выступать. Таков был мой приказ, и я его вам сейчас напоминаю. А теперь,— прибавил он,— позвольте мне просить вас позвать официанта.

Полковник Джеральдин почтительно поклонился. Но когда в комнату вошли официант и молодой человек, угостивший их пирожными, лицо его было бледно, как полотно. Принц сохранял всю свою невозмутимость и с большим юмором и живостью принялся рассказывать молодому самоубийце последний фарс, виденный им в Пале-Рояле. Он искусно не замечал умоляю-

щих взглядов полковника и старательнее обычного принялся выбирать сигару. Из всех троих он один и сохранял полное самообладание.

Спросив счет, принц оставил изумленному официанту всю сдачу с банкноты. Затем все трое уселись в наемную карету, которая вскоре подвезла их к воротам довольно скудно освещенного двора.

Когда они сошли на тротуар и Джеральдин расплатился с извозчиком, молодой человек обернулся к принцу Флоризелю и сказал:

— Еще не поздно, мистер Годол, если вам угодно, вы можете вернуться к своим цепям. Да и вы тоже, майор Хаммерсмит. Подумайте хорошенько, прежде чем предпринять следующий шаг. И если сердце вам скажет: «нет»,—разойдемся подобру-поздорову.

— Ведите нас, сударь,— сказал принц.— Я не из тех, кто изменяет своему слову.

— Ваше хладнокровие меня радует,— сказал молодой человек.— Мне еще не доводилось видеть никого, кто бы в этих обстоятельствах сохранял подобную невозмутимость, а скольких я приводил к порогу этого дома! Кое-кто из моих приятелей прежде меня отправился туда, куда вскоре неминуемо отправлюсь и я. Впрочем, к чему вам это знать? Обождите меня здесь несколько минут. Я приду за вами, как только договорюсь о вашем приеме в клуб.

И, помахав своим новым знакомцам рукой, молодой человек прошел в ворота и скрылся в подъезде.

— Из всех наших безрассудств,— произнес полковник Джеральдин вполголоса,— это — самое безрассудное и рискованное.

— Вполне с вами согласен,— сказал принц.

— В нашем распоряжении еще две-три минуты,— продолжал полковник.— Позвольте же мне умолять ваше высочество воспользоваться случаем и удалиться. Шаг, который вы намерены сделать, чреват самыми грозными последствиями и может оказаться роковым. Поэтому я решаюсь злоупотребить свободой обращения, которую ваше высочество дозволяет мне, когда мы остаемся наедине, без посторонних.

— Должен я из всего этого вывести, что полковник Джеральдин поддался чувству страха?— спросил принц и, вынув изо рта сигару, проникновенно взглянул полковнику в глаза.

— Мой страх, во всяком случае, не имеет отношения к моей собственной персоне,— гордо ответил тот.— В этом ваше высочество может не сомневаться.

— А я и не сомневался,— благодушно произнес принц.— Просто мне не хотелось напоминать вам о разнице в нашем с вами положении. Довольно, впрочем,— прибавил он, предупреждая намерение полковника.— Не надо извинений. Вы прощены.

И в ожидании молодого человека принц спокойно продолжал курить, облокотившись о решетку.

— Ну что? — спросил он, когда тот вернулся.— Удалось договориться?

— Следуйте за мной,— был ответ.— Председатель просит вас пожаловать к нему в кабинет. Позвольте предупредить вас, чтобы вы на все его вопросы отвечали с полной откровенностью. Я за вас поручился. Но по уставу клуба перед тем, как принять нового члена, его подвергают тщательному опросу. Ибо малейшая нескромность одного из членов повела бы к полному разгрому всего клуба.

Принц и Джеральдин с минуту пошептались. «Я скажу то-то»,— сказал один. «А я — то-то»,— отвечал другой. Условившись, что каждый будет изображать когонибудь из их общих знакомых, они договорились в один миг и были готовы следовать за своим Вергилием в кабинет председателя.

На пути им не было больше никаких преград: наружная дверь стояла распахнутой настежь, дверь в кабинет — тоже. Здесь, в маленькой комнатке с очень высоким потолком, молодой человек вновь их оставил.

— Председатель сейчас придет,— сказал он и, кивнув головой, ушел.

Из соседней комнаты сквозь двустворчатую дверь доносились голоса, хлопанье пробок и время от времени — взрывы смеха. Из единственного очень высокого окна открывался вид на реку и набережную. По расположению фонарей новые кандидаты в клуб догадались, что где-то невдалеке должен находиться вокзал Черинг-кросс. Обставлен кабинет был скудно, чехлы на мебели были сильно потерты и, кроме ручного колокольчика посреди круглого стола да довольно большого количества плащей и шляп на стенах, в комнате ничего не было.

— Что за притон? — подивился Джеральдин.

— Вот это-то нам и предстоит выяснить,— ответил принц.— Если они к тому же держат здесь дьяволов во плоти, дело обещает оказаться забавным.

В эту минуту дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. Звуки голосов усилились, и в кабинете появилась фигура грозного председателя Клуба самоубийц. На вид ему было лет пятьдесят с небольшим; он шагал широкой, слегка развинченной походкой; лицо его было окаймлено косматыми бакенбардами, на макушке просвечивала небольшая тонзура, а в тускловатых серых глазах время от времени вспыхивали огоньки. Губы его плотно сжимали толстую сигару и находились в непрестанном движении, то кругом, то из стороны в сторону, меж тем как глаза холодно и проницательно изучали новых пришельцев. На нем был светлый костюм из ворсистого сукна и полосатая рубаха с отложным воротником. Под мышкой он держал большую конторскую книгу.

— Добрый вечер,— сказал он, притворяя за собою дверь.— Мне сообщили, что вам угодно со мной побеседовать.

— Нам хотелось бы вступить в члены Клуба самоубийц, сударь,— ответил полковник.

Председатель перегнал сигару из одного угла рта в другой.

— Какого такого клуба? — резко спросил он.

— Простите, сударь,— ответил полковник,— но мне кажется, вы лучше всякого другого могли бы ответить на этот вопрос.

— Я?! — вскричал председатель.— Клуб самоубийц? Помилуйте, господа. Сегодня ведь не первое апреля. Ну, да я понимаю, когда джентльмены позволяют себе выпить лишнее, им подчас хочется отколоть какую-нибудь штуку. Однако хорошенького понемножку.

— Называйте ваш клуб каким хотите именем,— продолжал полковник,— но у вас за этой дверью несомненно собралось общество, и нам хотелось бы к нему присоединиться.

— Сударь,— сухо возразил председатель,— вы ошиблись. Это частный дом, и я прошу вас покинуть его сию минуту.

Принц во все время этого диалога продолжал спокойно сидеть в своем кресле. Теперь же, когда полковник метнул в него взор, как бы говорящий: «Вот видите, идемте же отсюда ради бога!»,— он вынул изо рта сигару и заговорил.

— Я прибыл сюда,— сказал он,— по приглашению вашего знакомого. Он, разумеется, осведомил вас о желании, побудившем меня навязать вам таким образом свое общество. Позвольте вам напомнить, что бывают обстоятельства, когда люди не склонны чувствовать себя связанными какими-либо условностями и безропотно сносить оскорбления. Я человек, как правило, мирный. Однако, милостивый государь, я должен вас предупредить: либо вы окажете мне небольшую любезность — какого характера, вы прекрасно знаете сами,— либо вам придется горько раскаяться в том, что вы допустили меня на порог вашего кабинета.

Председатель громко рассмеялся.

— Вот это другой разговор,— сказал он.— Я вижу, вы настоящий мужчина. А знаете что? Вы мне приглянулись и можете делать со мной что хотите! Будьте добры,— обратился он к Джеральдину,— отойдите от нас на минутку. Кое-какие формальности, сопряженные со вступлением в наш клуб, требуют разговора с глазу на глаз, и я начну с вашего товарища.

С этими словами он открыл дверь в потайной чуланчик, предложил жестом полковнику в него войти и закрыл за ним дверцу.

— Вам я верю,— сказал он Флоризелю,— но можете ли вы поручиться за своего приятеля?

— Не скажу, чтобы я в нем был уверен, как в самом себе,— ответил Флоризель,— хотя причины, которые привели его сюда, еще более настоятельны, чем мои. Однако я достаточно в нем уверен, чтобы безбоязненно ввести его к вам. Столько щелчков от судьбы, сколько получил он, излечили бы самого жизнелюбивого человека от приверженности к жизни. А на днях ему еще предложили выйти из полка за то, что он передергивал в карты.

— Что же, это причина вполне достойная,— протянул председатель,— у нас тут один такой случай уже имеется, и я за него совершенно спокоен. А сами вы, позвольте спросить, не служили?

— Служил,— ответил принц.— Но я был ленив и вовремя покинул службу.

— Отчего же вы решили прекратить свое существование? — спросил председатель.

— Да все по той же причине, насколько я понимаю,— ответил принц.—Непреоборимая лень.

Председатель отпрянул.

— Черт побери! — воскликнул он.— Право, это не совсем уважительная причина.

— Видите ли, у меня к тому же кончились все деньги,— сказал Флоризель.— И это, конечно, тоже довольно досадное обстоятельство. Лень моя, таким образом, вступила в неразрешимый конфликт с жизнью.

Председатель, крутя во рту сигарой, устремил немигающий взор прямо в глаза этому странному кандидату в самоубийцы. Принц выдержал его взгляд со своим обычным невозмутимым благодушием.

— Если бы у меня был чуть менее богатый опыт,— произнес наконец председатель,— я бы, вероятно, указал вам на дверь. Но я знаю свет. Во всяком случае, настолько, что понимаю, как самые легкомысленные на первый взгляд поводы для самоубийства могут подчас оказаться наиболее вескими. К тому же, сэр, мне трудно в чем-либо отказать человеку, который придется мне по душе, и я скорее готов сделать для него некоторое послабление.

Затем принц и полковник, один за другим, по очереди, были подвергнуты длительному и весьма строгому опросу. Принца председатель допросил с глазу на глаз, полковника Джеральдина — в присутствии принца, с тем, чтобы по выражению лица последнего определить, правду ли отвечает допрашиваемый. По всей видимости, председателя результат удовлетворил. Занеся некоторые сведения к себе в протокольную книгу, он предложил им текст клятвы, которую каждый должен был скрепить своей подписью. Большего закабаления воли, более стеснительных условий невозможно было себе представить. Нарушить столь страшную клятву означало бы утратить последние остатки чести и лишиться всех утешений, какие дарует людям религия.

Флоризель договор подписал, хоть и не без внутреннего содрогания. Полковник уныло последовал его примеру. После этого председатель принял от них вступительный взнос и без дальнейших церемоний ввел новых членов в курительную комнату Клуба самоубийц.

Здесь был такой же высокий потолок, что и в кабинете, из которого они вышли, но сама комната была просторнее и оклеена обоями, имитирующими дубовую

обшивку. Ее освещал весело потрескивающий огонь в камине и торчавшие из стен газовые рожки. Вместе с принцем и его компаньоном в курительной собралось восемнадцать человек. Почти все курили и пили шампанское, в комнате царило лихорадочное веселье, но время от времени в ней вдруг наступала зловещая тишина.

— Сегодня все в сборе? — спросил принц.

— Более или менее,— ответил председатель.— Кстати,— прибавил он,— если у вас остались еще при себе какие-нибудь деньги, здесь принято угощать шампанским. Это поднимает дух у общества, а мне, помимо прочего, приносит небольшой доход.

— Хаммерсмит,— распорядился Флоризель.— Позаботьтесь, пожалуйста, о шампанском.

С этим он повернулся и начал обход гостей. Привыкший играть роль хозяина в самых высоких сферах, он без труда пленил и покорил всех, с кем беседовал. В его манерах была чарующая смесь властности и доброжелательства. А необычайная его невозмутимость придавала ему особое достоинство среди этой компании полуманьяков. Переходя от одного к другому, он внимательно вглядывался и вслушивался во все, что происходило кругом, и вскоре составил себе некоторое представление о людях, среди которых очутился. Как водится во всякого рода притонах, здесь преобладал определенный человеческий тип: люди в расцвете молодости, со всеми признаками острого ума и чувствительного сердца, но лишенные той энергии или того качества, без которого нельзя достичь успеха ни на одном жизненном поприще. Мало кому перевалило за тридцать, попадались даже юнцы, не достигшие двадцатилетнего возраста. Одни отчаянно курили, другие, сами того не замечая, держали во рту погасшие сигары. Некоторые говорили оживленно и с блеском, большинство же предавалось пустой болтовне, треща языком без остроумия и смысла, с единственной целью — разрядить свое нервное напряжение. Всякий раз, как открывалась новая бутылка шампанского, веселье вспыхивало с новой силой. Почти все стояли — одни, опираясь о стол, другие — переминаясь с ноги на ногу. Сидели только двое. Один из них занимал кресло подле окна. Бледный, безмолвный, весь в испарине, он сидел, опустив голову и засунув руки в карманы,— полная развалина. Другой пристроился на диване подле камина. Он настолько отличался от всех

остальных, что невольно обращал на себя внимание. Ему было, должно быть, немногим больше сорока, но выглядел он на добрых десять лет старше. Никогда Флоризелю не доводилось видеть человека более безобразного от природы, на котором к тому же столь пагубно отразилась болезнь, вызванная, по-видимому, неумеренным образом жизни. От него остались кожа да кости, он был наполовину парализован, и его очки были такой необычайной силы, что глаза за ними казались огромными и деформированными. Не считая принца и председателя, он был единственным из присутствующих, кто сохранял спокойствие.

Члены клуба не очень стеснялись условностями. Одни хвастали своими безобразными поступками, заставившими их искать убежища в смерти, другие слушали без порицания. Казалось, у них была негласная договоренность ни к чему не применять нравственной мерки. Таким образом, всякий, попавший в помещение клуба, уже как бы заранее пользовался привилегиями жильца могилы. Они провозглашали тосты в память друг друга, пили за прославленных самоубийц прошлого; обменивались взглядами на смерть,— на этот счет у каждого была своя теория. Одни заявляли, что в смерти нет ничего, кроме мрака и небытия, другие высказывали надежду, что, быть может, этой ночью они начнут свое восхождение к звездам и приобщатся к сонму великих теней.

— За бессмертную память барона Тренка, этого образца среди самоубийц! — провозгласил один.— Из тесной каморки жизни он вступил в другую, еще более тесную, с тем, чтобы выйти, наконец, на простор и свободу!

— Что касается меня,— сказал другой,— единственное, о чем я мечтал, это о повязке на глаза да вате, чтобы заткнуть уши. Но увы! В этом мире не сыскать достаточно толстого слоя ваты.

Третий предполагал, что в их будущем состоянии им удастся проникнуть в тайну бытия; четвертый заявил, что ни за что не примкнул бы к клубу, если бы теория мистера Дарвина не показалась ему столь убедительной.

— Мысль, что я являюсь прямым потомком обезьяны,— сказал сей оригинальный самоубийца,— показалась мне невыносимой.

В общем же принц был несколько разочарован манерами и разговором членов клуба. «Неужели все это так важно,— подумал он,— чтобы поднимать такую суету? Если человек решился уйти из жизни, какого черта он не совершает этот шаг, как подобает джентльмену? Вся эта возня и велеречие совершенно неуместны».

Между тем полковник Джеральдин предавался самым мрачным размышлениям. Клуб и устав его все еще оставались для него загадкой, и он переводил взор с одного лица на другое в надежде найти кого-нибудь, кто бы мог его успокоить. Взгляд его упал на паралитика в сильных очках; пораженный его спокойствием, он перехватил председателя, который то и дело появлялся и исчезал, и попросил познакомить его с джентльменом, сидящим на диване.

Председатель объяснил, что у них в клубе нет надобности прибегать к таким церемониям, но тем не менее представил мистера Хаммерсмита мистеру Мальтусу.

С любопытством оглядев полковника, мистер Мальтус указал ему на место подле себя.

— Вы здесь свежий человек,— сказал он,— и желаете во всем разобраться, не так ли? Ну что ж, вы обратились по верному адресу. Вот уже два года, как я являюсь посетителем этого прелестного клуба.

Полковник вздохнул с облегчением. Если мистер Мальтус целых два года посещает этот притон, то навряд ли принца ожидает опасность в первый же вечер. Впрочем, Джеральдин терялся в догадках. Уж не водят ли их с принцем за нос?..

— Как? — вскричал он.— Два года? Я думал... Впрочем, должно быть, надо мною подшутили.

— Отнюдь,— спокойно ответил мистер Мальтус.— Я здесь на особом положении. Я, собственно, являюсь не самоубийцей, а всего лишь, так сказать, почетным членом этого клуба. Я посещаю его раз в месяц, а то и реже. Благодаря любезности нашего председателя и из уважения к состоянию моего здоровья я пользуюсь некоторыми льготами, за которые и вношу повышенную плату. Впрочем, мне к тому же очень везет.

— Простите,— сказал полковник,— но я просил бы вас несколько подробнее обрисовать обстановку. Как вы сами понимаете, у меня еще весьма смутное представление о порядках в этом клубе.

— Рядовой член клуба, который, подобно вам, вступает в него с намерением встретить смерть,— сказал мистер Мальтус,— является сюда каждый вечер, покуда ему не улыбнется удача. Если он не имеет ни гроша, он даже может здесь поселиться на полном пансионе. Условия, на мой взгляд, вполне сносные — без излишней роскоши, но чисто. Впрочем, на роскошь претендовать не приходится, учитывая скудость вступительного взноса, не в обиду вам будь сказано. Прибавьте сюда общество самого председателя — а это само по себе изысканнейшее удовольствие.

— Право? — воскликнул Джеральдин.— А меня, представьте, он не слишком очаровал.

— Ах, вы не знаете этого человека,— сказал мистер Мальтус.— Занятнейшая личность! А какой рассказчик! Сколько цинизма! Он знает жизнь, как никто, и, между нами говоря, должно быть, во всем христианском мире не сыскать большего негодяя, плута и распутника, чем он.

— И он тоже,— спросил полковник,— в некотором роде величина постоянная, как и вы?

— Ах, нет, он величина постоянная, но совсем в другом роде, нежели я,— ответил мистер Мальтус.— Я просто пользуюсь любезно предоставленной мне отсрочкой, но в конце концов тоже должен буду отправиться, куда и все. Он же вне игры. Он тасует и раздает карты, а затем предпринимает необходимые шаги. Этот человек, мой дорогой мистер Хаммерсмит,— воплощенная изобретательность. Вот уже три года, как он подвизается в Лондоне на своем полезном и, я бы сказал, артистическом поприще. Причем ни разу ему не довелось навлечь на себя и тени подозрения. Не сомневаюсь ни минуты, что этот человек гениален. Вы, конечно, помните нашумевший случай отравления в аптеке полгода назад? Это был один из наименее эффектных, наименее острых плодов его фантазии. Но какая при этом простота! И какая чистая работа!

— Вы меня поражаете,— сказал полковник.— Так этот несчастный был одной из...— Полковник собирался было сказать «жертв», но вовремя поправился: — Одним из членов клуба?

И тут же полковнику пришло в голову, что мистер Мальтус не производит впечатления человека, жаждущего смерти, и он поспешно прибавил:

— Но я все еще бреду, как в потемках. Вы только что упомянули карты. Объясните мне, пожалуйста, при чем здесь карты? К тому же у меня такое впечатление, что вы не только не стремитесь к смерти, но, напротив, хотели бы ее оттянуть. Что же в таком случае заставляет вас приходить сюда?

Мистер Мальтус заметно оживился.

— Вы и в самом деле ничего еще не понимаете,— сказал он.— Атмосфера этого клуба, милостивый мой государь, кружит голову лучше самого крепкого вина. Поверьте, если бы не состояние моего здоровья, я бы чаще припадал к этому источнику. Только чувство долга, поддерживаемое длительной привычкой к недомоганию и строгому режиму, удерживает меня от излишеств в этом, я могу сказать, последнем моем наслаждении. Я испытал их все, сударь,— продолжал он, коснувшись рукой плеча Джеральдина.— Все без исключения, и, честью клянусь вам, люди бессовестно лгут, говоря о радостях, которые им доставляют эти наслаждения. Они играют любовью. А я вам скажу, что любовь отнюдь не самая сильная из страстей. Страх — вот сильнейшая страсть человека. Играйте страхом, если вы хотите испытать острейшее наслаждение в жизни. Завидуйте мне, завидуйте, сударь,— прибавил он и радостно усмехнулся.— Ведь я величайший трус на свете!

Джеральдин с трудом подавил отвращение к этому омерзительному существу. Однако он обуздал себя и продолжал свои расспросы.

— Но каким образом, сударь,— спросил он,— удается вам столь искусно продлевать это наслаждение? И разве здесь есть какой-либо элемент случайности?

— Я расскажу вам, каким образом выбирается жертва на каждый вечер,—ответил мистер Мальтус.— И не только жертва, но и тот из членов клуба, которому надлежит выполнять роль орудия рока и верховного жреца смерти.

— Боже милостивый! — воскликнул полковник.— Следовательно, сами члены клуба убивают друг друга?

Мальтус кивнул головой.

— Именно таким образом,— сказал он,— снимается вся тяжесть самоубийства.

— О боже,— повторил полковник.— Значит, и вы, и я, и даже сам... я хочу сказать, и мой приятель — любой из нас этой же ночью может быть вынужден сде-

латься убийцей своего ближнего и его бессмертной души? Неужели среди людей, рожденных женщиной, возможно такое? Неслыханный позор!

Джеральдин чуть не вскочил от ужаса, и только грозный и суровый взгляд принца Флоризеля, стоявшего в другом конце комнаты, удержал его на месте. Этот взгляд возвратил полковнику его привычное самообладание.

— Впрочем,— сказал он,— почему бы и нет? А поскольку вы утверждаете, что игра эта забавна, vogue la galère [1],— куда все, туда и я!

Мистер Мальтус остро наслаждался удивлением и ужасом полковника. Он обладал особым тщеславием — тщеславием порока, при котором всякое благородное движение души другого вызывает чувство собственного превосходства; закоснев в самодовольном разврате, он чувствовал себя недоступным для подобных порывов.

— Ну вот,— сказал он,— теперь, отдав дань удивлению, вы можете оценить всю прелесть нашей клубной жизни. Как видите, она соединяет в себе азарт карточной игры, рулетки, дуэли и римского амфитеатра. Язычники знали свое дело, и я от всей души восхищен их тонкостью, но только христианам было дано довести эту квинтэссенцию ощущений, это совершенство изощренности до абсолюта. Теперь вы понимаете, какими пресными должны казаться все прочие удовольствия человеку, вкусившему от этой высшей радости? Что касается самой игры,— продолжал он,— она проста до чрезвычайности. Берется колода карт — впрочем, кажется, уже пришло время, и вы сами сможете наблюдать всю процедуру. Позвольте опереться на вашу руку! Я имею несчастье быть парализованным.

И в самом деле, к тому времени, как мистер Мальтус приступил к описанию игры, двери курительной распахнулись, и все члены клуба стали с некоторой суетой и поспешностью проходить в соседнюю комнату. Она мало отличалась от той, которую они покинули, только меблирована была несколько иначе. Посредине стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел председатель и старательно тасовал колоду карт. Несмотря на костыль и поддержку полковника, мистер Мальтус передвигался с таким трудом, что, когда они

[1] По воле волн (*франц.*).

вошли, все члены клуба уже сидели за столом. Пропустив Мальтуса с полковником, принц проследовал за ними, и все трое уселись вместе в дальнем от председателя конце стола.

— В колоде пятьдесят две карты,— шепнул мистер Мальтус.— Следите за тузом пик — это знак смерти, а также за тузом треф; получивший его назначается исполнителем на эту ночь. О счастливые молодые люди! — прибавил он.— У вас не притупилось зрение, и вы можете следить за игрой. Увы, я с этого расстояния не отличаю двойки от туза!

С этими словами он водрузил себе на нос еще одну пару очков.

— Я хочу следить за выражением лиц хотя бы,— пояснил он.

Полковник торопливым шепотом пересказал своему другу все, что ему удалось узнать от почетного члена клуба, и о страшной альтернативе, ожидающей каждого. Холод пробежал по жилам принца, сердце его сжалось. Он проглотил подступивший к горлу ком, и на миг все поплыло перед его глазами.

— Смелый рывок,— прошептал полковник,— и мы еще можем очутиться на свободе.

Это замечание привело принца в чувство.

— Перестаньте,— сказал он.— Какой бы ни была ставка, вы обязаны играть, как подобает джентльмену.

Он вновь обвел окружающих взглядом, в котором уже нельзя было прочитать и следа замешательства. Сердце, однако, билось у него ускоренно, в груди он ощутил нестерпимое жжение. Кругом царила напряженная тишина. Лица у всех были бледны, но самой бледной была физиономия мистера Мальтуса. Глаза его, казалось, вылезали из орбит, голова неудержимо тряслась, руки беспрестанно поднимались ко рту, хватаясь за дрожащие, пепельно-серые губы. По всей видимости, наслаждение, которое испытывал почетный член клуба, носило в самом деле характер весьма своеобразный.

— Господа, внимание! — произнес председатель и принялся раздавать карты в противоположность общепринятому порядку, справа налево; после каждой сданной карты председатель выдерживал паузу, и каждый игрок должен был показать, что̀ он получил. Почти все немного мешкали, прежде чем открыть свою карту. Бывало, что пальцы отказывались слушаться и игрок дол-

го возился над плотным, скользким прямоугольником. Чем ближе подходила очередь к принцу, тем нестерпимее становилось его волнение. Он чуть не задыхался. Впрочем, в его характере было нечто от игрока; к собственному удивлению, он отметил, что испытывает некоторый душевный подъем. Ему досталась девятка червей. Джеральдину — тройка пик. На долю мистера Мальтуса выпала королева червей, и он невольно всхлипнул от облегчения. Почти одновременно открыл свою карту молодой человек, угощавший пирожными с кремом. Карта затрепетала и замерла в его руках: туз треф! Он пришел сюда, чтобы быть убитым, но не затем, чтобы убивать! Принц в своем благородном сочувствии к его положению чуть не забыл об угрозе, которая по-прежнему нависала над ним и над его другом.

Председатель стал сдавать второй раз. Карта смерти все не появлялась. Игроки затаили дыхание. и только время от времени раздавался чей-нибудь прерывистый вздох. Принцу вновь попались черви. Джеральдину на этот раз — бубны. Но когда мистер Мальтус перевернул свою карту, из его уст раздалось какое-то нечленораздельное блеяние. Он поднялся на ноги и вновь опустился в кресло — паралич его словно рукой сняло! В своей жажде сильных ощущений почетный член клуба самоубийц на этот раз зашел слишком далеко: ему выпал туз пик.

Все разом заговорили. Позы игроков сделались непринужденнее, один за другим они стали подниматься из-за стола и возвращаться в курительную. Председатель потянулся и зевнул, как после долгого рабочего дня. Один мистер Мальтус оставался в кресле. Неподвижный, хмельной, совершенно раздавленный, он продолжал сидеть, так и не убрав со стола рук и уронив на них голову.

Принц и Джеральдин, не мешкая, покинули клуб. Ясная и холодная ночь заставила их еще отчетливей осознать весь ужас того, чему они были свидетелями.

— Увы! — вскричал принц.— Быть связанным такой страшной клятвой и в таком страшном деле! Не иметь возможности остановить эту торговлю человеческой жизнью, которая не только остается безнаказанной, но даже еще приносит доход! Ах, если бы только я имел право нарушить клятву!

— Для вашего высочества это невозможно,— сказал полковник,— ибо ваша честь — это честь всей Богемии. Зато я могу себе позволить такую роскошь.

— Джеральдин,— сказал на это принц.— Если в каком-либо из приключений, в которые я вас вовлек, пострадает ваша честь, я не только не прощу этого вам, но — и я полагаю, что это для вас еще хуже,— я никогда не смогу простить себе.

— Слово вашего высочества — закон,— сказал полковник.— Но давайте хоть уйдем подальше от этого проклятого места.

— Да, да,— сказал принц.— Позовите извозчика, ради всех богов, и попробуем хотя бы во сне забыть о позоре нынешней ночи.

Любопытно, однако, что прежде чем покинуть тупичок, принц Флоризель внимательно прочитал его название.

На следующее утро, едва принц пробудился ото сна, полковник Джеральдин принес ему свежую газету, в которой был отчеркнут следующий столбец:

«ПРИСКОРБНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. Сегодня, в два часа утра, мистер Бартоломей Мальтус, проживавший в доме № 16 на площади Чепстоу, Уэстберн Гроув, возвращаясь вместе со своим знакомым после вечера, проведенного в гостях, и желая остановить извозчика, споткнулся о парапет на Трафальгарской площади, сломав при этом руку и ногу, а также повредив черепную коробку. Смерть наступила мгновенно. Потерпевший страдал параличом, и есть основания полагать, что падение его произошло вследствие очередного приступа болезни. Мистер Мальтус был широко известен в самых почтенных кругах общества, и его гибель вызовет глубокую и повсеместную скорбь».

— Если только существует прямая дорога в ад,— торжественно произнес полковник,— душа этого несчастного уже там.

Принц закрыл лицо руками и некоторое время не нарушал молчания.

— Я почти рад тому, что его больше нет в живых,— продолжал полковник.— Но должен признаться, что мое сердце обливается кровью при мысли о молодом человеке, угощавшем нас пирожными с кремом.

— Джеральдин,— сказал принц, подняв голову,— еще вчера вечером этот бедный молодой человек был

столь же неповинен в пролитии крови, как мы с вами. А теперь на его душе этот смертный грех. Когда я думаю о председателе, во мне все переворачивается. Я еще не знаю, как я это сделаю, но только, клянусь богом, я заставлю мерзавца молить меня о пощаде. О эта игра! Какой незабываемый урок!

— Незабываемый,— подхватил полковник,— и, надеюсь, последний.

Принц так долго не отвечал, что Джеральдин не на шутку встревожился.

— Неужели вы собираетесь туда возвращаться? — воскликнул он.— Неужели вы не настрадались вдоволь, неужели еще не насмотрелись? Ответственность, с которой сопряжено ваше высокое положение, запрещает вам вновь подвергнуть свою особу подобному риску.

— В ваших словах есть доля справедливости,— сказал принц Флоризель,— не могу сказать, чтобы я был доволен своим упорством. Но увы! Под пышным нарядом даже самого великого властелина скрывается всего лишь простой смертный! Ах, Джеральдин, я и сам готов проклинать свою слабость! Но все равно я ничего не могу с собой поделать. Я не могу оставаться равнодушным к печальной участи несчастного молодого человека, с которым мы ужинали не далее как вчера вечером. Могу ли я допустить, чтобы председатель безнаказанно продолжал свою гнусную торговлю человеческими жизнями? Могу ли, повстречав столь увлекательное приключение, оборвать его и остановиться на полпути? Нет, Джеральдин, вы требуете от принца Богемского большего, чем может человек, имеющий честь носить этот титул. Итак, нынче вечером мы вновь займем свои места за зеленым столом Клуба самоубийц.

Полковник Джеральдин бросился на колени перед принцем.

— Если вашему высочеству понадобится моя жизнь,— взмолился он,— берите ее, не задумываясь. Она принадлежит вам всецело. Но только, ради бога, не требуйте, чтобы я поддерживал вас в предприятии, сопряженном с таким ужасным риском!

— Полковник Джеральдин,— несколько надменно ответил принц.— Жизнь ваша принадлежит всецело вам. Я полагал, что ваша преданность выражается в беспрекословном выполнении моей воли. Но в покорности, если она исходит не от души, я не нуждаюсь. Прибавлю лишь одно: ваша настойчивость в этом вопросе исчерпала мое терпение.

Шталмейстер принца Флоризеля поднялся с колен.

— Ваше высочество,— произнес он,— не позволите ли вы мне покинуть вас до вечера? Как честный человек, я не имею права вступать вторично в этот роковой дом, не приведя прежде в порядок своих дел. Я обещаю, что ваше высочество никогда более не встретит непокорности от своего преданнейшего и благодарнейшего слуги.

— Мой дорогой Джеральдин,— ответил принц.— Мне всегда больно, когда вы вынуждаете меня напоминать о неравенстве моего и вашего положения. Располагайте сегодняшним днем, как вам угодно, но только будьте здесь вечером не позднее одиннадцати, в том же обличье, что и вчера.

На этот раз число членов клуба было меньше, чем накануне. Когда Джеральдин с принцем прибыли, в курительной собралось человек десять — двенадцать, не больше. Его высочество отвел председателя в сторонку, чтобы горячо поздравить с кончиной мистера Мальтуса.

— Я всегда радуюсь, когда встречаю способного человека,— сказал он,— а у вас, я вижу, способностей хоть отбавляй. Призвание ваше весьма щекотливого свойства, и, однако, я вижу, с каким блеском и с какой предусмотрительностью вы справляетесь с вашими обязанностями.

Председатель был заметно польщен похвалами лица, незаурядность которого он не мог не чувствовать, и смиренно поблагодарил за комплимент.

— Бедняга Мальти! — прибавил он.— Мой клуб совсем не тот без него, право! Большая часть моих клиентов — юнцы, сударь, а с этой романтической молодежью не очень-то разговоришься. Впрочем, Мальти был не чужд романтики, но только его романтизм был близок моей душе.

— Могу себе представить, как уютно вы должны были чувствовать себя с мистером Мальтусом,— ответил принц.— Мне он показался личностью весьма своеобразной.

Вчерашний молодой человек находился тут же, но он был молчалив и, видимо, угнетен. Его новые знакомцы тщетно пытались вовлечь его в разговор.

— Ах, как я раскаиваюсь,— воскликнул он,— что ввел вас в этот проклятый притон! Бегите отсюда, покуда руки ваши не осквернились кровью. Если бы вы слышали, как завизжал старик, падая на тротуар, и как захрустели его кости! Пожелайте мне, если у вас есть капля участия к недостойному — пожелайте мне получить нынешней ночью туза пик!

В течение вечера подошли еще несколько членов клуба, но, когда все уселись за зеленое сукно, общее число их не превышало чертовой дюжины. Принц, несмотря на то, что ужас сжимал его сердце, вновь ощутил прилив неизъяснимой радости. Но что его удивило больше, это что Джеральдин казался значительно спокойнее, чем накануне. «Как странно,— подумал принц,— что такое обстоятельство, как составление завещания, могло бы так действовать на человека его возраста».

— Внимание, господа! — возвестил председатель и принялся сдавать.

Трижды карты обошли стол, а роковые тузы все еще не появлялись. Когда председатель начал метать в четвертый раз, напряжение достигло высшей точки. Каждому оставалось получить еще одну карту. Принц сидел через одного от председателя, по его левую руку, и, поскольку сдача шла против часовой стрелки, ему должна была достаться предпоследняя карта. Игрок, сидевший третьим справа от председателя, получил черного туза. Это был туз треф. Следующему достались бубны, его сосед получил черви и так далее. Туз пик все не появлялся. Наконец Джеральдин, сидевший рядом с принцем, по его левую руку, перевернул свою карту. Ему вышел туз, туз червей.

Когда перед принцем Флоризелем легла на стол карта, которая должна была решить его судьбу, сердце его внезапно остановилось в груди. Несмотря на все его мужество, капли пота выступили на его челе. Ровно пятьдесят шансов из ста были за то, что он человек обреченный. Он перевернул карту: это был туз пик. В голове у него зашумело, в глазах помутилось. Он слышал, как судорожно расхохотался сосед: в этом жутком смехе были и радость и разочарование. Видел, как, встав из-за стола, игроки поспешно покидали комнату. Но мысли его были заняты другим. Ему представилось все преступное безрассудство его поведения: в расцвете сил и здоровья, наследник престола, он проиграл свое

будущее — и не только свое собственное, но и будущее своей славной, мужественной страны. «О господи! — вскричал он.— Боже милостивый, прости меня!» Впрочем, он тотчас с собой справился.

К его удивлению, Джеральдин куда-то исчез. В опустевшей комнате председатель вполголоса совещался с тем, кому на эту ночь выпала роль палача. Казалось, в комнате, кроме их троих, не было никого. Но тут к принцу незаметно подошел молодой человек, угощавший пирожными, и шепнул ему в самое ухо:

— Я бы дал миллион, если бы у меня он был, за то, чтобы мне выпало ваше счастье.

Принц не мог удержаться от мысли, что он согласился бы уступить свою удачу и за гораздо более скромную сумму.

Между тем совещание с палачом пришло к концу. Обладатель туза треф вышел из комнаты с видом человека, понявшего свою задачу, а председатель подошел к принцу с протянутой рукой.

— Рад был с вами познакомиться, сударь,— сказал он,— и счастлив, что мне удалось оказать вам эту пустяковую услугу. Во всяком случае, вы не имеете оснований жаловаться на проволочку. На второй же день — это редкая удача!

Принц тщетно пытался произнести что-то в ответ. У него пересохло во рту, и язык отказывался повиноваться.

— Вам немного не по себе? — участливо спросил председатель.— Это бывает почти со всеми. Может, хотите глоток бренди?

Принц в знак согласия кивнул, и тот наполнил ему рюмку.

— Бедняга Мальти! — воскликнул председатель, когда принц осушил рюмку.— Он выпил чуть ли не целую пинту, а толку никакого!

— Должно быть, я лучше поддаюсь лечению,— сказал принц и в самом деле почувствовал, что дурнота проходит.— Я снова, как видите, владею собой. Теперь будьте любезны объяснить мне, что я должен делать дальше.

— Вы должны идти вдоль Стрэнда по направлению к Сити, по левой стороне улицы, покуда не повстречаетесь с господином, который только что нас покинул. Он сообщит вам дальнейшие распоряжения, а вы уж будьте

любезны в точности их выполнить. На эту ночь он облечен верховной властью. Итак,— заключил председатель,— позвольте пожелать вам приятной прогулки.

Кое-как поблагодарив хозяина, Флоризель откланялся и пошел прочь. Проходя сквозь курительную, в которой игроки все еще допивали заказанное принцем шампанское, он с удивлением отметил, что в душе посылает им всем проклятия. В кабинете председателя он надел пальто и шляпу и разыскал свой зонт среди полдюжины других, стоявших в углу. Обыденность этих действий в сочетании с мыслью, что он совершает их в последний раз, вызвала у него странный приступ смеха, прозвучавший неприятно в его собственных ушах. Он вдруг почувствовал, что ему не хочется выходить из кабинета, и на минуту повернулся к окну. Вид фонарей и окружающего их мрака заставил его вновь опомниться.

— Ну же, ну,— сказал он себе,— будь мужчиной! Ступай.

На углу Бокс-корта какие-то три молодчика накинулись на принца Флоризеля и грубо швырнули его в карету, которая тут же покатила дальше. В карете оказался еще один пассажир.

— Простит ли мне ваше высочество мое рвение? — произнес хорошо знакомый голос.

Принц бросился полковнику на шею.

— Как могу я вас отблагодарить? — вскричал он.— И как все это произошло?

Несмотря на все свое мужество и готовность, не дрогнув, встретить свою судьбу, принц несказанно обрадовался дружескому насилию, возвращавшему ему и жизнь и надежду.

— Вы отлично меня отблагодарите,— ответил полковник,— если обещаете в будущем избегать таких рискованных положений. Что касается вашего второго вопроса, все оказалось чрезвычайно просто. Я договорился за несколько часов до заседания клуба с известным детективом. Он гарантировал полную тайну, за что ему и была выдана соответствующая сумма. Исполнителями операции были в основном ваши собственные слуги. С наступлением темноты дом в Бокс-корте был окружен, а эти лошади — из ваших же конюшен — вот уже почти час, как поджидали вас здесь.

— А тот несчастный, что был приговорен меня убить? Что с ним?

— Как только он покинул здание клуба, его связали по рукам и ногам,— ответил полковник,— и он теперь ожидает вашего приговора во дворце, куда вскоре свезут всех его сообщников.

— Джеральдин,— сказал принц.— Вопреки моим приказаниям вы спасли мне жизнь и прекрасно поступили. Я обязан вам не только жизнью, но и уроком. И я был бы недостоин звания принца Богемского, если бы не отблагодарил своего учителя. Предоставляю вам избрать форму, в которую должна вылиться моя благодарность.

В разговоре друзей наступила длительная пауза. Каждый был погружен в свои размышления, между тем как карета продолжала быстро катиться по улицам Лондона. Первым молчание нарушил полковник Джеральдин.

— В распоряжении вашего высочества,— сказал он,— находится изрядное число арестованных. Среди них имеется по крайней мере один преступник, которому должно воздать полной мерой за его преступления. Клятва, которой мы оба связаны, запрещает прибегнуть к закону. Но даже если бы мы нашли возможным нарушить ее, соображения государственного порядка все равно не позволили бы предать дело гласности. Разрешите спросить, ваше высочество, что вы намерены предпринять?

— Это уже решено,— ответил Флоризель.— Председатель должен пасть в поединке. Остается лишь выбрать ему противника.

— Ваше высочество, вы предложили мне назвать свою награду,— сказал полковник.— Позвольте же просить вас назначить противником в этом поединке моего брата. Я сознаю, сколь почетно и ответственно подобное поручение, но смею заверить ваше высочество, мой братец выполнит его с честью.

— Вы просите о страшной услуге,— отвечал принц,— но я не могу вам отказать ни в чем.

Полковник с почтительной нежностью поцеловал принцу руку. Между тем карета въехала под арку, ведущую в роскошную резиденцию принца.

Час спустя принц Флоризель, облаченный в парадный мундир и при всех орденах Богемского королевства, принимал у себя членов Клуба самоубийц

— Несчастные безумцы,— обратился он к ним.— Каждый, кого в Клуб самоубийц привела бедность, получит работу и соответственное вознаграждение. Если же вас мучит совесть, вам следует обратиться к властителю более могущественному и милосердному, чем я. Жалость, которую я испытываю ко всем вам, глубже, чем вы можете себе представить. Завтра каждый из вас расскажет мне повесть своей жизни. Чем вы будете со мной откровенней, тем легче мне будет вам помочь. Что касается вас,— обратился принц к председателю,— я проявил бы верх бестактности, если бы вздумал навязывать помощь человеку столь блистательных талантов. Зато я могу предложить вам следующее развлечение. Этот молодой офицер,— здесь принц Флоризель положил руку на плечо младшего брата полковника Джеральдина,— изъявил желание проехаться в Европу. Я попрошу вас как об особом одолжении принять участие в этой маленькой прогулке. Владеете ли вы пистолетом?— спросил принц, внезапно переменив тон.— Может статься, что вам понадобится это искусство. Когда два джентльмена отправляются вместе в турне, надо быть готовым ко всему. Позвольте прибавить, что если вы в силу каких-либо обстоятельств потеряете в пути юного мистера Джеральдина, среди моих приближенных всегда найдется другой джентльмен, готовый поступить в ваше распоряжение. И, надо сказать, господин председатель, что я славлюсь зорким зрением и длинной рукой, которая достает до самых отдаленных уголков нашей планеты.

Этими словами, произнесенными ледяным тоном, принц заключил свою речь. На следующее утро, устроив со свойственной ему широтой судьбу бывших членов Клуба самоубийц, принц отправил их председателя путешествовать в сопровождении мистера Джеральдина и двух преданных и искушенных придворных лакеев. Впрочем, он не удовольствовался этим и поместил своих агентов, людей, которым он мог верить, как самому себе, сторожить Бокс-холл. Вся корреспонденция и все лица, прибывающие в бывшее помещение Клуба самоубийц, направлялись ими к самому принцу Флоризелю.

На этом, по словам нашего арабского рассказчика, и кончается *история молодого человека с пирожными*, который ныне является почтенным домовладельцем и проживает на Вигмор-стрит, что возле Кавэндиш-сквера. Номер дома, по понятным причинам, я не намерен предавать гласности. Тем же, кому угодно узнать о дальнейших приключениях принца Флоризеля и председателя Клуба самоубийц, мы можем рекомендовать *повесть об английском докторе и дорожном сундуке*. Итак...

ПОВЕСТЬ ОБ АНГЛИЙСКОМ ДОКТОРЕ И ДОРОЖНОМ СУНДУКЕ

Молодой американец мистер Сайлас К. Скэддемор был кроток и простодушен, что следует вменить ему в особую заслугу, поскольку он родом был из Новой Англии, стороны славной в Новом Свете отнюдь не вышеназванными качествами. Человек весьма и весьма состоятельный, он тем не менее заносил все свои расходы в маленькую записную книжку, а радости парижской жизни вкушал с высоты седьмого этажа скромной гостиницы Латинского квартала. Бережливость его была следствием привычки, а добродетельное поведение, выгодно отличавшее его в кругу знакомых, имело основанием робость, присущую юному возрасту.

В соседней с ним комнате проживала некая особа весьма привлекательной наружности. Изящество ее туалетов заставило Сайласа поначалу принять ее за графиню. Со временем, однако, он узнал, что зовут ее мадам Зефирин и что, каково бы ни было ее истинное положение в обществе, знатностью рода она не отличается. Мадам Зефирин — быть может, в надежде пленить юного американца — то и дело попадалась ему на лестнице; при этом она всякий раз слегка наклоняла головку, роняла два-три слова приветствия, которые непременно сопровождались испепеляющим взглядом ее черных очей, и, прошуршав мимо, оставляла в его впечатлительной памяти прелестное видение ножки чуть повыше ботинка. Впрочем, все эти авансы, вместо того чтобы ободрить мистера Скэддемора, повергали его в глубочайшее уныние и еще больше увеличивали его застенчивость. Раза два-три она даже заходила к не-

му—попросить спичек или извиниться за мнимые прегрешения своего пуделя,— и, однако, в присутствии столь блистательной дамы он неизменно терял дар речи, и ни одно французское слово не приходило ему на ум. Бедный молодой человек мялся и пожирал прекрасную гостью глазами. Зато в более непринужденной обстановке, в обществе приятелей мужского пола он позволял себе ронять небрежные намеки, из которых вырисовывалась картина значительно более эффектная, нежели тусклая действительность.

По другую сторону его комнаты — а их было на каждом этаже всего три — проживал пожилой англичанин, лондонский доктор с несколько подмоченной репутацией. Доктор Ноэль— так звали соседа Сайласа — был вынужден покинуть Лондон, где у него была большая и все возраставшая практика; говорили, что этой смене декорации в известной степени способствовали полицейские власти. Как бы то ни было, человек этот, некогда занимавший в обществе положение не лишенное известного блеска, ныне жил в Латинском квартале неприхотливой жизнью анахорета, почти весь свой досуг отдавая науке.

Мистер Скэддемор вскоре с ним подружился, и они иногда вместе вкушали скромный обед в ресторане напротив гостиницы.

За Сайласом К. Скэддемором водились кое-какие грешки, не слишком, впрочем, серьезные, и хоть они и не украшали его репутации, он предавался им, отбросив ложный стыд. На первом месте среди них стояло любопытство. У него был нюх прирожденного сплетника; жизнь, особенно та ее сторона, с которой он еще не успел как следует познакомиться, занимала его до страсти. Его любознательность была неискоренима и неутомима, расспросы его были столь же назойливы, сколько нескромны. Если кто-нибудь просил его снести на почту письмо, он непременно взвешивал его на ладони и вертел в руках, тщательнейшим образом штудируя адрес на конверте.

Однажды, обнаружив между своей комнатой и комнатой мадам Зефирин небольшую щель, мистер Скэддемор вместо того, чтобы тотчас ее заделать, расширил и усовершенствовал это оконце, позволившее ему наблюдать за соседкой.

Чем больше он стремился утолить свое любопытство, тем сильнее оно разгоралось. И вот однажды, в последних числах марта, он решился еще больше расширить щель, чтобы иметь возможность обозревать еще один уголок комнаты, в которой обитала мадам Зефирин. Однако в тот же вечер, заняв свой наблюдательный пост, Сайлас, к своему удивлению, заметил, что щель заделана с той стороны. Еще более подивился он, когда его смотровое окно вновь внезапно открылось и до его ушей донеслось хихиканье. Очевидно, обвалившаяся с той стороны штукатурка выдала его тайну, и соседка решила отплатить ему любезностью за любезность. Мистер Скэддемор испытал острое чувство неудовольствия и мысленно посылал проклятия по адресу мадам Зефирин. Более того, он даже и себя побранил. Впрочем, когда на другой день обнаружилось, что мадам Зефирин не приняла никаких мер, чтобы помешать его любимому занятию, он вновь воспользовался ее беспечностью.

В тот день к мадам Зефирин пришел посетитель, которого Сайлас никогда прежде не видел. Это был рослый мужчина с развинченной походкой, лет пятидесяти с лишним. Его ворсистый шерстяной костюм, цветная сорочка, не говоря уже о косматых бакенбардах, сразу выдавали в нем англичанина. От его тускловато-серых глаз на Сайласа повеяло холодом. Во все время разговора, который велся вполголоса, посетитель беспрестанно кривил губы. Юному уроженцу Новой Англии несколько раз почудилось, будто собеседники кивают в его сторону. Впрочем, как он ни напрягал слух, из всего разговора ему удалось уловить только одну фразу.

— Я досконально изучил его вкусы,— сказал англичанин, внезапно повысив голос,— и повторяю, что не могу найти более подходящей кандидатуры, чем ваша.

В ответ мадам Зефирин только вздохнула и жестом выразила безграничную покорность собеседнику.

К вечеру обсерватория молодого человека была окончательно закрыта с помощью шкафа, который переставили к стене, разделяющей обе комнаты. Сайлас все еще скорбел по поводу этого несчастья, причины которого приписывал злым козням англичанина, как вдруг консьержка доставила ему письмо. Оно было написано женским почерком по-французски, без излишнего педан-

тизма в орфографии. Подписи не было, однако писавшая в самых недвусмысленных выражениях назначала молодому американцу свидание в Бале-Булье в одиннадцать часов вечера. Долго в его юном сердце сражались любопытство и робость; то он был весь добродетель, то — кипучая дерзость. Баталия кончилась тем, что мистер Сайлас К. Скэддемор, безукоризненно одетый, прибыл к дверям Бала-Булье задолго до назначенного часа и, упиваясь собственной лихостью и широтой, купил входной билет.

По случаю масленицы зала была полна народу. Вначале при виде шумной толпы и зажженных огней юный искатель приключений несколько смешался, но вскоре хмель веселья кинулся ему в голову, и он ощутил в себе удаль, о которой ранее и не подозревал. Со всеми повадками завзятого кавалера он развязно, словно сам черт ему не брат, шаркал по бальному паркету, и, слоняясь из одного угла залы в другой, вдруг заметил мадам Зефирин и ее давешнего англичанина; они стояли подле колонны и были увлечены разговором. Кошачья натура Сайласа оказалась сильнее его; бесшумно подойдя к ним сзади, он стал прислушиваться.

— Вот он,— говорил англичанин,— вон тот, с длинными русыми волосами, который разговаривает с девицей в зеленом.

Сайлас тотчас обратил внимание на красивого молодого человека, ростом чуть ниже среднего, о котором, очевидно, и шел разговор.

— Хорошо,— сказала мадам Зефирин,— сделаю все, что в моих силах. Но помните, что при всем желании я не могу поручиться за успех.

— Вздор! — оборвал ее собеседник.— За результаты ручаюсь я. Вы разве не знаете, что прежде чем остановить свой выбор на вас, я перебрал десятка три других имен. Итак, за работу! Но остерегайтесь принца. Не понимаю, каким ветром его сегодня сюда занесло. Как будто в Париже нет балов, более достойных его внимания, чем это сборище студентов и приказчиков! Вот только поглядите на него: восседает, словно император на троне, а не простой наследный принц, шатающийся по свету без дела!

Сайласу вновь посчастливилось. Он увидел мужчину несколько грузного сложения, чрезвычайно красивого, с манерами любезными и одновременно властными; рядом с ним сидел человек тоже красивой наружности и на вид чуть помоложе. Этот второй обращался к своему собеседнику с подчеркнутой почтительностью. Слово «принц» сладко отозвалось в ушах молодого республиканца, а вид человека, которого величали этим титулом, произвел свое обычное магнетическое действие. Покинув мадам Зефирин и ее англичанина, Сайлас протиснулся сквозь толпу к столику, отмеченному августейшим присутствием принца.

— А я повторяю, Джеральдин,— говорил в эту минуту принц,— что все это — чистое безумие. Вы сами (я рад это подчеркнуть) избрали своего родного брата для выполнения столь опасного задания, и ваш долг — руководить его поступками. Он согласился задержаться в Париже на несколько дней — это уже само по себе безрассудство, если учитывать характер субъекта, с которым ему приходится иметь дело. А теперь, за двое суток до отъезда, когда еще два-три дня — и наступит решительный час, где он проводит эти оставшиеся дни? Он не должен бы выходить из тира, тренируя глаз и руку; должен спать как можно больше и совершать небольшие прогулки пешком; соблюдать строгую диету и не пить белых вин и коньяков. Или этот щенок воображает, что мы разыгрываем комедию? Но ведь вопрос идет о жизни и смерти, Джеральдин!

— Я знаю своего братца,— отвечал полковник,— и знаю, что мое вмешательство ему не нужно. Он гораздо более осмотрительный человек, нежели вы полагаете, и дух его непоколебим. Если бы в деле была замешана женщина, быть может, я и не был бы так спокоен, но доверить председателя ему и вашим двум слугам я могу с закрытыми глазами.

— Ваша уверенность меня радует,— сказал принц,— и все-таки душа у меня не на месте. Эти мои слуги — первоклассные сыщики, и тем не менее разве злодей не умудрился трижды обмануть их бдительность и провести по нескольку часов кряду неизвестно где? Можете быть уверены, он не теряет времени даром. Какой-нибудь дилетант еще мог бы случайно потерять его след, но если председателю удалось сбить со следа Рудольфа с Жеромом, это неспроста. У этого человека, должно быть, имеются веские причины действовать таким образом, не говоря уже о его дьявольской ловкости.

— Я полагаю,— ответил Джеральдин слегка обиженным голосом,— что это наша забота, моя и брата.

— Вполне с вами согласен, полковник Джеральдин,— ответил принц.— Но, быть может, именно вследствие этого вы и могли бы несколько прислушаться к моим советам. Вон та девица в желтом недурно танцует.

И беседа перекинулась на обычные темы парижских балов во время масленицы.

Сайлас спохватился, что ему пора идти на свое свидание. Он думал о нем без всякого удовольствия. В это время толпа повлеклась к дверям, и он не стал сопротивляться течению, которое занесло его в уголок под хорами, где слух его тотчас уловил знакомые интонации мадам Зефирин. Она говорила по-французски с тем русокудрым юношей, которого ей указал немногим меньше получаса назад таинственный англичанин.

— Я вынуждена оберегать свою репутацию,— говорила она,— иначе я не стала бы думать ни о чем, кроме как о влечении собственного сердца. Впрочем, довольно одного вашего словечка портье, и он пропустит вас беспрепятственно.

— Но к чему этот разговор о каком-то долге? — возразил ее собеседник.

— Боже мой! — воскликнула она.— Неужели вы полагаете, что мне меньше вашего известны нравы отеля, в котором я живу?

И, нежно опираясь на руку своего собеседника, она прошла с ним дальше.

Сайлас снова вспомнил, что и его тоже ожидает свидание.

«Как знать,— подумал он,— какие-нибудь десять минут, и я сам, быть может, пойду под руку с дамой, не уступающей мадам Зефирин красотой, и, быть может, даже лучше одетой? Вдруг она окажется настоящей светской дамой да притом еще и титулованной?»

Но, вспомнив орфографию полученного им любовного письма, он немного сник.

«Впрочем, она могла продиктовать записку горничной»,— подумал он тут же.

Оставалось всего пять минут; пульс его участился, сердце тягостно заныло. Ему пришло в голову, что еще, собственно, не поздно и он вовсе не обязан явиться на свидание. Добродетель, найдя мощного союзника в ма-

лодушии, подвигала его ближе к дверям — на этот раз самостоятельно и даже против общего течения, которое внезапно повернуло назад. Но — то ли он устал протискиваться сквозь толпу, то ли пребывал в том состоянии духа, когда невозможно бывает больше нескольких минут кряду следовать в одном направлении,— как бы то ни было, он в третий раз повернул назад и остановился невдалеке от места, указанного ему прекрасной незнакомкой.

Здесь он пережил сущую душевную муку и, будучи благочестивым молодым человеком, несколько раз принимался молить бога о помощи. Предстоящая встреча его уже не привлекала нисколько, и только глупый страх показаться недостаточно мужественным удерживал его от бегства. Однако чувство это оказалось сильнее всех прочих и хоть и не заставило его сделать и шагу вперед, но помешало уйти. Между тем часы показывали десять минут двенадцатого. Юный Скэддемор приободрился. Выглянув из своего уголка, он увидел, что в условленном месте его никто не ждет. Должно быть, наскучив ожиданием, его таинственная поклонница ушла. Все его малодушие как рукой сняло. Он так и светился отвагой. Пусть и с опозданием, но все же он пришел, и это снимало с него тень обвинения в трусости. Впрочем, продолжал он рассуждать, над ним, очевидно, подшутили, и он уже поздравлял себя с собственной проницательностью, позволившей ему раскусить шутку и перехитрить своих мистификаторов. Как легко совершаются подобные переходы в юности!

Ободренный всеми этими соображениями, он дерзко покинул свой угол, но не успел сделать и двух шагов, как почувствовал на своей руке легкое прикосновение женской ручки. Он живо обернулся и увидел перед собой даму весьма крупных форм и с довольно величавыми чертами лица, лишенными, впрочем, малейшего признака суровости.

— Вы, я вижу, опытный сердцеед,— сказала она,— ибо заставляете себя ждать. Но я твердо решила с вами повидаться. Если женщина решается на первый шаг, она уже оставляет все соображения мелкого самолюбия далеко позади.

Сайлас был ошеломлен могучими формами своей очаровательной корреспондентки, а также внезапностью, с какой она на него обрушилась. Впрочем, она держа-

лась так просто, что вскоре и он стал чувствовать себя с ней вполне непринужденно. Она была очень любезна и мила, вызывала его на острословие и до упаду смеялась его шуткам. Таким образом, в предельно короткий срок с помощью комплиментов и бренди, разбавленного кипятком, ей удалось внушить ему, что он до смерти влюблен, и, больше того,— вырвать у него признание, облеченное в самые страстные выражения.

— Увы!— сказала она.— Как ни велико счастье, которое доставляет мне ваше признание, я должна бы проклинать эту минуту. До сих пор я страдала в одиночестве; теперь, мой бедный мальчик, нас двое. К сожалению, я не свободна. Я не могу пригласить вас к себе, ибо за мною учрежден ревнивый надзор. Я, пожалуй, вас старше,— продолжала она,— и вместе с тем насколько слабее! И хоть я ничуть не сомневаюсь в вашей отваге и решимости, я должна в наших же интересах руководствоваться своим знанием света. Где вы живете?

Он назвал ей свой отель, улицу и номер дома.

Она задумалась.

— Хорошо,— сказала она наконец,— я ведь могу рассчитывать на вашу преданность и повиновение, не так ли?

Сайлас с жаром уверил ее в своей безграничной покорности.

— Ну что же,—продолжала она с улыбкой.— В таком случае завтра вечером вы должны сидеть дома и под любым предлогом избавиться от случайных посетителей. У вас двери, вероятно, запираются в десять?

— В одиннадцать,— сказал Сайлас.

— Хорошо. Ровно в четверть двенадцатого вы выйдете из дому. Попросите портье вас выпустить,— и смотрите же, не вступайте с ним в объяснения: это может погубить все дело. Идите прямо на угол Люксембургского сада и Бульваров. Там я и буду вас ожидать. Я рассчитываю, что вы в точности исполните мои указания, и помните: малейшее, самое незначительное отступление может погубить несчастную женщину, повинную лишь в том, что увидела вас и полюбила с первого взгляда.

— Мне не совсем понятно, зачем столько предосторожностей,— сказал Сайлас.

— Ого, вы уже начинаете проявлять свою власть надо мной! — воскликнула она, игриво прикоснувшись к его руке веером.— Терпение, терпение! Со временем

придет и это. Но вначале женщине нужно, чтобы ей повиновались, и только потом она сама начинает находить особое наслаждение в покорности. Ради всех богов, делайте, как я вам велю, или я ни за что не ручаюсь. А впрочем,— прибавила она задумчиво, словно ей только что представились какие-то дополнительные и непредвиденные осложнения,— я придумала для вас еще лучший способ избавиться от непрошеных гостей. Скажите портье, чтобы он никого к вам не пускал, кроме человека, который, быть может, придет получить с вас старый долг; причем произнесите это с некоторым волнением, словно страшитесь визита этого кредитора, так, чтобы ваши слова как можно убедительнее прозвучали в ушах портье.

— Я полагаю, что и сам могу изыскать способ избавиться от нежелательных визитеров,—не без досады ответил он.

— Мне бы хотелось, чтобы вы поступили именно так, как я говорю,— холодно произнесла она.— Ну да я знаю мужчин. Для вас репутация женщины ничто.

Сайлас покраснел и потупился. Он и в самом деле рассчитывал порисоваться перед друзьями в своей новой роли победителя.

— Главное же,— повторила она,— когда будете выходить,— ни слова портье!

— Почему вы придаете этому такое значение? — спросил он.— Из всех ваших указаний последнее мне кажется наименее существенным.

— Вы ведь сомневались в целесообразности и прочих моих распоряжений, которые вам уже более не кажутся излишними,— парировала она.— Поверьте мне, что и это, последнее, не простой каприз; со временем вы убедитесь сами. Чего стоят, однако, ваши чувства, если в первое же свидание вы хотите отказать мне в таком пустяке!

Сайлас запутался в оправданиях и извинениях, которые она внезапно прервала, как бы невзначай взглянув на стенные часы.

— Господи боже мой! — воскликнула она, всплеснув руками.— Неужели так поздно? У меня ни минуты времени. Увы, какие мы, женщины, несчастные, какие мы все рабыни! Вы и представления не имеете, чем я рискую ради вас! —И, повторив еще раз свои указания, сопровождая их ласковыми словами и более чем красно-

речивыми взглядами, она пожелала ему покойной ночи и исчезла в толпе.

Весь последующий день Сайлас был исполнен важности; у него уже не оставалось сомнений в том, что его возлюбленная — графиня. А с наступлением вечера, скрупулезно исполнив все ее наказы, в назначенный час он явился на угол Люксембургского сада и Бульваров. Там никого не оказалось. Чуть ли не полчаса простоял он, заглядывая в лица всех женщин, которые проходили мимо или останавливались поблизости. Он даже исследовал все окрестные углы Бульваров и обошел Люксембургский сад кругом. Однако прекрасная графиня, готовая броситься ему в объятия, так ему нигде и не повстречалась. Наконец он печально поплелся обратно в отель. По дороге ему вдруг припомнился подслушанный им разговор между мадам Зефирин и русокудрым юношей, и он ощутил смутную тревогу. «Непонятно, почему все должны что-то врать нашему портье», — подумал он.

Он позвонил. Портье в ночной рубахе и колпаке открыл дверь и предложил посветить ему на лестнице.

— Он уже ушел? — спросил портье.

— Кто ушел? О ком вы говорите? — в свою очередь, спросил Сайлас. Он еще не оправился от своего разочарования, и поэтому голос его был немного резок.

— Я не видел, как он выходил, — продолжал портье, — надеюсь, что вы с ним расплатились. Мы не очень-то жалуем постояльцев, которые не расплачиваются со своими кредиторами.

— Что за белиберда, черт возьми! — вскричал Сайлас. — Не понимаю, о ком вы говорите!

— Да об этом коротеньком господине со светлыми волосами, — ответил портье. — О ком же еще? Ведь вы же сами не велели пускать к вам никого, кроме человека, который придет за своим долгом.

— Господи, да ведь он, разумеется, и не приходил! — ответил Сайлас.

— Значит, мои глаза меня обманули, — сказал портье и подмигнул жильцу с самым плутовским видом.

— Дерзкий шут! — вскричал Сайлас. И, досадуя на себя за то, что выказал перед портье свое раздражение, объятый к тому же миллионом самых неприятных предчувствий, взбежал на лестницу.

— Так вам не надо посветить? — крикнул ему вслед портье.

Сайлас только ускорил шаг и взлетел к себе на седьмой этаж, ни разу не останавливаясь. У двери своей комнаты он постоял с минуту, чтобы отдышаться; самые мрачные предположения роились в его мозгу, и он не сразу решился войти.

Наконец, превозмогая робость, он открыл дверь и с облегчением увидел, что в комнате свет не зажжен и что в ней как будто никого нет. Он перевел дух. Наконец-то он дома, вне опасности! Сайлас тут же дал себе зарок, что нынешнее его безрассудство — первое в своем роде — будет также и последним. Он начал ощупью подвигаться к изголовью кровати, где у него на тумбочке лежали спички. Прежние страхи вновь обступили его, и он обрадовался, когда предмет, о который он споткнулся, оказался всего-навсего стулом. Наконец он нащупал руками полог, свисавший над кроватью. По расположению тускло мерцавшего окна он догадался, что находится в ногах постели; оставалось, перебирая по ней руками, достигнуть изголовья, возле которого стояла тумбочка.

Он опустил руку, но то, что нащупала его ладонь, было не просто покрывалом, а покрывалом, под которым лежало нечто весьма по своим контурам напоминающее человеческую ногу. Сайлас отдернул руку и с минуту постоял как окаменелый.

«Что же это такое? — подумал он. — Что это значит?»

Он стал внимательно вслушиваться, но не мог уловить человеческого дыхания. Еще раз, сделав над собой невероятное усилие, он кончиком мизинца прикоснулся к тому же самому месту и отпрянул. Он дрожал всем телом. Что-то лежало на его постели, это несомненно. Что именно, он не знал.

Прошло несколько секунд, прежде чем он мог пошевельнуться. Затем, нашарив рукой спички и став к постели спиной, он засветил свечу. Как только она разгорелась, он медленно обернулся и увидел то, что боялся увидеть. Подтвердилась самая страшная из его догадок. Покрывало тщательно было натянуто на подушку, но под ним безошибочно вырисовывались формы бездыханного человеческого тела. Сайлас бросился к постели, резко отдернул покрывало и обнаружил того самого ру-

сокудрого молодого человека, которого видел накануне в Бале-Булье. Невидящие глаза юноши были широко раскрыты, лицо распухло и почернело, около носа запеклись две тонкие струйки крови.

С долгим, прерывистым воплем Сайлас выронил свечку из рук и упал на колени перед кроватью.

Из оцепенения, в которое Сайласа погрузило страшное открытие, его вывел настойчивый и тихий стук в дверь. Впрочем, он не сразу очнулся, и, когда наконец сообразил, что следует во что бы то ни стало преградить вход в комнату, было уже поздно. Доктор Ноэль в высоком ночном колпаке, держа в руках лампу, освещавшую снизу его длинное бледное лицо, уже протиснулся в дверь и, по-птичьи склонив голову, проследовал на середину комнаты.

— Мне послышался крик,— начал доктор,— я подумал, что вам плохо, и позволил себе вторгнуться к вам.

Чувствуя, как кровь заливает ему щеки, и оглушенный стуком собственного сердца, Сайлас стоял спиной к постели, стараясь заслонить ее от доктора. Голос ему, однако, не повиновался, и он молчал.

— Вы отчего-то в потемках,— продолжал доктор,— а между тем вы, по-видимому, еще и не собирались ложиться. Вам не удастся обмануть мои глаза, а лицо ваше красноречиво говорит о том, что вы нуждаетесь в помощи — друга или врача, этого я еще не знаю. Позвольте ваш пульс, подчас это самый верный свидетель.

Доктор продолжал наступать на Сайласа, пытаясь поймать его руку, между тем как тот от него пятился. Наконец, нервы американца не выдержали. Отпрянув от доктора, он бросился на пол и разразился рыданиями.

Как только доктор обнаружил мертвое тело на постели, лицо его потемнело. Бросившись назад к двери, он затворил ее и дважды повернул ключ в замке.

— Встаньте! — резко приказал он.— Сейчас не время предаваться слезам. Что вы наделали? Каким образом в вашей комнате очутился труп? Говорите откровенно, вы имеете дело с человеком, который в состоянии вам помочь. Неужели вы думаете, что я стану вас губить? Что эта безжизненная плоть способна хоть на йоту изменить симпатию, которую я к вам почувствовал с начала нашего знакомства? С каким бы ужасом ни

взирало на убийство слепое и подчас несправедливое правосудие, неужто, о легковерный юнец, вы думаете, что сердце друга с таким же ужасом отнесется к тому, кто это убийство совершил? Нет, нет, если бы друг моей души выплыл ко мне из океана крови, мое отношение к нему не изменилось бы ничуть. Поднимитесь,— продолжал он,— понятие о добре и зле — только химера; один лишь рок управляет нашей жизнью. Знайте же, что, в каких бы обстоятельствах вы ни очутились, вы можете рассчитывать на меня. Я никогда вас не покину.

Приободренный этой речью, Сайлас взял себя в руки и прерывающимся голосом, время от времени поощряемый вопросами доктора, рассказал ему основные обстоятельства дела. Впрочем, подслушанный им разговор между принцем и Джеральдином он опустил, так как смысл его был ему самому неясен и он не представлял себе, чтобы этот разговор был как-нибудь связан с бездыханным телом на его постели.

— Увы! — вскричал доктор Ноэль,— либо я ничего не понимаю, либо вы попали в руки самых отъявленных злодеев в Европе. Бедный мальчик, в какую страшную ловушку вас толкнуло собственное простодушие! К какому гибельному концу привел ваш неосторожный шаг! Ну, а этот человек,— продолжал он,— этот англичанин, которого вы видели дважды — а я подозреваю, что он и является скрытой пружиной всей этой истории,— не можете ли вы его описать? Стар он или молод? Высокого роста или маленького?

Но Сайлас, несмотря на свое необузданное любопытство, был начисто лишен наблюдательности, и то, что он мог сказать о наружности англичанина мадам Зефирин, было настолько общо, что ровно никакого представления о нем не давало.

— Я бы ввел наблюдательность во всех школах как обязательный предмет! — с яростью сказал доктор.— Для чего человеку даны глаза и дар речи, если он не может заметить и описать по памяти черты своего врага? Я знаком со всеми бандитскими шайками Европы и мог бы тотчас опознать его, и таким образом знал бы, каким оружием лучше всего вас от него защитить. Попытайтесь на будущее, бедный мой мальчик, развить в себе эту способность. Вы увидите, что она может пригодиться.

— На будущее! — уныло повторил Сайлас.— Как можно говорить о будущем человека, которого ожидает виселица?

— Юность — пора малодушия,— сказал доктор.— В этом возрасте человек склонен сгущать краски. Я стар и, как видите, никогда не отчаиваюсь.

— Но кто мне поверит в полиции? — спросил Сайлас.

— Разумеется, никто,— ответил доктор.— Судя по всему, вас запутали как следует, и с этой стороны ваше положение достаточно безнадежно: с узкой точки зрения блюстителей закона, вы окажетесь очевидным убийцей. Имейте еще в виду, что нам известна только часть замысла и что бессовестные заговорщики несомненно подстроили множество дополнительных улик, которые должны будут всплыть на следствии и доказать вашу неоспоримую виновность.

— Значит, мне нет спасения, и я погиб! — воскликнул Сайлас.

— Я этого не сказал,— возразил доктор Ноэль,— ибо я человек осторожный.

— Ну, а что делать с этим?— спросил Сайлас, указывая на тело.— Вот она, улика, на моей постели! Ее не объяснишь, от нее не избавишься, на нее невозможно смотреть без ужаса!

— Ужаса? — повторил доктор.— Ну, нет. Когда ломается машина, именуемая человеческим организмом, она оказывается всего-навсего машиной, хитроумной машиной, которую остается исследовать с помощью ланцета. Кровь, как только она застынет и запечется, перестает быть человеческой кровью. Мертвая плоть перестает быть той плотью, которая вызывает вожделение любовника или уважение друга. Все изящество, вся привлекательность, а также и весь ужас ее исчезают вместе с оживлявшим ее духом. Приучитесь смотреть на нее спокойно, ибо если плану, который я задумал для вашего спасения, суждено осуществиться, вам придется провести несколько дней бок о бок с тем, что сейчас вас так ужасает.

— Плану? — воскликнул Сайлас.— Так у вас есть план? Ах, доктор, сообщите его мне поскорее. А то я совсем отчаялся!

Доктор на этот раз не ответил ничего и, подойдя к постели, принялся за осмотр тела.

— Смерть не подлежит сомнению,—пробормотал он.— И, как я и полагал, карманы пусты и с воротничка срезана метка портного. Работа добросовестная и ловкая. К счастью, он небольшого роста.

Сайлас слушал этот монолог с тревожным вниманием. Наконец доктор, окончив осмотр трупа, сел на стул и с улыбкой обратился к американцу.

— С той минуты, как я к вам вошел,—сказал он,— несмотря на то, что мои уши и мой язык были все время заняты, глаза мои тоже несли неустанную службу. И вот я приметил у вас в углу одну из тех чудовищных конструкций, без которых ваши соотечественники не появляются ни в одном из уголков земного шара. Я имею в виду ваш сундук. До настоящей минуты я никак не мог понять назначения этих монументов. И вдруг пелена приоткрылась. Для удобства ли работорговли были они придуманы, или для того, чтобы заметать следы слишком вольного обращения с охотничьим ножом, я еще не берусь сказать. Одно мне ясно во всяком случае: такой сундук существует для того, чтобы заключать в себе человеческое тело.

— Помилуйте! — воскликнул Сайлас.— Неужели вы можете еще шутить в такую минуту?

— Пусть я и выражаюсь с некоторой долей игривости,— ответил доктор,— но смысл моих речей в высшей степени серьезен. А поэтому, мой дорогой друг, потрудитесь первым делом опростать ваш сундучок.

Подчинившись властной манере доктора Ноэля, Сайлас принялся выполнять его распоряжение. В одну минуту все содержимое сундука было свалено на пол беспорядочной кучей. Затем они вдвоем подняли труп с постели— Сайлас держал его за ноги, доктор подхватил под плечи — и не без труда, согнув его вдвое, запихнули в сундук. Общими усилиями им удалось закрыть крышку; доктор собственными руками запер сундук и обмотал ремнями, между тем как Сайлас побросал свои вещи в гардероб и комод.

— Ну вот,— сказал доктор,— первый шаг к вашему спасению сделан. Завтра, вернее сегодня, вам необходимо усыпить подозрительность портье, уплатив ему все, что вы задолжали за квартиру. Мне же доверьте принять меры, которые должны привести дело к благополучному концу. А сейчас я попрошу вас пожаловать ко мне, я вам дам сильнодействующее и вполне безвредное

снотворное. Ибо, что́ бы вас ни ожидало впереди, вам необходимо освежиться глубоким сном.

Следующий день навеки остался в памяти Сайласа, как самый долгий день в его жизни. Казалось, что он не кончится никогда. Он никого не принимал и просидел до вечера у себя в углу, уныло воззрившись на сундук. Он пожинал плоды собственной нескромности: из комнаты мадам Зефирин за ним неустанно следили. Это его так измучило, что он наконец загородил щелку со своей стороны. Избавившись от соглядатаев, он провел остаток времени в покаянных слезах и молитве.

Поздно вечером к нему вошел доктор Ноэль, держа в руках два запечатанных, но не надписанных конверта. Один из них был туго набит и топорщился, другой, напротив, казался совершенно пустым.

— Сайлас,— сказал он, присаживаясь к столу,— пришло время объяснить вам план спасения, который я для вас придумал. Завтра, рано поутру, принц Флоризель Богемский возвращается в Лондон после нескольких дней, проведенных в Париже на масленице. Некогда, много лет назад, мне посчастливилось оказать шталмейстеру принца, полковнику Джеральдину, одну из тех услуг, весьма обычных в моей профессии, которые, однако, не забываются ни той, ни другой стороной. В чем именно заключалась моя услуга, неважно. Достаточно сказать, что полковник готов сделать для меня все, что в его силах. Вам необходимо перебраться в Лондон, избежав таможенного досмотра вашего багажа. Казалось бы, почти невозможное дело, но тут я вспомнил, что багаж такого значительного лица, как принц, свободен от досмотра. Я обратился к полковнику Джеральдину, и мне удалось получить от него благоприятный ответ. Итак, если вы завтра к шести часам утра подойдете к отелю, который занимает принц, ваш сундук попадет в его багаж, а сами вы совершите переезд в качестве лица, состоящего в его свите.

— Теперь, когда вы об этом заговорили, я припоминаю, что уже имел честь видеть и самого принца и полковника Джеральдина. Я даже слышал обрывок их разговора на балу.

— Вполне возможно; принц любит вращаться в самых разнообразных кругах,— ответил доктор.— С приездом в Лондон,— продолжал он,— ваша задача почти решена. В этом, более толстом конверте, который я

не решаюсь надписать, содержится письмо. Вскрывши другой, вы узнаете адрес, по которому вам надлежит доставить как письмо, так и сундук. Там у вас сундук заберут, после чего вас никто больше не станет беспокоить.

— Увы! — сказал Сайлас.— Я всей душой хотел бы вам поверить. Но возможно ли все это? Вы обещаете мне чудесное избавление, но, подумайте сами, может ли мой рассудок в него уверовать? Будьте же великодушны и поясните мне хотя бы что-нибудь.

В чертах доктора проступило неудовольствие.

— Мальчик,— сказал он,—вы не знаете, о чем просите. Но пусть так. В моей жизни хватало унижений, и я к ним привык. Да и смешно было бы после того, как я вам открыл уже так много, пытаться удержать последнее. Знайте же, что хоть в настоящее время я и представляюсь фигурой незаметной и тихой — этаким скромным, одиноким отшельником, всецело преданным науке,— некогда, в дни моей молодости, имя мое гремело рядом с именами самых отчаянных и дерзких преступников, обитавших в Лондоне. И хоть внешне я казался лицом почтенным и достойным всяческого уважения, на самом деле своим влиянием я был обязан тому, что принимал участие в делах таинственных, преступных и воистину ужасных. Вот и сейчас я прошу выручить вас одного из тех, кто мне тогда беспрекословно повиновался. Шайка их состояла из самого пестрого сброда, в ней были представлены все нации мира; люди, искушенные во всякого рода темных делах; связанные друг с другом страшной клятвой, члены ее промышляли одним и тем же делом. Дело это было —убийство. А тот, кого вы принимали за безобиднейшего старичка, был главарем этой грозной шайки.

— Как,—вскричал Сайлас,— убийство! Человек, который промышлял убийством! И вы думаете, что я могу подать вам руку? Принимать от вас услуги? Темный и преступный старик, неужели вы хотите воспользоваться моей молодостью и моей бедой, чтобы сделать меня своим соучастником?

Доктор с горечью засмеялся.

— Право, мистер Скэддемор,— сказал он,— на вас не угодишь. Впрочем, выбирайте между убийцей и убитым. Если совесть ваша столь щекотлива, что не дозволяет вам воспользоваться моей помощью, так и скажи-

те, и я вас тотчас покину. И управляйтесь себе, пожалуйста, с вашим сундуком и его содержимым, как вам продиктует ваша щепетильная совесть.

— Приношу вам свои извинения,— сказал Сайлас.— Я не имел права так скоро забыть ваше благородное предложение помочь мне, сделанное вами еще до того, как вы убедились в моей невиновности. Я по-прежнему буду с благодарностью следовать всем вашим советам.

— Вот и отлично,—сказал доктор.— Я вижу, что вы начинаете приобретать житейский опыт.

— Впрочем,— продолжал уроженец Новой Англии,— поскольку вы, по собственному вашему признанию, привыкли к этой трагической деятельности, а люди, которым вы меня препоручаете, являются вашими старинными товарищами и друзьями, не проще ли было бы вам взять на себя доставку сундука в Лондон и избавить меня раз и навсегда от этого ненавистного груза?

— Нет, вы неподражаемы! — сказал доктор.— Неужели вы думаете, что я без того недостаточно вожусь с вашими делишками? Поверьте, с меня хватит. Можете принимать мои услуги, можете не принимать — это уж как вам вздумается, и, пожалуйста, избавьте меня от изъявлений вашей благодарности, ибо чувствами вашими я дорожу не больше, чем вашим интеллектом. Придет время, и если вам суждено будет в добром здравии и ясном уме дожить до зрелых лет, вы взглянете на все это дело иначе, и тогда вам будет стыдно за ваше сегодняшнее поведение.

С этими словами доктор поднялся и, сухо повторив свои распоряжения, покинул комнату, не дав Сайласу времени ответить.

На следующее утро Сайлас явился в названный доктором отель, где был любезно принят полковником Джеральдином и на время избавлен от забот о своем сундуке и его ужасном содержимом. Путешествие прошло без особых приключений, если не считать того, что молодому человеку время от времени приходилось слышать, как матросы и носильщики ворчат между собой по поводу необычного веса багажа его высочества. Сайлас ехал в одном вагоне со слугами, так как принц Флоризель изъявил желание проделать этот путь наедине со своим шталмейстером. Однако на борту парохода Сайлас привлек к себе внимание его высочества необычайно

меланхолическим видом, с каким он неотрывно смотрел на кучу чемоданов, сложенных на корме. Он все еще был полон тревоги за будущее.

— Вот молодой человек,— сказал принц,— на душе у которого какая-то печаль.

— Это тот самый американец,— сказал Джеральдин,— которому вы по моей просьбе разрешили сопровождать вас в качестве члена вашей свиты.

— Да, и это мне напоминает, что я не исполнил долг вежливости,— сказал принц Флоризель и тут же подошел к Сайласу и заговорил с ним в своей обычной обворожительной манере:

— Я был счастлив, мой молодой друг, что оказался в состоянии удовлетворить вашу просьбу, переданную мне полковником Джеральдином, и прошу вас помнить, что в любое время буду рад оказать вам и более серьезную услугу.

Затем он принялся расспрашивать своего собеседника о политическом положении в Америке, и Сайлас ему отвечал с достоинством и толково.

— Вы еще молодой человек,— сказал принц,— но, как мне кажется, не по возрасту серьезны. Может быть, вы слишком углубляетесь в ваши ученые занятия? Впрочем, извините мою нескромность, быть может, я задел деликатную струну?

— Ах, я и в самом деле имею основания чувствовать себя несчастнейшим из смертных! — ответил Сайлас.— Ибо на свете нет никого, кто бы так страшно поплатился за свое простодушие, как я!

— Не стану добиваться вашей откровенности,— сказал принц Флоризель.— Прошу вас лишь не забывать, что рекомендация полковника Джеральдина — паспорт, не нуждающийся в печатях, и что я не только готов, но, быть может, более других в состоянии вам помочь.

Сайлас был очарован любезностью высокородного собеседника, но вскоре вновь вернулся к своим мрачным мыслям. Благосклонность принца крови не в состоянии утешить душу, обремененную тягостной заботой, даже если душа эта принадлежит республиканцу.

На вокзале Черинг-кросс таможенные чиновники, как всегда, из уважения к принцу, пропустили его багаж без досмотра. Путешественников встретили изящные экипажи, в одном из которых Сайлас был доставлен

вместе со всеми в резиденцию принца. Там полковник Джеральдин его разыскал и выразил радость, что мог оказаться полезным другу доктора, с большим теплом отозвавшись о последнем.

— Надеюсь, что ваш фаянс прибыл в целости. По всему пути следования были отданы особые распоряжения обращаться осторожно с багажом принца.

Затем, приказав слугам предоставить один из экипажей в распоряжение молодого человека и уложить в багажник его сундук и сославшись на свои придворные обязанности, полковник протянул ему на прощание руку.

Сайлас вскрыл конверт с адресом и приказал величавому кучеру везти себя в Бокс-корт, что выходит на Стрэнд. Адрес был, видимо, кучеру знаком, ибо он удивленно переспросил Сайласа. Все еще полный тревоги, Сайлас уселся в роскошный экипаж, покативший его к месту назначения. Тупик был слишком узок, чтобы пропустить карету. Это был, собственно, проход в ограде, по обе стороны которой высилось по каменной тумбе. На каждой из них сидел человек; оба дружески кивнули кучеру, между тем как лакей, открыв дверцу кареты, осведомился у Сайласа, снимать ли сундук, и если так, куда его отнести.

— Будьте так добры,— ответил Сайлас,— доставьте его в дом номер три.

Лакею пришлось призвать на помощь одного из тех, кто восседал на тумбах, а также и самого Сайласа, и только тогда, да и то с величайшим трудом, удалось дотащить сундук до двери названного дома, где, как с ужасом обнаружил Сайлас, уже столпилось изрядное число зевак. Однако, скрыв, сколько мог, тревогу, он постучал в дверь и, когда ее открыли, предъявил второй запечатанный конверт.

— Его сейчас нет дома,— сказал человек, принимая пакет,— но если вам угодно оставить письмо и наведаться сюда завтра с утра, я буду в состоянии сообщить вам, может ли он вас принять и в какой час. Угодно ли вам также оставить сундук? — прибавил он.

— О да! — с жаром отвечал Сайлас, но в ту же минуту спохватился и с не меньшим жаром объявил, что ему необходимо иметь сундук при себе.

Издеваясь над его нерешительностью, толпа с улюлюканьем двинулась за ним к карете. Изнывая от стыда

и страха, Сайлас попросил слуг подвезти его в какую-нибудь тихую приличную гостиницу поблизости.

Карета принца доставила Сайласа в гостиницу «Крейвен» на Крейвен-стрит и тотчас отъехала, оставив его наедине со слугами гостиницы. Единственным свободным номером оказалась комнатушка на четвертом этаже с окнами во двор. Сюда-то, в это прибежище, пыхтя и ворча, дюжие слуги вдвоем внесли злосчастный сундук. Нечего и говорить, что Сайлас следовал за ними по пятам и что на каждом повороте лестницы у него замирало сердце. Ведь один неверный шаг, и сундук мог опрокинуться через перила и вывалить на каменные плиты вестибюля роковое сокровище!

Как только Сайлас очутился у себя в номере, он присел на краешек кровати, чтобы отдышаться после пережитой муки. Но действия не в меру ретивого коридорного заставили его снова вскочить: встав на колени подле сундука, тот уже возился над сложной системой его застежек.

— Не трогайте сундук! — закричал Сайлас.— Пока я здесь, мне ничего в нем не понадобится.

— В таком случае вы могли бы оставить его в вестибюле,— проворчал коридорный,— чем волочить этакую храмину наверх. Чем только он у вас набит, не пойму! Если деньгами, то вы, должно быть, много богаче меня.

— Деньгами?! — воскликнул Сайлас.— Что вы хотите этим сказать? У меня нет никаких денег, и не говорите, пожалуйста, глупостей.

— Успокойтесь, хозяин,— ответил коридорный и подмигнул.— Никто не тронет драгоценностей, которые принадлежат вашей милости. Мне-то вы можете довериться, как государственному банку,— прибавил он,— но, поскольку сундучок ваш и в самом деле тяжеловат, я был бы не прочь выпить за здоровье вашей милости.

Сайлас протянул слуге два наполеондора, извиняясь при этом, что расплачивается иностранной валютой, и оправдываясь тем, что он только прибыл в Англию. Коридорный, ворча пуще прежнего и переводя полный презрения взгляд с монет, очутившихся на его ладони, на тяжелый сундук, наконец соизволил выйти.

Несчастный уроженец Новой Англии, как только остался один, принялся с пристрастием обнюхивать все щели и отверстия в сундуке. Ведь вот уже двое суток,

как в нем покоилось мертвое тело. Впрочем, погода эти дни стояла прохладная, и сундук продолжал хранить свою омерзительную тайну.

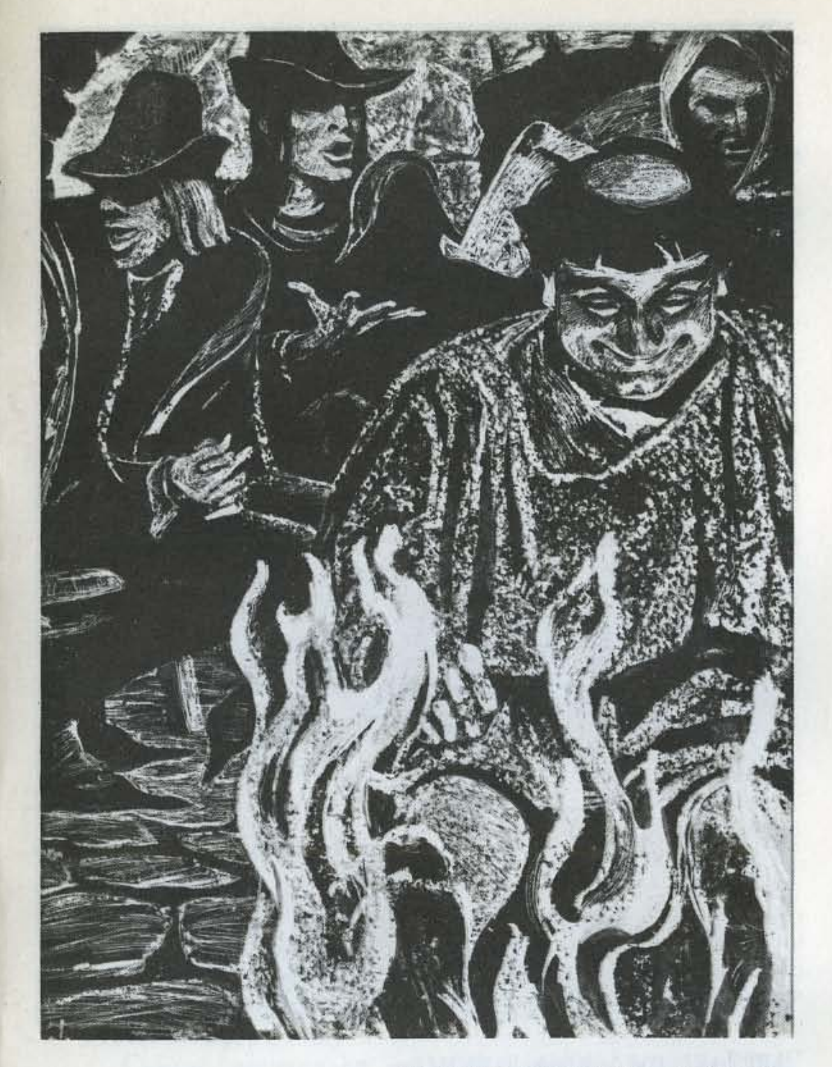
Сайлас уселся на стуле подле сундука и, закрыв лицо руками, погрузился в глубокое раздумье. Если только его не освободят от груза в самое скорое время, ему не избежать разоблачения. На что он мог рассчитывать, один, в чужом городе, без друзей и пособников? Если рекомендация доктора Ноэля не возымеет должного действия,— прощай Новая Англия навсегда!

Он начал меланхолически перебирать честолюбивые мечты, которые питал прежде: никогда-то ему теперь не стать героем и представителем своего родного Бангора, что в штате Мэн; не продвигаться ступень за ступенью по общественной лестнице; почести одна за другой не посыплются на него; и уж, наверное, ему придется расстаться с мыслью быть избранным в президенты Соединенных Штатов Америки и оставить по себе безвкуснейший памятник, призванный украшать вашингтонский Капитолий! Отныне он прикован к трупу, заключенному в этом громоздком сундуке. Нет, нет, надо тотчас от него избавиться, иначе Сайлас навсегда должен будет отказаться от мечты пополнить своим именем список своих блистательных соотечественников!

Я бы не осмелился даже попытаться передать, какими словами честил он и доктора, и несчастную жертву убийцы, и мадам Зефирин, и коридорного, и лакеев принца Флоризеля — словом, всех, кто был хотя бы косвенно причастен к постигшей его беде.

Часам к семи вечера он прокрался вниз пообедать, но желтые стены ресторана вызывали в нем омерзение; ему казалось, что все на него подозрительно косятся, и он не мог ни на минуту позабыть о сундуке, безмолвно ожидавшем его наверху. Нервы его были так натянуты, что, когда официант подошел после десерта предложить ему сыру, он вскочил со стула, пролив на скатерть остатки эля.

Официант пригласил его проследовать в курительную и, хоть Сайлас предпочел бы немедленно вернуться к своему роковому кладу, у него не хватило духу отказаться, и он спустился в еле освещенный газовыми рожками черный, закопченный подвал, который в те времена заменял,— а быть может, и по сию пору заменяет — клуб обитателям гостиницы «Крейвен».



«НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА»



«НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА»

Два меланхолических игрока играли на бильярде, им прислуживал маркер в чахоточной испарине. Поначалу Сайласу показалось, что в курительной никого, кроме этой троицы, нет. Но в следующее мгновение взгляд его упал на фигуру курильщика, сидевшего в углу. Вид у него был скромный, весьма почтенный, и он сидел, опустив глаза. Сайлас был готов поручиться, что где-то видел его лицо и прежде. Костюм был другой, и все же он узнал в нем одного из сидевших на каменных тумбах у въезда в Бокс-корт — того самого, который помогал тащить сундук от кареты к дверям дома номер три и обратно. Уроженец Новой Англии, не задумываясь, повернулся и побежал без оглядки, и только тогда успокоился, когда очутился в своем номере и запер дверь на ключ и на задвижку.

Осаждаемый самыми страшными видениями, какие только была способна создать его фантазия, он всю ночь прободрствовал подле покойника, заключенного в сундук. Предположение, высказанное коридорным, будто сундук его набит золотом, вселило в его сердце новые страхи, и он не смел уже ни на минуту сомкнуть глаз, между тем как присутствие переодетого зеваки из Бокс-корта убедило Сайласа, что он вновь сделался мишенью каких-то таинственных махинаций.

Вскоре после полуночи, побуждаемый тревожными подозрениями, Сайлас приоткрыл дверь и выглянул в коридор, тускло освещенный одиноким газовым рожком. Неподалеку от своей двери он увидел распростертого на полу человека, одетого в ливрею гостиничного слуги. Он подошел к спящему на цыпочках. Тот лежал на боку, заслонившись правой рукой. И вдруг, в ту самую минуту, когда американец над ним наклонился, спящий отвел руку, и Сайлас вновь очутился лицом к лицу с зевакой из Бокс-корта.

— Покойной ночи, сударь,— любезно произнес тот, не поднимаясь с полу.

Сайлас растерялся от неожиданности и молча вернулся в свою комнату.

Под утро, измученный тревогами, он уснул, сидя на стуле и положив голову на сундук. Несмотря на неловкую позу и страшную подушку, сон его был крепок и долог. Очнулся он поздно утром от резкого стука в дверь.

Он поспешил ее открыть. То был коридорный.

— Вы и есть тот самый господин, который вчера был в Бокс-корте? — спросил он.

Дрожащим голосом Сайлас подтвердил, что это так.

— Следовательно, эта записка вам,— сказал слуга, протягивая ему запечатанный конверт.

Сайлас разорвал его. Письмо состояло всего из одной фразы:

«Сегодня, в двенадцать».

Сайлас явился в Бокс-корт минута в минуту. Дюжие слуги подхватили сундук и понесли его вперед; Сайласа между тем ввели в комнату, где спиной к дверям сидел какой-то человек и грелся у камина.

Он даже не повернул головы. Ни шум шагов, ни стук сундука о голые доски пола, казалось, не в состоянии были вывести его из глубокой задумчивости. Сайлас стоял, трепеща от страха, в ожидании, когда его соизволят заметить.

Прошло, должно быть, не меньше пяти минут, прежде чем сидевший повернулся в кресле. Сайлас очутился лицом к лицу с принцем Флоризелем Богемским.

— Так-то, сударь,— произнес принц голосом, полным суровости,— так-то вы отблагодарили меня за мою любезность! Вы втираетесь в доверие к людям, занимающим известное положение в обществе, затем лишь, чтобы избежать последствий собственных преступлений. Теперь мне понятно, отчего вы вчера так смутились, когда я с вами заговорил.

— Поверьте мне, ваше высочество,— сказал Сайлас,— я ни в чем не повинен, кроме того, что родился под несчастной звездой.— И, торопясь и сам себя перебивая, юный американец чистосердечно рассказал принцу всю историю своего несчастья.

— Я вижу, что ошибся,— сказал принц, выслушав Сайласа до конца.— Вы всего лишь жертва, и, поскольку у меня нет оснований наказывать вас, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вас спасти. А теперь,— прибавил он,— к делу. Откройте ваш сундук и покажите мне его содержимое.

Сайлас побледнел.

— Я не смею в него заглянуть! — воскликнул он.

— Это еще что такое? — сказал принц.— Ведь вы же видели его прежде. Это ничем не оправданная сентиментальность. Больной, которому еще можно помочь, имеет гораздо больше прав на сочувствие, чем труп, которому нельзя уже причинить ни радости, ни боли, который нельзя ни любить, ни ненавидеть. Итак, мистер Скэддемор, возьмите себя в руки.

Заметив, что Сайлас еще колеблется, принц прибавил:

— Я вас прошу. Неужели вы хотите, чтобы я приказал?

Юный американец как бы очнулся от сна и с дрожью отвращения принялся отстегивать ремни и отпирать запоры на сундуке. Принц стоял над его склоненной фигурой, спокойно заложив руки за спину. Мертвец уже совершенно окоченел, и Сайласу стоило немалых усилий, как душевных, так и физических, разогнуть его и открыть его лицо для обозрения.

Принц Флоризель отпрянул и не мог удержаться от возгласа.

— Увы,— произнес он,— вы и понятия не имеете, какой жестокий подарок мне доставили! Этот молодой человек принадлежал к моей свите, он брат самого моего верного друга и погиб от руки беспощадных и коварных людей, исполняя мое поручение. Бедный Джеральдин,— продолжал он как бы про себя,— какими словами расскажу я тебе о горькой кончине, постигшей твоего возлюбленного брата? Как оправдаюсь в твоих глазах и в глазах всевышнего за мой самонадеянный замысел, приведший бедного юношу к такому кровавому, насильственному концу? Ах, Флоризель, Флоризель! Когда научишься ты смирению, столь необходимому всякому смертному? Когда перестанет слепить тебя мнимое могущество твоей власти? Власть! — воскликнул он.— Можно ли быть более беспомощным, чем я? Ах, мистер Скэддемор, я смотрю на этого молодого человека, которого сам же отдал в жертву, и вижу, сколь ничтожен удел принца!

Сайлас был глубоко тронут его горем. Он попытался было произнести какие-то слова утешения, но вместо этого неожиданно расплакался. Тронутый его добрыми чувствами, принц подошел к нему и взял его за руку.

— Возьмите себя в руки,— сказал он.— И вам и мне предстоит еще научиться многому, и мы оба получили хороший урок.

Сайлас молча поблагодарил его взглядом.

— Напишите мне адрес доктора Ноэля на этом листке,— продолжал принц, подводя Сайласа к письмен-

ному столу.—И позвольте мне дать вам совет: когда снова очутитесь в Париже, избегайте общества этого опасного человека. На этот раз он поддался великодушному порыву. Да, да, я не хочу в этом сомневаться. Ибо, если бы он имел какое-либо отношение к смерти Джеральдина-младшего, он не доставил бы его тело по адресу злодея, совершившего это преступление.

— Как? — воскликнул Сайлас.

— В том-то и дело,— ответил принц.— Это письмо, которое волею провидения таким удивительным образом попало в мои руки, предназначалось тому самому злодею — пресловутому председателю Клуба самоубийц. Не пытайтесь глубже проникнуть в эти опасные тайны, радуйтесь своему чудесному избавлению и покиньте этот дом как можно скорее. У меня дела, не допускающие отлагательства, и мне необходимо распорядиться бренными останками этого храброго и прекрасного юноши.

Сайлас откланялся с почтительной благодарностью, однако еще немного помешкал в проезде, провожая глазами роскошный экипаж, в котором принц немедленно отправился в полицию, к полковнику Хендерсону. Юный американец стоял с непокрытой головой и глядел вслед удаляющемуся экипажу. Его республиканское сердце переполняли самые верноподданнические чувства. В тот же вечер он сел в поезд и пустился в обратный путь.

На этом, как замечает мой арабский собрат по перу, кончается *повесть об английском докторе и дорожном сундуке*. Опуская его разглагольствования по поводу всемогущества провидения, весьма уместные в оригинале, но не совсем отвечающие нашим западным вкусам, я позволю себе лишь прибавить, что мистер Скаддемор успешно начал свое восхождение по лестнице политической славы и, по последним имеющимся у нас сведениям, уже достиг поста шерифа в своем родном Бангоре, штат Мэн.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИЗВОЗЧИЧЬЕЙ ПРОЛЕТКИ

Лейтенант Брекенбери Рич отличился в одной из бесконечных военных стычек в горной Индии, собственноручно захватив в плен туземного вождя. Храбрость

его заслужила повсеместное признание, и если бы он вздумал оправляться на родине от довольно внушительной сабельной раны и затяжной тропической лихорадки, которой его наградили джунгли, соотечественники не преминули бы увенчать его всеми лаврами, причитающимися звезде средней величины. Однако лейтенант обладал непритворной скромностью: он любил приключения, а к почестям был равнодушен. Переждав в Алжире и на водных курортах Европы срок, отпущенный для его скоротечной славы, он прибыл наконец в Лондон весной, когда сезон еще едва начался, и приезд его прошел незамеченным, как он того и хотел.

Будучи сиротой и не имея никого, кроме двух-трех дальних родственников в провинции, он явился, полуиностранцем, в столицу той самой страны, за которую проливал кровь.

На другой день после своего приезда он пошел обедать в один из офицерских клубов. Несколько старых товарищей пожали ему руку и горячо поздравили его с успехом; однако все до единого были в тот вечер заняты, и лейтенант оказался всецело предоставлен себе. Он был во фраке, так как подумывал отправиться после обеда в театр. Впрочем, он никогда прежде не бывал в нашей обширной столице, ибо вырос в провинции, после окончания военного колледжа прямым путем проследовал в Восточную Империю и теперь, попав наконец в этот новый, неизведанный мир, предвкушал всевозможные радости первооткрывателя. Избрав направление на запад, он зашагал по лондонским улицам, помахивая тросточкой. Вечер был мягкий, и казалось, вот-вот польет дождь. Проплывавшие в сумерках человеческие лица, выхватываемые светом уличных фонарей, действовали возбуждающим образом на воображение. Брекенбери чувствовал, что может без конца бродить по столице, впитывая волнующую и таинственную атмосферу четырех миллионов человеческих жизней. Он поглядывал на дома, пытаясь представить себе, что делается за их освещенными окнами, заглядывал в лица и в каждом читал затаенную цель, то благую, го преступную.

«Все говорят: война,— думал он,— но настоящее поле битвы здесь»: И он уже начал удивляться тому, что за всю свою прогулку по этому запутанному театру действий еще не набрел на какое-нибудь приключение.

«Ну, да все в свое время,— подумал он.— Я человек нездешний, и от меня, должно быть, за версту веет чем-то чужеродным. Впрочем, не может быть, чтобы меня не втянуло течением, и притом очень скоро».

Дело шло уже к ночи, как вдруг сверху, из темноты, на город обрушился плотный, холодный дождь. Брекенбери встал под дерево и оттуда увидел извозчичью пролетку. Кучер делал ему знаки, что он свободен. Это случилось так кстати, что лейтенант тотчас в ответ помахал тростью и через минуту уже сидел в этой лондонской гондоле.

— Куда, сударь? — спросил кучер.

— Куда угодно,— сказал Брекенбери.

Коляска тотчас помчала его сквозь дождь и вскоре очутилась в лабиринте особнячков. Каждый из них так походил на другой, разбитые перед ними палисадники, тускло освещенные пустынные улицы и переулочки, по которым летела карета, так мало отличались друг от друга, что вскоре он потерял всякую ориентацию. Он был готов подумать, что возничий решил над ним посмеяться и просто возит его по кругу, но в стремительности, с какой тот погонял лошадь, ощущалась какая-то цель: очевидно, его все же везли в какое-то определенное место. Восхищаясь виртуозностью, с какой возница мчит карету через эти лабиринты, Брекенбери вместе с тем не без тревоги задумался о причине такой поспешности. Он принялся перебирать в памяти различные слышанные им истории о передрягах, в которые подчас попадают приезжие. Быть может, его кучер член какой-нибудь злодейской шайки и везет его навстречу насильственной смерти?

Не успел он так подумать, как экипаж, круто обогнув угол, выехал на широкую и длинную улицу и остановился у ворот особняка с садом. Дом был ярко освещен. Только что отъехала другая извозчичья пролетка, и Брекенбери увидел, как ее пассажир проследовал в дом и как в вестибюле его встретили несколько слуг в ливреях. Брекенбери был удивлен, что извозчик остановился у самого дома, в котором, по всей видимости, был званый вечер, но, решив, что это чистая случайность, спокойно продолжал сидеть и курить, покуда не услышал, как возница крикнул ему сверху:

— Вот мы и приехали, сударь!

— Приехали? — переспросил Брекенбери.— Куда?

— Вы мне сказали, чтобы я вас доставил, куда угодно,— ответил возница с усмешкой,— вот я вас и привез.

Брекенбери обратил внимание на голос возницы: он был слишком изысканным и мягким для простого извозчика. Он вспомнил, с какой необычайной скоростью тот его вез, и тут впервые заметил, что экипаж гораздо роскошнее обычных извозчичьих двуколок.

— Будьте добры объясниться,— сказал он.— Неужели вы намерены бросить меня тут, на дожде? Я полагаю, любезный, что решать, где выйти, лучше всего мне самому.

— О да,— ответил возница,— решать вам. Но я не сомневаюсь в окончательном решении, какое примет такой джентльмен, как вы, после того, как я вам все расскажу. Здесь, в этом доме, сейчас происходит банкет. Я не знаю, кто таков хозяин — приезжий ли он человек, не имеющий в Лондоне никаких связей, или просто чудак. Но только мне он приказал свезти сюда как можно больше джентльменов в вечернем платье, предпочтительно офицеров. Вам остается всего лишь войти в дом и сказать, что вы прибыли по приглашению мистера Морриса.

— Это вы — мистер Моррис?

— Ну, что вы,— ответил возница.— Мистер Моррис — хозяин дома.

— Положим, это и не совсем обычная манера созывать гостей,— произнес Брекенбери,— ну, да, может быть, это просто безобидная прихоть эксцентрической личности. А если, например, я откажусь принять приглашение мистера Морриса? — продолжал он.— Что тогда?

— В этом случае мне приказано отвезти вас на то самое место, где я вас подобрал,— был ответ,— а самому отправиться на розыски других гостей и до полуночи привезти всех, кого мне удастся. Мистеру Моррису самому нужны только такие гости, которым было бы по душе подобное приключение.

Последняя фраза возницы, собственно, и убедила лейтенанта.

«Ну вот,— сказал он сам себе, выходя из экипажа,— не так уж долго мне пришлось ждать приключения».

Едва он поставил ногу на тротуар и начал шарить в кармане, чтобы расплатиться с извозчиком, как тот повернул и с прежней головокружительной скоростью помчался обратно в город. Брекенбери крикнул ему вслед, но тот даже не обернулся. Зато в доме его голос услышали. Двери тотчас распахнулись, и в ярком снопе света, озарившем сад, показалась фигура слуги, бегущего навстречу Брекенбери с раскрытым зонтом.

— Извозчику уплачено,— произнес слуга учтивым голосом и проводил Брекенбери до самых дверей. В вестибюле к нему подскочили еще несколько слуг, приняли его пальто, шляпу и трость, дали ему взамен жетон с номером и вежливо направили в бельэтаж по лестнице, уставленной оранжерейными цветами в кадках. Там его встретил торжественный дворецкий, осведомился об его имени и, громко объявив: «Лейтенант Брекенбери Рич!» — пропустил в гостиную.

Стройный молодой человек с необычайно красивыми чертами лица пошел к нему навстречу и приветствовал его с изысканной любезностью и радушием. Сотни ярких свечей освещали залу, благоухавшую так же, как и лестница, редкостными и красивыми экзотическими цветами. Буфетный стол ломился от яств. Слуги сновали среди гостей, разнося фрукты и бокалы с шампанским. В гостиной было человек шестнадцать. Почти все они были очень молоды, и почти каждое лицо светилось умом и отвагой. Часть толпилась вокруг рулетки, другая окружала стол, за которым один из присутствующих метал банк.

«Так вот оно что,— подумал Брекенбери,— я попал в частный игорный дом, а извозчик просто-напросто зазывала».

Оценка обстановки была для Брекенбери делом секунды, и к своему заключению он пришел еще прежде, чем хозяин выпустил его руку. Теперь Брекенбери вновь обратил свои взоры к нему. Со второго взгляда мистер Моррис производил еще более яркое впечатление. Утонченная простота манер, благородство, доброжелательность и мужество, которыми дышали его черты, никак не вязались с представлениями лейтенанта о содержателе игорного притона, а разговор выдавал человека и пользующегося заслуженным почетом и занимающего высокое положение в свете.

Брекенбери почувствовал к нему инстинктивное расположение, которое, как ни досадовал на себя, подавить не мог.

— Я о вас слышал, лейтенант Рич,— сказал мистер Моррис, слегка понизив голос,— и, поверьте, счастлив с вами познакомиться. Ваша наружность вполне соответствует вашей репутации, которая, предваряя вас, добралась к нам из Индии. И если вы согласитесь простить мне несколько бесцеремонный способ, каким я залучил вас к себе, то окажете мне не только честь, но и большую радость. Человека, который может в один присест разделаться с отрядом диких кавалеристов,— прибавил он с усмешкой,— вряд ли смутит отступление от этикета, пусть даже и значительное.

С этими словами мистер Моррис подвел Брекенбери к буфету и принялся радушно его потчевать.

«Право же,— размышлял лейтенант,— такого славного малого я еще не видел, и здесь, несомненно, собралось самое приятное общество, какое можно встретить в Лондоне».

Он пригубил шампанское, которое оказалось отменным. Заметив, что многие уже принялись курить, он закурил манильскую сигару, подошел к рулетке и стал с улыбкой наблюдать за капризами фортуны, время от времени и сам пытая счастье. Внезапно он заметил, что и сам он и все прочие игроки являются объектом пристального наблюдения. Мистер Моррис расхаживал среди гостей, выполняя обязанности хозяина, однако не забывал при этом метать быстрые, пытливые взгляды то в один угол комнаты, то в другой: ни один из присутствующих не избежал его внимания; он наблюдал, как тот или иной игрок принимает крупный проигрыш, подмечал размеры ставок, задерживался подле собеседников, погруженных в разговор,— словом, не было, казалось, такой черточки, которая бы ускользнула от его проницательного взора. «Нет,— подумал Брекенбери,— это не игорный притон, а скорее какое-то тайное следствие». Он сам стал пристально вглядываться в мистера Морриса, следя за каждым его движением; несмотря на улыбку, почти все время блуждавшую на губах любезного хозяина, он заметил, что из-под нее, как из-под маски, проглядывает измученная, утомленная и озабоченная душа. Кругом все смеялись, делая одну став-

ку за другой; впрочем, гости перестали занимать Брекенбери.

«Этот Моррис,— подумал он,— не теряет времени зря. У него какая-то своя затаенная цель. Ну что же, у меня тоже будет своя — понять, в чем эта цель заключается».

Время от времени мистер Моррис отзывал в сторонку одного из гостей; после короткой беседы с ним он обычно возвращался в гостиную один, а отозванный таким образом гость уже больше не показывался. После того как подобные сцены повторились несколько раз, любопытство Брекенбери достигло предела. Он твердо решил проникнуть хотя бы в эту, менее значительную тайну. С рассеянным видом проследовав в соседнюю комнату, он обнаружил в ней глубокую нишу с окном, скрытую шторами модного зеленого цвета. Здесь он поспешно спрятался; ждать ему пришлось недолго, ибо почти тотчас раздались чьи-то шаги и голоса. В щель между шторами он увидел, как из гостиной выходил мистер Моррис в сопровождении румяного толстяка, похожего на коммивояжера, которого Брекенбери еще прежде заприметил по его грубому смеху и дурным манерам. Оба остановились неподалеку от окна, так что Брекенбери слышал каждое их слово.

— Миллион извинений,— произнес мистер Моррис самым любезным тоном.— Если я вам покажусь невежливым, я надеюсь, вы меня простите. В таком громадном городе, как Лондон, недоразумения неизбежны. В таких случаях важно как можно скорее устранить неприятные последствия их. Боюсь, что вы почтили своим присутствием мой скромный дом по ошибке, ибо, говоря откровенно, я не припоминаю вашего лица. Позвольте мне поставить вам вопрос прямо, без излишних церемоний — ведь между джентльменами достаточно честного слова, не так ли? Чьим, по-вашему, гостеприимством вы сейчас пользуетесь?

— Мистера Морриса,— последовал ответ толстяка, чье смущение заметно возрастало с каждым словом.

— Вы имеете в виду мистера Джона Морриса или мистера Джеймса Морриса?

— Право же, не берусь сказать,— отвечал злополучный гость.— Лично с хозяином дома я знаком не более, нежели с вами.

— Так я и думал,— сказал мистер Моррис.— Дело в том, что немного подальше, на этой же улице, живет мой однофамилец, и я не сомневаюсь, что полисмен назовет вам точный номер нужного вам дома. Поверьте, я рад был недоразумению, которое доставило мне удовольствие познакомиться с вами, и позвольте выразить надежду, что мы когда-нибудь с вами встретимся вновь и уже не так случайно, как сегодня. Теперь же я не смею и на минуту задерживать вас от свидания с друзьями. Джон,— прибавил он, возвысив голос,— будьте любезны, разыщите пальто этого джентльмена!

С этими словами мистер Моррис учтивейшим манером проводил гостя до дверей передней, где его уже поджидал торжественный дворецкий. Брекенбери все еще не выходил из своей ниши и слышал, как мистер Моррис на обратном пути в гостиную тяжело вздохнул. Это был вздох человека, чем-то сильно озабоченного, преследующего трудную цель и напрягшего каждый свой нерв для ее достижения.

Примерно час еще продолжали прибывать извозчичьи пролетки; мистер Моррис едва успевал проводить одного гостя, как на его место прибывал другой. Таким образом, общее число гостей не уменьшалось. Впрочем, к концу этого часа новые гости начали появляться все реже, а там и вовсе перестали, между тем как процесс выпроваживания гостей продолжался в прежнем темпе. Гостиная заметно пустела. Игру в баккара прекратили за отсутствием банкомета. Иные начали прощаться сами, и их не задерживали, зато мистер Моррис удвоил любезность по отношению к оставшимся. Он переходил от группы к группе, от одного человека к другому, одаривал каждого приветливым взглядом, с умом и тактом поддерживал оживленную беседу. Он был как бы и хозяином и хозяйкой одновременно; его обращение было по-женски ласковым, подчас даже кокетливым, и сердце каждого невольно открывалось ему навстречу.

Число гостей продолжало уменьшаться. Лейтенант Рич вышел из гостиной в холл подышать воздухом. Но, едва переступив порог, он остановился как вкопанный перед странной картиной: на лестнице не осталось ни одной кадки с растениями, возле ворот в сад стояло три больших фургона для мебели, и всюду хлопотали слуги, вынося мебель; иные были уже в пальто и готовились уходить. Такое бывает после деревенского бала, для ко-

торого вся обстановка берется напрокат. Здесь было о чем задуматься! Во-первых, это выпроваживание гостей, которые, оказывается, никакими гостями не были, а теперь и слуги — а впрочем, слуги ли они? — начинают расходиться.

«Неужели все это одна декорация,— спрашивал он себя.— Мыльный пузырь, которому суждено наутро лопнуть?»

Выждав удобный момент, Брекенбери взбежал на самый верхний этаж. Как он и полагал, ни в одной комнате — а он заглянул в каждую — не было и признака жилого — ни мебели, ни даже следов от картин на стенах. Дом был свежевыкрашен и оклеен обоями, и, однако, в нем, несомненно, не жили не только теперь, но и прежде. Молодой офицер вспомнил уют и дух широкого гостеприимства, поразивший его по прибытии. Только ценою огромных затрат можно было с таким размахом разыграть весь этот спектакль.

Кто же такой в этом случае мистер Моррис? Каковы его намерения и зачем ему понадобилось разыгрывать роль домовладельца — на одну ночь, да еще в этом отдаленном лондонском закоулке? И зачем он с такой лихорадочной поспешностью набирал себе случайных гостей с улицы?

Брекенбери вдруг спохватился, что отсутствие его может быть замечено, и поспешил присоединиться к обществу. За это время успело исчезнуть еще несколько человек, и в гостиной, так недавно переполненной народом, оставалось, считая лейтенанта и мистера Морриса, человек пять, не больше. Мистер Моррис встретил его приветливой улыбкой и тотчас встал.

— Наступило время, джентльмены,— сказал он,— объяснить причину, по которой я дерзнул оторвать вас от ваших дел и развлечений. Я надеюсь, что вы не слишком скучали этот вечер; впрочем, признаюсь вам сразу, целью моей было отнюдь не скрасить ваш досуг, а заручиться вашей помощью в одном крайне затруднительном и тяжелом для меня деле. Все вы — настоящие джентльмены,— продолжал он,— ваши манеры в том порукой, и с меня этого довольно. Итак, я буду говорить с вами без стеснения: я прошу вас помочь мне в одном чрезвычайно деликатном и опасном предприятии. Я сказал «опасном» оттого, что всякий, кто согласится участвовать в этом предприятии, в самом деле рискует жизнью. Деликатность же этого дела такова, что я вынужден заранее просить каждого из вас хранить молчание обо всем, что вам доведется увидеть и услышать. Я сознаю всю нелепость подобной просьбы, исходящей из уст незнакомца, и спешу поэтому прибавить, что всякий из вас, кому не по душе участвовать в опасном предприятии, требующем, неизвестно во имя чего, чисто донкихотской преданности, волен меня покинуть. Я искренне пожелаю ему покойной ночи и благополучного возвращения домой.

Очень высокий и чрезвычайно сутулый брюнет тотчас же отозвался на это предложение.

— Мне по душе ваша откровенность, сударь,— сказал он,— и что касается меня, я ухожу. Я не собираюсь читать нравоучений, но должен заметить, что ваши речи заставляют насторожиться. Итак, я ухожу, как я уже сказал, и, быть может, мне не стоит больше распространяться.

— Напротив,— возразил мистер Моррис,— я буду очень признателен, если вы скажете все, что найдете нужным. Опасность затеянного мною дела невозможно преувеличить.

— Так что же, джентльмены? — обратился высокий человек к остальным.— Мы превосходно провели вечер, а теперь не следует ли нам всем мирно разойтись по домам? Наутро, встав ото сна — целыми, невредимыми, с чистой совестью,— вы помянете меня добрым словом.

Торжественный тон, которым были произнесены последние слова, прибавил им убедительности, между тем как лицо говорящего было необычайно серьезно. Взволнованный его речью, еще один из гостей встал со стула и приготовился уходить. Только двое не покидали своих мест: Брекенбери и пожилой майор кавалерии с сизым носом. Лица их хранили полную невозмутимость, и, если бы не быстрый взгляд, которым они обменялись, можно было бы подумать, что происходящая дискуссия их вовсе не затрагивает.

Проводив дезертиров и закрыв за ними дверь, мистер Моррис вернулся к двум офицерам. Радость и облегчение сияли в его взоре.

— Я отбирал себе воинов по примеру библейских судей,— сказал он,— и полагаю, что лучших помощников не найти во всем Лондоне. Ваша наружность, господа, привлекла к себе моих посыльных, и я в восторге от их

выбора. Я наблюдал, как вы оба держитесь в незнакомом обществе — и при обстоятельствах довольно необычных; смотрел, как вы играете, с какой миной проигрываете, и, наконец, я обратился к вам с ошеломляющим предложением, которое вы приняли, точно приглашение на обед. Теперь я вижу,— воскликнул он, все более воодушевляясь,— что не напрасно я столько лет имею счастье считать себя другом и учеником одного из мудрейших и отважнейших правителей Европы!

— Под Бундерчангом,— заговорил майор,— мне нужен был десяток добровольцев, и все мои солдаты как один отозвались на мой призыв. Но, разумеется, за рулеткой и картежным столом люди ведут себя иначе, нежели под неприятельским обстрелом. И, вероятно, вы вправе поздравить себя с тем, что нашли двух человек, на которых можете положиться. Ну, а тех двоих, что улизнули, я презираю от души. Лейтенант Рич,— обратился он затем к Брекенбери,— я много о вас слышал. Не сомневаюсь, что и вам знакомо мое имя. Я — майор О'Рук.

С этими словами старый ветеран протянул лейтенанту свою красную, слегка трясущуюся руку.

— Кому же оно не знакомо? — воскликнул Брекенбери.

— Я уверен, что вы оба почувствуете себя вознагражденными за ваше участие в этом маленьком деле уже хотя бы потому, что я свел вас друг с другом,— сказал мистер Моррис.

— А покуда, мистер Моррис, расскажите, пожалуйста, в чем нам предстоит участвовать,— сказал майор О'Рук.— Я полагаю, что в дуэли?

— Пожалуй, что и в дуэли, если угодно,— ответил мистер Моррис.— В поединке с неизвестным и опасным противником. Боюсь, что это будет поединок не на живот, а на смерть. Я должен просить вас, однако,— прибавил он,— не называть меня больше мистером Моррисом. Зовите меня, если угодно, Хаммерсмит. Я также попрошу вас не спрашивать моего настоящего имени, равно как и имени того, кому я надеюсь в скором времени вас представить,— не спрашивать и не пытаться узнать стороной. Тот, кого я сейчас упомянул, три дня назад внезапно исчез из дому. До сегодняшнего утра я не имел о нем никаких сведений; я даже не знал, где он находится.

Вы поймете мое беспокойство, когда узнаете, что он занят свершением правосудия — в частном порядке. Связанный опрометчивой клятвой, он считает нужным, не прибегая к помощи закона, освободить мир от коварного и кровожадного злодея. От руки этого преступника уже погибли двое из наших друзей. Один из них приходился мне родным братом. А теперь, как я полагаю, мой друг и сам попал к нему в лапы. Как бы то ни было, он еще жив и полон надежды, о чем говорит вот эта записка, полученная мною от него.

С этими словами Хаммерсмит, он же полковник Джеральдин, протянул своим новым товарищам письмо следующего содержания:

«Майор Хаммерсмит!

В четверг, в 3 часа ночи, человек, полностью преданный моим интересам, откроет вам калитку, ведущую в сад Рочестер-хауса, что в Риджент-парке. Прошу вас не опаздывать и на долю секунды. Пожалуйста, захватите с собой мои шпаги, а также, если можете, одного или двух джентльменов, за скромность и умение держаться которых вы ручаетесь; желательно, чтобы они не знали меня в лицо. Мое имя не должно фигурировать в этом деле.

Т. Годол».

— Даже если бы у моего друга не было иных оснований требовать беспрекословного выполнения его воли,— продолжал полковник Джеральдин после того, как его собеседники ознакомились с письмом,— довольно было бы одной его мудрости. Незачем говорить, я и близко никогда не подходил к этому Рочестер-хаусу и о том, что нас там ожидает, знаю не больше вашего. Как только я получил этот приказ, я тотчас отправился к подрядчику, и в два-три часа этот самый дом, в котором мы с вами находимся, приобрел праздничный вид. Согласитесь, что план мой был совершенно оригинален, а так как благодаря ему я получил поддержку двух таких людей, как лейтенант Брекенбери Рич и майор О'Рук, я не имею причин раскаиваться. Боюсь, что слуги в соседних домах будут чрезвычайно удивлены, когда увидят поутру, что дом, в котором накануне горели свечи и веселились гости, совершенно опустел и что на нем красуется табличка с надписью «Продается». Так, даже у самых серьез-

ных дел,— закончил полковник,— бывает забавная сторона.

— И, будем надеяться,— подхватил Брекенбери,— счастливый конец.

Полковник взглянул на часы.

— Уже почти два часа,— сказал он.— В нашем распоряжении час времени и карета, запряженная быстрыми конями. Скажите же мне, могу я рассчитывать на вашу помощь или нет?

— За всю свою долгую жизнь,— сказал майор О'Рук,— я ни разу не отпирался от данного мною слова, даже если речь шла всего лишь о пари.

После того как Брекенбери, тоже в подобающих случаю выражениях, засвидетельствовал свою готовность, полковник вручил каждому заряженный револьвер, и все трое, выпив по бокалу вина, уселись в карету, которая тотчас помчала их к месту назначения.

Рочестер-хаус оказался роскошной резиденцией на берегу канала. Огромный парк обеспечивал полную изоляцию от докучливых соседей. Резиденция походила на старинную усадьбу или владение миллионера. Ни в одном из бесчисленных окон особняка, насколько можно было судить с улицы, не было света. Дом казался запущенным, как бывает во время длительного отсутствия хозяина.

Отпустив карету, три ее пассажира без труда нашли калитку; это была, собственно, боковая дверь, вделанная в каменную ограду сада. До назначенного часа оставалось еще десять или пятнадцать минут. Шел проливной дождь, и все трое встали под укрытие нависшего плюща, разговаривая вполголоса об ожидающем их испытании.

Вдруг Джеральдин поднял указательный палец, призывая к молчанию, и все напрягли слух. Сквозь непрекращающийся шум дождя из-за ограды послышались шаги и два мужских голоса. По мере того как шаги приближались, Брекенбери, отличавшийся изощренным слухом, начал уже различать отдельные слова.

— Могила готова? — услышал он.

— Готова,— ответил другой голос.— Там, за лавровым кустом. Когда все будет кончено, можно будет забросать ее сверху жердями вон оттуда.

Первый голос засмеялся, и от его смеха у слушателей по ту сторону стены побежали мурашки по коже.

— Итак, через час,— произнес первый.

По звуку шагов стало ясно, что говорившие разошлись в разных направлениях.

Почти тотчас калитка в стене приоткрылась, в ней показалось чье-то бледное лицо, чья-то рука жестом пригласила их войти. Отважная троица в полной тишине прошла в сад, калитка за ними тотчас защелкнулась. Следуя за своим провожатым по тропинкам сада, они подошли к черному ходу. В огромной вымощенной камнем кухне, лишенной какой бы то ни было кухонной утвари, горела одинокая свеча. Они стали подниматься по винтовой лестнице. Шумная возня крыс еще раз подтвердила, что дом покинут хозяевами.

Провожатый шел впереди, держа в руках свечу. Это был высокий, худощавый старик, довольно сутулый, но, судя по живости движений, далеко не дряхлый. Время от времени он оборачивался, жестом приглашая к молчанию и осторожности. Полковник Джеральдин шел за ним следом, сжимая под мышкой футляр со шпагами и держа наготове пистолет. Брекенбери замыкал шествие. Он чувствовал, как стучит его сердце. Судя по тому, как проворно двигался старик, они прибыли в самое время. Эта зловещая таинственность, этот покинутый дом, словно созданный для свершения какого-то страшного злодеяния, были способны взволновать и более закаленного годами человека.

Дойдя до конца лестницы, старик открыл дверь и впустил трех офицеров в небольшую комнатку, освещенную коптящей лампой и тлеющим камином. В углу подле камина сидел человек несколько грузного сложения и, по всей видимости, довольно молодой, но исполненный достоинства и величия. Вся его поза и лицо выражали совершенную невозмутимость; он с явным удовольствием курил свою сигару, а подле него на столе стоял высокий бокал с шипучим напитком, распространяющим вокруг себя приятный аромат.

— Добро пожаловать,— сказал он, протягивая руку полковнику Джеральдину.— Я знал, что могу положиться на вашу точность.

— На мою преданность,— с поклоном возразил полковник.

— Представьте меня вашим друзьям,— продолжал сидящий.— Господа, поверьте, я был бы рад предложить вам более приятную программу,— сказал он с очарова-

тельной учтивостью после того, как Джеральдин выполнил его просьбу,— это весьма нелюбезно с моей стороны, я знаю, в первую же минуту знакомства занимать своих новых друзей серьезными делами; однако обстоятельства оказались сильнее законов вежливости. Я надеюсь и даже уверен, что вы простите мне эту неприятную ночь; для людей вашего склада довольно знать, что вы оказываете человеку немаловажную услугу.

— Ваше высочество,— сказал майор,— извините меня за прямодушие. Я не могу скрывать того, что мне известно. Я уже начинал подозревать, кто такой майор Хаммерсмит. А уж мистер Годол не вызывает никаких сомнений. Стремиться найти в Лондоне двух людей, не знающих в лицо Флоризеля, принца Богемского,— значит требовать от фортуны невозможного.

— Принц Флоризель! — воскликнул пораженный Брекенбери и с любопытством взглянул на прославленного человека, сидевшего перед ним.

— Я не сожалею о потере своего инкогнито,— сказал принц,— ибо это даст мне возможность отблагодарить вас по достоинству. Я не сомневаюсь, что вы сделали бы для мистера Годола столько же, сколько для принца Богемского, но так как последний может сделать для вас немного больше, чем первый, я считаю в выигрыше себя,— заключил он с широким и величавым жестом.

Затем принц начал беседовать с офицерами об индийской армии и туземных войсках, проявив, как всегда, большую осведомленность и высказав несколько здравых суждений. Поразительная выдержка принца в минуту смертельной опасности вызвала у Брекенбери чувство почтительного восхищения. Обворожительная учтивость и прелесть его беседы также произвели свое обычное действие. Каждый жест, каждая интонация были не только благородны сами по себе, но, казалось, облагораживали счастливого смертного, к которому относились. Брекенбери сказал себе с жаром, что для такого государя всякий мужественный человек с радостью пожертвует жизнью.

Старик, все время беседы сидевший в углу с часами в руках, внезапно поднялся и шепнул что-то на ухо принцу.

— Хорошо, доктор Ноэль,— громко ответил Флоризель и, обратившись к собеседникам, сказал не без волнения в голосе: — С вашего позволения, господа, я вынужден оставить вас в потемках. Близится наш час.

Доктор Ноэль погасил лампу. Тусклый сероватый отблеск, предвестник зари, не в состоянии был разогнать мрака в комнате. Принц встал со стула, черты лица его были неразличимы, и нельзя было понять, какое чувство волнует его в эту минуту. Подойдя к двери, он остановился возле нее в позе человека, настороженно к чему-то прислушивающегося.

— Будьте добры соблюдать полнейшую тишину,— обратился он ко всем, кто находился в комнате,— и расположиться в самом темном углу так, чтобы вас не было видно.

Три офицера и лекарь поспешили исполнить его приказание. В течение следующих десяти минут во всем Рочестер-хаусе не было слышно ни звука, если не считать крысиной возни за панелью. Затем громкий скрип двери с поразительной отчетливостью нарушил тишину, и вскоре на винтовой лестнице послышались осторожные, медленные шаги. Через каждую ступеньку неизвестный на минуту останавливался, словно прислушиваясь, и в эти промежутки, которые казались бесконечными, глубокое беспокойство овладевало всеми. Доктор Ноэль, хоть и производил впечатление человека бывалого, не мог совладать с собою: дыхание его вырывалось со свистом, зубы скрипели, он то и дело переносил вес с одной ноги на другую и хрустел пальцами.

Наконец кто-то с наружной стороны взялся за дверную ручку, и послышалось щелканье затвора. Еще одна пауза, во время которой Брекенбери заметил, что принц весь бесшумно подобрался, как бы собираясь с силами для решающей схватки. Дверь приоткрылась, и в комнате стало немного светлее. На пороге неподвижно стоял человек высокого роста. В руке у него сверкал нож. Рот его был раскрыт, как пасть у гончей, готовящейся прыгнуть на затравленного зверя, и даже в предрассветном полумраке можно было различить блеск его зубов. Капли со стуком скатывались на пол с его насквозь промокшей одежды — очевидно, он только что вышел из воды.

В следующую минуту он переступил порог. Прыжок, вскрик, короткая борьба, и, прежде чем полковник Джеральдин успел подскочить на помощь, принц уже держал своего противника за плечи. Враг был обезоружен и не в состоянии пошевелиться.

— Доктор Ноэль,— сказал принц.— Будьте добры, зажгите лампу.

Поручив пленника Джеральдину и Брекенбери, принц отошел и прислонился к камину. Когда лампа разгорелась, все увидели на лице принца выражение необычайной суровости. Перед ними стоял не Флоризель, беспечный и светский молодой человек, а разгневанный, полный непоколебимой решимости принц Богемский. Закинув назад голову, он обратился к пленному председателю Клуба самоубийц со следующей речью.

— Господин председатель,— сказал он.— Вы сами попались в ловушку, которую поставили мне. Скоро наступит утро — последнее утро вашей жизни. Вы только что переплыли Риджентс-канал; это ваше последнее плавание. Ваш старый соучастник, доктор Ноэль, вместо того чтобы предать меня вам, доставил вас в мои руки, чтобы я сотворил над вами суд. Могила, которую вы вчера выкопали для меня, волею божьего промысла поможет скрыть от любопытного человечества заслуженную вами кару. Итак, сударь, на колени, и молитесь, если у вас есть склонность к молитве! Время не ждет, и верховный судья наскучил вашими прегрешениями.

Председатель стоял, опустив голову и угрюмо глядя в пол, словно чувствуя на себе долгий и беспощадный взгляд принца, и не отвечал на его речь ни словом, ни жестом.

— Джентльмены,— продолжал Флоризель, перейдя на свой обычный разговорный тон.— Перед вами человек, который долгое время от меня ускользал. И вот, наконец, спасибо доктору Ноэлю, он у меня в руках. Повесть о всех бесчинствах, которые он творил, заняла бы слишком много времени, а нам сейчас недосуг. Достаточно сказать, что канал, который этот негодяй только что переплыл, обмелел бы ненамного, если бы вместо воды был наполнен кровью его несчастных жертв. Однако даже и в подобных обстоятельствах мне хотелось бы соблюсти все законы, предписываемые честью. Но судите сами, джентльмены, речь идет, собственно, не о дуэли, а о казни, и предоставить этому преступнику выбор оружия было бы неуместной церемонией. Я не имею права рисковать своей жизнью в таком деле,— продолжал он, раскрывая футляр со шпагами.— Пуля летит на крыльях случайности, и подчас самый скверный стрелок может победить искусного и отважного противника. Поэтому я

решил остановиться на шпагах. Надеюсь, что вы одобрите мое решение.

Как только Брекенбери и майор О'Рук, к которым преимущественно и обращался принц, выразили свое одобрение, он крикнул председателю:

— Скорее, сударь, не мешкайте! Выбирайте шпагу и не заставляйте меня ждать. Мне не терпится покончить с вами раз и навсегда.

Впервые после своего пленения председатель поднял голову: было ясно, что к нему вернулась надежда.

— Так это будет поединок? — воскликнул он, одушевившись.— Поединок между вами и мной?

— Да, я намерен оказать вам эту честь,— ответил принц.

— Ну что ж! — воскликнул председатель.— Чего только не случается в честном поединке! Позвольте сказать, что я считаю этот поступок вашего высочества весьма благородным. На худой конец, если я и погибну, то от руки самого храброго джентльмена в Европе.

С этими словами председатель, которого больше уже не держали, подошел к столу и принялся тщательно выбирать себе шпагу. Он был в прекрасном настроении и, казалось, не сомневался, что победителем из поединка выйдет он. Его уверенность вызвала тревогу у присутствующих, и они принялись уговаривать принца Флоризеля еще раз обдумать свое решение.

— Это всего лишь фарс, господа,— отвечал тот,— и я постараюсь его не затянуть.

— Умоляю вас, ваше высочество, будьте осмотрительны!— сказал полковник Джеральдин.

— Джеральдин, — ответил принц, — вы слышали чтобы я когда-нибудь отказывался от долга чести? Я должен вам жизнь этого человека и заплачу мой долг сполна.

Председатель остановил свой выбор на одной из шпаг и жестом, не лишенным своеобразного сурового достоинства, дал понять, что готов.

Принц схватил первую попавшуюся шпагу.

— Полковник Джеральдин и доктор Ноэль будут любезны подождать меня здесь,— сказал он.— Я не желаю, чтобы в этом деле участвовали мои личные друзья. Майор О'Рук, вы человек почтенного возраста и прочной репутации, позвольте рекомендовать вашему внима-

нию председателя. Я же попрошу услуг лейтенанта Рича: молодому человеку полезно набираться опыта.

— Ваше высочество,— ответил Брекенбери,— я буду лелеять память об этой чести до конца моих дней.

— Отлично,— сказал принц Флоризель.— Надеюсь со временем оказать вам более важную услугу.

Он вышел из комнаты и начал спускаться по лестнице в кухню.

Оставшиеся распахнули окно и, высунувшись наружу, напрягли все чувства, готовясь ловить малейшие признаки предстоящей трагедии. Дождь перестал; уже почти рассвело, в кустах и ветвях деревьев пели птицы. На мгновение на дорожке сада, окаймленной цветущим кустарником, показались принц и его спутники и тотчас скрылись за поворотом аллеи. Больше ничего полковнику с доктором не было дано увидеть, а место, избранное принцем для поединка, было, по-видимому, где-то в дальнем углу парка, откуда не мог долететь даже звон скрещенного оружия.

— Он повел его туда, к могиле,— сказал доктор Ноэль с содроганием.

— Господи,— воскликнул полковник,— даруй победу достойному!

И оба стали молча ожидать исхода поединка. Доктор дрожал, как в лихорадке. Полковник был весь в испарине. Прошло, должно быть, немало времени: небо заметно посветлело, звонче раздавались птичьи голоса. Наконец звук шагов заставил ожидавших устремить взоры на дверь. Вошли принц и оба офицера индийской армии. Победа досталась достойному.

— Мне совестно, что я позволил себе так взволноваться,— сказал принц Флоризель.— Это слабость, я знаю. Слабость, недостойная человека моего положения, но покуда это исчадие ада бродило по земле, я был сам не свой. Его смерть освежила меня больше, чем долгий ночной сон. Вот, Джеральдин, смотрите,— продолжал он, бросив на пол шпагу,— вот кровь человека, убившего вашего брата. Радостное зрелище. А вместе с тем,— прибавил он,— как странно устроен человек! Прошло всего лишь пять минут с тех пор, как я утолил свою месть, а я уже задаюсь вопросом, можно ли в нашей неверной жизни утолить даже такое чувство, как месть. Все зло, что причинил этот человек,— кто его исправит? Его жизнь, в течение которой он сколотил огромное состояние (ведь и этот роскошный особняк с парком принадлежал ему),— эта жизнь прочно и навсегда вошла в судьбу человечества; и сколько бы я ни упражнялся в квартах, секундах и прочих фехтовальных приемах — пусть хоть до судного дня,— вашего брата, Джеральдин, мне не воскресить, как не вернуть к жизни тысячи невинных душ, обесчещенных и развращенных председателем. Лишить человека жизни — пустяк, а сколько человек может натворить за свою жизнь! Увы, что может быть печальнее достигнутой цели!

— Я знаю только одно,— сказал доктор.— Свершился высший суд. Ваше высочество, я получил жестокий урок и теперь с трепетом ожидаю решения своей участи.

Принц встрепенулся.

— Однако что я говорю! — воскликнул он.— Мало того, что мне удалось покарать злодея, мне еще и посчастливилось найти человека, который поможет исправить причиненное им зло. Ах, доктор Ноэль! Нам предстоит еще много дней потрудиться вместе над этой нелегкой и почетной задачей. И как знать — к тому времени, как мы ее выполним, вы, быть может, с лихвой искупите ваши прежние грехи.

— А покуда,— сказал доктор,— позвольте мне удалиться, дабы предать земле моего старинного друга.

Таков, по словам ученого араба, счастливый исход этой истории. О том, что принц не забыл никого, кто помог ему в этом его подвиге, можно и не говорить. Его влияние и могущество по сей день способствуют их продвижению по общественной лестнице, а благосклонная дружба, которою он их дарит, вносит особую прелесть в их частную жизнь. Передать все удивительные истории, в которых этот принц играл роль провидения, продолжает мой рассказчик, означало бы затопить книгами все обитаемые уголки земли. Однако приключения, связанные с Алмазом Раджи, так занимательны, говорит он, что их нельзя предать забвению. Итак, последуем осторожно, шаг за шагом, за нашим восточным собратом и поведаем упомянутую им серию повестей, начиная с рассказа, который ему угодно назвать *повестью о шляпной картонке*.

АЛМАЗ РАДЖИ

ПОВЕСТЬ О ШЛЯПНОЙ КАРТОНКЕ

До шестнадцатилетнего возраста мистер Гарри Хартли, как и подобает джентльмену, сначала обучался в частной школе, а потом в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тут он обнаружил удивительную нелюбовь к учению, и так как родительница его была сама и слабовольна и невежественна, то сыну было разрешено отныне тратить свое время, совершенствуясь в пустячных и чисто светских навыках. Еще через два года он стал круглым сиротой и почти нищим. Ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он умел петь чувствительные романсы и кое-как подыгрывать себе на рояле, был изящным, хотя и робким наездником и выказывал явную склонность к шахматам. К тому же природа наделила его самой привлекательной наружностью, какую только можно себе представить. Белокурый, розовый, с невинным взором и кроткой улыбкой, он имел вид приятно-меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые. Но при всем том он все-таки был не из тех, кто способен вести войска в бой или вершить дела государства.

Счастливый случай и некое влиятельное содействие помогли Гарри получить после постигшей его тяжкой утраты место личного секретаря у сэра Томаса Венделера — генерал-майора и кавалера ордена Бани. Сэр Томас был человек лет шестидесяти, шумный, самоуверенный и властный. По какой-то причине, за какую-то услугу, о которой нередко ходили сплетни, тут же, впрочем, опровергавшиеся, кашгарский раджа подарил этому офицеру шестой по величине алмаз на свете. Такой дар превратил генерала Венделера из бедняка в богача и сделал скром-

ного и никому не известного служаку одним из львов лондонского света. Владельца индийского алмаза радушно принимали в самых избранных кругах, и нашлась некая молодая, красивая особа хорошего рода, у которой возникло желание завладеть этим алмазом даже ценою брака с сэром Томасом Венделером. Люди судачили, что «масть к масти подбирается» и что одна драгоценность притянула к себе другую. И правда, леди Венделер не только сама была брильянтом чистейшей воды, но и выступала в свете в очень дорогой оправе: многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии.

Секретарские обязанности Гарри были не очень обременительны, но он не любил никакой затяжной работы; пачкать пальцы чернилами было для него мукой, а очарование леди Венделер и ее туалетов часто переманивало его из библиотеки в будуар. Он отлично умел обходиться с дамами, оживленно болтал о модах и с превеликим удовольствием толковал об оттенке какой-нибудь ленточки или мчался с поручением к модистке. И вот переписка сэра Томаса оказалась в самом плачевном виде, зато миледи обзавелась еще одной горничной.

Но однажды генерал, который был отнюдь не из терпеливых военачальников, поднялся со своего кресла в порыве яростного гнева и дал понять своему секретарю, что не нуждается более в его услугах, применив объяснительный жест, чрезвычайно редко употребляемый в разговоре между джентльменами. Дверь, к несчастью, была открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице.

Он поднялся весь в ссадинах и глубоко обиженный. Жизнь в доме генерала приходилась ему по вкусу: он все-таки — хотя и не вполне на дружеской ноге,— общался с благовоспитанными людьми, работал мало, ел как нельзя лучше, а в присутствии леди Венделер испытывал теплое и приятное чувство, которое втайне определял более пылким наименованием.

Оскорбленный грубым пинком военачальника, он поспешил в будуар и выложил там свои обиды.

— Вы сами отлично знаете, дорогой Гарри,— отвечала леди Венделер, называвшая его по имени, как ребенка или слугу,— что вы никогда, решительно никогда не выполняете требований генерала. Вы, пожалуй, скажете, что я поступаю так же. Но я — дело другое. Женщина будет своевольничать целый год, но, вовремя покорив-

шись, сумеет заслужить прощение. И потом личный секретарь ведь не жена. Мне будет жаль расстаться с вами, однако нельзя же оставаться в доме, где вам нанесли оскорбление, а потому я желаю вам всего хорошего и обещаю, что генерал жестоко поплатится за свой поступок.

Лицо Гарри вытянулось. Слезы выступили у него на глазах, и он с выражением нежного упрека воззрился на леди Венделер.

— Миледи,— сказал он,— зачем говорить об оскорблениях? Чего стоит человек, не умеющий прощать их? Но расстаться с друзьями, разорвать узы привязанности...

Он не мог продолжать от душившего его волнения и заплакал.

Леди Венделер посмотрела на него с каким-то странным выражением.

«Этот дурачок,— подумала она,— воображает, будто влюблен в меня. Почему бы ему от генерала не перейти ко мне? Он добродушен, услужлив, знает толк в платьях. По крайней мере здесь он не попадет в беду. Он положительно слишком смазлив, чтобы оставаться без присмотра».

В тот же вечер она поговорила с генералом, который уже несколько устыдился своей горячности. Гарри перешел в подчинение к хозяйке, и для него началась просто райская жизнь. Он одевался на редкость изящно, ходил с красивым цветком в петлице и умел занять любую гостью тактичной и приятной беседой. Он гордился тем, что прислуживает прекрасной женщине, любой приказ леди Венделер принимал как знак внимания и гордо охорашивался перед другими мужчинами, которые высмеивали и презирали его за эту роль то ли горничной, то ли модистки. Он не мог нахвалиться своей жизнью и с моральной точки зрения. Порочность представлялась ему чисто мужским свойством, и, проводя дни с хрупкой женщиной и занимаясь преимущественно тряпками, он словно спасался от жизненных бурь на очарованном острове.

В одно прекрасное утро он вошел в гостиную и стал прибирать ноты на крышке рояля. В дальнем углу комнаты леди Венделер оживленно беседовала со своим братом Чарли Пендрегоном, старообразным молодым человеком, изрядно потрепанным разгульной жизнью и сильно хромавшим на одну ногу. Личный секретарь, на при-

ход которого они не обратили внимания, невольно слышал обрывки разговора.

— Сегодня или никогда,— сказала леди Венделер.— Раздумывать нечего, надо покончить с этим сегодня.

— Сегодня так сегодня,— ответил брат вздыхая.— Но, Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом.

Леди Венделер твердо и чуть-чуть странно посмотрела на брата:

— Ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов.

— Честное слово, Клара,— сказал Пендрегон,— такой бессердечной и бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии.

— Вы, мужчины,— возразила она,— существа грубые, в оттенках значений не разбираетесь. Сами вы жадны, необузданны, бесстыдны и в средствах неразборчивы, а малейшая попытка женщины позаботиться о своем будущем вас возмущает. Меня весь этот вздор просто из себя выводит. Вы даже в простом поденщике не потерпели бы такой глупости, какой ожидаете от нас.

— Может быть, ты и права,— ответил ее брат.— Ты всегда была умней меня. К тому же тебе известно мое правило: «Семья важней всего».

— Да, Чарли,— сказала она, поглаживая его руку.— Я знаю это правило лучше, чем ты сам. Но вторая половина твоего правила: «А Клара важней семьи!» Верно? Ты в самом деле отличный брат, и я тебя нежно люблю.

Мистер Пендрегон поднялся, несколько смущенный этим изъявлением родственных чувств.

— Лучше, чтобы меня здесь не видели,— сказал он.— Я свою роль выучил на зубок, да и с твоего котеночка глаз не спущу.

— Пожалуйста,— ответила она.— Это жалкое существо может нам все испортить.

Она послала брату кокетливый воздушный поцелуй, и тот через будуар удалился по задней лестнице.

— Гарри,— сказала леди Венделер, оборачиваясь к секретарю, как только они остались вдвоем.— Мне надо сейчас послать вас кой-куда. Только возьмите кеб: я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками.

Последние слова она произнесла очень выразительно и сопроводила их почти материнcки горделивым взглядом. Бедный Гарри ужасно обрадовался и заявил, что всегда рад услужить ей.

— Это будет еще одна наша тайна,— продолжала она лукаво,— очень важная тайна, и никто не должен знать о ней, только я да мой секретарь. Сэр Томас учинил бы великий переполох, а вы представить себе не можете, как мне надоели эти сцены! О Гарри, Гарри, объясните мне, отчего вы, мужчины, так грубы и несправедливы? Впрочем, нет, вам это тоже непонятно: вы единственный мужчина на свете, кому несвойственна эта постыдная несдержанность. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый, вы можете быть другом женщине. И, знаете, от сравнения с вами остальные кажутся еще хуже.

— Нет, это вы так добры,— любезно сказал Гарри.— Вы относитесь ко мне...

— Как мать,— перебила леди Венделер.— Я стараюсь быть вам матерью. По крайней мере,— поправилась она с улыбкой,— почти. Я, пожалуй, слишком молода и в матери вам не гожусь. Лучше скажем: я стараюсь быть вам другом, близким другом.

Тут она сделала паузу, достаточно долгую, чтобы Гарри успел размякнуть, но не такую длинную, чтобы ему удалось вставить слово.

— Впрочем, все это не относится к делу,— продолжала она.— В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка, она прикрыта розовым шелковым чехлом, который я надевала в среду под кружевное платье. Вы немедленно отвезете картонку по этому адресу.— Тут она дала ему конверт.— Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой. Понимаете? Повторите, пожалуйста,— повторите! Это крайне важно, я очень прошу вас быть повнимательней.

Гарри успокоил ее, точно повторив инструкции. Она хотела добавить еще что-то, но тут в гостиную ворвался генерал Венделер, весь багровый от злости. В руках у него был длиннейший и подробнейший счет от модистки.

— Не угодно ли вам поглядеть, сударыня? — закричал он.— Не окажете ли вы мне любезность взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю — вы вышли за меня по расчету, но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И, как бог свят, я положу конец вашей бессовестной расточительности!

— Мистер Хартли, вам ясно, что надо сделать,— сказала леди Венделер.— Не задерживайтесь, прошу вас,

— Постойте-ка,— сказал генерал, обращаясь к Гарри,— не уходите еще.— И, снова поворачиваясь к леди Венделер, спросил: — Что вы такое поручаете этому бездельнику? Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знайте. Будь у него хоть на грош порядочности, он не захотел бы оставаться в этом доме, а за что он получает свое жалованье, тайна для всей вселенной. Какое поручение вы ему даете, сударыня? И почему вы так торопитесь отослать его?

— Я думала, вы желали побеседовать со мной наедине,— возразила леди Венделер.

— Вы говорили о каком-то поручении,— настаивал генерал.— Не старайтесь меня обмануть, я и так вне себя. Вы говорили именно о каком-то поручении.

— Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий,— ответила леди Венделер,— может быть, мы попросим мистера Хартли присесть?.. Нет? Тогда,— закончила она,— вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться.

Гарри тотчас же улизнул из гостиной. Взбегая вверх по лестнице, он еще слышал громкий и негодующий голос генерала и нежный голосок леди Венделер, которая то и дело вставляла ледяным тоном свои колкие замечания. Он искренне восхищался своей хозяйкой. Как ловко она обошла неприятный вопрос! Как хладнокровно повторяла свои наставления прямо под наведенными орудиями противника! И как в то же время был ему ненавистен ее супруг!

В происшествиях этого утра не было ничего необычного: он привык к тайным поручениям леди Венделер, связанным главным образом с нарядами. Был в доме один секрет, отлично ему известный. Отчаянное мотовство и тайные долги жены давно съели ее собственное состояние и со дня на день угрожали поглотить и состояние мужа. Раза два в год разоблачение и банкротство казались неминуемыми. Гарри бегал по лавкам поставщиков, врал как мог и платил по мелочам в счет больших долгов, пока наконец не добивался отсрочки и леди Венделер со своим верным секретарем не получали передышку. Ибо Гарри стоял горой за свою хозяйку, и не только потому, что обожал леди Венделер, а ее мужа боялся и ненавидел, но и потому, что от всей души сочувствовал

любви к нарядам: он и сам не знал удержу, когда дело доходило до портных.

Он нашел шляпную картонку в указанном месте, старательно приоделся и вышел из дому. Солнце ярко сияло, дорога предстояла неблизкая, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Венделер не успела дать ему денег на кеб. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов. Он немного постоял, раздумывая. Венделеры жили на Итон-плейс, а идти надо было к Ноттингхиллу; значит, можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. «Просто счастье, что еще сравнительно рано», размышлял он.

Торопясь отделаться от своей обузы, он шел быстрей обычного и уже почти миновал Кенсингтонские сады, как вдруг в уединенном уголке среди деревьев столкнулся лицом к лицу с генералом.

— Прошу прощения, сэр Томас,— промолвил Гарри, учтиво сторонясь, ибо тот преградил ему дорогу.

— Куда это вы идете, сэр? — спросил генерал.

— Хочу немножко прогуляться по парку,— ответил юноша.

Генерал ударил тростью по картонке.

— Вот с этой штукой? — воскликнул он.— Это ложь, сэр, отъявленная ложь!

— Право же, сэр Томас,— возразил Гарри,— я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне.

— Вы забываетесь,— сказал генерал.— Вы состоите у меня на службе и к тому же внушаете мне самые серьезные подозрения. Почем знать, может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки?

— В ней лежит цилиндр моего приятеля,— заявил Гарри.

— Отлично,— сказал генерал.— Тогда я хочу поглядеть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами,— прибавил он зловеще.— И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток.

— Прошу прощения, сэр Томас,— вежливо промолвил Гарри,— мне очень жаль, но это, право, дело мое собственное.

Генерал грубо схватил его за плечо и угрожающе взмахнул тростью. Гарри решил, что погиб. Но в этот

миг небо ниспослало ему неожиданного защитника в лице Чарли Пендрегона, который внезапно выступил из-за деревьев.

— Постойте-ка, генерал,— сказал он.— Вы ведете себя невежливо да и недостойно мужчины.

— А, мистер Пендрегон! — воскликнул генерал, круто оборачиваясь к новому противнику.— И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю такому распутнику и моту, как вы, ходить за мною по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Венделер, сэр, отбило у меня всякую охоту водиться с остальными членами семьи.

— А вы воображаете, генерал Венделер,— отпарировал Чарли,— что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми правами и привилегиями дамы из общества? Конечно, выйдя за вас, сэр, она сделала все, чтобы уронить свое достоинство, но для меня она по-прежнему член семьи Пендрегонов. Мой долг — защитить ее от низкого надругательства, и, будь вы хоть десять раз ее муж, я не позволю вам ограничивать ее свободу и силой задерживать ее личного посланца.

— Что же это, мистер Хартли? — осведомился генерал.— Мистер Пендрегон, по-видимому, согласен с моим мнением. Он тоже подозревает, что леди Венделер имеет какое-то отношение к цилиндру вашего приятеля!

Чарли понял, что совершил непростительный промах, и поторопился его исправить.

— Что такое, сэр? — закричал он.— Вы говорите, что я «подозреваю»? Я ничего не подозреваю. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешаться.

Говоря это, он сделал знак Гарри, но тот по глупости или от волнения ничего не понял.

— Как мне истолковать ваши слова, сэр? — спросил Венделер.

— Да как вам будет угодно, сэр,— отрезал Пендрегон.

Генерал опять взмахнул тростью, намереваясь дать своему шурину по голове, но тот, хоть и был хром, отразил удар зонтиком и бросился на своего грозного противника.

— Беги, Гарри, беги! — кричал он.— Беги же, болван!

Мгновение Гарри стоял оцепенев и глядел, как те двое раскачивались, яростно обхватив друг друга, затем повернулся и дал стрекача. Оглянувшись через плечо, он увидел, что Чарли уже уперся коленом в грудь поверженного генерала, который все же делает отчаянные попытки поменяться с противником местами. Весь парк вдруг наполнился людьми, которые со всех сторон сбегались к месту сражения. От такого зрелища у секретаря выросли крылья за плечами, и он не сбавлял шага, пока не достиг Бейзуотер-роуд и не влетел в какой-то пустынный переулок.

Видеть, как два знакомых джентльмена грубо тузят друг друга, было Гарри не по силам. Ему хотелось стереть из памяти эту картину, а еще больше — очутиться подальше от генерала Венделера. Второпях Гарри совсем позабыл, куда направляется, и, охваченный страхом, стремглав мчался вперед. При мысли о том, что леди Венделер приходится женой одному из этих гладиаторов и сестрой другому, его сердце наполнялось сочувствием к женщине, жизнь которой сложилась столь несчастливо. В свете этих бурных событий его собственное положение в доме генерала показалось ему не слишком завидным.

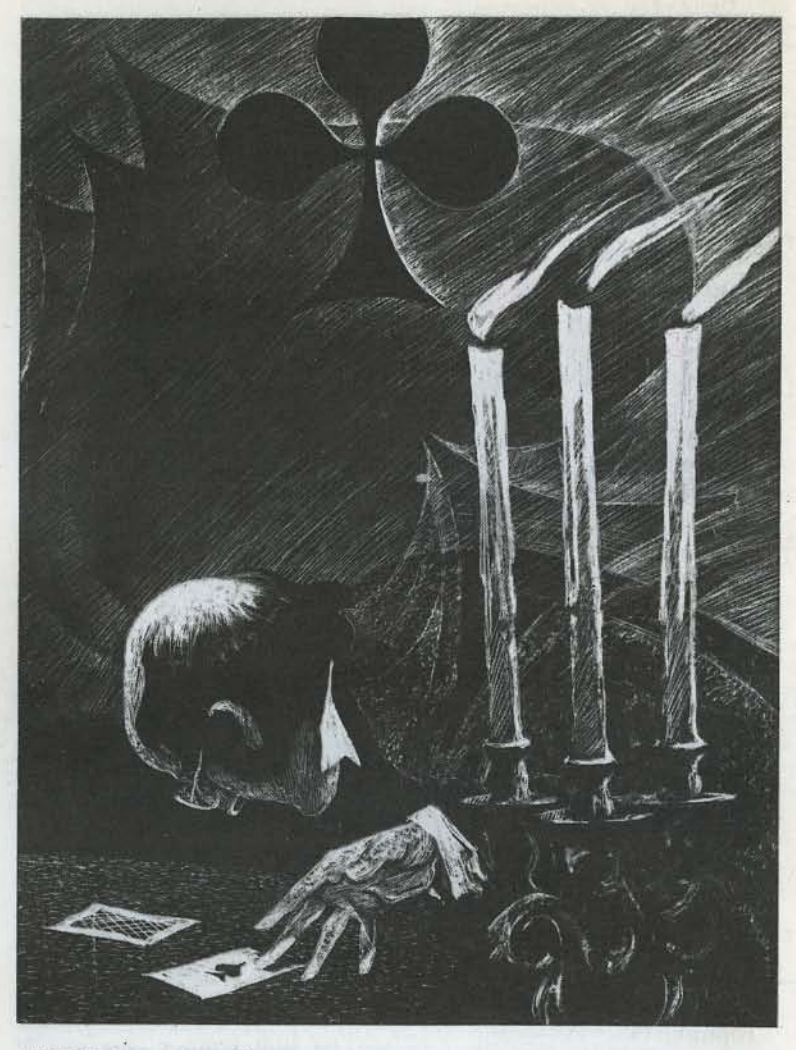
Он так погрузился в свои размышления, что, только задев нечаянно какого-то прохожего, вспомнил наконец о картонке, висевшей у него на руке.

— Ох, где была моя голова! — воскликнул он.— И куда это я забрел?

И он схватился за конверт, который дала ему леди Венделер. На нем стоял адрес, но имени не было. Секретарю поручалось спросить джентльмена, который должен получить пакет от леди Венделер, а если того не окажется дома, дождаться его прихода. Джентльмен, указывалось далее, должен предъявить собственноручную расписку леди Венделер. Все это выглядело ужасно таинственно, но Гарри особенно удивляло отсутствие имени адресата и то, что требовалось получить расписку. Когда о расписке мимоходом упомянули в разговоре, он не придал этому никакого значения. Теперь же, сопоставив надпись на конверте с другими странными обстоятельствами, он решил, что впутался в опасное дело. Он даже усомнился было в самой леди Венделер. Все эти странные затеи показались ему недостойными такой знатной дамы, а поняв, что у нее есть тайны и от него самого, он готов был судить о ней строже. Однако леди



«НОЧЛЕГ ФРАНСУА ВИЙОНА»



«КЛУБ САМОУБИЙЦ»

Венделер по-прежнему властвовала над его душой; в конце концов он отбросил всякие подозрения и основательно выбранил себя за то, что поддался им.

Так или иначе, но чувство долга и расчет, преданность и страх — все подсказывало ему, что надо самым спешным образом отделаться от шляпной картонки.

Он обратился к первому встречному полисмену и вежливо расспросил, как идти. Выяснилось, что он недалек от цели, и через несколько минут Гарри уже стоял перед маленьким, заново окрашенным домом. Тут все было в полном порядке: дверной молоток и звонок ярко блестели, на подоконниках красовались горшки с цветами, а шторы из дорогой материи скрывали внутренние покои от нескромных взглядов прохожих. Владелец дома, видимо, ценил покой и уединение, и Гарри, поддавшись общему духу, царившему здесь, постучал тише обычного и старательней обычного отряхнул пыль с сапог.

Довольно привлекательная служанка тотчас открыла дверь и окинула секретаря благосклонным взором.

— Пакет от леди Венделер,— сказал Гарри.

— Знаю,— сказала девушка, кивнув.— Но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне?

— Не могу,— ответил Гарри.— Мне приказано вручить его только на определенных условиях. Боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать.

— Ну что ж,— сказала она.— Подождите, пожалуй. Довольно скучно сидеть одной, а вы непохожи на человека, которому захочется обидеть девушку. Но, смотрите, не спрашивайте имени хозяина, мне этого говорить не велено.

— Неужели? — вскричал Гарри.— Вот странно! Хотя, по правде сказать, с недавних пор я на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам один вопрос: этот дом принадлежит вашему хозяину?

— Он его снимает, и то лишь с неделю,— объявила горничная.— А теперь ответьте на мой вопрос: вы знакомы с леди Венделер?

— Я ее личный секретарь,— ответил Гарри, скромно зардевшись.

— Она красивая, наверно? — допытывалась служанка.

— О, она красавица! — воскликнул Гарри.— Она чудо как хороша собой и такая добрая и милая!

— На вид вы тоже добры,— возразила девушка.— Слово даю, вы стоите дюжины таких дам.

Гарри ушам своим не поверил.

— Я? — вскричал он.— Я всего-навсего секретарь!

— Это вы мне нарочно говорите? Да? — спросила она.— Я-то всего-навсего горничная.— Но, увидев, что Гарри смешался, прибавила мягче: — Вы, видно, не хотели сказать ничего такого, и вы мне нравитесь, но вашу леди Венделер я и в грош не ставлю. Ох уж эти хозяйки! Среди бела дня отправить настоящего джентльмена со шляпной картонкой в руках!

Пока шел этот разговор, она оставалась в дверях, а он по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы прохлады ради и с картонкой в руке. Однако при последних словах, смущенный слишком откровенными комплиментами и обнадеживающими взорами, которыми они сопровождались, Гарри начал топтаться на месте и неловко озираться по сторонам. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он, к своему неописуемому ужасу, встретился взглядом с генералом Венделером. Разгоряченный, негодующий генерал нетерпеливо рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев немедленно устремился по новому руслу. Генерал круто повернулся и, свирепо размахивая руками, с громким воплем ринулся по тихому переулку.

Втолкнув в дом девушку, Гарри одним прыжком очутился за порогом, и дверь захлопнулась перед самым носом преследователя.

— Засов есть? Дверь запирается? — спрашивал Гарри под грохот дверного молотка, отдававшийся эхом во всех углах дома.

— Что с вами такое? — спросила девушка.— Вы испугались этого старика?

— Если он меня сцапает,— прошептал Гарри,— я пропал. Он гоняется за мной весь день, у него внутри трости спрятана шпага, а сам он военный, служил в Индии.

— Ну и дела! — воскликнула девушка.— А как же его зовут, скажите на милость?

— Это генерал Венделер, мой хозяин,— ответил Гарри.— Он хочет отнять у меня картонку.

— Что я вам говорила? — торжествующе вскричала девушка.— Говорила я вам, что она гроша ломаного не

стоит, эта ваша леди Венделер. Будь у вас глаза на месте, вы бы и сами увидели, что она такое! Просто неблагодарная вертихвостка, верьте слову!

Разъяренный тем, что ему не открывают, генерал снова накинулся на дверной молоток да еще начал бить в дверь ногами.

— Хорошо, что я одна в доме,— заметила девушка.— Ваш генерал может барабанить, пока не выбьется из сил, все равно никто не откроет. Идите-ка за мной!

И она повела Гарри в кухню, усадила на стул, а сама стала рядом и нежно положила руку ему на плечо. Стук в дверь не только не утихал, но даже усиливался, и при каждом ударе несчастный секретарь весь содрогался.

— Как вас зовут? — спросила девушка.

— Гарри Хартли,— ответил он.

— А меня — Пруденс,— подхватила она.— Вам нравится мое имя?

— Очень,— сказал Гарри.— Но вы послушайте, как генерал колотит в дверь. Он, наверное, выломает ее, и тогда мне не быть живу.

— Зачем зря расстраиваться? — заявила Пруденс.— А ваш генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели я держала бы вас здесь, если б наперед не знала, как вас выручить? Ну нет, я хороший друг тому, кто мне нравится. У нас ведь есть черный ход на другую улицу. Но я вас не проведу к выходу,— прибавила она, ибо Гарри сразу вскочил с места при этом радостном известии,— пока вы меня не поцелуете. Поцелуете, Гарри?

— Конечно, поцелую! — галантно воскликнул он.— И вовсе не ради вашей другой двери, а потому, что вы добрая и хорошенькая.

И он нежно расцеловал ее, и она ответила ему тем же.

Затем Пруденс провела его к выходу.

— А вы придете еще повидать меня? — спросила она, берясь за ключ.

— Непременно,— ответил Гарри.— Разве я не обязан вам жизнью?

— А теперь,— сказала она напоследок, открывая дверь,— бегите со всех ног: сейчас я впущу генерала.

Едва ли Гарри нуждался в таком совете: подгоняемый страхом, он без промедления пустился наутек. Еще несколько шагов, и его испытания закончатся и он, це-

лый и невредимый, вернется к леди Венделер. Но он не успел пробежать эти несколько шагов. Он услышал, что кто-то окликает его по имени и клянет на чем свет стоит. Обернувшись назад, он заметил Чарли Пендрегона, который махал ему обеими руками, подзывая к себе. Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри припомнил сцену в Кенсингтонских садах, он догадался бы, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрегон должен быть другом. Но он был в таком отчаянном смятении, что эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрей побежал по переулку.

Судя по сердитому голосу и тем ругательствам, которые неслись вслед секретарю, Чарли был вне себя от ярости. Он тоже бежал изо всех сил; но как ни старался, физические преимущества были не на его стороне, и вскоре выкрики Чарли Пендрегона и неровный звук его шагов по мостовой стали затихать где-то вдалеке.

Гарри опять воспрянул духом. Узкий переулок шел круто в гору и был на редкость безлюден. По обе стороны тянулись садовые ограды, с них свешивались ветви деревьев, а впереди, насколько глаз хватал, не было ни души и не виднелось ни одной открытой калитки. Судьба, очевидно, утомясь его преследовать, предлагала ему путь к спасению.

Увы! Когда он поравнялся с одной садовой дверцей, осененной каштанами, она вдруг приоткрылась, и за нею на дорожке он увидел фигуру разносчика из мясной лавки со своим лотком. Гарри пролетел мимо, едва приметив его. Но парень успел разглядеть Гарри и, очевидно, весьма удивился, что какой-то джентльмен несется вперед с такой неподобающей скоростью. Он вышел в переулок и, подбадривая Гарри, пустил ему вслед несколько насмешливых восклицаний.

Его появление подало новую мысль Чарли Пендрегону. Он, хоть и запыхался изрядно, нашел в себе силы крикнуть:

— Держи вора!

Разносчик немедленно подхватил его возглас и присоединился к погоне.

У бедного затравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают и что, попадись в этом узком переулке кто-нибудь ему навстречу, положение его станет вовсе безнадежным.

«Надо где-нибудь укрыться сию же секунду, не то мне конец!» — подумал он.

Едва у него мелькнула эта мысль, как переулок вдруг круто завернул и поворот скрыл Гарри от врагов. Бывают обстоятельства, когда даже самые нерешительные люди начинают действовать быстро и энергично, а самые предусмотрительные забывают свое благоразумие и принимают безрассудно смелые решения. Пришел такой час и для Гарри Хартли. Всякий, кто хорошо знал юношу, подивился бы сейчас его отваге: он вдруг остановился, перекинул картонку через ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад.

Когда спустя секунду он пришел в себя, оказалось, что он сидит на клумбе среди невысоких розовых кустов. Руки и колени у него были изрезаны, потому что стена на случай подобных вторжений была щедро утыкана осколками старых бутылок. Он чувствовал, что весь разбит, а голова у него болит и кружится. В глубине сада, тщательно ухоженного и засаженного душистыми цветами, виднелась задняя стена дома. Дом, довольно обширный и, очевидно, обитаемый, по странному контрасту с садом был в забросе, обветшал и имел самый жалкий вид. С трех других сторон сад был обнесен сплошной стеной.

Тупо поглядывая по сторонам, Гарри отмечал все эти подробности, но еще не был в состоянии сопоставить их и сделать из них разумный вывод. Поэтому, заслышав шаги, приближавшиеся к нему по усыпанной гравием дорожке, он обратил свой взор в ту сторону еще без всякой мысли о защите или бегстве.

К нему с лейкой в руке подходил крупный человек грубой и отталкивающей наружности, одетый, как садовник. Всякий встревожился бы, завидев его громадную фигуру и встретив этот угрюмый взгляд исподлобья. Но Гарри был так оглушен падением, что даже не испугался. Не в силах отвести глаз от садовника, он сидел на месте и не оказал ни малейшей попытки к сопротивлению, когда тот приблизился, взял его за шиворот и рывком поставил на ноги.

Несколько мгновений оба молчали, уставившись друг на друга: Гарри — словно завороженный, а свирепый садовник — с жестокой и злобной усмешкой.

— Ты кто такой? — спросил он наконец.— Кто тебе разрешил лазать через стены и ломать мои розы? Ведь это же «Слава Дижона»! Как тебя звать? И что тебе здесь нужно? — прибавил он, встряхивая Гарри.

Гарри не мог вымолвить ни слова в объяснение.

Но как раз в этот момент Пендрегон и разносчик протопали мимо, и хриплые голоса и звуки шагов громко раздались в узком переулке.

Садовник получил ответ на свой вопрос и поглядел на Гарри с мерзкой усмешкой.

— Вор! — сказал он.— Честное слово, ремесло-то, видать, прибыльное: ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток. И не стыдно тебе, вырядившись так, разгуливать по свету, когда честные люди, верно, рады были бы и твоим обноскам? Ну, говори, дрянь ты этакая! — продолжал он.— Простого языка не понимаешь? Нужно же мне потолковать с тобой прежде, чем я сведу тебя в участок.

— Сэр,— сказал Гарри,— право, все это — страшное недоразумение. Пойдемте со мною к сэру Томасу Венделеру на Итон-плейс, и, клянусь вам, все разъяснится. Теперь я вижу, что и самый добропорядочный человек может попасть в сомнительное положение.

— Нет, красавчик,— возразил садовник,— мы с тобой пойдем вместе не дальше полицейского участка, что на соседней улице. Инспектор, наверное, охотно прогуляется с тобой на Итон-плейс и попьет чайку с твоими важными знакомыми. Может быть, тебе захочется идти прямо к министру внутренних дел? «Сэр Томас Венделер», скажи на милость! И ты думаешь, мне не отличить джентльмена от обыкновенного прощелыги вроде тебя? Как ты ни оденься, я тебя вижу насквозь. Вот рубашка, которая стоит не меньше моей воскресной шляпы, и пиджак твой, ручаюсь, никогда не висел в лавке старьевщика, а сапоги...

Тут садовник, поглядев вниз, разом оборвал свои оскорбительные замечания и несколько секунд разглядывал что-то у себя под ногами. Когда он заговорил снова, голос его звучал как-то странно.

— Да что же это такое, черт побери? — сказал он.

Следуя направлению его взгляда, Гарри увидел нечто, заставившее его онеметь от изумления и страха. Падая со стены, он свалился прямо на картонку, которая лопнула сверху донизу, и из нее вывалилась целая груда бриллиантов. Они рассыпались по грядке, и часть их была затоптана в землю, а часть лежала на виду, сверкая царственным великолепием. Была здесь и чудесная диадема, которой он так часто любовался, когда она сияла на головке леди Венделер, были кольца и броши, серьги и браслеты и даже неоправленные бриллианты, блиставшие сейчас в кустах роз, словно капли утренней росы. Лаская взор и отражая лучи солнца миллионами радужных вспышек, перед ними на земле лежало княжеское богатство, в самой привлекательной, надежной и долговечной форме, лежало у самых ног, хоть собирай в передник и уноси.

— Боже милостивый! — произнес Гарри.— Я погиб!

Недавние происшествия с молниеносной быстротой промелькнули у него в памяти: ему стало ясно, что́ случилось с ним за день, и он стал постигать связь так злосчастно перепутавшихся событий, от которых теперь зависела его репутация и судьба. Он посмотрел вокруг, как бы ища помощи, но в саду не было ни души, кроме него самого, рассыпанных бриллиантов да его грозного собеседника. И сколько он ни прислушивался, он слышал лишь шелест листвы и частое биение собственного сердца. Ничуть не удивительно, что, теряя остатки мужества, Гарри повторил дрогнувшим голосом:

— Я погиб!

Садовник воровато оглянулся по сторонам и, к видимому своему облегчению, никого не увидел в окнах дома.

— Держись, дурак ты этакий! — сказал он.— Самое трудное позади. Почему ты сразу не сказал, что здесь хватит на двоих? Какое там — на двоих! Да на две сотни человек! Пошли, впрочем, отсюда, здесь нас могут заметить, и, ради бога, поправь свою шляпу и почисти платье. В этаком нелепом виде тебе далеко не уйти!

Пока Гарри, почти не сознавая, что делает, выполнял этот совет, садовник, опустившись на колени, стал торопливо собирать рассыпанные бриллианты и складывать их обратно в картонку. От прикосновения к драгоценным камням дрожь волнения пробегала по его дюжему телу, лицо исказилось, глаза горели алчностью, он слов-

но упивался своим занятием, растягивал его и любовно ощупывал каждый камень. Наконец все было сделано. Прикрыв картонку полой блузы, садовник поманил Гарри и направился к дому.

У самой двери им повстречался молодой человек, по виду священник, со смуглым и поразительно красивым лицом, в чертах которого сочеталось выражение слабости и решительности. Он был одет скромно, но опрятно, как это принято у его сословия. Садовник явно не обрадовался этой встрече, но постарался скрыть свою досаду и, подобострастно улыбаясь, обратился к священнику.

— Чудесный денек, мистер Роллз,— сказал он,— просто лучше не бывает. А это мой молодой приятель: ему вздумалось посмотреть на мои розы. Я позволил себе провести его в сад, решив, что никто из жильцов возражать не будет.

— Я-то, во всяком случае, не буду,— ответил преподобный Саймон Роллз.— Да и не представляю себе, чтобы остальные стали придираться к такой малости. Сад принадлежит вам, мистер Рэберн, никто из нас не должен этого забывать. И если вы позволяете нам гулять здесь, было бы черной неблагодарностью злоупотреблять вашей добротой и не считаться с вашими друзьями. Однако я припоминаю,— добавил он,— что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь? Вам, кажется, привелось упасть, разрешите выразить вам мое сочувствие.

И он протянул руку.

По какой-то девичьей застенчивости или просто желая оттянуть неизбежные объяснения, Гарри не принял случайно подвернувшейся помощи и решил отпираться. Он предпочел довериться садовнику, который был ему неизвестен, чем подвергать себя расспросам, а то и подозрениям знакомого человека.

— Боюсь, что это ошибка,— сказал он.— Мое имя Томлинсон, я друг мистера Рэберна.

— Правда? — сказал мистер Роллз.— Сходство поразительное.

Мистер Рэберн, который все время был как на иголках, почувствовал, что пора положить конец этому разговору.

— Желаю вам приятной прогулки, сэр,— сказал он.

И он втащил Гарри за собой в дом, а затем провел в комнату с окном в сад. Прежде всего он поспешил опустить штору, потому что мистер Роллз в задумчивости и растерянности все еще стоял там, где они его оставили. Потом садовник опрокинул распоротую картонку на стол и с выражением восторженной жадности на лице, потирая ляжки руками, замер перед открывшимися сокровищами. Глядя на этого человека, обуреваемого низкими чувствами, Гарри испытал новые муки. После легкой, невинной и пустяковой жизни казалось немыслимым очутиться сразу в мире низменных и преступных побуждений. Он не помнил за собой никакого греха, а теперь его постигла кара, мучительная и жестокая — страх наказания, недоверие честных людей и унизительное сообщничество человека гнусного и грубого. Он почувствовал, что с радостью отдал бы жизнь, лишь бы убежать из этой комнаты и не видеть больше мистера Рэберна.

— А теперь,— сказал тот, разделив драгоценности на две почти равные части и придвигая одну к себе,— а теперь вот что. За все на этом свете надо платить, и подчас даже порядочно. Надо вам знать, мистер Хартли, если так вас зовут, я человек весьма покладистый и мое добродушие всю жизнь мне мешало. Я мог бы прикарманить все эти красивые камушки, если б захотел, и вы даже пикнуть не посмели бы. Только вы мне чем-то понравились, честное слово, как-то не хочется обирать вас дочиста! Так что я, знаете, по доброте душевной предлагаю поделиться. Дележ,— тут он указал на две кучки,— сделан, кажется, справедливо и по-дружески. Осмелюсь спросить, мистер Хартли, возражений не будет? Не такой я человек, чтобы спорить из-за какой-нибудь брошки.

— Но, сэр,— вскричал Гарри,— то, что вы мне предлагаете, просто невозможно! Драгоценности эти не мои, я не могу отдавать чужое и ни с кем никакого дележа устраивать не буду.

— Ах, не ваши? — возразил Рэберн.— И вы отдавать их никому не можете, вот как? Ну что ж, очень жаль; тогда мне придется вести вас в участок. Полиция — подумайте-ка о полиции — какой позор для ваших почтенных родителей! Подумайте,— продолжал он, беря Гарри за руку,— подумайте о суде, о колониях, о каторге. Ведь настанет и день Страшного суда!

— Я не могу ничего поделать,— жалобно бормотал Гарри.— Я тут ни при чем. Вы же не хотите идти со мной на Итон-плейс?

— Нет,— ответил тот,— не хочу, это уж точно. Я намерен поделить с вами эти игрушки здесь.

С этими словами он вдруг жестоко вывернул юноше руку.

Гарри не мог сдержать крика, пот покатился по его лицу. Может быть, боль и страх заставили его лучше соображать, но только все дело вдруг предстало перед ним в ином свете. Он увидел, что ему ничего не остается, как принять предложение мерзавца, в надежде потом — при более благоприятных обстоятельствах и когда он сам будет вне подозрений — разыскáть дом и силою отобрать вещи.

— Согласен,— пробормотал он.

— Вот этак-то лучше, милашка,— осклабился садовник.— Я так и думал, что в конце концов ты сообразишь, в чем твоя выгода. Картонку,— продолжал он,— я сожгу вместе с мусором, чтобы не попалась на глаза кому не надо, а ты собирай-ка свои побрякушки и прячь их по карманам.

Гарри повиновался. Рэберн наблюдал за ним, и то и дело, когда какой-нибудь камень вспыхивал ярким огнем, разгоралась и его алчность; тогда он извлекал еще одну драгоценность из доли секретаря и прибавлял к своей.

Когда с этим было покончено, оба направились к выходу. Рэберн осторожно отпер дверь и выглянул на улицу. Прохожих не было видно; тогда он внезапно схватил Гарри рукой за шиворот и, нагнув ему голову, чтобы тот видел лишь мостовую да ступеньки перед дверьми домов, минуты две стремительно тащил его сначала по одной улице, потом по другой. Гарри успел насчитать три угла, прежде чем негодяй разжал руку и, крикнув: «А теперь убирайся!» — ловко и метко дал ему такого пинка, что Гарри лицом вниз полетел на мостовую.

Когда ошеломленный, с окровавленным носом, он поднялся, мистера Рэберна и след простыл. Тут гнев и боль окончательно одолели Гарри: он разразился плачем да так и остался, рыдая, посредине улицы.

Немного утолив слезами свое горе, он оглянулся по сторонам и стал читать названия улиц у перекрестка, где бросил его садовник. Он по-прежнему находился в

малолюдной стороне лондонского Вест-Энда, среди вилл и обширных садов. В одном окне он все же заметил людей, очевидно, бывших свидетелями его злоключений, и почти сразу из этого дома к нему выбежала служанка со стаканом воды. В то же время какой-то грязный бродяга, слонявшийся неподалеку, начал подбираться к нему с другой стороны.

— Бедняга,— сказала девушка,— ну и подло же обошлись с вами! Смотрите-ка, колени разбиты, все платье порвано! А вы знаете негодяя, который вас так отделал?

— Разумеется, знаю! — вскричал Гарри, выпив воды и почувствовав себя бодрее.— Я до него доберусь, ему от меня не уберечься! Уж он поплатится за свои дела!

— Вы лучше вошли бы в дом, помылись и почистились,— продолжала девушка.— Ничего, моя хозяйка вас не выгонит. Постойте, я подберу вашу шляпу. Ай, господи! — взвизгнула она.— Да вы засыпали алмазами всю улицу!

Так оно и было. Изрядная часть драгоценностей, доставшихся ему после грабежа, учиненного Рэберном, вывалилась из карманов, когда Гарри летел кувырком, и теперь алмазы опять, сверкая, лежали на земле. «Вот счастье, что у девушки такое острое зрение, ведь могло быть хуже»,— подумал Гарри и, обрадованный тем, что может спасти хоть несколько сохранившихся у него камней, готов был забыть об утрате всех остальных.

Но увы! Когда он нагнулся, чтобы подобрать свои сокровища, бродяга внезапно бросился к ним, с наскока опрокинул наземь и Гарри и девушку, подхватил полную пригоршню бриллиантов и с изумительным проворством удрал прочь.

Едва вскочив на ноги, Гарри со страшными воплями погнался за злодеем, но тот был проворнее или, может быть, лучше знал окрестные места: куда только ни поворачивал преследователь, ему не удавалось обнаружить и следов беглеца.

В глубочайшем унынии Гарри вернулся к месту катастрофы, где поджидавшая его служанка честно отдала ему шляпу и уцелевшие из просыпанных бриллиантов. Гарри от всего сердца поблагодарил ее, затем, откинув всякую бережливость, направился к ближайшей стоянке кебов и поехал на Итон-плейс.

Он застал весь дом в смятении, словно в семье произошло несчастье. Слуги теснились в холле и не мог-

ли — да и не очень старались — удержаться от смеха при появлении потрепанной фигуры секретаря. Стараясь сохранять достойный вид, он прошел мимо них и направился прямо в будуар. Когда он открыл дверь, его взорам предстало удивительное зрелище, не сулившее ничего хорошего: генерал, его жена и — подумать только! — Чарли Пендрегон сидели тесным кружком, деловито обсуждая что-то важное. Гарри сразу понял, что ему не придется давать длинных объяснений: вероятно, генералу откровенно рассказали о задуманном покушении на его кошелек и о провале всей затеи. Теперь, ввиду общей опасности, они, очевидно, собирались действовать сообща.

— Слава богу! — воскликнула леди Венделер.— Вот он! Картонка, Гарри, где же картонка?

Но Гарри стоял перед ними молчаливый и подавленный.

— Говорите! — закричала она.— Говорите же! Где картонка?

Мужчины, угрожающе придвигаясь к нему, повторяли то же самое.

Гарри вынул из кармана горсть драгоценностей. Он был белей полотна.

— Вот все, что осталось,— сказал он.— Беру небо в свидетели, это вышло не по моей вине, и если вы наберетесь терпения, то кое-что, вероятно, удастся вернуть, хотя многие камни, я боюсь, пропали навсегда.

— Увы! — вскричала леди Венделер.— Все наши бриллианты пропали, а у меня девяносто тысяч фунтов долгу за одни туалеты!

— Сударыня,— сказал генерал,— пусть бы вы побросали свои собственные побрякушки в сточную канаву, пусть бы наделали долгов даже в пятьдесят раз больше, пусть бы украли алмазную диадему и кольцо моей матери, я, наверное, по слабости характера простил бы вас в конце концов. Но, сударыня, вы забрали Алмаз Раджи — «Око Света», как его поэтически окрестили на Востоке, «Славу Кашгара». Вы отняли у меня Алмаз Раджи! — вскричал он, воздевая руки,— и все, сударыня, все покончено между нами!

— Поверьте мне, генерал Венделер,— ответила она,— это самые приятные слова, какие только мне приходилось слышать из ваших уст, и я готова приветствовать грозящее разорение, если оно избавит меня от

вас. Вы мне достаточно часто говорили, что я вышла за вас из-за денег. Позвольте мне теперь сказать вам, что я не раз горько каялась в этой сделке. И если бы вы могли жениться снова и если бы у вас был алмаз величиной с вашу собственную голову,— я даже свою горничную отговаривала бы от такого незавидного и опасного союза. Что касается вас, мистер Хартли,— продолжала она, поворачиваясь к секретарю,— вы уже полностью проявили в этом доме свои ценные свойства. Мы теперь убедились, что у вас нет ни мужества, ни разума, ни чувства собственного достоинства. И, по-моему, вам остается только одно: немедленно удалиться и по возможности не возвращаться более. За жалованьем вы вправе прийти в качестве кредитора, когда будет объявлено о банкротстве моего бывшего мужа.

Гарри не успел еще опомниться от этих оскорбительных речей, как на него обрушился генерал.

— А пока,— заявил тот,— идемте со мной к ближайшему полицейскому инспектору. Вам легко удалось обмануть простодушного солдата, но недремлющий закон выведет вас на чистую воду. Пусть мне на старости лет придется жить в нищете из-за ваших козней с моей супругой, зато я постараюсь по крайней мере, чтобы ваши труды не остались без награды, и бог откажет мне в большом удовольствии, если отныне и до самой вашей смерти вам не придется щипать паклю на каторге.

С этими словами генерал вытолкнул Гарри из комнаты, стащил вниз по лестнице и поволок в ближайший полицейский участок.

На этом, по словам арабского автора, заканчивается печальная *повесть о шляпной картонке*. Однако злосчастному секретарю эти события помогли стать мужчиной и начать новую жизнь. Полиция убедилась в его невиновности, а когда он оказал посильную помощь в дальнейших розысках, один из начальников сыскного отделения даже похвалил его за честное и прямое поведение. Многие лица приняли участие в судьбе несчастливца, а когда в Вустершире скончалась одна его незамужняя тетка, он унаследовал после нее порядочную сумму. Благодаря этому он женился на Пруденс и, чрезвычайно довольный, полный самых радужных надежд, отплыл на Бендиго, а по другим источникам — в Тринкомали.

ПОВЕСТЬ О МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ

Преподобный Саймон Роллз весьма преуспел на поприще исследования этических учений и слыл особым знатоком богословия. Его работа «О христианской доктрине общественного долга» при появлении в свет принесла ему некоторую известность в Оксфордском университете. И в клерикальных и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роллз готовит основательный труд (по словам иных, фолиант) о незыблемости авторитета отцов церкви. Ни познания, ни честолюбивые замыслы, однако, вовсе не помогли ему в достижении чинов, и он все еще ожидал места приходского священника, когда, прогуливаясь однажды по Лондону, забрел на Стокдоув-лейн. Увидев густой, тихий сад и прельстившись покоем, необходимым для научных занятий, а также невысокой платой, он поселился у мистера Рэберна.

Молодой человек завел себе привычку ежедневно, после семи-восьми часов работы над св. Амвросием или св. Иоанном Златоустом, гулять среди роз, предаваясь раздумью. Это были у него обычно самые плодотворные часы дня. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами, ожидающими решения, не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром. И когда молодой священник увидел секретаря генерала Венделера, оборванного и окровавленного, рядом с мистером Рэберном, когда он заметил, что оба переменились в лице и стараются увильнуть от расспросов, и особенно когда секретарь стал отрекаться от собственного имени,— мистер Роллз поддался низменному любопытству и быстро забыл своих святых и отцов церкви.

«Я не мог ошибиться,— думал он.— Это несомненно мистер Хартли. Но почему он был в таком плачевном виде? Почему он отрекался от своего имени? И какие у него могут быть дела с этим угрюмым негодяем — моим хозяином?»

Пока он раздумывал, его внимание привлекло другое странное обстоятельство. Лицо мистера Рэберна показалось в низком окне рядом с дверью, и его глаза случайно встретились с глазами мистера Роллза. Садовник, видимо, смутился, даже встревожился, а штора тотчас опустилась.

«Все это, может быть, и в порядке вещей,— размышлял мистер Роллз,— даже совсем в порядке вещей, но, признаюсь откровенно, мне думается, тут что-то не так. Зачем им таиться, лгать, опасаться взглядов людских? Право же, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело».

Сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роллзе и принялся за работу. Проворными нетерпеливыми шагами, ничуть не похожими на его обычную походку, молодой священник обошел сад. Подойдя к месту вторжения Гарри, он сразу заметил сломанный розовый куст и следы ног на рыхлой земле. Он поглядел вверх и увидел царапины на кирпиче и клочки штанов, развевавшиеся на осколках стекла. Так вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Рэберна! Вот как секретарь генерала Венделера любовался цветником! Священник тихонько присвистнул и нагнулся, чтобы рассмотреть почву. Он догадался, где именно Гарри завершил свой отчаянный прыжок. Он признал в отпечатке плоской ступни след мистера Рэберна, глубоко вдавшийся в землю, когда тот поднимал секретаря за ворот. При более подробном осмотре он различил даже следы пальцев, как будто здесь что-то просыпали и старательно скребли по земле, собирая вновь.

«Честное слово,— подумал он,— дело становится весьма любопытным».

Тут он заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный сафьяновый футляр с золоченым узором и застежкой. Его затоптали ногами, и поэтому мистер Рэберн второпях проглядел его. Мистер Роллз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Ибо перед ним в гнездышке зеленого бархата лежал алмаз невероятной величины и наичистейшей воды. Он был с утиное яйцо, прекрасной формы и без единого изъяна; под лучами солнца он испускал свет, подобный электрическому, и, казалось, горел на ладони тысячами притаившихся в нем огней.

Мистер Роллз плохо разбирался в драгоценных камнях, но Алмаз Раджи был чудом и говорил сам за себя. Найди его деревенский мальчонка, он с криком бежал

бы до ближайшего дома, а дикарь благоговейно простерся бы ниц перед таким удивительным фетишем. Красота этого камня ласкала взор молодого священника, мысль о его неисчислимой стоимости подавляла воображение. Он понимал, что ценность камня, который он держит в руке, превышает доход архиепископа за многие годы, что им можно оплатить постройку соборов, более пышных, чем соборы Эли или Кёльна; что, овладев им, можно навеки освободиться от проклятия, тяготеющего над человечеством, и следовать своим склонностям, ни о чем не заботясь, никуда не торопясь, ни с кем не считаясь. Он нечаянно повернул камень: опять брызнули ослепительные лучи и словно пронзили его сердце.

Решительные действия часто совершаются мгновенно и без всякого воздействия со стороны рассудка. Так случилось и с мистером Роллзом. Он торопливо оглянулся вокруг, но, как прежде мистер Рэберн, увидел лишь залитый солнцем цветник, верхушки высоких деревьев да опущенные шторы в окнах дома. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе.

Преподобный Саймон Роллз украл Алмаз Раджи.

В тот же день явилась полиция вместе с Гарри Хартли. Садовник, вне себя от страха, без запирательств выложил свою добычу. Драгоценности были проверены и переписаны в присутствии секретаря. Сам мистер Роллз выказывал всяческую услужливость, охотно сообщил все ему известное и выразил сожаление, что больше ничем не может помочь полицейским в порученном им деле.

— Все же,— добавил он,— ваши хлопоты, вероятно, подходят к концу.

— Вовсе нет,— ответил сыщик из Скотланд-Ярда. Он рассказал о вторичном ограблении, жертвой которого так быстро стал Гарри, и описал молодому священнику самые дорогие из еще не найденных драгоценностей, особо остановившись на Алмазе Раджи.

— Он стоит, должно быть, целое состояние,— предположил мистер Роллз.

— Даже десять состояний, а то и двадцать! — воскликнул полицейский.

— Чем больше он стоит,— хитро заметил Саймон,— тем труднее его, наверное, сбыть. У такой вещи приметная внешность, ее не замаскируешь. Его, пожалуй, продать не легче, чем собор святого Павла.

— Ну, разумеется,— сказал полицейский.— Но если вор окажется человеком сообразительным и распилит алмаз на три-четыре части, ему все равно будет с чего разбогатеть.

— Благодарю вас,— сказал священник,— вы представить себе не можете, как мне было любопытно побеседовать с вами.

Сыщик заметил, что по роду занятий ему и в самом деле приходится узнавать много удивительного, и вскоре распрощался.

Мистер Роллз вернулся в свою комнату. Она показалась ему еще меньше и бедней обычного. Никогда материалы для его великого труда не казались ему такими скучными, и он презрительным взглядом окинул свою библиотеку. Он стал снимать с полки сочинения отцов церкви и проглядывать том за томом, однако в них не оказалось ничего подходящего.

«Эти старые джентльмены,— подумал он,— несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть украденный алмаз. Кое-что мне подсказал простой полицейский, но все мои фолианты не могут меня научить, как применить его совет. Все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования».

Он пнул ногой книжную полку, надел шляпу, поспешно вышел из дому и отправился в клуб, членом которого состоял. В этом мирском заведении он рассчитывал встретить какого-нибудь рассудительного и умудренного жизненным опытом человека.

Он нашел в читальной комнате нескольких деревенских священников и одного архидьякона; трое журналистов и некий автор трудов по высшей метафизике играли на бильярде, а за обеденным столом он увидел только клубных завсегдатаев с их пошлыми, невыразительными лицами. Мистер Роллз понял, что в опасных делах никто из них не смыслит более его самого и что ему не найти среди них себе советчика. Наконец, поднявшись по длинной крутой лестнице в курительную комнату, он застал там осанистого джентльмена, одетого с нарочитой простотой. Джентльмен курил сигару и листал «Двухнедельное обозрение». На его лице не было ни следа озабоченности или утомления, и что-то в его об-

лике располагало к откровенности и вызывало желание подчиниться ему. Чем дольше молодой священник изучал его черты, тем более убеждался, что наткнулся на человека, способного дать дельный совет.

— Сэр,— сказал мистер Роллз,— простите мою бесцеремонность, но, судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских.

— У меня и правда есть основания считаться таковым,— ответил незнакомец, откладывая в сторону журнал с таким видом, словно вопрос не только удивил, но и позабавил его.

— Я, сэр,— продолжал мистер Роллз,— затворник, склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами и с фолиантами отцов церкви. Недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином, и мне захотелось больше узнать о жизни. Я имею в виду не ту жизнь,— добавил он,— которая описана в романах Теккерея. Я желал бы больше узнать о преступлениях и о потайных силах нашего общества, желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Читать я люблю; нельзя ли всему этому научиться по книгам?

— Вы ставите меня в трудное положение,— ответил незнакомец.— Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг: они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Но о других, скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка,— прибавил он,— вы читали Габорио [1]?

Мистер Роллз признался, что никогда даже не слыхал такого имени.

— Вы могли бы найти кое-что у Габорио,— сказал незнакомец.— Он по крайней мере заставляет думать, а так как это любимый автор князя Бисмарка, вы на худой конец проведете время в приятной компании.

— Сэр,— сказал священник,— я бесконечно вам признателен за любезность.

— Вы меня с лихвой вознаградили, — заявил джентльмен

[1] Французский писатель XIX века, автор многочисленных уголовных романов.

— Чем же? — спросил Саймон.

— Необычностью своей просьбы,— ответил тот.

И, словно испрашивая разрешения у собеседника, он вежливо поклонился и опять взялся за «Двухнедельное обозрение».

По дороге домой мистер Роллз приобрел книгу о драгоценных камнях и несколько романов Габорио. Эти романы он жадно читал и перелистывал до самого позднего часа, однако — хотя и открыл в них много нового для себя — так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде, оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям, а не собраны строго все вместе, как делается в справочниках. Он вывел заключение, что автор добросовестно продумал свой предмет, но вовсе не владеет педагогическим методом. Однако характер и ловкость Лекока [1] вызвали невольное восхищение священника.

«Вот поистине великий человек,— раздумывал мистер Роллз.— Он знал жизнь, как я знаю «Свидетельства» Пейли. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел бы дела до конца».

— Боже мой! — вскричал вдруг мистер Роллз.— Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы?

Он решил, что нашел выход из своего затруднительного положения, и припомнил, что знает одного ювелира, некого Б. Маккэлока, жившего в Эдинбурге, который охотно возьмется обучить его своей профессии. Несколько месяцев, пусть даже несколько лет тяжелого труда, и у него хватит умения разделить на части Алмаз Раджи и ловкости в этом деле, чтобы выгодно продать его. После он может на досуге опять заниматься своими изысканиями, будет богатым, ученым, ни в чем себе не отказывающим и вызывающим у всех зависть и уважение.

Златые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся спозаранку, бодрый и в отличном расположении духа.

Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Рэберна покинуть дом, и это давало мистеру Роллзу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез на вокзал Кингс-кросс, оставил в камере

[1] Сыщик, герой романов Габорио.

хранения и вернулся в клуб, намереваясь провести там весь день и пообедать.

— Если вы сегодня обедаете здесь, Роллз,— сказал ему один знакомый,— то можете увидеть сразу двух замечательных людей Англии — принца Флоризеля Богемского и старого Джека Венделера.

— О принце я слышал,— ответил мистер Роллз,— а с генералом Венделером даже встречался в свете.

— Генерал Венделер — осел! — возразил собеседник.— Я говорю о его брате Джоне; он известный искатель приключений, лучший знаток драгоценных камней и один из самых тонких дипломатов в Европе. Разве вы не слыхали о его дуэли с герцогом де Вальдорж? А его подвиги в Парагвае, когда он был там жестоким диктатором! А как проворно он разыскал драгоценности сэра Самюэла Леви? А какие услуги были оказаны им правительству во время индийского мятежа — услуги, которыми оно воспользовалось, хотя не осмелилось открыто признать их? И вы его не знаете? Чего же стоит тогда людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую. Бегите вниз,— прибавил он,— садитесь за столик рядом с ними и слушайте в оба уха. Я уверен, вы услышите много удивительного.

— Но как мне узнать их? — спросил священник.

— Узнать их! — вскричал его приятель.— Да ведь принц — изысканнейший джентльмен во всей Европе, единственный человек с внешностью короля. А что касается Джека Венделера, то вообразите себе Улисса в семидесятилетнем возрасте и со шрамом от сабельного удара через все лицо — это и будет он! Узнать их, подумать только! Да их легко найти среди толпы на скачках дерби!

Роллз сломя голову бросился в столовую. Как и утверждал его приятель, этих двоих нельзя было не заметить. Старый Джон Венделер отличался замечательно крепким телосложением и, видимо, привык сносить тяготы и лишения. У него не было особой повадки фехтовальщика, или моряка, или умелого всадника, но он напоминал и одного, и другого, и третьего вместе, словно в нем сказались самые различные привычки и навыки. Орлиные черты его дышали отвагой, выражение лица было надменное и хищное. Вся его внешность выдавала человека действия, горячего, отчаянного и неразборчи-

вого в средствах. Густые седые волосы и глубокий сабельный шрам, пересекавший нос и шедший к виску, придавали оттенок воинственности его лицу, и без того своеобразному и грозному.

В его собеседнике, принце Богемском, мистер Роллз с удивлением узнал джентльмена, который дал ему совет читать Габорио. Очевидно, принц Флоризель, редко посещавший клуб, почетным членом которого, как и многих других, он числился, поджидал там Джона Венделера, когда Саймон заговорил с ним накануне.

Другие обедавшие скромно расселись по углам, предоставляя обоим знаменитостям беседовать без помехи, но молодой священник не знал их, а потому, не особенно смущаясь, смело направился к ним и занял место за ближайшим столиком.

Все, о чем они говорили, было и в самом деле очень ново для нашего ученого. Экс-диктатор Парагвая вспоминал свои необычайные приключения в различных частях света, а принц изредка вставлял свои замечания, которые для вдумчивого человека были еще любопытней. Опыт двух различных людей раскрывался одновременно перед молодым священником. Он не знал, кем ему больше восхищаться,— человеком, привыкшим действовать с безрассудной смелостью, или тонким наблюдателем и знатоком жизни: один откровенно говорил о собственных делах и перенесенных опасностях, другой, подобно господу богу, знал все, не испытав ничего. Каждый из них держался в разговоре соответственно своей роли. Диктатор не скупился на резкие слова и жесты, то сжимая, то разжимая кулак, тяжело опускал его на стол, и речь его была громкой и напористой. Принц, наоборот, казался подлинным образцом вежливой уступчивости и спокойствия; чуть заметное его движение, оттенок голоса были выразительней, чем все выкрики и жесты его собеседника. А если ему случалось, и, может быть, довольно часто, описывать собственные приключения, он умел не подчеркивать своего участия в них, и они ничем не выделялись среди других.

Под конец разговор зашел о недавних ограблениях и об Алмазе Раджи.

— Этому камню лучше быть на дне морском,— заметил принц Флоризель.

— Вы сами понимаете, ваше высочество, что мне, как одному из Венделеров, трудно с этим согласиться,— возразил диктатор.

— Я говорю с точки зрения общественного благоразумия,— продолжал принц.— Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных — значит вводить добродетель в искушение. Если кашгарский раджа — властитель, как я понимаю, весьма просвещенный — пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достигнуть своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном. Попади ко мне в руки этот обольстительный камень, я не поручился бы за себя самого, хотя у меня много своих привилегий и обязанностей. Вы же охотник за алмазами по склонности и образу жизни, и я не верю, чтобы в списках Ньюгейтской тюрьмы нашлось такое преступление, какого вы не совершили бы,— не верю, чтобы у вас был на свете друг, которого вы не поспешили бы предать,— мне неизвестно, есть ли у вас семья, но если есть, я уверен, вы пожертвовали бы детьми,—и все это ради чего же? Не для того, чтобы стать богаче, не для того, чтобы сделать свою жизнь приятней или добиться почета, но просто для того, чтобы год-другой, пока не придет смерть, владеть Алмазом Раджи и по временам открывать сейф и любоваться этим камнем, как любуются картиной.

— Это верно, — ответил Венделер. — За чем я только не охотился — и за мужчинами, и за женщинами, и даже за москитами! Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми, но алмаз — самая завидная добыча на свете. Он обладает и красотой и ценностью, он один может по-настоящему вознаградить охотника за все его труды. Я и сейчас, как вы, ваше высочество, может быть, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье, обширный опыт. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец, и пусть я погибну, если не разыщу их все до единого!

— Сэр Томас Венделер очень обрадуется вашей удаче,— сказал принц.

— Я не так уж в этом уверен, — заявил диктатор с усмешкой. — Порадуется один из Венделеров, а Томас или Джон, Петр или Павел, не все ли равно? Все мы апостолы одной веры.

— Не понимаю, что вы хотите сказать,— брезгливо сказал принц.

Тут лакей сообщил мистеру Венделеру, что его кеб ожидает у подъезда.

Мистер Роллз взглянул на часы и увидел, что ему тоже пора идти. Такое совпадение неприятно поразило его: ему не хотелось больше встречаться с охотником за алмазами.

Так как нервы молодого человека были расшатаны слишком усердными научными занятиями, он обычно предпочитал путешествовать с удобствами и на этот раз заказал себе место в спальном вагоне.

— Вас здесь никто не потревожит,— сказал ему проводник,— в вашем отделении больше никого нет, а в другом конце вагона едет только еще один пожилой джентльмен.

Подходило время отправления, и уже проверяли билеты, когда мистер Роллз увидел этого второго пассажира, направлявшегося к своему месту в сопровождении нескольких носильщиков. И поистине мистер Роллз предпочел бы ему кого угодно, ибо то был старый Джон Венделер, экс-диктатор.

Спальные вагоны Северной магистрали делились тогда на три отделения: по одному с каждого конца для пассажиров и одно — посередине, где помещался туалет. Раздвижные двери отделяли его от пассажиров, но так как двери были без засовов и замков, то весь вагон оказывался в общем пользовании.

Изучив свои позиции, мистер Роллз понял, что он здесь совершенно беззащитен. Если бы ночью диктатор вздумал явиться с визитом, Роллзу оставалось бы только принять его. У него не было никаких средств обороны, он ничем не мог прикрыться от нападения врага, как если бы находился в открытом поле. Такое положение внушало ему сильнейшее беспокойство. Он с тревогой припоминал бахвальство своего попутчика и его цинические признания за обеденным столом, вызвавшие недовольство принца. Он где-то читал, будто бывают люди, одаренные удивительным чутьем на драгоценные металлы. Говорят, они способны угадывать присутствие золота через стены, и притом на значительном расстоянии. «А вдруг это относится и к драгоценным

камням? — подумал он.—И если так, кому же и обладать такой таинственной силой, как не человеку, который с гордостью носит прозвище «охотника за алмазами»?» Роллз понимал, что от подобной личности можно ожидать чего угодно, и страстно мечтал о наступлении дня.

Все же, не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения.

Поезд шел своим обычным ровным скорым ходом, и почти половина пути оказалась позади, когда сон все-таки начал побеждать душевную тревогу мистера Роллза. Некоторое время он боролся с дремотой, но она одолевала его все больше и больше. Наконец, уже подъезжая к Йорку, он вынужден был растянуться на одном из диванов, и веки его сомкнулись. Сон почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе.

Когда мистер Роллз проснулся, было еще темным-темно и только чуть мерцал слабый свет ночника. Судя по качке и незатихавшему грохоту колес, поезд шел с прежней скоростью. Роллз в ужасе приподнялся и сел: его мучили тревожные сны. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но уже не мог заснуть. Охваченный страшным возбуждением, он лежал без сна, уставясь открытыми глазами на дверь туалетного отделения. Он надвинул свою круглую фетровую шляпу пониже на лоб, чтобы не мешал свет, считал до тысячи, старался ни о чем не думать и применял все ухищрения, которыми страдающие бессонницей люди пытаются привлечь к себе дремоту. Но никакие средства не помогали мистеру Роллзу. Его терзали различные опасения, старик, ехавший на другом конце вагона, являлся ему в самых угрожающих образах, да и сам алмаз в кармане, как Роллз ни пробовал улечься, причинял ощутимую физическую боль. Он жег, мешал, впивался в ребра, и в иные доли мгновения у молодого священника мелькала мысль вышвырнуть алмаз за окошко.

Пока он так лежал, случилось странное происшествие.

Дверь в туалетное отделение чуть качнулась, затем еще и еще немного и наконец сдвинулась в сторону дюймов на двадцать. Лампочка позади не была затенена, и в открывшейся освещенной щели мистер Роллз увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллз почувствовал, что диктатор разглядывает его. Инстинкт самосохранения принудил Роллза задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты, голова исчезла, и дверь туалетного отделения стала на место.

Диктатор приходил, очевидно, не с враждебными целями, а только для разведки. В его действиях не было ничего угрожающего, скорее, он сам опасался чего-то. Если мистер Роллз боялся его, то, по-видимому, диктатор, в свою очередь, не был так уж спокоен насчет мистера Роллза. Наверно, Венделер приходил, чтобы увериться, спит ли его единственный попутчик, и, уверившись, сразу удалился.

Священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он подумал, что дребезжание летящего поезда заглушит все другие звуки, и — будь что будет — решил пойти с ответным визитом. Сбросив плащ, чтобы он не стеснял свободы движений, мистер Роллз вышел в туалетное отделение и подождал немного, прислушиваясь. Как он и предвидел, за грохотом поезда ничего нельзя было расслышать. Взявшись за край двери, он осторожно отодвинул ее дюймов на шесть и застыл, не в силах сдержать возгласа изумления.

На Джоне Венделере была дорожная меховая шапка с ушами, и, вероятно, наряду с шумом экспресса она мешала ему слышать, что делалось рядом. Так или иначе, но он не поднял головы и, не отрываясь, продолжал свое странное занятие. Между колен у него стояла открытая шляпная коробка, одной рукой он придерживал рукав своего дорожного пальто из тюленьей шкуры, в другой у него был острый нож, которым он вспарывал подкладку рукава. Мистер Роллз читал, будто деньги иногда хранят в поясе, но так как был знаком только с обычными ремешками, то никак не мог толком представить себе, как это делается. Теперь перед ним происходило нечто еще более странное: Джон Венделер, оказывается, хранил драгоценные камни в подкладке своего рукава, и на глазах у молодого священника сверкающие бриллианты один за другим падали в коробку.

Он стоял, словно пригвожденный к месту, и не мог оторваться от этого удивительного зрелища. Бриллианты были большей частью мелкие и не отличались ни формой своей, ни игрой. Вдруг диктатору встретилось в работе какое-то затруднение. Он запустил в рукав обе руки и склонился еще ниже. Однако ему пришлось потрудиться, прежде чем он извлек из подкладки большую бриллиантовую диадему, несколько секунд подержал ее на ладони, рассматривая, и только затем опустил в коробку. Диадема все объяснила мистеру Роллзу: он тотчас признал в ней одну из драгоценностей, украденных у Гарри Хартли бродягой. Тут нельзя было ошибиться; сыщик именно так и описывал ее: вот рубиновые звезды с большим изумрудом посредине, вот переплетенные полумесяцы, а вот грушевидные подвески из цельного камня, придававшие особую ценность диадеме леди Венделер.

У мистера Роллза отлегло от сердца. Диктатор был запутан в эту историю не меньше его самого. Ни один из них не мог донести на другого. Охваченный неожиданной радостью, священник не удержал глубокого вздоха, а так как он почти задыхался от волнения и горло у него пересохло, то вздох вызвал кашель.

Мистер Венделер поднял голову. Его лицо исказилось ужасной, смертельной злобой, глаза широко открылись, челюсть отвисла от изумления, граничившего с бешенством. Инстинктивным жестом он прикрыл шляпную коробку полой пальто. С полминуты оба молча смотрели друг на друга. Пауза была коротка, однако мистеру Роллзу и ее оказалось достаточно: он был из тех, кто в опасные моменты соображает быстро. Он принял чрезвычайно дерзкое решение; и, понимая, что ставит свою жизнь на карту, он все-таки первым нарушил молчание.

— Прошу прощения, сэр,— сказал он.

Диктатор вздрогнул и хрипло сказал:

— Что вам здесь надо?

— Я очень интересуюсь алмазами,— с полным самообладанием ответил мистер Роллз.— Двум таким любителям следует познакомиться. Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией.

С этими словами мистер Роллз спокойно вынул из кармана футляр, дал взглянуть диктатору на Алмаз Раджи и снова спрятал его подальше.

— Он принадлежал раньше вашему брату,— прибавил он.

Джон Венделер смотрел на священника с каким-то горестным изумлением, но не шелохнулся и не сказал ни слова.

— Мне приятно отметить,— закончил молодой человек,— что у нас драгоценности из одной коллекции.

Удивление диктатора наконец вырвалось наружу.

— Прошу прощения,—сказал он.— Я, кажется, старею. Мне явно не под силу даже мелкие происшествия вроде этого! Но разъясните мне хоть одно: вы в самом деле священник или меня обманывают мои глаза?

— Я лицо духовного звания,— ответил мистер Роллз.

— Ну, знаете,— воскликнул Венделер,— пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия!

— Вы мне льстите,— сказал мистер Роллз.

— Простите меня,— сказал, в свою очередь, Венделер,— простите меня, молодой человек. Вы не трус, но надо еще проверить: может быть, вы просто круглый дурак?.. Не откажите в любезности,— продолжал он, откидываясь на спинку дивана,— объясниться подробнее! Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется, и, признаюсь, мне любопытно узнать, что именно.

— Все это очень просто,— ответил священник.— За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность.

— Хотелось бы убедиться в этом,— сказал Венделер.

Тогда мистер Роллз рассказал ему всю историю своего знакомства с Алмазом Раджи с той самой минуты, как нашел его в саду Рэберна, и до своего отъезда из Лондона на «Летучем шотландце». Затем вкратце описал свои чувства и мысли во время путешествия и закончил следующими словами:

— Узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду — которую, хочу думать, вы не назовете безосновательной,—что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мною мои трудности и, конечно, барыши. При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте сбыть алмаз для вас не со-

ставит особого труда, а для меня это — дело непосильное. С другой стороны, я рассудил, что, если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же — такая неудача вполне возможна при отсутствии умения,— сколько я потеряю, с подобающей щедростью расплатившись с вами за помощь. Вопрос этот деликатный, а я, пожалуй, оказался недостаточно деликатным. Но прошу вас не забывать, что мне это положение внове и что я совершенно незнаком с принятым в таких случаях этикетом. Не хвалясь скажу, что могу любого обвенчать или окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями: совершать такого рода сделки я вовсе не умею.

— Не хочу вам льстить,— ответил Венделер,— но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. Вы гораздо талантливей, чем вам кажется, и хотя в различных частях света я перевидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллз, наконец-то вы нашли свое призвание! Что касается помощи, я весь к вашим услугам. Мне надо пробыть в Эдинбурге всего один день, я обещал брату уладить там кое-что. Покончив с этим, я поеду в Париж, где живу постоянно. Если хотите, можете ехать со мной, и, надеюсь, не пройдет и месяца, как я приведу ваше дельце к благополучному завершению.

Здесь вопреки всем правилам искусства наш арабский автор обрывает *повесть о молодом человеке духовного звания*. Как ни досадно, приходится следовать подлиннику, и за окончанием приключений мистера Роллза я отсылаю читателя к следующей истории цикла — *к повести о доме с зелеными ставнями*.

ПОВЕСТЬ О ДОМЕ С ЗЕЛЕНЫМИ СТАВНЯМИ

Фрэнсис Скримджер, клерк Шотландского банка в Эдинбурге, до двадцати пяти лет жил в мирной и почтенной обстановке. Его мать умерла, когда он был еще совсем мал, но отец, человек разумный и честный, определил его в отличную школу, а дома воспитывал в духе порядка и непритязательности. Фрэнсис, от природы

мягкий, послушный и любящий, с великим рвением использовал преимущества своего образования и воспитания и всецело посвятил себя работе. Единственными его развлечениями были прогулки по субботним дням, изредка парадный обед в семейном кругу да раз в год поездка на две недели в горы Шотландии или даже в Европу. Он быстро завоевывал благоволение начальства и получал уже двести фунтов в год, с надеждой на дальнейшее повышение по службе и на жалованье, вдвое превышающее эту сумму. Редкий молодой человек был так доволен всем, так трудолюбив и старателен, как Фрэнсис Скримджер. Иногда, по вечерам, дочитав газету, он играл на флейте, чтобы порадовать отца, которого глубоко уважал за его высокие качества.

Однажды Фрэнсис получил письмо из хорошо известной адвокатской конторы, в котором выражалась просьба безотлагательно зайти к ним. На письме имелась пометка «В собственные руки», и оно было адресовано на банк, а не домой; оба эти необычные обстоятельства заставили его с тем большей готовностью явиться на зов. Глава конторы, человек весьма строгий в обхождении, важно приветствовал его, пригласил садиться и в осторожных выражениях, принятых у бывалых дельцов, приступил к разъяснению вопроса. Некто, пожелавший остаться неизвестным, но о ком адвокат имел все основания хорошо отзываться, короче говоря, человек, занимающий высокое положение, пожелал выдавать Фрэнсису по пятьсот фунтов ежегодно. Стряпчий сказал, что деньги будут находиться в ведении конторы и двух доверенных, имена которых тоже не могут быть раскрыты. Этот щедрый жест сопровождался некоторыми условиями, и стряпчий придерживался мнения, что его новый клиент не найдет в них ничего чрезмерно трудного или недостойного для себя. Он с ударением повторил эти слова, как бы не желая говорить ничего больше.

Фрэнсис спросил, что это за условия.

— Условия,— сказал стряпчий,— как я уже заметил дважды, не заключают в себе ничего чрезмерно трудного или недостойного. В то же время, не стану скрывать от вас, они очень необычны. Мы за подобные дела обыкновенно не беремся, и я, конечно, отказался бы и от этого, если бы не имя джентльмена, который обратился ко мне, и — дозвольте прибавить, мистер Скримджер,—

если бы не мое расположение к вам, вызванное многими лестными и, несомненно, вполне заслуженными о вас отзывами.

Фрэнсис попросил его высказаться определеннее.

— Вы не можете представить себе, как меня беспокоят эти условия,— сказал он.

— Их два,— ответил адвокат,— только два, а сумма, напомню вам, пятьсот фунтов в год, и к тому же без налогов, как чуть не забыл я сообщить,— безо всяких налогов.

Тут адвокат многозначительно поднял брови.

— Первое условие,— начал он,— чрезвычайно простое. Вам надлежит быть в воскресенье, пятнадцатого, к вечеру, в Париже. Там, в кассе Французской комедии, вы получите билет, взятый на ваше имя и отложенный для вас. От вас требуется просидеть весь спектакль на месте, обозначенном в билете, вот и все.

— По правде сказать, я предпочел бы будний день,— ответил Фрэнсис.— Но в конце концов один-то раз...

— И притом в Париже, дорогой сэр,— подхватил адвокат успокоительно.— Я, признаться, и сам человек строгих правил, но при таких обстоятельствах, да еще зная, что это будет в Париже, я не колебался бы ни минуты.

И оба весело рассмеялись.

— Другое условие — более серьезное,— продолжал стряпчий.—Оно касается вашей женитьбы. Мой клиент, сердечно заботясь о вашем благополучии, желает оставить за собой решающее слово в выборе жены для вас. Решающее,—повторил он,— вы понимаете?

— Давайте будем говорить яснее,— заявил Фрэнсис.— Это значит, что я должен жениться на вдове или девице, черной или белой, на ком угодно, кого только ни вздумает предложить мне эта невидимая личность?

— Мне поручено заверить вас, что в основу выбора ваш благодетель намерен положить соответствие возраста и положения,— ответил адвокат.— Что касается цвета кожи, мне такое затруднение не приходило в голову, и я не подумал об этом спросить. Но, если вы хотите, я сейчас же сделаю себе заметку и при первой возможности сообщу вам ответ.

— Сэр,— сказал Фрэнсис,— теперь остается только проверить, не является ли все это просто каким-нибудь жульничеством. Случай необъяснимый, я чуть не сказал: невероятный. Пока я немножко не разберусь в нем и не обнаружу, что послужило ему причиной, мне, признаюсь, не хотелось бы давать согласие. Поэтому я прошу вас о разъяснениях. Мне нужно знать, в чем здесь суть. Если же вы ничего не знаете, не можете догадаться или не имеете права сказать мне, я надеваю шляпу и отправляюсь к себе в банк.

— Я не знаю,— ответил адвокат,— но, кажется, догадываюсь. Это на первый взгляд несуразное дело затеял не кто другой, как ваш отец.

— Мой отец! — негодующе вскричал Фрэнсис.— Почтеннейший, я знаю наперечет все, что у него на уме и в кошельке!

— Вы неверно толкуете мои слова,— сказал адвокат.— Я говорю не о мистере Скримджере-старшем, ибо он не отец вам. Когда он и его жена прибыли в Эдинбург, вам было уже около года, но вы находились на их попечении только месяца три. Тайну сохранили хорошо, но дело обстоит именно так. Кто ваш отец — неизвестно, однако, повторяю, я убежден, что предложения, каковые в настоящее время я уполномочен вам передать, исходят от него.

Невозможно описать, как потрясен был Фрэнсис Скримджер столь неожиданным открытием. Он не утаил своего смятения от адвоката.

— Сэр,— сказал он,— после таких поразительных известий вы должны дать мне несколько часов на размышления. Сегодня вечером я вам сообщу, на чем я порешил.

Адвокат согласился, что так будет благоразумнее, и Фрэнсис, под каким-то предлогом покинув банк, отправился пешком далеко за город и во время прогулки тщательно обдумал вопрос во всех подробностях и со всех точек зрения. Приятное сознание значительности собственной персоны побуждало его не спешить с решением, однако с самого начала было ясно, чем все это кончится. Грешная человеческая природа непреодолимо тянулась к пяти сотням фунтов и склоняла его принять странные условия, которые были сопряжены с ними. Он обнаружил в своей душе непобедимое отвращение к имени Скримджер, хотя до сих пор это имя никогда не бывало ему противно. Интересы его прежней жизни показались ему узкими и прозаическими. Наконец он отки-

нул последние сомнения и, окрыленный неведомым раньше чувством силы и свободы, повернул в город, теша себя самыми радостными предчувствиями.

Он коротко переговорил с адвокатом и немедленно получил чек на деньги за полгода, так как пособие начислялось задним числом — с первого января. С чеком в кармане он отправился домой. Квартира на Скотланд-стрит показалась ему неказистой, в нос неприятно ударил запах перловой похлебки, и он с удивлением, почти с досадой заметил кое-какие недостатки в манерах своего приемного отца. Завтра утром, решил Фрэнсис, он будет уже на пути в Париж.

Он прибыл туда задолго до назначенного срока, поселился в скромной гостинице, где останавливались обычно англичане и итальянцы, и начал совершенствоваться во французском языке. С этой целью он дважды в неделю брал уроки, вступал в разговоры с гуляющими на Елисейских полях и каждый вечер ходил в театр. Он обновил свой гардероб, оделся по последней моде и каждое утро брился и причесывался в парикмахерской, находившейся неподалеку. Все это придавало ему вид иностранца и, казалось, стирало унизительное прошлое.

Наконец в субботу вечером он отправился в билетную кассу театра на улице Ришелье. Едва он назвал свое имя, как кассир протянул ему билет в конверте с еще не успевшей просохнуть надписью.

— Его только что купили для вас,— сказал кассир.

— В самом деле? — воскликнул Фрэнсис.— Могу я спросить, каков был с виду джентльмен, купивший его?

— Вашего приятеля описать легко,— ответил кассир.— Он стар, крепок и красив собой, у него седые волосы и рубец от сабельного удара поперек лица. Такого приметного человека трудно не узнать.

— Да, конечно,— промолвил Фрэнсис.— Благодарю вас за любезность.

— Он не мог уйти далеко,— прибавил кассир.— Если вы поспешите, то еще нагоните его.

Фрэнсиса не надо было просить дважды; он стремительно бросился из театра на улицу и стал осматриваться по сторонам. Он увидел немало седых людей, но, хотя догнал и осмотрел каждого, ни у одного не было рубца от сабельного удара. С полчаса бегал он по всем соседним улицам, но наконец понял нелепость своих затянувшихся поисков. Тогда он решил пройтись, чтобы

унять волнение, ибо возможность встречи с тем, кому он, очевидно, был обязан появлением на свет, глубоко потрясла молодого человека.

Случилось так, что его путь лежал по улице Друо, а дальше — по улице Великомучеников, и как раз случай помог ему больше, чем все заранее обдуманные планы. Ибо на бульваре он увидел двух сидевших на скамейке мужчин, погруженных в беседу. Один был темноволос, молод и красив, но с явным клерикальным отпечатком во внешности, несмотря на мирское платье. Наружность другого во всех подробностях совпадала с описанием, которое дал кассир. Фрэнсис почувствовал, как сердце забилось у него в груди: он понял, что вот-вот услышит голос своего отца. Обойдя кругом, он тихонько уселся позади собеседников, которые были слишком заняты своим разговором, чтобы глядеть по сторонам. Как Фрэнсис и предполагал, они говорили по-английски.

— Ваши подозрения, Роллз, начинают надоедать мне,— сказал старик.— Говорю вам, я стараюсь изо всех сил: миллионов в один миг не раздобудешь. Разве я не забочусь о вас, совершенно незнакомом человеке, из чистого доброжелательства? Разве вы не живете главным образом на мои подачки?

— На ваши авансы, мистер Венделер,— поправил его собеседник.

— Ну, авансы, если вам так нравится, и из расчета, а не «из доброжелательства», если вы предпочитаете,— сердито ответил Венделер.— Я пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Дело есть дело. А ваше дело, разрешите напомнить, дело темное, и нечего вам так ломаться. Доверьтесь мне или оставьте меня в покое и ищите себе другого, но, во всяком случае, прекратите, ради бога, свои иеремиады.

— Я начинаю разбираться в жизни,— ответил молодой человек.— И понимаю, что у вас есть все основания обманывать меня и никаких, чтобы действовать честно. Я тоже пришел не для того, чтобы подбирать выражения. Вы сами хотите завладеть алмазом,— да, да, вы не посмеете этого отрицать. Разве вы уже не подделали однажды мою подпись и не перерыли мою комнату, пока меня не было? Мне понятны причины ваших проволочек: вы просто выжидаете. Вы ведь охотник за алмазами и надеетесь раньше или позже, правдой или неправдой, а прибрать его к рукам. Говорю вам: пора этому поло-

жить конец. Не доводите меня до крайности, не то я обещаю вам неприятный сюрприз.

— Бросьте вы мне угрожать,— отрезал Венделер.— За мной ведь по части сюрпризов тоже дело не станет. Мой брат сейчас в Париже. Полиция настороже. Если вы будете и дальше надоедать мне своим нытьем, мистер Роллз, я сам устрою вам неприятность. Но уж это будет первая и последняя, понимаете? Как еще с вами разговаривать? Всему бывает конец, приходит конец и моему терпению. Во вторник, в семь. Ни днем, ни часом, ни секундой раньше, хоть умрите. А если не хотите ждать, то, по мне, проваливайте ко всем чертям!

С этими словами диктатор поднялся со скамейки и, яростно размахивая тростью и дергая головой, зашагал по направлению к Монмартру, а его собеседник остался на месте в совершенном унынии.

Фрэнсис не мог опомниться от изумления и ужаса. Чувства его были в полном смятении. Нежность, наполнявшая его сердце, когда он усаживался на этой скамейке, сменилась отвращением и отчаянием. «Старый мистер Скримджер,— раздумывал он,— родитель куда более добрый и благопристойный, чем этот бешеный и опасный интриган». Однако он все же сохранил самообладание: минуты не прошло, как Фрэнсис уже шел следом за диктатором.

Подгоняемый яростью, этот последний несся вперед быстрыми шагами и, занятый своими злобными мыслями, ни разу не оглянулся, пока не добрался до своих дверей.

Его дом стоял на улице Лепик, в той части ее, что взбирается на холм. Отсюда открывался вид на Париж, воздух на высоте был чист и прозрачен. Дом был двухэтажный, с зелеными ставнями и шторами. Все окна, выходившие на улицу, были плотно закрыты. Над высокой садовой стеной возвышались верхушки деревьев, а по гребню стены торчали железные шипы. Диктатор на миг задержался, пошарил в кармане, достал ключ, затем отомкнул калитку и исчез за оградой.

Фрэнсис поглядел вокруг. Место было уединенное, дом с трех сторон был окружен садом. Казалось, наблюдения Фрэнсиса на этом закончатся. Однако, осмотревшись, он заметил рядом высокий дом, примыкавший боковой стеной к саду диктатора; в стене под самой крышей было одно окошко. Он подошел к входной две-

ри и увидел билетик с объявлением о сдаче помесячно комнат без мебели. Комната, выходившая окном в сад, оказалась свободной. Фрэнсис не колебался ни минуты: он снял комнату, оставил задаток и отправился в гостиницу за своими вещами.

Может быть, тот старик со шрамом и не приходился отцом ему, может быть, Фрэнсис и не шел по верному следу, но, уж во всяком случае, он стоял у преддверия какой-то волнующей тайны и поэтому дал себе зарок не ослаблять наблюдения, пока не доберется до сути.

Из окна своего нового жилища Фрэнсис Скримджер мог окинуть взглядом весь сад при доме с зелеными ставнями. Прямо под ним в тени прекрасного раскидистого каштана стояли два садовых столика; на них, вероятно, обедали в летнюю жару. Густая листва скрывала все, что было внизу, и лишь в одном просвете между столиками и домом виднелась усыпанная гравием дорожка, которая вела от веранды к калитке.

Рассматривая сад в щели между планками жалюзи, которые он не решался открыть из боязни привлечь внимание, Фрэнсис мог заметить лишь немногое, что позволило бы судить о живущих здесь людях, но это немногое говорило только об их замкнутом характере и склонности к уединению. Сад походил на монастырский, дом — на тюрьму. По фасаду все зеленые ставни были опущены; дверь на веранду заперта; сад, освещенный вечерним солнцем, совершенно безлюден. И только скромный завиток дыма над единственной трубой указывал на присутствие живых людей.

Чтобы не сидеть совсем без дела и хоть чем-нибудь скрасить себе жизнь, Фрэнсис купил учебник геометрии на французском языке и стал его списывать и переводить, положив на чемодан и усевшись на полу спиной к стене, потому что у него не было ни стула, ни стола. Время от времени он вставал и бросал взгляд вниз, за ограду дома с зелеными ставнями, но окна были все так же упорно закрыты, а сад пуст.

Только поздно вечером случилось нечто, отчасти вознаградившее его за длительное ожидание. Между девятью и десятью часами его пробудил от дремоты резкий звук колокольчика. Фрэнсис подскочил к своему наблюдательному посту как раз вовремя, чтобы услышать внушительный грохот отпираемых замков и отодвигаемых засовов и увидеть, как мистер Венделер

с фонарем в руке, в просторном халате черного бархата и такой же шапочке появился на веранде и неторопливо прошествовал к садовой калитке. Снова загремели замки и задвижки, и мгновение спустя в неверном свете фонаря Фрэнсис увидел, что диктатор ведет в дом какого-то субъекта самого подлого и мерзкого вида.

Спустя полчаса посетитель был выпущен на улицу, а мистер Венделер, поставив фонарь на один из садовых столиков, не спеша докуривал сигару под листвою каштана. В просветы между ветвями Фрэнсис мог следить за движениями диктатора, когда тот стряхивал пепел или глубоко затягивался. Фрэнсис заметил, что чело старика затуманено, а рот судорожно кривится: все это свидетельствовало о напряженном и, может быть, тягостном течении мыслей. Он уже почти докурил сигару, когда из дома донесся молодой женский голос,— старику сообщили, который час.

— Иду, иду,— ответил Джон Венделер.

Сказав это, он бросил окурок и, захватив фонарь, проследовал через веранду и направился в дом. Едва дверь захлопнулась, дом погрузился во тьму, и, как Фрэнсис ни напрягал зрение, он не мог заметить ни щелочки света под шторами и сделал отсюда вполне здравый вывод, что все спальни находятся по другую сторону дома.

Рано утром (потому что, проведя беспокойную ночь на полу, Фрэнсис проснулся очень рано) ему пришлось изменить свое заключение. Одна за другою при помощи пружины, которую нажимали изнутри, зеленые ставни взлетели вверх, и за ними обнаружились стальные шторы, какие бывают в витринах магазинов. Они, в свою очередь, поднялись тоже, и на протяжении почти часа в комнаты был открыт доступ свежему воздуху. Затем мистер Венделер своей рукой опустил стальные шторы и закрыл зеленые ставни.

Пока Фрэнсис дивился таким предосторожностям, дверь вдруг распахнулась и из дома вышла молодая девушка. Не прошло и двух минут, как, оглядев сад, она снова ушла в дом, но даже за это короткое время он успел убедиться в ее необычайной привлекательности. Это событие не только подстегнуло его любопытство, но и сильно улучшило настроение. Странные действия и явно двусмысленный образ жизни его отца с этого мгновения перестали тревожить его. С этого мгновения он

горячо полюбил свою новую семью. Окажется ли эта молодая девушка его сестрой или станет ему женой, он все равно был уверен наперед, что она ангел во плоти. И чувство это было так сильно, что его даже охватил страх, когда он подумал, что ничего толком не знает и что, может быть, по ошибке последовал за мистером Венделером, приняв его за отца.

Привратник, к которому обратился Фрэнсис, мог сообщить очень мало, но все, что ему было известно, носило таинственный и подозрительный характер. В соседнем доме жил англичанин, чрезвычайно богатый и, как водится, эксцентричных вкусов и привычек. Он владел огромными коллекциями, которые хранил у себя в доме. Для того, чтобы уберечь их, он и оборудовал дом стальными шторами и сложными замками, а садовую стену велел утыкать железными шипами. Он жил уединенно, хотя его посещали неведомые люди, с которыми он, по-видимому, вел разные дела. В доме, кроме него самого, жила только мадмуазель да старая служанка.

— Мадмуазель приходится ему дочерью? — полюбопытствовал Фрэнсис.

— Разумеется,— ответил привратник.— Мадмуазель — дочь хозяина дома, и я удивляюсь, что ее заставляют так трудиться. При всем его богатстве на рынок ходит она сама, и каждый день видишь, как она идет мимо с корзинкой в руке.

— А что у него за коллекции? — спросил молодой человек.

— Сэр,— ответил привратник,— они огромной ценности. Больше я ничего не могу вам сказать. Мистер Венделер, с тех пор как приехал, даже на порог не пускает никого из соседей.

— Но ведь вы, наверное, догадываетесь,— сказал Фрэнсис,— из чего состоят эти пресловутые коллекции? Что же там: картины, шелка, статуи или драгоценности?

— Ей-ей, сударь,— сказал парень, пожимая плечами.— Откуда мне знать? Может, у него там репа с морковью. Дом устроен словно крепость, сами видите.

Но когда разочарованный Фрэнсис направился к себе, привратник снова окликнул его.

— Я вот что припомнил, сэр,— сказал он,— мсье де Венделер объехал весь свет, и я слышал однажды, как старуха хвалилась, будто он привез с собой уйму алма-

зов. Если это правда, там, за этими ставнями, есть на что посмотреть.

В воскресенье задолго до начала спектакля Фрэнсис уже сидел в театре. Взятое для него кресло оказалось третьим или четвертым с левой стороны, напротив одной из нижних лож. Кресло, наверное, выбрали с умыслом. Оставалось разгадать, с каким именно. Инстинктивно Фрэнсис решил, что ложа направо от него должна быть так или иначе связана с событиями, в которых он играл неясную ему роль. Она и в самом деле была так расположена, что, сидя в самой глубине, занимавшие ее люди могли при желании рассматривать его в течение спектакля, не опасаясь наблюдения с его стороны. Он дал себе слово ни на минуту не упускать пустую ложу из поля зрения и, разглядывая театр или делая вид, будто увлечен происходящим на сцене, все время искоса посматривал на нее.

Шел второй акт. Когда он уже приближался к концу, дверь ложи отворилась и двое зрителей вошли и уселись в темной глубине ее. Фрэнсис с трудом скрыл волнение: это были мистер Венделер и его дочь. Кровь стремительно мчалась по жилам Фрэнсиса, в ушах звенело, голова кружилась. Он не смел оглянуться, чтобы не навлечь на себя подозрений. Театральная программа, которую он читал и перечитывал с начала до конца и с конца до начала, из белой стала казаться ему красной, когда же он поглядывал на сцену, та словно уходила куда-то далеко, а голоса и движения актеров представлялись ему нелепыми и бессмысленными до последней степени.

Время от времени он осмеливался бросить взгляд в направлении, наиболее его интересовавшем. И, уж во всяком случае, один раз глаза его определенно встретились с глазами молодой девушки. Тут у него дрожь пробежала по телу и перед глазами поплыли круги всех цветов радуги. Много бы он дал, лишь бы подслушать, что происходит между Венделерами! Много бы он дал, чтоб, набравшись храбрости, взять бинокль и спокойно рассмотреть их позы и выражение лиц! Там, как он понимал, решалась его судьба, а он не мог вмешаться, не мог хотя бы услышать их речи, и принужден был беспомощно сидеть на месте и терзаться тревогой.

Наконец второй акт закончился. Занавес упал, и зрители вокруг Фрэнсиса начали вставать с мест, чтобы пройтись во время антракта. Естественно было и ему последовать их примеру, а при этом не только естественно, но даже и необходимо было пройти мимо самой ложи. Собрав все свое мужество, но опустив глаза, Фрэнсис направился в сторону ложи. Перед ним, пыхтя на ходу, не торопясь шествовал пожилой джентльмен, поэтому и Фрэнсис продвигался вперед очень медленно. Что ему делать? Приветствовать Венделера и его дочь, проходя мимо? Вынуть из петлицы цветок и бросить в ложу? Поднять голову и кинуть долгий и нежный взгляд на девушку, может быть, свою сестру или невесту? Колеблясь и не зная, на каком решении остановиться, он вдруг ярко представил себе свое прежнее спокойное существование и службу в банке, и сожаление о прошлом охватило его.

К этому времени он оказался прямо против ложи, и хотя до сих пор сомневался, что ему делать и делать ли что-нибудь вообще, он повернул голову и поднял глаза. Едва взглянув, он разочарованно вскрикнул и застыл на месте. Ложа была пуста. Пока он приближался, мистер Венделер с дочерью тихонько ускользнули прочь.

Кто-то позади него вежливо напомнил, что он загораживает дорогу. Он опять машинально тронулся вперед и покорно подчинился движению толпы, которая вынесла его из театра. На улице давка ослабела, Фрэнсис остановился, и свежий вечерний воздух быстро привел его в себя. Он с удивлением заметил, что у него очень болит голова и что он не помнит ни слова из виденных двух актов. Возбуждение постепенно улеглось, на смену ему явилась непреодолимая сонливость. Он подозвал фиакр и поехал к себе в состоянии крайнего изнеможения, испытывая даже отвращение к жизни.

На следующее утро он вышел с намерением подстеречь мисс Венделер на пути к рынку и в восемь часов увидел, что она вышла на улицу. Она была просто, даже бедно одета, но ее гордая осанка и гибкая походка скрасили бы самую скромную одежду. Даже корзинка — так изящно она несла ее — была ей к лицу, словно украшение. Притаившемуся в дверном проеме Фрэнсису почудилось, будто она все освещает на своем пути, точно солнце, и заставляет отступать прочь все тени, и он в первый раз заметил, что где-то наверху в клетке поет птица. Он дал девушке пройти мимо, потом, выйдя из двери, окликнул ее.

— Мисс Венделер! — сказал он.

Она обернулась и, узнав его, смертельно побледнела.

— Простите меня,— заговорил он.— Клянусь, я не хотел испугать вас, да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра. Поверьте мне, я обращаюсь к вам так по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает, но я брожу как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать, не знаю даже, кто мои друзья и кто — враги.

Она с трудом обрела голос.

— Я не знаю, кто вы,— сказала она.

— Ах нет, мисс Венделер, вы знаете! — возразил Фрэнсис.— Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Именно о себе я жду от вас разъяснений. Расскажите мне все, что вы знаете,— молил он.— Расскажите, кто я и кто вы, и почему переплелись наши судьбы. Хоть немного помогите мне разобраться, мисс Венделер, скажите одно слово, чтобы направить меня, назовите хоть имя моего отца,— и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам.

— Зачем мне пытаться обманывать вас? — промолвила она.— Я знаю, кто вы, но не смею сказать.

— Тогда скажите хотя бы, что вы простили мою дерзость, и я буду терпеливо ждать. Если мне нельзя знать правды, я подчинюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и большее, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом.

— Ваш поступок вполне понятен,— сказала она,— вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте.

— «Прощайте»? Неужели навсегда? — спросил он.

— Я и сама не знаю,— сказала она.— Если хотите, то — до свидания.

С этими словами она ушла.

Фрэнсис вернулся к себе в ужасном смятении. В то утро он сделал весьма слабые успехи в геометрии и чаще оказывался у окна, чем сидел за своим импровизированным письменным столом. Однако за все утро ему не удалось увидеть ничего примечательного около дома с зелеными ставнями, кроме того разве, что мисс Венделер возвратилась и говорила со своим отцом, курившим на веранде трихинопольскую сигару. Среди дня молодой человек вышел и наспех утолил голод в ближайшем ресторанчике, но любопытство, остававшееся неутоленным, подгоняло его, и он вернулся к дому на улице Лепик. У садовой стены какой-то верховой, видимо, слуга, водил на поводу оседланную лошадь, а привратник дома, где жил Фрэнсис, покуривал трубку, прислонясь к дверному косяку, и внимательно разглядывал ливрею и скакунов.

— Глядите-ка! — крикнул он молодому человеку.— Прекрасные лошадки! И какая нарядная ливрея! Владелец всего этого — брат мистера Венделера, он только что приехал сюда. Он генерал и у вас на родине человек известный; вам, вероятно, доводилось слышать о нем.

— Признаюсь,— возразил Френсис,— я никогда не слыхивал о генерале Венделере. У нас много военных в таком чине, да и мне приходится вести дела только с людьми штатскими.

— Это тот самый генерал, у которого пропал индийский алмаз,— сказал привратник.— Об этом-то вы наверняка читали в газетах.

Отделавшись от привратника, Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. У генерала, краснолицего человека с военной выправкой, было некоторое семейное сходство с братом: что-то общее в чертах лица и кое-что в осанке — самая малость,— напоминавшее свободную, могучую стать Джона Венделера. Но генерал был старше, ниже ростом и проще с виду,— сходство было почти карикатурным, и рядом с диктатором он казался совсем жалким и хилым существом.

Занятые разговором, они наклонялись друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов кряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем. Несколько раз достигало его слуха имя Скримджер, которое легко было различить, а еще чаще он как будто различал имя Фрэнсис.

Наконец, словно в припадке ярости, генерал разразился гневными возгласами.

— Фрэнсис Венделер! — закричал он, упирая на последнее слово.— Фрэнсис Венделер, говорю я тебе!

Диктатор дернулся всем телом, выражая то ли согласие, то ли пренебрежение, но молодой человек не расслышал его ответа.

Неужели это его они называли Фрэнсисом Венделером? Может быть, спор шел об имени, под которым он должен был венчаться? Или все это только наваждение, пустой сон, порожденный его тщеславием и самомнением?

Некоторое время ему опять не удавалось расслышать их речей. Затем между собеседниками под каштаном снова возникло разногласие, генерал сердито повысил голос, и до Фрэнсиса долетели его слова.

— Моя жена? — вскричал он.— Я навсегда порвал с моей женой. Я о ней и слышать не хочу! Мне противно самое ее имя.

И он громко выругался и стукнул кулаком по столу.

Диктатор стал, судя по жестам, отечески успокаивать генерала и вскоре повел его к садовой калитке. Братья обменялись довольно сердечным рукопожатием, но как только дверь за гостем закрылась, Джон Венделер разразился хохотом, который Фрэнсису Скримджеру показался дьявольски злобным.

Так прошел еще один день, принесший мало нового. Впрочем, молодой человек помнил, что завтра вторник, и сулил себе удивительные открытия. Хорошо ли, плохо ли для него обернется дело, он, во всяком случае, узнает что-нибудь любопытное, а если ему повезет, он доберется и до разгадки тайны, окружавшей его отца и всю семью.

Близился час обеда, и в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления: на том столике, который был виден сквозь ветви каштана, стояли тарелки для перемены и все нужное для салата. Стол для обедающих стоял в стороне, густая листва почти совсем скрывала его, и Фрэнсис мог разглядеть лишь белую скатерть и столовое серебро.

Мистер Роллз явился минута в минуту. Он как будто держался настороже, говорил тихо и скупо. Диктатора, наоборот, обуяла необычайная жизнерадостность— в саду то и дело раздавался его юношески звучный смех. Судя по оттенкам голоса, он, вероятно, рассказывал смешные истории, подражая то одному, то другому иностранному выговору. И не успели они с молодым священником прикончить бутылку вермута, как недоверие гостя испарилось и они уже болтали, словно два школьных товарища.

Наконец появилась мисс Венделер с суповой миской в руках. Мистер Роллз бросился ей навстречу, желая помочь, но она со смехом отказалась. Последовал обмен шутками — обедающих как будто забавляло, что одному из них приходится подавать на стол.

— Зато так свободней! — послышалось заявление Венделера.

Потом они расселись по местам, и Фрэнсису теперь ничего не было ни видно, ни слышно. Но обед проходил, кажется, весело, под каштаном шла непрерывная болтовня и раздавался стук ножей и вилок. Фрэнсис, проглотивший с утра одну булочку, позавидовал их мирной и неторопливой трапезе. Они подолгу сидели за каждым блюдом и закончили обед легким десертом и бутылкой старого вина, которую осторожно откупорил сам диктатор. Так как уже стемнело, на стол поставили лампу, а на подсобный столик — две свечи; ночь наступала удивительно ясная, звездная и безветренная. Из дверей и окон веранды тоже струился свет, так что сад был весь озарен и в темных кронах поблескивали листья.

Мисс Венделер, вероятно, уже в десятый раз, ушла в дом; теперь она вернулась, неся поднос с кофейным прибором, который поставила на другой столик. В ту же минуту ее отец поднялся с места, и Фрэнсис услышал, как он сказал:

— Кофе — это уж мое дело.

Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца у подсобного столика в свете зажженных свечей.

Продолжая разговаривать через плечо, мистер Венделер нацедил две чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика. Он проделал это с необычайной быстротой, и Фрэнсис, глядевший прямо на старика, едва успел заметить, что случилось, как все уже было кончено. В следующее мгновение, продолжая смеяться, мистер Венделер повернулся к обеденному столу, держа по чашке в каждой руке.

— Не успеем мы выпить кофе,—сказал он,— как появится наш ростовщик.

Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса Скримджера. У него на глазах совершалось преступление, он понимал, что должен вмешаться, и не знал, как

это сделать. А вдруг это просто шутка? Хорош он будет тогда со своим вмешательством! А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, его родной отец, и не придется ли тогда Фрэнсису каяться, что он навлек гибель на своего родителя? Он только теперь уяснил себе, что играет роль соглядатая. Для него было настоящей пыткой пассивно наблюдать за событиями, когда в душе боролись такие противоречивые чувства. Он приник к планкам ставен, сердце его билось быстро и неровно, он ощущал, как обильный пот выступил по всему его телу.

Прошло несколько минут.

Ему показалось, что разговор замирает, становится все менее оживленным, менее громким. Но ничего тревожного или необычного как будто не происходило.

Вдруг послышался звон разбитого бокала, а за ним негромкий глухой звук, словно кто-то уронил голову на стол. И сразу в саду раздался пронзительный крик.

— Что ты сделал! — кричала мисс Венделер.— Он умер!

Диктатор ответил яростным шепотом, таким резким и свистящим, что до Фрэнсиса, стоявшего у окна, донеслось каждое слово.

— Тише! — говорил мистер Венделер.— Ничего с ним не сталось. Бери его за ноги, а я потащу за плечи.

Фрэнсис услышал, что мисс Венделер разрыдалась.

— Ты слышала, что я сказал? — все так же продолжал диктатор.— Или ты хочешь поссориться со мной? Выбирайте, мисс Венделер.

Последовала пауза, потом диктатор заговорил снова:

— Бери его за ноги. Мне нужно внести его в дом. Будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Но пережитые годы сказываются, я ослабел, и мне без твоей помощи не обойтись.

— Это — преступление,— возразила девушка.

— Я твой отец,— сказал мистер Венделер.

Его слова как будто возымели действие. Послышалось шарканье ног по гравию, опрокинулся стул, потом Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Роллза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен и бессильно повис у них на руках, и голова его качалась при каждом шаге.

Жив он или мертв? Несмотря на утверждения диктатора, Фрэнсис склонялся ко второму. Совершилось тяжкое преступление, и теперь обитателям дома с зелеными ставнями грозили великие бедствия. Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику, стоявшим, по его мнению, на краю гибели, вытесняет в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он тоже будет поддерживать своего отца против всех и каждого, против судьбы и закона. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз, в листву каштана.

Одна ветка за другою вырывалась у него из пальцев или ломалась под его тяжестью. Наконец он ухватился за толстый сук, секунду продержался в воздухе и, отпустив ветку, грохнулся прямо на стол. По тревожному крику, раздавшемуся в доме, он понял, что вторжение его не прошло незамеченным. Он поднялся, шатаясь, в три прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и стал в дверях веранды.

Он увидел небольшую комнату, устланную циновками. Вдоль стен выстроились застекленные шкафы, полные редкостных и ценных вещиц, а посредине комнаты, склонившись над телом Роллза, стоял мистер Венделер. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды, все произошло в один миг. Молодой человек не мог бы утверждать с уверенностью, но ему показалось, будто диктатор вынул из внутреннего кармана священника какой-то предмет, глянул на него и тотчас поспешно передал дочери.

Все это случилось, пока Фрэнсис стоял только одной ногой на пороге. В следующее мгновение он бросился на колени перед мистером Венделером.

— Отец! — вскричал он.— Позвольте и мне помочь вам. Все, что вы захотите, я сделаю, ни о чем не спрашивая. Я готов служить вам, отдать вам свою жизнь! Обходитесь со мной, как с сыном, и вы встретите сыновнюю преданность.

В ответ диктатор разразился потоком отчаянной брани.

— Сын? Отец? — вскричал он.— Отец и сын? Какого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы по-

пали ко мне в сад? Что вам надо? И кто вы такой, скажите на милость?

Ошеломленный Фрэнсис поднялся и стоял теперь с пристыженным видом, не говоря ни слова.

Тут мистера Венделера, видимо, осенила догадка, и он громко расхохотался.

— Понимаю!— воскликнул он.— Это же Скримджер! Отлично, мистер Скримджер, я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом, но уж, во всяком случае, без моего приглашения. Вы попали не ко времени, когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, и кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, незаконный сын моего брата и рыбной торговки. Вы мне безразличны, даже неприятны, а ваше поведение убеждает меня в том, что ваши умственные способности вполне соответствуют вашей внешности. Советую вам на досуге обдумать эти огорчительные для вас факты, а пока покорнейше прошу избавить нас от вашего присутствия. Не будь я так занят,— тут диктатор прибавил ужасное ругательство,— я бы задал вам хорошую трепку на дорогу!

Фрэнсис слушал его, испытывая чувство глубокого унижения. Он убежал бы, если б мог. Но он не знал, как выйти из сада, куда забрался на свою беду, и теперь ему только и оставалось, что глупо стоять на месте.

Молчание нарушила мисс Венделер.

— Отец,—сказала она,— ты говоришь в запальчивости. Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых и хороших побуждений.

— Спасибо тебе,— огрызнулся диктатор,— ты мне напомнила обо всем остальном, что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат,— продолжал он, обращаясь к молодому человеку,— по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себе в заслугу, если к концу недели у вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагомаранием.

Тон старика был даже оскорбительней, чем его слова. Фрэнсис чувствовал, что его обливают жестоким,

убийственным, невыносимым презрением. Голова у него кружилась, он закрыл лицо руками, и, хоть глаза его были сухи, у него вырвалось мучительное рыдание.

Но мисс Венделер еще раз вступилась за него.

— Мистер Скримджер,— сказала она ясным, ровным голосом,— пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила предоставить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением.

Тут мистер Роллз судорожно дернул рукой, и это убедило Фрэнсиса, что гостя только опоили снотворным снадобьем и что он теперь начинает приходить в себя. Мистер Венделер склонился над священником, всматриваясь в его лицо.

— Ну, хватит! — воскликнул он, поднимая голову.— Пора кончать. И раз уж вы так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Венделер, возьмите свечу и проводите его.

Девушка тотчас повиновалась.

— Благодарю вас,— сказал Фрэнсис, как только они очутились одни в саду.— Благодарю вас от всей души. Это самый горький час в моей жизни, но с ним навсегда будет связано одно счастливое воспоминание.

— Я сказала то, что думала,— ответила она,— и вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо.

В это время они подошли к садовой калитке, и мисс Венделер, поставив свечу на землю, стала открывать засовы.

— Еще одно слово,— сказал Фрэнсис.— Ведь мы прощаемся не навсегда? Я еще увижу вас, не правда ли?

— Увы! — ответила она.— Вы слышали отца. Как я могу не подчиниться ему?

— Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия,— возразил Фрэнсис.— Скажите, что вы не хотите распроститься со мной навсегда.

— Конечно, нет,— ответила она.— Вы, по-моему, человек смелый и честный.

— Тогда,— сказал Фрэнсис,— подарите мне что-нибудь на память.

Взявшись за ключ, она задумалась; все засовы и задвижки были уже открыты, оставалось только отомкнуть замок.

— Если вы получите мой подарок,— спросила она,— обещаете ли вы сделать все точь-в-точь, как я велю?

— И вы спрашиваете? — сказал Фрэнсис.— Я охотно сделаю все по одному вашему слову.

Она повернула ключ и распахнула калитку.

— Так тому и быть,— сказала она.— Вы не знаете, о чем просите, но так и быть. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц, но и там будьте начеку. Вы не представляете себе, какой опасности подвергаетесь. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте.

— Обещаю,— ответил Фрэнсис.

Она сунула в руку молодого человека что-то, небрежно завернутое в платок, и в тот же миг с силой, какой он не предполагал в ней, вытолкнула его на улицу.

— Бегите же! — крикнула она.

Он услышал, как за ним захлопнулась калитка и как загремели задвижки и засовы.

— Ну,— сказал он,— раз уж я обещал!..

И он опрометью пустился вниз по переулку, ведущему к улице Равиньян.

Он не отбежал и пятидесяти шагов от дома с зелеными ставнями, как в ночной тишине вдруг раздался злобный вопль. Фрэнсис невольно остановился. Встречный пешеход последовал его примеру. Он видел, как в соседних домах люди приникли к окнам. Пожар не вызвал бы такой сумятицы в этом безлюдном квартале. А повинен в ней, очевидно, был один человек, взревевший от ярости и горя, как львица, у которой похитили детенышей. Фрэнсис удивился и встревожился, разобрав, что это его самого кто-то клянет по-английски на все лады.

Первым его побуждением было вернуться к дому, но, припомнив наставления мисс Венделер, он решил бежать быстрей прежнего. Едва он повернулся, чтобы привести свою мысль в исполнение, как вдруг без шляпы, с развевающимися седыми волосами, громко ругаясь, мимо пролетел диктатор, словно ядро из пушечного жерла, и во весь опор понесся вниз по улице.

«Вот чуть не попался! — подумал про себя Фрэнсис.— Ума не приложу, что ему от меня нужно и чего он так волнуется. Однако с ним сейчас явно не стоит встречаться, и лучше мне последовать совету мисс Венделер».

Он пошел назад, надумав вернуться обратно и спуститься по улице Лепик, пока его преследователь гонится за ним в другом направлении. План был неудачен: по сути дела, ему следовало засесть в ближнем кабачке и ждать, чтобы первая горячка погони миновала.

Но у Фрэнсиса не было опыта в мелких стычках такого рода, и он был мало расположен к ним. К тому же он настолько не чувствовал за собой никакой вины, что и не опасался ничего, кроме неприятной встречи. Однако неприятных встреч было за этот вечер, по его мнению, достаточно с него, а предполагать, что мисс Венделер чего-нибудь ему недосказала и зовет обратно, он не мог. Молодой человек в самом деле жестоко страдал и телом и душой: тело ныло от ушибов, а душа уязвлена была колкостями мистера Венделера, у которого, приходилось сознаться, был на редкость ядовитый язык.

Ушибы напомнили Фрэнсису, что он не только явился в сад диктатора без шляпы, но что его платье сильно пострадало, когда он продирался сквозь ветви каштана. В первой попавшейся лавке Фрэнсис купил себе дешевую широкополую шляпу и попросил привести в порядок его одежду. Подаренную на память вещицу он, не разворачивая, сунул пока в карман штанов.

Не успел он отойти и нескольких шагов от лавки, как его вдруг толкнули, чья-то рука схватила за горло, и прямо перед собой он увидел разъяренное лицо с разинутым ртом, изрыгающим проклятия. Диктатор, сбившись со следа, возвращался другим путем. Фрэнсис был дюжий молодец, но ему не сравниться было по силе и ловкости со своим противником. И после недолгой, безуспешной борьбы он прекратил сопротивление и сдался в плен.

— Что вам надо от меня? — спросил он.

— Об этом мы поговорим дома,— угрюмо отрезал диктатор.

И он повел молодого человека вверх по улице к дому с зелеными ставнями.

Но Фрэнсис, хоть и перестал отбиваться, только и ждал случая предпринять смелую попытку к бегству.

Внезапно рванувшись и оставив воротник в руках мистера Венделера, он опять стремглав бросился наутек в сторону Бульваров.

Теперь роли переменились. Диктатор был сильнее, зато Фрэнсис был моложе и бегал проворней: смешавшись с толпой, он легко ускользнул от диктатора. Радуясь избавлению, но все больше тревожась и недоумевая, он шел быстрым шагом, пока не достиг площади Оперы, где от электрических фонарей было светло, как днем.

«Здесь,— подумал он,— уж, во всяком случае, все так, как хотелось мисс Венделер».

И, повернув вправо по Бульварам, он вошел в «Американское кафе» и заказал себе пива. Для большинства завсегдатаев этого кафе час был слишком поздний или слишком ранний. В зале сидели за отдельными столиками только два-три посетителя — все мужчины. Фрэнсис так погрузился в свои мысли, что не обратил на них внимания.

Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался сафьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Футляр открылся при помощи пружинки, и потрясенный молодой человек увидел алмаз невероятной величины и удивительного блеска. Случай был насголько необыкновенным, ценность камня, очевидно, так огромна, что, уставясь в открытый футляр, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, словно внезапно потеряв рассудок.

На его плечо легла чья-то легкая, но твердая рука, и тихий, но в то же время повелительный голос произнес над ним следующие слова:

— Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным.

Подняв глаза, он увидел человека еще молодого, величавого, с изысканной осанкой и одетого дорого, но просто. Этот джентльмен, видимо, встал из-за соседнего столика и, забрав свой стакан, пересел к Фрэнсису.

— Закройте футляр,— повторил незнакомец,— и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот! Чокнитесь со мной. Так лучше. Боюсь, сэр, что вы человек неискушенный.

И, значительно улыбнувшись при последних словах, незнакомец откинулся в кресле и глубоко затянулся папиросой.

— Ради бога,— сказал Фрэнсис,— скажите, кто вы и что все это значит? Я, право, не знаю, почему мне надо слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мною за этот вечер случилось столько несуразных приключений, и все, с кем я ни встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Ваше лицо внушает мне доверие, я думаю, вы умны, добры и опытны. Скажите мне, ради всего святого, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами?

— Все в свое время,— ответил незнакомец.— Но мне спрашивать первому: расскажите же, как к вам попал Алмаз Раджи.

— Алмаз Раджи?!

— На вашем месте я не говорил бы так громко,— заметил его собеседник.— Но у вас в кармане именно Алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках.

— Сэр Томас Венделер! Генерал! Мой отец! — вскричал Фрэнсис.

— Ваш отец? — переспросил незнакомец.— Я не знал, что у генерала есть дети.

— Я незаконнорожденный, сэр,— ответил Фрэнсис, вспыхнув.

Незнакомец поклонился со строгим выражением лица. Поклон его был почтительным, словно он молча приносил извинения равному себе. И Фрэнсису вдруг, неизвестно почему, стало легко и спокойно. Ему было хорошо с этим незнакомцем, как будто он обрел почву под ногами. Чувство уважения росло в его душе, и он невольно снял свою широкополую шляпу, словно в присутствии важного лица.

— Заметно,— сказал незнакомец,— что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано, на виске порез. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденая вещь такой огромной ценности.

— Вы неправы! — резко возразил Фрэнсис.— Нет у меня никаких краденых вещей. А если вы имеете в ви-

ду алмаз, его с полчаса тому назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик.

— Мисс Венделер с улицы Лепик! — повторил собеседник.— Все это гораздо интересней, чем вы думаете. Пожалуйста, продолжайте.

— Боже мой! — воскликнул Фрэнсис.

Его память сделала внезапный скачок. Ведь он видел, что мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя; теперь он понял, что это и был сафьяновый футляр.

— О чем вы вспомнили? — осведомился незнакомец.

— Слушайте,— сказал Фрэнсис.— Я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался, мне нужен совет, нужна поддержка, и, раз вы сами хотите, я расскажу вам все.

И он коротко пересказал свои приключения, начиная с того дня, как его вызвали из банка к адвокату.

— Ваша история поистине замечательна, а ваше положение очень затруднительно и опасно,— сказал незнакомец, когда рассказ молодого человека подошел к концу.— Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе.

И он позвал лакея.

Лакей подошел.

— Скажите, пожалуйста, хозяину, что я прошу его на два слова,— сказал незнакомец, и Фрэнсис опять заметил по его тону и обхождению, что он привык повелевать.

Лакей ушел и вскоре вернулся с хозяином, который подобострастно поклонился незнакомцу.

— Чем могу служить? — спросил он.

— Будьте добры назвать этому джентльмену мое имя,— сказал незнакомец, указывая на Фрэнсиса.

— Сэр,— сказал хозяин, обращаясь к молодому Скримджеру,— вы имеете честь сидеть за одним столом с его высочеством принцем Флоризелем Богемским.

Фрэнсис тотчас вскочил и учтиво поклонился принцу, который попросил его снова сесть.

— Благодарю вас,— сказал Флоризель, опять обращаясь к хозяину.— Простите, что затруднял вас из-за такой малости.

И движением руки отпустил его.

— А теперь,— сказал принц,— дайте мне алмаз.

Футляр был ему передан без единого возражения.

— Вы правильно поступили,— сказал Флоризель.— Сердце подсказало вам верный путь, и вы когда-нибудь с благодарностью припомните злоключения этого вечера. Человек может заплутаться среди тысячи разных затруднений, мистер Скримджер, но если он прямодушен и ум у него ясный, он выйдет из них незапятнанным. Будьте покойны: ваше дело в моих руках, и с помощью провидения у меня хватит сил привести его к благополучному концу. Идемте к моему экипажу.

С этими словами принц поднялся и, оставив лакею золотую монету, вышел с молодым человеком из кафе и повел по бульвару туда, где его поджидали двое слуг без ливрей и простая двухместная карета.

— Этот экипаж,— сказал Флоризель,— в вашем распоряжении. Соберите, пожалуйста, как можно скорее свои вещи. Мои слуги свезут вас на одну виллу в окрестностях Парижа, где вы спокойно поживете, пока я буду устраивать вашу судьбу. Там вы найдете прекрасный сад, книги лучших авторов, повара, погреб с винами и хорошие сигары, которые я рекомендую вашему вниманию. Жером,— прибавил он, оборачиваясь к одному из слуг,— вы слышали, что я сказал? Оставляю мистера Скримджера на ваше попечение; я знаю, вы сумеете позаботиться о моем друге.

Фрэнсис невнятно пробормотал слова признательности.

— Вы успеете поблагодарить меня,— сказал принц,— когда станете узаконенным сыном своего отца и мужем мисс Венделер.

Затем принц повернулся и не спеша направился в сторону Монмартра. Он кликнул первый попавшийся фиакр, назвал адрес и через четверть часа, отпустив экипаж несколько ниже по улице, уже стучался у садовой калитки мистера Венделера.

Ему с необычайными предосторожностями самолично открыл диктатор.

— Кто это? — спросил он.

— Надеюсь, вы простите мне столь поздний визит, мистер Венделер,— сказал принц.

— Я всегда рад вашему высочеству,— ответил мистер Венделер, отступая назад.

Пользуясь тем, что путь свободен, принц, не дожидаясь хозяина, прошел прямо к дому и открыл дверь на веранду. Там он застал мисс Венделер; глаза ее были заплаканы, и время от времени она судорожно всхлипывала. В джентльмене, сидевшем рядом с нею, принц узнал молодого человека, который около месяца тому назад в клубной курительной просил его совета в выборе литературы.

— Добрый вечер, мисс Венделер,— сказал Флоризель,— у вас усталый вид. Мистер Роллз, если не ошибаюсь? Надеюсь, изучение книг Габорио пошло вам на пользу.

Но молодой священник был так раздражен, что не мог говорить. Он ограничился сдержанным поклоном и продолжал сидеть, кусая себе губы.

— Какой счастливый ветер занес вас ко мне, ваше высочество? —спросил мистер Венделер, входя вслед за гостем.

— Я пришел по делу,— сухо ответил принц.— Как только мы его обсудим, я попрошу мистера Роллза прогуляться со мною... Мистер Роллз,— строго прибавил он,— разрешите напомнить вам, что я еще не садился.

Священник с извинениями вскочил на ноги. Тогда принц сел в кресло у стола, передал свою шляпу мистеру Венделеру, а трость мистеру Роллзу и, предоставляя им, словно лакеям, прислуживать себе, заговорил:

— Я пришел, как уже сказал, по делу. Приди я сюда для удовольствия, мне были бы очень неприятны ваш прием и еще больше ваше общество. Сэр,— обратился он к мистеру Роллзу,— вы вели себя неучтиво со старшим по положению. Вы же, Венделер, встречаете меня улыбками, отлично зная, что ваши руки замараны бесчестными поступками. Не перебивайте меня,— прибавил он повелительно,— я пришел сюда говорить, а не слушать и вынужден просить вас выслушать меня с уважением, а все мои требования выполнить неукоснительно. В самый короткий срок ваша дочь должна обвенчаться в посольстве с моим другом Фрэнсисом Скримджером, которого ваш брат открыто признáет своим сыном. Вы обяжете меня, выделив не меньше десяти тысяч фунтов приданого. Вас самого я посылаю в Сиам — ждите от меня письменных распоряжений по существу важного дела, которое поручается вашим забо-

там. А теперь, сэр, ответьте мне напрямик: принимаете ли вы мои требования?

— Простите меня, ваше высочество,— сказал Венделер,— и разрешите почтительнейше задать вам два вопроса.

— Разрешаю,— ответил принц.

— Ваше высочество,— продолжал свою речь диктатор,— вы назвали мистера Скримджера своим другом. Если бы я только знал, что вы почтили его своей дружбой, поверьте, я отнесся бы к нему с должным уважением.

— Хитрый ход,— сказал принц,— но он вас не выручит. Вы получили мои приказания; они остаются попрежнему в силе, даже если бы я познакомился с этим джентльменом только сегодня.

— Вы, ваше высочество, уловили мою мысль со своей обычной проницательностью,— заявил Венделер.— Далее: я, к сожалению, обратился в полицию для розыска мистера Скримджера по подозрению в краже. Взять мне обратно свое обвинение или настаивать на нем?

— Как вам угодно,— ответил Флоризель.— Это дело вашей совести и законов этой страны. Дайте мне шляпу, а вы, мистер Роллз, дайте мне трость и идите со мной. Спокойной ночи, мисс Венделер.— Обратившись к Венделеру, он добавил. — Считаю ваше молчание знаком безоговорочного согласия.

— Если мне не удастся ничего сделать,— ответил старик,— я подчинюсь. Но я открыто предупреждаю вас, что без борьбы не сдамся.

— Вы стары,— сказал принц,— но годами не скрасить порока. В старости вы безумней иного юнца. Не сердите меня, я могу оказаться суровей, чем вы думаете. Впервые мне приходится в гневе становиться вам поперек дороги, смотрите, чтобы это было в последний раз.

И, подав священнику знак идти за собой, Флоризель вышел из дома и направился к садовой калитке. Диктатор освещал им дорогу, следуя сзади со свечой, и снова сам отомкнул сложные засовы, при помощи которых надеялся уберечься от непрошеных гостей.

— Так как вашей дочери сейчас здесь нет,— промолвил принц, обернувшись с порога,— я могу сказать вам, что понял ваши угрозы; но попробуйте только пальцем шевельнуть, и вы навлечете на себя скорую и неминуемую погибель.

Диктатор ничего не ответил, но, когда в свете уличного фонаря принц повернулся к нему спиной, он в безумной ярости погрозил кулаком. Через миг, скользнув за угол, он уже со всех ног бежал к ближайшей стоянке фиакров.

Здесь, говорит мой арабский автор, цепь событий уводит нас прочь от дома с зелеными ставнями. Еще одно приключение, добавляет он, и мы покончим с Алмазом Раджи. Это последнее звено цепи называется у обитателей Багдада *«Повесть о встрече принца Флоризеля с сыщиком»*.

ПОВЕСТЬ О ВСТРЕЧЕ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ С СЫЩИКОМ

Принц Флоризель дошел с мистером Роллзом до самых дверей маленькой гостиницы, где тот жил. Они много разговаривали, и молодого человека не раз трогали до слез суровые и в то же время ласковые упреки Флоризеля.

— Я погубил свою жизнь,— сказал под конец мистер Роллз.— Помогите мне, скажите, что мне делать. Увы! Я не обладаю ни добродетелями пастыря, ни ловкостью мошенника.

— Вы и так унижены,— сказал принц,— остальное не в моей власти. В раскаянии человек обращается к владыке небесному, не к земным. Впрочем, если позволите, я дам вам совет: поезжайте колонистом в Австралию, там найдите себе простую работу на вольном воздухе и постарайтесь забыть, что были когда-то священником и что вам попадался на глаза этот проклятый камень.

— И в самом деле проклятый! — ответил мистер Роллз.— Где он сейчас? Какую еще беду готовит людям?

— Больше он никому не причинит зла,— сказал принц.— Он здесь, у меня в кармане. Как видите,— прибавил он ласково,— я все-таки доверяю вашему раскаянию, хоть оно еще и очень зелено.

— Разрешите мне пожать вам руку,— попросил мистер Роллз.

— Нет,— ответил принц Флоризель,— пока нет.

Его последние слова прозвучали достаточно красноречиво, и после того как принц повернулся и пошел прочь, молодой человек еще несколько минут стоял на пороге, провожая глазами удалявшуюся фигуру и благословляя в душе своего превосходного советчика.

Несколько часов принц в одиночестве бродил по пустынным улицам. Он был весьма озабочен. Как поступить с алмазом? Вернуть ли его владельцу, недостойному, по его мнению, обладать таким чудом, или предпринять крутые и решительные меры и раз навсегда сделать его недосягаемым для человечества? Такой важный вопрос нельзя было решить сразу. Ему казалось, что алмаз попал в его руки явно по велению судьбы. Вынув драгоценный камень и рассматривая его под уличными фонарями, принц дивился его величине и поразительному блеску и все больше приходил к убеждению, что этот алмаз сулит миру одни бедствия и несчастья.

«Не дай бог глядеть на него долго — чего доброго, и самому можно заразиться алчностью»,— подумал он.

Так и не приняв никакого решения, он направился на набережную к небольшому красивому дворцу, который уже несколько столетий принадлежит его роду. Герб Богемии высечен над его дверью и красуется на высоких трубах, прохожие заглядывают в зеленый дворик, усаженный редкостными цветами, а на коньке крыши, собирая перед домом толпу, целый день стоит единственный в Париже аист. По двору снуют деловитые слуги. Время от времени распахиваются большие ворота, и под арку вкатывается карета. Этот дворец по многим причинам был особенно дорог сердцу принца Флоризеля. Подходя к нему, принц неизменно чувствовал, что возвращается домой — переживание, обычно чуждое великим мира сего,— а в тот вечер он завидел острую крышу и неярко освещенные окна с особым ощущением покоя и облегчения.

Когда он уже подходил к боковому входу, которым всегда пользовался, если шел один, из тени стены выступил человек и с поклоном остановился на пути принца.

— Я имею честь обращаться к принцу Флоризелю Богемскому? — спросил он.

— Да, это мой титул,— ответил принц.— Что вам нужно от меня?

— Я сыщик,— сказал человек,— и мне поручено передать вашему высочеству записку от префекта полиции.

Принц взял письмо и проглядел его при свете уличного фонаря. Ему, хоть и в высшей степени учтиво, предлагалось незамедлительно последовать за подателем письма в префектуру.

— Короче говоря,— сказал Флоризель,— я арестован.

— Ваше высочество,— ответил сыщик,— я уверен, что арест вовсе не входит в намерения префекта. Как видите, он не выдал ордера на него. Это пустая формальность, или, если вам угодно, одолжение, которое вы, ваше высочество, сами оказываете властям.

— А если бы,— сказал принц,— я все-таки отказался последовать за вами?

— Не скрою от вашего высочества, мне предоставлена значительная свобода действий,— с поклоном ответил сыщик.

— Право, такая наглость меня поражает! — воскликнул Флоризель.— Вас-то, как простого полицейского, нельзя не простить, но ваше начальство жестоко поплатится за свои нелепые действия. Представляете ли вы себе хотя бы, чем вызван столь неблагоразумный и нарушающий мои права шаг? Заметьте, что я пока еще не давал ни отказа, ни согласия, поэтому многое зависит от вашего скорого и искреннего ответа. Разрешите напомнить вам, сударь, что это дело довольно серьезное.

— Ваше высочество,— смиренно сказал сыщик,— генерал Венделер и его брат взяли на себя неслыханную смелость обвинить вас в краже. Они заявляют, что пресловутый алмаз находится в ваших руках. Если это неверно, префект удовольствуется одним вашим словом. Скажу больше: если ваше высочество пожелает сделать честь простому сыщику и заявит мне о своей непричастности к делу, я буду тотчас просить разрешения удалиться.

До сих пор Флоризель считал свое приключение пустяком, которому лишь дипломатические соображения могли придать некоторый вес. При имени Венделера ему мгновенно открылась ужасная истина: он не только арестован, он виновен. Это не только досадная случайность, это гибель для его чести. Как ему ответить? Что делать? Алмаз Раджи — и в самом деле проклятый камень! Казалось, принцу суждено стать последней его жертвой.

Одно было ясно: он не мог дать сыщику требуемого заверения. Надо попытаться выиграть время.

Его колебание не продлилось и секунды.

— Пусть будет так,— сказал он.— Пойдемте вместе в префектуру.

Тот еще раз поклонился и, соблюдая почтительное расстояние, последовал за Флоризелем.

— Подойдите,— сказал принц,— мне хочется поговорить, а рассмотрев вас, я подумал, что мы с вами встречаемся не в первый раз.

— Считаю честью для себя,— ответил полицейский,— что вы, ваше высочество, припомнили мое лицо. Прошло восемь лет с тех пор, как я имел удовольствие видеться с вами.

— Запоминать лица,— возразил Флоризель,— входит в мои обязанности, так же как и в ваши. Если рассудить, принц и сыщик в самом деле братья по оружию. Мы соратники в борьбе с преступлением, только моя должность прибыльней, а ваша опасней, однако в известном смысле обе они могут стать почетными для порядочного человека. И, как ни странно вам это покажется, по-моему, лучше быть умелым сыщиком с твердым характером, чем слабым и недостойным властителем.

Полицейский даже растерялся.

— Ваше высочество, вы платите добром за зло,— сказал он.— На дерзкий поступок вы отвечаете дружеской снисходительностью.

— Почем вы знаете,— спросил Флоризель,— может быть, я стараюсь подкупить вас?

— Да минует меня искушение! — воскликнул сыщик.

— Похвальный ответ,— объявил Флоризель.— Так отвечают разумные и честные люди. Мир велик, он богат и прекрасен, и мало ли чем можно одарить человека? Иной откажется от миллионов, но продаст свою честь за царский трон или за женскую любовь. Ведь и мне самому встречаются случаи, столь соблазнительные, искушения, столь неодолимые даже для самой стойкой добродетели, что я подчас рад, как вы, скромно положиться на милость всевышнего. Только благодаря это-

му,— добавил он,— мы с вами можем вместе идти сейчас дозором по городу с незапятнанной совестью.

— Я много слышал о вашей смелости,— ответил сыщик,— но не знал, что вы так мудры и благочестивы. Вы говорите правду, и притом так, что она трогает меня до глубины души. Поистине, мир полон испытаний.

— Мы сейчас на середине моста,— сказал Флоризель.— Облокотитесь на перила и поглядите вниз. Подобно этому стремительному потоку, страсти и жизненные затруднения уносят честность слабодушных. Я хочу рассказать вам одну историю.

— Слова вашего высочества — приказ для меня,— ответил сыщик.

И по примеру принца он облокотился на перила и приготовился слушать. Париж уже погрузился в сон. Если бы не бесчисленные огни и очертания домов на фоне звездного неба, можно было бы подумать, что они стоят в одиночестве где-нибудь у реки далеко за городом.

— Один офицер,— начал принц Флоризель,— человек храбрый и нравственный, справедливо возведенный в высокое звание и заслуживший себе не только хвалу, но почет и уважение, в несчастный для своего душевного покоя час посетил сокровищницу некоего индийского князя. Там он увидел алмаз такой удивительной величины и красоты, что с тех пор у него осталось лишь одно-единственное желание: честь, доброе имя, дружбу, любовь своей родины — все отдал бы он, всем охотно пожертвовал бы за этот большой сверкающий кристалл. Три года служил офицер полудикому властителю, как Иаков служил Лавану. Он нечестно устанавливал границы, покрывал убийства, несправедливо осудил и казнил собрата по оружию, который имел несчастье разгневать раджу вольными и честными речами. В пору великой опасности для своей родины он даже предал отряд своих же солдат: по его вине неприятель разбил их, и тысячи людей были истреблены. В конце концов он скопил громадное состояние и вернулся домой с прельстившим его алмазом.

— Шли годы,— продолжал принц,— и вот алмаз был случайно потерян. Он попадает в руки простого трудолюбивого юноши, молодого ученого, священника, только вступившего на путь, на котором он мог бы принести пользу людям и даже достичь известности. Алмаз околдовывает и его: он бросает все — свое призвание, свои занятия — и бежит с драгоценным камнем в чужую страну. Брат того офицера, хитрый, отчаянный, бессовестный человек, узнаёт тайну священника. Что он делает? Рассказывает брату, сообщает полиции? Нет, он тоже подпадает под действие дьявольских чар: он сам хочет завладеть этим камнем. С риском умертвить молодого священника он опаивает его снотворным зельем и захватывает добычу. Но тут по случайности, несущественной для моего рассказа, алмаз из его рук переходит еще к одному человеку. Тому камень внушает ужас, и он отдает его на хранение лицу высокого звания и стоящему выше подозрений. Имя офицера — Томас Венделер,— продолжал Флоризель.— Камень зовется Алмазом Раджи. И,— добавил он, вдруг раскрывая ладонь,—вот он перед вами.

Сыщик вскрикнул и отшатнулся.

— Мы толковали об искушениях. Мне этот большой блестящий кристалл отвратителен, словно он кишит могильными червями. Он страшен, словно в нем горит кровь невинных. Я вижу его на своей ладони, но знаю, что он светится адским огнем. Я не пересказал вам и сотой доли его приключений. Что с ним происходило в былые времена, на какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем, нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. Довольно же крови, довольно позора, довольно загубленных жизней и попранной дружбы. Все когда-нибудь кончается: зло и добро, чума и нежная музыка, а что до этого алмаза, то, да простит мне господь, если я поступлю неправильно, но только этой ночью его власти придет конец.

Принц сделал внезапное движение рукой, и драгоценный камень, описав сияющую дугу, с плеском нырнул в бегущую воду.

— Аминь,— сказал Флоризель торжественно.— Я убил василиска!

— Боже мой,— вскричал сыщик.— Что вы сделали? Теперь я погиб!

— Полагаю,— с улыбкой возразил принц,— многие богачи в этом городе позавидуют такой погибели.

— Увы, ваше высочество! — сказал сыщик.— Значит, вы все-таки подкупаете меня?

— Видно, иначе нельзя! — ответил Флоризель.— А теперь идемте же в префектуру.

Немного времени спустя без всякого шума была отпразднована свадьба Фрэнсиса Скримджера с мисс Венделер, и принц выступал на свадьбе в роли шафера. Братья Венделер прослышали о том, что случилось с алмазом, и теперь большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, вызывают восторг и удивление зевак. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки. Что касается принца Флоризеля, эта блистательная личность, сослужив свою службу, может вверх тормашками отправляться в небытие вместе с автором «Арабских ночей». Но если читатель настаивает на более точных сведениях, я рад сообщить, что ввиду затянувшегося отсутствия принца, а также поучительного пренебрежения, какое он проявлял к своим общественным обязанностям, недавняя революция сбросила его с богемского трона, и теперь его высочество держит на Руперт-стрит табачную лавочку, часто посещаемую и другими политическими эмигрантами.

Время от времени я захаживаю туда покурить и поболтать и каждый раз убеждаюсь, что он так же великолепен, как и в годы своего процветания,— за своим прилавком он выглядит настоящим олимпийцем. И хотя сидячий образ жизни начинает сказываться на ширине его жилетов, он все-таки, вероятно, самый красивый табачник в Лондоне.

ДОМ НА ДЮНАХ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О ТОМ, КАК Я ЗАНОЧЕВАЛ В ГРЭДЕНСКОМ ЛЕСУ И ЗАМЕТИЛ СВЕТ В ПАВИЛЬОНЕ

В юности я был очень нелюдим. Я гордился тем, что держусь особняком и не нуждаюсь в обществе; в сущности, у меня не было ни друзей, ни близких, пока я не встретил ту, которая стала мне и другом, и женой, и матерью моих детей.

Я был относительно близок только с одним человеком — это был Р. Норсмор, владелец Грэден Истера в Шотландии. Мы с ним вместе учились, и хотя не питали особой симпатии друг к другу или склонности к откровенным беседам, но нас роднило сходство темпераментов. Мы считали себя мизантропами, а теперь я вижу, что мы были просто надутые юнцы. Это нельзя было назвать дружбой, скорее это было содружество двух нелюдимов. Исключительная вспыльчивость Норсмора не позволяла ему уживаться с другими людьми; а так как он уважал мою молчаливую сдержанность и не навязывал мне своих мнений, я тоже мирился с его обществом. Помнится, мы даже называли себя друзьями.

Когда Норсмор получил свой диплом, а я решил бросить университет, он пригласил меня погостить к себе в Грэден Истер, и тогда-то я впервые познакомился с местом моих позднейших приключений. Помещичий дом стоял на открытом и мрачном пустыре, милях в трех от берега Северного моря. Большой и неуклюжий, как казарма, он был выстроен из мягкого камня и, подверженный ветрам и туманам побережья, снаружи весь обветшал, а внутри в нем было сыро и дуло изо всех углов. Расположиться в нем с комфортом нечего было и думать. Но на северной оконечности поместья, среди пу-

стынных отмелей и сыпучих дюн, между морем и рощей, стоял небольшой павильон современной постройки, как раз отвечавший нашим вкусам. В этом уединенном убежище, мало разговаривая, много читая и встречаясь лишь за обеденным столом, мы с Норсмором провели четыре ненастных зимних месяца. Может быть, я прожил бы там и дольше, но однажды мартовским вечером у нас произошла размолвка, которая принудила меня покинуть Грэден Истер.

Норсмор говорил запальчиво; я, должно быть, ответил на этот раз колкостью. Он вскочил со стула, бросился на меня, и мне, без преувеличения, пришлось бороться за свою жизнь. Лишь с большим трудом мне удалось одолеть его, потому что силы у нас были почти равные, а тут его, казалось, сам бес обуял.

Наутро мы встретились как ни в чем не бывало, но я счел за благо покинуть его, и он не пытался меня удерживать.

Прошло девять лет, и я снова посетил эти места. В те дни, обзаведясь крытой одноколкой, палаткой и железной печуркой, я целыми днями шагал за своей лошадкой и на ночь располагался по-цыгански в какой-нибудь расселине или на лесной опушке. Так я прошел по самым диким и уединенным уголкам Англии и Шотландии. Никто меня не тревожил письмами — ведь у меня не было ни друзей, ни родственников, а теперь даже и постоянной «штаб-квартиры», если не считать ею контору моего поверенного, который дважды в год переводил мне мою ренту. Такая жизнь восхищала меня, и я ничего лучшего не желал, как состариться среди вересковых пустошей и умереть где-нибудь в придорожной канаве.

Я всегда старался отыскать для ночевки укромное место, где бы меня никто не потревожил, и теперь, очутившись в другой части того же графства, я вспомнил о доме на дюнах. Даже проселочной дороги не было там во всей округе ближе чем за три мили. Ближайший город, вернее, рыбачий поселок, был за шесть-семь миль. Окружавший поместье пустырь тянулся вдоль побережья полосой миль на десять в длину и от трех до полумили в ширину. Подступ со стороны бухты был прегражден зыбучими отмелями. Едва ли во всем Соединенном королевстве найдется лучшее убежище. Я решил остановиться на неделю в прибрежном лесу и, сделав

большой переход, достиг цели на исходе ненастного сентябрьского дня.

Как я говорил, поместье окружали дюны и так называемые в Шотландии «линки», то есть пустоши, на которых движение песков было приостановлено травянистым покровом. Павильон стоял на плоском месте, от моря его отгораживала запутанная гряда песчаных дюн, а позади согнутых ветром порослей бузины начинался лес. Выступ скалы поднимался над песками, образуя мыс между двумя мелкими бухтами, а за линией прибоя небольшим островком торчал еще один выступ, круто обрывавшийся в море. При отливе обнажались широкие полосы зыбучих песков — гроза всей округи. Говорили, что у самого берега, между мысом и островом, эти пески поглощали человека в четыре с половиной минуты, хотя едва ли были основания для такой точности. Местность изобиловала кроликами, а над домом все время с плачем носились чайки. В летний день здесь бывало солнечно и радостно, но в сумерках сентябрьского заката, при сильном ветре и буйном прибое, набегавшем на отмели, все напоминало о кораблекрушениях и о выброшенных морем утопленниках. Корабль, который лавировал против ветра на горизонте, и обломки корабельного остова, погребенные у моих ног песчаной дюной, еще усиливали тягостное впечатление.

Павильон — он был выстроен последним владельцем, дядей Норсмора, бестолковым и расточительным дилетантом,— мало пострадал от времени. Он был двухэтажный, построен в итальянском стиле и окружен полоской сада, от которого уцелело только несколько клумб самых выносливых цветов. Теперь, когда ставни были заколочены, казалось, что он не только покинут, но никогда и не был обитаем. Норсмор явно отсутствовал: то ли по своему обыкновению уныло отсиживался в каюте собственной яхты, то ли решил неожиданно появиться и вызывающе блеснуть в светском обществе — об этом я мог только догадываться. Место же своим безлюдьем угнетало даже такого отшельника, каким был я. Ветер заунывно выл в трубах, и, словно спасаясь в свое привычное убежище, я повернул лошадь и, погоняя ее, направил повозку к опушке леса.

Грэденский лес был насажен для защиты полей от сыпучих песков побережья. Дальше от берега бузину по-

степенно сменяли другие породы, но все деревья были чахлые и низкорослые, как кустарник. Им приходилось все время бороться за свою жизнь: долгими зимними ночами они гнулись под напором свирепых бурь; уже ранней весной листья у них облетали, и для этого оголенного леса начиналась осень. Еще дальше высился холм, который вместе с островом служил ориентиром для моряков. Когда холм открывался к северу от острова, кораблям следовало твердо держать курс на восток, чтобы не напороться на мыс Грэден и Грэденские рифы. По низине между деревьями протекал ручеек и, запруженный тиной и палым листом, то и дело застаивался в крохотных заводях. Кое-где в лесу попадались развалины каких-то строений; по мнению Норсмора, это были остатки келий, в которых когда-то скрывались отшельники.

Я отыскал нечто вроде ложбинки, в которой бил холодный ключ, и здесь, расчистив место от терновника, разбил палатку и развел костер, чтобы приготовить ужин. Лошадь я стреножил и пустил пастись неподалеку на лужайке. Крутые склоны ложбины не только скрывали свет моего костра, но и защищали меня от ветра, сильного и холодного.

Мой образ жизни закалил меня и приучил к умеренности. Я пил только воду и редко ел что-нибудь, кроме овсянки в разных видах. Мне достаточно было нескольких часов сна; хотя я и просыпался с рассветом, но с вечера подолгу лежал под темным или звездным сводом ночи. Так и в Грэденском лесу: хотя я крепко уснул в восемь часов вечера, но проснулся уже к одиннадцати, бодрый и освеженный, без всякой сонливости и утомления. Я встал и долго сидел у костра, наблюдая, как над головой беспокойно мелькали облака и верхушки деревьев, слушая ветер и шум прибоя, и наконец, устав от бездействия, оставил свою ложбину и побрел к опушке леса. Молодой месяц едва пробивался сквозь туман, но, когда я вышел из лесу, стало светлее. В ту же минуту резкий порыв ветра дохнул на меня соленым запахом моря и с такой силой ударил в лицо колючими песчинками, что я нагнул голову.

Когда я поднял глаза и осмотрелся, я заметил свет в павильоне. Он двигался от окна к окну, словно кто-то переходил из комнаты в комнату с лампой или свечой.

Некоторое время я следил за ним с большим изумлением. Днем павильон был явно необитаем, теперь настолько же явно в нем кто-то находился. Сначала мне пришло в голову, что туда забралась шайка грабителей и очищала теперь кладовые и буфеты Норсмора, всегда полные посуды и запасов. Но что могло привести грабителей в Грэден Истер? И к тому же все ставни были распахнуты, а такие гости, наоборот, плотнее прикрыли бы их. Я отбросил эту мысль и стал искать других объяснений. Должно быть, вернулся сам Норсмор и теперь осматривает и проветривает помещение.

Как я уже говорил, нас с Норсмором не связывало чувство искренней привязанности, но, даже если бы я любил его, как брата, я настолько дорожил своим одиночеством, что все равно постарался бы избегнуть его общества. Поэтому я поскорее вернулся в лес и с истинным наслаждением снова уселся у костра. Я избежал встречи; передо мной еще одна спокойная ночь. А наутро можно будет либо незаметно ускользнуть еще до пробуждения Норсмора, либо нанести ему визит, только покороче.

Но когда настало утро, создавшееся положение показалось мне настолько забавным, что я отбросил все колебания. Норсмор был в моей власти, и я задумал подшутить над ним, хотя и знал, что с таким человеком, как он, шутить рискованно. Заранее радуясь своей затее, я устроился среди зарослей бузины так, что мне видна была дверь павильона. Все ставни были снова прикрыты, что, помнится, показалось мне странным, а самое здание при утреннем свете, озарявшем его белые стены и зеленые жалюзи, выглядело привлекательным и уютным. Часы проходили за часами, а Норсмор не подавал признаков жизни. Я знал, что он соня и лежебока, однако к полудню терпение мое истощилось. Сказать по правде, я уже решил позавтракать в павильоне, и меня стал мучить голод. Как мне ни досадно было упускать возможность подшутить над Норсмором, голод взял свое, и я, с огорчением пожертвовав шуткой, вышел из лесу.

Когда я подошел поближе, вид дома чем-то обеспокоил меня. По-видимому, с вечера ничего не изменилось, а я почему-то надеялся встретить какие-нибудь внешние признаки присутствия человека. Но нет: ставни были

плотно прикрыты, из труб не шел дым, и на входной двери висел большой замок. Норсмор, очевидно, вошел через заднюю дверь — таково было естественное и единственно приемлемое объяснение,— и вы можете судить, как я был изумлен, когда, обогнув дом, я нашел и заднюю дверь на запоре.

Я вернулся к прежнему предположению о грабителях и досадовал на себя за вчерашнее бездействие. Я осмотрел все окна нижнего этажа и не нашел никаких повреждений; я попробовал замки, но они не поддавались. Возникал вопрос: каким путем грабители (если это были грабители) проникли в дом? Они могли пробраться, думал я, по крыше пристройки, где Норсмор занимался фотографией, а оттуда, взломав окно кабинета или моей бывшей комнаты, им легко было забраться в дом.

Я сам последовал этому вымышленному примеру — взобрался на крышу и попробовал ставни. Обе были заперты, но я не сдавался и, нажав посильнее, чтобы приоткрыть одну из них, поцарапал при этом руку. Я помню, что приложил руку ко рту и с минуту зализывал ранку, как собака. При этом я машинально глядел на отмели и на море и заметил в нескольких милях к северо-востоку большую парусную яхту. Потом поднял раму и проник внутрь.

Я прошел по всему дому, и удивление мое усилилось. Нигде ни малейшего беспорядка — наоборот, комнаты необычно чисты и прибраны. В каминах лежали дрова и растопка; три спальни были убраны с роскошью, непривычной для Норсмора; умывальники были налиты водой, кровати оправлены на ночь; стол накрыт на три прибора, а на буфете — множество холодных закусок, салатов и соусов. Ясно было, что здесь ждали гостей. Но какие же гости, если Норсмор ненавидел общество? И, кроме того, зачем понадобилось готовить дом к этому приему тайно, под покровом ночи? И почему ставни были закрыты и двери заперты? Я уничтожил все следы своего посещения и выбрался из дома отрезвленный и сильно встревоженный.

Яхта была все на том же месте, и мне на миг пришло в голову, что это, может быть, «Рыжий граф», на котором прибыли хозяин и гости. Однако нос корабля был обращен в открытое море.

ГЛАВА ВТОРАЯ

О НОЧНОЙ ВЫСАДКЕ С ЯХТЫ

Я вернулся в ложбинку, чтобы приготовить себе поесть, в чем я сильно нуждался, и дать корм лошади, о которой я не позаботился утром. Время от времени я выходил на опушку, но в павильоне перемен не было, и на отмелях за весь день не показалось ни души. Одна только яхта в открытом море напоминала о человеке. Она дрейфовала без видимой цели, то приближаясь, то удаляясь, но с наступлением сумерек решительно двинулась к берегу. Это укрепило меня в мысли, что на борту ее Норсмор и его гости и что они, по-видимому, высадятся только ночью. Это не только соответствовало таинственности приготовлений, но вызывалось и тем обстоятельством, что лишь к одиннадцати часам прилив мог достаточно прикрыть Грэденские мели и другие опасные места, которые ограждали берег от вторжений с моря.

В течение всего дня ветер ослабевал и море затихало, но к закату снова разыгралась вчерашняя непогода. Ночь сгустилась непроглядно-темная. Свирепые порывы ветра разражались орудийными залпами, то и дело полосами налетал дождь, и с наступлением прилива все крепчал прибой. Со своего наблюдательного поста в кустарнике я увидел, как на верхушке мачты показался свет — яхта была много ближе, чем когда я последний раз видел ее в сумерках. Я решил, что это сигнал помощникам Норсмора на суше, и, выйдя из лесу, осмотрелся, ища подтверждения своей догадке.

Вдоль опушки леса вилась дорожка — кратчайший путь от усадьбы к павильону,—и, взглянув в эту сторону, я увидел не более как в четверти мили быстро приближавшийся огонек. Судя по его колеблющемуся свету, это был фонарь в руках человека, шедшего по извилинам тропинки и то и дело пережидавшего яростные порывы ветра. Я снова спрятался в кустарнике и нетерпеливо ждал приближения нового лица. Это оказалась женщина, и, когда она проходила шагах в трех от моей засады, я узнал ее. Сообщницей Норсмора в этом таинственном деле была глухая и молчаливая женщина, нянчившая его в детстве, а потом ставшая его домоправительницей.

Я следовал за ней на коротком расстоянии, пользуясь для прикрытия бесчисленными пригорками и впадинами и непроглядной тьмой. Даже если бы она не была глуха, все равно ветер и прибой не дали бы ей расслышать шум моих шагов. Она вошла в дом, поднялась во второй этаж и осветила одно из окон, выходивших на море. Тотчас же фонарь на мачте был опущен и погашен. Он выполнил свою задачу: люди на борту удостоверились, что их ждут. Старуха, по-видимому, продолжала готовиться к встрече. Хотя она и не открывала других ставен, я видел, как свет мелькал то там, то здесь по всему дому, и снопы искр, показывавшиеся из труб, говорили о том, что она затапливала печи одну за другой.

Теперь я был уверен, что Норсмор и его гости высадятся на берег, как только вода покроет мели. В такую погоду трудно было управлять шлюпкой, и к моему любопытству примешивалась тревога, когда я думал о том, как опасна сейчас высадка. Правда, мой приятель был величайший сумасброд, но в данном случае сумасбродство принимало тревожный и угрожающий характер. Движимый этими разнородными чувствами, я направился к бухте и лег ничком в небольшой впадине шагах в шести от тропки к павильону. Оттуда я легко мог разглядеть вновь прибывших и тут же приветствовать их, если они окажутся теми, кого я ожидал увидеть.

Незадолго до одиннадцати, когда прилив едва прикрыл отмели, у самого берега вдруг появился свет лодочного фонаря. Напрягая зрение, я различил и другой фонарь, мелькавший дальше от берега и то и дело скрываемый гребнями волн. Ветер, все крепчавший с наступлением ночи, и опасное положение яхты у подветренного берега, должно быть, заставили поторопиться с высадкой.

Вскоре на тропинке показались четыре матроса, тащившие очень тяжелый сундук; пятый освещал им дорогу фонарем. Они прошли совсем рядом со мной, и старуха впустила их в дом. Затем они вернулись к берегу и еще раз прошли мимо меня с сундуком побольше, но, очевидно, не таким тяжелым. Они сделали и третий рейс; и на этот раз один из матросов нес кожаный чемодан, а другие — дамский саквояж и прочую кладь, явно принадлежавшую женщине. Это крайне подстрекнуло мое любопытство. Если среди гостей Норсмора была дама, это означало полную перемену в его привычках и отказ от его излюбленных теорий и взглядов на жизнь. Когда мы с ним жили вместе, павильон был храмом женоненавистников. А теперь представительница ненавистного пола должна была поселиться под его кровлей. Я припомнил кое-что из виденного мною в павильоне— некоторые черты изнеженности и даже кокетства, которые поразили меня в убранстве комнат. Теперь мне ясна была цель этих приготовлений, и я дивился своей тупости и недогадливости.

Все эти мои догадки были прерваны появлением второго фонаря; нес его моряк, которого я до сих пор не видел. Он освещал дорогу к павильону двум людям. Это были, конечно, те самые гости, для которых делались все приготовления, и я напрягал зрение и слух, когда они проходили мимо меня. Один из них был мужчина необычайно большого роста. Нахлобученная на глаза дорожная шапка, поднятый и наглухо застегнутый воротник скрывали его лицо. О нем только и можно было сказать, что он очень высок и движется, словно больной, тяжелой, неуверенной походкой. Рядом с ним, не то прижавшись к нему, не то поддерживая его — этого я не мог разобрать,— шла молодая, высокая, стройная женщина. Она была очень бледна, но мерцающий свет фонаря бросал на ее лицо такие резкие и подвижные тени, что я не мог сказать, дурна ли она, словно смертный грех, или прекрасна, как это впоследствии оказалось.

Когда они поравнялись со мной, девушка что-то сказала, но ветер унес ее слова.

— Молчи! — ответил ее спутник.

Тон, каким было сказано это слово, поразил и встревожил меня. Это было восклицание человека, угнетаемого смертельным страхом; я никогда не слышал слова, произнесенного так выразительно, и до сих пор я слышу его, когда в ночном бреду возвращаюсь к давно прошедшим временам. Говоря, мужчина обернулся к девушке, и я мельком заметил густую рыжую бороду, нос, переломленный, должно быть, в молодости, и светлые глаза, расширенные сильнейшим страхом. Но они уже прошли мимо меня и, в свою очередь, были впущены в дом. Поодиночке и группами матросы вернулись к бухте. Ветер донес до меня звук грубого голоса и команду: «Отчаливай!» Затем спустя мгновение показался еще один фонарь. Его нес Норсмор. Он был один.

И жена моя и я, то есть и мужчина и женщина, часто удивлялись, каким образом этот человек мог быть в одно и то же время настолько привлекательным и отталкивающим. У него была наружность настоящего джентльмена, лицо вдумчивое и решительное, но стоило приглядеться к нему даже в добрую минуту, чтобы увидеть душу, достойную насильника и работорговца. Я никогда не встречал человека более вспыльчивого и мстительного. Он соединял пылкие страсти южанина с умением северян таить холодную ненависть, и это, как грозное предупреждение, ясно отражалось на его лице. Он был смуглый брюнет, высокий, сильный и подвижный; правильные черты лица его портило угрожающее выражение. В эту минуту он был бледнее обычного, брови у него были нахмурены, губы подергивались, и он шел, озираясь, словно опасался нападения. И все же выражение его лица показалось мне торжествующим, как у человека, преуспевшего в своем деле и близкого к его завершению.

Отчасти из чувства деликатности — сознаюсь, довольно запоздалой,— а больше из желания напугать его я решил сейчас же обнаружить свое присутствие.

Я быстро вскочил на ноги и шагнул к нему.

— Норсмор! — окликнул я его.

Никогда в жизни я не был так изумлен. Не говоря ни слова, он бросился на меня, что-то блеснуло в его руке, и он замахнулся на меня кинжалом. В то же мгновение я сшиб его с ног. То ли сказались моя быстрота и ловкость, то ли его нерешительность, но только нож едва оцарапал мое плечо, в то время как удар рукояткой и кулаком пришелся мне по губам.

Я отбежал, но недалеко. Много раз я думал о том, как удобны дюны для засад, внезапных нападений и поспешного отхода.

Отбежав не более десяти шагов от места нашей схватки, я снова нырнул в траву.

Фонарь упал из рук Норсмора и потух. И, к моему величайшему изумлению, сам он поспешно бросился к павильону, и я услышал, как звякнул за ним задвигаемый засов.

Он меня не преследовал! Он от меня убежал! Норсмор, этот непримиримый и неустрашимый человек, оставил поле боя за противником! Я едва верил глазам. Но что значила еще одна несообразность во всей этой

странной истории, где все было невероятно?! Зачем и для кого тайно готовили помещение? Почему Норсмор и его гости высадились глубокой ночью, в бурю, не дождавшись полного прилива? Почему он хотел убить меня? Неужели, думал я, он не узнал моего голоса? И, главное, зачем ему было держать наготове кинжал? Кинжал или даже просто нож были далеко не современным оружием, и, вообще говоря, в наши дни джентльмен, высадившийся со своей яхты на берег собственного поместья, пусть даже ночью и при таинственных обстоятельствах, все же не вооружается таким образом, словно ожидая нападения. Чем больше я думал, тем меньше понимал. Я перебирал и пересчитывал по пальцам все таинственные обстоятельства этого дела, павильон, тайно приготовленный для гостей; гости, высаживающиеся в такую ночь с явной опасностью и для себя и для яхты; нескрываемый и, казалось бы, беспричинный ужас одного из гостей; Норсмор с обнаженным кинжалом; Норсмор, с первого слова пускающий в ход оружие против своего ближайшего друга, и, наконец, что самое странное, Норсмор, бегущий от человека, которого он только что пытался убить, и укрывающийся, словно от погони, за стенами и засовами павильона! По меньшей мере шесть поводов к удивлению, и все они сплетались в одну неразрывную цепь.

Я готов был спросить себя, не обман ли это чувств. Когда рассеялось сковавшее меня изумление, постепенно дала себя знать боль от раны, полученной в схватке. Укрываясь за дюнами, я по окольной тропинке добрался до опушки леса. Тут снова в нескольких шагах от меня прошла с фонарем старуха служанка, возвращаясь из павильона в помещичий дом. Это была седьмая загадка. Значит, Норсмор и его гости будут стряпать и убирать за собой сами, а старая служанка будет по-прежнему жить в большом пустом доме посреди парка. Если Норсмор мирился с такими неудобствами, значит, действительно были серьезные причины для подобной таинственности.

Поглощенный этими мыслями, я вернулся в ложбинку. Для большей безопасности я разбросал и затоптал догоравший костер и зажег фонарь, чтобы осмотреть рану на плече. Это была ничтожная царапина, хотя кровь шла довольно сильно. Промыв рану холодной ключевой водой, я как умел — место было неудобное —

перевязал ее тряпкой. Занятый этим, я не переставал думать о Норсморе и его тайне и мысленно объявил им войну. По природе я не злой человек, и меня побудило к этому скорее любопытство, чем мстительность. Но все же война была объявлена, и начались приготовления: я достал свой револьвер, разрядил его, тщательно вычистил и зарядил вновь. Потом я занялся своей лошадью. Она могла отвязаться или ржанием выдать мою стоянку в лесу. Я решил избавиться от ее соседства и задолго до рассвета отвел ее по отмелям в рыбачью деревню.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О ТОМ, КАК Я ПОЗНАКОМИЛСЯ С КЛАРОЙ

Два дня я бродил вокруг павильона, укрываясь за дюнами. Я выработал при этом особую тактику. Низкие бугры и мелкие впадины, образующие целый лабиринт, облегчали это увлекшее меня и, может быть, не совсем джентльменское занятие.

Однако, несмотря на это преимущество, я мало что узнал о Норсморе и его гостях.

Провизию им приносила из помещичьего дома под покровом тьмы старая служанка. Норсмор и молодая гостья иногда вместе, но чаще порознь прогуливались по часу, по два вдоль линии зыбучих песков. Для меня было ясно, что такое место для прогулки выбрано из предосторожности потому, что открыто оно только со стороны моря. Но для моих целей оно было очень удобно: к отмели вплотную примыкала самая высокая и наиболее изрезанная дюна, и, лежа плашмя в одной из ее впадин, я мог наблюдать за прогулками Норсмора и юной особы.

Высокий мужчина словно исчез. Он не только не переступал порога павильона, но даже и не показывался в окнах, насколько я мог судить из своей засады. Близко к дому я днем не подходил, потому что из верхних окон видны были все подступы, а ночью, когда я подходил ближе, все окна нижнего этажа были забаррикадированы, как при осаде. Иногда, вспоминая неуверенную походку высокого мужчины, я думал, что он не поднимается с постели, иногда мне казалось, что он вовсе покинул дом и что Норсмор остался там вдвоем с молодой леди. Эта мысль мне уже и тогда не нравилась.

Даже если они были мужем и женой, я имел достаточно оснований сомневаться в их взаимной приязни. Хотя я и не слышал ни слова из их разговора и редко мог различить выражение их лиц, но были в их поведении отчужденность и натянутость, которые указывали на холодные, а может быть, и враждебные отношения. Гуляя с Норсмором, девушка шла быстрее обычного, а я знал, что нежные отношения скорее замедляют, чем ускоряют походку гуляющих. Кроме того, она все время держалась на несколько шагов впереди и, как бы отгораживаясь от него, тянула за собой по песку свой зонтик. Норсмор все старался приблизиться, и так как девушка неизменно уклонялась, они двигались по диагонали через всю отмель. Когда девушке наконец угрожала опасность быть прижатой к линии прибоя, она незаметно поворачивала, оставляя своего спутника между собой и морем. Я наблюдал за этими ее маневрами с величайшим удовольствием и одобрением и про себя посмеивался при каждом таком повороте.

На третий день утром она некоторое время гуляла одна, и, к моему огорчению, я убедился, что она не раз принималась плакать. Вы можете по этому судить, что сердце мое было затронуто ею сильнее, чем я сам сознавал. Все ее движения были уверенны и воздушны, голову она держала с горделивой грацией. Каждым шагом ее можно было залюбоваться, и уже тогда она мне казалась обаятельной и неповторимой.

День был чудесный, тихий и солнечный, море спокойное, воздух свежий и остро пахнувший солью и вереском, так что против обыкновения она вышла на вторую прогулку. На этот раз ее сопровождал Норсмор, и едва они вышли на берег, как я увидел, что он насильно взял ее руку. Она вырывалась, и я услышал ее крик, или, вернее, стон. Не думая о своем странном положении, я вскочил на ноги, но не успел сделать и шага, как увидел, что Норсмор, обнажив голову, склонился в поклоне, как бы прося прощения. Я тотчас же снова залег в засаду. Они обменялись несколькими словами, потом, еще раз поклонившись, он покинул берег и направился к павильону. Он прошел совсем близко от меня, и я видел, что лицо у него было красное и хмурое и палкой он свире-

по сшибал на ходу верхушки травы. Не без удовольствия я увидел на его лице следы своего удара — большую царапину на скуле и синяк вокруг запухшего правого глаза.

Некоторое время девушка стояла на месте, глядя на остров и на яркое море. Затем внезапно, как человек, отбросивший все тягостные мысли, она двинулась вперед быстро и решительно. Очевидно, она тоже была сильно взволнована тем, что произошло. Она совсем забыла, где находится. И я увидел, что она идет прямо к краю зыбучих песков, как раз в самое опасное место. Еще два или три шага, и жизнь ее была бы в серьезной опасности, но тут я кубарем скатился с дюны, которая обрывалась здесь очень круто, и на бегу предостерегающе закричал.

Она остановилась и обернулась ко мне. В ее поведении не было ни тени страха, и она пошла прямо на меня с осанкой королевы. Я был босиком и одет как простой матрос, если не считать египетского шарфа, заменявшего мне пояс, и она, должно быть, приняла меня за рыбака из соседней деревушки, вышедшего собирать наживку. А я, когда увидел ее так близко и когда она пристально и властно посмотрела мне в глаза, я пришел в неописуемый восторг и убедился, что красота ее превосходит все мои ожидания.Она восхищала меня и тем, что при всей своей отваге не теряла женственности, своеобразной и обаятельной. В самом деле, жена моя всю жизнь сохраняла чинную вежливость прежних лет,— превосходная черта в женщине, заставляющая еще больше ценить ее милую непринужденность.

— Что это значит? — спросила она.

— Вы направлялись прямо к Грэденской топи! — сказал я.

— А вы не здешний,— сказала она.— У вас выговор образованного человека.

— Мне было бы трудно это скрывать даже в этом костюме,— сказал я.

Но ее женский глаз уже заметил мой шарф.

— Да! — сказала она.— И вас выдает ваш пояс.

— Вы сказали слово «выдает»,— подхватил я.— Но могу ли я просить вас не выдавать меня? Ради вашей безопасности я должен был обнаружить свое присутствие, но, если Норсмор узнает, что я здесь, это грозит мне больше, чем простыми неприятностями.

— А вы знаете, с кем вы говорите? — спросила она.

— Не с женой мистера Норсмора? — сказал я вместо ответа.

Она покачала головой. Все это время она с откровенным интересом изучала мое лицо. Наконец она сказала:

— У вас лицо честного человека. Будьте так же честны, как ваше лицо, сэр, и скажите, что вам здесь надо и чего вы боитесь. Не думаете ли вы, что я могу повредить вам? Мне кажется, что скорее в вашей власти обидеть меня. Но нет, вы не похожи на злодея. Так что же заставило вас, джентльмена, шпионить здесь в этой пустынной местности? Скажите мне, кого вы преследуете и ненавидите?

— Я ни к кому не питаю ненависти,— отвечал я,— и никого я не боюсь. Зовут меня Кессилис, Фрэнк Кессилис. По собственному желанию я веду жизнь бродяги. Я очень давно знаком с Норсмором, но когда три дня назад я окликнул его, тут на отмелях, он ударил меня кинжалом в плечо.

— Так это были вы! — сказала она.

— Почему он это сделал,— продолжал я, не обращая внимания на ее слова,— я не могу понять, да и понимать не хочу. У меня немного друзей, и я нелегко их завожу, но запугивать себя я никому не позволю. Я разбил свою палатку в Грэденском лесу еще до приезда Норсмора сюда, и я живу там и сейчас. Если вы думаете, что я опасен вам или вашим близким, то вам легко избавиться от меня. Вам достаточно сказать Норсмору, что я ночую в Гемлокской лощине, и сегодня же ночью он может заколоть меня во сне.

С этими словами я откланялся и снова взобрался на дюны. Не знаю почему, но я чувствовал себя героем, мучеником, с которым поступили несправедливо, хотя, в сущности, мне нечего было сказать в свою защиту, у меня не было резонного объяснения моим поступкам. Я остался в Грэдене из любопытства, естественного, но едва ли похвального, и хотя рядом с этой уже возникала другая причина, в то время я не смог бы объяснить ее даме моего сердца.

Как бы то ни было, в эту ночь я не мог думать ни о ком другом, и хотя положение, в котором очутилась девушка, и ее поведение казались подозрительными, я все же в глубине души не сомневался в чистоте ее намерений. Хотя сейчас все для меня было темно и непонят-

но, но я готов был поручиться своей жизнью, что, когда все разъяснится, она окажется правой и ее участие в этом деле — неизбежным. Правда, как я ни напрягал свою фантазию, я не мог придумать никакого объяснения ее близости с Норсмором, но уверенность моя, основанная на инстинкте, а не на доводах разума, была от этого не менее крепка, и в эту ночь я уснул с мыслью о ней.

На следующий день она вышла примерно в то же время одна, и как только дюны скрыли ее от павильона, она подошла к опушке и вполголоса позвала меня, называя по имени. Меня удивило, что она была смертельно бледна и в необычайном волнении.

— Мистер Кессилис! — звала она.— Мистер Кессилис!

Я сейчас же выскочил из-за кустов и спрыгнул на отмель. Как только она увидела меня, на ее лице выразилось чувство облегчения.

— Ох! — перевела она дух, будто у нее отлегло от сердца.— Слава богу, вы целы и невредимы! Я знала, что, если вы живы, вы придете,— добавила она.

Не странно ли это? Природа так быстро и мудро подготовляет наши сердца к большому, неумирающему чувству, что оба мы — и я и моя жена — почувствовали неотвратимость его уже на второй день нашей встречи. Уже тогда я надеялся, что она будет искать меня; она же была уверена, что меня найдет.

— Вам нельзя,— говорила она быстро,— вам нельзя оставаться здесь. Дайте мне слово, что вы не останетесь на ночь в этом лесу. Вы представить себе не можете, как я страдаю! Всю эту ночь я не могла уснуть, думая об опасности, которая вам угрожает.

— Какой опасности? — спросил я.— И кто может мне угрожать? Норсмор?

— Нет, не он. Неужели вы думаете, что после ваших слов я что-нибудь сказала ему?

— А если не Норсмор, то кто же? — повторил я.— Мне бояться некого.

— Не спрашивайте меня,— отвечала она.— Я не вправе открыть это вам, но поверьте мне и уезжайте отсюда! Поверьте и уезжайте скорее, сейчас же, если дорожите жизнью!

Запугивание — плохой способ избавиться от молодого человека с характером. Ее слова только подстрекнули мое упорство, и я счел долгом чести остаться. А то, что она так заботилась о моей безопасности, только укрепило меня в моем решении.

— Не сочтите меня назойливым, сударыня,— ответил я.— Но если Грэден такое опасное место, вы тоже, должно быть, рискуете, оставаясь здесь?

Она с упреком поглядела на меня.

— Вы и ваш батюшка...— продолжал я, но она тотчас прервала меня:

— Мой отец? А почему вы о нем знаете?

— Я видел вас вместе, когда вы шли от лодки,— ответил я, и, не знаю почему, ответ этот показался достаточным для нас обоих, тем более что он был правдив.— Но,— продолжал я,— меня вам бояться нечего. Я вижу, у вас есть причины хранить тайну, но поверьте, что я сохраню ее так же надежно, как если бы она была погребена со мною в Грэденской топи. Уж много лет, как я почти ни с кем не разговариваю; мой единственный товарищ — моя лошадь, но и она, бедняга, сейчас не со мной. Вы видите, что вы можете рассчитывать на мое молчание. Скажите мне всю правду, дорогой мой друг, вам угрожает опасность?

— Мистер Норсмор говорит, что вы порядочный человек,— ответила она,— и я поверила этому, когда увидела вас. Я скажу вам только: вы правы. Нам грозит страшная, страшная опасность, и вы сами подвергаетесь ей, оставаясь здесь.

— Вот как! — сказал я.— Вы слышали обо мне от Норсмора? И он хорошо отозвался обо мне?

— Я спросила его относительно вас вчера вечером,— ответила она.— Я сказала...— запнулась она,— что встречала вас когда-то и упоминала вам о нем. Это была неправда, но я не могла сказать иначе, не выдав вас, ведь вы своей просьбой поставили меня в трудное положение. Он вас очень хвалил.

— А скажите, если позволите задать вам вопрос: эта опасность исходит от Норсмора?

— От мистера Норсмора? — вскричала она.— О, что вы! Он сам разделяет ее с нами.

— А мне вы предлагаете бежать? — сказал я.— Хорошее же у вас мнение обо мне!

— А зачем вам оставаться? — спросила она.— Мы вам не друзья.

Не знаю, что со мной случилось,— такого не бывало у меня с самого детства,— но только я был так обижен, что глаза мои защипало, и все-таки я, не отрываясь, глядел сквозь слезы на ее лицо.

— Нет, нет! — сказала она изменившимся голосом.— Я не хотела вас обидеть.

— Это я вас обидел,— сказал я и протянул ей руку, взглянув на нее с такой мольбой, что она была тронута, потому что сейчас же порывисто протянула мне свою.

Я не отпускал ее руку и смотрел ей в глаза. Она первая высвободилась и, забыв о своей просьбе и о том обещании, которое хотела от меня получить, стремглав бросилась прочь и скоро скрылась из виду. И тогда я понял, что люблю ее, и радостно забившимся сердцем почувствовал, что и она уже неравнодушна ко мне. Много раз впоследствии она отрицала это, но с улыбкой, а не всерьез. Со своей стороны, я уверен, что руки наши не задержались бы так долго в пожатии, если бы сердце ее уже не дрогнуло. Да, в сущности не так уж я был далек от истины, потому что, по собственному ее признанию, она уже на следующий день поняла, что любит меня.

А между тем на другой день как будто бы не произошло ничего важного. Она, как и накануне, вышла к опушке и позвала меня, укоряя, что я еще не покинул Грэден, и, увидев, что я упорствую, начала подробно расспрашивать, как я сюда попал. Я рассказал ей, какая цепь случайностей привела меня на берег во время их высадки и как я решил остаться — отчасти потому, что меня заинтересовали гости Норсмора, отчасти же из-за его попытки меня убить. Боюсь, что по первому пункту я был неискренен, потому что заставил ее предположить, что именно она с первого же момента, как я увидел ее на отмели, стала для меня главным магнитом. Мне доставляет облегчение признаться в этом хотя бы сейчас, когда жена моя уже призвана всевышним и видит все и знает, что я тогда умолчал из лучших побуждений, потому что при ее жизни, как это ни тревожило мою совесть, у меня не хватало духу разуверить ее. Даже ничтожная тайна в таком супружестве, каким было наше, похожа на розовый лепесток, который мешал спать принцессе.

Скоро разговор перешел на другие темы, и я долго рассказывал ей о своей одинокой, бродячей жизни, а она говорила мало и больше слушала. Хотя оба мы говорили очень непринужденно и о предметах как будто бы безразличных, мы испытывали сладкое волнение. Скоро, слишком скоро пришло время ей уходить, и мы расстались, как бы по молчаливому уговору, даже без рукопожатия, потому что каждый знал, что для нас это не пустая вежливость.

На следующий, четвертый день нашего знакомства мы встретились на том же месте рано утром, как хорошие знакомые, но со смущением, нараставшим в каждом из нас. Когда она еще раз заговорила о грозящей мне опасности — а это, как я понял, было для нее оправданием наших встреч,— я, приготовив за ночь целую речь, начал говорить ей, как высоко я ценю ее доброе внимание, и как до сих пор никто еще не интересовался моей жизнью, и как я до вчерашнего дня не подумал бы никому рассказывать о себе. Внезапно она прервала меня пылким восклицанием:

— И все же, если бы вы знали, кто я, вы даже говорить со мной не стали бы!

Я сказал, что самая мысль об этом — безумие и что, как ни кратковременно наше знакомство, я считаю ее своим дорогим другом; но мои протесты, казалось, только усиливали ее отчаяние.

— Ведь мой отец принужден скрываться!

— Дорогая,— сказал я, в первый раз забыв прибавить к этому обращению слово «леди»,— что мне за дело до этого! Будь он хоть двадцать раз вынужден скрываться,— вас-то это не изменит!

— Да, но причина этого,— вскричала она,— причина! Ведь...— она запнулась на мгновение,— ведь она позорна.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О ТОМ, КАКИМ НЕОБЫЧНЫМ ОБРАЗОМ Я ОБНАРУЖИЛ, ЧТО Я НЕ ОДИН В ГРЭДЕНСКОМ ЛЕСУ

Вот что сквозь рыдания рассказала девушка о себе в ответ на мои расспросы.

Ее звали Клара Хеддлстон. Это, конечно, звучная фамилия, но еще лучше звучало для меня имя Клара Кессилис, которое она носила долгие и, надеюсь, более

счастливые годы своей жизни. Ее отец Бернард Хеддлстон стоял во главе крупного банковского дела. Много лет назад, когда дела его пришли в расстройство, ему осталось лишь прибегнуть к рискованным, а затем и преступным комбинациям, чтобы спастись от краха. Однако все было тщетно; дела его все более запутывались, и доброе имя было потеряно вместе с богатством. В то время Норсмор упорно, хотя и безуспешно, ухаживал за его дочерью, и, зная это, к нему-то и обратился Бернард Хеддлстон в час крайней нужды. Несчастный навлек на свою голову не только разорение и позор, не только преследование закона. Вероятно, он с легким сердцем пошел бы в тюрьму. Чего он боялся, что не давало ему спать по ночам и что обращало в кошмар самое забытье, был тайный, неотвратимый и постоянный страх покушения на его жизнь. Поэтому он хотел похоронить себя на одном из островов южных морей и рассчитывал добраться туда на яхте Норсмора. Тот тайно принял его с дочерью на борт своего корабля на пустынном берегу Уэльса и доставил их в Грэден, где они должны были пробыть до тех пор, пока судно не снарядится в долгое плавание. Клара не сомневалась, что за это Норсмору была обещана ее рука. Это подтверждалось и тем, что всегда выдержанный и вежливый Норсмор несколько раз позволил себе необычную смелость в словах и поступках.

Надо ли говорить, с каким напряженным вниманием слушал я этот рассказ и своими расспросами старался выяснить то, что в нем оставалось тайной! Все было напрасно. Она сама не представляла себе, откуда и какая именно грозит опасность. Страх ее отца был непритворен и доводил его до полного изнеможения: он не раз подумывал о том, чтобы без всяких условий отдаться на милость властей. Но этот план он позднее оставил, так как пришел к убеждению, что даже крепкие стены наших английских тюрем не укроют его от преследования. В последние годы у него были тесные деловые связи с Италией и с итальянскими эмигрантами в Лондоне, и они-то, по предположению Клары, были каким-то образом связаны с нависшей над ним угрозой. Встреча с моряком-итальянцем на борту «Рыжего графа» повергла ее отца в ужас и вызвала горькие упреки по адресу Норсмора. Тот возражал, что Беппо (так звали матроса) — прекрасный парень, на которого можно положиться, но мистер Хеддлстон с тех пор, не переставая, твердил, что он погиб, что это только вопрос времени и что именно Беппо будет причиной его гибели.

Мне все эти страхи представлялись просто галлюцинацией, вызванной в его расстроенном сознании пережитыми несчастьями. Должно быть, его операции с Италией принесли ему тяжелые убытки, а потому самый вид итальянца был ему несносен и преследовал его в болезненных кошмарах.

— Вашему отцу нужен хороший доктор,— сказал я,— и успокаивающее лекарство.

— Да, но мистер Норсмор? — возразила Клара.— Ведь его не затронуло папино разорение, а он разделяет эти страхи.

Я не мог удержаться, чтобы не высмеять то, что мне представлялось ее наивностью.

— Дорогая моя,— сказал я,— не сами ли вы мне сказали, какой он ожидает награды! В любви все средства хороши, не забудьте этого, и если Норсмор разжигает страхи вашего отца, то вовсе не потому, что он боится какого-то страшного итальянца, а просто потому, что влюблен в очаровательную англичанку.

Она напомнила, как он напал на меня в вечер их высадки,— этого и я не смог объяснить. Короче говоря, мы решили, что я сейчас же отправлюсь в рыбачий поселок Грэден Уэстер и просмотрю все газеты, какие там найду, чтобы доискаться, нет ли реальных оснований для всех этих страхов. На следующее утро в тот же час и в том же месте я должен был рассказать Кларе о результатах. На этот раз она уже не говорила о моем отъезде; более того, она не скрывала своих чувств: мысль, что я близко, очевидно, поддерживала и утешала ее. А я не мог бы оставить ее, даже если бы она на коленях молила меня об этом.

В Грэден Уэстер я пришел в десятом часу; в те годы я был отличным ходоком, а до поселка было, как я уже говорил, не более семи миль пути по упругому дерну. На всем побережье нет поселка угрюмей, а этим много сказано. Церковь прячется в котловине; жалкая пристань скрыта среди скал, на которых нашли гибель многие рыбачьи баркасы, возвращавшиеся с моря. Два или три десятка каменных строений лепятся вдоль бухты двумя улицами, из которых одна ведет к пристани, а другая пересекает первую под прямым углом. На пере-

крестке — закопченная и неприветливая харчевня, заменяющая здесь гранд-отель.

Одетый на этот раз более соответственно своему положению, я тотчас же нанес визит пастору в его маленьком домике возле кладбища. Он узнал меня, хотя прошло более девяти лет с тех пор, как мы последний раз виделись. Я сказал ему, что долго странствовал пешком и не знаю, что творится на свете, и он охотно снабдил меня кипой газет за весь месяц. Я вернулся с этой добычей в харчевню и, заказав завтрак, принялся разыскивать статьи, касающиеся «Краха фирмы Хеддлстона».

По-видимому, это было весьма скандальное дело. Тысячи клиентов были разорены, а один пустил себе пулю в лоб, как только платежи были приостановлены. Но странная вещь: читая все эти подробности, я ловил себя на том, что сочувствую скорее мистеру Хеддлстону, чем его жертвам,— так всецело поглощала уже меня любовь к Кларе. Само собой, за поимку банкира было назначено вознаграждение, и так как банкротство считалось злостным и общественное негодование было велико, назначалась необычно большая сумма вознаграждения — семьсот пятьдесят фунтов стерлингов. Сообщалось, что в распоряжении Хеддлстона остались крупные суммы. О нем ходили разные слухи: что он объявился в Испании, что он скрывается где-то между Манчестером и Ливерпулем или на берегах Уэльса, а на другой день телеграф извещал о его прибытии на Кубу или на Юкатан. Но нигде не было ни слова об итальянцах и никаких следов тайны.

Однако в последней газете было одно не совсем ясное сообщение. Бухгалтеры, разбиравшие дела по банкротству, обнаружили следы многих и многих тысяч, вложенных в свое время в дело Хеддлстона; деньги поступили по безыменному вкладу неизвестно откуда и исчезли неизвестно куда. Только раз было упомянуто имя вкладчика, и то под инициалами «X. X.», а вклад был, по-видимому, сделан лет шесть назад, во время биржевой паники. По слухам, за этими инициалами скрывалась видная коронованная особа. «Трусливому авантюристу (так, помнится мне, называли банкрота газеты), по-видимому, удалось захватить с собой значительную часть этого таинственного вклада, который и посейчас находится в его руках».

Я все еще раздумывал над этим сообщением и мучительно пытался связать его с нависшей над мистером Хеддлстоном угрозой, когда в комнату вошел какой-то человек и с резким иностранным акцентом спросил хлеба и сыру.

— Siete Italiano? [1] — спросил я.

— Si signor [2],— ответил он.

Я сказал, что очень необычно встретить итальянца так далеко на севере, на что он пожал плечами и возразил, что в поисках работы человек забирается и дальше. Я не мог представить себе, на какую работу он может рассчитывать в Грэден Уэстере, и эта мысль так неприятно поразила меня, что я осведомился у хозяина, когда он отсчитывал мне сдачу, видал ли он когда-нибудь у себя в поселке итальянцев. Он сказал, что раз ему привелось видеть норвежцев, когда они потерпели крушение и были подобраны спасательной шлюпкой из Колд-хевена.

— Нет! — сказал я.— Не норвежцев, а итальянцев, вот как тот, что сейчас спрашивал у вас хлеба и сыру.

— Что? — закричал он.— Этот черномазый, который тут скалил зубы? Так это макаронник? Ну, такого я еще не видывал да, надеюсь, больше и не увижу.

Он еще говорил, когда, подняв глаза и взглянув на улицу, я увидел, что всего в тридцати ярдах от двери оживленно разговаривают трое мужчин. Один из них был недавний посетитель харчевни, а двое других, судя по их красивым смуглым лицам и широкополым мягким шляпам, были его соотечественники. Деревенские ребятишки гурьбой собрались вокруг них и лопотали что-то бессвязное, передразнивая их говор и жесты. На этой угрюмой, грязной улице, под мрачным серым небом это трио казалось каким-то чужеродным пятном, и, сознаюсь, в этот момент спокойствие мое было разом поколеблено и уже никогда не возвращалось ко мне. Я мог вволю рассуждать о призрачности угрозы, но не мог разрушить впечатления от виденного и начал разделять этот «итальянский ужас».

Уже смеркалось, когда, вернув газеты пастору, я снова углубился в пустошь. Я никогда не забуду этого пути. Становилось очень холодно и ветрено, ветер шелестел у меня под ногами сухой травой; порывами нале-

[1] Вы итальянец? (*итал.*)
[2] Да, сударь (*итал.*).

тал мелкий дождь; из недр моря громадной грядою гор вставали облака. Трудно было представить себе вечер хуже этого, и то ли под его влиянием, то ли оттого что нервы у меня были взвинчены тем, что я видел и слышал, мысли мои были так же мрачны, как и погода.

Из верхних окон павильона видна была значительная часть пустоши со стороны Грэден Уэстера. Чтобы не быть замеченным, нужно было держаться берега бухты, а затем под прикрытием песчаных дюн добраться по котловинам до опушки леса. Солнце близилось к закату, был час отлива, и пески обнажились. Я шел, охваченный своими тягостными мыслями, как вдруг остановился, словно пораженный молнией, при виде следов человека. Следы тянулись параллельно моему пути, но ближе к берегу, и когда я осмотрел их, то убедился, что здесь проходил чужой человек. Более того, по той беспечности, с которой он подходил к самым страшным местам топи, было ясно, что он вообще нездешний и не знал, чем грозила ему Грэденская бухта.

Шаг за шагом я прослеживал отпечатки, пока четверть мили спустя не увидел, что они обрываются у юго-восточного края Грэденской топи. Вот где погиб этот несчастный! Две-три чайки, вероятно, видевшие, как он был засосан песком, кружили над местом его упокоения с обычным своим унылым плачем. Солнце последним усилием прорвалось сквозь облака и окрасило обширные просторы отмелей пурпуровым светом. Я стоял и смотрел на ужасное место, угнетенный и встревоженный собственными мыслями и сильным, непобедимым дыханием смерти. Помнится, я раздумывал, сколько времени продолжалась его агония и долетели ли его предсмертные вопли до павильона. Потом, собравшись с духом, я уже приготовился покинуть это место, как вдруг порыв ветра необычайной силы пронесся над этой частью бухты, и я увидел, как, то высоко взлетая в воздух, то легко скользя по поверхности песков, ко мне приближалась мягкая черная фетровая шляпа конической формы, точно такая, какую я видел на голове у итальянцев. Мне кажется сейчас, хотя я и не уверен, что я тогда закричал. Ветер гнал шляпу к берегу, и я побежал, огибая границу топи, чтобы поймать ее. Порывы ветра утихли, шляпа на мгновение задержалась на зыбучих песках, потом ветер, снова усилившись, опустил ее в нескольких шагах от меня. Вы можете себе представить, с каким любопытством

я схватил ее! Она была не новая, более поношенная, чем те, которые я видел сегодня на итальянцах. У нее была красная подкладка с маркой фабриканта, имя которого я сейчас забыл, но под которым стояло слово «Venedig». Так (если вы еще это помните) произносили австрийцы название прекрасной Венеции, тогда и еще долгое время спустя находившейся под их игом.

Удар был сокрушителен. Мне повсюду мерещились воображаемые итальянцы, и я в первый и, могу сказать, в последний раз за всю свою жизнь был охвачен паническим ужасом. Я еще не знал, чего мне следует бояться, но, признаюсь, боялся до глубины души и с облегчением вернулся в свою ничем не защищенную одинокую ложбину в лесу.

Там, чтобы не разводить огня, я поел немного холодной овсянки, остававшейся с вечера, затем, подкрепленный и успокоившийся, отбросил все фантастические страхи и спокойно улегся спать.

Не могу сказать, сколько времени я спал, но внезапно был разбужен ослепительной вспышкой света, ударившей мне прямо в лицо. Она разбудила меня, как удар. В тот же миг я был уже на ногах. Но свет погас так же внезапно, как и зажегся. Тьма была непроглядная. И так как с моря свирепо дул ветер и хлестал дождь, эти звуки бури начисто заглушали все прочие.

Признаюсь, прошло с полминуты, прежде чем я пришел в себя. Если бы не два обстоятельства, я бы подумал, что меня разбудило какое-то новое и весьма осязательное воплощение моих кошмаров. Первое: входной клапан моей палатки, который я тщательно завязал, когда вошел в нее, теперь был развязан; и второе — я все еще чувствовал с определенностью, исключавшей всякую галлюцинацию, запах горячего металла и горящего масла. Вывод был ясен: я был разбужен кем-то, кто направил мне в лицо вспышку потайного фонаря. Только вспышку и на мгновение. Он увидел мое лицо и ушел. Я спрашивал себя о причине такого странного поведения, и потом ответ пришел сам собою. Человек, кто бы он ни был, думал узнать меня и не узнал. Был еще один нерешенный вопрос, и на него, признаюсь, я даже боялся ответить; если бы он узнал меня, что бы он сделал?

Страх мой за себя тотчас же рассеялся: я понял, что меня посетили по ошибке; но с тем большей уверенностью я убедился, какая страшная опасность угрожает

павильону. Требовалось немало решимости, чтобы выйти в темную чащу, нависшую над моим убежищем, но я ощупью пробирался по дороге к дюнам, сквозь потоки дождя, исхлестанный и оглушенный шквалами, опасаясь на каждом шагу наткнуться на притаившегося врага. Было так непроглядно темно, что, окружи меня сейчас целая толпа, я бы этого не заметил. А буря ревела с такой силой, что слух был бесполезен, как и зрение.

Весь остаток ночи, которая казалась мне бесконечно длинной, я бродил вокруг павильона, не встретив ни души, не услышав ни звука, кроме согласного хора ветра, моря и дождя. Сквозь щель ставен одного из верхних окон пробивался луч света, который подбадривал меня до наступления зари.

ГЛАВА ПЯТАЯ

О ВСТРЕЧЕ НОРСМОРА СО МНОЙ И КЛАРОЙ

С первыми проблесками дня я ушел с открытого места в свою обычную засаду, чтобы там в дюнах дождаться прихода Клары. Утро было пасмурное, ненастное и тоскливое; ветер стих перед рассветом, но потом усилился и налетал порывами с побережья; море начало успокаиваться, но дождь все еще хлестал немилосердно. По всему простору отмелей не видно было ни души. Но я был уверен, что где-то по соседству притаились враги. Фонарь, так неожиданно и внезапно ослепивший меня во сне, и шляпа, занесенная ветром на берег с Грэденской топи,— этих двух предупреждений было вполне достаточно, чтобы судить, какая опасность угрожает Кларе и всем обитателям павильона.

Было, должно быть, половина или без четверти восемь, когда дверь отворилась и милая девушка пошла ко мне, пробиваясь сквозь дождь. Я встретил ее на берегу.

— Едва удалось вырваться,— сказала она.— Не хотели пускать меня по дождю.

— Клара,— спросил я.— Вы не боитесь?

— Нет,— сказала она так просто, что это меня успокоило.

Жена моя была самая храбрая, самая лучшая из женщин; по опыту я убедился, что качества эти далеко

не всегда совместимы, а у нее редкое бесстрашие соединялось с чисто женской нежностью и обаянием.

Я рассказал ей все происшедшее со вчерашнего утра, и, хотя щеки ее заметно побледнели, она сохранила полное спокойствие.

— Теперь вы видите, что мне ничто не угрожает,— сказал я под конец,— мне они не хотят зла. В противном случае я был бы уже мертв.

Она положила мне руку на плечо.

— А я в это время крепко спала! — воскликнула она.

То, как она это сказала, привело меня в восторг. Я обнял ее и привлек к себе. Прежде чем мы опомнились, ее руки были у меня на плечах и я поцеловал ее. И все же и тогда ни слова не было сказано нами о любви. И сейчас я ощущаю прикосновение ее щеки, мокрой и холодной от дождя, и часто потом, когда она умывалась, я целовал ее, в память того утра на морском берегу. Теперь, когда я лишился ее и в одиночестве кончаю свой жизненный путь, я вспоминаю нежность и глубину того чувства, которое соединяло нас, и это умеряет горечь моей потери.

Так прошло, быть может, несколько секунд — время влюбленных летит быстро,— а затем нас вспугнул раздавшийся вблизи громкий смех. Смех был не веселый, а натянутый, скрывавший недоброе чувство. Мы обернулись, хотя моя левая рука все еще обнимала талию Клары и она не пыталась высвободиться, и в нескольких шагах от себя увидели Норсмора. Он стоял, опустив голову, заложив руки за спину, и даже ноздри у него побелели от ярости.

— А! Кессилис! — сказал он, когда я повернулся к нему.

— Он самый,— сказал я без всякого смущения.

— Так вот как, мисс Хеддлстон,— продолжал он медленно и злобно — вот как вы храните верность вашему отцу и слово, данное вами мне! Вот как цените вы жизнь вашего отца! И вы настолько увлечены этим молодым джентльменом, что готовы пренебречь своей репутацией, законами приличия и самой элементарной осмотрительностью...

— Мисс Хеддлстон...— начал я, стараясь прервать его, но он, в свою очередь грубо оборвал меня.

— А вы помолчите! — сказал он.— Я обращаюсь к этой девушке.

— Эта девушка, как вы ее называете, моя жена,— сказал я, и моя жена крепче прижалась ко мне; я понял, что она одобряет мои слова.

— Ваша кто? — крикнул он.— Вы лжете!

— Норсмор,— сказал я,— мы все знаем ваш бешеный нрав, но меня не проймут никакие ваши оскорбления. Поэтому советую вам говорить потише: я уверен, что нас слушают.

Он оглянулся, и видно было, что мое замечание несколько утишило его ярость.

— Что вы хотите сказать? — спросил он.

Я ответил одним словом:

— Итальянцы.

Он крепко выбранился и перевел взгляд с меня на Клару.

— Мистер Кессилис знает все, что я знаю,— сказала моя жена.

— А мне хотелось бы знать,— начал он,— какого черта мистер Кессилис явился сюда и какого черта он здесь намеревается делать? Вы изволили заявить, что женаты,— этому я не верю. А если это так, Грэденская топь вас скоро разведет: четыре с половиной минуты, Кессилис. У меня собственное кладбище для друзей!

— Итальянец тонул несколько дольше,— сказал я.

Он посмотрел на меня, слегка озадаченный, и потом почти вежливо попросил меня рассказать все, что я знаю.

— У вас все козыри в игре, мистер Кессилис,— добавил он.

Я, конечно, согласился удовлетворить его любопытство, и он выслушал меня, не в силах удержать восклицаний, когда я рассказывал ему, как очутился в Грэдене, как он чуть не заколол меня в вечер высадки, и о том, что я узнал об итальянцах.

— Так! — сказал он, когда я кончил.— Теперь дело ясное, ошибки быть не может. А что, осмелюсь спросить, вы намереваетесь делать?

— Я думаю остаться с вами и предложить свою помощь,— ответил я.

— Вы храбрый человек,— отозвался он с какой-то странной интонацией.

— Я не боюсь.

— Так, значит,— протянул он,— насколько я понимаю, вы поженились? И вы решитесь сказать это мне прямо в глаза, мисс Хеддлстон?

— Мы еще не обвенчаны,— сказала Клара,— но сделаем это при первой возможности.

— Браво! — закричал Норсмор.— А уговор? Черт возьми, вы ведь неглупая девушка, с вами можно говорить начистоту! Как насчет уговора? Вы не хуже меня знаете, от чего зависит жизнь вашего отца. Стоит мне только умыть руки и удалиться, как его прирежут еще до наступления ночи.

— Все это так, мистер Норсмор,— нисколько не теряясь, ответила она.— Но только вы этого никогда не сделаете. Уговор этот недостоин джентльмена, а вы, несмотря ни на что, джентльмен, и вы никогда не покинете человека, которому сами же протянули руку помощи.

— Вот как! — сказал он.— Так вы полагаете, что я предоставлю вам мою яхту задаром? Вы полагаете, что я стану рисковать своей жизнью и свободой ради прекрасных глаз старого джентльмена, а потом, чего доброго, буду шафером на вашей свадьбе? Что ж,— добавил он с какой-то кривой усмешкой,— положим, что вы способны поверить этому. Но спросите вот Кессилиса. Он-то знает меня. Можно ли мне довериться? Так ли я безобиден и совестлив? Так ли я добр?

— Я знаю, что вы много говорите и, случается, очень глупо,— ответила Клара.— Но я знаю, что вы джентльмен, и ни капельки не боюсь.

Он посмотрел на нее с каким-то странным одобрением и восхищением, потом обернулся ко мне.

— Ну, а вы думаете, что я уступлю ее без борьбы, Фрэнк? — сказал он.— Говорю вам вперед: берегитесь! Когда мы с вами схватимся во второй раз...

— То это будет уже в третий,— прервал я его с усмешкой.

— Да, верно, в третий,— сказал он.— Я совсем забыл. Ну что же, третий раз — решительный!

— Вы хотите сказать, что в третий раз вы кликнете на помощь команду вашей яхты?

— Вы слышите его? — спросил он, обернувшись к моей жене.

— Я слышу, что двое мужчин разговаривают, как трусы,— сказала она.— Я бы презирала себя, если бы

думала или говорила так, как вы. И ни один из вас сам не верит ни слову из того, что говорит, и тем это противнее и глупее!

— Вот это женщина! — воскликнул Норсмор.— Но пока еще она не миссис Кессилис. Молчу, молчу. Сейчас не мое время говорить.

Тут моя жена изумила меня.

— Мне пора уходить,— вдруг сказала она.— Мы слишком надолго оставили отца одного. И помните: вы должны быть друзьями, если каждый из вас считает себя моим другом.

Позднее она объяснила мне, почему поступила именно так. При ней, говорила она, мы продолжали бы ссориться, и я полагаю, что она была права, потому что, когда она ушла, мы сразу перешли на дружеский тон.

Норсмор смотрел ей вслед, пока она уходила по песчаным дюнам.

— Нет другой такой женщины в целом свете! — воскликнул он, сопровождая эти слова проклятием.— Надо же было придумать!

Я, со своей стороны, воспользовался случаем, чтобы выяснить обстановку.

— Скажите, Норсмор,— сказал я,— похоже, что все мы сильно влопались?

— Не без того, милейший,— выразительно ответил он, глядя мне прямо в глаза.— Сам Вельзевул со всеми его чертями! Можете мне поверить, что я трясусь за свою жизнь.

— Скажите мне только,— сказал я,— чего им надо, этим итальянцам? Чего им надо от мистера Хэддлстона?

— Так вы не знаете? — вскричал он.— Старый мошенник хранил деньги карбонариев — двести восемьдесят тысяч — и, разумеется, просадил их, играя на бирже. На эти деньги собирались поднять восстание где-то в Триденте или Парме. Ну-с, восстание не состоялось, а обманутые устремились за мистером Хеддлстоном. Нам чертовски посчастливится, если мы убережем нашу шкуру!

— Карбонарии! — воскликнул я.— Это — дело серьезное!

— Еще бы! — сказал Норсмор.— А теперь вот что: как я сказал вам, мы в отчаянном положении, и помощи вашей я буду рад. Если мне и не удастся спасти Хеддлстона, то девушку надо непременно спасти. Идемте к нам

в павильон, и вот вам моя рука: я буду вам другом, пока старик не будет спасен или мертв. Но,— добавил он,— после этого вы снова мой соперник, и предупреждаю — тогда берегитесь!

— Идет,— сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Ну, а теперь скорее в нашу крепость,— сказал Норсмор и повел меня туда сквозь дождь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ТОМ, КАК Я БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН СТАРИКУ

Мы были впущены в павильон Кларой, и при этом меня поразила тщательность и надежность обороны. Очень крепкая, но легко отодвигаемая баррикада ограждала дверь от всякого вторжения, а ставни столовой, как я разглядел при слабом свете лампы, были укреплены еще старательней: доски были подперты брусьями и поперечинами, которые укреплялись, в свою очередь, целой системой скреп и подпорок. Это было прочное и хорошо рассчитанное устройство, и я не мог скрыть своего восхищения.

— Это я орудовал,— сказал Норсмор.— Помните, в саду были толстые доски? Ну так вот они. Узнаете?

— Я и не подозревал в вас таких талантов.

— Вы вооружены? — спросил он, указывая на целый арсенал ружей и револьверов, в образцовом порядке стоявших у стен и лежавших на буфете.

— Спасибо,— сказал я.— Со времени нашей последней встречи я хожу вооруженным. Но, сказать по правде, я больше думаю о том, что со вчерашнего дня ничего не ел.

Норсмор достал холодного мяса, за которое я рьяно принялся, и бутылку старого бургундского, от которого я, промокший до нитки, тоже не отказался. Я всегда принципиально придерживался крайней умеренности, но неразумно доводить принцип до абсурда, и на этот раз я осушил бутылку на три четверти. За едой я все еще продолжал восхищаться тем, как подготовлена оборона.

— Мы способны выдержать осаду,— сказал я.

— Пожалуй,— протянул Норсмор.— Недолгую осаду — пожалуй. Пугает меня не слабость обороны, а полная безвыходность положения. Если мы начнем стре-

лять, то, как ни пустынна эта местность, кто-нибудь, наверное, услышит, а тогда не все ли равно — умереть за тюремной решеткой или под ножом карбонария? Таков выбор. Чертовски плохо у нас иметь против себя закон, я это много раз говорил старому джентльмену. Он, впрочем, сам того же мнения.

— Кстати,— спросил я,— что он за человек?

— Это вы о Хеддлстоне? — спросил Норсмор.— Порочен до мозга костей. По мне, пусть хоть завтра же ему свернут шею все черти, какие только есть в Италии! В это дело я впутался не ради него. Вы меня понимаете? Я уговорился получить руку этой барышни и своего добьюсь!

— Это-то я понимаю,— сказал я.— Но как отнесется мистер Хеддлстон к моему вторжению?

— Предоставьте это Кларе,— сказал Норсмор.

Я чуть было не отвесил ему пощечину за эту грубую фамильярность, но я был связан перемирием, как, впрочем, и Норсмор, так что, пока не исчезла опасность, в наших отношениях не было ни облачка. Я отдаю ему должное с чувством самого искреннего удовлетворения, да и сам не без гордости вспоминаю, как вел себя в этом деле. Ведь вряд ли можно было представить себе положение более щекотливое и раздражающее.

Как только я покончил с едой, мы отправились осматривать нижний этаж. Мы перепробовали все подпорки у окон, кое-где сделали незначительные исправления, и удары молотка зловеще раздавались по всему дому. Я, помнится, предложил проделать бойницы, но Норсмор сказал, что они уже проделаны в ставнях верхнего этажа. Этот осмотр был мало приятен и привел меня в уныние. Надо было защищать две двери и пять окон, а нас, считая и Клару, было только четверо против неизвестного числа врагов. Я поделился своими опасениями с Норсмором, который невозмутимо уверил меня, что полностью разделяет их.

— Еще до наступления утра,— сказал он,— все мы будем перебиты и погребены в Грэденской топи. Наш приговор подписан.

Я не мог не содрогнуться при упоминании о зыбучих песках, но напомнил Норсмору, что наши враги пощадили меня ночью в лесу.

— Не обольщайтесь надеждой,— сказал он.— Тогда вы не были в одной лодке со старым джентльменом, а

теперь в нее уселись. Всех нас ожидает топь, помяните мое слово.

Я еще больше испугался за Клару, а тут как раз ее милый голосок позвал нас наверх. Норсмор указал мне дорогу и, поднявшись по лестнице, постучал в дверь комнаты, которую называли «дядюшкиной спальней», так как строитель павильона предназначал ее специально для себя.

— Входите, Норсмор, входите, дорогой мистер Кессилис,— послышался голос.

Распахнув дверь, Норсмор пропустил меня вперед. Входя, я увидел, что Клара выскользнула через боковую дверь в смежную комнату, где была ее спальня. На кровати, которая не стояла уже возле окна, где я ее в последний раз видел, а была сдвинута к задней стене, сидел Бернард Хеддлстон, обанкротившийся банкир. Я только мельком видел его в колеблющемся свете фонаря на берегу, но узнал без труда. Лицо у него было продолговатое и болезненно желтое, окаймленное длинной рыжей бородой и бакенбардами. Приплюснутый нос и широкие скулы придавали ему какой-то калмыцкий вид, а его светлые глаза лихорадочно блестели. На нем была черная шелковая ермолка, перед ним на кровати лежала огромная библия, заложенная золотыми очками, а на низкой этажерке у постели громоздилась кипа книг. Зеленые занавеси отбрасывали на его щеки мертвенные блики. Он сидел, обложенный подушками, согнув свое длинное туловище так, что голова находилась ниже колен. Я думаю, что, не умри он другой смертью, его все равно через несколько недель доконала бы чахотка.

Он протянул мне руку, длинную, тощую и до отвращения волосатую.

— Входите, входите, мистер Кессилис,— сказал он.— Еще один покровитель, гм... еще один покровитель. Друг моей дочери, мистер Кессилис, для меня всегда желанный гость. Как они собрались вокруг меня, друзья моей дочери! Да благословит и наградит их за это небо!

Конечно, я протянул ему руку, я не мог не сделать этого, но та симпатия, которую я готов был питать к отцу Клары, была развеяна его видом и неискренним, льстивым тоном.

— Кессилис очень полезный человек,— сказал Норсмор.— Один стоит десяти.

— Вот и я это слышал!— с жаром вскричал мистер

Хеддлстон.— Так и дочь мне говорила. Ах, мистер Кессилис, как видите, грех мой обратился против меня! Я грешен, очень грешен, но каюсь в своих прегрешениях. Нам всем надо будет предстать перед судом всевышнего, мистер Кессилис. Я и то запоздал, но явлюсь на суд с покорностью и смирением...

— Слышали, слышали! — грубо прервал его Норсмор.

— Нет, нет, дорогой Норсмор! — закричал банкир.— Не говорите так, не старайтесь поколебать меня. Не забудьте, дорогой, милый мальчик, не забудьте, что сегодня же я могу быть призван моим создателем.

Противно было смотреть на его волнение, но я начинал возмущаться тем, как Норсмор, взгляды которого мне были хорошо известны и вызывали у меня только презрение, продолжал высмеивать покаянное настроение жалкого старика.

— Полноте, дорогой Хеддлстон,— сказал он.— Вы несправедливы к себе. Вы душой и телом человек мира сего и обучились всем грехам еще до того, как я родился. Совесть ваша выдублена, как южноамериканская кожа, но только вы позабыли выдубить и вашу печень, а отсюда, поверьте мне, и все ваши терзания.

— Шутник, шутник, негодник этакий! — сказал мистер Хеддлстон, погрозив пальцем.— Конечно, я не ригорист и всегда ненавидел эту породу, но и в грехе я никогда не терял лучших чувств. Я вел дурную жизнь, мистер Кессилис, не стану отрицать этого, но все началось после смерти моей жены, а вы знаете, каково приходится вдовцу. Грешен, каюсь. Но ведь не отъявленный же злодей. И уж если на то пошло... Что это? — внезапно прервал он себя, подняв руку, растопырив пальцы, напряженно и боязливо вслушиваясь.— Нет, слава богу, это только дождь,— помолчав немного, добавил он с невыразимым облегчением.

Несколько секунд он лежал, откинувшись на подушки, близкий к обмороку. Потом немного пришел в себя и несколько дрожащим голосом снова принялся благодарить меня за участие, которое я собирался принять в его защите.

— Один вопрос, сэр,— сказал я, когда он на минуту остановился.— Скажите, правда ли, что деньги и теперь при вас?

Вопрос этот ему очень не понравился, но он нехотя согласился, что небольшая сумма у него есть.

— Так вот,— продолжал я,— ведь они добиваются своих денег? Почему бы их не отдать?

— Увы! — ответил он, покачивая головой.— Я уже пытался сделать это, мистер Кессилис, но нет! Как это ни ужасно, они жаждут крови!

— Хеддлстон, не надо передергивать,— сказал Норсмор.— Вам следовало бы добавить, что вы предлагали тысяч на двести меньше, чем вы им должны. О разнице стоило бы упомянуть: это, как говорится, кругленькая сумма. И эти итальянцы рассуждают по-своему вполне резонно. Им кажется, как, впрочем, и мне, что раз уж они здесь, они могут получить и деньги и кровь — и баста.

— А деньги в павильоне? — спросил я.

— Тут. Но лучше бы им быть на дне моря,— сказал Норсмор и внезапно закричал на мистера Хеддлстона, к которому я стоял спиной: — Что это вы мне строите гримасы? Вы что, думаете, что Кессилис предаст вас?

Мистер Хеддлстон поспешил уверить, что ничего такого ему и в голову не приходило.

— Ну то-то же! — угрюмо оборвал его Норсмор.— Вы рискуете в конце концов наскучить нам. Что вы хотели предложить? — обратился он ко мне.

— Я собирался предложить вам на сегодня вот что,— сказал я.— Давайте-ка вынесем эти деньги, сколько их есть, и положим перед дверьми павильона. И если придут карбонарии, ну что ж, деньги-то ведь принадлежат им...

— Нет, нет,— завопил мистер Хеддлстон,— не им! Во всяком случае, не только им, но всем кредиторам. Все они имеют право на свою долю.

— Слушайте, Хеддлстон,— сказал Норсмор,— к чему эти небылицы?

— Но как же моя дочь? — стонал презренный старик.

— О дочери можете не беспокоиться. Перед вами два жениха, из которых ей придется выбирать,— Кессилис и я, и оба мы не нищие. А что касается вас самого, то, по правде говоря, вы не имеете права ни на один грош, и к тому же, если я не ошибаюсь, вам и жить-то осталось недолго.

Без сомнения, жестоко было так говорить, но мистер Хеддлстон не вызывал к себе сочувствия, и, хотя он дрожал и корчился, я не только одобрил в душе эту отповедь, но прибавил к ней и свое слово.

— Норсмор и я охотно поможем вам спасти жизнь,— сказал я,— но не скрываться с награбленным добром.

Видно было, как он боролся с собой, чтобы не поддаться гневу, но осторожность победила.

— Мои дорогие друзья,— сказал он,— делайте со мной и моими деньгами все, что хотите. Я всецело доверяюсь вам. А теперь дайте мне успокоиться.

И мы покинули его, признаюсь, с большим облегчением.

Уходя, я видел, что он снова взялся за свою большую библию и дрожащими руками надевал очки, собираясь читать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О ТОМ, КАК МЫ УСЛЫШАЛИ СКВОЗЬ СТАВНИ ОДНО ТОЛЬКО СЛОВО

Воспоминание об этом дне навсегда запечатлелось в моей памяти. Норсмор и я, мы оба были уверены, что нападение неизбежно, и если бы в наших силах было изменить хотя бы последовательность событий, то, наверное, мы постарались бы приблизить, но никак не отсрочить критический момент. Можно было опасаться самого худшего, но мы не могли себе представить ничего ужаснее того ожидания, которое мы переживали. Я никогда не был рьяным читателем, но всегда любил книги, а в это утро все они казались мне несносными, и я, едва раскрыв, бросал их. Позднее даже разговаривать стало невозможно. Все время то один, то другой из нас прислушивался к какому-нибудь звуку или оглядывал сквозь верхнее окно пустые отмели. А между тем ничто не говорило о присутствии итальянцев.

Снова и снова обсуждалось мое предложение относительно денег, и будь мы способны рассуждать здраво, мы, конечно, отвергли бы этот план как неразумный, но мы были настолько поглощены тревогой, что ухватились за последнюю соломинку и решили попытать счастья,

хотя это только выдавало присутствие мистера Хеддлстона.

Деньги были частью в звонкой монете, частью в банкнотах, частью же в чеках на имя некоего Джеймса Грегори. Мы достали все, пересчитали, вложили снова в сундучок Норсмора и заготовили письмо итальянцам, которое прикрепили к ручке. В нем было клятвенное заявление за подписью нас обоих, что здесь все деньги, спасенные от банкротства Хеддлстона. Быть может, это был безумнейший из поступков, на который способны были два, по их собственному мнению, здравомыслящих человека. Если бы сундучок попал не в те руки, для которых он предназначался, выходило, что мы письменно сознавались в преступлении, совершенном не нами. Но, как я уже говорил, тогда мы не способны были здраво судить о вещах и страстно желали хоть чем-нибудь — все равно, дурным или хорошим — нарушить нестерпимое ожидание беды. Более того, так как мы оба были уверены, что впадины между дюнами полны лазутчиков, наблюдающих за каждым нашим шагом, то мы надеялись, что наше появление с сундучком может привести к переговорам и, как знать, даже к соглашению.

Было около трех часов дня, когда мы вышли из павильона. Дождь прекратился, светило солнце. Я никогда не видел, чтобы чайки летали так низко над домом и так безбоязненно приближались к людям. Одна из них тяжело захлопала крыльями над моей головой и пронзительно прокричала мне в самое ухо.

— Вот вам и знамение,— сказал Норсмор, который, как все вольнодумцы, был во власти всяческих суеверий.— Они думают, что мы уже мертвы.

Я ответил на это шуткой, но довольно натянутой, потому что обстановка действовала и на меня.

Мы поставили наш сундучок за два или три шага от калитки на лужайку мягкого дерна, и Норсмор помахал в воздухе белым платком. Никто не отозвался. Мы громко кричали по-итальянски, что посланы, чтобы уладить дело, но тишина нарушалась только чайками и шумом прибоя. У меня было тяжело на душе, когда мы прекратили наши попытки, и я увидел, что даже Норсмор был необычно бледен. Он нервно озирался через плечо, как будто опасаясь, что кто-то сидит в засаде на пути к двери.

— Бог мой! — прошептал он.— Я, кажется, этого не вынесу!

Я отвечал ему тоже шепотом:

— А что, если их вовсе и нет?

— Смотрите,— возразил он, слегка кивнув, как будто боялся указать рукой.

Я посмотрел в том направлении и над северной частью леса увидел тоненький синий дымок, упрямо подымавшийся в безоблачное теперь небо.

— Норсмор,— сказал я (мы все еще разговаривали шепотом),— это ожидание невыносимо. Смерть и то лучше. Оставайтесь здесь охранять павильон, а я пойду и удостоверюсь, хотя бы пришлось дойти до самого их лагеря.

Он еще раз огляделся, прищурив глаза, и потом утвердительно кивнул головой.

Сердце у меня стучало, словно молот в кузнице, когда я быстро шел по направлению к дымку, и хотя до сих пор меня бросало в озноб, теперь я почувствовал, что весь горю. Местность в этом направлении была очень изрезана, в ее складках на моем пути могли бы укрыться сотни людей. Но я недаром исходил эти места и выбирал дорогу по гребням так, чтобы сразу обозревать несколько ложбин между дюнами. И вскоре я был вознагражден за эту уловку. Быстро взбежав на бугор, возвышавшийся над окружающими дюнами, я увидел шагах в тридцати согнутую фигуру человека, со всей ему доступной быстротой пробиравшегося по дну ложбины. Это явно был один из лазутчиков, которого я поднял из засады, громко окликнув его по-английски и по-итальянски. Он, видя, что прятаться теперь бессмысленно, выпрямился, выпрыгнул из ложбины и, как стрела, понесся к опушке леса.

Преследовать его не входило в мою задачу. Я удостоверился в своих догадках: мы в осаде и под наблюдением — и, сейчас же повернув назад, пошел по своим следам к тому месту, где Норсмор ожидал меня у сундучка. Он был еще бледнее, чем когда я его оставил, и голос его слегка дрожал.

— Видели вы его лицо? — спросил он.

— Только спину,— ответил я.

— Пойдемте в дом, Фрэнк. Я не считаю себя трусом, но больше я так не могу,— прошептал он.

Все вокруг было солнечно и спокойно, когда мы вошли в дом; даже чайки пустились в дальний облет, и

видно было, как они мелькали над бухтой и над дюнами. Эта пустота ужасала меня больше целого полчища врагов. Только когда мы забаррикадировали дверь, у меня немного отлегло от сердца, и я перевел дух. Норсмор и я обменялись взглядами, и, должно быть, каждый из нас отметил бледность и растерянность другого.

— Вы были правы,— сказал я.— Все кончено. Пожмем руки в память старого и в последний раз.

— Хорошо,— ответил он.— Вот моя рука, и поверьте, что я протянул вам ее без задней мысли. Но помните: если каким-нибудь чудом мы ускользнем из рук этих злодеев, я всеми правдами и неправдами одолею вас.

— Вы надоели мне! — сказал я.

Его это, казалось, задело; он молча дошел до лестницы и остановился.

— Вы меня не понимаете,— сказал он.— Я веду честную игру и только защищаюсь, вот и все. Надоело это вам или нет, мистер Кессилис, мне решительно все равно. Я говорю, как мне вздумается, а не для вашего удовольствия. Вы бы шли наверх ухаживать за девушкой. Я останусь здесь.

— И я останусь с вами,— сказал я.— Вы что же, думаете, что я способен на нечестный удар, хотя бы и с вашего соизволения?

— Фрэнк,— сказал он с улыбкой,— как жаль, что вы такой осел! У вас задатки мужчины. И, должно быть, это уже веяние смерти: как вы ни стараетесь разозлить меня, вам это не удается. Знаете что? — продолжал он.— Мне кажется, что мы с вами несчастнейшие люди во всей Англии. Мы дожили до тридцати лет без жены, без детей, без любимого дела — жалкие горемыки оба. И надо же было нам столкнуться из-за девушки! Да их миллионы в Соединенном королевстве! Ах, Фрэнк, Фрэнк, жаль мне того, кто проиграет свой заклад! Все равно, вы или я. Лучше бы ему...— как это говорится в Библии? — лучше, если бы мельничный жернов повесить ему на шею и бросить его в море... Давайте-ка выпьем! — предложил он вдруг очень серьезно.

Я был тронут его словами и согласился. Он присел за стол и поднял к глазам стакан хереса.

— Если вы одолеете меня, Фрэнк,— сказал он,— я запью. А вы что сделаете, если я возьму верх?

— Право, не знаю,— сказал я.

— Ну,— сказал он,— а пока вот вам тост: «Italia irridenta!» [1].

Остаток дня прошел все в том же томительном ожидании. Я накрывал на стол, в то время как Норсмор и Клара приготовляли обед на кухне. Расхаживая взад и вперед, я слышал, о чем они говорили, и меня удивило, что разговор шел все время обо мне. Норсмор опять включил нас в одну скобку и называл Клару разборчивой невестой; но обо мне он продолжал говорить с уважением, а если в чем и порицал, то при этом не щадил и себя. Это вызвало у меня благодарное чувство, которое в соединении с ожиданием неотвратимой нашей гибели наполнило глаза мои слезами. «Вот ведь,— думал я, и самому мне смешна была эта тщеславная мысль,— вот здесь нас три благородных человека, гибнущих, чтобы спасти грабителя-банкира!»

Прежде чем сесть за стол, я поглядел в одно из верхних окон. День клонился к закату. Отмель была до жути пустынна. Сундучок все стоял на том же месте, где мы его оставили.

Мистер Хеддлстон в длинном желтом халате сел на одном конце стола, Клара — на другом, тогда как Норсмор и я сидели друг против друга. Лампа была хорошо заправлена, вино — отличное, мясо, хотя и холодное, тоже первого сорта. Мы как бы молча уговорились тщательно избегать всякого упоминания о нависшей катастрофе, и, принимая во внимание трагические обстоятельства, обед прошел веселее, чем можно было ожидать. Правда, время от времени Норсмор или я поднимались из-за стола, чтобы осмотреть наши запоры, и каждый раз мистер Хеддлстон, как бы вспоминая о своем положении, озирался вокруг. Глаза его, казалось, стекленели, а лицо выражало ужас. Но потом он поспешно осушал свой стакан, вытирал лоб платком и снова вступал в разговор.

Я был поражен умом и образованностью, которые он при этом обнаруживал. Мистер Хеддлстон был, несомненно, незаурядный человек, он много читал, много видел и здраво судил о вещах. Хоть я никогда бы не мог заставить себя полюбить этого человека, но теперь я начинал понимать причины его успеха в жизни и того почета, который его окружал до банкротства. К тому же

[1] За воссоединенную Италию! (*итал.*)

он был светский человек, и хотя я единственный раз слышал его и при таких неблагоприятных обстоятельствах, но и сейчас считаю его одним из самых блестящих собеседников, каких мне приходилось встречать.

Он с большим юмором и, по-видимому, без всякого осуждения рассказывал о проделках одного мошенника-купца, которого он знавал и наблюдал в дни своей юности, и все мы слушали его со смешанным чувством веселого удивления и неловкости, как вдруг наша беседа была внезапно оборвана самым ошеломляющим образом.

Рассказ мистера Хеддлстона был прерван таким звуком, словно кто-то провел мокрым пальцем по стеклу. Все мы сразу побледнели, как полотно, и замерли на месте.

— Улитка,— сказал я наконец; я слышал, что эти твари издают звук вроде этого.

— Какая там к черту улитка! — сказал Норсмор.— Тише!

Тот же самый звук повторился дважды, с правильными интервалами, а потом сквозь ставни раздался громовой голос, произнесший итальянское слово: «Iraditore» [1].

У мистера Хеддлстона откинулась назад голова, его веки задрожали, и он без сознания повалился на стол. Норсмор и я подбежали к стойке и вооружились. Клара вскочила и схватилась за горло.

Так мы стояли в ожидании, полагая, что сейчас последует атака; мгновение проходило за мгновением, но все вокруг павильона было безмолвно, слышался только звук прибоя.

— Скорее,— сказал Норсмор,— отнесем его наверх, пока они не пришли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О КОНЦЕ ХЕДДЛСТОНА

Кое-как нам удалось соединенными усилиями дотащить Хеддлстона наверх и уложить его в постель в «дядюшкиной спальне». При этом ему сильно досталось,

[1] Предатель (*итал.*).

но он не подавал признаков жизни и остался лежать, как мы его положили, не шевельнув пальцем. Дочь расстегнула ему ворот и стала смачивать его грудь и голову, а мы с Норсмором побежали к окну. Было по-прежнему ясно, поднялась полная луна и ярко освещала отмель, но как мы ни напрягали глаза, не могли обнаружить никакого движения. А относительно нескольких темных пятен среди бугров нельзя было сказать ничего определенного: это могли быть и притаившиеся люди и просто тени.

— Слава богу,— сказал Норсмор,—что Эгги не собиралась к нам сегодня.

Это было имя его старой няни; до сих пор он о ней не вспоминал, и то, что он мог думать о ней сейчас, изумило меня в этом человеке.

Опять нам оставалось только ждать. Норсмор подошел к камину и стал греть руки у огня, словно ему было холодно. Я невольно следил за ним и при этом повернулся спиной к окну. Вдруг снаружи раздался слабый звук выстрела, пуля пробила одно из стекол и впилась в ставню дюймах в двух от моей головы. Я слышал, как вскрикнула Клара, и хотя я сейчас же отскочил от окна и укрылся в углу, она была уже возле меня, стараясь убедиться, что я невредим. Я почувствовал, что за такую награду готов подставлять себя под выстрелы каждый день и целыми днями. Я старался успокоить ее как можно ласковее, совершенно забыв обо всем происходящем, но голос Норсмора вернул меня к действительности.

— Духовое ружье,— сказал он.— Они хотят расправиться с нами без шума.

Я отстранил Клару и посмотрел на него. Он стоял спиной к огню, заложив руки назад, и по мрачному выражению его лица я понял, какие страсти кипели в нем. Точно такое же выражение было у него в тот мартовский вечер, когда он напал на меня вот тут, в соседней комнате, и хотя я готов был всячески извинить его гнев, признаюсь: мысль о последствиях приводила меня в трепет. Он смотрел прямо перед собой, но краешком глаза мог видеть нас, и ярость его вздымалась, как нараставший шквал. Ожидая битвы, которая предстояла нам с внешним врагом, я начал бояться этой внутренней распри.

Не отрываясь, я следил за выражением его лица, готовясь к худшему, как вдруг увидел в нем перемену — мгновенное просветление. Он взял лампу, возбужденно обратился к нам.

— Необходимо выяснить одно обстоятельство,— сказал он.— Намереваются ли они прикончить всех нас или только Хеддлстона? Интересно, приняли они вас за него или этот знак внимания был предназначен именно вам?

— Они меня приняли за него,— сказал я.— В этом нет сомнения. Я почти такого же роста, и волосы у меня светлые.

— Ну что ж, проверим,— возразил Норсмор и шагнул к окну, держа лампу на уровне головы. Так он простоял, играя со смертью, с полминуты.

Клара пыталась броситься к нему и оттащить его от опасного места, но я с простительным эгоизмом удержал ее силой.

— Да,— сказал Норсмор невозмутимо, отходя от окна.— Да, им нужен только Хеддлстон.

— О мистер Норсмор! — воскликнула Клара и не нашлась, что прибавить: действительно, бесстрашие, им проявленное, было выше всяких слов.

А он посмотрел на меня, торжествующе закинув голову, и я сразу понял, что он так рисковал своей жизнью только затем, чтобы привлечь внимание Клары и свести меня с пьедестала героя дня. Он щелкнул пальцами.

— Ну, огонь еще только разгорается,— сказал он.— Когда они разгорячатся за работой, они не будут так щепетильны.

Вдруг послышался голос, окликавший нас у калитки. В окно нам видна была при лунном свете фигура мужчины. Он стоял неподвижно, подняв голову, и в протянутой руке у него был какой-то белый лоскут. И хотя он стоял далеко от нас, видно было, что глаза его отражают лунный блеск. Он снова открыл рот и несколько минут говорил так громко, что его слышно было не только в любом закоулке нашего павильона, но, вероятно, и на опушке леса. Это был тот самый голос, который прокричал слово «предатель» сквозь ставни столовой. На этот раз он объяснил очень внятно: если предатель «Оддлстон» будет выдан, всех остальных пощадят, в противном случае ни один не уцелеет, во избежание огласки.

— Ну, Хеддлстон, что вы на это скажете? — спросил Норсмор, обернувшись к постели.

До этого момента банкир не подавал признаков жизни; я по крайней мере предполагал, что он по-прежнему лежит без сознания, но он тотчас отозвался и с исступлением горячечного больного умолял, заклинал нас не покидать его. Я никогда не был свидетелем зрелища отвратительнее и позорнее этого.

— Довольно! — крикнул Норсмор.

Он распахнул окно, высунулся по пояс и, разъяренный, словно позабыв, что здесь присутствует женщина, обрушил на голову парламентера поток самой отборной брани, как английской, так и итальянской, и посоветовал ему убираться туда, откуда он пришел. Я думаю, что в эту минуту Норсмор просто упивался мыслью, что еще до окончания ночи мы все неминуемо погибнем.

Тем временем итальянец сунул свой белый флаг в карман и не спеша удалился.

— Они ведут войну по всем правилам,— сказал Норсмор.— Они все джентльмены и солдаты. По правде сказать, мне бы очень хотелось быть на их стороне, мне и вам, Фрэнк, и вам тоже, милая моя барышня, и предоставить защиту вот этого создания,— он указал на постель,— кому-нибудь другому. Да-да, не прикидывайтесь возмущенными! Все мы на пороге того, что называется вечностью, так уж не стоит лукавить хоть в последние минуты. Что касается меня, то если бы я мог сначала задушить Хеддлстона, а потом обнять Клару, я с радостью, гордясь собой, пошел бы на смерть. От поцелуя-то я и сейчас не откажусь, черт побери!

Не дав мне времени вмешаться, он грубо схватил девушку в объятия и, несмотря на ее сопротивление, несколько раз поцеловал ее. В последующее мгновение я оттащил его от Клары и яростно отшвырнул к стене.

Он захохотал громко и продолжительно, и я испугался, что рассудок его не выдержал напряжения, потому что даже в лучшие дни он смеялся редко и сдержанно.

— Ну, Фрэнк,—сказал он, когда веселье его слегка улеглось,— теперь ваш черед. Вот вам моя рука. Прощайте, счастливого пути!

Потом, видя, что я возмущен его поведением и стою, словно оцепенелый, загораживая от него Клару, он продолжал:

— Да не злитесь, дружище! Что же, вы собираетесь и умирать со всеми вашими церемониями и ужимками светского человека? Я сорвал поцелуй и очень этому рад. Следуйте моему примеру, и будем квиты.

Я отвернулся, охваченный презрением, которого и не думал скрывать.

— Ну, как вам угодно,— сказал он.— Ханжой вы жили, ханжой и умрете.

С этими словами он уселся в кресло, положив ружье на колени, и для развлечения стал щелкать затвором, но я видел, что этот взрыв легкомыслия — единственный у него на моей памяти — уже окончился и его сменило угрюмое и злобное настроение.

За это время осаждающие могли бы ворваться в дом и застать нас врасплох; в самом деле, мы совсем забыли об угрожавшей нам опасности. Но тут раздался крик мистера Хеддлстона, и он спрыгнул с кровати.

— Что случилось? — спросил я.

— Горим! — закричал он.— Они подожгли дом!

Норсмор и я мгновенно вбежали в соседнюю комнату. Она была ярко освещена полыхавшим пламенем. Как раз когда мы открыли дверь, перед окном взметнулся целый смерч огня, и лопнувшее со звоном стекло усеяло ковер осколками. Они подожгли пристройку, где Норсмор хранил свои негативы.

— Тепло! — сказал Норсмор.— А ну-ка, в вашу прежнюю комнату!

В ту же секунду мы были там, распахнули ставни и выглянули наружу.

Вдоль всей задней стены павильона были сложены и подожжены кучи хвороста. Вероятно, они были политы керосином, потому что, несмотря на то, что утром шел дождь, ярко пылали. Пламя охватило уже всю пристройку и с каждым мгновением вздымалось все выше и выше; задняя дверь была в самом центре пылающего костра; поглядев вверх, мы увидели, что карниз уже дымился, потому что далеко выступавшую крышу поддерживали массивные деревянные балки. В то же время клубы горячего, едкого, удушливого дыма стали наполнять дом. Вокруг не видно было ни души.

— Ну что ж! — сказал Норсмор.— Вот, слава богу, и конец!

И мы вернулись в «дядюшкину спальню». Мистер Хеддлстон надевал башмаки, все еще дрожа, но с таким

решительным видом, какого я у него раньше не замечал. Клара стояла рядом с ним, держа в руках пальто, которое она собиралась накинуть на плечи; в глазах ее было странное выражение: она то ли на что-то надеялась, то ли сомневалась в своем отце.

— Ну-с, леди и джентльмены,— сказал Норсмор,— как вы насчет прогулки? Очаг разожжен, и оставаться тут — значит в нем изжариться. Что до меня, я хотел бы до них дорваться, а там и делу конец.

— Другого выхода нет,— сказал я.

— Нет,— повторили за мной Клара и мистер Хеддлстон, но совершенно различным тоном.

Мы спустились вниз. Жар был едва переносим, и рев огня оглушал нас. Едва мы вышли в переднюю, как там лопнуло стекло, и огненный язык ворвался в отверстие, осветив весь павильон зловещим пламенем. В то же самое время мы услышали, как наверху грохнуло что-то тяжелое. Ясно было, что весь дом пылал, как спичечная коробка, и не только освещал море и сушу подобно гигантскому факелу, но каждую минуту мог обрушиться нам на голову.

Норсмор и я взвели курки револьверов. Мистер Хеддлстон, который отказался от оружия, отстранил нас повелительным жестом.

— Пусть Клара раскроет дверь,— сказал он.— Тогда, если они дадут залп, она будет прикрыта дверью. А вы пока станьте за мной. Я козел отпущения. Грех мой настиг меня.

Я слышал, стоя за его плечом с оружием наготове, как он бормочет молитвы прерывистым, быстрым шепотом, и сознаюсь, что, как ни ужасно это может показаться, я презирал его, помышлявшего о каких-то мольбах в этот страшный, решительный час. Между тем Клара, смертельно бледная, но сохранившая присутствие духа, отодвинула баррикаду у входа. Еще мгновение — и она широко раскрыла дверь. Пожар и луна освещали отмель смутным, изменчивым светом, и мы видели, как далеко по небу тянулась полоса багрового дыма.

Мистер Хеддлстон, на мгновение обретший несвойственную ему решимость, резко толкнул меня и Норсмора локтями в грудь, и мы еще не успели сообразить, в чем дело, и помешать ему, как он, высоко подняв руки над головой, словно для прыжка в воду, выбежал вон из павильона.

— Вот я! — кричал он.— Я Хеддлстон! Убейте меня и пощадите остальных!

Его внезапное появление, должно быть, ошеломило наших врагов, потому что Норсмор и я успели опомниться и, подхватив Клару под руки, броситься к нему на выручку, прежде чем что-либо произошло. Но только мы переступили порог, как из-за всех бугров и дюн сверкнули огоньки и раздались выстрелы. Мистер Хеддлстон пошатнулся, отчаянно и пронзительно вскрикнул и, раскинув руки, упал навзничь.

— Iraditore! Iraditore! — закричали невидимые мстители.

Огонь распространялся так быстро, что часть крыши в этот миг рухнула. Громкий, странный и устрашающий звук сопровождал этот обвал. Огромный столб пламени высоко поднялся в небо; его, вероятно, видно было в открытом море миль за двадцать от берега — и в Грэден Уэстере и с пика Грейстил, крайней восточной оконечности гряды Колдер Хиллс.

Каковы бы ни были по воле божьей похороны Бернарда Хеддлстона, но погребальный костер его был великолепен.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О ТОМ, КАК НОРСМОР ОСУЩЕСТВИЛ СВОЮ УГРОЗУ

Мне очень трудно рассказать вам о том, что последовало за этими трагическими событиями. Когда я оглядываюсь на эти минуты, все мне представляется смутным, напряженным и беспомощным, как бредовый кошмар больного. Я вспоминаю, что Клара как-то прерывисто всхлипнула и упала бы на землю, если бы Норсмор и я не поддержали ее безжизненное тело. Нас никто не тронул. Я, кажется, даже не видел ни одного из нападавших, и мы покинули мистера Хеддлстона, даже не взглянув на него. Помню, что я бежал, как человек, охваченный паникой, неся Клару то один, то вместе с Норсмором, то вновь отнимая у него дорогую ношу.

Почему мы выбрали своей целью мой лагерь и как мы добрались туда — все это совершенно стерлось из моей памяти. Первое, что отчетливо вспоминается мне,

был момент, когда мы уронили Клару около моей палатки и сами катались возле нее по траве. Норсмор с упорной яростью колотил меня по голове рукояткой револьвера. Он нанес мне две раны в голову, и последовавшей потери крови я приписываю внезапное прояснение моих мыслей.

Я схватил его за руку.

— Норсмор,— как сейчас помню, сказал я.— Убить меня вы всегда успеете, поможем сначала Кларе.

Он уже совсем одолевал меня. Но, услышав эти слова, он тотчас вскочил на ноги, и мы бросились к палатке. В следующее мгновение он уже прижимал Клару к сердцу и целовал ее бесчувственное лицо и руки.

— Стыдитесь! — закричал я.— Стыдитесь, Норсмор!

И, еще не поборов головокружения, я стал бить его по голове и плечам.

Он выпустил Клару и посмотрел мне в лицо при бледном свете луны.

— Вы были в моей власти, и я отпустил вас,— сказал он.— А теперь вы нападаете на меня. Трус!

— Это вы трус,— ответил я.— Разве она позволила бы вам целовать себя, будь она в сознании? Никогда! А теперь она, может быть, умирает, а вы теряете драгоценное время и пользуетесь ее беспомощностью! Пустите ее и дайте мне оказать ей помощь.

Он с минуту смотрел на меня, бледный и угрожающий, потом внезапно отошел в сторону.

— Ну так помогайте!

Я стал на колени возле нее и, как умел, ослабил завязки ее платья, но в это время тяжелая рука опустилась на мое плечо.

— Руки прочь от нее! — яростно сказал Норсмор.— Вы что же, думаете, что у меня в жилах вода?

— Норсмор! — закричал я.— Вы и сами не можете помочь ей и мне не даете. Не мешайте, а то я убью вас!

— Вот это лучше! — закричал он.— Ну и пусть ее умирает. Подумаешь, важность! Прочь от этой девушки — и готовьтесь к бою!

— Заметьте,— сказал я, приподнимаясь,— я ни разу не поцеловал ее.

— Только попробуйте! — крикнул он.

Не знаю, что на меня нашло. Ни одного своего поступка в жизни я так не стыжусь, хотя, как утверждала моя жена, я знал, что мои поцелуи желанны ей, живой или мертвой. Я снова упал на колени, откинул ей волосы со лба и с почтительной нежностью коснулся этого холодного лба губами. То был почти отеческий поцелуй — достойное прощание мужчины на пороге смерти с женщиной, уже преступившей этот порог.

— А теперь,— сказал я,— я к вашим услугам, мистер Норсмор.

Но, к моему изумлению, он стоял, повернувшись ко мне спиной.

— Вы слышите? — спросил я.

— Да,— сказал он,— слышу. Если хотите драться, я готов. Если нет, попытайтесь спасти Клару. Мне все равно.

Я не заставил себя просить; склонившись над Кларой, я продолжал свои усилия оживить ее. Она по-прежнему лежала бледная и безжизненная. Я уже начинал пугаться, что жизнь в самом деле покинула ее. Ужас и отчаяние охватили мое сердце. Я звал ее по имени, вкладывая в это слово всю свою душу, я гладил и растирал ее руки, то опускал ее голову, то приподнимал, кладя к себе на колени. Но все было напрасно, и веки тяжело закрывали ее глаза.

— Норсмор,— сказал я,— вот моя шляпа. Ради бога, скорее воды из ручья!

Почти в ту же минуту он уже стоял около меня с водой.

— Я зачерпнул своей шляпой,— сказал он.— Вы не ревнуете?

— Норсмор...— начал было я, поливая водой ее голову и грудь, но он свирепо прервал меня.

— Да молчите вы! Вам теперь лучше всего молчать!

У меня и в самом деле не было большой охоты говорить. Мои мысли были всецело поглощены заботой о моей любимой и ее жизни. Итак, я молча продолжал свои старания оживить ее, и когда шляпа опустела, возвратил ее Норсмору с одним только словом: «Еще!» Уж не помню, сколько раз он ходил за водой, как вдруг Клара открыла глаза.

— Ну,— сказал он,— теперь, когда ей стало лучше, вы можете обойтись и без меня, не так ли? Желаю вам доброй ночи, мистер Кессилис!

И с этими словами он скрылся в чаще. Я развел костер, потому что теперь уже не боялся итальянцев, которые не тронули мои оставленные в лагере скромные пожитки; и, как ни потрясена была Клара переживаниями вчерашнего вечера, мне удалось — убеждением, ободрением, теплым словом и теми простыми средствами, которые оказались у меня под рукой,— привести ее в себя и несколько подкрепить физически.

Уже совсем рассвело, когда из чащи раздался резкий свист. Я вскочил на ноги, но сейчас же послышался голос Норсмора, который произнес очень спокойно:

— Идите сюда, Кессилис, но только один. Я хочу вам кое-что показать.

Я взглядом посоветовался с Кларой и, получив ее молчаливое согласие, оставил ее и выбрался из ложбины. На некотором расстоянии я увидел Норсмора, прислонившегося к стволу. Как только он заметил меня, он зашагал к берегу. Я почти нагнал его, еще не доходя до опушки.

— Смотрите,— сказал он, остановившись.

Еще два шага, и я выбрался из чащи. На всем знакомом мне пейзаже лежал холодный, ясный свет утра. На месте павильона было черное пожарище, крыша провалилась внутрь, один из фронтонов обвалился, и от здания по всем направлениям тянулись подпалины обгорелого дерна и кустарников. В неподвижном утреннем воздухе все еще высоко вздымался прямой тяжелый столб дыма. В оголенных стенах дома ярко тлела куча головешек, как угли на тагане. Возле самого острова дрейфовала парусная яхта, и искусные руки гребцов быстро гнали к берегу большую шлюпку.

— «Рыжий граф»! — закричал я.— «Рыжий граф»! Ну что бы ему быть здесь вчера!

— Осмотрите карманы, Фрэнк. Где ваш револьвер? — спросил Норсмор.

Я повиновался и, должно быть, смертельно побледнел. Револьвер мой исчез.

— Вот видите, вы опять в моей власти,— продолжал он.— Я обезоружил вас еще вечером, когда вы нянчились с Кларой. Но сегодня нате ваш пистолет. И без благодарностей! — крикнул он.— Не терплю их! Теперь только этим вы и можете взбесить меня.

Он пошел по отмели навстречу шлюпке, и я шел шагах в двух за ним. Проходя мимо павильона, я остановился посмотреть на то место, где упал мистер Хеддлстон, но там не было никаких следов не только его тела, но даже крови.

— Грэденская топь,— сказал Норсмор.

Он продолжал идти до самого берега бухты.

— Дальше не надо,— сказал он.— Если хотите, отведите ее в Грэден-хаус.

— Благодарю вас,— ответил я.— Я постараюсь устроить ее у пастора в Грэден Уэстере.

Нос шлюпки зашуршал по гальке, и на берег с веревкой в руках выскочил один из матросов.

— Подождите минуту, ребята! — закричал Норсмор и добавил тише, только для меня: — Лучше бы вам не рассказывать ей ничего об этом.

— Напротив! — воскликнул я.— Она узнает все, что я сумею ей рассказать.

— Вы меня не понимаете,— возразил он с большим достоинством.— Этим вы ее не удивите. Другого она от меня и не ждала. Прощайте! — добавил он, кивнув головой.

Я протянул ему руку.

— Простите,— сказал он.— Я знаю, что это мелко но для меня это слишком. Не хочу этих сентиментальных бредней — седовласый странник у вашего домашнего очага и все такое прочее... Наоборот, надеюсь, что никогда не увижу вас обоих.

— Да благословит вас бог, Норсмор! — сказал я от всего сердца.

— Да, конечно,— протянул он.

Мы спустились к воде; матрос помог ему войти в шлюпку, оттолкнулся от берега и прыгнул в нее сам. Норсмор сел к рулю. Шлюпка закачалась на волнах, и весла в уключинах заскрипели в утреннем воздухе резко и размеренно. Когда из-за моря поднялось солнце, они уже были на полпути к «Рыжему графу», а я все еще смотрел им вслед.

Еще немного, и рассказ мой будет окончен. Остается сказать, что через несколько лет Норсмор был убит, сражаясь под знаменами Гарибальди за освобождение Тироля.

ОКАЯННАЯ ДЖЕНЕТ

Его преподобие Мердок Соулис очень долго прослужил пастором на болотах в приходе Болвири, что в долине реки Дьюлы. Суровый старик с холодным и жестким лицом, внушавший страх всем своим прихожанам, последние годы он жил совсем один, без родных и без прислуги, в уединенном пасторском домике, стоявшем на отшибе, близ горы Хэнгин-Шоу. Вопреки железному спокойствию в чертах лица взгляд у него был дикий, испуганный и неуверенный, а в то время, когда он беседовал наедине с кем-либо из прихожан о будущем нераскаянных грешников, казалось, будто этот взгляд проникает сквозь грозы времен в страшные тайны вечности. Многие из молодых людей, что бывали у него, готовясь к причастию, приходили в ужас от его речей. Каждое первое воскресенье после семнадцатого августа он читал проповедь на текст из первого послания апостола Петра (гл. V, стих 8): «Диавол, аки лев рыкающий...» В этот день он обычно превосходил самого себя, и слушателей пробирал мороз по коже как от самой проповеди, так и от грозной манеры проповедника. Дети пугались до припадков, а старики после проповеди смотрели пророками и весь день беспрестанно намекали на то, против чего так восставал Гамлет. Пасторский домик стоял над водами Дьюлы, в густой сени деревьев; над ним с одной стороны нависала гора Шоу, а с другой — множество вершин подымалось к небу; почти с самого начала пастырского служения мистера Соулиса осторожные люди стали обходить стороной этот дом, особенно в сумерки; а старики, завсегдатаи деревенской пивной, только покачивали головами при одной мысли о том, чтобы пройти поздним вечером мимо такого дома. Собственно, там было одно особенно страшное место. Дом пастора стоял между рекой и большой дорогой; задняя его стена была обращена к небольшому селению Болвири, в полумиле от него, где была церковь; бедный сад перед домом, огороженный терновником, занимал все пространство между рекой и дорогой. Дом был двухэтажный, с двумя большими комнатами в каждом этаже. Выход из него открывался не прямо в сад, а на мощеную дорожку, которая тоже выходила не в сад, а с одной стороны на большую дорогу, с другой же упиралась в высокие ветлы и кусты бузины, окаймлявшие реку. Вот этот-то кусок дорожки и пользовался среди юных прихожан Болвири особенно дурной славой. Священник часто прогуливался там в сумерки, время от времени прерывая молитву без слов громкими стонами; а когда его не бывало дома и дверь оказывалась заперта, самые отчаянные из школьников, играя в салки, отваживались пробегать с сильно бьющимся сердцем через это место, ставшее легендарным.

Такая атмосфера страха, окружавшая слугу божьего, человека с безупречной репутацией и наделенного твердой верой в господа бога, обычно вызывала удивление и любопытство среди немногих чужаков, которых случай или дело приводили в эту глухую и отдаленную местность. Но даже среди прихожан многие не знали о странных событиях, ознаменовавших первый год служения мистера Соулиса, а из тех, кто был осведомлен лучше, одни были молчаливы по природе, другие же боялись касаться этой темы. И только время от времени кто-нибудь из стариков, набравшись храбрости после третьего стаканчика, рассказывал о том, почему пастор у них и с виду такой странный и живет отшельником.

Пятьдесят лет тому назад, когда мистер Соулис только что приехал в Болвири, он был еще совсем молодой человек, или, как у нас говорили, «сосунок», полный книжной учености: проповеди он читал хорошо, но, как оно и полагается молодому человеку, в делах религии смыслил еще мало. Которые помоложе из прихожан, те очень увлекались его ученостью и умением говорить, а те, что постарше, люди степенные и серьезные, молились за этого молодого человека: им казалось, что он, так сказать, заблуждается на свой счет и приходу это вовсе не на пользу. Это было давно, еще до «умеренных» [1], задолго до них; да ведь все дурное, как и все

[1] Религиозное течение в Шотландии.

хорошее, приходит не сразу, а мало-помалу. Находились и такие люди, которые говорили, что бог покинул университетских профессоров, а молодежи, чем учиться у них, лучше бы сидеть в торфяной яме, как делывали деды, когда их преследовали за веру, с Библией под мышкой и с молитвой в сердце. Как бы то ни было, нечего и сомневаться, что мистер Соулис заучился в этом своем университете: он заботился и беспокоился о многом, но только не о том единственном, о чем нужно было беспокоиться. Книг с собой он привез пропасть, у нас в приходе раньше столько и не видывали, и возчику пришлось порядком с ними побиться; он едва не утопил их в болоте между Черной горой и Килмакерли. Книги были все божественные, само собой, так они, во всяком случае, назывались; а люди серьезные держались того мнения, что куда их столько: ведь слово божие можно завязать в маленький уголок платка. И вот наш пастор сидел над этими книгами дни и ночи — а куда же это годится,— все писал да писал, не иначе; сначала боялись, что он будет сам сочинять проповеди, потом оказалось, что он пишет книжку, а это уж совсем неподходящее дело для такого неопытного молодого человека.

Как бы то ни было, ему полагалось взять себе для хозяйства какую-нибудь приличную, хорошего поведения пожилую женщину, она бы ему и обеды готовила. Кто-то ему указал на одну старуху по имени Дженет Макклоур. Он никого толком не расспросил и взял ее в служанки. А ведь многие ему не советовали, потому что эта Дженет была у почтенных людей нашего прихода на дурном счету. Когда-то давным-давно у нее был ребенок от одного драгуна, к тому же она уже больше тридцати лет не ходила к исповеди, и деревенские мальчишки не раз слышали, как она бормочет что-то себе под нос, в сумерки, на вершине горы Киз-Лоан, а ведь и время и место совсем неподходящие для богобоязненной женщины. Надо, однако, сказать, что сам лорд-помещик первый указал пастору на Дженет, а в те времена наш пастор сделал бы все что хочешь, лишь бы угодить помещику. Когда люди ему стали говорить, будто эта самая Дженет связалась с дьяволом, он ответил, что это, на его взгляд, одно суеверие, а когда ему упомянули про Библию и про Эндорскую волшебницу, он сказал,

что эти дни давно миновали, а дьявол с тех пор укрощен; все это, мол, сущие предрассудки.

Ну, ладно. Когда по деревне прошел слух, что Дженет Макклоур будет служанкой в пасторском доме, то народ и на нее и на него сильно осердился. Некоторые наши женщины не придумали ничего лучше, как пойти к ее дому и выложить ей вслух все то, в чем ее обвиняли, и все, что про нее было известно — от солдатского младенца до двух коров Джона Томсона. Говорить она была не охотница. Когда люди ее не трогали, она им давала волю болтать сколько хотят, а сама молчок — ни «здравствуйте», ни «прощайте», но уж если, бывало, ее заденут за живое, так язык у нее начинал молоть, что твоя мельница. Вот и тут Дженет взбеленилась (припомнила все старые сплетни и мало ли еще что), они ей слово, а она им два; в конце концов женщины до нее добрались, стащили с нее платье и поволокли по деревне к реке, посмотреть: ведьма она или нет, потонет или выплывет? Шум поднялся такой, что слышно было под Хэнгин-Шоу; сама Дженет дралась за десятерых, и долго после этого, чуть ли не по сию пору, у многих наших женщин видны следы от ее когтей; и как бы вы думали, кто подоспел к самому разгару драки? Новый наш пастор (должно быть, за грехи бог его наказал).

— Женщины! — крикнул он (а голос у него был зычный).— Заклинаю вас именем господа, отпустите ее!

Дженет бросилась к нему, едва живая от страха, и стала его молить, христа ради, чтоб он ее спас от погибели, а женщины тоже не отставали и рассказали ему все, что знали про Дженет, а может, даже и больше того.

— Женщина,— спросил он у Дженет,— правда ли все это?

— Как господь меня видит, как господь меня сотворил, ни слова правды тут нету! И про ребенка тоже,— прибавила она.— Я всегда была порядочной женщиной.

— Хочешь ли ты отречься от дьявола и дел его во имя божие передо мной, его недостойным слугою?

Что ж, надо прямо сказать: когда пастор ее спрашивал, она так ухмыльнулась, что всех, кто это видел, бросило в дрожь от страха, и всем было слышно, как зубы у нее застучали друг об дружку; но ничего иного ей

делать не оставалось, и Дженет, подняв кверху руку, отреклась от дьявола и от дел его перед всеми.

— А теперь,— сказал мистер Соулис,— идите по домам, все до одной, и будем молить бога, чтоб он помиловал нас.

Он подал Дженет руку, хоть из одежды на ней мало что оставалось, кроме рубахи, и повел по деревне к ее собственному дому, будто леди-помещицу; а она визжала и хохотала так, что совестно было слушать.

В ту ночь многие почтенные люди долго молились перед сном, а когда наступило утро, такой страх одолел весь приход Болвири, что детишки попрятались и даже взрослые мужчины не решались выйти за дверь. По улице шла Дженет — она или ее подобие,— никто не мог бы сказать наверное: шея у нее была свернута, голова скривилась набок, словно у висельника, и на лице усмешка, словно у трупа, еще не снятого с виселицы. Мало-помалу люди к этому пригляделись и даже стали спрашивать у нее, что такое с ней случилось, но с этого дня она уже не могла говорить, как подобает христианке, а только пускала слюни да стучала зубами, словно ножницами; и начиная с этого дня ни разу ее уста не произнесли имени божьего. Когда она хотела его выговорить, ничего у ней не выходило: видно, ей было невозможно назвать имя божье. Кто знал, в чем тут дело, помалкивал, но уж больше никто не называл эту тварь именем Дженет Макклоур, ибо прежняя Дженет, как все думали, давно была в аду кромешном. Но ведь пастору не прикажешь и рот ему не заткнешь, а он только и твердил в своих проповедях, что о жестокости людской, которая будто бы довела Дженет до паралича, бранил мальчишек, которые ее дразнили и приставали к ней, и в тот же самый вечер взял ее к себе, и стали они жить вдвоем в пасторском доме под горой Хэнгин-Шоу.

Ну, ладно, прошло после этого довольно много времени, и люди праздномыслящие начали было смотреть на это сквозь пальцы и стали даже забывать о том черном деле. О священнике все были теперь самого хорошего мнения: по вечерам он долго сидел за своим писанием. Люди видели, что свеча у него в доме, на берегу Дьюлы, горит и за полночь, и сам он как будто был доволен собой и держался так же, как и прежде, хотя всякому было видно, что он теперь стал совсем не тот.

А что касается Дженет, так она свободно расхаживала всюду, и если она и раньше говорила мало, то теперь и подавно; правда, она никого не трогала, только смотреть на нее было страшно, и все у нас в Болвири удивлялись, как это ей доверили пасторский дом.

К концу июля настала такая погода, какой отродясь не видывали в наших местах: стояла жара, жестокая, гнетущая жара. Стада обессилели и не могли взобраться по склону Черной горы, дети не могли играть и скоро уставали, а к тому же порывы горячего ветра шумели в листве, и временами налетал дождь, но не освежал нисколько. Каждый день мы думали, что к утру, должно быть, соберется гроза, но наступило одно утро и другое утро, а погода была все та же, ни на что не похожая, тяжкая для людей и животных. Из нас никто так не страдал от жары, как мистер Соулис: он не мог ни спать, ни есть — так он говорил церковному совету — и, если он не писал свою книжку, то бродил по окрестностям, словно одержимый, и это в такое время, когда все были рады сидеть дома, в прохладе.

Поблизости от Хэнгин-Шоу, там, где поднимается Черная гора, есть у нас одно огороженное место с этакой чугунной решеткой: в старые времена там как будто было кладбище прихода Болвири, основанное папистами еще до того, как свет господень озарил наше королевство. Сад был большой и, во всяком случае, подходящий для мистера Соулиса: в нем он, бывало, сидел и обдумывал свои проповеди, да и вправду там всегда было пустынно и тихо. Вот сидит он однажды на обрыве Черной горы и видит сначала двух, потом четырех, а там и семерых воронов, они всё летают да летают вокруг старого кладбища. Летали они низко и тяжело и на лету каркали: мистер Соулис понял, что они чего-то испугались и слетели с деревьев. Пастор наш был неробкого десятка, взял да и пошел прямо туда, и как бы вы думали, что он увидел? Внутри ограды, на могиле, сидел кто-то — то ли человек, то ли одна видимость человека. Высокого роста, черный, как ад, и глаза какие-то очень странные[1]. Мистеру Соулису не раз приходилось слышать о черных людях; но в этом черном человеке

[1] В Шотландии распространено поверье, будто дьявол показывается в образе черного человека. Так свидетельствуют процессы ведьм, то же есть и в «Мемориалах» Лоу, этом собрании всего необычного и таинственного. *(Прим. автора.)*

было что-то такое, отчего и пастора бросило в дрожь. Как ни жарко было, его проняло холодом до мозга костей, но он все-таки заговорил с ним и спросил:

— Друг мой, вы как будто нездешний?

Черный человек ничего ему не ответил, а вскочил на ноги и, хромая, отбежал к дальней стене кладбища; однако он все оглядывался на пастора, а тот стоял и глядел ему вслед до тех пор, пока черный человек, перебравшись через стенку кладбища, не побежал к березовой роще. Мистер Соулис, сам не зная, для чего, побежал за ним; но он уже устал от ходьбы, да и погода была жаркая, нездоровая, и сколько он ни старался, а все не мог подобраться поближе к черному человеку; тот только мелькнул раза два среди берез и наконец спустился с горы вниз. А внизу священник увидел его еще раз: хромая и ковыляя, он перешел через реку и направился к пасторскому домику.

Мистеру Соулису не очень-то понравилось, что это страшилище так вольно ведет себя в пасторских владениях; он зашагал быстрее, тоже перебрался через поток и помчался вверх по садовой дорожке, но дьявола, или черного человека, уже нигде не было видно. Пастор вышел на большую дорогу, осмотрелся, но и там никого не было; обошел весь сад кругом — нет нигде черного человека! Прошел он весь сад до конца и не без опасения, что было вполне естественно, приподнял дверную щеколду и вошел к себе в дом — и тут как тут перед ним встала Дженет Макклоур со своей кривой шеей, как будто не слишком довольная тем, что пастор вернулся домой. А его самого, как только он увидел Дженет, вновь пронизал могильный холод.

— Дженет,— спросил пастор,— не видели вы черного человека?

— Черного человека? — отозвалась она.— Упаси боже! Да что вы, пастор! Сколько ни ищи, а у нас в Болвири не сыщешь черного человека.

Но она это говорила не как все люди, а сами можете себе представить как: словно лошадь, которая грызет удила.

— Ну что ж, Дженет,— сказал пастор,— если здесь не было черного человека, значит, я говорил с Врагом рода человеческого.

И сел, а сам весь дрожит, словно в лихорадке, и зубы у него застучали.

— Пустяки! Как только вам не совестно, пастор? — сказала Дженет и дала ему глоточек бренди, которое у нее всегда водилось.

После этого мистер Соулис сейчас же ушел к себе в кабинет, где у него было очень много книг. Комната была длинная, темная, зимой в ней было холодно, как в могиле, и даже в разгаре лета сыро, оттого что пасторский дом стоял у самой реки. Вот он сел и стал думать обо всем, что случилось в Болвири за то время, что он здесь живет; вспомнился ему родной дом и те дни, когда он был еще мальчишкой и бегал по лесам и лугам, а этот черный человек все не выходил у него из головы, словно припев какой-то песни. И чем больше он думал, тем больше ему думалось про черного человека. Он попробовал молиться, да слова никак не шли у него с языка; говорят, пробовал он и писать свою книгу, но и это ему не удалось. Временами ему казалось, что черный человек стоит рядом, и тогда он весь покрывался потом, холодным, как колодезная вода, а временами он приходил в чувство и помнил обо всем этом не больше, чем новорожденный младенец.

Наконец пастор подошел к окну и долго стоял перед ним, глядя на воды Дьюлы. Деревья там растут очень густо, а вода возле пасторского домика глубокая и черная; смотрит он и видит, что Дженет полощет белье на берегу, подоткнув юбку. Она стояла спиной к пастору, и он даже не очень видел, что перед ним. Но вот она обернулась, и он увидел ее лицо. Мистера Соулиса опять пробрала та же холодная дрожь, что пробирала его дважды за этот день, и ему вспомнилось, как люди болтали, будто Дженет давным-давно умерла и сам дьявол вселился в ее холодное, как лед, тело. Пастор отступил немного назад и начал ее пристально разглядывать. Она топтала ногами белье и что-то про себя напевала, и — боже ты мой милостливый, спаси нас! — какое страшное было у нее лицо! Временами она начинала петь громче, но ни один человек, рожденный женщиной, не мог бы понять ни единого слова из ее песни; а иногда начинала поглядывать искоса куда-то вниз, хоть смотреть там было не на что. Омерзение пронизало пастора до самых костей... И это было ему предостережением свыше! Но мистер Соулис все-таки винил одного только себя: как можно думать так дурно о несчастной, свихнувшейся женщине, у которой никого не

было, кроме него. Он помолился за нее и за себя, и выпил холодной воды — еда ему была противна,— и лег на голые доски своей кровати; а наступили уже сумерки.

Эта ночь была такая, какой не запомнят в приходе Болвири: ночь на семнадцатое августа одна тысяча семьсот двенадцатого года. Днем все стояла жара, как мы уже говорили, но в эту ночь было особенно жарко и душно: солнце село в зловещие тучи, и сразу стало темно, как в яме; ни звездочки, ни ветерка; в темноте не видно было собственной ладони перед лицом, и даже старые люди сбрасывали с себя простыни и лежали на своих постелях, задыхаясь от жары. Со всем тем, что было у пастора на душе, не мудрено, что ему не спалось. Он то лежал неподвижно, то метался в кровати; чистая, прохладная постель словно прожигала его насквозь; он то засыпал, то просыпался; то он слышал бой церковных часов, то вой собаки на болоте, словно перед чьей-то смертью; иной раз ему казалось, что по комнате бродят призраки, а может, он видел и чертей. Уж не заболел ли он, так ему подумалось; да он и вправду был болен, но не болезнь его пугала.

Потом в голове у него немного прояснилось, он уселся в одной рубашке на краю постели и снова задумался о черном человеке и о Дженет. Он не мог бы сказать отчего, может, оттого, что ноги у него озябли, но ему пришло в голову, что между этими двумя что-то есть общее и что либо один из них, либо они оба нечистые духи. И как раз в эту минуту в комнате Дженет, которая была рядом, послышался топот и шум, словно там кто-то боролся, потом раздался громкий стук, потом ветер засвистел вокруг всех четырех стен дома, и снова стало тихо, как в могиле.

Мистер Соулис не боялся никого: ни человека, ни дьявола. Он достал огниво, зажег свечу и сделал три шага к двери Дженет. Дверь была заложена щеколдой; он приподнял ее и, распахнув дверь настежь, бесстрашно заглянул в комнату.

Комната у Дженет была большая, такая же большая, как у самого пастора, и обставлена тяжелыми, громоздкими вещами, потому что иной мебели у пастора не водилось. Там стояла кровать о четырех столбах со старинным пологом, стоял еще дубовый шкаф, битком набитый божественными книгами — их поставили здесь, чтоб было посвободнее у пастора в комнате,— да кое-какие вещички Дженет валялись, разбросанные по полу. А самой Дженет нигде не было видно; не было видно и никаких следов борьбы. Пастор вошел (и очень немногие последовали бы за ним), огляделся по сторонам, прислушался. Но ничего не было слышно ни в пасторском доме, ни во всем приходе Болвири, и видно тоже ничего не было, только тени метались вокруг свечи. Вдруг сердце пастора сильно забилось и сразу же замерло, а по волосам словно пробежал холодный ветер; и такую страсть увидели глаза мистера Соулиса! Дженет висела на гвозде рядом со старым дубовым шкафом, голова у нее свалилась на плечо, глаза выкатились из орбит, язык высунулся изо рта, и пятки торчали ровно в двух футах над полом.

«Господи, помилуй нас! — подумал мистер Соулис.— Бедная Дженет умерла».

Он подошел ближе к трупу — и сердце вовсю заколотилось у него в груди: каким уж это образом, человеку даже и судить не подобает, но только Дженет висела на одном гвоздике, на одной тоненькой шерстинке, какой штопают чулки.

Страшно это — очутиться среди ночи одному против таких козней дьявольских, но мистера Соулиса укрепляла вера в господа. Он повернулся и вышел из комнаты, запер за собой дверь, спустился вниз по лестнице, ступая со ступеньки на ступеньку тяжелыми, словно свинец, ногами, и поставил свечу на стол у подножия лестницы. Он не мог ни молиться, ни думать, только весь обливался холодным потом и не слышал ровно ничего, кроме «стук-стук-стук» своего собственного сердца. Так он простоял час, а может, и два — он потом не помнил,— как вдруг услышал смех, какую-то страшную возню и шум наверху; кто-то ходил взад и вперед по той комнате, где висел труп Дженет, а дверь в нее была открыта, хотя пастор помнил хорошо, что запер ее; вслед за этим раздались шаги на площадке лестницы, и ему показалось, будто мертвая Дженет перегнулась через перила и смотрит вниз, на него.

Он опять взял свечу (потому что в доме свет больше ему не был нужен) и тихо, как только мог, выбрался из дома на дорожку, в самый дальний ее конец. Было темно, как в аду; пламя свечи, когда он поставил ее

на землю, горело ровно, как в комнате, не колеблясь; ничто нигде не шевелилось, только воды Дьюлы шипели и плескались о берег, а те нечестивые шаги в доме все приближались, спускаясь по лестнице. Пастор очень хорошо знал эту походку: это была походка Дженет,— и от ее шагов, которые все близились, холод пробрал его еще глубже, до самых кишок. Поручив свою душу ее творцу и хранителю, он стал молиться. «О господи,— взывал он,— дай мне силы на эту ночь, дай мне силы бороться со злом!»

Теперь шаги уже направлялись по коридору к двери; пастор слышал, как рука шуршала, скользя по стене: эта нездешняя гостья словно нащупывала себе дорогу.

Ветлы закачались и зашумели, сталкиваясь ветвями, над холмами пронесся долгий вздох, пламя свечи заметалось: перед ним стоял труп Окаянной Дженет, в ее всегдашнем домотканом платье, в черном платке, все с той же ухмылкой на лице, и голова все так же на плечо; совсем как живая — но только мистер Соулис знал, что она мертвая,— Дженет стояла на пороге пасторского дома.

Удивительно, до чего крепко сидит душа человеческая в его смертном теле! Священник видел все это, и сердце у него не разорвалось.

Дженет недолго стояла на пороге дома: она снова двинулась вперед и медленно пошла к мистеру Соулису, туда, к ветлам, под которыми он стоял. Вся жизнь его тела, вся сила его духа теперь светились и горели в его глазах. Она как будто хотела заговорить, но слов у нее не нашлось, и она сделала ему знак левой рукой. Дохнул ветер, словно кошка фыркнула, задул свечу, ветлы застонали человеческим голосом, и мистер Соулис понял, что останется он жив или умрет, а этому должно положить конец.

— Ведьма, колдунья, дьяволица! — воскликнул он.— Заклинаю тебя властью бога, уходи, если ты мертва, в могилу, если ты проклята богом,— в ад!

И в эту самую минуту божья десница поразила с небес нечестивый призрак: дряхлое, мертвое, оскверненное тело ведьмы, надолго разлученное с могилой и обитаемое дьяволом, вспыхнуло серным огнем и тут же

распалось в прах; грянул гром раскат за раскатом, потом хлынул ливень, и мистер Соулис, кое-как пробравшись сквозь живую изгородь, опрометью бросился бежать в деревню.

В то же утро, когда пробило шесть часов, Джон Кристи видел черного человека около Макл-Керна; но еще не было и восьми, когда его видели около дома менялы в Нокдоу; а немногим позже Сэнди Маклеллан видел, как черный человек спускался по склону с Килмакерли. Тут нечего и сомневаться: это он жил так долго в теле Дженет, но в конце концов ему пришлось все-таки уйти; и с тех пор дьявол больше не появлялся у нас в приходе Болвири.

А для священника это было тяжким испытанием: он долго лежал больной и все бредил; но с того самого часа он и сделался таким, каким вы сейчас его знаете.

ВЕСЕЛЫЕ МОЛОДЦЫ

ГЛАВА I

ЭЙЛИН АРОС

Было прекрасное утро на исходе июля, когда я последний раз отправился пешком в Арос. Накануне вечером я сошел с корабля в Гризеполе. Багаж я оставил в маленькой гостинице, намереваясь как-нибудь приехать за ним на лодке, и после скромного завтрака весело зашагал через полуостров.

Я не был уроженцем этих мест. Все мои предки жили в равнинной Шотландии. Но мой дядя Гордон Дарнеуэй после тяжкой, омраченной нуждой юности и нескольких лет, проведенных в море, нашел себе на островах молодую жену. Ее звали Мери Маклин, она была круглой сиротой, и, когда она умерла, дав жизнь дочери, дядя оказался единственным владельцем Ароса — опоясанной морем фермы. Она приносила ему лишь скудное пропитание, но мой дядя всю жизнь был неудачником и, оставшись с малюткой дочерью на руках, побоялся вновь отправиться на поиски счастья, а так и продолжал жить на Аросе, бессильно проклиная судьбу. Год проходил за годом, не принося ему в его уединении ни довольства, ни душевного покоя. Тем временем поумирали почти все наши родичи на равнинах — нашу семью вообще преследовали неудачи, и, пожалуй, счастье улыбнулось лишь моему отцу, ибо он не только умер последним, но и оставил сыну родовое имя вместе с небольшим состоянием, которое могло поддержать достоинство этого имени. Я учился в Эдинбургском университете, и мне жилось неплохо, но я был очень одинок, пока дядя Гордон не прослышал обо мне у себя на гризеполском Россе и, твердо придерживаясь правила, что кровь не вода, тут же не написал мне, прося считать

Арос моим родным домом. Вот почему я начал проводить каникулы в этой глуши, вдали от людей и удобств городской жизни, в обществе трески и болотных курочек; и вот почему теперь, по окончании занятий, я в это июльское утро так весело возвращался туда.

Росс, как мы его называли,— это полуостров, не очень широкий и не очень высокий, но столь же дикий ныне, как и в первый день творения. С двух сторон его окружает глубокое море, усеянное скалистыми островками и рифами, весьма опасными для кораблей; на востоке же над ним господствуют высокие утесы и крутой пик Бен-Кайо. Говорят, что Бен-Кайо по-гэльски значит «гора туманов», и если это так, то название выбрано очень удачно. Ибо пик, имеющий в высоту более трех тысяч футов, притягивает с моря все облака, и подчас мне даже казалось, что он их сам порождает, ибо и в ясные дни, когда чистое небо простиралось до самого горизонта, Бен-Кайо все равно бывал окутан тучами. Однако это обилие влаги, на мой взгляд, делало гору только красивее: когда солнце озаряло ее склоны, ручьи и мокрые скалы блестели, как драгоценные камни, и сверкание их было видно даже на Аросе, в пятнадцати милях оттуда.

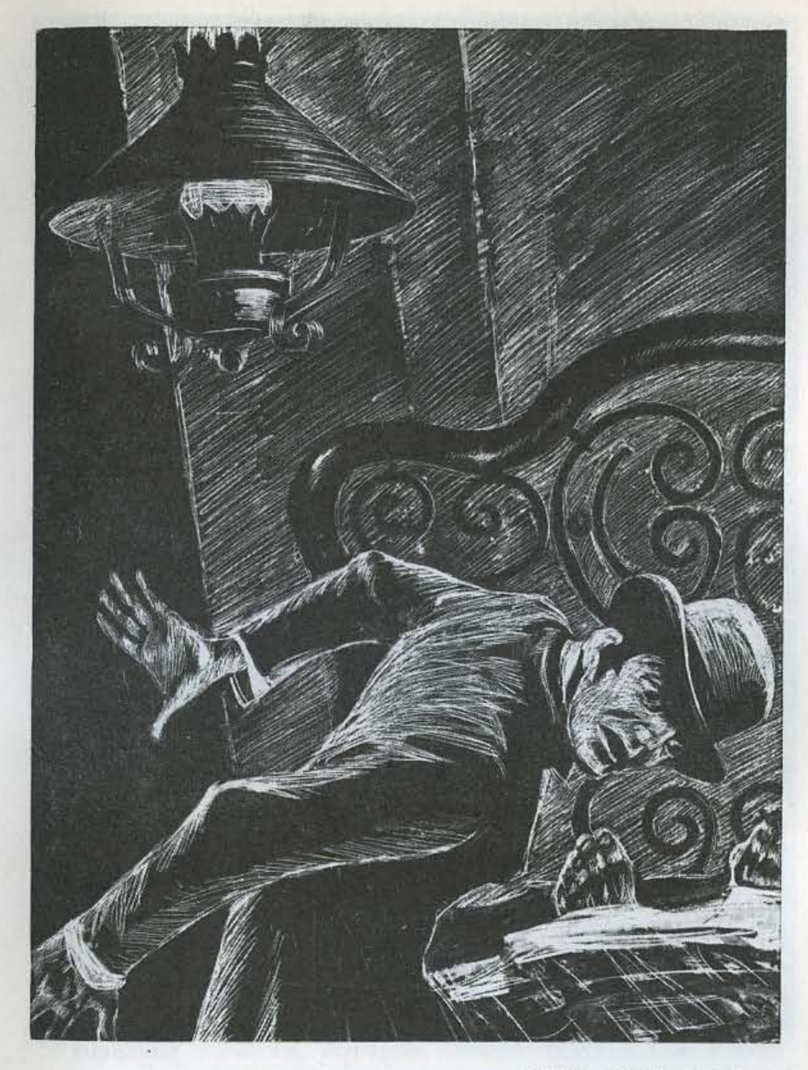
Я шел по овечьей тропке. Она была такой извилистой, что путь мой почти удваивался. Порой она вела по огромным валунам, и мне приходилось прыгать с одного камня на другой, а порой ныряла в сырые ложбины, где мох почти достигал моих колен. Нигде на всем протяжении десяти миль между Гризеполом и Аросом не было видно ни обработанных полей, ни человеческого жилья. На самом деле дома здесь были — целых три, но они отстояли так далеко от тропы, что человек, чужой в этих местах, никогда бы их не обнаружил. Почти весь Росс покрыт большими гранитными скалами, иные из которых по величине превосходят двухкомнатную хижину, а в узких расселинах между ними, среди высоких папоротников и вереска, плодятся гадюки. Откуда бы ни дул ветер, он всегда нес с собой запах моря, столь же соленый, как на кораблях, чайки были столь же законными обитательницами Росса, как болотные курочки, и стоило взобраться на валун, как взгляд поражала яркая синева моря. Весной в ветреные дни мне даже в самом центре полуострова доводилось слышать грозный рев аросского Гребня и громовые, на-

водящие ужас голоса валов, которые мы прозвали Веселыми Молодцами.

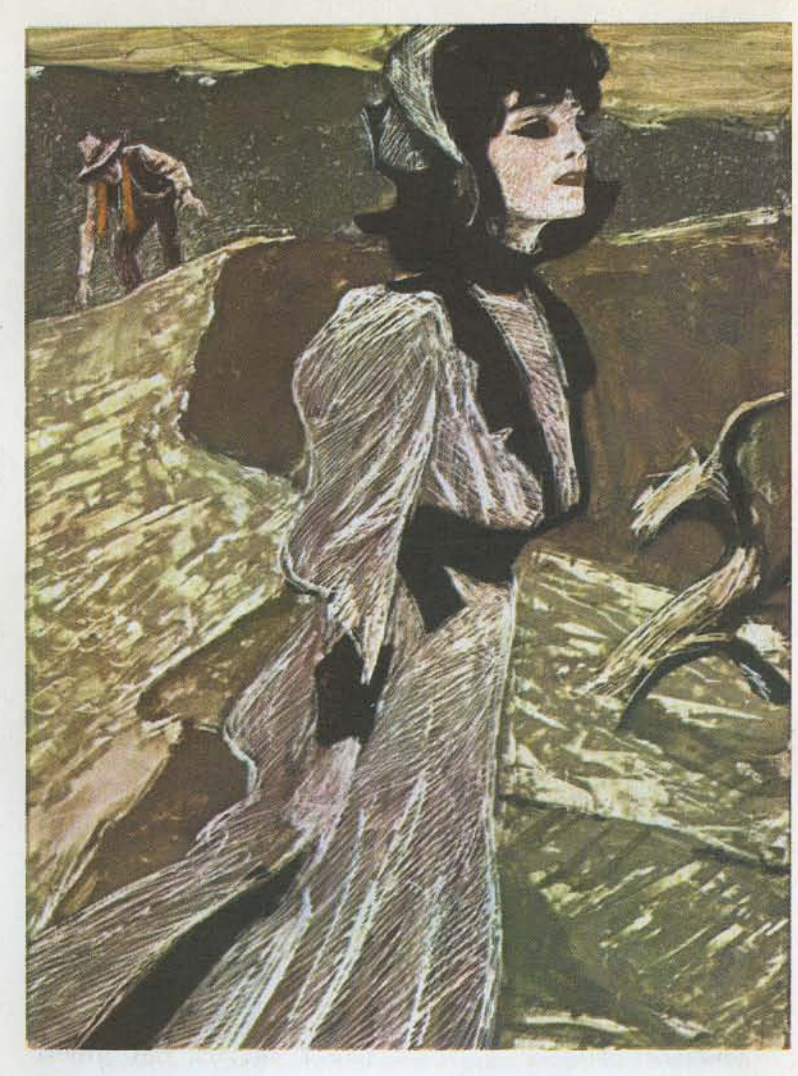
Сам Арос (местные жители называют его Арос-Джей, и, по их утверждению, это означает «Дом Божий»), строго говоря, не относится к Россу, хотя он и не остров в собственном смысле слова. Это клочок суши на юго-западе полуострова, примыкающий к нему почти вплотную и отделенный от него лишь узеньким морским рукавом, не достигающим в самом узком месте и сорока футов ширины. При полном приливе вода в проливчике бывает прозрачной и неподвижной, точно в заводи большой реки, только водоросли и рыбы тут другие, да вода кажется зеленой, а не коричневой. Раза два в месяц при полном отливе с Ароса на полуостров можно перейти посуху. На Аросе было несколько лужков с хорошей травой, где паслись овцы моего дяди. Возможно, трава на островке была лучше потому, что он поднимается над морем немного выше, чем полуостров; впрочем, я слишком плохо разбираюсь в подобных вопросах, чтобы сказать, так ли это. Двухэтажный дом дяди в этих краях считался очень хорошим. Фасадом он был обращен на запад, к бухточке с небольшой пристанью, и с порога мы могли наблюдать, как клубится туман на Бен-Кайо.

По всему побережью Росса, и особенно вблизи Ароса, те огромные гранитные скалы, о которых я уже упоминал, группами спускаются в море, точно скот в летний день. Они торчат там совсем так же, как их соседки на суше, только вместо безмолвной земли между ними всхлипывает соленая вода, вместо вереска на них розовеет морская гвоздика, и у их подножия извиваются не ядовитые сухопутные гадюки, а морские угри. В дни, когда море спокойно, можно долгие часы плавать в лодке по этому лабиринту, где вам сопутствует гулкое эхо, но в бурю... господь спаси и помилуй человека, который заслышит кипение этого котла.

У юго-западной оконечности Ароса этих скал особенно много, и тут они особенно велики. И чем дальше, тем, должно быть, чудовищнее становится их величина, ибо они простираются в море миль на десять и стоят так же часто, как дома на деревенской улице, некоторые — вздымаясь над волнами на тридцать футов, другие — прячась под водой, но те и другие равно гибельные для кораблей. Как-то в погожий день, когда дул



«КЛУБ САМОУБИЙЦ»



«ДОМ НА ДЮНАХ»

западный ветер, я с вершины Ароса насчитал целых сорок шесть подводных рифов, на которых белой пеной дробились тяжелые валы. Однако самая грозная опасность подстерегает корабль у берега, так как прилив здесь, стремительно мчась, точно по мельничному водостоку, образует у оконечности суши длинную полосу сшибающихся волн — Гребень, как мы ее называем. Я часто приходил туда во время полного штиля при отливе, и было очень странно наблюдать, как волны закручиваются в водоворотах, вздуваются и клокочут, точно в водопаде, а порой раздается бормотание и ропот, словно Гребень разговаривает сам с собой. Но когда начинается прилив да еще в бурную погоду, в мире не нашлось бы человека, который сумел бы благополучно провести лодку ближе, чем в полумиле от этого места, и ни один корабль не мог бы уцелеть тут. Рев волн разносится вокруг не меньше, чем на шесть миль. Ближе к открытому морю вода особенно буйствует, и именно там пляшут пляску смерти огромные валы, которые в этих краях были прозваны Веселыми Молодцами. Я слышал, что они достигают в высоту пятидесяти футов, но, конечно, в виду имелась только зеленая вода, так как пена и брызги взлетают вверх и на сто футов. Получили ли они это имя за свои движения, быстрые и прихотливые, или за шум, который они поднимают, сотрясая весь Арос, когда прилив достигает высшей точки, я сказать не могу.

При юго-западном ветре эта часть нашего архипелага превращается в настоящую ловушку. Если бы даже кораблю удалось благополучно миновать рифы и выдержать натиск Веселых Молодцов, его все равно выбросило бы на берег на южной оконечности Ароса в Песчаной бухте, где столько несчастий обрушилось на нашу семью, о чем я теперь и намерен рассказать. Воспоминание обо всех этих опасностях, таящихся в местах, так давно мне знакомых, заставляет меня особенно радоваться работам, которые теперь ведутся там, чтобы построить маяки на мысах и отметить буями фарватеры у берегов наших закованных в скалы, негостеприимных островов.

Местные жители рассказывают немало историй про Арос, и я вдосталь наслушался их от Рори, старого слуги моего дяди, который издавна служил Маклинам и навсегда остался в доме своих прежних хозяев. Суще-

ствовала, например, легенда о неприкаянном морском духе, который обитал в кипящих волнах Гребня, занимаясь там злыми делами. Как-то в Песчаной бухте русалка подстерегла одного волынщика и всю долгую ясную летнюю ночь напролет пела ему, так что наутро он лишился рассудка и с той поры до дня своей смерти повторял только одну фразу. Как она звучала по-гэльски, я не знаю, но переводили ее так: «Ах, чудесное пение, доносящееся из моря!» Были известны случаи, когда тюлени, облюбовавшие эти берега, заговаривали с людьми на человечьем языке и предсказывали великие несчастья. Именно здесь ступил на землю некий святой, когда отправился из Ирландии обращать в христианство жителей Гебридских островов. И право, на мой взгляд он заслуживает названия святого, ибо пройти на утлом суденышке тех далеких времен по такому бурному морю и благополучно высадиться на столь коварном берегу, безусловно, значило сотворить чудо. Ему, а может быть, кому-нибудь из монахов, его учеников, построившему здесь келью, Арос и обязан своим святым и прекрасным названием — Дом Божий.

Однако среди всех этих сказок была одна, которая казалась мне правдоподобнее других. Рассказывали, что буря, разметавшая корабли Непобедимой Армады у северо-западных берегов Шотландии, выбросила один большой галеон на камни Ароса, и он на глазах кучки зрителей на вершине холма через мгновение затонул со всей командой, не спустив флага. Эта легенда могла таить в себе долю истины, потому что другой корабль Армады затонул у северного берега, в двадцати милях от Гризепола. Мне казалось, что эта история рассказывается намного серьезнее и с гораздо большими подробностями, чем остальные предания, а одна деталь и вовсе убедила меня в ее правдивости: легенда сохранила название корабля, и, на мой взгляд, оно, несомненно, было испанским. Он назывался «Эспирито Санто» — огромный корабль со многими пушечными палубами, нагруженными сокровищами, цветом испанской знати и свирепыми «солдадос», который теперь, покончив с войнами и плаваниями, навеки упокоился на дне Песчаной бухты у западной оконечности Ароса. Никогда больше не загремят пушки этого могучего корабля «Дух Святой», и попутный ветер не понесет его в дальние страны, навстречу удаче. Ему остается только тихо

гнить среди чащи водорослей и слушать вопли Веселых Молодцов, когда подымается прилив. С самого начала эта мысль казалась мне удивительной, и она становилась все удивительнее по мере того, как я ближе знакомился с Испанией, откуда этот корабль отплыл в обществе стольких горделивых товарищей, и с королем Филиппом, богатым королем, отправившим его в это плавание.

А теперь я должен сказать вам, что в этот день, когда я шел из Гризепола к Аросу, мои мысли были заняты как раз «Эспирито Санто». Тогдашний ректор Эдинбургского университета, прославленный писатель доктор Робертсон, был обо мне хорошего мнения, и по его поручению я занялся разбором старинных документов, чтобы отделить истинно ценные от неинтересных и ненужных. И вот, к моему большому удивлению, я нашел среди них заметку об этом самом корабле «Эспирито Санто» — в ней указывалось имя капитана, сообщалось, что корабль этот вез значительную часть испанской казны и погиб у Росса под Гризеполом, но где именно, осталось неизвестным, так как полудикие племена, обитавшие там в те времена, не пожелали ничего сообщить королевским чиновникам. Сопоставив между собой все эти сведения — местное предание и результаты расследования, произведенного по приказу короля Якова,— я проникся твердым убеждением, что местом, которое он тщетно разыскивал, могла быть только маленькая Песчаная бухта на островке моего дяди; и будучи человеком практической складки, интересующимся механикой, я с тех пор все время прикидывал, каким способом можно было бы поднять этот галеон со всеми его золотыми слитками и дублонами, чтобы вернуть нашему роду Дарнеуэй его давно забытое достоинство и богатства.

Однако мне вскоре пришлось с раскаянием отказаться от своих планов. Мои мысли внезапно обратились к совсем иным предметам, и с тех пор, как я стал свидетелем странной божьей кары, мысль о сокровищах мертвецов стала мне противна. Но даже и в то время двигали мною не жадность и не корыстолюбие, ибо если я и мечтал о богатстве, то не ради себя, а ради той, которая была бесконечно дорога моему сердцу — ради Мери-Урсулы, дочери моего дяди. Она получила хорошее воспитание и училась в пансионе, хотя бедняжке

жилось бы легче, если бы она прозябала в невежестве. Арос был неподходящим для нее местом; она видела там только старика Рори и своего отца, одного из самых несчастных людей в Шотландии, который вырос в обнищавшем поместье, среди суровых приверженцев Камерона, долгое время плавал между Клайдом и островами, а теперь без всякой охоты занимался овцеводством и ловил рыбу, чтобы прокормить себя и дочь. Если даже я, проводя на Аросе месяц — два, начинал иногда скучать, то представьте, как тяжко приходилось Мери, которая была вынуждена жить в этой глуши круглый год, видеть только овец да чаек и слушать, как поют и пляшут Веселые Молодцы.

ГЛАВА II

ЧТО ПРИНЕС АРОСУ РАЗБИТЫЙ КОРАБЛЬ

Когда я вышел к морю напротив Ароса, уже начался прилив, и мне оставалось только свистом вызвать Рори с лодкой, а самому ждать на дальнем берегу. Повторять сигнал не было нужды. Едва я свистнул, как в дверях появилась Мери и помахала мне платком, а старый длинноногий слуга, ковыляя по песку, поспешно спустился к пристани. Как он ни торопился, бухту он пересек не так уж скоро: несколько раз он клал весла, нагибался над кормой и внимательно вглядывался в воду. Когда Рори приблизился к берегу, мне показалось, что он сильно состарился, исхудал и как-то странно избегает моего взгляда. Ялик подновили — на нем появились две новые скамейки и несколько заплат из редкостного заморского дерева, названия которого я не знаю.

— Послушай-ка, Рори,— сказал я, когда мы отправились в обратный путь,— какое хорошее дерево! Откуда оно у вас?

— Не больно-то оно поддается рубанку,— с неохотой пробормотал Рори. Бросив весла, он наклонился над кормой точно так же, как когда он плыл за мной, и, опираясь на мое плечо, стал с выражением ужаса вглядываться в волны.

— Что случилось? — спросил я, растерявшись.

— Опять эта рыбища,— ответил старик, берясь за весла.

Больше мне ничего не удалось от него добиться — на все мои вопросы он только таинственно на меня поглядывал и зловеще качал головой. Поддавшись необъяснимой тревоге, я также стал всматриваться в воду за кормой. Она была прозрачной и зеркальной, но тут, на середине бухты, очень глубокой. Некоторое время я ничего не видел, но потом мне почудилось, будто что-то темное, может быть, большая рыба, а может быть, просто тень, настойчиво следует за яликом. И тут я вспомнил один из суеверных рассказов Рори о том, как в Морвене на переправе, во время какой-то кровавой усобицы между кланами, невиданная прежде рыба несколько лет провожала паром, так что в конце концов никто уже не осмеливался переправляться на другую сторону.

— Она поджидает... знает кого,— сказал Рори.

Мери встретила меня у самой воды, и мы поднялись с ней вверх по склону к аросскому дому. И снаружи и внутри я заметил много перемен. Сад был обнесен оградой из того же дерева, какое пошло на починку лодки; на кухне стояли кресла, обтянутые чужеземной парчой, на окне висели парчовые занавески, на комоде красовались часы, но они не шли; с потолка свисала медная лампа; накрытый к обеду стол щеголял тонкой скатертью и серебряной посудой. Все эти новые богатства были выставлены напоказ в убогой, так хорошо мне знакомой, старой кухне, где все еще стояли скамья с высокой спинкой и табуреты, а в нише — кровать Рори; где солнце светило сквозь широкую трубу на тлеющий в очаге торф; где на полке над очагом лежали трубки, а на полу стояли треугольные плевательницы, наполненные вместо песка ракушками; где каменные стены ничем не были украшены, а на простом деревянном полу лежали три половичка, прежде единственное украшение кухни,— три ковра бедняка, невиданные в городах, сплетенные из холстины, черного сукна воскресных сюртуков и грубой дерюги, залоснившейся оттого, что она долго терлась о лодочные скамьи. Эта кухня, как и весь дом, славилась в этих краях — такой она была чистенькой и уютной, и теперь, увидев эти нелепые, недостойные ее добавления, я возмутился и даже почувствовал гнев. Если вспомнить, зачем я сам в этот раз приехал в Арос, то подобное чувство следовало бы назвать неоправданным и несправедливым. Но в первую минуту оно опалило мое сердце огнем.

— Мери,— сказал я,— я привык звать это место моим родным домом, а теперь я его не узнаю.

— А для меня это место всегда было родным домом,— ответила она,— домом, где я родилась и где я хотела бы умереть. И мне тоже не по душе эти вещи, не по душе, как они попали к нам, и все то, что они принесли с собой. Лучше бы им сгинуть в море, чтобы теперь над ними плясали Веселые Молодцы.

Мери всегда была серьезной — это, пожалуй, была единственная черта, унаследованная ею от отца,— однако тон, которым она произнесла эти слова, был не только серьезным, но даже мрачным.

— Да,— сказал я,— я так и опасался, что вещи эти принесло кораблекрушение, то есть смерть. Правда, когда скончался мой отец, я вступил во владение его имуществом без угрызений совести.

— Твой отец умер чистой смертью, как говорится,— ответила Мери.

— Верно,— продолжал я,— а кораблекрушение подобно божьей каре. Как называлось это судно?

— Оно звалось «Христос-Анна»,— произнес голос позади меня, и, обернувшись, я увидел в дверях дядю.

Это был невысокий угрюмый человек с длинным лицом и очень темными глазами; в пятьдесят шесть лет он был еще крепок и подвижен и с виду походил не то на пастуха, не то на матроса. Ни разу в жизни я не слышал его смеха. Он постоянно читал Библию, много молился, как в обычае у камеронцев, среди которых он рос; он вообще представляется мне во многом схожим с этими горцами-проповедниками кровавых времен, предшествовавших революции. Однако благочестие не принесло ему утешения и даже, как мне казалось, не служило ему опорой. У него бывали припадки черной тоски, когда он изнывал от страха перед адом, но в прошлом он вел не очень-то праведную жизнь, о которой все еще вспоминал со вздохом, и по-прежнему оставался грубым, суровым, мрачным человеком.

Пока он стоял на пороге, солнце освещало шотландский колпак на его голове и трубку, заткнутую в петлицу куртки, а когда он вошел в кухню, я заметил, что он, как и Рори, постарел и побледнел, что его лицо избороздили глубокие морщины, а белки глаз отливают желтизной, точно старые слоновьи клыки или кости мертвецов.

— «Христос-Анна»,— повторил он, растягивая первое слово.— Кощунственное название.

Я поздоровался с ним и похвалил его цветущий вид, сказав при этом, что я опасался, не был ли он болен.

— Плоть моя здорова,— ответил он резко,— да, здорова и грешна, как и твоя. Обедать! — крикнул он Мери, а затем вновь повернулся ко мне.— Неплохие вещи, а? Часы-то какие! Только они не ходят, а скатерть самая что ни на есть льняная. Хорошие, дорогие вещи! Вот за такое-то добро люди нарушают заповеди господни; за такое-то добро, а может, даже и похуже, люди восстают на бога и его заветы и горят за это в аду; потому-то в Писании и называется оно проклятым. Эй, Мери,— вдруг раздраженно крикнул он,— почему ты не поставила на стол оба подсвечника?

— А к чему они нам среди бела дня? — спросила она.

Однако дядя ничего не желал слушать.

— Мы будем любоваться на них, пока можно,— сказал он.

И пара массивных подсвечников чеканного серебра была водружена на стол, убранство которого и так уже не подходило простой деревенской кухне.

— Их выбросило на берег десятого февраля, часов так в десять вечера,— начал рассказывать мне дядя.— Ветра не было, но волна шла крупная, ну, Гребень их и затянул, как я полагаю. Мы с Рори еще днем видели, как они старались выйти к ветру. Не слишком-то он слушался руля, этот «Христос-Анна», все уваливался под ветер. Да, тяжеленько им пришлось. Матросы так и не слезали с реев, а холод стоял страшный — вот-вот снег пойдет. А ветер-то чуть подымется и тут же стихнет, только подразнит их надеждой. Да, тяжеленько, тяжеленько им пришлось. Уж тот, кто добрался бы до берега, мог бы возгордиться.

— И все погибли? — воскликнул я.— Да смилуется над ними бог!

— Ш-ш,— сказал он строго,— я не позволю молиться за мертвецов у моего очага.

Я возразил, что в моем восклицании не было ничего папистского, а он принял мои извинения с несвойственной ему покладистостью и тут же заговорил о том, что, по-видимому, стало для него излюбленной темой:

— Мы с Рори отыскали его в Песчаной бухте, а все

это добро было внутри. В Песчаной бухте порой бывает толчея — то воду гонит к Веселым Молодцам, а то, когда идет прилив и слышно, как у дальнего конца Ароса ревет Гребень, обратное течение заворачивает в Песчаную бухту. Оно-то и подхватило этого «Христа-Анну» и понесло кормой вперед — нос лежит теперь куда ниже кормы, и все днище открылось. Ну и треск был, когда его ударило о камни! Господи, спаси нас и помилуй! Нелегко живется морякам, холодная у них, опасная жизнь. Я сам немало времени провел над пучиной морской. И зачем только господь сотворил эту скверную воду! Он создал долины и луга, сочные зеленые пастбища, тучную красивую землю...

И ликуют они и поют,
Ибо радость Ты им даровал,

как говорится в стихотворном переложении псалмов. Не то чтобы от этого они стали благочестивее, но зато красивы, да и запоминать их легче. «Кто в море уходит на кораблях»,— как в них еще говорится,—

И трудится над бездной вод,
Тому господь свои труды
И чудеса узреть дает.

Ну, говорить-то легко. Давид, наверно, не слишком хорошо знал море, а я одно скажу: да не будь это напечатано в Библии, так я бы уж подумал, что не господь, а сам проклятый черный дьявол сотворил море. От него не жди ничего хорошего, кроме рыбы. Ну, да Давид, небось, думал о том, как господь несется на крыльях бури. Ничего не скажешь — хорошенькие чудеса дал господь узреть «Христу-Анне». Да что там чудеса! Кара это была, кара во тьме ночной посередь чудищ морской пучины. А души их — ты только подумай! — души их, может, не были еще готовы! Море — проклятое преддверье ада!

Я заметил, что в голосе моего дяди слышалось неестественное волнение, и он подкреплял свою речь жестами, чего прежде никогда не делал. При этих последних словах, например, он наклонился, оперся о мое колено растопыренными пальцами и, побледнев, заглянул мне в лицо, и я увидел, что его глаза горят глубоким огнем, а у рта залегли дрожащие складки.

Вошел Рори, и мы приступили к обеду, но это лишь ненадолго отвлекло дядю от прежних мыслей. Правда

он задал мне несколько вопросов о моих успехах в колледже, но я заметил, что думает он о другом, и даже когда он произносил свою импровизированную благодарственную молитву (как всегда, длинную и бессвязную), я и в ней услышал отзвуки все той же темы, ибо он молился, чтобы господь «был милосерден к бедным, безрассудным, сбившимся с пути грешникам, всеми покинутым здесь у великих и мрачных вод». Затем он повернулся к Рори.

— Была она там? — спросил дядя.

— Была,— сказал Рори.

Я заметил, что они оба говорили как бы между собой и с некоторым смущением, а Мери покраснела и опустила взгляд. Отчасти желая показать свою осведомленность и тем рассеять неловкость, а отчасти потому, что меня снедало любопытство, я вмешался в их разговор.

— Вы имели в виду рыбу? — спросил я.

— Какую еще рыбу! — вскричал мой дядя.— Он про рыбу говорит! Рыба! У тебя мозги зажирели. Только и думаешь, что о плотских желаниях. Это злой дух, а не рыба!

Он говорил с большой горячностью, словно рассердившись. Должно быть, мне не понравилось, что меня так резко оборвали,— молодежи свойственна строптивость. Во всяком случае, насколько помню, я возразил ему и с жаром стал обличать детские суеверия.

— А еще учишься в колледже! — язвительно произнес дядя Гордон.— Одному богу известно, чему они вас там учат. Что же, по-твоему, в этой соленой пустыне нет ничего — там, где растут морские травы и копошатся морские звери, куда солнце заглядывает изо дня в день? Нет, море похоже на сушу, только куда страшнее. И раз есть люди на берегу, значит, есть люди и в море — может, они и мертвецы, но все равно люди; а что до дьяволов, так нет ужаснее морских дьяволов. Если уж на то пошло, то от сухопутных дьяволов нет большого вреда. Давным-давно, когда я еще был мальчишкой и жил на юге, так в Пиви-Мосс водился старый лысый дух. Я своими глазами его видел — сидел он на корточках в трясине, а сам серый, что могильный камень. Жуткий такой, вроде жабы, только трогать он никого не трогал. Ну, конечно, шел бы мимо распутник, от которого господь отвернулся, какой-нибудь там нераскаянный грешник, так эта тварь на него набросилась бы,— а вот в пучине

морской водятся дьяволы, которые и доброго христианина не пощадят. Да, господа хорошие, коли бы вы утонули вместе с беднягами на «Христе-Анне», вы бы теперь на себе испробовали милосердие моря. Поплавай вы по нему с мое, так ненавидели бы его еще лютее, чем я. Да гляди вы глазами, которыми вас одарил господь, так поняли бы всю злобу моря, коварного, холодного, безжалостного,— и всего, что водится в нем с господнего соизволения: крабы всякие, которые едят мертвецов, чудовища-киты и рыбы — весь их рыбий клан — с холодной кровью, слепые, жуткие твари. Знали бы вы,— вскричал он,— как оно ужасно, море!

Эта неожиданная вспышка потрясла нас всех, а дядя после последнего хриплого выкрика погрузился было в свои мрачные мысли. Однако Рори, любитель и знаток всяческих суеверий, вывел его из задумчивости, задав ему вопрос:

— Да неужто вы видели морского дьявола?

— Видел, только неясно,— ответил дядя.— А коли бы простой человек увидел его ясно, так, наверное, он и часа не прожил бы. Приходилось мне плавать с одним пареньком — звали его Сэнди Габарт,— так вот он дьявола увидел. Ну, и пришел ему тут же конец. Мы семнадцать дней как вышли из Клайда — и пришлось нам тяжеленько, а шли мы на север с зерном и всякими товарами для Маклеода. Ну, добрались мы почти до самых Катчалнов — как раз прошли Соэу и начали длинный галс, думая, что так и дотянем до Копнахау. Я эту ночь никогда не забуду: луна была в тумане, дул хороший ветер, да не очень ровный. А еще — жутко же это было слушать — другой ветер завывал наверху, среди бустрашных каменных вершин Катчалнов. Ну, так Сэнди стоял у стакселя, и нам его не было видно с грот-мачты, где мы крепили парус. Вдруг он как закричит. Я потянул сезень, точно с ума свихнулся, потому что мне почудилось, будто мы повернули на Соэу. Да только я ошибся — был это смертный крик бедняги Сэнди Габарта, ну, может, предсмертный, потому что умер он через полчаса. И успел еще сказать, что у самого бушприта вынырнул морской дьявол, или, может, морской дух, или еще какая-то морская нечисть, и этот дьявол посмотрел на него холодным жутким взглядом. И когда Сэнди помер, мы поняли, какой это знак и почему ветер выл на Катчалнах. Тут он и обрушился на

нас — и не ветер это был, а гнев божий. И всю эту ночь мы работали, как сумасшедшие, а когда опомнились, смотрим: мы уже в Лох-Ускева, и на Бенбекуле поют петухи.

— Это, небось, была русалка,— сказал Рори.

— Русалка?! — вскричал мой дядя с невыразимым презрением.— Бабьи россказни! Никаких русалок нет!

— Ну, а на что он был похож? — спросил я.

— На что он был похож? Упаси бог, чтобы нам довелось это узнать! Была у него какая-то голова, а больше Сэнди ничего не мог сказать.

Тогда Рори, уязвленный до глубины души, поведал несколько историй про русалок, морских духов и морских коней, которые выходили на берег на островах или нападали на рыбачьи суда в открытом море. Мой дядя, несмотря на свой скептицизм, слушал старика с боязливым любопытством.

— Ладно, ладно,— сказал он,— может, оно и так, может, я и ошибся, да только в Писании про русалок ни слова не сказано.

— И про аросский Гребень там тоже, небось, ни словечка не сказано,— возразил Рори, и его довод, по-видимому, показался дяде убедительным.

После обеда дядя повел меня на холм позади дома. День был безветренный и очень жаркий, зеркальную поверхность моря не морщила даже легкая рябь, и тишину нарушали только привычное блеяние овец да крики чаек. Не знаю, подействовала ли разлитая в природе благость на моего родича, но, во всяком случае, он держался более разумно и спокойно, чем раньше. С интересом, почти даже с увлечением обсуждая мое будущее, он только время от времени возвращался к погибшему судну и к сокровищам, которые оно принесло Аросу. Я же слушал его в каком-то тихом оцепенении, жадно впивая глазами столь хорошо знакомый мне пейзаж, и с наслаждением вдыхал морской воздух и дымок от горящего торфа — это Мери развела огонь в очаге.

Миновал час, и мой дядя, который все это время исподтишка поглядывал на маленькую бухту, встал и позвал меня за собой. Тут следует упомянуть, что мощная приливная волна у юго-западной оконечности Ароса вызывает волнение у всех его берегов. В Песчаной бухте на юге в определенные часы прилива и отлива

возникает сильное течение, но в северной бухточке (бухте Арос, как ее называют), у которой стоит дом и на которую теперь глядел мой дядя, волнение возникает только перед самым концом отлива, да и тогда его бывает трудно заметить, настолько оно незначительно. Когда дует ветер, его вообще не видно, но в тихие дни, выпадающие не так уж редко, на зеркальной поверхности бухты появляются странные, непонятные знаки — назовем их морскими рунами. Подобное явление можно наблюдать в сотнях мест по всему побережью, и, наверно, есть немало юношей, которые забавы ради пытались найти в этих рунах какой-нибудь намек на себя или на людей близких им и дорогих. На эти-то знаки и указал мне теперь дядя, причем с какой-то неохотой.

— Видишь вон ту рябь на воде? — спросил он.— Там, возле серой скалы? Видишь? Ведь верно, что она похожа на букву?

— Конечно,— ответил я,— я сам это часто замечал. Похоже на букву «X».

Дядя испустил тяжкий вздох, словно мой ответ горько его разочаровал, и еле слышно произнес:

— Да, да... «Христос-Анна».

— А я, сэр, всегда полагал, что этот знак послан мне и означает «храм».

— Значит, ты его и раньше видел? — продолжал он, не слушая меня.— Дивное дело, страшное дело. Может, он поджидал здесь, как говорится, изначала века. Странное, страшное дело.— Тут он добавил другим тоном: — А еще такой знак ты видишь?

— Вижу,— ответил я,— и очень ясно. У того берега, где дорога спускается к воде,— большое «У».

— «У»,— повторил он вполголоса и, помолчав, спросил: — А как ты это толкуешь?

— Я всегда думал, что это указывает на Мери, сэр: ведь ее второе имя — Урсула,— ответил я, краснея, так как не сомневался, что вот сейчас должен буду объявить ему о своих намерениях. Однако мы думали о разном и оба не следили за ходом мыслей собеседника. Дядя вновь не обратил ни малейшего внимания на мои слова и угрюмо понурился. Я решил бы, что он просто ничего не слышал, если бы следующая его фраза не прозвучала, как отголосок моей.

— Мери лучше ничего об этих письменах не говорить,— сказал он и зашагал вперед.

По берегу бухты Арос тянется полоска травы, удобная для ходьбы, и я молча следовал по ней за моим безмолвным родичем. Признаюсь, я был немного расстроен тем, что лишился столь удобного случая сказать дяде про мою любовь. Однако меня гораздо больше занимала происшедшая в нем перемена. Он никогда не был добродушным, общительным человеком в буквальном смысле этого слова, но то, каким он бывал прежде даже в самые черные минуты, все же не подготовило меня к столь странному преображению. Одно, во всяком случае, было несомненно: его, как говорится, что-то грызло. И я принялся мысленно перебирать слова, начинающиеся с буквы «У»,— «уныние», «успех», «удача» и все в том же духе, как вдруг словно споткнулся о слово «убийство». Я все еще размышлял над зловещим звучанием и роковым смыслом этого слова, когда мы достигли места, откуда открывался вид на весь остров — позади виднелась бухта Арос и дом, впереди расстилался океан, усеянный на севере островками, а на юге — синий и ничем не ограниченный. Тут мой проводник остановился и некоторое время молча смотрел на бесконечный водный простор. Затем он повернулся ко мне и сильно сжал мой локоть.

— По-твоему, там ничего нет? — спросил он, указывая трубкой на океан, и тут же вскричал с каким-то диким торжеством: — Послушай, что я тебе скажу! Там все дно кишит мертвецами, как крысами.

Тут он повернулся, и мы направились к дому, не сказав больше друг другу ни слова.

Я мечтал остаться с Мери наедине, но только после ужина мне наконец удалось улучить минуту, чтобы поговорить с ней. Я знал, что нас скоро могут прервать, а поэтому не стал тратить времени и сразу высказал все, что было у меня на душе.

— Мери,— сказал я,— я приехал в Арос, чтобы проверить одну свою догадку. Если я не ошибся, то мы все сможем уехать отсюда, не заботясь более о хлебе насущном,— я сказал бы и больше, только не хочу давать обещания, которые могут оказаться опрометчивыми. Но я лелею надежду, которая для меня важнее всех богатств в мире,— тут я помолчал.— Ты ведь знаешь, о чем я говорю, Мери.

Она молча отвела глаза от моего лица, но и это меня не остановило.

— Я всегда думал только о тебе,— продолжал я,— время идет, а я думаю о тебе все больше, и ты мне все дороже. Без тебя мне в жизни нет ни счастья, ни радости. Ты зеница моего ока.

Она по-прежнему не смотрела на меня и ничего мне не ответила, но мне показалось, что ее рука дрожит.

— Мери! — вскричал я со страхом.— Может быть, я тебе не нравлюсь?

— Ах, Чарли,— сказала она,— разве сейчас время говорить об этом? Не говори со мной пока, ни о чем меня не спрашивай. Труднее всего будет ждать не тебе!

В ее голосе слышались слезы, и я думал только о том, как бы ее утешить.

— Мери-Урсула,— сказал я,— не говори больше ничего. Я приехал не для того, чтобы огорчать тебя. Как ты хочешь, так и будет,— и тогда, когда назначишь ты. К тому же ты сказала мне все, что я хотел узнать. Еще только один вопрос: что тебя тревожит?

Она призналась, что тревожится из-за отца, но ничего не захотела объяснить и, покачав головой, сказала только, что он нездоров, стал совсем на себя не похож и что у нее сердце разрывается от жалости. О погибшем корабле она ничего не знала.

— Я туда и не ходила,— сказала она.— Зачем мне было на него смотреть, Чарли? Все эти бедняги давно покинули наш мир и почему только они не взяли с собой свое добро! Бедные, бедные!

После этого мне не просто было рассказать ей про «Эспирито Санто». Тем не менее я сообщил ей о моем открытии, и при первых же словах она вскрикнула от удивления.

— В мае в Гризепол приезжал человек,— сказала она.— Маленький такой, желтолицый, с черными волосами — так люди рассказывали. Бородатый, с золотыми кольцами на пальцах. И он всех встречных и поперечных расспрашивал про этот самый корабль.

Доктор Робертсон поручил мне разобрать старинные документы в конце апреля. И тут я вдруг вспомнил, что их разбирали по просьбе испанского историка (во всяком случае, так он себя называл), который явился к ректору с самыми лестными рекомендациями и объяснил, что собирает сведения о дальнейшей судьбе кораблей Непобедимой Армады.

Сопоставив эти факты, я решил, что приезжий «с золотыми кольцами на пальцах» был, вероятно, тем же мадридским историком, который посетил доктора Робертсона. В таком случае он скорее разыскивал сокровище для себя, а вовсе не собирал сведения для какого-нибудь ученого общества. Я подумал, что мне не следует терять времени, а нужно браться за дело, и если на дне Песчаной бухты и правда покоится корабль, как, быть может, предполагал не только я, но и он, то его богатства должны достаться не этому авантюристу в кольцах, а Мери и мне, и всему доброму старому честному роду Дарнеуэев.

ГЛАВА III

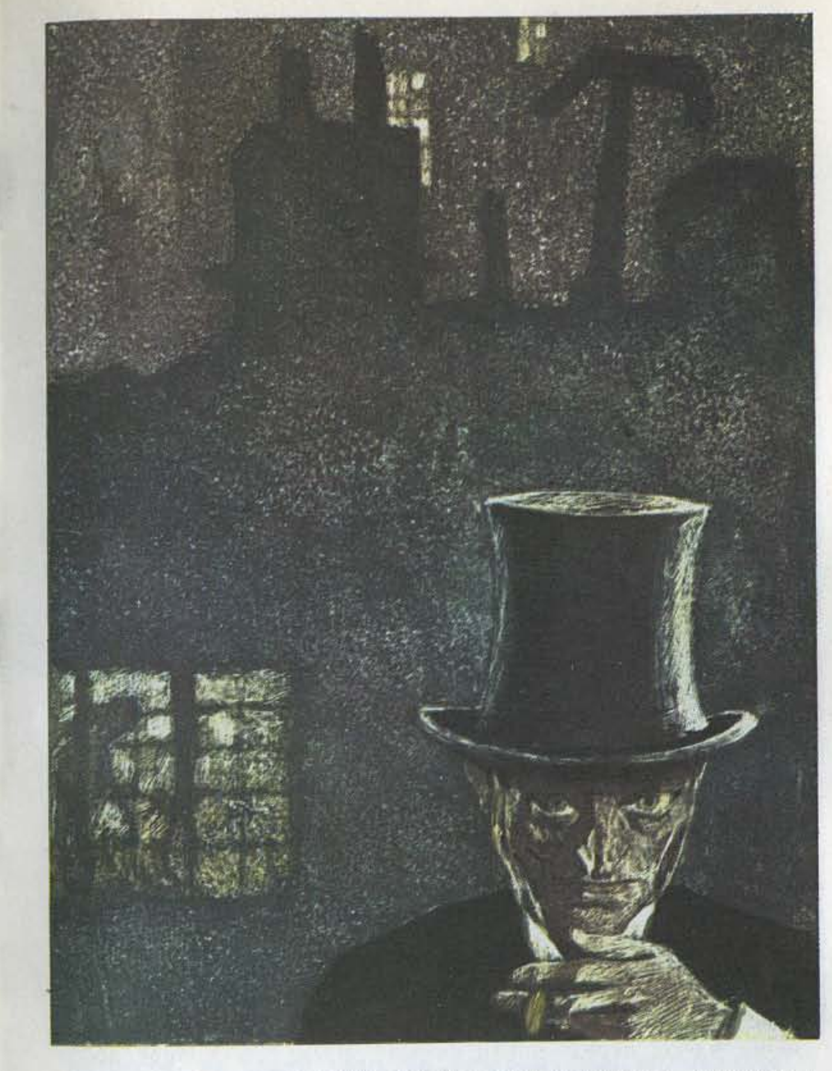
МОРЕ И СУША В ПЕСЧАНОЙ БУХТЕ

На следующее утро я встал спозаранку и, перекусив на скорую руку, приступил к поискам. Какой-то голос в моей душе шептал мне, что я непременно отыщу испанский галеон, и хотя я старался не поддаваться столь радужным надеждам, тем не менее на сердце у меня было легко и радостно. Арос — скалистый островок, весь в каменных россыпях, где косматятся папоротник и вереск. Мой путь вел почти прямо с севера на юг через самый высокий холм, и хотя пройти мне было нужно всего две мили, времени и сил на это потребовалось больше, чем на четыре мили по ровной дороге. На вершине я остановился. Холм этот не очень высок — не более трехсот футов, но все же он гораздо выше прилегающих к морю низин Росса, и с него открывается великолепный вид на море и окрестные острова. Солнце взошло уже довольно давно и сильно припекало мне затылок; воздух застыл в тяжелой грозовой неподвижности, но был удивительно прозрачен; далеко на северо-западе, где островки были особенно густы, висела небольшая гряда лохматых облаков, а голову Бен-Кайо окутывали уже не ленты, а плотный капюшон тумана. Погода таила в себе угрозу. Море, правда, было гладким, как стекло,— Гребень был лишь морщинкой, а Веселые Молодцы — легкими шапками пены; однако мое зрение и слух, давно свыкшиеся с этими местами, раз-

личали в море скрытую тревогу; и на вершине холма я услышал, как оно вдруг словно глубоко вздохнуло, и даже Гребень, несмотря на свое спокойствие, казалось, замышлял какое-нибудь злодеяние. Тут следует упомянуть, что все мы, обитатели здешних мест, приписываем этому странному и опасному порождению приливов если не пророческий дар, то, во всяком случае, способность предупреждать о несчастье.

Я прибавил шагу и вскоре уже спустился по склону к той части Ароса, которую мы зовем Песчаной бухтой. Она довольно велика, если принять во внимание малые размеры острова, хорошо укрыта почти от всех ветров, кроме самого постоянного, на западе мелка и окаймлена невысокими песчаными дюнами, но в восточном ее конце глубина достигает нескольких саженей, а берег встает из воды отвесными скалами. Туда-то в определенный час каждого прилива и заворачивает сильное течение, упомянутое моим дядей. Чуть позже, когда Гребень вздымается круче, появляется обратное подводное течение, которое, по моему мнению, и углубило дно в этой части бухты. Из Песчаной бухты не видно ничего, кроме кусочка горизонта или — во время бури — огромных валов, взлетающих ввысь над подводным рифом.

На полдороге я увидел корабль, потерпевший крушение в феврале,— довольно большой бриг, который, переломившись почти пополам, лежал на берегу у восточной границы песков. Я направился прямо к нему и уже почти достиг песка, как вдруг мой взгляд привлекла полянка, где папоротники и вереск были выполоты, чтобы освободить место для одной из тех длинных узких и сходных с человеческим телом насыпей, которые мы так часто видим на кладбище. Я остановился, словно пораженный громом. Никто ни словом не упомянул при мне, что на острове был кто-то похоронен. Рори, Мери и мой дядя — все хранили молчание. Правда, я не сомневался, что Мери ничего не знает, но тем не менее здесь, перед моими глазами, было бесспорное доказательство этого факта. Я смотрел на могилу, с ужасом спрашивая себя, что за человек спит последним сном в этом уединенном, омытом морем склепе, ожидая трубы последнего суда, и не находил иного ответа на этот вопрос, кроме того, которого страшился. Во всяком случае, он попал сюда с погибшего корабля — быть может, подобно морякам испанской Армады, он явился



«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»



«СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»

из какой-то далекой и богатой страны, а может быть, это был мой земляк, которому суждено было погибнуть у самого порога своего дома. Несколько минут я, обнажив голову, медлил подле него, и мне было грустно, что наша религия не позволяет мне помолиться за несчастного или, наподобие древних греков, почтить его кончину каким-нибудь торжественным обрядом. Я знал что, хотя его кости упокоились здесь, став частью Ароса до Судного дня, бессмертная душа его была далеко отсюда и испытывала сейчас то ли блаженство вечного воскресения, то ли адские муки. Я знал это, и все же меня охватил страх при мысли, что, быть может, он пребывает совсем близко от меня, пока я стою здесь, над его могилой, что он не покинул места, где встретил свой злополучный конец.

Помрачнев, я отвернулся от могилы и стал рассматривать разбитый бриг — зрелище, едва ли менее меланхоличное. Его нос лежал чуть выше линии прилива; переломился он позади фок-мачты — впрочем, мачт на нем уже не было, так как обе были потеряны во время бури. Берег здесь очень крут, а нос лежал на много футов ниже кормы, так что место разлома ничто не загораживало, и корпус просматривался насквозь. Название брига почти стерлось, и я так и не разобрал: то ли он назывался «Христиания» в честь норвежского города, то ли носил имя «Христианы», добродетельной супруги Христиана из «Пути паломника», этой старинной нравоучительной книги. Судя по постройке, корабль не был английским, но установить его национальность я не мог. Он был некогда выкрашен в зеленый цвет, но краска выцвела, побурела и отставала от дерева длинными полосками. Рядом с корпусом лежал обломок грот-мачты, почти занесенный песком. Зрелище поистине было печальным, и на мои глаза навертывались слезы, пока я глядел на еще сохранившиеся обрывки снастей, которых прежде так часто касались руки перекликающихся матросов, на узкий трап, по которому они подымались и спускались, повинуясь словам команды, на бедного безносого ангела под бушпритом, который на своем веку нырял в такое множество бегущих волн.

Не знаю, был ли тому причиной бриг или могила, но пока я стоял там, положив руку на разбитые бревна борта, я предавался тягостным размышлениям. Мое воображение поразила горькая судьба и бесприютность

не только людей, но и неодушевленных кораблей, которым суждена гибель у чужих берегов. Извлекать выгоду из подобного величайшего несчастья — что могло быть трусливее и гнуснее! И мои собственные поиски показались мне кощунственными. Но тут я вспомнил Мери, и ко мне вернулась решимость. Я знал, что дядя никогда не согласится на ее брак с бедняком, а она, как я был твердо убежден, ни за что не пошла бы под венец без его разрешения и одобрения. И мне подобало не сидеть сложа руки, но трудиться ради моей будущей жены. Усмехнувшись, я подумал, что величественная морская крепость «Эспирито Санто» сложила свои кости в Песчаной бухте несколько веков назад, и можно уже не заботиться о правах, столь давно исчезнувших, и не оплакивать несчастье, уже давным-давно забытое.

Я твердо знал, где мне следует искать останки галеона. И направление течения и глубина указывали на то, что, вероятнее всего, они лежат в восточном конце бухты, под скалами. Если «Эспирито Санто» действительно погиб в Песчаной бухте и если за эти долгие века от него хоть что-то сохранилось, то найти эти обломки я мог только там. Как я уже упоминал, дно здесь уходит вниз очень круто, и даже у самых скал глубина достигает нескольких саженей. Я шел по их краю, и взгляд мой далеко охватывал песчаное дно бухты; солнечные лучи проникали в чистую, прозрачную глубину, и бухта казалась одним огромным незамутненным кристаллом, вроде тех, какие выставляются напоказ в мастерской камнереза; о том, что передо мной была вода, можно было догадаться только по вечному внутреннему трепету, по дрожащей игре солнечных отблесков и сетки теней в глубине да по редкому всплеску и лопающимся пузырям у берега. Тени скал тянулись от их подножий довольно далеко, и моя собственная тень, скользившая, медлившая и склонявшаяся на вершине их теней, иногда достигала середины бухты. Именно в этой полосе теней я и искал «Эспирито Санто», так как именно там подводное течение достигало наибольшей силы и при приливе и при отливе. Хотя в этот томительно жаркий день вода казалась прохладной повсюду, здесь она выглядела еще более прохладной и таинственно манящей. Однако, как ни напрягал я зрение, я ничего не мог разглядеть, кроме нескольких рыб, темной заросли водорослей да нескольких камней, которые некогда скатились с берега, а теперь лежали, разбросанные по песчаному дну. Я дважды прошел скалы из конца в конец, но не обнаружил никаких следов разбитого корабля и убедился, что обломки могли находиться лишь в одном месте. На глубине пяти саженей над песчаным дном вздымался широкий уступ, казавшийся сверху продолжением скал, по которым я ходил. Он весь зарос густыми водорослями, и колышущаяся чаща мешала мне разглядеть, что находится под ней. Однако по форме и размерам уступ этот напоминал корпус корабля. Во всяком случае, он был единственной моей надеждой. Если эти водоросли не скрывали «Эспирито Санто», значит, в Песчаной бухте его нет. И я решил немедленно покончить с неизвестностью и либо вернуться в Арос богачом, либо навсегда излечиться от мечты стать богатым.

Я разделся донага, но остановился у самого края скалы, в нерешительности стиснув руки. Бухта подо мной была абсолютно спокойна, и тишину нарушал только плеск, доносившийся из-за мыса, где резвилась стая дельфинов. И все же меня удерживал какой-то непонятный страх. Море навевало на меня тоску, мне вспомнились суеверные слова дяди; в голове у меня проносились мысли о мертвецах, могилах, старых разбитых кораблях. Но солнце, припекавшее мне плечи, наполнило жаром мое сердце, и, наклонившись, я нырнул в воду.

Мне еле-еле удалось уцепиться за плеть одной из тех водорослей, которыми так густо порос уступ; но этот ненадежный якорь все же на мгновение удержал меня на глубине, а потом я ухватил целую горсть толстых скользких стеблей и, упершись ногами в край уступа, огляделся по сторонам. Кругом простирался светлый песок, достигавший подножия скал — приливы и течение разровняли его так, что он походил на аллею в каком-нибудь парке. И передо мной, насколько хватал глаз, тянулся все тот же чуть волнистый песок, устилавший залитое солнцем дно бухты. Однако выступ, на котором я в ту минуту держался, покрывали водоросли, густые, точно вереск на каком-нибудь пригорке, а утес, к которому он примыкал, был под поверхностью воды увит бурыми лианами. В этом ровно колышущемся хаосе трудно было различить что-нибудь определенное, и я никак не мог разобрать, прижаты ли мои подошвы

к камням или к бревнам испанского галеона, но тут весь пучок водорослей в моей руке подался, и через мгновение я уже очутился на поверхности, где сверкающая вода и берега бухты заплясали, закружились вокруг меня в ярко-алом тумане.

Я вскарабкался назад на скалы и бросил наземь все еще зажатый в руке пучок водорослей. Раздался легкий звон, словно рядом упала монета. Я наклонился — передо мной лежала железная пряжка от башмака, покрытая коркой рыжей ржавчины. При виде этого трогательного напоминания о давно оборвавшейся жизни мое сердце преисполнилось нового чувства. Но то была не надежда и не страх, а только безысходная грусть. Я стоял, держа пряжку, и в моем воображении встал образ ее прежнего владельца. Я видел его обветренное лицо, покрытые мозолями матросские ладони, слышал его голос, охрипший от ритмичных криков у кабестана, видел даже его ногу, некогда украшенную этой пряжкой и торопливо ступавшую по качающимся палубам,— я видел перед собой человека, подобного мне, с волосами, кровью, зрячими глазами; то был не призрак, подстерегший меня в этом уединенном солнечном местечке, но друг, которого я низко предал. Действительно ли тут, на дне, покоился огромный галеон с пушками, якорями и сокровищами, такой, каким он отплыл когда-то из Испании? Правда ли, что эта старинная, многолюдная морская крепость превратилась теперь в риф в Песчаной бухте, что ее палубы укрыл лес водорослей, в каютах мечет икру рыба, и в них не слышно ни звука, кроме шороха воды, и не заметно иного движения, кроме вечного колыхания водорослей? А может быть (и это казалось мне вероятнее), тут лежал лишь обломок разбитого иностранного брига — и эту пряжку купил совсем недавно и носил человек, который был моим современником, слышал изо дня в день те же самые новости, думал о том же самом и даже молился в том же храме, что и я?

Но как бы то ни было, мной овладели мрачные мысли, в ушах звучали слова дяди: «Там мертвецы...»,— и хотя я решил нырнуть еще раз, к краю скалы я подошел с большой неохотой. В эту минуту вся бухта внезапно переменилась. Она не была уже прозрачной, видимой насквозь, точно дом со стеклянной крышей, тихой опочивальней зеленых солнечных лучей. Чуть заметный ветер разбил зеркало, и глубина исполнилась смятенным мраком, в котором метались проблески света и клубящиеся тени. Даже выступ подо мной словно раскачивался и дрожал. Теперь он грозил опасностью, был полон тайных ловушек, и когда я прыгнул в море вторично, сердце мое сжималось от страха.

Как и в первый раз, я уцепился за водоросли и стал шарить в их колышущейся чаще. Все, до чего касались мои пальцы, было холодным, мягким и липким. Среди стеблей бегало бочком взад и вперед множество крабов и омаров. Я стиснул зубы при виде этих тварей, питающихся мертвечиной. И всюду я ощущал шероховатую поверхность и трещины твердого, монолитного камня — никаких досок, никакого железа, ни малейших следов погибшего корабля «Эспирито Санто» тут не было. Я помню, что почувствовал почти облегчение, когда убедился в своем просчете, и уже готов был неторопливо подняться на поверхность, как вдруг случилось нечто, от чего я вынырнул стремительно, вне себя от ужаса. Я слишком замешкался с моими поисками — начался прилив, течение в Песчаной бухте усиливалось, и она уже не была безопасным местом для одинокого пловца. Ну, так вот: в последнюю секунду в водоросли внезапно ударила волна течения, я потерял равновесие, опрокинулся на бок и, инстинктивно ища опоры, ухватился за что-то твердое и холодное. По-моему, я сразу же понял, что это было такое. Во всяком случае, я немедленно выпустил водоросли, которые еще сжимал в другой руке, рванулся из глубины вверх и через мгновение уже вылезал на дружелюбные скалы, держа в руке берцовую кость человека.

Люди — существа материальные, тугодумы, с трудом улавливающие связи причин и следствий. Могила, обломки брига, заржавевшая пряжка, несомненно, были красноречивее всяких слов. Ребенок мог бы разгадать по этим знакам всю грустную историю. Однако, лишь коснувшись этих реальных человеческих останков, я постиг бесконечный ужас океана-кладбища. Я положил кость рядом с пряжкой, схватил свою одежду и опрометью бросился прочь по скалам, думая только о том, чтобы уйти подальше от этого страшного места — никакие богатства не соблазнили бы меня вернуться туда. Я знал, что больше уже никогда не потревожу костей утопленников, покачиваются ли они среди водорослей

или над грудами золотых монет. Однако едва я ступил на ласковую землю и прикрыл свою наготу от палящих лучей солнца, как опустился на колени возле обломков брига и излил сердце в долгой и страстной молитве за все бедные души на море. Бескорыстная молитва никогда не бывает тщетной: пусть в просьбе будет отказано, но просящему обязательно будет ниспослано облегчение. Во всяком случае, мой ужас рассеялся, и я мог уже без смятения смотреть на великое сверкающее создание божье — океан; и когда я решил вернуться домой и начал взбираться по каменистому склону Ароса, от моей недавней тревоги осталась только глубокая решимость никогда больше не искать добычи на разбитых судах, не посягать на сокровища мертвецов.

Я уже был недалеко от вершины холма, когда остановился, чтобы передохнуть, и поглядел назад.

Зрелище, открывшееся моему взору, было вдвойне удивительным.

Буря, которую я предугадал, надвигалась теперь почти с тропической быстротой. Сверкающая поверхность моря потемнела и приобрела зловещий свинцовый оттенок; в отдалении ветер, еще не достигший Ароса, уже гнал белые волны — «дочерей шкипера», и вдоль всего полумесяца Песчаной бухты бурлила вода, так что шум ее доносился даже до того места, где я стоял. Перемена в небе была еще более разительной. С юго-запада подымалась огромная хмурая туча, кое-где пронизанная пучками солнечных лучей, и от нее по всему еще безоблачному небу тянулись длинные чернильные полосы. Опасность была грозной и неотвратимой. На моих глазах солнце скрылось за краем тучи. В любой миг буря могла обрушить на Арос всю свою мощь.

Эта внезапная перемена приковала мой взгляд к небу, так что прошло несколько секунд, прежде чем он обратился на бухту, расстилавшуюся у моих ног и через мгновение погрузившуюся в тень. Склон, на который я только что поднялся, господствовал над небольшим амфитеатром невысоких холмов, спускавшихся к морю, под которыми изгибалась желтая дуга пляжа Песчаной бухты. Это был пейзаж, на который я часто смотрел и прежде, но никогда его не оживляла ни одна человеческая фигура. Всего лишь несколько минут назад я покинул бухту, где не было никого, — так вообразите же

мое удивление, когда я вдруг увидел в этом пустынном месте шлюпку и несколько человек. Шлюпка стояла возле скал. Двое матросов, без шапок, с засученными рукавами, багром удерживали ее на месте, так как течение с каждой секундой становилось сильнее. Над ними на вершине скалы два человека в черной одежде, которых я счел за начальников, о чем-то совещались. Секунду спустя я понял, что они сверяются с компасом, а затем один из них развернул какую-то бумагу и прижал к ней палец, словно указывая место по карте. Тем временем еще один человек расхаживал взад и вперед, вглядываясь в щели между скал и всматриваясь в воду. Я еще наблюдал за ними — мой ошеломленный изумлением рассудок был не в силах осознать то, что видели мои глаза,— как вдруг этот третий человек остановился, точно пораженный громом, и позвал своих товарищей так нетерпеливо, что его крик донесся до холма, где я стоял. Те бросились к нему, в спешке уронив компас, и я увидел, что они передают друг другу кость и пряжку с жестами, выражающими чрезвычайное удивление и интерес. Тут моряки в шлюпке окликнули стоящих на берегу и указали на запад, на тучу, которая все быстрее и быстрее одевала чернотой небо. Люди на берегу, казалось, что-то обсуждали, но опасность была слишком велика, чтобы ею можно было пренебречь, и они, спустившись в шлюпку вместе с моими находками, поспешили прочь из бухты со всей быстротой, с какой могли их нести весла.

Я не стал долее размышлять об этом деле, а повернулся и опрометью побежал к дому. Кем бы ни были эти люди, о них следовало немедленно сообщить дяде. В те дни еще можно было ожидать высадки якобитов, и, может быть, среди троих начальников на скалах находился и сам принц Чарли, которого, как я знал, мой дядя ненавидел. Однако, пока я бежал, перепрыгивая с камня на камень, и наспех обдумывал случившееся, с каждой минутой это предположение казалось мне все менее и менее правдоподобным. Компас, карта, интерес, вызванный пряжкой, а также поведение того, кто так часто заглядывал в воду,— все указывало на совсем иное объяснение их присутствия на этом пустынном, безвестном островке западного побережья. Мадридский историк, документы доктора Робертсона, бородатый незнакомец с кольцами, мои собственные бесплодные по-

иски, которыми я не далее чем час назад занимался в глубинах Песчаной бухты, всплывали все вместе в моей памяти, и я уже не сомневался, что видел испанцев, занятых поисками старинных сокровищ и погибшего корабля Непобедимой Армады. Людям, живущим на одиноких островках, вроде Ароса, приходится самим заботиться о своей безопасности: им не к кому обратиться за защитой или даже за помощью, и появление в подобном месте чужеземных авантюристов — нищих, алчных и, вполне возможно, не признающих никаких законов — заставило меня опасаться не только за деньги моего дяди, но даже и за его дочь. Я все еще изыскивал способ, как мы могли бы от них избавиться, когда наконец, запыхавшись, поднялся на вершину Ароса. Весь мир уже погрузился в угрюмый сумрак, и только на самом востоке дальний холм Росса еще сверкал в последнем луче солнца, как драгоценный камень. Упали первые, редкие, но крупные капли дождя, волнение на море усиливалось с каждой минутой, и уже вокруг Ароса и вдоль берегов Гризепола протянулась белая полоса пены. Шлюпка еще не вышла из бухты, но мне теперь открылось то, что внизу от меня заслоняли скалы,— у южной оконечности Ароса стояла большая красивая шхуна с высокими мачтами. Утром, когда я внимательно вглядывался в горизонт и, разумеется, не мог бы не заметить паруса, столь редкого в этих пустынных водах, я ее не видел — следовательно, прошлую ночь она простояла на якоре за необитаемым мысом Эйлин-Гур, а это неопровержимо доказывало, что шхуна появилась у наших берегов впервые — ведь бухта Эйлин-Гур, хотя и очень удобная на вид, на самом деле настоящая ловушка для кораблей. Столь невежественным морякам у этих грозных берегов надвигающаяся буря могла нести на своих крыльях только смерть.

ГЛАВА IV
БУРЯ

Дядя стоял возле дома с трубкой в руках и поглядывал на небо.

— Дядя,— сказал я,— в Песчаной бухте были какие-то люди.

Я внезапно умолк — я не только забыл, что собирался сказать, но позабыл о своей усталости, так странно подействовали на дядю Гордона эти несколько слов. Он уронил трубку и бессильно прислонился к стене, рот у него открылся, глаза выпучились, длинное лицо побелело, как бумага. Мы молча смотрели друг на друга не менее четверти минуты, и лишь потом он ответил мне следующим непонятным вопросом:

— А на нем была мохнатая шапка?

И я понял так, словно видел собственными глазами, что у человека, похороненного в Песчаной бухте, была меховая шапка и что до берега он добрался живым. В первый и последний раз я почувствовал злость к человеку, который был моим благодетелем и отцом девушки, которую я надеялся назвать моей женой.

— Это были живые люди,— сказал я.— Может быть, якобиты, а может быть, французы, пираты или авантюристы, которые разыскивают здесь испанские сокровища, но, как бы то ни было, они могут оказаться опасными, хотя бы для вашей дочери и моей кузины,— а что до ужасов, которые рисует вам нечистая совесть, так мертвец спит спокойно там, где вы его закопали! Я сегодня утром стоял у его могилы. Он не восстанет до Судного дня.

Пока я говорил, дядя, моргая, смотрел на меня, потом устремил взгляд в землю и стал нелепо перебирать пальцами. Было ясно, что он лишился дара речи.

— Полно,— сказал я.— Вам надо думать о других. Пойдемте со мной на холм, поглядите на этот корабль.

Он послушался, не ответив мне ни словом, ни взглядом, и медленно поплелся следом за мной. Его тело словно утратило гибкость, и он тяжело взбирался на камни, вместо того, чтобы перепрыгивать с одного на другой, как он это делал раньше. Я нетерпеливо его окликал, но это не заставило его поторопиться. Ответил он мне только раз — тоскливо, словно испытывая телесную боль:

— Ладно, ладно, я иду.

К тому времени, когда мы добрались до вершины, я уже не испытывал к нему ничего, кроме жалости. Если преступление было чудовищным, то и кара была соразмерной. Наконец мы поднялись на гребень холма и могли оглядеться. Повсюду взгляд встречал только

бурный сумрак — последний проблеск солнца исчез, поднялся ветер, правда, еще не сильный, но неровный и часто меняющий направление; дождь, впрочем, перестал. Хотя прошло совсем немного времени, волны вздымались гораздо выше, чем когда я стоял здесь в последний раз. Они уже перехлестывали через рифы и громко стонали в подводных пещерах Ароса. Я не сразу нашел взглядом шхуну.

— Вон она,— сказал я наконец. Но ее новое местоположение и курс, которым она шла, удивили меня.— Неужто они думают выйти в открытое море? — воскликнул я.

— Это самое они и думают,— ответил дядя, словно с радостью.

В этот миг шхуна повернула, легла на новый галс, и я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос: чужестранцы, заметив приближение бури, решили выйти на океанский простор, но ветер, который грозил вот-вот обрушиться на эти усеянные рифами воды, и мощное противное течение обещали им на этом пути верную смерть.

— Господи! — воскликнул я.— Они погибли!

— Да,— подхватил дядя,— все, все погибли. Им бы укрыться за Кайл-Дона, а так им не спастись, будь у них лоцманом хоть сам дьявол. А знаешь,— продолжал он, дернув меня за рукав,— хорошая будет ночка для кораблекрушения! Два за год! Ну и потанцуют же сегодня Веселые Молодцы!

Я поглядел на него, и впервые во мне зародилось подозрение, что он лишился рассудка. Он поглядывал на меня, словно ожидая сочувствия, с робкой радостью в глазах. Новая грозящая катастрофа уже изгладила из его памяти все, что произошло между нами.

— Если бы только я мог успеть,— воскликнул я в негодовании,— то взял бы ялик и попробовал бы их догнать, чтобы предупредить!

— Ни-ни-ни,— возразил он,— и думать не смей вмешиваться. Тут тебе делать нечего. Это его,— тут он сдернул с головы шапку,— это его воля. Ну, до чего же хорошая будет ночка!

В мою душу закрался страх, и, напомнив дяде, что я еще не обедал, я позвал его домой. Напрасно! Он не пожелал покинуть свой наблюдательный пост.

— Я должен видеть, как творится его воля, Чарли,— объяснил он и добавил, когда шхуна легла на новый галс: — А они с ней хорошо управляются! Куда там «Христу-Анне»!..

Люди на борту шхуны, вероятно, уже начали понимать, хотя далеко еще не в полной мере, какие опасности подстерегают их обреченный корабль. Всякий раз, когда затихал капризный ветер, они, несомненно, замечали, насколько быстро течение относит их назад. Галсы становились все короче, так как моряки убеждались, что толку от лавирования нет никакого. Каждое мгновение волна гремела и вскипала на новом подводном рифе, и все чаще ревущие водопады обрушивались под самый нос шхуны, а за ним открывался бурый риф и пенная путаница водорослей. Да, им приходилось отчаянно тянуть снасти — видит бог, на борту шхуны не было лентяев. И вот это-то зрелище, которое преисполнило бы ужасом любое человеческое сердце, мой дядя смаковал с восторгом знатока. Когда я повернулся, чтобы спуститься с холма, дядя улегся на землю, его вытянутые вперед руки вцепились в вереск, он словно помолодел духом и телом.

Я возвратился в дом в тягостном настроении, а когда я увидел Мери, у меня на сердце стало еще тяжелее. Закатав рукава по локоть и обнажив сильные руки, она месила тесто. Я взял с буфета булку и молча стал ее есть.

— Ты устал, Чарли? — спросила Мери несколько минут спустя.

— Устал,— ответил я, подымаясь на ноги,— устал от отсрочек, а может, и от Ароса. Ты меня хорошо знаешь и не истолкуешь мои слова превратно. И вот, Мери, что я тебе скажу: лучше бы тебе быть где угодно, только не здесь.

— А я тебе отвечу,— возразила она,— что буду там, где мне велит быть долг.

— Ты забываешь, что у тебя есть долг перед самой собой,— указал я.

— Да неужто? — ответила она, продолжая месить тесто.— Ты это что же, в Библии вычитал?

— Мери,— сказал я мрачно,— не смейся надо мной. Бог свидетель — мне сейчас не до смеха. Если мы уговорим твоего отца поехать с нами, тем лучше. Но с

ним или без него, я хочу увезти тебя отсюда. Ради тебя самой, и ради меня, и даже ради твоего отца тебе лучше отсюда уехать. Я возвращался сюда с совсем другими мыслями, я возвращался сюда домой, но теперь все изменилось, и у меня осталось только одно желание, одна надежда: бежать отсюда — да, это самое верное слово — бежать, вырваться с этого проклятого острова, как птица вырывается из силков птицелова.

Мери уже давно оставила свою работу.

— И что ж ты думаешь? — спросила она.— Что ж ты думаешь, у меня нет ни глаз, ни ушей? Что ж ты думаешь, я бы не была рада выбросить в море это добро? (Как он его называет, господи прости его и помилуй!) Что ж ты думаешь, я жила с ним здесь изо дня в день и не видела того, что ты увидел за какой-нибудь час? Нет,— продолжала она,— я знаю, что случилась беда, а какая беда, я не знаю и знать не хочу. И мне не доводилось слышать, чтобы зло можно было поправить, вмешавшись не в свое дело. Только, Чарли, не проси меня уехать от отца. Пока он жив, я его не покину. А ему осталось недолго жить, Чарли. Это я могу тебе сказать. Недолго... На лбу у него печать, и, может, так оно и лучше.

Я помолчал, не зная, что ответить на это, а когда я, наконец, поднял голову, собираясь заговорить, Мери меня опередила.

— Чарли,— сказала она,— мой долг ведь не твой долг. Этот дом омрачен грехом и бедой. Ты здесь посторонний. Так бери свою сумку и иди в лучшие места, к лучшим людям. А если когда-нибудь задумаешь вернуться назад — будь то даже через двадцать лет — все равно я буду ждать тебя здесь.

— Мери-Урсула,— сказал я,— я просил тебя стать моей женой, и ты дала мне понять, что согласна. И теперь мы связаны навек. Где будешь ты, там буду и я — бог мне свидетель.

Едва я произнес эти слова, как внезапно взревел ветер, а потом вдруг все вокруг дома смолкло и словно задрожало. Это был пролог, первый удар надвигающейся бури. Мы вздрогнули и вдруг заметили, что в доме воцарилась полутьма, будто уже настал вечер.

— Господи, смилуйся над всеми, кто в море! — сказала Мери.— Отец теперь не вернется до рассвета.

И тогда-то, когда мы сидели у очага, прислушиваясь к ударам ветра, Мери рассказала мне, как произошла с моим дядей эта перемена.

Всю прошлую зиму он был угрюм и раздражителен. Когда Гребень вздымался особенно высоко, или, как выразилась Мери, когда плясали Веселые Молодцы, дядя много часов подряд лежал на мысу, если была ночь, а днем — на вершине Ароса, смотрел на бушующее море и вглядывался в горизонт, не покажется ли там парус. После десятого февраля, когда на берег в Песчаной бухте был выброшен обогативший его бриг, дядя вначале был неестественно весел, и это возбуждение не проходило, но только менялось и из радостного стало мрачным. Он не работал и не давал работать Рори. Они часами шептались за домом с таинственным, почти опасливым видом. А если она задавала вопросы тому или другому (вначале она пыталась их расспрашивать), они отвечали уклончиво и смущенно. С тех пор, как Рори заметил у переправы большую рыбу, дядя всего один раз побывал на Россе. Это случилось в разгар весны, при сильном отливе, и он перешел туда посуху, но задержался на дальнем берегу и, возвращаясь, увидел, что прилив вот-вот отрежет его от Ароса. С отчаянным воплем он перепрыгнул через полоску воды и добрался до дома вне себя от ужаса. Его мучил страх перед морем, постоянные и неотвязные мысли о море — этот страх сквозил в его разговорах, в молитвах, даже в выражении лица, когда он молчал.

К ужину вернулся только Рори. Но чуть позже в дом вошел дядя, взял под мышку бутылку, сунул в карман хлеб и снова отправился на свой наблюдательный пост — на этот раз в сопровождении Рори. Дядя сказал, что шхуну несет к бурунам, но команда по-прежнему с безнадежным упрямством и мужеством пытается отстоять каждый дюйм. От этого известия на душе у меня стало совсем черно. Вскоре после заката ярость бури достигла полной силы — мне еще не приходилось видеть летом подобных бурь, да и зимние никогда не налетали так внезапно. Мы с Мери молчали и слушали, как скрипит, содрогаясь, дом, как воет снаружи ветер, а огонь в очаге между нами шипел от дождевых брызг. Наши мысли были далеко отсюда — с несчастными моряками на шхуне, с моим столь же несчастным дядей на мысу среди разбушевавшихся стихий. Но то и дело

мы вздрагивали и отвлекались от своих раздумий, когда ветер обрушивался на дом, как тяжелая скала, или внезапно замирал, затихал, и пламя в очаге вытягивалось длинными языками, а наши сердца начинали отчаянно биться в груди. То буря схватывала все четыре угла кровли и встряхивала ее, ревя, как разгневанный Левиафан, то наступало затишье, и ее холодное дыхание, всхлипывая, пробиралось в комнату и шевелило волосы у нас на голове. А потом ветер вновь заводил тоскливую многоголосую песню, стонал в трубе, плакал, как флейта, вокруг дома.

Часов в восемь вошел Рори и таинственно поманил меня к дверям. Дядя, по-видимому, напугал даже своего верного товарища, и Рори, встревоженный его выходками, попросил меня пойти с ним и разделить его стражу. Я поспешил исполнить его просьбу — с тем большей охотой, что страх, ужас и электрическая атмосфера этого вечера пробуждали во мне беспокойство и желание действовать. Я велел Мери не тревожиться, обещал присмотреть за ее отцом и, закутавшись в плед, вышел вслед за Рори на улицу.

Хотя лето было в разгаре, ночь казалась чернее январской. Порой сумрачные отблески на мгновение рассеивали чернильный мрак, но в мятущемся хаосе небес нельзя было уловить причину этой перемены. Ветер забивался в ноздри и в рот, небо над головой гремело, как один гигантский парус, а когда на Аросе вдруг наступало затишье, было слышно, как шквалы с воем проносятся вдали. Над низинами Росса ветер, наверно, бушевал с той же яростью, что и в открытом море, и только богу известно, какой рев стоял у вершины Бен-Кайо. Дождь, смешанный с брызгами, хлестал нас по лицу. Вокруг Ароса всюду пенились буруны, и валы с непрерывным грохотом обрушивались на рифы и пляжи. В одном месте этот оглушительный оркестр играл громче, в другом — тише, хотя общая масса звука почти не менялась, но, вырываясь из нее, господствуя над ней, гремели прихотливые голоса Гребня и басистые вопли Веселых Молодцов. И в эту минуту я вдруг понял, почему они получили такое прозвище: их рев, заглушавший все остальные звуки этой ночи, казался почти веселым, полным какого-то могучего добродушия; более того, в нем было что-то человеческое. Словно орда дикарей перепилась до потери рассудка и, забыв членораздельную речь, принялась выть и вопить в веселом безумии. Именно так, чудилось мне, ревели в эту ночь смертоносные буруны Ароса.

Держась за руки, мы с Рори с трудом пробирались против ветра. Мы скользили на мокрой земле, мы падали на камни. Наверное, прошел почти час, когда, промокшие насквозь, все в синяках, измученные, мы наконец спустились на мыс, выходящий на Гребень. По-видимому, именно он и был излюбленным наблюдательным пунктом моего дяди. На самом его краю, в том месте, где утес наиболее высок и отвесен, земляной пригорок образует нечто вроде парапета, где человек, укрывшись от ветра, может любоваться тем, как прилив и бешеные волны ведут спор у его ног. Оттуда он может смотреть на пляску Веселых Молодцов, словно из окна дома на уличные беспорядки. В подобную ночь, разумеется, он видит перед собой только чернильный мрак, в котором кипят водовороты, волны сшибаются с грохотом взрыва, и пена громоздится и исчезает в мгновение ока. Мне еще не доводилось видеть, чтобы Веселые Молодцы так буйствовали. Их исступление, высоту и прихотливость их прыжков надо было видеть — рассказать об этом невозможно. Белыми столпами они взлетали из мрака высоко над утесом и нашими головами и в то же мгновение пропадали, точно призраки. Порой они взметывались по трое сразу, а порой ветер подхватывал кого-нибудь из них и опрокидывал на нас брызги, тяжелые, как волна. Тем не менее зрелище это не столько впечатляло своей мощью, сколько раздражало и заражало своим легкомыслием. Оглушительный рев не давал думать, и в мозгу возникала блаженная пустота, родственная безумию. По временам я замечал, что мои ноги двигаются в такт танцу Веселых Молодцов, словно где-то играли джигу.

Дядю я разглядел, когда мы находились от него еще в нескольких ярдах, потому что в это мгновение черноту ночи рассеял один из тех отблесков, о которых я уже упоминал. Дядя стоял позади холмика, откинув голову и прижимая ко рту бутылку. Когда он поставил бутылку на землю, он увидел нас и помахал нам рукой.

— Он пьян? — закричал я Рори.

— Он всегда пьет, когда дует ветер,— ответил Ро-

ри таким же громовым голосом; но я его еле расслышал.

— Так, значит... так было... и в феврале? — спросил я.

«Да» старого слуги исполнило меня радостью. Следовательно, убийство было совершено не хладнокровно, не по расчету. Это был поступок сумасшедшего, который так же не подлежал осуждению, как и прощению. Конечно, мой дядя был опасным безумцем, но не жестоким, низким негодяем, как я страшился. Но какое место для попойки, какой немыслимый порок избрал для себя бедняга! Я всегда считал пьянство страшным, почти кощунственным удовольствием, более демоническим, нежели человеческим. Но напиваться здесь, в ревущей тьме, на самом краю утеса, над адской пляской волн, где голова кружится, как сам Гребень, нога балансирует на краю смерти, а чутко настороженный слух ждет, чтобы раздался треск гибнущего корабля,— казалось бы, если бы и нашелся человек, способный на это, то уж никак не мой дядя, неколебимо верующий в ад и возмездие, терзаемый самыми мрачными суевериями. И все же это было так. А когда мы укрылись за пригорком и могли перевести дух, я заметил, что глаза дяди сверкают в темноте дьявольским блеском.

— Эгей, Чарли, красота-то какая! — воскликнул он.— Ты только посмотри...— продолжал он, подтаскивая меня к краю бездны, откуда вздымался этот оглушающий рев и взлетали тучи брызг.— Посмотри-ка, как они пляшут! Уж это ли не грех?

Последнее слово он произнес со вкусом, и я подумал, что оно подходит к этому зрелищу.

— Они воют, так им не терпится заполучить шхуну,— продолжал он, и его визгливый безумный голос было легко расслышать под прикрытием пригорка.— И ее тянет все ближе, и ближе, и ближе, и ближе, и ближе... И все они знают это, знают, что им пришел конец! Чарли, они на шхуне там все напились, залили себе глаза вином. На «Христе-Анне» все под конец были пьяны. В море трезвыми не тонут! Что ты об этом знаешь! — с внезапной яростью крикнул он.— Я тебе говорю, и так оно и есть: никто не посмеет пойти на дно трезвым. Возьми-ка,— добавил он, протягивая бутылку,— выпей глоток.

Я хотел было отказаться, но Рори предостерегающе дернул меня за рукав, да и я сам уже передумал. Поэтому я взял бутылку и не только сделал большой глоток, но и постарался пролить на землю как можно больше.

Это был чистый спирт, и я чуть не задохнулся, пытаясь его проглотить. Не заметив, насколько убыло содержимое бутылки, дядя вновь запрокинул голову и допил все до конца. Затем с громким хохотом швырнул бутылку Веселым Молодцам, которые, казалось, с воплями подпрыгнули повыше, чтобы поймать ее.

— Эй, ребята,— крикнул он,— вот вам подарочек! А до утра получите и кое-что получше!..

Внезапно в черном мраке под нами, всего в каких-нибудь двухстах ярдах от нас, в секунду затишья ясно прозвучал человеческий голос. Тут же ветер с воем опрокинулся на мыс, и Гребень заревел, закипел, затанцевал с новой яростью. Но мы успели расслышать этот голос и с мучительным ужасом поняли, что гибель обреченного корабля уже недалека и до нас донеслась последняя команда его капитана. Сбившись в кучку на краю утеса, мы, напрягая все чувства, ждали неизбежного конца. Однако прошло немало времени, которое нам показалось вечностью, прежде чем шхуна на мгновение вырисовалась на фоне гигантской горы сверкающей пены. Я до сих пор вижу, как захлопал ее зарифленный грот, когда гик тяжело упал на палубу, я все еще вижу черный силуэт ее корпуса, и мне все еще кажется, что я успел различить фигуру человека, навалившегося на румпель. А ведь шхуна возникла перед нами лишь на кратчайшее мгновение, и та самая волна, которая показала ее нам, навеки погребла ее под водой. На миг раздался нестройный хор голосов, но этот предсмертный вопль тут же заглушили своим ревом Веселые Молодцы. На этом трагедия кончилась. Крепкий корабль со всеми своими снастями и фонарем, быть может, еще горящим в каюте, с жизнями стольких людей, возможно, дорогими кому-нибудь еще и, уж во всяком случае, драгоценными, как райское блаженство, для них самих — все это в мгновение ока было поглощено бушующими водами. Все они исчезли, как сон. А ветер по-прежнему буйствовал и вопил, а бессмысленные волны Гребня по-прежнему взметывались ввысь и рассыпались пеной.

Не знаю, сколько времени мы пролежали у края утеса все трое, молча и неподвижно, но, во всяком случае, его прошло немало. Наконец, по очереди и почти машинально, мы опять заползли за пригорок. Я лежал, прижимаясь к земле, вне себя от ужаса, не владея рассудком, и слышал, как дядя что-то бормочет про себя — возбуждение сменилось у него унынием. То он повторял плаксивым тоном: «Так они старались, так старались... Бедняги, бедняги...» — то принимался сожалеть о зря пропавшем «добре» — ведь шхуна погибла среди Веселых Молодцов и ее не выкинуло на берег,— и все время он твердил одно название — «Христос-Анна», повторяя его с дрожью ужаса. Буря тем временем быстро стихала. Через полчаса дул уже только легкий бриз, и эта перемена сопровождалась, а может, была вызвана проливным холодным секущим дождем. Я, по-видимому, заснул, а когда очнулся, мокрый насквозь, окоченевший, с тяжелой головой, уже занялся рассвет — серый, сырой, унылый рассвет. Ветер налетал легкими порывами, шел отлив, Гребень совсем спал, и только сильный прибой, еще накатывавшийся на берега Ароса, свидетельствовал о ночной ярости бури.

ГЛАВА V

ЧЕЛОВЕК ИЗ МОРЯ

Рори отправился домой, чтобы согреться и поесть, но дядя во что бы то ни стало хотел осмотреть берег, и я не мог отпустить его одного. Он был теперь спокоен и кроток, но очень ослабел и духом и телом и занимался поисками с любопытством и непоследовательностью ребенка. Он забирался на рифы, он гонялся по песку за отступающими волнами, любая щепка или обрывок каната казались ему сокровищами, которые следовало спасти хотя бы с опасностью для жизни. Замирая от ужаса, я смотрел, как, спотыкаясь, на подгибающихся от усталости ногах, он бредет навстречу прибою или пробирается по коварным и скользким рифам. Я поддерживал его за плечи, хватал за полы, помогал отнести его жалкие находки подальше от набегающей волны — точно так вела бы себя нянька с семилетним ребенком.

Но, как ни ослабел он после ночных безумств, страсти, таившиеся в его душе, были страстями взрослого человека. А ужас перед морем, хотя дядя, казалось, и подавлял его, был по-прежнему силен — он отшатывался от волн так, словно перед ним было огненное озеро, а когда, поскользнувшись, дядя оказался по колено в воде, вопль, вырвавшийся из самых глубин его сердца, был полон смертной муки. Несколько минут после этого он сидел неподвижно, тяжело дыша, точно усталый пес, но алчное стремление воспользоваться добычей, оставшейся после кораблекрушения, вновь взяло верх над страхом, и он вновь принялся рыскать среди полос застывшей пены, ползать по камням среди лопающихся пузырей и жадно подбирать обломки, годившиеся разве что для растопки. Эти находки доставляли ему большое удовольствие, но все же он не переставал сетовать на преследующие его неудачи.

— Арос,— сказал он,— гиблое место: не бывает тут кораблекрушений. Сколько лет я тут прожил, а это всего лишь второе, да и все, что получше, пошло на дно!

— Дядя,— сказал я, воспользовавшись тем, что в эту минуту мы шли по ровной полосе песка, где ничто не отвлекало его внимания.— Вчера ночью я видел вас, как не чаял видеть,— вы были пьяны.

— Нет-нет,— ответил он.— До этого дело не дошло. Но пить-то я пил. И сказать тебе божескую правду, так я тут ничего поделать не могу. Трезвее меня человека не найти, но как начнет выть ветер, так я словно умом трогаюсь.

— Но ведь вы верующий,— сказал я.— А это грех.

— Верно! — ответил он.— Только не будь тут греха, не знаю, стал бы я пить. Это ведь все наперекор делается. В море непочатый край грехов: оно и в покое не место для христианина, а как разыграется, да ветер взвоет — они с ветром в родстве, это уж так,— да Веселые Молодцы заревут и запляшут, как полоумные, а бедняги на тонущих кораблях всю-то долгую ночь терпят муку мученическую — тут и начинает меня разбирать. Уж не знаю, дьявол в меня вселяется, что ли. Только бедных моряков мне и не жалко нисколько — я с морем заодно, с ним и с Веселыми Молодцами.

Я решил найти уязвимое место в его броне и по-

вернулся к морю. Там весело неистовствовал прибой; волны с развевающимися гривами бесконечной чередой накатывались на берег, вздымались, нависали, рассыпались и сталкивались на изрытом песке. Дальше — соленый воздух, испуганные чайки и бесчисленная армия морских коней, которые с призывным ржанием сплачивались вместе, чтобы обрушиться на Арос, а прямо перед нами та черта на плоском пляже, преодолеть которую их орда не может, как бы они ни ярились.

— Тут твой предел,— сказал я,— его да не преступишь!

А потом как мог торжественнее произнес стих из псалма, который прежде уже не раз примеривал к хору валов:

— «Но паче шума вод многих сильных волн морских силен в вышних господь!»

— Да,— отозвался дядя,— господь под конец восторжествует, разве я спорю? Но тут на земле глупые людишки преступают его заветы перед самым его оком Неразумно это — я и не говорю, что разумно,— но какая гордыня глаз, какая алчба жизни, какая радость!

Я промолчал, так как мы вышли на мысок, отделявший нас от Песчаной бухты, и я решил воззвать к лучшим чувствам моего несчастного родича, когда мы окажемся на месте его преступления. Умолк и дядя, но шаг его стал тверже. Мои слова подхлестнули его рассудок, и он уже больше не искал никчемные обломки, а погрузился в какие-то мрачные, но горделивые мысли. Минуты через три-четыре мы достигли вершины холма и начали спускаться в Песчаную бухту. Море обошлось с разбитым кораблем безжалостно: нос повернуло в противоположную сторону и стащило еще ниже, а корму немного подняло — во всяком случае, они теперь совсем разделились. Когда мы поравнялись с могилой, я остановился, обнажил голову, подставив ее сильному дождю, посмотрел дяде прямо в лицо и обратился к нему со следующей речью.

— По божьему соизволению,— начал я,— человеку было дано спастись от смертельных опасностей; он был беден, он был наг, он был истомлен, он был здесь чужим — он имел все права на сострадание; может, он был солью земли, святым, добрым и деятельным, а может,— нераскаянным грешником, для которого смерть была лишь преддверием адских мук. Перед лицом небес я спрашиваю тебя, Гордон Дарнеуэй: где человек, за которого Христос умер на кресте?

При последних словах дядя вздрогнул, но ничего не ответил, и в его глазах отразилась лишь смутная тревога.

— Вы брат моего отца,— продолжал я.— Вы научили меня смотреть на ваш дом, как на мой отчий дом; мы оба с вами грешники, бредущие перед лицом господа по стезе греха и искушений. Бог ведет нас к добру через наше зло; мы грешим... не смею сказать — по его завету, но с его соизволения; и для всякого человека, если только он не стал зверем, его грехи служат началом мудрости. Бог предостерег вас через это преступление, он предостерегает вас и сейчас — этой могилой у ваших ног, но если вы не покаетесь, если ваше сердце не смягчится и не обратится к нему, то чего остается нам ждать, как не какой-нибудь грозной кары?

Я еще не договорил, но глаза дяди уже не были устремлены на меня. Его лицо вдруг претерпело неописуемую перемену: все черты словно съежились, щеки покрылись свинцовой бледностью, дрожащая рука поднялась и указала на что-то за моим плечом, а с губ сорвалось столько раз уже повторявшееся название:

— «Христос-Анна!»

Я повернулся и хотя не ощутил подобного ужаса, для которого, благодарение небу, у меня не было причин, но все же был поражен зрелищем, открывшимся моему взору. На палубной надстройке разбитого судна спиной к нам стоял человек — он, по-видимому, вглядывался в морскую даль, приставив руку козырьком ко лбу, и вся его высокая, очень высокая фигура четко рисовалась на фоне воды и неба. Я сто раз повторял здесь, что я не суеверен, но в миг, когда мои мысли были заняты смертью и грехом, непонятное появление чужого человека на этом опоясанном морем пустынном островке исполнило меня изумлением, граничащим с паническим страхом. Не верилось, что простой смертный мог выбраться на берег в бурю, которая бушевала накануне вокруг Ароса, когда единственное судно, оказавшееся в этих водах, на наших глазах погибло среди Веселых Молодцов. Мной овладели сомнения, и, не вы-

держав неопределенности, я сделал шаг вперед и окликнул незнакомца, как окликают корабль.

Он обернулся и, как мне показалось, вздрогнул при виде нас. Мужество тут же возвратилось ко мне, и я, крикнув, сделал знак рукой, чтобы он подошел поближе, а он тотчас спрыгнул на песок и направился к нам, но то и дело в нерешительности останавливался. Эти робкие колебания придали мне смелости, и я сделал еще один шаг вперед, а потом дружески закивал и замахал рукой незнакомцу, подбодряя его. Нетрудно было догадаться, что потерпевший крушение слышал мало хорошего о гостеприимстве наших островов, да и правду сказать, в то время у людей, живших дальше к северу, слава была самая скверная.

— Он черный! — воскликнул я вдруг.

И в то же мгновение рядом со мной раздался голос, который я узнал лишь с трудом,— мой дядя разразился проклятиями, мешая их со словами молитвы. Я оглянулся на него: он упал на колени, лицо его исказилось от муки, и по мере того, как незнакомец приближался к нам, голос дяди становился все пронзительнее, а ярость его красноречия удваивалась. Я назвал эти крики молитвой, но, право же, никогда еще Творцу не доводилось слышать из уст одного из его созданий столь бессвязных и непристойных речей — если молитва может быть грешной, то безумные излияния дяди были греховны. Я подбежал к нему, схватил его за плечи и заставил встать.

— Замолчите! — сказал я.— Почитайте бога если не деяниями, то хотя бы словами. На том самом месте, где вы преступили его заповедь, он посылает вам средство искупления. Вперед! Воспользуйтесь им: как отец, приветствуйте бедняка, который, дрожа, взывает к вашему милосердию.

И я попытался увлечь дядю навстречу чернокожему, но он повалил меня наземь, вырвался из моих рук, оставив в них лацкан своей куртки, и быстрее оленя помчался вверх по склону. Я с трудом поднялся на ноги, весь в синяках и несколько оглушенный. Негр в удивлении — или, быть может, в ужасе — остановился на полпути между мной и разбитым кораблем, а дядя тем временем был уже далеко и по-прежнему с отчаянной быстротой перепрыгивал с камня на камень; два

разных долга призывали меня в разные стороны, и я на миг заколебался, не зная, какому зову последовать. Однако я решил — и молю бога, чтобы решение это было правильным,— в пользу бедняги на берегу; он-то, во всяком случае, не был виноват в своем несчастье, и к тому же ему я мог оказать истинную помощь, а дядю к этому времени я уже считал неизлечимым и страшным безумцем. Поэтому я пошел навстречу негру, который ожидал меня, скрестив руки на груди, с видом человека, готового принять уготованную ему участь. Когда я приблизился, он поднял руку величественным жестом священника на кафедре и голосом, также напоминавшим голос священника, произнес несколько слов, увы, мне непонятных. Я заговорил с ним по-английски, а потом на гэльском языке, но напрасно — было ясно, что нам придется положиться на язык взглядов и жестов. Поэтому я сделал ему знак следовать за мной, и он подчинился с торжественным смирением, словно низложенный король, а на его лице все это время не отражалось ничего — ни тревоги, пока он ожидал, ни облегчения теперь, когда он убедился, что опасения его были напрасны. Если я не ошибся в моей догадке и он действительно был чьим-то рабом, мне оставалось только заключить, что у себя на родине он занимал высокое положение, но и в его падении я не мог не восхищаться им. Когда мы проходили мимо могилы, я остановился и поднял глаза и руку к небу в знак печали и уважения к мертвым, а он, словно в ответ, низко поклонился и широко развел руками — этот странный жест был ему привычен и, наверное, принят в его стране. Затем он указал на моего дядю, который как раз добрался до вершины холма, и коснулся пальцем лба, давая понять, что перед нами сумасшедший.

Я выбрал длинный путь берегом, боясь, как бы дядя не впал в исступление, если мы пойдем напрямик через остров, и пока мы шли, я успел обдумать небольшую пантомиму, с помощью которой намеревался успокоить мою тревогу. И вот, остановившись на камне, я принялся изображать перед негром поступки человека, который накануне искал что-то в Песчаной бухте, сверяясь с компасом. Он сразу же меня понял и, в свою очередь, обозначил, где была шлюпка, а потом указал в сторону моря, словно на шхуну, и на край утесов, повторяя при этом слова «Эспирито Санто» со

странным произношением, но достаточно внятно. Следовательно, мои заключения были справедливы. Притворные исторические розыски служили лишь ширмой для поисков сокровищ, и человек, обманувший доктора Робертсона, был тем самым иностранцем, который приезжал в Гризепол весной, а теперь вместе со многими другими лежал мертвый под аросским Гребнем, куда их привела алчность и где волны будут вечно играть их костями. Тем временем негр продолжал свой безмолвный рассказ и то поглядывал на небо, словно следя за приближением бури, то в роли матроса махал остальным со шлюпки, поторапливая их, то изображал офицера и бежал по скалам к шлюпке, то, наконец, наклонялся над воображаемыми веслами с видом озабоченного гребца — и все с такой торжественной серьезностью, что мне ни разу и в голову не пришло засмеяться. В заключение с помощью пантомимы, которую невозможно передать словами, он показал, как сам ушел осмотреть обломки неизвестного корабля и, к своему горю и негодованию, был покинут товарищами на берегу бухты. Затем он вновь скрестил руки на груди и склонил голову, словно смиряясь с судьбой.

Теперь, когда тайна его присутствия на острове объяснилась, я с помощью рисунка на песке сообщил ему, что случилось со шхуной и всеми, кто был на ее борту. Он не выразил ни удивления, ни печали, но, внезапно подняв ладонь кверху, казалось, предал своих бывших друзей или хозяев на волю божью. Чем больше я приглядывался к нему, тем больше внушал он мне уважения; я видел, что он наделен острым умом и спокойным, суровым характером, а я всегда любил общество подобных людей. Так что, когда мы добрались до дома, я уже почти забыл и совсем простил ему мрачный цвет его кожи.

Мери я рассказал все, что произошло, и ничего от нее не утаил, хотя, признаюсь, сердце у меня мучительно сжималось; но я напрасно усомнился в ее справедливости.

— Ты поступил правильно,— сказала она.— На все божья воля.

И она тотчас же собрала нам поесть.

Когда я насытился, то велел Рори приглядывать за негром, который еще продолжал есть, а сам отправился

на поиски дяди. Я не прошел и нескольких шагов, как увидел, что он сидит на том же месте, где я видел его в последний раз,— на самой вершине холма — и как будто все в той же позе. Оттуда, как я уже упоминал, перед ним открывался вид почти на весь Арос и на прилегающие низины Росса — они расстилались у его ног, точно карта. Несомненно, дядя бдительно смотрел по сторонам: не успела моя голова показаться из-за первой скалы, как он вскочил на ноги и повернулся, словно намереваясь броситься на меня. Я окликнул его тем же тоном и теми же словами, как в прежние дни, когда приходил звать его к обеду. Он ничего не ответил и даже не пошевелился. Я сделал несколько шагов вверх по тропе и снова попробовал с ним заговорить — и снова тщетно. Однако едва я двинулся дальше, как им вновь овладел безумный страх, и, храня все то же глухое молчание, он с невероятной быстротой побежал прочь от меня по каменистому гребню холма. Всего час назад он был разбит усталостью, а я был относительно свеж. Но теперь жар безумия придал ему новые силы, и я понял, что мне его не догнать. Более того, я подумал, что подобная попытка только усугубит его ужас и тем самым ухудшит наше и без того тяжелое положение. Мне оставалось только удалиться восвояси и поведать Мери грустные новости.

Она выслушала их, как и первый мой рассказ, сохраняя спокойствие, потом посоветовала мне прилечь и отдохнуть, так как я совсем измучился, а сама отправилась искать своего несчастного отца. Я был тогда в том возрасте, когда только чудо помешало бы мне спать и есть. Я уснул крепким, глубоким сном, и день уже начинал клониться к вечеру, когда я проснулся и спустился в кухню. Мери, негр и Рори молча сидели там у горящего очага, и я заметил, что Мери недавно плакала. Как я вскоре узнал, причин для слез было более чем достаточно. Сначала она, потом Рори искали дядю — оба по очереди находили его на вершине холма, и от обоих по очереди он быстро и молча убегал. Рори попробовал догнать его, но не сумел: безумие придало ему ловкости, он перепрыгивал с камня на камень через широкие расселины, мчался по склонам, как ветер, петлял и увертывался, точно заяц, спасающийся от собак, и Рори в конце концов отказался от своего намерения.



Но даже в самый разгар погони, когда быстроногий слуга чуть было не схватил его, бедный безумец не издал ни единого звука. Он бежал молча, как зверь, и это молчание напугало преследователя.

Мы оказались в мучительном тупике. Как изловить безумца, как покуда его кормить и что с ним делать, когда мы его схватим,— таковы были три трудности, которые нам предстояло разрешить.

— Припадок этот вызвал чернокожий,— сказал я.— Может быть, дядя прячется на холме из-за его присутствия в доме. Мы поступили как должно: он поел и согрелся под этим кровом, а теперь пусть Рори перевезет его на ялике через бухту и проводит в Гризепол.

Мери охотно согласилась с моим планом, и, знаками пригласив негра следовать за нами, мы все трое спустились к пристани. Но небеса поистине обратились против Гордона Дарнеуэя. Случилось то, чего еще никогда не случалось на Аросе: во время бури ялик сорвался с причала, ударился о крепкие сваи пристани и теперь с разбитым бортом лежал на дне на глубине четырех футов. Починка должна была потребовать не меньше трех дней. Но я не пожелал сдаться и повел всех к тому месту, где пролив был у́же всего, переплыл на другой берег и поманил негра за собой. Он ответил знаками, столь же ясно и спокойно, как и раньше, что не умеет плавать, и в его жестах была искренность, в которой мы не могли усомниться. И вот, обманутые и этой надеждой, мы были вынуждены вернуться в дом в том же порядке, в каком ушли из него, и негр шел с нами без всякого смущения.

Больше мы в этот день ничего сделать не могли и только еще раз попробовали урезонить бедного безумца. Вновь он сидел на своем сторожевом посту и вновь бежал оттуда в молчании. Однако теперь мы оставили ему еду и большой плащ. К тому же дождь прекратился, а ночь обещала быть даже теплой. Мы решили, что можем спокойно ожидать следующего дня; нам всем требовался отдых, который подкрепил бы наши силы перед трудным утром, разговаривать никому не хотелось, и мы разошлись в ранний час.

Я долго не мог уснуть, обдумывая завтрашнюю облаву. Негра я намеревался поставить в Песчаной бухте, откуда он должен будет отпугнуть дядю по направлению к дому, Рори будет поджидать его на западе, а я — на востоке. Чем дольше я размышлял над географией островка, тем больше крепло во мне убеждение, что, несмотря на все трудности, мы все-таки можем добиться успеха и вынудить дядю спуститься в низину у бухты Арос, а там даже силы, придаваемые ему безумием, не откроют ему путь к спасению. Больше всего я рассчитывал на страх, который внушал ему негр: я не сомневался, что дядя ни за что не решится побежать в сторону человека, которого он считал воскресшим мертвецом, и, значит, об одном направлении можно было не беспокоиться.

Наконец я уснул, но только для того, чтобы вскоре пробудиться от кошмара, в котором причудливо мешались разбитые корабли, чернокожие люди и подводные приключения; совсем разбитый, чувствуя лихорадочный жар, я встал с постели, спустился по лестнице и вышел из дома. Позади меня на кухне спали Рори и чернокожий, передо мной раскинулось прекрасное звездное небо, кое-где испещренное клочками облаков,— последними напоминаниями об унесшейся буре. Приближался час полного прилива, и рев Веселых Молодцов далеко разносился в безветренной тиши ночи. Никогда еще — и в самый разгар урагана — не внимал я их песне с таким трепетом. Даже теперь, когда ветер удалился на покой, когда бездна морская вновь убаюкивала себя, погружаясь в летнюю дремоту, а звезды лили кроткий свет на сушу и на воды, голос этих бурунов все еще грозил бедой. Они поистине казались частицей мирового зла и трагизма жизни. Но безмолвие ночи нарушалось не только их бессмысленными воплями. Ибо я слышал, что реву Гребня аккомпанирует человеческий голос, то пронзительный и громкий, то заглушаемый грохотом волн. Я узнал голос дяди, и меня обуял великий страх перед неисповедимостью путей господних и перед злом, правящим в мире. Я вернулся во мрак дома, ища в нем приюта, и еще долго лежал без сна, размышляя над этими тайнами.

Когда я вновь очнулся, час был уже поздний, и, торопливо одевшись, я поспешил в кухню. Там никого не было: Рори и чернокожий уже давно тихонько ушли из дома, и мое сердце упало при этом открытии. Я верил в добрые намерения Рори, но не мог положиться на его рассудительность. Если он вот так ушел из дому

тайком, значит, он думал помочь дяде. Но каким образом мог он помочь ему, даже будь он один, и тем более в обществе человека, который стал для дяди живым воплощением его страхов? Возможно, я уже опоздал предотвратить какую-то непоправимую ошибку, но, во всяком случае, мешкать было нельзя. Я бросился вон из дома, и хотя мне не раз приходилось бегать по каменистым склонам Ароса, я еще никогда не бегал так стремительно, как в то роковое утро. По-моему, я достиг вершины менее чем за двенадцать минут.

Мой дядя покинул свой наблюдательный пост. Правда, корзина была открыта и еда разбросана по траве, но, как мы обнаружили позднее, он не съел ни кусочка. Нигде вокруг, насколько хватал глаз, не было видно ни малейших признаков человека. Рассвет уже озарил ясные небеса, солнце окрасило розовым румянцем вершину Бен-Кайо, но скалистые склоны Ароса подо мной и широкий щит моря еще купались в прозрачном сумраке ранней зари.

— Рори! — крикнул я и, помолчав, снова закричал: — Рори!

Звук моего голоса замер, но я не услышал никакого ответа. Если сейчас действительно шла охота на моего дядю, преследователи не полагались на быстроту своих ног, а рассчитывали подкрасться к нему незаметно. Я побежал дальше, придерживаясь наиболее высоких вершин и оглядываясь по сторонам, пока не оказался на холме над Песчаной бухтой. Я увидел разбитый бриг, обнажившуюся полосу песка, длинную гряду скал, а по обеим сторонам бухты дикое нагромождение утесов, валуны и расселины. И ни единого человека.

Внезапно солнечный свет пал на Арос, и ожили все тени и цвета. Мгновение спустя ниже по склону и к западу от того места, где я стоял, метнулись врассыпную испуганные овцы. Раздался крик. Я увидел дядю, который тут же кинулся бежать. Я увидел негра, который помчался за ним; но прежде, чем я успел понять, что происходит, появился Рори и принялся выкрикивать по-гэльски распоряжения, словно собаке, гонящей овец.

Я опрометью бросился вниз, чтобы вмешаться, но лучше бы я остался там, где я стоял, ибо теперь я отрезал безумцу последний путь к отступлению. С этой минуты перед ним не было уже ничего, кроме могилы, разбитого корабля и моря в Песчаной бухте. Но, бог свидетель, я думал сделать как лучше!

Дядя Гордон заметил, к какому страшному для него месту гонят его преследователи, и попытался свернуть в сторону. Он метался вправо и влево, но хотя лихорадка безумия и придавала быстроту его ногам, чернокожий был еще проворнее. Куда бы дядя ни поворачивал, его намерения предвосхищались, и он все приближался и приближался к месту своего преступления. Внезапно он начал пронзительно кричать, и по всему берегу эхо подхватило его вопли. Теперь уже и я и Рори кричали негру, чтобы он остановился. Но тщетно! Ибо суждено было иное. Преследователь продолжал гнаться, преследуемый продолжал, вопя, бежать перед ним; они обогнули могилу, промчались под самыми обломками брига, в одно мгновение пересекли пески, но дядя ни на секунду не замедлил бега и кинулся прямо в волны, а чернокожий, уже почти касавшийся его рукой, последовал за ним. Мы с Рори остановились, ибо не в силах человеческих было что-либо изменить: на наших глазах свершалось предначертание господне. Конец редко наступает так быстро: здесь берег обрывался в море очень круто, и они со второго шага ушли под воду с головой, а оба не умели плавать. На мгновение негр вынырнул с придушенным криком, но течение уже подхватило обоих и потащило в море; а если они всплыли вновь, что ведомо только богу, то лишь через десять минут у дальнего конца аросского Гребня, где над водой парят чайки, высматривая рыбу.

МАРКХЕЙМ

— Да, сэр,— сказал хозяин лавки,— в нашем деле не всегда угадаешь, с какой стороны придет удача. Среди клиентов попадаются невежды, и тогда мои знания приносят мне проценты. Попадаются люди бесчестные...— Тут он поднял свечу повыше, так что свет резко ударил в лицо его собеседнику.— Но в таком случае,— заключил он,— я выгадываю на своем добром имени.

Маркхейм только что вошел в лавку с залитой светом улицы, и его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, разреженной кое-где яркими бликами. Эти неспроста сказанные слова и близость горящей свечи заставили его болезненно сморщиться и отвести взгляд в сторону.

Антиквар усмехнулся.

— Вы приходите ко мне в первый день Рождества,— продолжал он,— зная, что, кроме меня, в доме никого нет, что окна в лавке закрыты ставнями и что я ни в коем случае не буду заниматься торговлей. Ну что ж, вам это будет накладно. Вы поплатитесь за то, что я потрачу время на подсчет нового итога в моей приходной книге, а также за некую странность вашего поведения, которая уж очень заметна сегодня. Я сама скромность и никогда не задаю лишних вопросов, однако, если клиент не смотрит мне в глаза, с него за это причитается.

Антиквар снова усмехнулся, но тут же перешел на свой обычный деловой тон, хотя все еще с оттенком иронии.

— Как всегда, вы, разумеется, дадите мне исчерпывающее объяснение, каким образом вещь попала к вам в руки,— сказал он.— Все из того же шкафчика вашего дядюшки? Какой он у вас замечательный собиратель редкостей, сэр!

И тщедушный, сгорбленный антиквар чуть не привстал на цыпочки, всматриваясь в Маркхейма поверх золотой оправы очков и с явным недоверием покачивая головой. Маркхейм ответил ему взглядом, полным бесконечной жалости и чуть ли не ужаса.

— На этот раз,— сказал он,— вы ошибаетесь. Я пришел не продавать, а покупать. У меня нет никаких диковинок на продажу; в шкафчике моего дядюшки хоть шаром покати. Но если бы даже он был набит, как прежде, я, пожалуй, скорее занялся бы его пополнением, потому что за последнее время мне сильно везло на бирже. Цель моего сегодняшнего прихода проще простого. Я подыскиваю рождественский подарок для одной дамы.— Он говорил все свободнее, входя в колею заранее приготовленной речи.— И, разумеется, я приношу вам свои извинения за то, что потревожил вас по столь ничтожному поводу. Но вчера я не удосужился заняться этим; мое скромное подношение надо сделать сегодня за обедом, а, как вы сами отлично понимаете, богатой невестой пренебрегать не годится.

Последовала пауза, во время которой антиквар как бы взвешивал слова Маркхейма. Тишину нарушало только тиканье множества часов, висевших в лавке среди прочей старинной рухляди, да отдаленное громыхание экипажей на соседней улице.

— Хорошо, сэр,— сказал антиквар.— Пусть будет по-вашему. В конце концов вы мой давний клиент, и если вам действительно удастся сделать хорошую партию, не мне быть этому помехой. Вот, пожалуйста, отличный подарок для дамы,— продолжал он.— Ручное зеркальце. Пятнадцатый век, подлинный и из хорошей коллекции. Из чьей именно, я умолчу в интересах моего клиента, который, подобно вам, уважаемый сэр, приходится племянником и единственным наследником одному замечательному коллекционеру.

Говоря все это сухим, язвительным тоном, антиквар нагнулся достать зеркало с полки, и в тот же миг судорога пробежала по телу Маркхейма, у него затряслись руки и ноги, на лице отразилась буря страстей. Все это прошло так же мгновенно, как и возникло, не оставив после себя и следа, кроме легкой дрожи руки, протянутой за зеркалом.

— Зеркало,— хрипло проговорил он и замолчал, потом повторил более внятно: — Зеркало? На Рождество? Да можно ли?

— А что тут такого? — воскликнул антиквар.— Почему не подарить зеркало?

Маркхейм устремил на него какой-то особенный взгляд.

— Вы спрашиваете почему? — сказал он.— Да возьмите поглядитесь в это зеркало сами. Ну что? Приятно? Ведь нет. И никому не может быть приятно.

Щуплый антиквар отскочил назад, когда Маркхейм внезапно подался к нему с зеркалом, но, убедившись, что ничто более страшное ему не угрожает, сказал с улыбкой:

— Ваша будущая супруга, сэр, видимо, не так уж хороша собой.

— Я пришел к вам,— сказал Маркхейм,— за рождественским подарком, а вы... вы предлагаете мне вот это проклятое напоминание, напоминание о прожитых годах, прегрешениях и безумствах. Ручное зеркало — это же ручная совесть! Вы это нарочно? С задней мыслью? Признайтесь! Для вас же будет лучше, если признаетесь чистосердечно. И расскажите о себе. Есть у меня подозрение, что на самом-то деле вы человек сердобольный.

Антиквар пристально посмотрел на своего собеседника. Как ни странно, Маркхейм не смеялся; в лице его словно бы промелькнула яркая искорка надежды, но уж никак не насмешки.

— Куда вы клоните? — спросил антиквар.

— Неужто не сердобольный? — хмуро проговорил Маркхейм.— Не сердоболен, не благочестив, не щепетилен, никого не любит, никем не любим. Рука, загребающая деньги, кубышка, где они хранятся. И это все? Боже правый, неужели это все?

— Сейчас я вам скажу, все или не все,— резко заговорил антиквар, но тут же снова усмехнулся.— Впрочем, понимаю, понимаю, вы вступаете в брак по любви и, видимо, успели выпить за здоровье вашей суженой.

— А-а! — воскликнул Маркхейм, почему-то вдруг загоревшись любопытством.— А вы-то сами были когда-нибудь влюблены? Расскажите, расскажите мне.

— Я? — воскликнул антиквар.— Я — и любовь! Да у меня времени на это не было, и сегодня я не намерен его тратить на всякий вздор. Берете вы зеркало?

— Куда нам спешить? — возразил ему Маркхейм.— Стоим, беседуем — это так приятно. Жизнь наша коротка и ненадежна, зачем бежать ее приятностей, даже столь скромных, как эта? Надо цепляться за всякую малость, которую можно урвать у жизни, как цепляется человек за край обрыва над пропастью. Если вдуматься, так каждый миг нашей жизни — обрыв, крутой обрыв, и кто сорвется вниз с этой крутизны, тот потеряет всякое подобие человеческое. Так не лучше ли отдаться приятной беседе? Давайте расскажем каждый о себе. Зачем нам носить маску? Доверимся друг другу. Как знать, быть может, мы станем друзьями?

— Мне осталось сказать вам только одно,— проговорил антиквар.— Покупайте или уходите вон из моей лавки!

— Правильно, правильно,— сказал Маркхейм.— Хватит дурачиться. К делу. Покажите мне что-нибудь еще.

Антиквар снова нагнулся, на сей раз чтобы положить зеркало на место; реденькие белесые волосы свесились ему на глаза. Маркхейм чуть подался вперед, держа одну руку в кармане пальто; он расправил плечи и вздохнул всей грудью, и сумятица чувств проступила у него на лице: страх, ужас, решимость, упоение и физическая гадливость,— и под мучительно вздернувшейся верхней губой блеснули зубы.

— Может, вот это вам подойдет? — сказал антиквар, и, когда он стал выпрямляться, Маркхейм бросился на свою жертву сзади. Длинный, как вертел, кинжал сверкнул в воздухе и ударил. Антиквар забился, точно курица, стукнувшись виском о полку, и бесформенной грудой рухнул на пол.

Время заговорило в лавке десятками негромких голосов — и степенных, неторопливых, как подобало их почтенному возрасту, и дробно стрекочущих наперебой. Хитросплетения этого хора отсчитывали своим тиканьем секунду за секундой. Но вот громкий топот мальчишки, пробежавшего по тротуару, примешался к этим более тихим голосам, и Маркхейм, очнувшись, вспомнил, где он находится. Он в страхе огляделся по сторонам. Свеча стояла на прилавке, ее огонек с торжественной

мерностью покачивался на сквозняке, и от этого чуть приметного движения вся лавка полнилась бесшумной суетой, и все в ней колыхалось, как взбаламученное море: покачивались высокие тени, густые пласты тьмы вздымались и опадали в ритме дыхания, лица на портретах и у фарфоровых божков меняли выражение и подергивались зыбью, точно отражаясь в воде. Внутренняя дверь лавки стояла приотворенная, и длинная полоска дневного света указующим перстом протягивалась в этот стан теней.

Полный страха, блуждающий взгляд Маркхейма вернулся к телу его жертвы, которая лежала съежившись и в то же время словно распластавшись на полу и казалась до невероятия маленькой и, как ни странно, еще более жалкой, чем при жизни. В своей убогой, ветхой одежонке, в этой нелепой позе антиквар стал похож на кучу опилок. Минуту назад Маркхейм боялся на него посмотреть, а оказалось — вот только и всего! И тем не менее под его взглядом эта охапка заношенной одежды и лужа крови начинали обретать весьма выразительный голос. Вот так *оно* будет лежать; некому привести в действие хитроумные пружинки этого тела или управлять чудом движения — так ему и придется лежать до тех пор, пока его не обнаружат. Обнаружат! А тогда что? Тогда эта мертвая плоть так возвысит свой голос, что он разнесется по всей Англии и отзвуки погони наполнят весь мир. Да, мертвый, живой ли, он все еще враг. «Было время, когда у жертвы череп размозжен, кончался человек, и все кончалось» [1],— вспомнилось ему, и мысль его сразу ухватилась за это слово: время! Теперь, после того как дело сделано, время, остановившееся для жертвы, обрело огромное, безотлагательное значение для убийцы.

Эта мысль все еще владела Маркхеймом, когда сначала одни, потом другие — в разном темпе, на разные голоса, то густые, как у колокола на соборной колокольне, то звонко отстукивающие начальные такты вальса — часы начали отбивать три пополудни.

Внезапный говор стольких языков, нарушивших безмолвие, ошеломил Маркхейма. Он заставил себя прийти в движение среди зыбких теней, которые обступали его со всех сторон, и со свечой в руке заходил по лавке, обмирая от страха при виде своих беглых отражений, возникавших то тут, то там. Эти отражения, точно скопище шпионов, замелькали в богатых зеркалах — английской, венецианской и голландской работы; глаза Маркхейма встречались с собственным шарящим взглядом, звуки собственных шагов, хоть и приглушенных, будоражили окружающую тишину. И пока он набивал себе карманы, разум с томительным упорством твердил ему о тысяче просчетов в его замысле. Надо было выбрать час затишья; надо было позаботиться об алиби; не надо было убивать ножом; надо было действовать осмотрительнее и только связать антиквара и засунуть ему в рот кляп; или же, напротив, проявить большую смелость и убить заодно и служанку — все надо было делать по-иному. Мучительные сожаления, непрестанная тягостная работа мысли, выискивающая, как изменить то, чего уже не изменишь, как наладить другой, теперь уже запоздалый ход, как заново стать зодчим непоправимо содеянного. И рядом с этой работой мысли безжалостные страхи, точно крысы, снующие на заброшенном чердаке, поднимали бурю в далеких уголках его мозга: вот рука констебля тяжело ложится ему на плечо — и нервы его дергались, как рыба на крючке; перед ним вихрем проносились картины: скамья подсудимых, тюрьма, виселица и черный гроб.

Мысль о прохожих на улице осаждала его со всех сторон, как неприятельское войско. Ведь не может же быть, думал он, чтобы отзвуки насилия не достигли чьего-либо слуха, не пробудили чьего-либо любопытства. И он представлял себе, что в соседних домах сидят люди, замерев на месте, насторожившись,— одиночки, встречающие Рождество воспоминаниями о прошлом и вдруг оторванные от этого сладостного занятия, и счастливые, семейные, и вот они тоже замолкают за праздничным столом, и мать предостерегающе поднимает палец. Сколько их, самых разных — по возрасту, положению, характеру, и ведь хотят дознаться, и прислушиваются, и плетут веревку, на которой его повесят. Иногда ему казалось, будто он ступает недостаточно тихо; позвякивание высоких бокалов богемского стекла отдавалось в его ушах, как удары колокола; опасаясь полнозвучного тиканья часов, он готов был остановить маятники. А потом тревога начинала нашептывать ему, что

[1] Шекспир. «Макбет», акт III, сцена IV.

самая тишина лавки зловеща, что она насторожит прохожих и заставит их задержать шаги. И он ступал смелее, не остерегаясь, шарил среди вещей, загромождавших лавку, и старательно, с напускной храбростью подражал движениям человека, не спеша и деловито хозяйничающего у себя дома.

Но теперь страхи так раздирали Маркхейма, что покуда одна часть его мозга была начеку и всячески хитрила, другая трепетала на грани безумия. И с особой силой завладела им одна галлюцинация. Бледный как полотно сосед, замерший у окна, или прохожий, во власти страшной догадки остановившийся на тротуаре,— эти в худшем случае могут только заподозрить что-то, а не знать наверное: сквозь каменные стены и ставни на окнах проникают лишь звуки. Но здесь, в самом доме, один ли он? Да, разумеется, один. Ведь он выследил служанку, когда она отправилась по своим амурным делам в убогом праздничном наряде, каждый бантик которого и каждая ее улыбка говорили: «Уж погуляю сегодня вволю». Нет, конечно, он здесь один. И все же где-то наверху, в недрах этого пустынного дома, ему явственно слышался шорох тихих шагов — сам не зная почему, он ясно ощущал чье-то присутствие здесь. Да, несомненно! В каждую комнату, в каждый закоулок дома следовало за *этим* его воображение; вот *оно*, безликое, но зрячее, вот превратилось в его собственную тень, вот приняло облик мертвого антиквара, вновь ожившего, вновь коварного и злого.

Время от времени он через силу заставлял себя посмотреть на открытую дверь, которая все еще как бы отталкивала от себя его взгляд. Дом был высокий, фонарь в крыше маленький, грязный, день слепой от тумана, и свет, еле просачивающийся сверху до нижнего этажа, чуть заметно лежал у порога лавки. И все же — не тень ли чья-то колыхалась там, в этом мутном световом пятне?

Вдруг какой-то чрезвычайно весело настроенный джентльмен начал колотить снаружи палкой во входную дверь лавки, сопровождая удары возгласами, шуточками и то и дело окликая антиквара по имени. Оледенев от ужаса, Маркхейм бросил взгляд на мертвеца. Нет, убитый лежал неподвижно; он ушел далеко-далеко, туда, куда не достигали эти призывы и стук, утонул

в пучине безмолвия, и его имя, которое он различил бы прежде даже сквозь рев бури, стало пустым звуком. Вскоре, однако, весельчак бросил ломиться в дверь и удалился.

Вот он, красноречивый намек, что надо поскорее все доделать, уйти из этих мест, которые несут в себе осуждение, погрузиться в глубь лондонского людского моря и достичь — уже по ту сторону минувшего дня — своей постели, этой надежной, оберегающей от улик гавани. Один гость сюда уже наведался; в любую минуту может появиться другой, более настойчивый. Но сделать то, что сделано, и не пожать плодов — такая неудача будет непереносима. Деньги — вот о чем думал теперь Маркхейм, и средством к достижению этой цели были ключи.

Он оглянулся через плечо на дверь, где все еще маячила, колыхаясь на пороге, та самая тень, и без душевного содрогания, но чувствуя, как ему сводит желудок, подошел к своей жертве. В ней не осталось ничего живого, человеческого. Руки и ноги, разбросанные по полу, скорченное туловище, точно чучело, набитое опилками, и все же в этом трупе было что-то отталкивающее. На взгляд он такой жалкий, невзрачный, но когда прикоснешься, не почувствуешь ли в нем чего-то большего, значительного? Маркхейм взял антиквара за плечи и перевернул его навзничь. Он был на удивление легкий и податливый, руки и ноги, будто сломанные, под несуразными углами легли на пол. Лицо лишено всякого выражения, желтое, как воск, а на правом виске страшно расползлась кровь. Только это и резнуло Маркхейма и мгновенно унесло его назад, к одному памятному ярмарочному дню в рыбацкой деревушке: серый день, посвистывающий ветер, людские толпы на улице, рев медных труб, буханье барабанов, гнусавый голос уличного певца и маленький мальчик, шныряющий среди взрослых. Мальчика раздирает любопытство и страх, и, пробившись наконец на площадь, туда, где толпа всего гуще, он видит балаган и большую доску с нелепыми, грубо размалеванными картинками: Элизабет Браунриг со своим подмастерьем, чета Мэннингсов и убитый ими гость, Уир, задушенный Тертеллом, и еще десятка два других прогремевших на всю страну преступников. Это возникло перед ним, как видение; он снова был тем маленьким мальчиком, снова с таким же чувством гадливо-

сти разглядывал мерзкие картинки, оглушительная барабанная дробь по-прежнему звучала у него в ушах. В памяти пронесся обрывок песенки, услышанной в тот день, и тут впервые его охватила дурнота и чуть затошнило, и он почувствовал слабость во всех членах, которую надо было немедленно пресечь и побороть.

Он решил, что разумнее будет не отмахиваться от этих новых мыслей и не бежать их, а смелее взглянуть в мертвое лицо, заставить себя осознать сущность и огромность своего преступления. Ведь совсем недавно в этом лице отражалась каждая смена чувств, эти бледные губы выговаривали слова, это тело было согрето волею к действию, а теперь, после того, что сделал он, Маркхейм, эта частичка жизни остановлена, подобно тому, как часовых дел мастер, сунув палец в механизм, останавливает ход часов. Но тщетны были все его доводы: на угрызения совести он не мог себя подвигнуть. Сердце, содрогавшееся когда-то при виде аляповатых изображений убийств, бестрепетно взирало на действительность. Он чувствовал лишь проблеск жалости к тому, кто, будучи наделен всеми способностями, которые могут превратить мир в волшебный сад, так и не использовал их, и не жил настоящей жизнью, и теперь лежал мертвый. Но раскаяние? Нет, раскаяния в его душе не было и тени.

И, стряхнув с себя все эти мысли, он отыскал ключи и подошел к внутренней двери; она все еще стояла приоткрытая. На улице хлынул ливень, и шум дождевых струй по крыше прогнал тишину. Точно в пещере, со сводов которой капает, по дому ходило несмолкаемое эхо дождя, глушившее слух и мешавшееся с громким тиканьем часов. И когда Маркхейм подошел к двери, он услышал в ответ на свою осторожную поступь чьи-то шаги, удаляющиеся вверх по лестнице. Тень у порога все еще переливалась зыбью. Он подтолкнул свою мускулатуру всем грузом решимости и затворил дверь.

Слабый свет туманного дня тусклым отблеском лежал на голом полу и ступеньках, на серебристых рыцарских доспехах с алебардой в рукавице, загромождавших лестничную площадку, на резных фигурках и на картинах в рамах, развешанных по желтым стенным панелям. Шум дождя так громко отдавался во всем доме, что в ушах Маркхейма он начинал дробиться на разные звуки. Шаги и вздохи, маршевая поступь солдат где-то в от-

далении, звяканье монет при счете и скрип осторожно открываемых дверей — все это как бы сливалось со стуком дождя по крыше и хлестаньем воды в сточных трубах. Чувство, что он не один здесь, доводило Маркхейма почти до безумия. Какие-то призраки следили за ним, обступали его со всех сторон. Ему чудилось движение в верхних комнатах; слышалось, как в лавке встает с пола мертвец, и, когда он с огромным усилием стал подниматься по лестнице, чьи-то ноги тихо ступали впереди него и тайком следовали за ним. Быть бы глухим, думалось ему, вот тогда душа была бы спокойна! И тут же, вслушиваясь с обостренным вниманием, он снова и снова благословлял это недреманное чувство, которое все время было начеку, точно верный часовой, охраняющий его жизнь. Он непрестанно вертел головой по сторонам; глаза его, чуть ли не вылезавшие из орбит, всюду вели слежку, и всюду мелькало нечто, чему не подобрать имени, и всякий раз скрывалось в последний миг. Двадцать четыре ступеньки на верхний этаж были для Маркхейма пыткой, перенесенной двадцать четыре раза.

Там, наверху, три приотворенные двери, точно три засады, грозившие пушечными жерлами, хлестнули его по нервам. Никогда больше не почувствует он себя защищенным, отгороженным от все примечающих людских взглядов; ему хотелось домой, под охрану своих стен,— зарыться в постель и стать невидимым для всех, кроме бога. И тут он подивился, вспомнив рассказы о других убийцах, об их страхе перед карой небесной. Нет, с ним так не будет. Он страшился законов природы — как бы они, следуя своим жестоким, непреложным путем, не изобличили его. И еще больше испытывал он рабский, суеверный ужас при мысли о каком-нибудь провале в непрерывности человеческого опыта, какого-нибудь злонамеренного отступления природы от ее законов. Он вел свою искусную игру, полагаясь на правила, выводя следствия из причин. Но что если природа, как побежденный самодур, опрокидывающий шахматную доску, поломает форму этой взаимосвязи? Нечто подобное (как утверждают историки) случилось с Наполеоном, когда зима изменила время своего прихода. Так же может случиться и с ним; плотные стены вдруг станут прозрачными и обнаружат его здесь, как пчелу, хлопочущую в стеклянном улье; крепкие половицы вдруг уйдут из-под ног, точно трясина, и удержат его в своих цепких объя-

тиях; да и более заурядные случаи могут принести ему погибель. Вдруг дом рухнет и заточит его под обвалом рядом с убитым или загорится соседний и со всех сторон к нему двинутся пожарные. Вот что его страшило, и ведь в какой-то мере все это можно будет счесть десницей господней, подъятой против греха. Впрочем, с богом он как-нибудь поладит: он содеял, бесспорно, нечто исключительное, но, как известно богу, не менее исключительны и причины, приведшие его к этому. И там, в небесах, а не от людей, ждал он справедливого суда.

Когда он благополучно добрался до гостиной и затворил за собой дверь, у него отлегло от сердца. Комната эта была в полном беспорядке, к тому же без ковра, ее загромождали упаковочные ящики и самая сборная мебель: высокие трюмо, в которых он отражался под разными углами, точно актер на сцене, много картин в рамах и без рам — все поставленные лицом к стене, прекрасный шератоновский буфет, горка с инкрустацией и широкая старинная кровать под гобеленовым пологом. Окна здесь шли до самого пола, но, по великому счастью, нижняя половина их была закрыта ставнями, и это скрывало Маркхейма от соседей. И вот, придвинув один из ящиков к горке, он начал подбирать к ней ключи. Дело это оказалось затяжным, да и докучным, ибо ключей было много, а в горке могло и не найтись то, что он искал, между тем как время летело быстро. Однако кропотливость этого занятия успокоила его. Уголком глаза он видел дверь — изредка даже посматривал на нее, точно полководец в осаде, довольный надежностью своей обороны. Да, он был спокоен. Дождь за окнами шумел так естественно и уютно. А вот на другой стороне улицы проснулось чье-то фортепьяно, и хор детских голосов подхватил напев и слова гимна. Какая величавая и умиротворяющая мелодия! Какая свежесть в юных голосах! Подбирая ключи, Маркхейм с улыбкой слушал их, и в памяти у него толпились ответные мысли и картины: дети на пути в церковь и раскаты органа; дети на лугу, в полях, среди зарослей ежевики, купанье в речке, воздушные змеи под облаками, плывущими в небе по ветру; а с новой строфой гимна он снова в церкви, и снова дремотность летних воскресных дней, сладкий тенор пастора (вспомянутый с легкой улыбкой), раскрашенные надгробия времен короля Якова и полустертые буквы на доске с Десятью заповедями в часовне.

Так он сидел, машинально перебирая ключи, и вдруг вскочил на ноги. Ледяная волна, волна огненная, кровь, забурлившая в жилах, захлестнули его; потрясенный, он замер на месте. Неспешные, мерные шаги послышались на лестнице, и вот чьи-то пальцы коснулись дверной ручки, язычок ее звякнул, и дверь отворилась.

Страх тисками сжимал Маркхейма. Он не знал, чего ему ждать. Кто это? Мертвец ли идет сюда, или должностные вершители человеческого правосудия, или какой-нибудь свидетель, который случайно забрел в лавку и теперь препроводит его на виселицу? Но вот чье-то лицо показалось в дверной щели, глаза обежали комнату, остановились на нем — кивок и дружеская, словно знакомому, улыбка, а вслед за тем лицо это исчезло, дверь затворилась, и страх, с которым Маркхейм уже не мог совладать, вырвался наружу в хриплом крике. И услышав его, неведомый посетитель вернулся.

— Ты звал меня? — приветливо спросил он, вошел в комнату и затворил за собой дверь.

Маркхейм стоял и смотрел на него не отрываясь. Оттого ли, что глаза ему застилало туманом, очертания этого пришельца словно бы менялись и подергивались зыбью, как у тех фарфоровых божков в зыбком освещении лавки. И то ему казалось, будто он знает его, то мерещилось в нем сходство с самим собой; и ужас глыбой давил ему грудь при мысли, что перед ним предстало нечто чуждое и земле и небесам.

Однако в пришельце этом, с улыбкой смотревшем на Маркхейма, было что-то самое заурядное, и когда он спросил: — Ты, наверно, ищешь деньги? — вопрос его прозвучал равнодушно-вежливо.

Маркхейм ничего ему не ответил.

— Я должен предупредить тебя,— снова заговорил пришелец,— что служанка простилась со своим возлюбленным раньше обычного и скоро вернется. Если мистера Маркхейма застанут здесь, мне не надо объяснять ему, что из этого воспоследует.

— Ты меня знаешь? — воскликнул убийца.

Неизвестный улыбнулся.

— Ты мой давний любимец,— сказал он,— я долгие годы наблюдаю за тобой и не раз старался тебе помочь.

— Кто ты? — воскликнул Маркхейм.— Дьявол?

— Важна услуга,— возразил ему неизвестный,— а кто ее окажет, не имеет значения.

— Нет, имеет! — воскликнул Маркхейм.— Имеет! Принять помощь от тебя? Никогда! Только не от тебя! Ты еще меня не знаешь. Благодарение богу, ты не знаешь меня!

— Я тебя знаю,— ответил неизвестный сурово, но без злобы.— Я знаю тебя наизусть.

— Знаешь? — воскликнул Маркхейм.— Кто меня может знать? Моя жизнь — пародия и поклеп на меня самого. Я прожил ее наперекор своей натуре. Все так живут. Человек лучше той личины, что прикрывает и душит его. Жизнь волочит нас за собой, точно наемный убийца, который хватает свою жертву и набрасывает на нее плащ. Если б люди могли распоряжаться собой, если б можно было видеть их истинные лица, они предстали бы перед светом совсем иными, они воссияли бы подобно святым и героям! Я хуже многих, я обременен грехами, как никто другой, но то, что послужит мне оправданием, знаю только я и господь бог. И будь у меня сейчас время, я раскрыл бы себя до конца.

— Передо мной? — спросил неизвестный.

— Прежде всего перед тобой,— ответил убийца.— Я полагал, что ты умен. Я думал, что — раз уж ты существуешь — ты сердцевед. А ты хочешь судить меня по моим делам! Подумать только — по делам! Я родился и жил в стране великанов. Великаны тащили меня за руки с того первого часа, как мать даровала мне жизнь. Великаны эти — обстоятельства нашего существования. А ты хочешь судить меня по моим делам! Но разве тебе не дано заглянуть мне в душу? Не дано понять, что зло ненавистно мне? Неужто ты не видишь там, в глубине, четкие письмена совести, хотя и пребывающие нередко втуне, но ни разу не перечеркнутые измышлениями ложного ума? Неужто тебе не дано распознать во мне существо самое заурядное среди людей — грешника поневоле?

— Все это изложено с большим чувством,— последовал ответ,— но я тут ни при чем. Твои логические выкладки меня не касаются, и мне безразлично, какие именно силы влекли тебя за собой, важно, что ты подчинился им. Но время летит; служанка идет не торопясь, разглядывает встречных на улице и щиты с афишами, но все-таки она подходит все ближе и ближе.

И помни, это все равно, что сама виселица шагает сюда по праздничным улицам. Ты примешь мою помощь — помощь того, кому ведомо все? Сказать тебе, где лежат деньги?

— А что ты потребуешь взамен? — спросил Маркхейм.

— Пусть это будет моим рождественским подарком,— ответил неизвестный.

Маркхейм не удержался от горькой, но торжествующей улыбки.

— Нет,— сказал он.— Из твоих рук мне ничего не надо. Если б я умирал от жажды и твоя рука поднесла бы мне кувшин к губам, у меня хватило бы мужества отказаться. Пусть это покажется неправдоподобным, но я не сделаю ничего такого, что ввергнет меня во власть зла.

— Я не возражаю против покаянной исповеди на смертном одре,— сказал незнакомец.

— Потому что не веришь в ее действенность! — воскликнул Маркхейм.

— Дело не в этом,— возразил ему неизвестный.— Пойми, что я смотрю на все такое под другим углом, и, когда жизнь человеческая подходит к концу, мой интерес к ней угасает. Человек жил у меня в услужении, бросал на ближних своих черные взгляды, прикрываясь благочестием, или же, подобно тебе, сеял плевелы между пшеницей, безвольно потворствуя обуревающим его страстям, и на пороге своего освобождения он может сослужить мне еще одну службу — покаяться, умереть с улыбкой на устах, и этим подбодрить более робких моих приверженцев, из тех, что еще живы, и вселить в них надежду. Я не такой уж суровый властелин. Испытай меня. Прими мою помощь. Ублажай себя в жизни, как ты это делал до сих пор; ублажай себя вволю, сядь за пиршественным столом повольготнее, а когда ночь начнет сгущаться и настанет время спустить шторы на окнах — поверь мне, ради собственного спокойствия,— тебе будет совсем не трудно уладить свои неурядицы с совестью и раболепно вымолить мир у господа бога. Я только что от такого смертного одра, и комната была полна людей, которые искренне скорбели и проникновенно внимали последним словам умирающего; и, взглянув ему в лицо, прежде такое каменное, не ведавшее милосердия, я увидел, как оно осветилось улыбкой надежды.

— И ты полагаешь, что я тоже такой? — спросил

Маркхейм.— Что побуждения у меня низкие: грешить, грешить и грешить и под конец пробраться в царство небесное? Мне претит самая мысль об этом. Так вот оно, твое знание человеческой натуры! Или ты подозреваешь меня в такой низости только потому, что я попался тебе на месте преступления? Неужто же убийство — деяние столь нечестивое, что оно способно иссушить и самые источники добра?

— Я не ставлю его в какой-то особый ряд,— ответил неизвестный.— Всякий грех — убийство, так же как вся жизнь — война. На мой взгляд, род человеческий подобен морякам, гибнущим на плоту в открытом море, когда они вырывают крохи у голода, пожирая друг друга. Я веду счет грехам и после мига их свершения и убеждаюсь, что конечный итог каждого греха — смерть. В моих глазах хорошенькая девушка, которая мило капризничает и перечит матери, собираясь на бал, так же обагрена человеческой кровью, как и ты — убийца. Я сказал, что веду счет грехам? Добродетель я тоже не упускаю из виду, и разница между ними не толще гвоздя: порок и добродетель всего лишь серп в длани ангела, пожинающего жатву Смерти. Зло, ради которого я существую, коренится не в делах, а в натуре человеческой. Дурной человек — вот кто дорог мне, но никак не дурные дела, ибо плоды этих дел, если проследить их в сокрушительном водовороте веков, могут стать более благотворными, чем плоды редчайших добродетелей. И я хочу помочь тебе скрыться не потому, что ты убил какого-то антиквара, а потому, что ты Маркхейм.

— Я буду откровенен с тобой до конца,— ответил Маркхейм.— Преступление, за которым ты меня застал, мое последнее. На пути к нему я усвоил не один урок, и оно само стало для меня уроком, серьезнейшим уроком. До сих пор я внутренне противился тому, что делал. Я был в рабстве у нищеты, она преследовала, бичевала меня. Есть на свете несокрушимая добродетель, которая способна устоять перед искушениями; моя не такова: я жаждал радостей жизни. Но сегодня, из того, что совершено здесь, я извлеку предостережение и богатство— то есть силу и новую решимость стать самим собой. Отныне я буду свободен во всех своих поступках, я уже вижу себя совсем другим человеком, вот эти руки творят добро, это сердце обретает мир. Что-то из прошлого возвращается ко мне: что-то такое, что я прозревал впереди, обливаясь слезами над великими книгами, о чем мечтал по воскресным вечерам под звуки церковного органа или беседовал с матерью в пору невинного детства. Вот он, мой жизненный путь: были годы, когда я отклонялся от него, но теперь передо мной снова встает вдали мое предназначение.

— Надо полагать, ты пойдешь с этими деньгами на биржу? — сказал незнакомец.— И если не ошибаюсь, несколько тысяч ты уже проиграл там?

— О да! — воскликнул Маркхейм.— Но на сей раз я буду действовать наверняка.

— И на сей раз тоже проиграешь,— спокойно ответил ему неизвестный.

— Но половину-то я приберегу! — воскликнул Маркхейм.

— Эти деньги тоже проиграешь,— сказал неизвестный.

На лбу у Маркхейма выступил пот.

— Ну и что же? — вскричал он.— Пусть я все проиграю, пусть я снова впаду в нищету, но неужели же половина моей натуры, худшая половина, всегда, до самого конца, будет одолевать лучшую? Зло и добро с равной силой влекут меня каждое в свою сторону. Нет во мне любви к чему-то одному — я люблю все. Я могу отдать должное великим свершениям, жертвенности, мученичеству, и хоть я и пал так низко, что совершил убийство, чувство жалости не чуждо мне. Я жалею бедных: кому другому лучше знать их злоключения? Я жалею бедных и помогаю им. Я готов славить любовь и люблю искренний смех. Все доброе, все истинное, что только есть на свете, все любо моему сердцу. И разве мою жизнь так и будут направлять пороки, а добродетели останутся лежать втуне, как мертвый груз? Нет, этого не может быть. Добро тоже способно побуждать к действию.

Но его собеседник предостерегающе поднял палец.

— Все тридцать шесть лет, что ты живешь на земле, я слежу за тобой,— сказал он,— я знаю твои колебания и постигшие тебя превратности судьбы и вижу, как ты падаешь все ниже и ниже. Пятнадцать лет назад ты бы содрогнулся при мысли о краже. Три года назад слово «убийство» заставило бы тебя побледнеть. Есть ли такое преступление, есть ли такая жестокость или низость, от которой ты еще способен отшатнуться?

Через пять лет ты сам убедишься, что нет. Твой жизненный путь идет под уклон, все под уклон, и, кроме смерти, ничто тебя не остановит.

— Да, верно,— хрипло проговорил Маркхейм.— В какой-то мере я покорился злу. Но ведь это можно отнести ко всем людям: даже святые, поскольку жизнь идет своим чередом, день ото дня становятся все менее взыскательны к себе и под конец сливаются с окружающей их средой.

— Я задам тебе простой вопрос,— сказал собеседник Маркхейма,— и в зависимости от ответа прочту тебе твой духовный гороскоп. Ты стал во многих отношениях не так строг к себе; что ж, может быть, это и правильно, поскольку все люди таковы. Хорошо, допустим. Но есть ли что-нибудь — пусть это будет мелочь,— есть ли что-нибудь, с чем тебе труднее примириться в твоих поступках, или ты даешь себе волю во всем?

— Есть ли что-нибудь? — в мучительном раздумье повторил Маркхейм.— Нет,— с отчаянием проговорил он наконец.— Ничего такого нет. Я опустился во всем.

— Тогда,— сказал неизвестный,— принимай себя таким, каков ты есть, ибо тебе уже не измениться и твоя роль на этой сцене определена до конца.

Маркхейм долго стоял молча. Молчание первым прервал неизвестный.

— А если это так,— сказал он,— открыть тебе, где лежат деньги?

— А милосердие? — воскликнул Маркхейм.

— Разве ты не искал его сам? — возразил ему неизвестный.— Разве я не видел тебя года два или три назад на молитвенных собраниях и не громче ли всех звучал твой голос в гимне?

— Да, это правда,— сказал Маркхейм.— И теперь я знаю твердо, что делать, знаю, в чем состоит мой долг. Благодарю тебя от всего сердца за твои поучения; глаза мои открылись, и я наконец-то вижу себя таким, каков я есть.

В этот миг по всему дому разнесся резкий звон дверного колокольчика, и, будто дождавшись условного сигнала, неизвестный сразу заговорил по-другому.

— Служанка! — крикнул он.— Я предупреждал, что она вот-вот должна вернуться, и теперь тебе предстоит сделать еще один трудный шаг. Скажи ей, что ее хозяин занемог; впусти ее; вид у тебя должен быть уверенный и серьезный — не улыбайся, но и не переигрывай, и я обещаю тебе победу. Девушка войдет, дверь за ней захлопнется, и та же сноровка, с которой ты разделался с антикваром, поможет тебе убрать эту последнюю опасность с твоего пути. У тебя впереди будет весь вечер, а если понадобится, то и вся ночь, чтобы отыскать спрятанные здесь сокровища и благополучно скрыться. Под личиной опасности к тебе идет помощь. Спеши! — воскликнул он.— Спеши, друг мой! Твоя жизнь колеблется на весах! Действуй!

Маркхейм устремил твердый взгляд на своего советчика.

— Если я обречен на злодеяния,— сказал он,— одна дверь, ведущая к свободе, для меня еще открыта — ведь от действия можно отказаться. Если моя жизнь порочна, от нее можно отказаться. Хоть я и поддаюсь, как ты говоришь, любым ничтожным искушениям, я могу сделать решительный шаг и уйти из-под их власти, моя любовь к добру — пустоцвет, ну что ж, пусть так! Но ненависть ко злу во мне еще жива, и ты убедишься, к своему горькому разочарованию, что из этой ненависти я почерпну силу и мужество.

Чудесная, радующая взор перемена вдруг преобразила лицо неизвестного; оно смягчилось и просветлело чувством торжества и нежности, и, светлея, черты его стали таять и расплываться. Но Маркхейм не потратил ни минуты на то, чтобы проследить до конца или осмыслить это преображение. Он распахнул дверь и медленно, в глубоком раздумье спустился по лестнице. Прошлое потекло перед его трезвым взглядом; он видел его таким, каким оно было, безобразным и изнурительным, точно страшный сон, в нем властвовала беспорядочная игра случая — вот она, картина полного поражения! Жизнь, представшая перед ним, уже не искушала его; но по ту сторону жизни ему виделась тихая пристань, ожидающая его челн. Он остановился в коридоре и заглянул в лавку, где возле убитого все еще горела свеча. Какая странная тишина была там! Он смотрел на труп, и мысли об антикваре вихрем проносились у него в мозгу. Дверной колокольчик снова разразился нетерпеливым звоном.

Маркхейм встретил служанку у порога с подобием улыбки на губах.

— Сходите за полицией,— сказал он.— Я убил вашего хозяина.

ОЛАЛЛА

— Ну вот,— сказал доктор.— Мое дело сделано, и могу не без гордости сказать, что сделано хорошо. Остается только отправить вас куда-нибудь из этого сырого, гиблого места, чтобы вы пожили месяца два на свежем воздухе и со спокойной душой. Последнее зависит от вас. Что касается первого, то в этом, кажется, я могу вам помочь. Все вышло случайно. На днях ко мне заглянул священник одного сельского прихода; а так как мы с ним давние приятели, хотя и противоположных профессий, то он обратился ко мне с просьбой, не могу ли я помочь одной семье из его прихода. Это знатное семейство, но вы чужестранец и вряд ли знаете наши аристократические имена, так что я скажу только, что когда-то это был богатый и славный род. Теперь же потомки его находятся на грани нищеты. Все их владения составляет родовой замок и несколько лиг скалистой пустоши, где и коза не прокормится. Но замок старинной красивой постройки, он стоит высоко в горах, и место там очень здоровое. Я тотчас подумал о вас и сказал ему, что у меня есть офицер, оправляющийся от ран, которые он получил, сражаясь за благородное дело, так не пустят ли они его к себе. Лицо священника, как я и предполагал, злорадно, потемнело. «Нет,— сказал он,— об этом не может быть речи». «Тогда пусть голодают,— ответил я,— терпеть не могу спесивых оборванцев благородных кровей». С тем мы и расстались, не очень довольные друг другом; вчера, к моему удивлению, падре вдруг возвращается и говорит, что дело оказалось не таким трудным, как он предполагал. Словом, эти гордецы спрятали гордость в карман, когда он все-таки рискнул заговорить о моем предложении. Я обо всем договорился и снял для вас в самом замке комнату — теперь дело

за вами. Горный воздух обновит вашу кровь, а тишина и покой тех мест стоят всех лекарств мира.

— Доктор,— ответил я,— вы с первых минут нашего знакомства мой ангел-хранитель, и ваш совет равен для меня приказанию. Прошу вас только рассказать подробнее о семье, в которой мне предстоит жить.

— Я и хочу,— продолжал доктор.— Тут, видите ли, есть одно щекотливое обстоятельство. Эти бедняки, как я уже сказал, очень высокого происхождения, и гордость их доходит порой до самого непомерного чванства, для которого сейчас нет, конечно, никакого основания. Вот уже несколько поколений этой семьи живут как бы в вакууме: богатые аристократические семьи недосягаемы для них, а бедные люди — слишком низкая компания; и даже теперь, когда нужда заставляет их открыть двери родового замка для постояльца, они не могут сделать этого, не оговорив одного обидного условия: постоялец должен держаться на почтительном расстоянии. Вас будут обслуживать, как полагается, но никаких попыток к сближению.

Не стану отрицать, самолюбие мое было задето, но, видно, именно поэтому мне очень захотелось поехать — я был уверен, что если захочу, то сумею расположить к себе этих гордецов.

— Ничего обидного не вижу в этом условии,— ответил я доктору.— Я понимаю их чувства, даже разделяю их.

— Правда, они вас не видели,— продолжал доктор учтиво.— Если бы они знали, что вы самый приятный и красивый из всех англичан, какие бывали у нас (в Англии, я слыхал, красивые мужчины не редкость, а вот приятных не так много), то они отнеслись бы к вам более любезно. Но поскольку вы так спокойно приняли их каприз, тем лучше. Что до меня, то мне кажется их требование оскорбительным. Впрочем, в конечном счете вы окажетесь в выигрыше — семейство вряд ли представило бы для вас интерес. Их всего трое — мать, сын и дочь. Старуха, говорят, полоумная, сын — деревенский дурачок, дочь — простая девушка, о которой очень высокого мнения духовник, из чего можно заключить, что, по всей вероятности,— тут доктор улыбнулся,— красотой она не блещет. Как видите, ничего соблазнительного для такого блестящего офицера, как вы.

— Однако, вы говорите, они очень высокого происхождения,— заметил я.

— Это не совсем точно,— возразил доктор.— Мать — да. Дети — нет. Мать — последний потомок очень знатного рода, обедневшего и захудалого. Отец ее был не только беден, он был поврежден в рассудке. Дочь росла безо всякого присмотра. Когда отец умер, не оставив ей ровным счетом ничего, ей еще воли прибавилось, пока она вдруг не вышла замуж — бог знает за кого — не то за погонщика мулов, не то за контрабандиста, ходила молва, будто церковным браком они не сочетались и что Фелип и Олалла — незаконнорожденные. Как бы там ни было, союз этот окончился трагически. Жили они замкнуто, да к тому же тогда у нас было очень неспокойно, так что истинная причина смерти супруга известна только одному священнику, а может, и ему неизвестна.

— Я начинаю подумывать, что меня ждут необычайные приключения.

— Я бы на вашем месте умерил свою фантазию,— ответил доктор.— Боюсь, что вас ждет самое прозаическое существование. Я видел Фелипа. Что можно о нем сказать? Хитрый, неотесанный деревенский парень, и к тому же, я думаю, немного тронутый. Остальная семья, наверное, под стать ему. Нет, нет, сеньор капитан, я вам советую поискать приятелей среди наших величественных гор! В них-то, если, конечно, вы любитель природы, вы не разочаруетесь, могу вам смело обещать.

На следующий день Фелип заехал за мной в грубой деревенской повозке, запряженной мулом; а около полудня, распрощавшись с доктором, хозяином гостиницы и другими добрыми людьми, которые ухаживали за мной во время моей болезни, я покинул город через восточные ворота, и скоро повозка наша затряслась по горной дороге. Я так долго был затворником, с тех пор как меня оставили здесь почти в безнадежном состоянии, что радовался даже запаху земли. Местность, по которой мы ехали, была дика и скалиста; горы местами заросли лесом. Пробковый дуб чередовался с огромными испанскими каштанами, там и здесь по каменистому ложу неслись вниз горные речки. Сияло солнце, веял прохладный ветерок; мы проехали уже несколько миль и оставленный позади город стал казаться незначительным бугорком на равнине, когда внимание мое привлек, наконец, мой возница. Это был невысокий, но хорошо сложенный деревенский парень с простоватым выражением лица — точь-в-точь как его описывал доктор: очень подвижный и живой, как ртуть, но абсолютно невоспитанный — таково было мое первое впечатление (для многих оно так и оставалось неизменным). Помня о поставленном мне условии, я немного удивился его несмолкаемой дружелюбной болтовне, смысл которой было трудно уловить частью из-за скверной дикции, частью из-за поразительного непостоянства мыслей. Правда, я и раньше встречал людей подобного душевного склада: они, как и Фелип, живут только чувствами, единственная пища для их ума — то, что в данную минуту попадает в поле их зрения, они не способны по собственной воле переключить внимание с одного предмета на другой. Слушая краем уха его болтовню, я подумал, что так обычно говорят с седоками ямщики, ум которых большею частью ничем не занят, а перед глазами нескончаемой вереницей проходят все одни и те же дорожные картины. Но Фелип не принадлежал к их числу, по его собственным словам, он был домосед. «Как хорошо, если бы мы были уже дома!» — воскликнул он и тут же, увидав у дороги дерево, начал рассказывать, как однажды, когда он проезжал мимо, на этом дереве сидела ворона.

— Ворона? — повторил я, изумленный этим неожиданным ходом мысли и решив, что ослышался.

Но Фелип был уже занят другим: склонив голову набок и наморщив лоб, он напряженно прислушивался к чему-то. Грубо толкнув меня, он велел мне молчать. Потом улыбнулся и покачал головой.

— Что ты там услышал? — спросил я.

— Да так, ничего,— ответил он и стал понукать мула криками, которые громким эхом отдавались в горах.

Я пригляделся к нему. Он был на редкость хорошо сложен, легкий, гибкий и сильный; черты лица правильные и приятные; только большие карие глаза, пожалуй, не очень выразительны. В общем это был красивый юноша; на мой взгляд, в его внешности не было недостатков, за исключением разве очень смуглого цвета лица и некоторого излишка растительности — я не любитель ни того, ни другого. Но особенно меня заинтересовал его интеллект. Я вспомнил, что доктор назвал его тронутым, и задумался над тем, соответствует ли это

истине. Тем временем дорога спустилась в глубокое узкое ущелье, где с ревом и грохотом мчался горный поток, и весь распадок был наполнен шумом, мелкой водяной пылью и порывами ветра, сопровождавшего стремительный бег воды. Зрелище было внушительное; впрочем, дорога в этом месте была укреплена каменной стеной, мул уверенно шагал вперед, и я не без удивления заметил, что лицо моего возницы побледнело. Шум воды не был монотонен: он то затихал, как бы утомившись, то переходил в оглушительный рокот, когда пенистые бугры, рожденные на миг, в неистовстве набрасывались на каменные стены. Я заметил, что с каждым яростным наскоком Фелип сильно вздрагивал, а лицо его становилось еще белее; я вспомнил шотландскую легенду о злом речном духе Келпи и подумал, нет ли в Испании схожего поверья.

— Что с тобой? — спросил я, повернувшись к нему.

— Страшно,— ответил он.

— Страшно? По-моему, это самое безопасное место на всей дороге.

— Сильно шумит,— проговорил он, и в его голосе прозвучал первобытный страх. Я успокоился.

Мой возница умом был пятилетний ребенок. Ум его, как и тело, был подвижен и быстр, но развитие его остановилось много лет назад. С этой минуты я стал испытывать к нему нечто похожее на жалость. А болтовня его, которую я слушал сперва снисходительно, скоро даже начала мне нравиться.

Около четырех часов пополудни мы распрощались с заходящим солнцем, перевалили через хребет и стали спускаться по восточному склону; дорога шла по ущельям в тени сумрачных лесов, голоса водопадов, уже не грозные и оглушающие, а веселые и мелодичные, переговаривались друг с другом. Настроение моего возницы, видимо, улучшилось, и он запел тонким, высоким голосом; в песне его не было мелодии, но слушать его было приятно — так поют птицы, естественно и непринужденно. Темнело, и я все больше поддавался очарованию этого безыскусственного пения, ожидая, что вот-вот пойму, о чем он поет, но так и не дождался.

— О чем ты поешь? — наконец спросил я.

— Ни о чем,— ответил он.— Пою — и все!

Особенно нравилось мне, как он повторяет через короткие промежутки одну и ту же ноту. В этом не было

однообразия, как могло бы показаться, не было, во всяком случае, ничего навязчивого, пение его дышало той умиротворенностью, какой воображение наше любит наделять строгую тишину леса или неподвижную водную гладь.

Ночь опустилась еще до того, как мы выехали на плато. Скоро впереди стал виден плотный сгусток темноты, и я догадался, что это и есть старый замок. Мой провожатый соскочил с повозки и долго свистел и звал кого-то, наконец откуда-то из темноты вынырнул старик крестьянин и подошел к нам, держа в руке зажженную свечу. В ее слабом свете я различил большие сводчатые, окованные железом ворота в мавританском стиле. В одной из створок Фелип отворил маленькую калитку. Старик увел куда-то мула с повозкой, а мы с Фелипом вошли в калитку, и она затворилась за нами. При слабом мерцании свечи мы пересекли двор, поднялись по каменным ступеням, затем по открытой галерее дошли до лестницы, которая привела нас наконец к дверям большой полупустой комнаты, которая, как я догадался, была предназначена мне. В комнате было три узких окна, стены обиты покрытыми лаком деревянными панелями и увешаны шкурами диких зверей. В очаге ярко горел огонь, бросая на пол и стены живые отблески; ближе к огню стоял стол, накрытый для ужина; дальний угол занимала уже постланная на ночь постель. Мне была приятна такая заботливость, и я сказал об этом Фелипу. Фелип со свойственным ему простодушием, как эхо, отозвался на мои похвалы.

— Хорошая комната,— сказал он.— Очень хорошая. И огонь хороший, от него по телу идет тепло. И кровать,— прибавил он, идя со свечой в дальний угол.— Смотрите, какие хорошие простыни, гладкие-гладкие, как шелковые!

С этими словами он провел свободной рукой по простыням, нагнулся и зарылся лицом в постель с выражением полного блаженства. Это меня слегка покоробило, я взял у него свечу, боясь, что он еще устроит пожар, и вернулся к столу, где стоял кувшин с вином. Налив чашку, я позвал Фелипа. Он сейчас же вскочил и подбежал ко мне. Но, увидев, что я протягиваю ему вино, затряс головой.

— Нет, нет! — вскричал он.— Это для вас. Фелип это не любит.



— Прекрасно, сеньор,— сказал я.— Тогда позвольте мне выпить за ваше здоровье, а также за процветание вашего дома и всей вашей семьи. А уж коли разговор пошел о семье,— прибавил я, осушив чашку,— позвольте мне лично представиться сеньоре вашей матери, чтобы почтительно припасть к ее ногам.

Когда Фелип услыхал эти мои слова, все простодушие и детскость как ветром сдуло с его лица — оно стало хитрым и замкнутым. В мгновение ока он отскочил от меня, точно перед ним был лютый зверь, готовый к прыжку, или разбойник с обнаженным кинжалом, и бросился к двери. В дверях он обернулся, и я заметил, как у него сузились зрачки.

— Нет,— отрезал он и бесшумно выскользнул из комнаты. Я слышал, как на лестнице затихали его шаги, легкие, как капли дождя, и тишина вновь окутала дом.

Поужинав, я придвинул стол к постели и стал готовиться ко сну. Свеча теперь озаряла светом другую стену, и я увидел портрет, который сразу пленил мое воображение. Это был портрет молодой женщины. Судя по платью и по приглушенной гармонии красок на полотне, она уже давно покинула этот мир, но живость глаз и всего лица, особая непринужденность позы превращали портрет в зеркало, куда смотрелась сама жизнь. Фигура женщины была тонкой и сильной и правильных пропорций; рыжие косы, как корона, венчали голову; глаза, золотисто-карие, смотрели на меня совсем как живые; совершенную красоту ее лица портило только жестокое, мрачное и слишком чувственное выражение. Что-то в этих чертах и фигуре, почти неуловимо, как эхо эха, напоминало черты и фигуру Фелипа; несколько времени я стоял перед картиной, не отрывая от нее глаз, в каком-то раздражении чувств, и размышлял о странном сходстве. Оскверненная простой грубой кровью, ветвь рода, который рождал когда-то прекрасных дам, подобных той, что глядела сейчас на меня с полотна, получила иное назначение: ее отпрыски носят теперь крестьянское платье, правят запряженной мулом повозкой и прислуживают постояльцам. Но, возможно, в Фелипе живет как связующее звено крошечный кусочек той деликатной плоти, которую когда-то облачали в шелк и парчу, и теперь эта плоть содрогается от прикосновения грубой ткани костюма Фелипа.

Первые утренние лучи падали прямо на портрет. Я уже проснулся и смотрел на него, испытывая все большее наслаждение. Коварными сетями опутало мое сердце это прекрасное лицо, и голос благоразумия становился все глуше; я понимал, что любить такую женщину — значит подписать приговор своему роду, но я знал также, что, если бы я ее встретил, я бы полюбил ее. День ото дня я все глубже постигал ее жестокое сердце и все яснее видел свою слабость. Я мечтал о ней дни и ночи, ради ее глаз я пошел бы на преступление. Черной тенью легла она на мою жизнь. Бродя в окрестностях, дыша свежим воздухом и чувствуя, как возвращаются силы, я благодарил бога, что моя колдунья спит спокойно в могиле, что волшебная палочка ее красоты рассыпалась в прах, уста навсегда умолкли, а приворотное зелье ее испарилось.

Но порой меня вдруг мороз подирал по коже: а что, если она не умерла, а живет, воскреснув в одном из своих потомков?

Трапезы свои я совершал у себя в комнате в одиночестве. Прислуживал мне Фелип. Сходство его с портретом преследовало меня. Временами оно исчезало, временами вновь возникало, пугая, как привидение. Особенно он походил на портрет, когда бывал в дурном расположении духа. Фелип полюбил меня — это несомненно: был счастлив и горд, когда я говорил с ним; чтобы привлечь мое внимание, прибегал ко множеству детских, незамысловатых уловок; любил сидеть в моей комнате возле огня и вести несвязный разговор или петь свои странные, бесконечные песни без слов; иногда он гладил, как бы лаская, мое платье. Не скрою, эта полная любви ласка приводила меня в замешательство, которого я стыдился. Вместе с тем ему были свойственны вспышки беспричинного гнева, а порой на него находило беспросветно мрачное настроение. Бывало, в ответ на мое замечание он опрокидывал тарелку с супом, даже не пытаясь притвориться, что сделал это нечаянно; то же было, когда я пытался кое о чем расспросить его. Мое любопытство было вполне естественно — ведь я жил в незнакомом месте, среди незнакомых людей,— но стоило мне хотя бы обиняком спросить о чем-то, он уходил в себя, лицо его темнело, и я чувствовал тогда, что с ним шутки плохи. Вот тогда на какой-то миг можно было принять этого простого дере-

венского парня за брата прекрасной дамы на портрете. Но эти вспышки быстро проходили, и с ними вместе умирало сходство.

В первые дни мое общество составлял только Фелип, если не считать дамы на портрете. Хладнокровие мое может вызвать улыбку недоверия — ведь Фелип был явно слаб рассудком и к тому же подвержен приступам необузданной ярости. Сказать по правде, первое время в его присутствии мне было не по себе, но очень скоро я возымел над ним такую власть, что совсем перестал его бояться.

Случилось это вот как. Фелип по природе был склонен к безделью и бродяжничеству. Однако все свое время он проводил дома и не только прислуживал мне, но трудился каждый день в саду, или, вернее, на маленькой ферме, которая находилась в южной части усадьбы. Ему помогал крестьянин — тот, что встретил нас в день моего приезда, живший в полумиле от господского дома в простой хижине; из окна мне было видно, что из этих двоих Фелип работает куда больше, хотя время от времени он бросал лопату и ложился спать под те самые деревья и кусты, которые окапывал; его упорство и энергия, похвальные сами по себе, вызывали у меня тем большее восхищение, что они не были врожденными добродетелями, и ему явно приходилось делать над собой усилие. Но, восхищаясь им, я не переставал спрашивать себя: что пробудило и поддерживает в этом слабоумном деревенском парне такое непоколебимое чувство долга? Я спрашивал себя, до какой степени это чувство властно над его инстинктами. Возможно, это заслуга священника. Но как-то священник при мне приехал в усадьбу. Пробыв около часа, он уехал. Я видел приезд его и отъезд — я сидел неподалеку на бугре и рисовал. Все это время Фелип неотлучно работал в саду.

Однажды, каюсь, я решил совратить Фелипа с пути истинного и, подкараулив его у калитки, без особого труда уговорил отправиться со мной на прогулку. Был чудесный день. В лесу, куда я его повел, было зелено и прохладно, упоительно пахло всеми запахами земли и леса, жужжали пчелы, порхали над цветами бабочки. Здесь Фелип открылся мне с новой стороны: он самозабвенно предавался веселому безделью, меня это даже немного смущало, и в то же время он был так ловок и грациозен, что я глаз не мог оторвать от него. Он скакал вокруг меня, как дикая коза, потом вдруг останавливался, смотрел кругом, прислушивался,— казалось, он пьет окружающий мир, как эликсир жизни; одним прыжком он взлетал на деревья и раскачивался на ветках, как обезьяна. За время прогулки он произнес всего несколько ничего не значащих слов, но более беспокойного спутника (хотя и очень приятного) у меня никогда не было: меня приводила в восторг его простодушная радость, восхищала красота и точность движений. Быть может, из легкомыслия и эгоизма я постарался бы ввести эти прогулки в обычай, если бы судьба не позаботилась вмешаться самым жестоким образом. Фелип, ловкий и быстрый, поймал на верхушке дерева белку. Он был далеко, но я видел, как он спрыгнул с дерева и, присев, кричал от восторга, точно ребенок. Его чистая, наивная радость умилила меня, я прибавил шагу, и вдруг жалобный визг белки, как ножом, полоснул меня по сердцу. Я много слыхал о жестокости мальчишек, особенно деревенских, и многое видел, но то, что происходило сейчас перед моими глазами, привело меня в неописуемую ярость. Я отшвырнул Фелипа в сторону, вырвал из его рук несчастного зверька и добил его, чтобы избавить от мучений. Затем повернулся к мучителю и стал гневно упрекать его. Я не жалел эпитетов, и он все ниже опускал голову; наконец я махнул рукой в сторону замка и велел ему немедленно убираться, потому что, сказал я ему, я хочу, чтобы рядом со мной был человек, а не дикий зверь. Он бросился предо мной на колени, и слова так и полились из его груди: он умолял меня простить его, забыть то, что он сделал, поверить ему — речь его в этот раз была на удивление связной.

— О, я буду стараться,— говорил он,— о капитан, простите Фелипа, только на этот раз! Он никогда, никогда больше не будет вести себя, как дикий зверь.

Я не подал виду, что его горячие мольбы тронули меня, но дал себя уговорить и под конец в знак прощения пожал ему руку. В наказание я заставил его похоронить белку, и пока он рыл ямку, я говорил ему о красоте этой маленькой лесной твари, о том, какие мучения она вынесла и как подло и низко злоупотреблять силой.

— Послушай, Фелип,— говорил я ему,— ты действительно силен, но по сравнению со мной ты так же слаб, как этот крохотный обитатель леса. Дай мне руку. Тебе не вырвать ее из моей. А теперь вообрази, что я жесток, как ты, и нахожу удовольствие в причинении боли. Я только чуть-чуть сжал твою руку, и видишь, как тебе больно!

Фелип громко вскрикнул, лицо его стало серым, как пепел, и покрылось мелкими каплями пота; когда я отпустил его, он сел на землю, качая руку, стал дуть на нее и заплакал, как ребенок. Но урок не пропал даром: то ли на него подействовало то новое понятие, которое он имел теперь о моей силе, то ли его задело за сердце все сказанное мной, только его прежняя привязанность сменилась собачьим обожанием и преданностью.

Здоровье мое тем временем быстро поправлялось. Замок стоял на возвышении в центре каменистого плато, со всех сторон стесненного отрогами гор; только с крыши, которую венчала сторожевая башня, был виден в расщелине глубоко внизу кусочек равнины, который на расстоянии синел, как море. Потоки воздуха на этих высотах двигались вольно и большими массами; здесь скапливались во множестве облака, ветер рвал их в клочья и развешивал по зубцам гор; со всех сторон слышалось глухое, низкое бормотание горных речек и водопадов; природа являлась здесь человеку в своем изначальном, древнем и диком обличье. Я с первого дня поддался очарованию этих привольных мест, изменчивой погоды, старинного полуразрушенного жилища. Дом представлял собой продолговатый четырехугольник с выступами в виде бастионов на двух противоположных сторонах, один из которых нависал над входной дверью. Бастионы были прорезаны бойницами для стрелков, нижний этаж совсем не имел окон, так что, если бы в замке засел вражеский отряд, без пушек его нельзя было бы взять. В замке был внутренний дворик, где росли гранатовые деревья; широкая мраморная лестница вела оттуда на открытую галерею, поддерживаемую тонкими колоннами. С галереи несколько внутренних лестниц вели в верхние этажи дома. Окна, выходящие наружу и во двор, были плотно закрыты ставнями; каменная кладка наверху кое-где обвалилась, крыша в одном месте была сорвана, видимо, ветром, который по временам достигает в этих местах ураганной силы. Весь этот дом, залитый ярким солнцем, возвышающийся над рощей низкорослых пробковых дубов, покрытый многовековым слоем пыли, поглотившей разнообразие красок, походил на сказочный спящий замок. Средоточием этого сонного царства был дворик. На карнизах дремотно ворковали голуби; воздух был неподвижен — ветры залетали сюда, только если снаружи бушевал ураган. Пыль с гор падала тогда во двор дождем, одевая серой вуалью красные цветы граната, забранные ставнями глухие окна и пустая галерея под арочным сводом дополняли картину мертвого сна. В течение дня только солнце вносило оживление во двор, рисуя поочередно на всех четырех стенах ломаные профили и раскладывая на полу галереи ряды колонн. В одной из стен в первом этаже была глубокая ниша, носившая, однако, следы человеческого пребывания. Ниша представляла собой скорее комнату без одной стены; несмотря на это, в ней был сложен очаг, в котором постоянно горел веселый огонь, а плиточный пол был устлан звериными шкурами.

Здесь я и увидел впервые свою хозяйку. Она вытянула одну из шкур на солнце и сидела, прислонившись спиной к колонне, залитая его горячими лучами. Мне сразу бросилось в глаза ее платье очень ярких, контрастных тонов. С ним могли соперничать в этом сером дворике только красные цветы граната. Я взглянул на нее еще раз и поразился ее красоте. Она сидела, откинувшись, и наблюдала за мной, как мне казалось, невидящим взором; лицо ее выражало почти идиотское добродушие и удовлетворенность, но непринужденная благородная поза и совершенство черт превращали ее в прекрасную статую. Проходя мимо, я снял шляпу, но мое почтительное приветствие осталось без ответа, только по лицу ее пробежало беспокойство — так рябит дуновение ветерка зеркальную гладь озера. В этот день я совершал свою обычную прогулку в некотором душевном смущении, преследуемый этой почти идолоподобной невозмутимостью. Когда я вернулся, сеньора сидела все в той же позе, переехав, правда, вместе со шкурой к следующей колонне вслед за солнцем. На этот раз, однако, она сказала мне несколько слов обычного, вполне вежливого приветствия; голос у нее был глубокий, грудной, но говорила она так же невнятно, как ее сын,—

мне то и дело приходилось напрягать слух, чтобы понимать ее. Я отвечал наугад, и не только потому, что половины не понял,— сеньора вдруг открыла глаза, и я ахнул. Они были огромные, раек золотистый, как у Фелипа, но зрачки так широко раскрыты, что глаза казались совсем черными; однако поразила меня не величина ее глаз, а отсутствие в них всякого выражения. Более откровенно глупого взгляда я не встречал. Отвечая на приветствие, я стоял, опустив голову, и поднимался к себе сбитый с толку и расстроенный. Войдя в комнату, я взглянул на портрет и снова подивился чуду многовековой устойчивости рода. Моя хозяйка, бесспорно, была старше и дороднее дамы на портрете, глаза ее были другого цвета, а лицо не только не имело того жестокого выражения, которое отталкивало и вместе пленяло в прекрасной даме, оно вообще было лишено всякого выражения, и доброго и злого. Чистейшая нравственная невинность, в полном смысле слова — нуль. И тем не менее сходство было явное, не внешнее, не в отдельных чертах, а во всем облике, сходство крови. И я подумал, что художник, поставивший подпись под этой мрачной картиной, хотел, видно, не только воссоздать образ молодой женщины со змеиным взглядом, но запечатлеть на холсте какое-то самое существенное свойство рода.

Начиная с этого дня, отправляясь ли на прогулку или возвращаясь домой, я всякий раз видел сеньору: она то сидела на солнце, прислонившись к колонне, то полулежала на шкуре возле очага; иногда я заставал ее на верхней площадке мраморной лестницы, но и здесь выражение безучастия не сходило с ее лица. Во все эти дни жажда деятельности ни разу не пробудилась в ней, она только вновь и вновь расчесывала щеткой свои обильные медно-красные волосы да, увидев меня, лепетала свое обычное приветствие грудным, чуть надтреснутым голосом. Это и были два главных удовольствия ее жизни, если не считать, конечно, наслаждения покоем. Она высказывала свои суждения с видом превосходства, точно они полны были глубины и остроумия, хотя это были весьма пустые замечания, что, впрочем, свойственно разговору весьма почтенных людей, и касались они самого узкого круга предметов, но никогда не были ни бессмысленны, ни бессвязны — отнюдь: в ее речи была своя прелесть, она дышала тем

безмятежным всеприятием, которым было проникнуто все ее существо. То она говорила о том, что очень любит тепло (как и ее сын), то о цветах граната, то о белых голубях и острокрылых ласточках, колыхавших в стремительном полете недвижный воздух двора. Птицы волновали ее. Когда они, проносясь мимо, овевали прохладой ее лицо, она вздрагивала, оживлялась, слегка приподнимаясь,— казалось, наконец-то она пробуждается от оцепенения. Все дни напролет она лежала, томно погруженная в себя, нежась и предаваясь лени. Ее несокрушимая удовлетворенность всем и вся поначалу раздражала меня, но постепенно я стал привыкать к ее спокойному, отрешенному виду и даже отдыхал душой, глядя на нее. Скоро я привык четыре раза в день — уходя на прогулку и возвращаясь — присаживаться к ней. Мы лениво говорили о чем-то — о чем, не могу сказать. Мне стало доставлять удовольствие соседство этого вялого, почти растительного существования, ее глупость и красота умиротворяли и забавляли меня. Я стал видеть в ее замечаниях недоступную простому пониманию глубину, ее безграничное благодушие восхищало меня и вызывало зависть. Возникшая симпатия была обоюдной; она радовалась моему присутствию подсознательно, как радуется журчанию ручья человек, сидящий на его берегу в глубоком раздумье. Не скажу, чтобы лицо ее при виде меня светлело от удовольствия, ибо удовольствие было постоянно написано на ее лице. Я догадался о ее расположении по более интимным признакам. Однажды, когда я сидел подле нее на мраморной ступеньке, она вдруг потянулась ко мне и погладила мою руку. Жест был мгновенный, и она тут же погрузилась в полудрему, не успел я осознать, что произошло. Я быстро поднял голову и заглянул ей в глаза, но они смотрели, как всегда, бездумно и отрешенно. Было ясно, что она не придала никакого значения этой мгновенной ласке, и я упрекнул себя за легкомыслие.

Внешность матери и более близкое с ней знакомство (если это можно назвать знакомством) укрепили меня во мнении, сложившемся от общения с сыном. Кровь этой семьи оскудела, по всей вероятности, от длительного инбридинга. Ведь известно, что чванливая аристократия питает пагубное пристрастие к кровным бракам. Вырождение не коснулось, однако, физических

качеств: красота и здоровье передавались из поколения в поколение без изъяна, и лица моих хозяев вышли из-под резца природы такими же прекрасными, как лицо, изображенное на портрете два столетия назад. Но интеллект (это более ценное наследие) носил все признаки вырождения; фамильная сокровищница ума опустела, и потребовалась здоровая плебейская кровь погонщика мулов или горного контрабандиста, чтобы полуидиотизм матери превратить в инфантильную резвость сына. Однако из этих двоих я отдавал предпочтение матери. Что касается Фелипа, мстительного и вместе покладистого, порывистого и робкого, непостоянного, как бег зайца, то мне он даже начал казаться носителем какого-то разрушительного начала. О матери же я не мог сказать ничего плохого. Я заметил в их отношениях враждебность и, не осведомленный до конца, как все зрители, поспешил взять сторону матери, хотя по большей части именно она выказывала эту враждебность. Иной раз, когда Фелип подходил к ней, у нее вдруг прерывалось дыхание, а зрачки ничего не выражающих глаз суживались, как от сильного страха. Все, что она чувствовала, легко читалось на ее лице, и это затаенное отвращение очень занимало меня. Что могло породить его, чем провинился перед ней Фелип?

Я провел в замке уже десять дней, когда с гор налетел сильный ветер, неся с собой тучи пыли. Пыль поднимается с болотистых низин, зараженных малярией, и ветер несет ее по горным ущельям через снежные отроги. Люди с трудом переносят этот ветер: нервы взвинчены до предела, глаза засыпаны пылью, ноги подкашиваются. Ветер слетел с гор и обрушился на дом с завыванием и свистом, от которых разламывалась голова и болели уши. Он дул не порывами, а постоянно, без отдыха, как мчится горный поток, не затихая ни на минуту. Высоко в горах он достигал, вероятно, ураганной силы, ибо время от времени где-то вверху оглушительно завывало и над далекими уступами поднимались столбы пыли, похожие на дым после взрыва.

Проснувшись утром, я еще в постели почувствовал какую-то тяжесть и напряженность в воздухе. К полудню это ощущение усилилось. Тщетно я пытался сопротивляться погоде, отправившись по обычаю на утреннюю прогулку,— я был побежден неистовой, бессмысленной яростью бури, дух мой был сломлен, силы

иссякли, и мне ничего не оставалось, как вернуться в замок, пышущий сухим жаром и облепленный вязкой пылью. Дворик являл собой вид самый жалкий, солнца не было, оно лишь изредка прорывалось сквозь тучи пыли; ветер буйствовал и здесь — гнул деревья, срывал цветы и хлопал ставнями. Сеньора ходила в своей нише взад и вперед, щеки у нее раскраснелись, глаза горели, мне показалось, что она что-то шепчет, как человек, охваченный гневом. Я обратился к ней с обычным приветствием, но она резко махнула рукой и продолжала ходить. Погода вывела из равновесия даже это безмятежное существо. Поднимаясь к себе по лестнице, я меньше стыдился своей слабости.

Ветер дул весь день. Я сидел у себя в комнате, пытаясь читать, или вскакивал и ходил по комнате из угла в угол, прислушиваясь к разбушевавшимся стихиям. Наступил вечер, у меня не было даже свечи. Меня потянуло к людям, и я вышел во двор. В синих сумерках выделялось красное пятно ниши. Поленья в очаге были сложены высоким костром, и сильная тяга била из стороны в сторону языки красного пламени. Залитая ярким, пляшущим светом, сеньора продолжала ходить от стены к стене, то крепко сжимая ладони, то простирая руки вверх и закидывая назад голову, точно посылая небесам мольбу. Движения ее были беспорядочны, и это еще подчеркивало ее красоту и грацию, но глаза горели таким странным огнем, что у меня мурашки побежали по коже. Постояв несколько времени молча, я пошел прочь, по-видимому, незамеченный, и снова поднялся к себе.

К тому времени, как Фелип принес свечи и ужин, нервы мои сдали совсем. Будь он таким, как всегда, я бы силой задержал его, только бы не оставаться в этом нестерпимом одиночестве. Но, увы, погода подействовала и на Фелипа. Весь день его как будто лихорадило; теперь же, с наступлением темноты, он совсем впал в уныние и был словно чем-то напуган, так что в его присутствии было еще хуже. Настороженный взгляд, бледность и то, что он то и дело к чему-то прислушивался и вздрагивал,— все это вконец деморализовало меня. Когда он нечаянно уронил тарелку и она разбилась, я так и подпрыгнул на стуле.

— Все мы сегодня точно с ума сошли,— сказал я, силясь улыбнуться.

— Это все черная буря,— уныло проговорил Фелип.— Такое чувство, что надо что-то делать, а что — неизвестно.

И у меня было такое чувство. Фелип это точно подметил — он подчас обладал поразительной способностью выражать свои физические ощущения в самых верных словах.

— А как твоя мать? — спросил я.— Она, по-моему, очень тяжело переносит непогоду. Не боишься, что она заболеет?

Фелип внимательно посмотрел на меня.

— Нет,— отрезал он почти со злобой.

Потом, приложив руку ко лбу, запричитал, жалуясь на ветер и шум, от которого голова кружится, как мельничное колесо.

— Кто это может вынести? — вскричал он.

Ответить ему я мог только тем же вопросом. Мне было не лучше.

Я лег спать рано, замученный этим тягостным днем, но убийственный ветер, его злобные, беспрестанные завывания не давали уснуть. Я лежал, ворочаясь с боку на бок, чувствуя, что все мои душевные силы на пределе. Иногда я забывался сном, тяжелым и кратким, и снова просыпался; эти чередования сна и бодрствования окончательно лишили меня представления о времени. Но, вероятно, было уже за полночь, когда тишину дома нарушили жалобные, полные муки вопли. Я соскочил с постели, думая, что это во сне, но вопли продолжались; в них было столько боли и ярости, столько протеста и дикой, необузданной силы, что сердце леденело в страхе и тоске. Нет, это был не сон — кто-то бесчеловечно истязал живое существо. Чьи это вопли — дикого зверя или жалкого безумца? Молнией мелькнула мысль о Фелипе и белке. Я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи. Я мог колотить в нее сколько угодно — тюрьма моя была прочной. А вопли все продолжались. Временами ухо ловило в них членораздельные звуки, тогда я не сомневался, что кричит человек; но потом дикий рев снова сотрясал стены, как будто все адские силы вырвались на свободу. Я стоял у двери и слушал, пока вопли не смолкли. Но еще долго после мне чудились они в завывании ветра. Постояв несколько времени у двери, я вернулся в комнату и повалился на постель. Сердце мое сжималось от неизвестности и ужаса.

Не удивительно, что до утра я так и не сомкнул глаз. Почему меня заперли? Что происходило в доме? Кто издавал эти неописуемые, кошмарные крики? Человек? Невозможно поверить. Зверь? Но и звери так не кричат. Да и кто, кроме льва или тигра, мог бы сотрясать своим ревом мощные стены замка? Размышляя над всеми этими загадками, я вдруг вспомнил, что еще ни разу не видел дочери. А разве так уж трудно предположить, что дочь сеньоры, сестра Фелипа, безумна и что эти тупые, невежественные люди считают самым лучшим обращением с душевнобольной жестокость? Вот и разгадка! Но стоило мне вспомнить, с какой неистовой силой издавались крики (отчего меня опять забила дрожь), и я усомнился в верности своих заключений. Даже самая изощренная жестокость не могла бы исторгнуть такие вопли из безумной груди. Одно для меня было ясно: я не могу жить в доме, где происходит подобное, и оставаться в бездействии. Я должен все узнать, и если окажется необходимым, вмешаться.

Наступило утро, ветер улегся, ничто вокруг не напоминало об ужасах прошедшей ночи. Фелип подошел к моей постели с самым радостным видом; а проходя через двор, я увидел, что сеньора, как всегда, ко всему безучастная, греется на солнце; за воротами усадьбы скалы и лес встретили меня строгой, чистой улыбкой; небо холодно синело над головой; в нем неподвижно стояли, как острова в море, большие белые облака; тень их пятнала склоны гор, залитые солнцем. Короткая прогулка восстановила мои силы и укрепила намерение во что бы то ни стало проникнуть в тайну этого дома, и когда я с верхушки моего бугра увидел, что Фелип идет работать в сад, я тотчас поспешил в замок, чтобы начать действовать. Сеньора, по-видимому, спала, я немного понаблюдал за ней — она не шевелилась; если даже поведение мое предосудительно, сеньоры опасаться нечего, я тихонько пошел от нее, поднялся по лестнице на галерею и начал обследовать дом.

Все утро я ходил из одной двери в другую, попадая в просторные, но обветшалые комнаты; в одних окна были наглухо заколочены, другие заливало солнце, но везде было пусто и пахло нежилым. Когда-то это был богатый дом, но блеск его успел потускнеть от ды-

хания времени, а пыль веков довершила дело — надежда навсегда оставила его. Там растянул паутину паук; здесь жирный тарантул поспешно юркнул за карниз; муравьи проложили многолюдные тропы на полу торжественных залов; большие зеленые мухи — вестницы смерти, зарождающиеся в падали, гнездились в трухлявых балках, их тяжелое, густое жужжание стояло во всех комнатах. Забытая табуретка, софа, кровать, большое резное кресло, как островки, торчали на голом полу, свидетельствуя об ушедшей жизни, и во всех комнатах стены были увешаны портретами умерших. По этим рассыпающимся в прах портретам я мог судить, какому красивому, могущественному роду принадлежал дом, где я сейчас бродил. Грудь мужчин с благородной осанкой украшали ордена, а женщины были в роскошных туалетах; почти все полотна принадлежали кисти знаменитых мастеров. Но не это свидетельство былого величия, такое красноречивое на фоне сегодняшнего запустения и упадка, поразило мое воображение. В этих прекрасных лицах и стройных фигурах я читал биологическую летопись семьи. Никогда раньше не открывалась мне с такой наглядностью история целого рода: появление новых физических качеств, их переплетение, искажение и возрождение в следующих поколениях. То, что сын или дочь — дитя своей матери, что это дитя, вырастая, становится — неизвестно в силу каких законов — человеческим существом, облачается во внешность своих отцов, поворачивает голову, как один из предков, протягивает руку, как другой,— это все чудеса, ставшие банальными от постоянного повторения. Но общее выражение глаз, одинаковость черт и осанки, прослеживаемые во всех поколениях рода, смотревшего на меня со стен замка,— это было чудо, осязаемое и зримое. На моем пути мне попалось старинное зеркало; я долго стоял перед ним, всматриваясь в собственные черты, выискивая в них наследственные формы и линии, которые связывают меня с моим родом.

Наконец поиски завели меня в комнату, явно обитаемую. Она была очень просторная и выходила окнами на север, где горы громоздились особенно круто и неприступно. В камине тлели и дымились красные угольки, рядом стояло кресло. Весь вид комнаты говорил о том, что в ней живет человек скромных, даже аскетических привычек; кресло было жесткое, стены и

пол голые, и, кроме книг, разбросанных всюду, не было ничего, что выдавало бы интересы и склонности хозяина. Никаких признаков полезной работы или любимого занятия. Это множество книг в доме, где живет сеньора со своим слабоумным сыном, несказанно поразило меня, и я начал торопливо, боясь быть застигнутым, перелистывать книги одну за другой. Книги были самые разнообразные: религиозные, исторические, научные, но почти все старинные и на латыни. Вид некоторых говорил о том, что их постоянно читают; другие были надорваны, как будто читавший не одобрил их и с негодованием отшвырнул. Оглядев комнату в последний раз, я заметил на столике у окна листки бумаги, исписанные карандашом. Поддавшись глупому любопытству, я взял один. Это были примитивно рифмованные стихи на староиспанском языке, которые на моем языке звучали бы приблизительно так:

Наслаждение приносит боль и стыд,
Печаль украшена венком из лилий,
Наслаждение, как солнце, манит.
Господь мой, Иисус, как ярко оно светит!
Печаль иссохшей рукой на тебя
Указывает, господь мой, Иисус!

Стыд и замешательство охватили меня; положив листок на место, я немедленно покинул комнату. Ни Фелип, ни его мать не могли, конечно, читать этих книг или написать эти неумелые, но проникновенные строки. Было ясно, что я кощунственной ногой осквернил жилище дочери. Бог свидетель, как я ругал себя за мою чудовищную бестактность! Мысль, что я воровски проник в комнату этой странной девушки и коснулся самого ее сокровенного и что она может узнать об этом, доводила меня до отчаяния. Я считал себя преступником, и еще я упрекал себя за те поспешные догадки, которые, как мне тогда казалось, объясняли тайну прошедшей ночи. Я не представлял себе, как могла мне прийти в голову идиотская мысль, будто те ужасные вопли исторгались из груди слабой девушки. Она казалась мне теперь святой, бесплотным духом, изнуренным занятиями и служением религии; я жалел ее, живущую в семье, чуждой ей по духу, а значит, в полном одиночестве; я стоял, облокотившись на балюстраду галереи, и смотрел вниз на пышное, обильное цветение и ярко одетую женщину, которая сонно потя-

гивалась и изящно облизывала губы,— олицетворение безделья и неги — и не мог не сравнить этот залитый солнцем двор с холодной комнатой наверху, выходящей на север, в сторону гор, где жила дочь.

После полудня, когда я сидел с рисованием на своем любимом бугре, я увидел, как в ворота замка вошел падре. То, что я узнал о дочери, полонило мое воображение и совсем вытеснило ужасные события прошлой ночи, но, увидев этого почтенного старика, я тотчас вспомнил все. Сойдя с бугра и поколесив по лесу, я вышел к дороге и расположился в ожидании у обочины. Скоро появился падре, я вышел к нему навстречу и представился. У падре было волевое, открытое лицо, и я легко прочел на нем смешанные чувства, вызванные мною, чужеземцем и еретиком, но вместе и человеком, который получил ранение, сражаясь за благородное дело. О семействе, живущем в замке, он говорил сдержанно, но с уважением. Я заметил, что еще не видал дочери, на что он ответил мне, что, видно, так нужно, и посмотрел на меня искоса. Под конец я набрался храбрости и упомянул о воплях, которые мне не дали спать этой ночью.

— Вы нюхаете табак? — спросил он, протягивая табакерку, и, когда я отказался, прибавил: — Я старый человек и думаю, мне позволительно напомнить вам, что вы в замке гость.

— Это значит,— твердо ответил я, хотя и покраснел, уловив в словах священника нравоучение,— что вы советуете мне ни во что не вмешиваться и предоставить все естественному ходу вещей.

— Да,— ответил он и, попрощавшись со мной несколько смущенно, повернулся и пошел прочь.

Следствием разговора с падре было то, что совесть моя успокоилась, а деликатность пробудилась. Я еще раз постарался забыть ночное происшествие и снова стал думать о благочестивой поэтессе. Не мог я выбросить из головы только то, что ночью был заперт, и когда Фелип принес ужин, осторожно повел на него наступление.

— Я еще не видел твоей сестры,— между прочим заметил я.

— Не видели,— согласился он.— Она очень, очень хорошая.— И внимание его тут же переключилось на другое.

— Она очень благочестива? — спросил я в следующую паузу.

— О,— горячо воскликнул Фелип, сжав ладони,— настоящая святая! Она учит меня, как стать лучше.

— Тебе повезло,— ответил я.— Ведь большинство, в том числе и я, знает только, как быть хуже.

— Сеньор,— возразил Фелип убежденно,— не говорите так. Не искушайте своего ангела-хранителя. Если человек будет делаться все хуже и хуже, то каким же он станет под конец?

— Скажи, пожалуйста, Фелип! — удивился я.— А я и не подозревал в тебе дара проповедника. Это, конечно, заслуга твоей сестры?

Фелип кивнул, глядя на меня круглыми глазами.

— Она, конечно,— продолжал я,— поругала тебя за твою жестокость.

— Двенадцать раз! — воскликнул чудак. Это было его любимое число (он никогда не говорил: двадцать или сто раз, всегда двенадцать).— Я ей сказал, что вы тоже ругали меня, я ведь не забыл,— гордо прибавил он,— и ей это понравилось.

— Тогда скажи мне, Фелип, что это за вопли я слышал в ту ночь? Кто кого мучил?

— Это выл ветер,— сказал Фелип, глядя то в окно, то на огонь в камине.

Я взял его руку в свою, и он радостно улыбнулся, думая, что я хочу приласкать его, чем почти обезоружил меня. Но я, подавив в себе слабость, продолжал:

— Ты говоришь, ветер. А я так думаю, что вот эта самая рука,— и я сжал его руку крепче,— ночью заперла меня в моей комнате.

Мальчишка весь задрожал, но не сказал ни слова.

— Хорошо,— сказал я, выпустив его руку.— Я здесь гость и посторонний человек, и я не буду вмешиваться в твои дела, а тем более судить их. У тебя есть сестра, и она, я не сомневаюсь, рассудит лучше. Что же касается меня лично, то я никому не позволю обращать меня в пленника. И я требую, чтобы ты дал мне ключ.

Через полчаса дверь распахнулась, ключ со звоном влетел ко мне в комнату и упал к моим ногам.

День-два спустя я возвращался со своей обычной прогулки немного позже полудня. Сеньора лежала в сонной истоме на пороге своей ниши; голуби дремали под карнизами, как снежные комки, дом был погружен

в глубокую полуденную сиесту, только неугомонный ветерок, летящий с гор, пробегал по галереям, шелестел кронами гранатовых деревьев и мягко шевелил тени. Это сонное оцепенение подействовало и на меня, я легкими, неслышными шагами пересек двор и стал подниматься по мраморной лестнице. Только я ступил на верхнюю площадку, как одна из дверей отворилась, и я лицом к лицу столкнулся с Олаллой. От неожиданности я остановился как вкопанный: красота девушки поразила меня в самое сердце; в густой тени галереи лицо ее сияло, как бриллиант чистой воды; глаза ее встретились с моими, и мы впились взглядами друг в друга. Мы стояли будто прикованные один к другому — это были святые мгновения, в которые души сочетаются браком. Не знаю, сколько прошло времени, пока я очнулся; торопливо поклонившись, я сорвался с места и бросился вверх по лестнице. Олалла не двинулась и глядела мне вслед своими огромными, жаждущими глазами. Мне почудилось, что, проводив меня взглядом, она побледнела и как-то поникла.

Придя к себе, я раскрыл окно. Как все изменилось кругом! Суровые очертания гор радовали теперь гармоничностью и нежностью красок. Наконец-то я увидел ее — Олаллу! Камни гор пели мне — Олалла! Глубокая, безмолвная лазурь пела — Олалла! Бледный призрак святой — плод моего воображения — исчез, его место занял образ прекрасной девушки, полной жизни; природа не пожалела для нее самых ярких красок, создала ее резвой, как олень, и тонкой, как тростник, зажгла в огромных глазах небесный огонь. Это юное существо, трепетное и сильное, как молодая лань, вдруг стало мне родным; красота ее души, светившаяся в глазах, пленила мое сердце, заставила петь Олалла вошла в мою кровь, слилась со мной.

Не могу сказать, чтобы по зрелом размышлении восторг мой стал остывать. Моя ликующая душа походила на пленницу в крепости, осажденную трезвыми и печальными мыслями. Сомнений не было, я полюбил Олаллу с первого взгляда, и полюбил так страстно и самозабвенно, как не любил никогда. Что теперь будет? Она дитя вырождающейся семьи, дочь сеньоры, сестра Фелипа, об этом говорила даже ее красота. Подобно Фелипу, она была резва, как олень, и легка, как капля росы; подобно матери, она сияла ярким цветком на тусклом фоне окружающего ее мира. Но ведь я не мог назвать братом этого дурачка, не мог назвать матерью эту неподвижную, красивую куклу, чьи бессмысленные глаза и глупая улыбка вспоминались мне сейчас с особенным отвращением. А если я не могу жениться, что тогда? Олалла была вполне беззащитна предо мной; тот единственный долгий взгляд в наше единственное свидание сказал мне, что Олалла столь же в моей власти, сколько и я в ее. Но я ведь знал другую Олаллу — сурового книжника, обитающего в мрачной, смотрящей на север комнате, поэта, сочинившего те печальные строки; это знание обезоружило бы и самого бессердечного злодея. Бежать? Это было сверх моих сил, и я дал себе клятву быть как можно осмотрительнее.

Отвернувшись от окна, я нечаянно взглянул на портрет. Блеск его померк для меня, как меркнет пламя свечи при восходе солнца; теперь на меня смотрели с картины не живые глаза, а пятна краски. Но я сразу уловил сходство и снова подивился устойчивости типа в этой деградирующей семье; и все же разница поглощала сходство. Мне всегда казалось, что портрет изображает красоту, не существующую в жизни, созданную искусством живописца, а не тонким вкусом природы. И я еще раз восхитился живой прелестью Олаллы. Я видал на своем веку красавиц — они не трогали меня, чаще меня привлекали женщины, казавшиеся красивыми только мне; в Олалле же соединялось все, о чем я мечтал, не веря, впрочем, что подобное совершенство возможно.

На другой день я не видел Олаллы. Сердце мое истомилось, глаза всюду искали ее. На третий, возвращаясь с прогулки, я опять столкнулся с ней на галерее, и опять взгляды наши встретились и слились. Я бы подошел к ней, заговорил: меня тянуло к ней как магнитом, и вместе с тем что-то властно удерживало меня. Увидев ее, я только поклонился и прошел мимо; она же, не ответив на мое приветствие, долго смотрела мне вслед своими прекрасными глазами.

Теперь я знал Олаллу. Мысленно вглядываясь в ее черты, я читал ее сердце. В одежде ее узнавалась кокетливость матери и ее любовь к ярким тонам. Платье, несомненно, сшитое самой Олаллой, изящно облегало ее гибкий стан, лиф, согласно испанской моде, глубоко открывал смуглую грудь, на которой покоилась висевшая на ленточке монетка из золота, хотя это был и обеднев-

ший дом. Весь ее туалет доказывал (нужно ли, однако, было доказывать?) природное жизнелюбие и сознание собственной красоты. В ее глазах, неотрывно смотревших на меня, я угадывал, однако, бездонные глубины страсти и страдания, видел свет поэзии и надежды, мрак отчаяния и работу мысли, парившей над земными заботами. Плоть ее была прекрасна, но и душа была вполне достойна своей оболочки. Неужели я должен оставить этот несравненный цветок, чтобы он увял здесь, среди диких скал, вдали от людей? Как могу я пренебречь великим даром, который подносили мне в красноречивом молчании ее глаза? Предо мной была душа в заточении, так не мой ли долг разрушить темницу? Все сторонние соображения отлетели от меня: будь она дочь Ирода, клянусь, я бы не отступился от нее; и в тот же вечер, стыдясь собственного криводушия, я принялся обхаживать Фелипа. Возможно, я смотрел теперь на него более благосклонно, а возможно, что всякий раз, как Фелип, эта ущербная душа, заговаривал о сестре, он оборачивался к людям своей самой лучшей стороной, только мне он показался в этот раз куда более симпатичным, а его сходство с Олаллой хотя и было не очень приятно, но вместе и умиляло меня.

Еще один день прошел в тщетном ожидании, часы тянулись бесплодные, как пустыня. Я боялся упустить малейшую возможность и весь день торчал во дворе. Для видимости я дольше, чем обычно, разговаривал в тот день с сеньорой. Господь свидетель, я стал присматриваться к ней с более искренним и сочувственным интересом и вообще сразу стал более терпим и к матери и к сыну. Но все-таки она приводила меня в изумление. Даже разговаривая со мной, она нет-нет и забывалась недолгим сном; очнувшись же, продолжала беседовать, как ни в чем не бывало. Меня потрясала эта невозмутимость и еще то, как сильна была в ней любовь к физическим удовольствиям. С каким вкусом и наслаждением она разминалась, потягивалась, время от времени меняя позы почти незаметными грациозными движениями! Она жила только радостями тела; сознание ее поглотила плоть, и оно не стремилось вырваться на свободу. Но больше всего меня изумляли ее глаза. Всякий раз, как она обращала ко мне огромные, прекрасные, бессмысленные глаза свои, широко открытые на мир божий и слепые перед вопрошающим взглядом собеседника, я видел, как зрачки ее мгновенно расширяются и тут же обращаются в точку. Меня охватывало при этом какое-то странное, неопределенное чувство, это было и разочарование, и как будто страх, и даже отвращение. О чем только я не пытался заговорить с ней в тот день, и все с равным успехом или, вернее, неуспехом! Наконец с уст моих слетело имя ее дочери. Она и тут осталась безучастна, сказала только, что дочь у нее красивая, что для нее (как и для детей) служило наивысшей похвалой; добиться чего-нибудь более вразумительного я так и не мог. Когда я заметил, что Олалла показалась мне молчаливой, она зевнула мне в лицо и поучительно изрекла, что, если нечего говорить, так уж лучше молчать. «Люди любят говорить, очень любят»,— прибавила она, глядя на меня расширившимися зрачками, потом опять зевнула, показав изящное, как игрушечное, горло. На этот раз я понял намек. Оставив ее дремать, я пошел к себе, сел возле открытого окна и стал невидящим взглядом смотреть на горы, предаваясь сладким мечтам и наслаждаясь в воображении звуками голоса, который я еще не слышал.

На пятое утро я проснулся со счастливым предчувствием, готовый бросить вызов судьбе. Я был снова самим собой, сердце радостно билось, и я решил без промедления сказать Олалле о своей любви. Довольно ей лежать безъязыкой в моей груди, в оковах молчания; я не хочу, чтобы она жила только взглядами, как любовь зверей; пора ей заговорить, пора узнать радость человеческого общения. Я мечтал об этом, обуреваемый самыми сладкими, безумными надеждами, как мечтают об Эльдорадо; я больше не боялся пуститься в путешествие по прекрасной, незнакомой стране ее души. И все-таки, когда я в тот день встретил Олаллу, страсть вспыхнула во мне с такой силой, что вся решимость сразу исчезла, язык отнялся, и я приблизился к ней, как человек, боящийся высоты, приближается к краю пропасти. Она чуть отступила, но глаза ее все так же не отрывались от моих; это придало мне храбрости, и я шагнул к ней. Теперь она стояла на расстоянии вытянутой руки от меня. Я не мог произнести ни слова. Еще шаг, и я прижал бы ее к своей груди! Так мы стояли секунду, чувствуя, что нас неодолимо тянет друг к другу, и сопротивляясь этому чувству; потом, сделав над собой

невероятное усилие и вдруг ощутив пустоту разочарования, я повернулся и все так же молча пошел к себе.

Какая сила отняла у меня дар речи? А Олалла? Почему молчала она? Почему стояла предо мной, как немая, с завороженным взглядом? Что это — любовь? Или просто тяготение полов, неподвластное разуму и неизбежное, как притяжение железа к магниту? Мы совсем не знали друг друга, не обмолвились и словом, но уже стали безвольными пленниками чьей-то могучей воли. Это злило меня. Ведь я знал Олаллу, видел ее книги, читал ее стихи, я, можно сказать, окунулся в ее душу. А она? При этой мысли меня даже пробрал озноб. Она ничего обо мне не знала, она чувствовала только, как ее тянет ко мне. Законы природы, которым подчиняется все на земле, отдавали ее мне, не спрашивая ее желания. Ее влекла ко мне та же сила, под действием которой на землю падает камень. Я содрогнулся, представив себе союз, основанный только на такой любви, и даже почувствовал ревность к себе. Я хотел, чтобы меня любили иначе. Вдруг меня охватила нестерпимая жалость к Олалле. Я подумал, как больно, должно быть, сознавать ей собственное унижение: вести жизнь затворника и книголюба, быть духовной наставницей Фелипа — и вдруг такое падение, полюбить с первого взгляда человека, с которым не было сказано и двух слов! И сразу же все остальное потеряло значение, теперь я хотел увидеть ее только затем, чтобы утешить и пожалеть, сказать ей, что и я полюбил так же сильно и что выбор ее, хотя и сделан вслепую, достоин ее.

Погода на следующий день была великолепная. Горы цепь за цепью уходили в бездонную небесную синеву, солнце светило ослепительно, шелест листьев и звон бесчисленных горных ручьев наполняли воздух чистой, неумолкаемой мелодией. Но я был печален, сердце мое звало Олаллу, как дитя зовет мать. Я сидел на большом камне у самого края гряды, окаймлявшей плато с севера. Отсюда мне была видна поросшая лесом долина горной речки; место было безлюдное, и в этом была отрада: не я один тосковал по Олалле. И я вдруг подумал — в первый раз,— какой восторг, какое счастье жить среди этих гор, где так легко дышится, с моей Олаллой! Слезы выступили у меня на глазах, и тут же меня захлестнула такая неистовая радость, что я почувствовал себя могучим и сильным, как Самсон.

В этот миг я увидел Олаллу. Она вышла из рощи пробковых дубов, направляясь прямо ко мне; я поднялся с камня и стал ждать. Сколько было в ней жизни, огня, грации, хотя шла она медленно! Я знал, если бы не ее выдержка, она побежала бы, полетела ко мне, как птица. Но такой уж это был сильный характер. Олалла шла медленно, опустив глаза; подойдя совсем близко и не поднимая глаз, она заговорила. У меня захватило дух (вот оно, последнее испытание моей любви): у нее оказался точно такой голос, как я ожидал. И, конечно, безупречная дикция, ясная и чистая, не то что у матери и брата. Голос у нее был глубокий, женственный и вместе по-юному звонкий. Он слагался, как музыкальный аккорд, из нескольких тонов: бархатных, контральтовых и легкой хрипотцы, точь-в-точь ее косы, в которых красно-рыжие пряди переплетались с пепельными. Я был пленен не только красотою голоса — он рассказал мне новое о моей Олалле. Но то, что я услышал, ввергло меня в отчаяние.

— Вы должны уехать отсюда,— сказала она,— сегодня же.

Дар речи вернулся и ко мне, точно груз свалился с моих плеч, точно сняли с меня заклятие. Не помню, какие слова нашел я для ответа. Помню только, что, стоя там, на горе, я говорил Олалле о своей любви со всем пылом страсти, я говорил, что живу только мыслями о ней, ложусь спать, чтобы увидеть во сне ее прелестное лицо, что я с радостью откажусь от родины, языка, друзей, только бы никогда с ней не расставаться. Потом, совладав с собой, я принялся уже более спокойно говорить ей о том, какого верного друга она найдет во мне, что я понимаю ее, преклоняюсь перед ее святой, самоотверженной жизнью, готов разделять ее бремя и облегчить его и быть всегда ей опорой. «Мы должны слушаться голоса природы,— говорил я ей,— противиться ему — значит погубить себя. Если нас так неодолимо потянуло друг к другу — это и есть чудо любви, это значит, души наши родные, и мы созданы друг для друга. Только безумцы, восстающие на бога, осмеливаются не подчиниться этому зову».

Олалла покачала головой.

— Вы должны уехать сегодня,— повторила она, потом махнула рукой и изменившимся, охрипшим голосом прибавила:

— Нет, не сегодня, завтра!

Видя, что решимость ее поколебалась, я снова обрел надежду. Я протянул к ней руки и позвал: «Олалла!» Она метнулась ко мне и крепко прижалась к моей груди. Горы заходили вокруг нас, земля под ногами закачалась: точно сильный удар обрушился на меня, и я на мгновение ослеп и оглох. Но Олалла тут же оттолкнула меня, резко вырвалась и замелькала между деревьями, как быстроногая лань.

Я стоял на холме и кричал во весь голос, рассказывая горам о своей любви. Потом я пошел домой. Нет, не пошел — полетел. Олалла оттолкнула меня, пусть. Но стоило мне позвать ее, она кинулась ко мне в объятия, все остальное — девичьи причуды, которые свойственны даже ей, так непохожей на всех других женщин. Уехать отсюда? О нет, моя Олалла, я не уеду! Совсем близко от меня запела птица — в это время года птицы поют редко, и я подумал, что это — доброе предзнаменование. И снова вся природа — тяжелые незыблемые горы, легчайший листок, крохотная, быстрая в полете мушка, тенистые рощи,— все опять поплыло передо мной, все приняло новое обличье, полное жизни и ликующей радости. Солнце ударило по склонам гор, как молот по наковальне, и горы заколебались; земля, облитая мощным потоком света, откликнулась пьянящими ароматами, леса заалели огнем. Я ощутил, как животворящие токи заходили в земле, наполняя ее экстазом. Что-то первозданное, дикое, необузданное и неистовое было в моей любви, вот он, ключ к тайнам природы! Камни под ногами, и те ожили и стали моими единомышленниками. Олалла! Ее прикосновение пробудило во мне то древнее чувство общности с землей, то ликующее настроение, которое человек утратил среди своих цивилизованных собратьев. Любовь пылала во мне, как гнев, нежность яростно клокотала, я ненавидел, обожал, жалел, боготворил ее. Мне казалось, что она связывает меня и с миром ушедших и с чистым и милосердным богом: Олалла была для меня сразу и святой и диким животным; воплощением невинности и скрытых, неукротимых сил земли.

Голова моя кружилась, когда я вступил во дворик замка, но вид сеньоры тут же отрезвил меня. Она была вся лень и довольство; щурилась от яркого солнца, наслаждаясь бездельем; ее безмятежная отрешенность подействовала на меня, и я застыдился своего восторга. Я остановился на секунду и, стараясь подавить в голосе дрожь, сказал ей как можно сдержаннее два-три слова. Она посмотрела на меня со своим безграничным добродушием; ее приглушенный голос шел из царства покоя, царства снов, и первый раз за все время я вдруг почувствовал что-то похожее на уважение к этому невинному, неизменно счастливому существу и подивился на себя, что оказался способным на такое сильное возмущение духа.

На моем столе лежал листок той самой желтой бумаги, какую я видел в комнате, выходящей на север; на ней было что-то написано карандашом рукой Олаллы; я взял листок, и сердце у меня тревожно забилось. Олалла писала: «Если у вас есть хоть капля жалости к Олалле, если сердце ваше способно сострадать несчастью другого, уезжайте отсюда сегодня же, заклинаю вас богом, честью, вашим добрым сердцем, уезжайте». Я смотрел на записку в полном отупении, мало-помалу жизнь стала представать предо мной, как она есть,— горькая и безрадостная; солнечный свет померк над голыми вершинами, и меня затрясло от предчувствия надвигающейся беды. Вдруг разверзшаяся пустота причинила почти физическую боль. На карту были поставлены не просто счастье, любовь,— дело шло о самой жизни. Я не могу потерять ее. Я повторял и повторял эти слова, потом, как во сне, подошел к окну, толкнул раму и сильно поранил руку о стекло. Кровь так и брызнула из запястья. Самообладание тотчас вернулось ко мне, и я зажал большим пальцем пульсирующую струйку и стал думать, что делать. В моей полупустой комнате не было ничего, чем можно было остановить кровь. К тому же один я бы не справился. Олалла поможет мне, с надеждой подумал я, вышел из комнаты и бросился вниз, все еще зажимая пальцами ранку.

Ни Олаллы, ни Фелипа не было видно, и я пошел к нише; сеньора дремала возле самого очага, ибо никакая жара, по-видимому, не была для нее слишком сильной.

— Простите меня,— начал я, обращаясь к сеньоре,— за то, что я беспокою вас. Мне нужна ваша помощь.

Она взглянула на меня сонно и спросила, в чем дело; в тот же миг дыхание ее прервалось, она стала точно принюхиваться к чему-то, раздувая ноздри, вдруг очнулась ото сна и вполне ожила.

— Я порезался,— сказал я,— и, боюсь, довольно сильно. Посмотрите! — И я протянул к ней обе руки, по которым текла, капая на пол, кровь.

Ее огромные глаза стали еще больше, а зрачки совсем обратились в точки, безразличие спало с лица, оно стало выразительным, хотя и загадочным. Меня немного удивило такое превращение; но не успел я ничего сказать, как она быстро поднялась с ложа, подошла ко мне и схватила мою руку. В тот же миг рука была у нее во рту и она прокусила ее до кости. Острая боль, фонтан крови, ужасное сознание происходящего потрясли меня, и я с силой оттолкнул ее; но она снова бросилась на меня, как львица, издавая нечеловеческие вопли; я сразу узнал их: я слышал их в ночь, когда с гор налетел ветер. Сила безумных известна, я же с каждой минутой слабел от потери крови; голова моя кружилась от этого внезапного и гнусного нападения, и мне уже некуда было отступать: спина моя коснулась стены. Вдруг как из-под земли между мной и матерью выросла Олалла; следом за ней, преодолев двор чуть ли не одним прыжком, на помощь подоспел Фелип. Он бросился на мать и повалил ее на пол.

Страшная слабость охватила меня, я, как в трансе, все видел, слышал и чувствовал, но не мог шевельнуть пальцем. Я слышал у моих ног возню, слышал звериный вой безумной, у которой отняли добычу. Чувствовал, как Олалла крепко схватила меня (волосы ее падали мне на лицо) и почти с мужской силой потащила по лестнице в комнату. Дотащив меня до кровати, Олалла бросилась к двери и заперла ее, прислушиваясь к нечеловеческим воплям, сотрясавшим дом. Потом, легкая и быстрая, как луч света, опять нагнулась ко мне и стала перевязывать мою руку, качая ее и прижимая к груди. При этом она что-то приговаривала, воркуя, как голубица. Это не были слова, но лепетание ее было прекраснее любых слов, бесконечно ласковое, бесконечно нежное; и все-таки, слушая ее, я не мог отделаться от мысли, которая жгла мое сердце, ранила, как кинжал, точила, как точит червь прекрасный цветок, оскверняя мою великую, святую любовь. Да, это были прекрасные звуки, и родило их человеческое сострадание, но не было ли это безумием?

Я лежал весь день. Еще долго крики и вопли злосчастного существа, борющегося со своим слабоумным отпрыском, оглашали дом, вселяя в мою душу отвращение, отчаяние и печаль. Это был похоронный плач над моей любовью, любовь моя была смертельно ранена, и не только ранена, она стала для меня проклятием; и все-таки, что бы я ни чувствовал, что бы ни думал, она жила во мне, затопляя сердце нежностью; глядя на Олаллу, чувствуя ее прикосновение, я забывал все. Это чудовищное нападение, мои сомнения относительно Олаллы, что-то дикое, животное, отличающее не только характер ее родных, но и бывшее в основе нашей любви,— все это хотя и ужасало меня, делало больным, сводило с ума, не могло, однако, разрушить очарования, под которое я попал.

Когда крики наконец смолкли, в дверь заскреблись. Это был Фелип; Олалла вышла и что-то сказала ему. Кроме этих минут, Олалла все время была со мной,— то стояла на коленях возле моей кровати и горячо молилась, то сидела рядом и смотрела не отрываясь на меня. Так и получилось, что я целых шесть часов наслаждался ее красотой, вчитывался в ее лицо. Я видел золотую монету, колыхавшуюся на ее груди, видел ее глаза, огромные, потемневшие, в которых по-прежнему было одно выражение — бесконечной доброты, видел безупречное лицо и угадывал под складками платья безупречные линии фигуры. Наступил вечер, и в сгущающихся сумерках очертания ее медленно исчезли, но и теперь ее нежная, говорящая рука грела мою ладонь. Я лежал в полнейшем изнеможении, упиваясь каждой черточкой моей возлюбленной, и любовь моя постепенно оправлялась от шока. Я убеждал самого себя, что все не так страшно, и скоро мог думать о случившемся без содрогания. Я опять принимал все. Ничто на свете не имеет значения, если любовь моя устояла, испытав такое потрясение, а взгляд Олаллы все так же заманчив и неотразим, если и сейчас, как и раньше, каждая клеточка моего тела тянется к ней и желает ее! Было уж совсем поздно, когда силы стали возвращаться ко мне.

— Олалла,— тихо начал я,— все это не страшно, мне ничего не надо объяснять. Я принимаю все. Я люблю тебя, Олалла.

Она опустилась на колени и стала молиться, а я с благоговением смотрел на нее. Взошла луна, свет ее падал на левую стенку проема всех трех окон, и в комнате стоял призрачный полумрак, в котором я различал не-

ясный силуэт Олаллы. Она поднялась с колен и перекрестилась.

— Я буду говорить,— сказала она,— а ты слушай. Я знаю, ты можешь только догадываться. Как я молилась, чтобы ты уехал! Я просила тебя об этом. И я знаю, что ты исполнишь мою волю. Позволь мне так думать!

— Я люблю тебя,— повторил я.

— Но ты жил в свете,— продолжала она после некоторой паузы.— Ты мужчина, и ты умный, а я перед тобой всего дитя. Не сердись за то, что я тебя учу, я, знающая так же мало, как деревья наших гор. Но те, кто многое изучает, скользят лишь по поверхности знания, они схватывают законы, постигают величие замысла, но не видят трагической сути повседневности. Только тот, кто, как я, живет со злом бок о бок, помнит о нем, знает о нем и умеет сострадать. Так что уходи лучше, уходи теперь же и не забывай меня. Я буду жить в самых сокровенных уголках твоей памяти, жить почти так же, как я живу в этой бренной оболочке.

— Я люблю тебя,— еще раз сказал я, слабой рукой взял ее ладонь, поднес к губам и поцеловал.

Она не отдернула руки, а только слегка нахмурилась, но взгляд ее не был сердитый, а печальный и растерянный. Потом, видимо, призвав на помощь всю свою смелость, она притянула к себе мою руку и, склонившись ко мне, прижала ее к своей груди.

— Послушай,— сказала она,— ты слышишь биение жизни. Она твоя. Но принадлежит ли она мне? Конечно, я могу отдать тебе ее, как эту золотую монетку или ветку с дерева. И все-таки жизнь моя не принадлежит мне! Я живу — или думаю, что живу (если я вообще существую),— где-то далеко отсюда, в каком-то отчуждении, немощная пленница, чьи жалобы заглушает толпа призраков. Эта капсула, что бьется, как у всякого живого существа в грудной клетке, признает тебя хозяином. Так знает своего хозяина собака. Да, это сердце любит тебя! А душа? Любит ли душа? Думаю, что нет. Не знаю. Я боюсь заглянуть в себя. Когда же ты говоришь о любви, ты обращаешься к моей душе, тебе душа нужна, не только мое тело.

— Олалла! — возопил я.— Но ведь тело и душа одно, особенно в любви. Тело выбирает — душа любит. Тело и душа нераздельны, говорит господь. И низшая

ступень, если можно хоть что-нибудь в человеке назвать низшим, только основание, пьедестал высшей.

— Ты видел,— не слушала меня Олалла,— портреты в доме моих отцов. Ты знаешь мою мать и Фелипа, а разве взгляд твой ни разу не останавливался вот на этой картине? Та, что изображена на нем, умерла сотни лет назад, немало зла причинив людям. А теперь взгляни на нее еще раз. Разве это не моя рука, не мои глаза, волосы? Что же тогда во мне истинно мое и что такое я сама? Разве не принадлежит все в этом несчастном теле (которое ты любишь и потому наивно считаешь, что любишь меня), каждый изгиб, каждый жест, выражение глаз, даже сейчас, когда я говорю с тем, кого люблю, разве не принадлежит все это другим? Сотни лет назад другие женщины глядели с нежностью на своих возлюбленных моими глазами, другие мужчины уже слышали голос, который звенит сейчас в твоих ушах. В меня вдета рука, точно в куклу из кукольного театра, она двигает мной, оживляет меня, и я во всем подчиняюсь ей. Я всего только вместилище черт и свойств, которые много-много лет назад отделились в тиши могилы от своего хозяина, носителя зла. Что же, мой друг, ты любишь меня? Или весь мой род? Девушку, которая не знает, что в ней она сама, и потому не может за себя отвечать, или весь поток, где она лишь случайное завихрение. Род пребывает вечно, он древен и всегда юн. И он исполняет свое предначертание. Как волны по челу океана, так по его челу, сменяя друг друга, движутся отдельные индивиды; они верят в свободу воли, но это самообман — ее нет. Мы говорим о душе, но душа-то принадлежит роду.

— Ты не согласна с человеческим и божьим законом,— прервал я ее.— Ты восстаешь против общего порядка вещей. Разве ты не чувствуешь, как сильно говорит в тебе и во мне голос природы? Твоя рука льнет к моей, я касаюсь тебя, и сердце твое начинает бешено колотиться; составляющие нас элементы, сущность которых мы не ведаем, устремляются друг к другу, стоит нашим взглядам встретиться; прах земной, вспоминая свою изначальную жизнь, жаждет соединить нас; мы влечемся друг к другу, подчиняясь тому же закону, который управляет движением звезд в небе, приливами и отливами — вещами более древними и могучими, чем род человеческий.

— Увы,— ответила Олалла,— что мне сказать тебе? Мои предки восемьсот лет назад правили всей этой областью, они были умные, сильные, хитрые и жестокие. Это был знатнейший род в Испании; их знамена всегда были первые на войне; короли звали их братьями; простые же люди, видя пепелища на месте своих хижин или готовую для них перекладину с веревкой, проклинали их имена. А потом все изменилось. Человек развивается от низшего к высшему, и если предок его дикий зверь, то, деградируя, он возвращается к начальному состоянию. Усталость коснулась моего рода, человеческое стало в нем слабеть, связи рваться; ум все чаще впадал в спячку; страсти вспыхивали сильнее, бурные и внезапные, как ветер в ущельях гор; красота, правда, переходила из поколения в поколение, но путеводный разум и добродетель исчезли; семя передавалось, его одевала плоть, плоть покрывала кости, но это были кости и плоть животных, мозг же был мушиный. Я объясняю, как умею, но ты и сам видел, как повернулось вспять колесо судьбы для моего несчастного рода. Я стою на крошечном возвышении посреди мертвой пустыни, смотрю вперед, оглядываюсь назад. И сравниваю то, что мы утратили, с тем, на что обречены. Скажи, могу ли я, живущая вдали от людей в этом зачумленном доме, понимая, что путь всех смертных не для меня, имею ли я право продолжить заклятие, тяготеющее над моим родом? Могу ли обрекать еще одного человека, такого же чувствительного ко злу, на жизнь в этой околдованной, сломанной бурями семье, в недрах которой уже страдает одна душа? Имею ли право заново наполнить проклятый сосуд отравленной плотью и передать его как смертоносный снаряд следующим поколениям? Нет, не имею. Я поклялась, что род наш исчезнет с лица земли. В эту минуту брат мой готовит все к твоему отъезду, скоро послышатся на лестнице его шаги, ты отправишься с ним, и я больше никогда не увижу тебя. Вспоминай иногда обо мне, жизнь отнеслась ко мне сурово, но я не потеряла мужества. Я действительно люблю тебя, но я ненавижу себя, ненавижу так, что самая любовь моя ненавистна мне. Я отсылаю тебя прочь, но сердцем рвусь к тебе. Я так хочу скорее забыть тебя и так боюсь быть забытой!

Она говорила это, уже подходя к двери, ее грудной голос звучал мягче и приглушеннее. Еще мгновение, и она ушла, а я остался один в залитой лунным светом комнате. Не знаю, что бы я стал делать, будь у меня силы, а пока я лежал, предаваясь полному и беспросветному отчаянию. Немного погодя в дверях блеснул красный огонек фонаря, вошел Фелип, не говоря ни слова, взвалил меня на плечи и вынес за ворота, где нас ждала повозка. В лунном свете силуэты гор темнели, как вырезанные из картона; посреди серебристого плато, над низкими деревьями, которые качались от ветра, переливаясь листвой, возвышался черный массивный короб старого замка, и только три слабо освещенных окошка в северной стене над воротами прорезали мрак. Это были окна Олаллы; трясясь в телеге, я не отрываясь смотрел на них, пока дорога не свернула в ущелье и свет их навсегда не погас для меня. Фелип молча шагал рядом с телегой, иногда придерживал мула и оглядывался, а один раз приблизился ко мне и положил руку мне на лоб. Его прикосновение было как ласка животного, такое доброе и бесхитростное, что слезы брызнули у меня из глаз, точно кровь из артерии.

— Фелип,— сказал я ему,— отвези меня туда, где никто ни о чем не будет спрашивать.

Он не ответил ни слова, повернул мула обратно, и несколько времени мы ехали по той же дороге, потом свернули на проселок и скоро оказались в горной деревушке с церковью — «кирктоне», как их называют у нас в Шотландии. Обо всем, что было дальше, у меня остались смутные воспоминакия. Стало светать, телега остановилась, чьи-то руки подхватили меня, и я впал в долгий и глубокий, как сон, обморок. На другой день и во все последующие ко мне часто наведывался старый священник с табакеркой и молитвенником. Увидев, что силы возвращаются ко мне и что состояние мое больше не внушает опасения, он посоветовал мне поспешить с отъездом. Он не стал ничего объяснять, а только взял понюшку табаку и взглянул на меня искоса. Я не хотел притворяться, что ничего не понял; я догадался, что священник видел Олаллу.

— Святой отец,— сказал я,— вы ведь знаете, что я спрашиваю не из праздного любопытства. Расскажите мне все об этой семье.

Он ответил, что это очень несчастные люди, что, по всей вероятности, это вырождающийся род, что они очень бедны и очень невежественны.

— Только не Олалла,— возразил я.— Она умна и образованна, как редко кто из женщин, и это, без сомнения, ваша заслуга.

— Да,—ответил старик,— сеньорита многому училась. Но остальная семья очень невежественна.

— И мать? — спросил я.

— Да, и мать тоже,— ответил падре, нюхая табак.— Но Фелип — добрый мальчик.

— В матери есть что-то странное.

— Да есть.

— Напрасно мы играем в прятки, отец,— сказал я.— Вам ведь известно все, что произошло, вы только не показываете вида. И вы понимаете, что мое любопытство не случайно. Умоляю вас, будьте со мной откровенны.

— Сын мой,— ответил старик.— Я буду с вами откровенен, насколько позволяет мне моя осведомленность. Не так уж трудно молчать о том, чего не знаешь. Я не уклоняюсь от разговора, и я понимаю вас. Но что я могу сказать, кроме того, что все мы в руках господних и что пути его неисповедимы? Я советовался даже с епископом, но и он не знает, чем тут помочь. Это великая тайна.

— Она помешанная?

— Объясню вам, как понимаю сам. По-моему, нет,— ответил падре.— Раньше, во всяком случае, она была здорова. Когда она была молодой — боюсь, что я мало уделял внимания этой заблудшей овечке, да простит мне господь,— она, несомненно, была здорова, хотя кое-какие признаки болезни, не столь разительные, впрочем, были заметны уже тогда. Но то же самое было с ее отцом, да и с дедом. Так что я не очень опасался за нее. Но болезнь развивается, и развивается не только на протяжении жизни одного человека, но и целого рода.

— А в молодости...— начал было я, и голос у меня прервался. Собравшись с духом, я продолжал: — Она очень походила на Олаллу?

— Господь запретит говорить такое о моей самой любимой прихожанке! — воскликнул падре.— Нет, нет, сеньорита, если не считать ее красоты (но, честное слово, лучше б уж она не была так красива), ни капельки не похожа на свою мать. Вы не должны так думать, хотя, кто знает, может, было бы лучше, если бы вы думали так.

Я приподнялся в постели и стал рассказывать священнику о нашей любви и о решении Олаллы, признался, какой я испытал ужас и какие меня терзали сомнения, но прибавил, что все это позади, и под конец с искренним смирением попросил его рассудить нас.

Он выслушал все терпеливо и безо всякого удивления. Когда я кончил, он сидел несколько времени молча. Потом сказал:

— Церковь...— но тут же, прервав себя, извинился: — Я совсем забыл, сын мой, что вы не христианин. Хотя в этом из ряда вон выходящем случае даже церковь едва ли может что-нибудь посоветовать. Если же вас интересует мое мнение, то вот оно: сеньорита в этом деле лучший судья. Я бы на вашем месте подчинился ее решению.

С этими словами он ушел и в дальнейшем посещал меня реже, когда же я стал понемногу ходить, он, видимо, избегал меня, но не из личной неприязни, а просто бежал от меня, как бегут от сфинкса. Крестьяне этой деревни тоже меня чуждались, смотрели искоса; самые суеверные крестились при моем приближении (в чем я имел случай убедиться), никто не хотел быть моим проводником в горах во время прогулок. Сперва я объяснял это тем, что не был католиком, но потом меня осенило, что виной этому моя недолгая жизнь в замке. Подобные дикарские понятия крестьян обычно мало кого трогают, я же почувствовал, как мою любовь опять омрачила тень. Это не убило любви, но пыл мой убавился.

С вершины одной из гор, в нескольких милях к западу от деревни, глубоко внизу было видно плато, где стоял замок; каждый день я отправлялся туда. На вершине шумела рощица, к ней вела тропинка, почти у самой вершины над тропинкой нависала скала, на которой высилось грубое распятие в рост человека, чересчур натуралистично изображавшее страдание. Я любил сидеть на этой скале и смотреть вниз, на плато, на старый замок; я видел Фелипа, работающего в саду, он казался не больше мухи; иногда плато задергивал туман, но налетал ветер, и в разрывах снова появлялась знакомая картина; иногда она лежала передо мной как на ладони, залитая солнцем, иногда расплывалась в струях дождя. Это уединенное место, откуда по временам был виден замок, обитатели которого столь странным образом во-

шли в мою жизнь, прекрасно гармонировало с моим состоянием духа.

Однажды, когда я сидел так на своей скале, мимо меня прошел тощий крестьянин, закутанный в плащ. Он был не здешний и, по-видимому, ничего не слыхал обо мне, ибо вместо того чтобы, увидев меня, сделать крюк, он приблизился и сел рядом; скоро мы разговорились. Между прочим, он рассказал мне, что был когда-то погонщиком мулов и в прежние годы часто бывал в этих местах, потом он со своим мулом стал маркитантом, скопил немного денег и теперь живет с семьей на покое.

— Вы знаете, что это за дом? — спросил я его, указывая на замок, ибо мне очень скоро надоедал любой разговор, отвлекавший мои мысли от Олаллы.

Крестьянин мрачно посмотрел на меня и перекрестился.

— Очень хорошо знаю,— ответил он.— В этом доме один мой товарищ продал душу дьяволу, не введи нас, господи, во искушение! — он уплатил за это сполна — горит сейчас в самом жарком пламени ада.

Я поежился. Немного погодя крестьянин снова заговорил, как бы размышляя вслух:

— Да, да, я знаю. Как-то я проходил поздно мимо их ворот, дорогу засыпало снегом, начиналась пурга. В такую ночь в горах путнику смерть, но под крышей оказалось еще хуже. Я схватил его за руку, сеньор, и выволок вон; стоя на коленях в снегу, я заклинал его всем, что было ему свято и дорого, уйти со мной оттуда; я видел, что мои мольбы начали действовать. Но в этот момент на галерею вышла она и стала звать его; он обернулся на зов — она стояла с фонарем в руках и, улыбаясь, звала его назад. Я стал громко молиться, обхватив его обеими руками, но он оттолкнул меня и вернулся. Он сделал выбор, господи, спаси и помилуй нас! Я молился за него, но какой толк? Есть грехи, которые не может отпустить даже папа.

— А ваш товарищ? — спросил я его.— Что сталось с ним?

— Один господь ведает,— сказал он.— Если то, что говорят, правда, конец его был так же ужасен, как и его грех,— волосы становятся дыбом, как подумаешь.

— Вы хотите сказать, что его убили? — спросил я.

— Конечно, убили,— ответил погонщик мулов.— Но как? Да, как? Есть вещи, о которых говорить и то грех.

— Люди, живущие в этом доме...— начал было я.

— Люди! — прервал он меня в бешенстве.— Какие люди? В этом доме дьявола обитают не люди! Что? Вы прожили здесь так долго и ничего не слышали?

С этими словами он приблизил губы к моему уху и зашептал, точно боялся, что птицы в лесу услышат его и попадают замертво от ужаса.

То, что он рассказал мне, было выдумкой, и к тому же неоригинальной,—новая версия старой, как мир, легенды, созданная крестьянским невежеством. Меня испугала не самая легенда, а вывод из нее. В старое время, говорил он, церковь выжгла бы это гнездо василисков, но теперь церковь стала беззубой; товарищ его, Мигуэль, избежал наказания от рук человеческих, зато понес ужасную кару, обратив на себя гнев господень. Это неправильно, впредь будет по-другому. Падре уже в преклонных годах, да и сам он поддался бесовским чарам; но прихожане видят, какая опасность им грозит. Придет день, очень скоро придет, когда поднимется до небес дым над проклятым домом.

Он ушел, а я остался сидеть на скале. Мне было страшно. Я не знал, что предпринять: то ли идти к священнику и предупредить его, то ли отправиться в замок и самому принести его обреченным обитателям известие об опасности. Судьба решила за меня: взвешивая тот и другой вариант, я вдруг увидел, как по тропинке в мою сторону поднимается женщина, лицо которой скрыто вуалью. Никакая вуаль не могла бы обмануть меня: каждая линия тела, каждое движение были мне знакомы — я сразу узнал Олаллу; спрятавшись за выступ скалы, я подождал, пока она взойдет на вершину, и вышел из-за скалы. Она узнала меня и остановилась, не сказав ни слова. Я тоже молчал, некоторое время мы нежно и печально смотрели друг на друга.

— Я думала, что вы уехали,—сказала она наконец.— Единственное, что вы можете сделать для меня,— это уехать. Только об этом я и просила вас. А вы все еще здесь. Разве вы не знаете, что каждый день, проведенный вами здесь, стократ увеличивает смертельную опасность, которая грозит не только вам, но и моей семье. В горах прошел слух, что вы меня полюбили,— этого нам не простят.

Я понял, что она знает об опасности, и это немного успокоило меня.

— Олалла,— сказал я,— я готов ехать сегодня, сейчас, сию минуту, но не один.

Она отступила на шаг и опустилась перед распятием на колени, я стоял подле и смотрел то на нее — живое воплощение кающейся грешницы,— то на предмет ее поклонения — грубую фигуру Спасителя с торчащими ребрами и ярко раскрашенными ранами и лицом. Молчание нарушали только крики больших птиц, круживших вокруг вершины в удивлении и тревоге. Олалла поднялась на ноги, повернулась ко мне; не снимая руки с креста, подняла вуаль и посмотрела на меня — лицо у нее было бледное и печальное.

— Видите, моя рука на кресте,— проговорила она.— Падре сказал, что вы не христианин, но попытайтесь взглянуть на Спасителя моими глазами, вглядитесь в его лицо. Мы такие же, каким был он, на всех нас вина первородного греха, и мы должны нести свой крест, должны искупить прошлую вину, хотя бы и не нашу. Ведь во всех нас, и даже во мне, есть искра божия. Подобно ему, мы должны потерпеть, пока утро не возвестит освобождения. Позвольте мне пройти мой путь в одиночестве, только так я буду менее всего одинока, со мной будет он, друг всех страждущих. Я тогда буду истинно счастлива, когда скажу прости земному счастию и до дна изопью предназначенную мне чашу страданий.

Я взглянул на распятие, и, хотя я не люблю идолов, а это грубое изображение бога, вырезанное рукой вульгарного подражателя, было неприятно мне, истинный его смысл все-таки не ускользнул от меня. Лицо искажено смертной мукой, но вокруг него сияет нимб славы, напоминая, что искупительная жертва принесена добровольно. Распятие стояло здесь, венчая вершину, как стоит на других дорогах множество таких же распятий, тщетно взывая к прохожим. Стояло как символ горьких и благородных истин: что наслаждение преходяще и не оно — высшая цель, что сильные духом идут тернистым путем страданий, что у человека есть долг, а испытания только закаляют его. Я повернулся и, не сказав ни слова, пошел вниз; когда я обернулся в последний раз перед тем, как лес скрыл от меня распятие, Олалла все еще смотрела мне вслед, не снимая руки с креста.

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА

Посвящается Катарине де Маттос

Храните нерушимость этих уз —
С ветрами, с вереском незыблем наш союз.
Вдали от родины мы знаем, что для нас
Цветет на севере душистый дрок сейчас.

ИСТОРИЯ ДВЕРИ

Мистер Аттерсон, нотариус, чье суровое лицо никогда не освещала улыбка, был замкнутым человеком, немногословным и неловким в обществе, сухопарым, пыльным, скучным — и все-таки очень симпатичным. В кругу друзей и особенно когда вино ему нравилось, в его глазах начинал теплиться огонек мягкой человечности, которая не находила доступа в его речь; зато она говорила не только в этих безмолвных средоточиях послеобеденного благодушия, но и в его делах, причем куда чаще и громче. Он был строг с собой: когда обедал в одиночестве, то, укрощая вожделение к тонким винам, пил джин и, горячо любя драматическое искусство, более двадцати лет не переступал порога театра. Однако к слабостям ближних он проявлял достохвальную снисходительность, порой с легкой завистью дивился буйному жизнелюбию, крывшемуся в их грехах, а когда для них наступал час расплаты, предпочитал помогать, а не порицать.

— Я склонен к каиновой ереси,— говаривал он со скрытой усмешкой.— Я не мешаю брату моему искать погибели, которая ему по вкусу.

А потому судьба часто судила ему быть последним порядочным знакомым многих опустившихся людей и

последним добрым влиянием в их жизни. И когда они к нему приходили, он держался с ними точно так же, как прежде.

Без сомнения, мистеру Аттерсону это давалось легко, так как он всегда был весьма сдержан, и даже дружба его, казалось, проистекала все из той же вселенской благожелательности. Скромным натурам свойственно принимать свой дружеский круг уже готовым из рук случая; этому правилу следовал и наш нотариус. Он дружил либо с родственниками, либо с давними знакомыми; его привязанность, подобно плющу, питалась временем и ничего не говорила о достоинствах того, кому она принадлежала. Именно такого рода, вероятно, были и те узы дружбы, которые связывали нотариуса с его дальним родственником мистером Ричардом Энфилдом, известным лондонским бонвиваном. Немало людей ломало голову над тем, что эти двое находят друг в друге привлекательного и какие у них могут быть общие интересы. Те, кто встречался с ними во время их воскресных прогулок, рассказывали, что шли они молча, на лицах их была написана скука и при появлении общего знакомого оба как будто испытывали значительное облегчение. Тем не менее и тот и другой очень любили эти прогулки, считали их лучшим украшением всей недели и ради них не только жертвовали другими развлечениями, но и откладывали дела.

И вот как-то раз в такое воскресенье случай привел их в некую улочку одного из деловых кварталов Лондона. Улочка эта была небольшой и, что называется, тихой, хотя в будние дни там шла бойкая торговля. Ее обитатели, по-видимому, преуспевали, и все они ревниво надеялись преуспеть еще больше, а избытки прибылей употребляли на прихорашивание; поэтому витрины по обеим ее сторонам источали приветливость, словно два ряда улыбающихся продавщиц. Даже в воскресенье, когда улочка прятала наиболее пышные свои прелести и была пустынна, все же по сравнению с окружающим убожеством она сияла, точно костер в лесу,— аккуратно выкрашенные ставни, до блеска начищенные дверные ручки и общий дух чистоты и веселости сразу привлекали и радовали взгляд случайного прохожего.

Через две двери от угла, по левой стороне, если идти к востоку, линия домов нарушалась входом во двор, и как раз там высилось массивное здание. Оно было двухэтажным, без единого окна — только дверь внизу да слепой лоб грязной стены над ней — и каждая его черта свидетельствовала о длительном и равнодушном небрежении. На облупившейся, в темных разводах двери не было ни звонка, ни молотка. Бродяги устраивались отдохнуть в ее нише и зажигали спички о ее панели, дети играли «в магазин» на ступеньках крыльца, школьник испробовал остроту своего ножика на резных завитушках, и уже много лет никто не прогонял этих случайных гостей и не старался уничтожить следы их бесчинств.

Мистер Энфилд и нотариус шли по другой стороне улочки, но, когда они поравнялись с этим зданием, первый поднял трость и указал на него.

— Вы когда-нибудь обращали внимание на эту дверь? — спросил он, а когда его спутник ответил утвердительно, добавил: — С ней связана для меня одна очень странная история.

— Неужели? — спросил мистер Аттерсон слегка изменившимся голосом.— Какая же?

— Дело было так,— начал мистер Энфилд.— Я возвращался домой откуда-то с края света часа в три по-зимнему темной ночи, и путь мой вел через кварталы, где буквально ничего не было видно, кроме фонарей. Улица за улицей, где все спят, улица за улицей, освещенные, словно для какого-нибудь торжества, и опустелые, как церковь, так что в конце концов я впал в то состояние, когда человек тревожно вслушивается в тишину и начинает мечтать о встрече с полицейским. И вдруг я увидел целых две человеческие фигуры: в восточном направлении быстрой походкой шел какой-то невысокий мужчина, а по поперечной улице опрометью бежала девочка лет девяти. На углу они, как и можно было ожидать, столкнулись, и вот тут-то произошло нечто непередаваемо мерзкое: мужчина хладнокровно наступил на упавшую девочку и даже не обернулся на ее громкие стоны. Рассказ об этом может и не произвести большого впечатления, но видеть это было непереносимо. Передо мной был не человек, а какой-то адский Джаггернаут. Я закричал, бросился вперед, схватил молодчика за ворот и потащил назад, туда, где вокруг стонущей девочки уже собрались люди. Он нисколько не смутился и не пробовал сопротивляться, но бросил на меня такой злобный взгляд, что я весь покрылся испариной, точно после долгого бега. Оказалось, что люди, толпившиеся возле де-

вочки,— ее родные, а вскоре к ним присоединился и врач, которого она бегала позвать к больному. Он объявил, что с девочкой не случилось ничего серьезного, что она только перепугалась. Тут, казалось бы, мы могли спокойно разойтись, но этому воспрепятствовало одно странное обстоятельство. Я сразу же проникся к этому молодчику ненавистью и омерзением. И родные девочки тоже, что, конечно, было только естественно. Однако меня поразил врач. Это был самый обыкновенный лекарь, бесцветный, не молодой и не старый, говорил он с сильным эдинбургским акцентом, и чувствительности в нем было не больше, чем в волынке. Так вот, сэр. С ним случилось то же, что и со всеми нами,— стоило ему взглянуть на моего пленника, как он даже бледнел от желания убить его тут же на месте. Я догадывался, что чувствует он, а он догадывался, что чувствую я, и, хотя убить негодяя, к сожалению, все-таки было нельзя, мы все же постарались его наказать. Мы сказали ему, что можем ославить его на весь Лондон,— и ославим. Если у него есть друзья или доброе имя, мы позаботимся о том, чтобы он их лишился. И все это время мы с трудом удерживали женщин, которые готовы были растерзать его, точно фурии. Мне никогда еще не приходилось видеть такой ненависти, написанной на стольких лицах, а негодяй стоял в самой середине этого кольца, сохраняя злобную и презрительную невозмутимость,— я видел, что он испуган, но держался он хладнокровно, будто сам Сатана. «Если вы решили нажиться на этой случайности,— заявил он,— то я, к сожалению, бессилен. Джентльмен, разумеется, всегда предпочтет избежать скандала. Сколько вы требуете?» В конце концов мы выжали из него сто фунтов для родных девочки; он попробовал было упереться, но понял, что может быть хуже, и пошел на попятный. Теперь оставалось только получить деньги, и знаете, куда он нас привел? К этой самой двери! Достал ключ, отпер ее, вошел и через несколько минут вынес десять гиней и чек на банк Куттса, выданный на предъявителя и подписанный фамилией, которую я не стану называть, хотя в нейто и заключена главная соль моей истории; скажу только, что фамилия эта очень известна и ее нередко можно встретить на страницах газет. Сумма была немалая, но подпись гарантировала бы и не такие деньги при условии, конечно, что была подлинной. Я не постеснялся сказать молодчику, насколько подозрительным все это выглядит: только в романах человек в четыре часа утра входит в подвальную дверь, а потом выносит чужой чек почти на сто фунтов. Но он и бровью не повел. «Не беспокойтесь,— заявил он презрительно.— Я останусь с вами, пока не откроются банки, и сам получу по чеку». После чего мы все — врач, отец девочки, наш приятель и я — отправились ко мне и просидели у меня до утра, а после завтрака всей компанией пошли в банк. Чек кассиру отдал я и сказал, что у меня есть основания считать его фальшивым. Ничуть не бывало! Подпись оказалась подлинной.

— Так-так! — заметил мистер Аттерсон.

— Я вижу, вы разделяете мой взгляд,— сказал мистер Энфилд.— Да, история скверная. Ведь этот молодчик был, несомненно, отпетый негодяй, а человек, подписавший чек,— воплощение самой высокой порядочности, пользуется большой известностью и (что только ухудшает дело) принадлежит к так называемым филантропам. По-моему, тут кроется шантаж: честный человек платит огромные деньги, чтобы какие-то его юношеские шалости не стали достоянием гласности. «Дом шантажиста» — вот как я называю теперь этот дом с дверью. Но даже и это, конечно, объясняет далеко не все! — Мистер Энфилд погрузился в задумчивость, из которой его вывел мистер Аттерсон, неожиданно спросив:

— Но вам неизвестно, там ли живет человек, подписавший чек?

— В таком-то доме? — возразил мистер Энфилд.— К тому же я прочел на чеке его адрес — какая-то площадь.

— И вы не наводили справок... о доме с дверью? — осведомился мистер Аттерсон.

— Нет. На мой взгляд, это было бы непорядочным. Я терпеть не могу расспросов: в наведении справок есть какой-то привкус Судного дня. Задать вопрос — это словно столкнуть камень с горы: вы сидите себе спокойненько на ее вершине, а камень катится вниз, увлекает за собой другие камни; какой-нибудь безобидный старикашка, которого у вас и в мыслях не было, копается у себя в садике, и все это обрушивается на него, а семье приходится менять фамилию. Нет, сэр, у меня твердое правило: чем подозрительнее выглядит дело, тем меньше я задаю вопросов.

— Превосходное правило,— согласился нотариус.

— Однако я занялся наблюдением за этим зданием,— продолжал мистер Энфилд.— Собственно говоря, его нельзя назвать жилым домом. Других дверей в нем нет, а этой, да и то лишь изредка, пользуется только наш молодчик. Во двор выходят три окна, но они расположены на втором этаже, а на первом этаже окон нет вовсе; окна эти всегда закрыты, но стекло в них протерто. Из трубы довольно часто идет дым, следовательно, в доме все-таки кто-то живет. Впрочем, подобное свидетельство нельзя считать неопровержимым, так как дома тут стоят столь тесно, что трудно сказать, где кончается одно здание и начинается другое.

Некоторое время друзья шли молча. Первым заговорил мистер Аттерсон.

— Энфилд,— сказал он,— это ваше правило превосходно.

— Да, я и сам так считаю,— ответил Энфилд.

— Тем не менее,— продолжал нотариус,— мне все-таки хотелось бы задать вам один вопрос. Я хочу спросить, как звали человека, который наступил на упавшего ребенка.

— Что же,— сказал мистер Энфилд,— не вижу причины, почему я должен это скрывать. Его фамилия Хайд.

— Гм! — отозвался мистер Аттерсон.— А как он выглядит?

— Его наружность трудно описать. Что-то в ней есть странное... что-то неприятное... попросту отвратительное. Ни один человек еще не вызывал у меня подобной гадливости, хотя я сам не понимаю, чем она объясняется. Наверное, в нем есть какое-то уродство, такое впечатление создается с первого же взгляда, хотя я не могу определить отчего. У него необычная внешность, но необычность эта какая-то неуловимая. Нет, сэр, у меня ничего не получается: я не могу описать, как он выглядит. И не потому, что забыл: он так и стоит у меня перед глазами.

Мистер Аттерсон некоторое время шел молча, что-то старательно обдумывая.

— А вы уверены, что у него был собственный ключ? — спросил он наконец.

— Право же...— начал Энфилд, даже растерявшись от изумления.

— Да, конечно,— перебил его Аттерсон.— Я понимаю, что выразился неудачно. Видите ли, я не спросил

вас об имени того, чья подпись стояла на чеке, только потому, что я его уже знаю. Дело в том, Ричард, что ваша история в какой-то мере касается и меня. Постарайтесь вспомнить, не было ли в вашем рассказе каких-либо неточностей.

— Вам следовало бы предупредить меня,— обиженно ответил мистер Энфилд,— но я был педантично точен. У молодчика был ключ. Более того, у него и сейчас есть ключ: я видел, как он им воспользовался всего несколько дней назад.

Мистер Аттерсон глубоко вздохнул, но ничего не ответил, и его спутник через мгновение прибавил:

— Вот еще один довод в пользу молчания. Мне стыдно, что я оказался таким болтуном. Обещаем друг другу никогда впредь не возвращаться к этой теме.

— С величайшей охотой,— ответил нотариус.— Совершено с вами согласен, Ричард.

ПОИСКИ МИСТЕРА ХАЙДА

В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свою холостяцкую обитель в тягостном настроении и сел обедать без всякого удовольствия. После воскресного обеда он имел обыкновение располагаться у камина с каким-нибудь сухим богословским трактатом на пюпитре, за которым и коротал время, пока часы на соседней церкви не отбивали полночь, после чего он степенно и с чувством исполненного долга отправлялся на покой. В этот вечер, однако, едва скатерть была снята со стола, мистер Аттерсон взял свечу и отправился в кабинет. Там он отпер сейф, достал из тайника документ в конверте, на котором значилось: «Завещание д-ра Джекила», и, нахмурившись, принялся его штудировать. Документ этот был написан завещателем собственноручно, так как мистер Аттерсон, хотя и хранил его у себя, в свое время наотрез отказался принять участие в его составлении; согласно воле завещателя, все имущество Генри Джекила, доктора медицины, доктора права, члена Королевского общества и т. д., переходило «его другу и благодетелю Эдварду Хайду» не только в случае его смерти, но и в случае «исчезновения или необъяснимого отсутствия означенного доктора Джекила свыше трех календарных месяцев»;

означенный Эдвард Хайд также должен был вступить во владение его имуществом без каких-либо дополнительных условий и ограничений, если не считать выплаты небольших сумм слугам доктора. Этот документ давно уже был источником мучений для нотариуса. Он оскорблял его и как юриста и как приверженца издавна сложившихся разумных традиций, для которого любое необъяснимое отклонение от общепринятых обычаев граничило с непристойностью. До сих пор его негодование питалось тем, что он ничего не знал о мистере Хайде, теперь же оно обрело новую пищу в том, что он узнал о мистере Хайде. Пока имя Хайда оставалось для него только именем, положение было достаточно скверным. Однако оно стало еще хуже, когда это имя начало облекаться омерзительными качествами и из зыбкого смутного тумана, столь долго застилавшего его взор, внезапно возник сатанинский образ.

— Мне казалось, что это простое безумие,— пробормотал нотариус, убирая ненавистный документ в сейф.— Но я начинаю опасаться, что за этим кроется какая-то позорная тайна.

Мистер Аттерсон задул свечу, надел пальто и пошел по направлению к Кавендиш-сквер, к этому средоточию медицинских светил, где жил и принимал бесчисленных пациентов его друг знаменитый доктор Лэньон.

«Если кто-нибудь и может пролить на это свет, то только Лэньон»,— решил он.

Важный дворецкий почтительно поздоровался с мистером Аттерсоном и без промедления провел его в столовую, где доктор Лэньон в одиночестве допивал послеобеденное вино. Это был добродушный краснолицый щеголеватый здоровяк с гривой рано поседевших волос, шумный и самоуверенный. При виде мистера Аттерсона он вскочил с места и поспешил к нему навстречу, сердечно протягивая ему обе руки. В этом жесте, как и во всей манере доктора, была некоторая доля театральности, однако приветливость его была неподдельна и порождало ее искреннее чувство: доктор Лэньон и мистер Аттерсон были старыми друзьями, однокашниками по школе и университету, они питали глубокое взаимное уважение и к тому же (что далеко не всегда сопутствует подобному уважению у людей, также уважающих и самих себя) очень любили общество друг друга.

Несколько минут они беседовали о том о сем, а затем нотариус перевел разговор на предмет, столь его тревоживший.

— Пожалуй, Лэньон,— сказал он,— мы с вами самые старые друзья Генри Джекила?

— Жаль, что не самые молодые! — рассмеялся доктор Лэньон.— Но, наверное, так оно и есть. Почему вы об этом упомянули? Я с ним теперь редко вижусь.

— Неужели? А я думал, что вас сближают общие интересы.

— Так оно и было,— ответил доктор.— Но вот уже десять с лишним лет, как Генри Джекил занялся нелепыми фантазиями. Он сбился с пути — я говорю о путях разума,— и, хотя я, разумеется, продолжаю интересоваться им, вот уже несколько лет я вижусь с ним чертовски редко. Подобный ненаучный вздор заставил бы даже Дамона отвернуться от Финтия,— заключил доктор, внезапно побагровев.

Эта вспышка несколько развеяла тревогу мистера Аттерсона. «Они поссорились из-за каких-то научных теорий,— подумал он, и, так как науки его нисколько не интересовали (если только речь не шла о теориях передачи права собственности), он даже с облегчением добавил про себя: — Ну, это пустяки!»

Выждав несколько секунд, чтобы доктор успел успокоиться, мистер Аттерсон наконец задал вопрос, ради которого и пришел сюда:

— А вам знаком его протеже... некий Хайд?

— Хайд? — повторил Лэньон.— Нет. В первый раз слышу. Очевидно, он появился уже после меня.

Это были единственные сведения, полученные нотариусом, и он мог сколько душе угодно размышлять над ними, ворочаясь на огромной темной кровати, пока поздняя ночь не превратилась в раннее утро. Это бдение не успокоило его лихорадочно работавшие мысли, которые блуждали по темному лабиринту неразрешимых вопросов.

Часы на церкви, расположенной в таком удобном соседстве с домом мистера Аттерсона, пробили шесть, а он все еще ломал голову над этой загадкой; вначале она представляла для него только интеллектуальный интерес, но теперь было уже затронуто, а вернее, порабощено, и его воображение. Он беспокойно ворочался на постели в тяжкой тьме своей плотно занавешенной спальни, а в его сознании, точно свиток с огненными картинами, раз-

вертывалась история, услышанная от мистера Энфилда. Он видел перед собой огромное поле фонарей ночного города, затем появлялась фигура торопливо шагающего мужчины, затем — бегущая от врача девочка, они сталкивались. Джаггернаут в человеческом облике наступал на ребенка и спокойно шел дальше, не обращая внимания на стоны бедняжки. Потом перед его умственным взором возникала спальня в богатом доме, где в постели лежал его друг доктор Джекил, грезил во сне и улыбался, но тут дверь спальни отворялась, занавески кровати откидывались, спящий просыпался, услышав оклик, и у его изголовья вырастала фигура, облеченная таинственной властью,— даже в этот глухой час он вынужден был вставать и исполнять ее веления. Эта фигура в двух своих ипостасях преследовала нотариуса всю ночь напролет; если он ненадолго забывался сном, то лишь для того, чтобы вновь ее увидеть: она еще более беззвучно кралась по затихшим домам или еще быстрее, еще стремительнее — с головокружительной быстротой — мелькала в еще более запутанных лабиринтах освещенных фонарями улиц, на каждом углу топтала девочку и ускользала прочь, не слушая ее стонов. И по-прежнему у этой фигуры не было лица, по которому он мог бы ее опознать,— даже в его снах у нее либо вовсе не было лица, либо оно расплывалось и таяло перед его глазами прежде, чем он успевал рассмотреть хоть одну черту; в конце концов в душе нотариуса родилось и окрепло необыкновенно сильное, почти непреодолимое желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Мистер Аттерсон не сомневался, что стоит ему только взглянуть на это лицо — и тайна рассеется, утратит свою загадочность, как обычно утрачивают загадочность таинственные предметы, если их хорошенько рассмотреть. Быть может, он найдет объяснение странной привязанности своего друга к этому Хайду или зависимости от него (называйте это как хотите), а быть может, поймет и причину столь необычного условия, оговоренного в завещании. Да и в любом случае на это лицо стоит посмотреть — на лицо человека, не знающего милосердия, на лицо, которое с первого мгновения возбудило в сердце флегматичного Энфилда глубокую и непреходящую ненависть.

С этих пор мистер Аттерсон начал вести наблюдение за дверью в торговой улочке. Утром, до начала занятий в конторе, днем, когда дел было много, а времени — мало, вечером под туманным ликом городской луны, при свете солнца и при свете фонарей, в часы безмолвия и в часы шумной суеты нотариус являлся на выбранный им пост.

«Как бы он ни прятался, я его увижу»,— упрямо твердил он себе.

И наконец его терпение было вознаграждено. Был ясный, сухой вечер, холодный воздух чуть покусывал щеки, улицы были чисты, как бальные залы, фонари, застывшие в неподвижном воздухе, рисовали четкие узоры света и теней. К десяти часам, когда закрылись магазины, улочка совсем опустела, и в ней воцарилась тишина, хотя вокруг все еще раздавалось глухое рычание Лондона. Даже негромкие звуки разносились очень далеко, на обоих тротуарах были ясно слышны отголоски вечерней жизни, которая текла своим чередом в стенах домов, а шарканье подошв возвещало появление прохожего задолго до того, как его можно было разглядеть. Мистер Аттерсон провел на своем посту несколько минут, как вдруг раздались приближающиеся шаги, необычные и легкие. Он столько раз обходил дозором эту улочку, что уже давно свыкся со странным впечатлением, которое производят шаги какого-то одного человека, когда они еще в отдалении внезапно возникают из общего могучего шума большого города. Однако никогда еще ничьи шаги не привлекали его внимания так резко и властно, и он скрылся под аркой ворот с суеверной уверенностью в успехе.

Шаги быстро приближались и сразу стали громче, когда прохожий свернул в улочку. Нотариус выглянул из ворот и увидел человека, с которым ему предстояло иметь дело. Он был невысок, одет очень просто, но даже на таком расстоянии нотариус почувствовал в нем что-то отталкивающее. Неизвестный направился прямо к двери, перешел мостовую наискосок, чтобы сберечь время, и на ходу вытащил из кармана ключ, как человек, возвращающийся домой. Когда он поравнялся с воротами, мистер Аттерсон сделал шаг вперед и, коснувшись его плеча, сказал:

— Мистер Хайд, если не ошибаюсь?

Мистер Хайд попятился и с шипением втянул в себя воздух. Однако его испуг был мимолетен, и хотя он не смотрел нотариусу в лицо, но ответил довольно спокойно:

— Да, меня зовут так. Что вам нужно?

— Я вижу, вы собираетесь войти сюда,— сказал нотариус.— Я старый друг доктора Джекила, мистер Аттерсон с Гонт-стрит. Вы, вероятно, слышали мое имя, и, раз уж мы так удачно встретились, я подумал, что вы разрешите мне войти с вами.

— Вам незачем заходить, доктора Джекила нет дома,— ответил мистер Хайд, продувая ключ, а потом, все еще не поднимая головы, внезапно спросил: — А как вы меня узнали?

— Прежде чем я отвечу, не окажете ли вы мне одну любезность? — сказал мистер Аттерсон.

— Извольте. А какую?

— Покажите мне свое лицо,— попросил нотариус.

Мистер Хайд, казалось, колебался, но потом, словно внезапно на что-то решившись, с вызывающим видом поднял голову. Несколько секунд они смотрели друг на друга.

— Теперь я вас всегда узнаю,— заметил мистер Аттерсон.— Это может оказаться полезным.

— Да,— ответил мистер Хайд,— пожалуй, хорошо, что мы встретились, и à propos[1] мне следует дать вам мой адрес,— и он назвал улицу в Сохо и номер дома.

«Боже великий! — ужаснулся мистер Аттерсон.— Неужели и он подумал о завещании?» — однако он сдержался и только невнятно поблагодарил за адрес.

— Ну, а теперь скажите, как вы меня узнали?— потребовал мистер Хайд.

— По описанию.

— А кто вам меня описал?

— У нас есть общие друзья.

— Общие друзья? — сипло переспросил мистер Хайд.— Кто же это?

— Например, Джекил,— ответил нотариус.

— Он вам ничего не говорил! — воскликнул мистер Хайд, гневно покраснев.— Я не ждал, что вы мне солжете.

— Пожалуйста, выбирайте выражения,— сказал мистер Аттерсон.

Мистер Хайд издал свирепый смешок и через мгновение, с немыслимой быстротой отперев дверь, уже исчез за ней.

[1] Кстати (*франц.*).

Нотариус несколько минут продолжал стоять там, где его оставил мистер Хайд, и на лице его были написаны тревога и недоумение. Затем он повернулся и медленно побрел по улице, то и дело останавливаясь и потирая рукой лоб, точно человек, не знающий, как поступить. Быть может, задача, которую он пытался решить, вообще не имела решения. Мистер Хайд был бледен и приземист, он производил впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем заметно не было, улыбался он крайне неприятно, держался с нотариусом как-то противоестественно робко и в то же время нагло, а голос у него был сиплый, тихий и прерывистый — все это говорило против него, но и все это, вместе взятое, не могло объяснить, почему мистер Аттерсон почувствовал дотоле ему неизвестное отвращение, гадливость и страх.

— Тут кроется что-то другое! — в растерянности твердил себе нотариус.— Что-то совсем другое, но я не знаю, как это определить. Боже мой, в нем нет ничего человеческого! Он более походит на троглодита. А может быть, это случай необъяснимой антипатии? Или все дело просто в том, что чернота души проглядывает сквозь тленную оболочку и страшно ее преображает? Пожалуй, именно так, да-да, мой бедный, бедный Гарри Джекил, на лице твоего нового друга явственно видна печать Сатаны.

За углом была площадь, окруженная старинными красивыми особняками, большинство которых, утратив былое величие, сдавалось поквартирно людям самых разных профессий и положений — граверам, архитекторам, адвокатам с сомнительной репутацией и темным дельцам. Но один из этих домов, второй от угла, по-прежнему оставался особняком и дышал богатством и комфортом; перед ним-то, хотя он был погружен во мрак, если не считать полукруглого окна над дверью, и остановился теперь мистер Аттерсон. Он постучал. Дверь открыл старый прекрасно одетый слуга.

— Доктор Джекил дома, Пул? — осведомился нотариус.

— Сейчас узнаю, мистер Аттерсон,— ответил Пул, впуская гостя в большую уютную прихожую с низким потолком и каменным полом, где (точно в помещичьем доме) пылал большой камин, а у стен стояли дорогие дубовые шкафы и горки.

— Вы подождете тут у огонька, сэр, или зажечь лампу в столовой?

— Благодарю вас, я подожду тут,— ответил нотариус и оперся о высокую каминную решетку. Прихожая, в которой он теперь остался один, была любимым детищем его друга, доктора Джекила, и сам Аттерсон не раз называл ее самой приятной комнатой в Лондоне. Но в этот вечер по его жилам струился холод, повсюду ему чудилось лицо Хайда, он испытывал (большая для него редкость) гнетущее отвращение к жизни; его смятенному духу чудилась зловещая угроза в отблесках огня, игравших на полированных шкафах, в тревожном трепете теней на потолке. Он со стыдом заметил, что испытал большое облегчение, когда в прихожую вернулся Пул. Дворецкий сообщил, что доктор Джекил куда-то ушел.

— Я видел, Пул, как мистер Хайд входил в дверь бывшей секционной,— сказал нотариус.— Это ничего? Раз доктора Джекила нет дома...

— Это ничего, сэр,— ответил слуга.— У мистера Хайда есть свой ключ.

— Ваш хозяин, по-видимому, очень доверяет этому молодому человеку, Пул,— задумчиво продолжал нотариус.

— Да, сэр, очень,— ответил Пул.— Нам всем приказано исполнять его распоряжения.

— Мне, кажется, не приходилось встречаться с мистером Хайдом здесь? — спросил Аттерсон.

— Нет, нет, сэр. Он у нас никогда не обедает,— выразительно ответил дворецкий.— По правде говоря, в доме мы его почти не видим; он всегда приходит и уходит через лабораторию.

— Что же! Доброй ночи, Пул.

— Доброй ночи, мистер Аттерсон.

И нотариус с тяжелым сердцем побрел домой. «Бедный Гарри Джекил! — думал он.— Боюсь, над ним нависла беда! В молодости он вел бурную жизнь— конечно, это было давно, но божеские законы не имеют срока давности. Да-да, конечно, это так: тень какого-то старинного греха, язва скрытого позора, кара, настигшая его через много лет после того, как проступок изгладился из памяти, а любовь к себе нашла ему извинение». Испугавшись этой мысли, нотариус задумался

над собственным прошлым и начал рыться во всех уголках памяти, полный страха, что оттуда, точно чертик из коробочки, вдруг выпрыгнет какая-нибудь бесчестная проделка. Его прошлое было почти безупречно — немного нашлось бы людей, которые имели бы право с большей уверенностью перечитать свиток своей жизни, и все же воспоминания о многих дурных поступках не раз и не два повергали его во прах, чтобы затем он мог воспрянуть, с робкой и смиренной благодарностью припомнив, от скольких еще дурных поступков он вовремя удержался. Затем его мысли вновь обратились к прежнему предмету, и в сердце вспыхнула искра надежды. «Этим молодчиком Хайдом следовало бы заняться: у него, несомненно, есть свои тайны — черные тайны, если судить по его виду, тайны, по сравнению с которыми худшие грехи бедняги Джекила покажутся солнечным светом. Так больше продолжаться не может. Я холодею при одной мысли, что эта тварь вороовато подкрадывается к постели Гарри. Бедный Гарри, какое пробуждение его ожидает! И какая опасность ему грозит — ведь если этот Хайд проведает про завещание, ему, быть может, захочется поскорее получить свое наследство! Да-да, мне следует вмешаться... Только бы Джекил позволил мне вмешаться,— добавил он.— Только бы он позволил». Ибо перед его умственным взором вновь, словно огненный транспарант, вспыхнули странные условия этого завещания.

ДОКТОР ДЖЕКИЛ БЫЛ СПОКОЕН

По счастливому стечению обстоятельств две недели спустя доктор Джекил дал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек шесть старых друзей — людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного — он далеко не в первый раз уходил из гостей позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже

покидали его кров; многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе, нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джекил не был исключением из этого правила, и теперь, когда он расположился по другую сторону камина — крупный, хорошо сложенный, моложавый мужчина лет пятидесяти, с лицом, быть может, не совсем открытым, но, бесспорно, умным и добрым,— вы легко заключили бы по его взгляду, что он питает к мистеру Аттерсону самую теплую привязанность.

— Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джекил,— сказал нотариус.— О вашем завещании.

Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что тема эта доктору неприятна, однако он ответил нотариусу с веселой непринужденностью.

— Мой бедный Аттерсон! — воскликнул он.— На этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Если, конечно, не считать этого упрямого педанта Лэньона, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. О, я знаю, что он превосходный человек— не хмурьтесь, пожалуйста. Да, превосходный, и я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще; но это не мешает ему быть упрямым педантом — невежественным, надутым педантом! Я ни в ком так не разочаровывался, как в Лэньоне.

— Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным,— продолжал мистер Аттерсон, безжалостно игнорируя попытку доктора переменить разговор.

— Мое завещание? Да, конечно, знаю,— ответил доктор с некоторой резкостью.— Вы мне это уже говорили.

— Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз,— продолжал нотариус.— Мне стало кое-что известно про Хайда.

По крупному красивому лицу доктора Джекила разлилась бледность, его глаза потемнели.

— Я не желаю больше ничего слушать,— сказал он.— Мне кажется, мы согласились не обсуждать этого вопроса.

— Но то, что я слышал, отвратительно.

— Это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении,— сбивчиво ответил доктор.— Оно крайне щекотливо, Аттерсон, крайне щекотливо и странно, очень странно. Это один из тех случаев, когда словами делу не поможешь.

— Джекил,— сказал Аттерсон,— вы знаете меня. Знаете, что на меня можно положиться. Доверьтесь мне, и я не сомневаюсь, что сумею вам помочь.

— Мой дорогой Аттерсон,— сказал доктор.— Вы очень добры, очень, и я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я верю вам безусловно и полагаюсь на вас больше, чем на кого-нибудь еще, больше, чем на себя, но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется, и дело обстоит далеко не так плохо; и, чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь: стоит мне захотеть, и я легко и навсегда избавлюсь от мистера Хайда. Даю вам слово и еще раз от всей души благодарю вас. Но я должен сказать вам кое-что, Аттерсон (и надеюсь, вы поймете меня правильно): это — мое частное дело, и я прошу вас не вмешиваться.

Аттерсон некоторое время размышлял, глядя на огонь.

— Разумеется, это ваше право,— наконец сказал он, вставая.

— Ну, раз уж мы заговорили об этом, и, надеюсь, в последний раз,— сказал доктор,— мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. Я знаю, что вы его видели — он мне об этом рассказывал,— и боюсь, он был с вами груб. Однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке; если меня не станет, то прошу вас, Аттерсон, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, знай вы все, а ваше обещание снимет камень с моей души.

— Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию,— сказал Аттерсон.

— Об этом я не прошу,—грустно произнес Джекил, положив руку на плечо нотариуса.— Я прошу только о справедливости; я только прошу вас помочь ему, ради меня, когда меня не станет.

Аттерсон не мог удержаться от глубокого вздоха.

— Хорошо,—сказал он.—Я обещаю.

УБИЙСТВО КЭРЬЮ

Одиннадцать месяцев спустя, в октябре 18... года, Лондон был потрясен неслыханно зверским преступлением, которое наделало особенно много шума, так как жертвой оказался человек, занимавший высокое положение. Те немногие подробности, которые были известны, производили ошеломляющее впечатление. Служанка, остававшаяся одна в доме неподалеку от реки, поднялась в одиннадцатом часу к себе в комнату, намереваясь лечь спать. Хотя под утро город окутал туман, вечер был ясным, и проулок, куда выходило окно ее комнаты, ярко освещала полная луна. По-видимому, служанка была романтической натурой: во всяком случае, она села на свой сундучок, стоявший у самого окна, и предалась мечтам. Ни разу в жизни (со слезами повторяла она, когда рассказывала о случившемся), ни разу в жизни не испытывала она такого умиротворения, такой благожелательности ко всем людям и ко всему миру. Вскоре она заметила, что к их дому приближается пожилой и очень красивый джентльмен с белоснежными волосами, а навстречу ему идет другой, низенький джентльмен, на которого она сперва не обратила никакого внимания. Когда они встретились (это произошло почти под самым окном служанки), пожилой джентльмен поклонился и весьма учтиво обратился к другому прохожему. Видимо, речь шла о каком-то пустяке — судя по его жесту, можно было заключить, что он просто спрашивает дорогу, однако, когда он заговорил, на его лицо упал лунный свет, и девушка залюбовалась им — такой чистой и старомодной добротой оно дышало, причем эта доброта сочеталась с чем-то более высоким, говорившим о заслуженном душевном мире. Тут она взглянула на второго прохожего и, к своему удивлению, узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды приходил к ее хозяину и к которому она сразу же прониклась живейшей неприязнью. В руках он держал тяжелую трость, которой все время поигрывал; он не ответил ни слова и, казалось, слушал с плохо скрытым раздражением. Внезапно он пришел в дикую ярость — затопал ногами, взмахнул тростью и вообще повел себя, по словам служанки, как буйнопомешанный. Почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайд,

словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьяньей злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов — служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой, и от ужаса лишилась чувств.

Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи. Убийца давно скрылся, но невообразимо изуродованное тело его жертвы лежало на мостовой. Трость, послужившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам — с такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один расщепившийся конец скатился в сточную канаву, а другой, без сомнения, унес убийца. В карманах жертвы были найдены кошелек и золотые часы, но никаких визитных карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, который несчастный, возможно, нес на почту и который был адресован мистеру Аттерсону.

Письмо доставили нотариусу на следующее утро, когда он еще лежал в постели. Едва он увидел конверт и услышал о случившемся, его лицо стало очень озабоченным,

— Я ничего не скажу, пока не увижу тела,— объявил он.— Все это может принять весьма серьезный оборот. Будьте любезны обождать, пока я оденусь.

Все так же хмурясь, он наскоро позавтракал и поехал в полицейский участок, куда увезли тело. Взглянув на убитого, он сразу же кивнул.

— Да,— сказал он.— Я его узнаю. Должен с прискорбием сообщить вам, что это сэр Дэнверс Кэрью.

— Боже великий! — воскликнул полицейский.— Неужели, сэр? — В его глазах вспыхнуло профессиональное честолюбие.— Это наделает много шума,— заметил он.— Может быть, вам известен убийца? — Тут он кратко сообщил суть рассказа служанки и показал нотариусу обломок трости.

Когда мистер Аттерсон услышал имя Хайда, у него сжалось сердце, но при виде трости он уже не мог долее сомневаться: хотя она была сломана и расщеплена, он узнал в ней палку, которую много лет назад сам подарил Генри Джекилу.

— Этот мистер Хайд невысок ростом? — спросил он.

— Совсем карлик и необыкновенно злобный — так утверждает служанка,— ответил полицейский.

Мистер Аттерсон задумался, а потом поднял голову и сказал:

— Если вы поедете со мной, я думаю, мне удастся указать вам его дом.

Было уже около девяти часов утра, и город окутывал первый осенний туман. Небо было скрыто непроницаемым шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и крутил эти колышущиеся пары, и пока кеб медленно полз по улицам, перед глазами мистера Аттерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек: то вокруг смыкалась мгла уходящего вечера, то ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара, то туман на мгновение рассеивался совсем и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Сохо с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном и тягостном вторжении тьмы,— этот район, как казалось мистеру Аттерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. Кроме того, нотариуса одолевали самые мрачные мысли, и, когда он взглядывал на своего спутника, его вдруг охватывал тот страх перед законом и представителями закона, который по временам овладевает даже самыми честными людьми.

Когда кеб был уже близок к цели, туман немного разошелся, и взгляду мистера Аттерсона представилась жалкая улочка, большой кабак, французская харчевня, самого низкого разбора лавка, где торговали горячим за пенс и салатами за два пенса, множество детей в лохмотьях, жмущихся по подъездам, и множество женщин самых разных национальностей, выходящих из дверей с ключом в руке, чтобы пропустить стаканчик с утра. Затем бурый, точно глина, туман вновь сомкнулся и скрыл от него окружающее убожество. Так вот где жил любимец Генри Джекила, человек, которому предстояло унаследовать четверть миллиона фунтов!

Дверь им отперла старуха с серебряными волосами и лицом желтым, как слоновая кость. Злобность этого лица прикрывалась маской лицемерия, но манеры ее не

оставляли желать ничего лучшего. Да, ответила она, мистер Хайд проживает здесь, но его нет дома; он вернулся поздно ночью, но ушел, не пробыв тут и часа; нет, это ее не удивило: он всегда приходил и уходил в самое неурочное время и часто пропадал надолго; например, вчера он явился после почти двухмесячного отсутствия.

— Прекрасно. В таком случае проводите нас в его комнату,— сказал нотариус и, когда старуха объявила, что никак не может исполнить его просьбу, прибавил: — Вам следует узнать, кто со мной. Это инспектор Ньюкомен из Скотленд-Ярда.

Лицо старухи вспыхнуло злобной радостью.

— А! — сказала она.— Попался, голубчик! Что он натворил?

Мистер Аттерсон и инспектор обменялись взглядом.

— Он, по-видимому, отнюдь не пользуется всеобщей любовью,— заметил инспектор.— А теперь, моя милая, покажите-ка нам, что тут и где.

Во всем доме, где не было никого, кроме старухи, мистер Хайд пользовался только двумя комнатами, зато они были обставлены со вкусом и всевозможной роскошью. В стенном шкафу стояли ряды винных бутылок, посуда была серебряной, столовое белье очень изящным; на стене висела хорошая картина — подарок Генри Джекила, решил мистер Аттерсон, знатока и любителя живописи; ковры были пушистыми и красивыми. Однако теперь в комнате царил величайший беспорядок, словно совсем недавно кто-то торопливо ее обыскивал: на полу была раскидана одежда с вывернутыми карманами, ящики были выдвинуты, а в камине высилась пирамидка серого пепла, как будто там жгли множество бумаг. Из этой кучки золы инспектор извлек обуглившийся корешок зеленой чековой книжки, который не поддался действию огня; за дверью они нашли второй обломок трости, и инспектор очень обрадовался, так как теперь уже не оставалось никаких сомнений в личности убийцы. А когда они посетили банк и узнали, что на счету последнего лежит несколько тысяч фунтов, инспектор даже руки потер от удовольствия.

— Уж поверьте, сэр,— объявил он мистеру Аттерсону,— теперь он от меня не уйдет! Он совсем голову потерял от страха, иначе он унес бы палку, а главное, ни

за что не стал бы жечь чековую книжку. Ведь деньги для него — сама жизнь. Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет.

Однако описать приметы мистера Хайда оказалось не так-то просто: у него почти не было знакомых — даже хозяин служанки видел его всего два раза, не удалось разыскать никаких его родных, он никогда не фотографировался, а те немногие, кто знал его в лицо, описывали его по-разному, как обычно бывает в подобных случаях. Они сходились только в одном: у всех, кто его видел, оставалось ощущение какого-то уродства, хотя никто не мог сказать, какого именно.

ЭПИЗОД С ПИСЬМОМ

День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон оказался наконец у двери доктора Джекила. Ему открыл Пул и немедленно проводил его через черный ход и двор, некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, но, питая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон, но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный; кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшаяся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница вела к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Аттерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами; кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол; три пыльных окна, забранных железной решеткой, выходили во двор. В камине горел огонь, лампа на каминной полке была зажжена, так как туман проникал даже в дома, а возле огня сидел доктор Джекил, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку и поздоровался с ним голосом, совсем не похожим на прежний.

— Так вот,— сказал мистер Аттерсон, едва Пул удалился,— вы слышали, что произошло?

Доктор содрогнулся всем телом.

— Газетчики кричали об этом на площади,— сказал он.— Я слышал их даже в столовой.

— Погодите,— перебил его нотариус.— Кэрью был моим клиентом, но и вы — мой клиент, и поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя?

— Аттерсон, клянусь богом! — воскликнул доктор.— Клянусь богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я отрекся от него навсегда. С этим покончено. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи; вы не знаете его так, как знаю я: он нашел себе надежное убежище, очень надежное! И — помяните мое слово — больше о нем никто никогда не услышит.

Нотариус нахмурился; ему не нравилось лихорадочное возбуждение его друга.

— Вы, по-видимому, уверены в нем,— заметил он.— И ради вас я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Ведь, если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя.

— Да, я в нем совершенно уверен,— ответил Джекил.— Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я не могу никому. Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я... я получил письмо и не знаю, следует ли передавать его полиции. Я намерен вручить его вам, Аттерсон,— я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю.

— Вероятно, вы опасаетесь, что письмо может навести на его след? — спросил нотариус.

— Нет,— ответил доктор Джекил.— Право, мне безразлично, что станет с Хайдом; я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации, на которую эта гнусная история может бросить тень.

Аттерсон задумался: он был удивлен эгоизмом своего друга и в то же время почувствовал облегчение.

— Что же,— сказал он наконец.— Покажите мне это письмо.

Письмо было написано необычным прямым почерком, в конце стояла подпись «Эдвард Хайд»; оно очень

кратко сообщало, что благодетель пишущего, доктор Джекил, которому он столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может не тревожиться о нем: у него есть верное и надежное средство спасения. Нотариус прочел письмо с некоторым облегчением, так как оно бросало на эти странные отношения гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать, и он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения.

— А конверт? — спросил он.

— Я его сжег,— ответил доктор Джекил.— Прежде чем сообразил, что я делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо принес посыльный.

— Могу я взять его с собой и принять решение утром? — спросил Аттерсон.

— Я целиком полагаюсь на ваше суждение,— ответил доктор.— Себе я больше не верю.

— Хорошо, я подумаю, что делать,— сказал нотариус.— А теперь последний вопрос: это Хайд потребовал, чтобы в ваше завещание был включен пункт об исчезновении?

Доктор, казалось, почувствовал дурноту; он крепко сжал губы и кивнул.

— Я знал это,— сказал Аттерсон.— Он намеревался убить вас. Вы чудом спаслись от гибели.

— Куда важнее другое! — угрюмо возразил доктор.— Я получил хороший урок! Бог мой, Аттерсон, какой я получил урок! — И он на мгновение закрыл лицо руками.

Уходя, нотариус задержался в прихожей, чтобы перемолвиться двумя-тремя словами с Пулом.

— Кстати,— сказал он.— Сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный?

Но Пул решительно объявил, что в этот день письма приносил только почтальон, да и то лишь одни печатные объявления.

Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо, несомненно, попало к доктору через дверь лаборатории, возможно даже, что оно было написано в кабинете, а это придавало ему совсем иную окраску, и воспользоваться им можно было лишь с большой осторожностью. Вокруг на тротуарах охрипшие мальчишки-газетчики вопили: «Специальный выпуск!

Ужасное убийство члена парламента!» Таково было надгробное напутствие его старому другу и клиенту, а если его опасения окажутся верны, то доброе имя еще одного его друга могло безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала. При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение, и хотя мистер Аттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. Конечно, прямо попросить совета было невозможно, но, может быть, решил он, его удастся получить косвенным образом.

Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина, напротив него расположился мистер Гест, его старший клерк, а между ними в надлежащем расстоянии от огня стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Аттерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункулами рдели фонари и в глухой пелене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной. Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорий собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. От мистера Геста у него почти не было секретов, а может быть, как он иногда подозревал, их не было и вовсе. Гест часто бывал по делам у доктора Джекила, он был знаком с Пулом, несомненно, слышал о том, как мистер Хайд стал своим человеком в доме, и, наверное, сделал для себя кое-какие выводы. Разве не следовало показать ему письмо, разъяснявшее тайну? А Гест, большой знаток и любитель графологии, разумеется, сочтет это вполне естественной любезностью. К тому же старший клерк отличался немалой проницательностью, и столь странное письмо, конечно, понудит его высказать какоенибудь мнение, которое, в свою очередь, может подсказать мистеру Аттерсону, как ему следует теперь поступить.

— Какой ужасный случай — я имею в виду смерть сэра Дэнверса,— сказал он.

— Да, сэр, ужасный! Он вызвал большое возмущение,— ответил Гест.— Убийца, конечно, был сумасшедшим.

— Я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет,— продолжал Аттерсон.— У меня есть один написанный им документ... это все строго между нами, так как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой — в любом случае дело оборачивается очень скверно. Но как бы то ни было, вот она. Совсем в вашем вкусе — автограф убийцы.

Глаза Геста заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма.

— Нет, сэр,— сказал он наконец.— Это писал не сумасшедший, но почерк весьма необычный.

— И, судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку также далеко не обычному,— добавил нотариус.

В эту минуту вошел слуга с запиской.

— От доктора Джекила, сэр? — осведомился клерк.— Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное, мистер Аттерсон?

— Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть?

— Только взгляну. Благодарю вас, сэр.— И клерк, положив листки рядом, принялся тщательно их сравнивать.— Благодарю вас, сэр,— повторил он затем и вернул оба листка нотариусу.— Это очень интересный автограф.

Наступило молчание, а потом мистер Аттерсон после некоторой внутренней борьбы внезапно спросил:

— Для чего вы их сравнивали, Гест?

— Видите ли, сэр,— ответил тот,— мне редко встречались такие схожие почерки, они почти одинаковы — только наклон разный.

— Любопытно,— заметил Аттерсон.

— Совершенно верно: очень любопытно.

— Лучше ничего никому не говорите про это письмо,— сказал патрон.

— Конечно, сэр, я понимаю,— ответил клерк.

Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф, где оно и осталось навсегда.

«Как! — думал он.— Генри Джекил совершает подделку ради спасения убийцы!» И кровь застыла в его жилах.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЭПИЗОД С ДОКТОРОМ ЛЭНЬОНОМ

Время шло. За поимку мистера Хайда была назначена награда в несколько тысяч фунтов, так как смерть сэра Дэнверса вызвала всеобщее негодование, но полиция не могла обнаружить никаких его следов, словно он никогда и не существовал. Правда, удалось узнать немало подробностей о его прошлом — гнусных подробностей: о его жестокости, бездушной и яростной, о его порочной жизни, о его странных знакомствах, о ненависти, которой, казалось, был пронизан самый воздух вокруг него,— но ничто не подсказывало, где он мог находиться теперь. С той минуты, когда он наутро после убийства вышел из дома в Сохо, он словно растаял, и постепенно тревога мистера Аттерсона начала утрачивать остроту, и на душе у него стало спокойнее. По его мнению, смерть сэра Дэнверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайда. Для доктора Джекила теперь, когда он освободился от этого черного влияния, началась новая жизнь. Дни его затворничества кончились, он возобновил отношения с друзьями, снова стал их желанным гостем и радушным хозяином; а если прежде он славился своей благотворительностью, то теперь не меньшую известность приобрело и его благочестие. Он вел деятельную жизнь, много времени проводил на открытом воздухе, помогал страждущим — его лицо просветлело, дышало умиротворенностью, как у человека, обретшего душевный мир в служении добру. Так продолжалось два месяца с лишним.

Восьмого января Аттерсон обедал у доктора в тесном дружеском кругу — среди приглашенных был Лэньон, и хозяин все время посматривал то на одного, то на другого, совсем как в те дни, когда они все трое были неразлучны. Двенадцатого января, а затем и четырнадцатого дверь доктора Джекила оказалась для нотариуса закрытой. «Доктор не выходит,— объявил Пул,— и никого не принимает». Пятнадцатого мистер Аттерсон сделал еще одну попытку увидеться с доктором, и снова тщетно. За последние два месяца нотариус привык видеться со своим другом чуть ли не ежедневно, и это возвращение к прежнему одиночеству подействовало на него угнетающе. На пятый день он пригласил

Геста пообедать с ним, а на шестой отправился к доктору Лэньону.

Тут его, во всяком случае, приняли, но, войдя в комнату, он был потрясен переменой в своем друге. На лице доктора Лэньона ясно читался смертный приговор. Розовые щеки побледнели, он сильно исхудал, заметно облысел и одряхлел, и все же нотариуса поразили не столько эти признаки быстрого телесного угасания, сколько выражение глаз и вся манера держаться, свидетельствовавшие, казалось, о том, что его томит какой-то неизбывный тайный ужас. Трудно было поверить, что доктор боится смерти, но именно это склонен был заподозрить мистер Аттерсон. «Да,— рассуждал нотариус,— он врач и должен понимать свое состояние, должен знать, что дни его сочтены, и у него нет сил вынести эту мысль». Однако в ответ на слова Аттерсона о том, как он плохо выглядит, Лэньон ответил, что он обречен, и сказал это твердым и спокойным голосом.

— Я перенес большое потрясение,— сказал он.— И уже не оправлюсь. Мне осталось лишь несколько недель. Что же, жизнь была приятной штукой, мне она нравилась; да, прежде она мне очень нравилась. Теперь же я думаю иногда, что, будь нам известно все, мы радовались бы, расставаясь с ней.

— Джекил тоже болен,— заметил нотариус.— Вы его видели?

Лицо Лэньона исказилось, и он поднял дрожащую руку.

— Я не желаю больше ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем,— сказал он громким, прерывающимся голосом.— Я порвал с этим человеком и прошу вас избавить меня от упоминаний о том, кого я считаю умершим.

— Так-так! — произнес мистер Аттерсон и после долгой паузы спросил: — Не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы ведь все трое — старые друзья, Лэньон, и новых уже не заведем.

— Помочь ничем нельзя,— ответил Лэньон.— Спросите хоть у него самого.

— Он отказывается меня видеть,— сказал нотариус.

— Это меня не удивляет. Когда-нибудь после моей смерти, Аттерсон, вы, может быть, узнаете все, что произошло. Я же ничего вам объяснить не могу. А теперь, если вы способны разговаривать о чем-нибудь другом,

то оставайтесь — я очень рад вас видеть, но если вы не в силах воздержаться от обсуждения этой проклятой темы, то, ради бога, уйдите, потому что я этого не вынесу.

Едва вернувшись домой, Аттерсон сел и написал Джекилу, спрашивая, почему тот отказывает ему от дома, и осведомляясь о причине его прискорбного разрыва с Лэньоном. На следующий день он получил длинный ответ, написанный очень трогательно, но местами непонятно и загадочно. Разрыв с Лэньоном был окончателен. «Я ни в чем не виню нашего старого друга,— писал Джекил,— но я согласен с ним: нам не следует больше встречаться. С этих пор я намерен вести уединенную жизнь — не удивляйтесь и не сомневайтесь в моей дружбе, если теперь моя дверь будет часто заперта даже для вас. Примиритесь с тем, что я должен идти моим тяжким путем. Я навлек на себя кару и страшную опасность, о которых не могу говорить. Если мой грех велик, то столь же велики и мои страдания. Я не знал, что наш мир способен вместить подобные муки и ужас, а вы, Аттерсон, можете облегчить мою судьбу только одним: не требуйте, чтобы я нарушил молчание».

Аттерсон был поражен: черное влияние Хайда исчезло, доктор вернулся к своим прежним занятиям и друзьям, лишь неделю назад все обещало ему бодрую и почтенную старость, и вдруг в один миг дружба, душевный мир, вся его жизнь оказались погубленными. Такая огромная и внезапная перемена заставляла предположить сумасшествие, однако поведение и слова Лэньона наводили на мысль о какой-то иной причине.

Неделю спустя доктор Лэньон слег, а еще через две недели скончался. Вечером после похорон, чрезвычайно его расстроивших, Аттерсон заперся у себя в кабинете и при унылом свете свечи достал конверт, адресованный ему и запечатанный печаткой его покойного друга. «Лично. Вручить только Г. Дж. Аттерсону, а в случае, если он умрет прежде меня, сжечь, не вскрывая» — таково было категорическое распоряжение на конверте, и испуганный нотариус не сразу нашел в себе силы ознакомиться с его содержимым. «Я похоронил сегодня одного друга,— думал он.— Что, если это письмо лишит меня и второго?» Затем, устыдившись этого недостойного страха, он сломал печать. В конверте оказался еще один запечатанный конверт, на котором было написано:

«Не вскрывать до смерти или исчезновения доктора Генри Джекила». Аттерсон не верил своим глазам. Но нет — и тут говорилось об исчезновении: как и в нелепом завещании, которое он уже вернул его автору, тут вновь объединялись идея исчезновения и имя Генри Джекила. Однако в завещании эту идею подсказал зловещий Хайд, и ужасный смысл ее был ясен и прост. А что подразумевал Лэньон, когда его рука писала это слово? Душеприказчик почувствовал необоримое искушение вскрыть конверт, несмотря на запрет, и найти объяснение этим тайнам, однако профессиональная честь и уважение к воле покойного друга оказались сильнее — конверт был водворен в самый укромный уголок его сейфа невскрытым.

Но одно дело — подавить любопытство и совсем другое — избавиться от него вовсе; с этого дня Аттерсон уже не искал общества второго своего друга с прежней охотой. Он думал о нем доброжелательно, но в его мыслях были смятение и страх. Он даже заходил к нему, но, пожалуй, испытывал только облегчение, когда его не принимали; пожалуй, в глубине души он предпочитал разговаривать с Пулом на пороге, где их окружали воздух и шум большого города, и не входить в дом добровольного заточения, не беседовать с уединившимся там загадочным отшельником. Пул к тому же не мог сообщить ему ничего утешительного. Доктор теперь постоянно запирался в кабинете над лабораторией и иногда даже ночевал там; он пребывал в постоянном унынии, стал очень молчалив, ничего не читал, и казалось, его что-то гнетет. Аттерсон так привык к этим неизменным сообщениям, что его визиты мало-помалу становились все более редкими.

ЭПИЗОД У ОКНА

Однажды в воскресенье, когда мистер Аттерсон, как обычно, прогуливался с мистером Энфилдом, они вновь очутились все в той же улочке и, поравнявшись с дверью, остановились посмотреть на нее.

— Во всяком случае,— сказал Энфилд,— эта история окончилась, и мы больше уже никогда не увидим мистера Хайда.

— Надеюсь, что так,— ответил Аттерсон.— Я вам не говорил, что видел его однажды и почувствовал такое же отвращение, как и вы?

— Это само собой разумеется — увидев его, не почувствовать отвращение было просто невозможно,— заметил Энфилд.— Да, кстати, каким болваном я должен был вам показаться, когда не сообразил, что это задние ворота дома доктора Джекила! Собственно, если бы не вы, я бы этого по-прежнему не знал.

— Так вы это знаете? — сказал Аттерсон.— В таком случае мы можем зайти во двор и посмотреть на окна. Откровенно говоря, бедняга Джекил меня очень тревожит, и я чувствую, что присутствие друга, даже снаружи, может ему помочь.

Во дворе было прохладно, веяло сыростью, и, хотя в небе высоко над их головами еще пылал закат, тут уже сгущались сумерки. Среднее окно было приотворено, и Аттерсон увидел, что возле него, вероятно, решив подышать свежим воздухом, сидит доктор Джекил, невыразимо печальный, словно неутешный узник.

— Как! Джекил! — воскликнул нотариус.— Надеюсь, вам лучше?

— Я очень плох, Аттерсон,— ответил доктор тоскливо,— очень плох. Благодарение богу; скоро все это должно кончиться.

— Вы слишком мало выходите на воздух,— сказал Аттерсон.— Вам бы следовало побольше гулять, разогнять кровь, как делаем мы с Энфилдом. (Мой родственник мистер Энфилд, доктор Джекил.) Вот что: берите-ка шляпу и идемте с нами.

— Вы очень любезны,— со вздохом ответил доктор.— Я был бы в восторге... Но нет, нет, нет, это невозможно, я не смею. Право же, Аттерсон, я счастлив видеть вас, это большая радость для меня. Я пригласил бы вас с мистером Энфилдом подняться ко мне, но у меня такой беспорядок...

— В таком случае,— добродушно ответил нотариус,— мы останемся внизу и будем продолжать беседовать с вами, не сходя с места.

— Именно это я и хотел предложить,— с улыбкой согласился доктор, но не успел он договорить, как улыбка исчезла с его лица и сменилась выражением такого неизбывного ужаса и отчаяния, что стоящие внизу похолодели. Окно тотчас захлопнулось, но и этого краткого

мгновения оказалось достаточно. Нотариус и мистер Энфилд повернулись и молча покинули двор. Так же молча они шли по улочке, и только когда оказались на соседней большой улице, оживленной, даже несмотря на воскресенье, мистер Аттерсон, наконец, посмотрел на своего спутника. Оба были бледны, и во взгляде, которым они обменялись, крылся страх.

— Да простит нас бог, да простит нас бог! — сказал мистер Аттерсон.

Но мистер Энфилд только мрачно кивнул и продолжал идти вперед, по-прежнему храня молчание.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Как-то вечером, когда мистер Аттерсон сидел после обеда у камина, к нему неожиданно явился Пул.

— Бог мой, что вас сюда привело, Пул? — изумленно воскликнул нотариус и, поглядев на старого слугу, добавил: — Что с вами? Доктор заболел?

— Мистер Аттерсон,— ответил дворецкий,— случилась какая-то беда.

— Садитесь, выпейте вина,— сказал нотариус.— И не спеша объясните мне, что вам нужно.

— Вы ведь знаете, сэр, привычки доктора,— ответил Пул,— как он теперь ото всех запирается. Так вот: он опять заперся в кабинете, и мне это не нравится, сэр... очень не нравится, право слово. Мистер Аттерсон, я боюсь.

— Успокойтесь, мой милый,— сказал нотариус.— Говорите яснее. Чего вы боитесь?

— Я уже неделю как боюсь,— продолжал Пул, упрямо не отвечая на вопрос.— И больше у меня сил нет терпеть.

Весь облик Пула подтверждал справедливость его слов; он и держался иначе, чем обычно, и с той минуты, как он впервые упомянул о своем страхе, он ни разу не посмотрел нотариусу в лицо. Он сидел, придерживая на колене полную рюмку, к которой даже не прикоснулся, и смотрел в пол.

— Больше сил моих нет терпеть,— повторил он.

— Успокойтесь же,— сказал нотариус.— Я вижу, Пул, что у вас есть веские основания так говорить,

вижу, что случилось что-то серьезное. Скажите же мне, в чем дело!

— Я думаю, тут произошло преступление,— хрипло ответил Пул.

— Преступление! — воскликнул нотариус раздраженно, так как он был очень испуган.— Какое преступление? О чем вы говорите?

— Не смею объяснить сэр,— ответил Пул.— Но, может, вы пойдете со мной и сами посмотрите?

Вместо ответа мистер Аттерсон встал, надел пальто и взял шляпу; при этом он с большим удивлением заметил, какое невыразимое облегчение отразилось на лице дворецкого, но еще больше нотариус удивился, когда Пул поставил рюмку на стол, так и не пригубив вина.

Была холодная, бурная, истинно мартовская ночь, бледный месяц опрокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра, а по небу неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлестал по щекам, что к ним приливала кровь. Кроме того, он, казалось, вымел с улиц прохожих — во всяком случае, мистеру Аттерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой пустынной. Пустынность эта угнетала его, ибо никогда еще он не испытывал столь настоятельной потребности видеть и ощущать вокруг себя людей — как он ни разубеждал себя, им властно владело тягостное предчувствие непоправимой беды. Площадь, когда они добрались до нее, была полна ветра и пыли, чахлые деревья за садовой решеткой хлестали друг друга ветвями. Дворецкий, который всю дорогу держался шагах в двух впереди, теперь остановился посреди мостовой и, несмотря на резкий ветер, снял шляпу и обтер лоб красным носовым платком. Как ни быстро он шел, росинки пота, которые он вытирал, были вызваны не усталостью, а душевной мукой — лицо его побелело, голос, когда он заговорил, был сиплым и прерывистым.

— Что ж, сэр,— сказал он.— Вот мы и пришли. Дай-то бог, чтобы все оказалось хорошо.

— Аминь,— ответил нотариус.

Дворецкий осторожно постучал, дверь приоткрылась на цепочке, и кто-то негромко спросил:

— Это вы, Пул?

— Да-да,— сказал Пул.— Открывайте.

Прихожая была ярко освещена, в камине пылал огонь, а возле, словно овцы, жались все слуги доктора — и мужчины и женщины. При виде мистера Аттерсона горничная истерически всхлипнула, а кухарка с воплем «Благодарение богу! Это мистер Аттерсон!» кинулась к нотариусу, будто намереваясь заключить его в объятия.

— Как так? — кисло сказал нотариус.— Почему вы все собрались здесь? Весьма прискорбный непорядок, ваш хозяин будет очень недоволен.

— Они все боятся,— сказал Пул.

Последовало глухое молчание, никто не возразил дворецкому, и только горничная, уже не сдерживаясь больше, зарыдала в голос.

— Помолчите-ка! — прикрикнул на нее Пул со свирепостью, показывавшей, насколько были расстроены его собственные нервы; более того, когда столь внезапно раздалось рыдание девушки, все вздрогнули и повернулись к двери, ведущей в комнаты, с таким выражением, словно ожидали чего-то ужасного.

— Ну-ка, подай мне свечу,— продолжал дворецкий, обращаясь к кухонному мальчишке,— и мы сейчас же со всем этим покончим.

После этого он почтительно попросил мистера Аттерсона следовать за ним и через черный ход вывел его во двор.

— А теперь, сэр,— сказал он,— идите тихонько: я хочу, чтобы вы слышали, но чтобы вас не слышали. И вот что еще, сэр: если он вдруг пригласит вас войти, вы не входите.

Нервы мистера Аттерсона при этом неожиданном заключении так дернулись, что он чуть было не потерял равновесия; однако он собрался с духом, последовал за дворецким в лабораторию и, пройдя через анатомический театр, по-прежнему заставленный ящиками и химической посудой, приблизился к лестнице. Тут Пул сделал ему знак остановиться и слушать, а сам, поставив свечу на пол и сделав над собой видимое усилие, поднялся по ступеням и неуверенно постучал в дверь, обитую красным сукном.

— Сэр, вас хочет видеть мистер Аттерсон,— сказал он громко и снова судорожно махнул нотариусу, приглашая его слушать хорошенько.

Из-за двери донесся голос.

— Скажите ему, что я никого не принимаю,— произнес он жалобно и раздраженно.

— Слушаю, сэр,— отозвался Пул почти торжествующим тоном и, взяв свечу, вывел мистера Аттерсона во двор, а оттуда направился с ним в большую кухню,— огонь в большой плите был погашен, и по полу сновали тараканы.

— Сэр,— спросил он, глядя мистеру Аттерсону прямо в глаза,— это был голос моего хозяина?

— Он очень изменился,— ответил нотариус, побледнев, но не отводя взгляда.

— Изменился? Еще бы! — сказал дворецкий.— Неужто, прослужив здесь двадцать лет, я не узнал бы голоса хозяина? Нет, сэр. Хозяина убили; его убили восемь дней назад, когда мы услышали, как он вдруг воззвал к богу; а что теперь там вместо него и почему оно там остается... это вопиет к небесам, мистер Аттерсон!

— Вы рассказываете странные вещи, Пул; это какая-то нелепость, любезный,— ответил мистер Аттерсон, прикусывая палец.— Предположим, произошло то, что вы предполагаете — предположим, доктор Джекил был... ну, допустим... убит. Так зачем убийце оставаться там? Этого не может быть. Это противоречит здравому смыслу.

— Вас трудно убедить, мистер Аттерсон, но все равно я вам докажу! — ответил Пул.— Всю эту неделю, вот послушайте, он... оно... ну, то, что поселилось в кабинете, день и ночь требует какое-то лекарство и никак не найдет того, что ему нужно. Раньше он — хозяин то есть — имел привычку писать на листке, что ему было нужно, и выбрасывать листок на лестницу. Так вот, всю эту неделю мы ничего, кроме листков, не видели — ничего, только листки да закрытую дверь; даже еду оставляли на лестнице, чтобы никто не видел, как ее заберут в кабинет. Так вот, сэр, каждый день по два, по три раза на дню только и были, что приказы да жалобы, и я обегал всех лондонских аптекарей. Чуть я принесу это снадобье, так тотчас нахожу еще листок с распоряжением вернуть его аптекарю,— дескать, оно с примесями,— и обратиться еще к одной фирме. Очень там это снадобье нужно, сэр, а уж для чего — неизвестно.

— А у вас сохранились эти листки? — спросил мистер Аттерсон.

Пул пошарил по карманам и вытащил скомканную записку, которую нотариус, нагнувшись поближе к свече, начал внимательно разглядывать. Содержание ее было таково: «Доктор Джекил с почтением заверяет фирму Мау, что последний образчик содержит примеси и совершенно непригоден для его целей. В 18... году доктор Джекил приобрел у их фирмы большую партию этого препарата. Теперь он просит со всем тщанием проверить, не осталось ли у них препарата точно такого же состава, каковой и просит выслать ему немедленно. Цена не имеет значения. Доктору Джекилу крайне важно получить этот препарат». До этой фразы тон письма был достаточно деловым, но тут, как свидетельствовали чернильные брызги, пишущий уже не мог совладать со своим волнением. «Ради всего святого,— добавлял он,— разыщите для меня старый препарат!»

— Странное письмо,— задумчиво произнес мистер Аттерсон и тут же резко спросил: — А почему оно вскрыто?

— Приказчик у Мау очень рассердился, сэр, и швырнул его мне прямо в лицо,— ответил Пул.

— Это ведь почерк доктора, вы видите? — продолжал нотариус.

— Похож-то он похож,— угрюмо согласился дворецкий и вдруг сказал совсем другим голосом: — Только что толку от почерка? Я же его самого видел!

— Видели его? — повторил мистер Аттерсон.— И что же?

— А вот что! — ответил Пул.— Было это так: я вошел в лабораторию из сада. А он, наверное, прокрался туда искать это свое снадобье, потому что дверь кабинета была открыта, а он возился среди ящиков в дальнем конце залы. Он поднял голову, когда я вошел, взвизгнул и кинулся вверх по лестнице в кабинет. Я и видел-то его одну минуту, сэр, но волосы у меня все равно стали дыбом, что твои перья. Сэр, если это был мой хозяин, то почему у него на лице была маска? Если это был мой хозяин, почему он завизжал, как крыса, и убежал от меня? Я ведь много лет ему служил! И еще...— Дворецкий умолк и провел рукой по лицу.

— Все это очень странно,— сказал мистер Аттерсон,— но я, кажется, догадываюсь, в чем дело. Совершенно ясно, Пул, что ваш хозяин стал жертвой одной из тех болезней, которые не только причиняют человеку мучительные страдания, но и обезображивают его. Вот, наверное, почему изменился его голос. Вот почему он стал носить маску и отказывается видеть своих друзей. Вот почему он так стремится отыскать это лекарство, с помощью которого несчастный надеется исцелиться — дай бог, чтобы надежда его не обманула! Вот что я думаю, Пул. Это очень печально, даже ужасно, но, во всяком случае, понятно и естественно, все объясняет и избавляет нас от излишних тревог.

— Сэр,— сказал дворецкий, чье бледное лицо пошло мучнистыми пятнами,— это была какая-то тварь, а не мой хозяин, я хоть присягнуть готов. Мой хозяин,— тут он оглянулся и перешел на шепот,— мой хозяин высок ростом и хорошо сложен, а это был почти карлик...

Аттерсон попробовал возражать, но Пул перебил его.

— Ах, сэр! — воскликнул он.— Что ж, по-вашему, я не узнаю хозяина, прослужив у него двадцать лет? Что же, по-вашему, я не знаю, до какого места достигает его голова в двери кабинета, где я видел его каждое утро чуть ли не всю мою жизнь? Нет, сэр, этот в маске не был доктором Джекилом. Одному богу известно, что это была за тварь, но это был не доктор Джекил; и я знаю, что произошло убийство.

— Пул,— сказал нотариус,— раз вы утверждаете подобные вещи, я обязан удостовериться, что вы ошибаетесь. Мне очень не хочется идти наперекор желаниям вашего хозяина (а это странное письмо как будто свидетельствует, что он еще жив), но я считаю, что мой долг — взломать эту дверь.

— И правильно, мистер Аттерсон! — вскричал дворецкий.

— Однако возникает новый вопрос,— продолжал Аттерсон.— Кто это сделает?

— Мы с вами,— мужественно ответил дворецкий.

— Прекрасно сказано,— воскликнул нотариус.— И чем бы это ни кончилось, я позабочусь, чтобы вы никак не пострадали.

— В лаборатории есть топор,— продолжал Пул,— а вы, сэр, возьмите кочергу.

Нотариус поднял это нехитрое, но тяжелое оружие и взвесил его в руке.

— А вы знаете, Пул,— сказал он, глядя на дворецкого,— что мы с вами намерены поставить себя в довольно опасное положение?

— А как же, сэр! Понятное дело,— ответил дворецкий.

— В таком случае нам следует быть друг с другом откровенными,— заметил нотариус.— Мы оба говорим не все, что думаем, так выскажемся начистоту. Вы узнали эту замаскированную фигуру?

— Ну, сэр, эта тварь бежала так быстро, да еще сгибаясь чуть не пополам, что сказать точно я не могу. Но если вы хотели спросить, был ли это мистер Хайд, так я думаю, что да. Видите ли, и сложение такое, и проворность, да и кто еще мог войти в лабораторию с улицы? Вы ведь не забыли, сэр, что у него был ключ, когда случилось то убийство. И мало того! Я не знаю, мистер Аттерсон, вы этого мистера Хайда встречали?

— Да,— ответил нотариус.— Я однажды беседовал с ним.

— Ну, тогда вы, как и все мы, наверное, замечали, что есть в нем какая-то странность... отчего человеку не по себе становится... не знаю, как бы выразиться яснее, сэр,— вроде как сразу мороз до костей пробирает.

— Признаюсь, и я испытал нечто подобное,— сказал мистер Аттерсон.

— Так вот, сэр,— продолжал Пул,— когда эта тварь в маске запрыгала, точно обезьяна, среди ящиков и кинулась в кабинет, я весь оледенел. Конечно, я знаю, что это не доказательство для суда, мистер Аттерсон, настолько-то и я учен. Но что человек чувствует, то он чувствует: я хоть на Библии поклянусь, что это был мистер Хайд.

— Да-да,— ответил нотариус.— Я сам этого опасался. Боюсь, эту связь породило зло, и сама она могла породить только зло. Да, я верю вам, я верю, что бедный Гарри убит, и я верю, что его убийца (для чего, только богу ведомо) все еще прячется в комнате своей жертвы. Ну, да будет нашим делом отмщение. Позовите Брэдшоу.

Лакей тотчас явился, бледный и испуганный.

— Возьмите себя в руки, Брэдшоу,— сказал нотариус.— Я понимаю, что эта неопределенность измучила

вас всех; но теперь мы намерены положить ей конец. Мы с Пулом собираемся взломать дверь кабинета. Если все благополучно, ответственность я возьму на себя. Но если действительно что-то случилось, злодей может попытаться спастись через черный ход, поэтому вы с мальчиком возьмите по крепкой палке и сторожите его на улице у двери лаборатории. Мы дадим вам десять минут, чтобы вы успели добраться до своего поста.

Брэдшоу вышел, а нотариус поглядел на свои часы.

— А мы с вами, Пул, отправимся на свой пост,— сказал он и, взяв кочергу под мышку, вышел во двор. Луну затянули тучи, и стало совсем темно. Ветер, проникавший в глубокий колодец двора лишь отдельными порывами, колебал и почти гасил огонек свечи, пока они не укрылись в лаборатории, где бесшумно опустились на стулья и принялись молча ждать. Вокруг глухо гудел Лондон, но вблизи них тишину нарушал только звук шагов в кабинете.

— Оно расхаживает так все дни напролет, сэр,— прошептал Пул.— Да и почти всю ночь тоже. Перестает только, когда приносят от аптекаря новый образчик. Нечистая совесть — лютый враг покоя! И каждый этот шаг, сэр,— капля безвинно пролитой крови! Послушайте, послушайте, мистер Аттерсон! Внимательно послушайте и скажите мне, разве это походка доктора?

Шаги были легкие и странные — несмотря на всю их медлительность, в них была какая-то упругость, и они ничуть не походили на тяжелую поступь Генри Джекила. Аттерсон вздохнул.

— И больше ничего не бывает слышно? — спросил он.

Пул многозначительно кивнул.

— Один раз,— сказал он,— один раз я слышал, что оно плачет.

— Плачет? Как так? — воскликнул нотариус, внезапно похолодев от ужаса.

— Точно женщина или неприкаянная душа,— пояснил дворецкий.— И так у меня тяжко на сердце стало, что я сам чуть не заплакал.

Тем временем десять минут истекли. Пул извлек топор из-под вороха упаковочной соломы, свеча была водворена на ближайший к лестнице стол, чтобы освещать путь штурмующим, и они, затаив дыхание, приблизи-

лись к двери, за которой в ночной тиши все еще раздавался мерный звук терпеливых шагов.

— Джекил,— громко воскликнул Аттерсон,— я требую, чтобы вы меня впустили! — Ответа не последовало, и он продолжал: — Я честно предупреждаю вас, что мы заподозрили недоброе и я должен увидеть вас — и увижу. Если не добром, так силой, если не с вашего согласия, то взломав эту дверь!

— Аттерсон! — раздался голос за дверью.— Сжальтесь, во имя бога!

— Это не голос Джекила! — вскричал Аттерсон.— Это голос Хайда! Ломайте дверь, Пул!

Пул взмахнул топором, все здание содрогнулось от удара, а обитая красным сукном дверь прогнулась, держась на петлях и замке. Из кабинета донесся пронзительный вопль, полный животного ужаса. Вновь взвился топор, и вновь затрещали филенки, вновь дверь прогнулась, но дерево было крепким, а петли пригнаны превосходно, и первые четыре удара не достигли цели; только после пятого замок сломался, и сорванная с петель дверь упала на ковер в кабинете.

Аттерсон и дворецкий, испуганные собственной яростью и внезапно наступившей тишиной, осторожно заглянули внутрь. Перед ними был озаренный мягким светом кабинет: в камине пылал и что-то бормотал яркий огонь, пел свою тоненькую песенку чайник, на письменном столе аккуратной стопкой лежали бумаги, два-три ящика были слегка выдвинуты, столик у камина был накрыт к чаю — более мирную комнату трудно было себе представить, и, если бы не стеклянные шкафы, полные всяческих химикалий, она показалась бы самой обычной и непримечательной комнатой во всем Лондоне.

Посреди нее на полу, скорчившись, лежал человек — его тело дергалось в последних конвульсиях. Они на цыпочках приблизились, перевернули его на спину и увидели черты Эдварда Хайда. Одежда была ему велика — она пришлась бы впору человеку сложения доктора Джекила; вздутые жилы на лбу, казалось, еще хранили биение жизни, но жизнь уже угасла, и Аттерсон, заметив раздавленный флакончик в сведенных пальцах и ощутив в воздухе сильный запах горького миндаля, понял, что перед ним труп самоубийцы.

— Мы явились слишком поздно и чтобы спасти и чтобы наказать,— сказал он угрюмо.— Хайд покончил расчеты с жизнью, и нам остается только найти тело вашего хозяина.

Анатомический театр занимал почти весь первый этаж здания и освещался сверху; кабинет находился на антресолях и был обращен окнами во двор. К двери, выходившей в улочку, из театра вел коридор, а с кабинетом она сообщалась второй лестницей. Кроме нескольких темных чуланов и обширного подвала, никаких других помещений в здании больше не было. Мистер Аттерсон и дворецкий обыскали кабинет и театр самым тщательным образом. В чуланы достаточно было просто заглянуть, так как они были пусты, а судя по слою пыли на дверях, в них очень давно никто не заходил. Подвал, правда, был завален всяческим хламом, восходившим еще ко временам хирурга, предшественника Джекила, но стоило им открыть дверь, как с нее сорвался настоящий ковер паутины, возвещая, что и здесь они ничего не найдут. Все поиски Генри Джекила, живого или мертвого, оказались тщетными.

Пул, топая и прислушиваясь, прошел по каменным плитам коридора.

— Наверное, он похоронил его тут,— сказал дворецкий.

— А может быть, он бежал,— отозвался Аттерсон и подошел к двери, выходившей на улицу. Она была заперта, а на полу вблизи нее они обнаружили ключ, уже слегка покрывшийся ржавчиной.

— Им, кажется, давно не пользовались,— заметил нотариус.

— Не пользовались? — переспросил Пул.— Разве вы не видите, сэр, что ключ сломан? Словно на него наступили.

— Верно,— ответил Аттерсон.— И место излома тоже заржавело.

Они испуганно переглянулись.

— Я ничего не понимаю, Пул,— сказал нотариус.— Вернемся в кабинет.

Они молча поднялись по лестнице и, с ужасом косясь на труп, начали подробно осматривать все, что находилось в кабинете. На одном из столов можно было заме-

тить следы химического опыта: на стеклянных блюдечках лежали разной величины кучки какой-то белой соли, точно несчастному помешали докончить проводимое им исследование.

— То самое снадобье, которое я ему все время разыскивал,— сказал Пул, но тут чайник вскипел, и вода с шипеньем пролилась на огонь.

Это заставило их подойти к камину — к нему было пододвинуто покойное кресло, рядом на столике расставлен чайный прибор и даже сахар был уже положен в чашку. На каминной полке стояло несколько книг; раскрытый том лежал на столике возле чашки — это был богословский трактат, о котором Джекил не раз отзывался с большим уважением, но теперь Аттерсон с изумлением увидел, что поля испещрены кощунственными замечаниями, написанными рукой доктора.

Затем, продолжая осмотр, они подошли к вращающемуся зеркалу и посмотрели в него с невольным страхом. Однако оно было повернуто так, что они увидели только алые отблески, играющие на потолке, пламя и сотни его отражений в стеклянных дверцах шкафов и свои собственные бледные, испуганные лица.

— Это зеркало видело странные вещи, сэр,— прошептал Пул.

— Но ничего более странного, чем оно само,— так же тихо ответил нотариус.— Для чего Джекил...— при этом слове он вздрогнул и умолк, но тут же справился со своей слабостью...— Зачем оно понадобилось Джекилу?

— Кто знает! — ответил Пул.

Затем они подошли к столу. На аккуратной стопке бумаг лежал большой конверт, на котором почерком доктора было написано имя мистера Аттерсона. Нотариус распечатал его, и на пол упало несколько документов. Первым было завещание, составленное столь же необычно, как и то, которое нотариус вернул доктору за полгода до этого,— как духовная на случай смерти и как дарственная на случай исчезновения; однако вместо имени Эдварда Хайда нотариус с невыразимым удивлением прочел теперь в завещании имя Габриэля Джона Аттерсона. Он посмотрел на Пула, затем снова на документ и, наконец, перевел взгляд на мертвого преступника, распростертого на ковре.

— У меня голова кругом идет,— сказал он.— Хайд был здесь полным хозяином несколько дней, у него не было причин любить меня, он, несомненно, пришел в бешенство, обнаружив, что его лишили наследства,— и все-таки он не уничтожил завещания!

Он поднял вторую бумагу. Это оказалась короткая записка, написанная рукой доктора, сверху стояла дата.

— Ах, Пул! — вскричал нотариус.— Он был сегодня здесь, и он был жив. За столь короткий срок скрыть его тело бесследно было бы невозможно — значит, он жив, значит, он бежал! Но почему бежал! И как? Однако в таком случае можем ли мы объявить об этом самоубийстве? Мы должны быть крайне осторожны. Я предвижу, что мы можем навлечь на вашего хозяина страшную беду.

— Почему вы не прочтете записку, сэр? — спросил Пул.

— Потому что я боюсь,— мрачно ответил нотариус.— Дай-то бог, чтобы мой страх не оправдался!

Он поднес бумагу к глазам и прочел следующее:

«Дорогой Аттерсон! Когда вы будете читать эти строки, я исчезну — при каких именно обстоятельствах, я не могу предугадать, однако предчувствие и немыслимое положение, в котором я нахожусь, убеждают меня, что конец неотвратим и, вероятно, близок. В таком случае начните с письма Лэньона, которое он, если верить его словам, собирался вам вручить; если же вы пожелаете узнать больше, в таком случае обратитесь к исповеди, которую оставляет вам ваш недостойный и несчастный друг Генри Джекил».

— Тут было вложено что-то еще? — спросил Аттерсон.

— Вот, сэр,— ответил Пул и вручил ему пухлый пакет, запечатанный в нескольких местах сургучом.

Нотариус спрятал его в карман.

— Об этих бумагах нельзя говорить никому. Если ваш хозяин бежал или умер, мы можем хотя бы попробовать спасти его доброе имя. Сейчас десять часов, я должен пойти домой, чтобы без помехи прочесть эти бумаги, но я вернусь до полуночи, и тогда мы пошлем за полицией.

Они вышли, заперли дверь лаборатории, и Аттерсон, оставив слуг в прихожей у огня, отправился к себе домой, чтобы прочесть два письма, в которых содержалось объяснение тайны.

ПИСЬМО ДОКТОРА ЛЭНЬОНА

Девятого января, то есть четыре дня тому назад, я получил с вечерней почтой заказное письмо, адрес на котором был написан рукой моего коллеги и школьного товарища Генри Джекила. Это меня очень удивило, так как у нас с ним не было обыкновения переписываться, а я видел его — собственно говоря, обедал у него — только накануне; и, уж во всяком случае, я не мог понять, зачем ему понадобилось прибегать к столь официальному способу общения, как заказное письмо. Содержание письма только усилило мое недоумение. Я приведу его полностью.

«9 января 18... года.

Дорогой Лэньон, вы — один из моих старейших друзей, и хотя по временам у нас бывали разногласия из-за научных теорий, наша взаимная привязанность как будто нисколько не охладела — во всяком случае, с моей стороны. Я не могу припомнить дня, когда, скажи вы мне: «Джекил, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок»,— я не пожертвовал бы левой рукой, лишь бы помочь вам. Лэньон, в ваших силах спасти мою жизнь, мою честь, мой рассудок — если вы откажете сегодня в моей просьбе, я погиб. Подобное предисловие может навести вас на мысль, что я намерен просить вас о какой-то неблаговидной услуге. Но судите сами.

Я прошу вас освободить этот вечер от каких-либо дел — если даже вас вызовут к постели больного монарха, откажитесь! Возьмите кеб, если только ваш собственный экипаж уже не стоит у дверей, и с этим письмом (для справок) поезжайте прямо ко мне домой. Пулу, моему дворецкому, даны надлежащие указания — он будет ждать вашего приезда, уже пригласив слесаря. Затем пусть они взломают дверь моего кабинета, но вой-

дете в него вы один. Войдя, откройте стеклянный шкаф слева (помеченный буквой «Е») — если он заперт, сломайте замок и выньте со всем содержимым четвертый ящик сверху или (что то же самое) третий, считая снизу. Меня грызет страх, что в расстройстве чувств я могу дать вам неправильные указания, но даже если я ошибся, вы узнаете нужный ящик по его содержимому: порошки, небольшой флакон и толстая тетрадь. Умоляю вас, отвезите этот ящик прямо, как он есть, к себе на Кавендиш-сквер.

Это первая часть услуги, которой я от вас жду. Теперь о второй ее части. Если вы поедете ко мне немедленно после получения письма, вы, конечно, вернетесь домой задолго до полуночи, но я даю вам срок до этого часа — не только потому, что опасаюсь какой-нибудь из тех задержек, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить, но и потому, что для дальнейшего предпочтительно выбрать время, когда ваши слуги будут уже спать. Так вот: в полночь будьте у себя и непременно одни — надо, чтобы вы сами открыли дверь тому, кто явится к вам от моего имени, и передали ему ящик, который возьмете в моем кабинете. На этом ваша роль окончится, и вы заслужите мою вечную благодарность. Затем через пять минут, если вы потребуете объяснений, вы поймете всю важность этих предосторожностей и убедитесь, что, пренебреги вы хотя бы одной из них, какими бы нелепыми они вам ни казались, вы могли бы оказаться повинны в моей смерти или безумии.

Как ни уверен я, что вы свято исполните мою просьбу, сердце мое сжимается, а рука дрожит при одной только мысли о возможности обратного. Подумайте: в этот час я нахожусь далеко от дома, меня снедает черное отчаяние, которое невозможно даже вообразить, и в то же время я знаю, что стоит вам точно выполнить все мои инструкции — и мои тревоги останутся позади, как будто я читал о них в книге. Помогите мне, дорогой Лэньон, спасите

вашего друга

Г. Дж.

P. S. Я уже запечатал письмо, как вдруг мной овладел новый страх. Возможно, что почта задержится и вы получите это письмо только завтра утром. В таком случае, дорогой Лэньон, выполните мое поручение в те-

чение дня, когда вам будет удобнее, и снова ожидайте моего посланца в полночь. Но возможно, будет уже поздно, и если ночью к вам никто не явится, знайте, что вы уже никогда больше не увидите Генри Джекила».

Прочитав это письмо, я исполнился уверенности, что мой коллега сошел с ума, но тем не менее счел себя обязанным исполнить его просьбу, так как у меня не было иных доказательств его безумия. Чем меньше я понимал, что означает вся эта абракадабра, тем меньше мог судить о ее важности, а оставить без внимания столь отчаянную мольбу значило бы взять на себя тяжкую ответственность. Поэтому я тут же встал из-за стола, сел на извозчика и поехал прямо к дому Джекила. Дворецкий уже ждал меня: он тоже получил с вечерней почтой заказное письмо с инструкциями и тотчас послал за слесарем и за плотником. Они явились, когда мы еще разговаривали, и мы все вместе направились в секционную покойного доктора Денмена, откуда (как вам, несомненно, известно) легче всего попасть в кабинет Джекила. Дверь оказалась на редкость крепкой, а замок — чрезвычайно хитрым. Плотник заявил, что взломать дверь будет очень трудно и что ему придется сильно ее повредить, и слесарь тоже совсем было отчаялся. Однако он оказался искусным мастером, и через два часа замок все же поддался его усилиям. Шкаф, помеченный буквой «Е», не был заперт, я вынул ящик, приказал наложить в него соломы и обернуть его простыней, а затем поехал с ним к себе на Кавендиш-сквер.

Там я внимательно рассмотрел его содержимое. Порошки были завернуты очень аккуратно, но все же не так, как завернул бы их настоящий аптекарь, из чего я заключил, что их изготовил сам Джекил. Когда же я развернул один пакетик, то увидел какую-то кристаллическую соль белого цвета. Флакончик, которым я занялся в следующую очередь, был наполнен до половины кроваво-красной жидкостью — она обладала резким душным запахом и, насколько я мог судить, имела в своем составе фосфор и какой-то эфир. Что еще входило в нее, сказать не могу. Тетрадь была самой обыкновенной тетрадью и не содержала почти никаких записей, кроме столбиков дат. Они охватывали много лет, но я заметил, что они резко обрывались на числе более

чем годовой давности. Иногда возле даты имелось какое-нибудь примечание, чаще всего — одно слово. «Удвоено» встречалось шесть или семь раз на несколько сот записей, а где-то в самом начале с тремя восклицательными знаками значилось: «Полнейшая неудача!!!» Все это только раздразнило мое любопытство, но ничего не объяснило. Передо мной был флакончик с какой-то тинктурой, пакетики с какой-то солью и записи каких-то опытов, которые (подобно подавляющему большинству экспериментов Джекила) не дали практических результатов. Каким образом присутствие этих предметов в моем доме могло спасти или погубить честь, рассудок и жизнь моего легкомысленного коллеги? Если его посланец может явиться в один дом, то почему не в другой? И даже если на то действительно есть веская причина, то почему я должен хранить его приход в тайне? Чем больше я ломал над этим голову, тем больше убеждался, что единственное объяснение следует искать в мозговом заболевании. Поэтому, хотя я и отпустил слуг спать, но тем не менее зарядил свой старый револьвер, чтобы иметь возможность защищаться.

Не успел отзвучать над Лондоном бой часов, возвестивший полночь, как раздался чуть слышный стук дверного молотка. Я сам пошел открыть дверь и увидел, что к столбику крыльца прижимается человек очень маленького роста.

— Вы от доктора Джекила? — осведомился я.

Он судорожно кивнул, а когда я пригласил его войти, он прежде тревожно оглянулся через плечо на темную площадь. По ней в нашу сторону шел полицейский с горящим фонарем в руках, и при виде его мой посетитель вздрогнул и поспешно юркнул в прихожую.

Все это, признаюсь, мне не понравилось, и, следуя за ним в ярко освещенный кабинет, я держал руку в кармане, где лежал револьвер. Тут, наконец, мне представилась возможность рассмотреть его. Я сразу убедился, что вижу этого человека впервые. Как я уже говорил, он был невысок; меня поразило омерзительное выражение его лица, сочетание большой мышечной активности с видимой слабостью телосложения и — в первую очередь — странное, неприятное ощущение, которое возникало у меня при его приближении. Ощущение это напоминало легкий ступор и сопровождалось заметным замедлением

пульса. В первую минуту я объяснил это какой-то личной своей идиосинкразией и только подивился четкости симптомов; однако позже я пришел к заключению, что причину следует искать в самых глубинах человеческой натуры и определяется она началом более благородным, нежели ненависть.

Неизвестный (с первой же секунды своего появления вызвавший во мне чувство, которое я могу назвать только смесью любопытства и гадливости) был одет так, что, будь на его месте кто-нибудь другой, он вызвал бы смех. Его костюм, отлично сшитый из прекрасной темной материи, был ему безнадежно велик и широк — брюки болтались и были подсучены, чтобы не волочиться по земле, талия сюртука приходилась на бедра, а ворот сползал на плечи. Но, как ни странно, это нелепое одеяние отнюдь не показалось мне смешным. Напротив, в самой сущности стоявшего передо мной незнакомца чувствовалось что-то ненормальное и уродливое — что-то завораживающее, жуткое и гнусное,— и такое облачение гармонировало с этим впечатлением и усиливало его. Поэтому меня заинтересовали не только характер и натура этого человека, но и его происхождение, образ его жизни, привычки и положение в свете.

Эти наблюдения, хотя они и занимают здесь немало места, потребовали всего нескольких секунд. К тому же моего посетителя, казалось, снедало жгучее нетерпение.

— Он у вас? — вскричал он.— У вас?

Его лихорадочное возбуждение было так велико, что он даже схватил меня за плечо, словно собираясь встряхнуть.

Я отстранил его руку, почувствовав, что от этого прикосновения по моим венам прокатилась ледяная волна.

— Простите, сэр,— сказал я.— Вы забываете, что я еще не имею чести быть с вами знакомым. Будьте добры, присядьте.

И я показал ему пример, опустившись в свое кресло так, словно передо мной был пациент, и стараясь держаться естественно, насколько это позволяли поздний час, одолевавшие меня мысли и тот ужас, который внушал мне мой посетитель.

— Прошу извинения, доктор Лэньон,— ответил он достаточно учтиво.— Ваш упрек совершенно справед-

лив — мое нетерпение забежало вперед вежливости. Я пришел к вам по просьбе вашего коллеги доктора Генри Джекила в связи с весьма важным делом — насколько я понял...— Он умолк, прижав руку к горлу, и я заметил, что, несмотря на свою сдержанность, он лишь с трудом подавляет припадок истерии.— Насколько я понял... ящик...

Но тут я сжалился над мучительным нетерпением моего посетителя, а может быть, и над собственным растущим любопытством.

— Вот он, сэр,— сказал я, указывая на ящик, который стоял на полу позади стола, все еще накрытый простыней.

Незнакомец бросился к нему, но вдруг остановился и прижал руку к сердцу. Я услышал, как заскрежетали зубы его сведенных судорогой челюстей, а лицо так страшно исказилось, что я испугался за его рассудок и даже за жизнь.

— Успокойтесь,— сказал я.

Он оглянулся на меня, раздвинув губы в жалкой улыбке, и с решимостью отчаяния сдернул простыню. Увидев содержимое ящика, он испустил всхлипывающий вздох, полный такого невыразимого облегчения, что я окаменел. А затем, уже почти совсем овладев своим голосом, он спросил:

— Нет ли у вас мензурки?

Я встал с некоторым усилием и подал ему просимое.

Он поблагодарил меня кивком и улыбкой, отмерил некоторое количество красной тинктуры и добавил в нее один из порошков. Смесь, которая была сперва красноватого оттенка, по мере растворения кристаллов начала светлеть, с шипением пузыриться и выбрасывать облачка пара. Внезапно процесс этот прекратился, и в тот же момент микстура стала темно-фиолетовой, а потом этот цвет медленно сменился бледно-зеленым. Мой посетитель, внимательно следивший за этими изменениями, улыбнулся, поставил мензурку на стол, а затем пристально посмотрел на меня.

— А теперь,— сказал он,— последнее. Может быть, вы будете благоразумны? Может быть, вы послушаетесь моего совета и позволите мне уйти из вашего дома с этой мензуркой в руке и без дальнейших объяснений? Или ваше любопытство слишком сильно? Подумайте,

прежде чем ответить, ведь как вы решите, так и будет. Либо все останется, как прежде, и вы не сделаетесь ни богаче, ни мудрее, хоть мысль о том, что вы помогли человеку в минуту смертельной опасности, возможно, и обогащает душу! Либо, если вы предпочтете иное, перед вами откроются новые области знания, новые дороги к могуществу и славе — здесь, сейчас, в этой комнатке, и ваше зрение будет поражено феноменом, способным сокрушить неверие самого Сатаны.

— Сэр,— ответил я с притворным спокойствием, которого отнюдь не ощущал,— вы говорите загадками, и вас, наверное, не удивит, если я скажу, что слушаю вас без особенного доверия. Я слишком далеко зашел по пути таинственных услуг, чтобы остановиться, не увидев конца.

— Пусть так,— ответил мой посетитель.— Лэньон, вы помните нашу профессиональную клятву? Все дальнейшее считайте врачебной тайной. А теперь... теперь человек, столь долго исповедовавший самые узкие и грубо материальные взгляды, отрицавший самую возможность трансцендентной медицины, смеявшийся над теми, кто был талантливей,— смотри!

Он поднес мензурку к губам и залпом выпил ее содержимое. Раздался короткий вопль, он покачнулся, зашатался, схватился за стол, глядя перед собой налитыми кровью глазами, судорожно глотая воздух открытым ртом; и вдруг я заметил, что он меняется... становится словно больше... его лицо вдруг почернело, черты расплылись, преобразились — и в следующий миг я вскочил, отпрянул к стене и поднял руку, заслоняясь от этого видения, теряя рассудок от ужаса.

— Боже мой! — вскрикнул я и продолжал твердить «Боже мой!», ибо передо мной, бледный, измученный, ослабевший, шаря перед собой руками, точно человек, воскресший из мертвых,— передо мной стоял Генри Джекил!

Я не решаюсь доверить бумаге то, что он рассказал мне за следующий час. Я видел то, что видел, я слышал то, что слышал, и моя душа была этим растерзана; однако теперь, когда это зрелище уже не стоит перед моими глазами, я спрашиваю себя, верю ли я в то, что было,— и не знаю ответа. Моя жизнь сокрушена до самых ее корней, сон покинул меня, дни и ночи меня стережет

смертоносный ужас, и я чувствую, что дни мои сочтены и я скоро умру, и все же я умру, не веря. Но даже в мыслях я не могу без содрогания обратиться к той бездне гнуснейшей безнравственности, которую открыл мне этот человек, пусть со слезами раскаяния. Я скажу только одно, Аттерсон, но этого (если вы заставите себя поверить) будет достаточно. Тот, кто прокрался ко мне в дом в ту ночь, носил — по собственному признанию Джекила — имя Хайда, и его разыскивали по всей стране как убийцу Кэрью.

Хейсти Лэньон.

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ГЕНРИ ДЖЕКИЛА

Я родился в году 18... наследником большого состояния; кроме того, я был наделен немалыми талантами, трудолюбив от природы, высоко ставил уважение умных и благородных людей и, казалось, мог не сомневаться, что меня ждет славное и блестящее будущее. Худшим же из моих недостатков было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям, которое для многих служит источником счастья; однако я не мог примирить эти наклонности с моим настойчивым желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и почтенным. Поэтому я начал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда я достиг зрелости и мог здраво оценить пройденный мною путь и мое положение в обществе, двойная жизнь давно уже стала для меня привычной. Немало людей гордо выставляли бы напоказ те уклонения со стези добродетели, в которых я был повинен, но я, поставив перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия. Таким образом, я стал тем, чем стал, не из-за своих довольно безобидных недостатков, а из-за бескомпромиссности моих лучших стремлений — те области добра и зла, которые сливаются в противоречиво двойственную природу человека, в моей душе были разделены гораздо более резко и глубоко, чем они разделяются в душах подавляюще-

го большинства людей. Та же причина заставляла меня упорно и настойчиво размышлять над тем суровым законом жизни, который лежит в основе религии и является самым обильным источником человеческого горя. Но, несмотря на мое постоянное притворство, я не был лицемером: обе стороны моей натуры составляли подлинную мою сущность — я был самим собой и когда, отбросив сдержанность, предавался распутству и когда при свете дня усердно трудился на ниве знания или старался облегчить чужие страдания и несчастья. Направление же моих ученых занятий, тяготевших к области мистического и трансцендентного, в конце концов повлияло и пролило яркий свет на эту вечную войну двух начал, которую я ощущал в себе. Таким образом, с каждым днем обе стороны моей духовной сущности — нравственная и интеллектуальная — все больше приближали меня к открытию истины, частичное овладение которой обрекло меня на столь ужасную гибель; я понял, что человек на самом деле не един, но двоичен. Я говорю «двоичен» потому, что мне не дано было узнать больше. Но другие пойдут моим путем, превзойдут меня в тех же изысканиях, и я беру на себя смелость предсказать, что в конце концов человек окажется всего лишь общиной, состоящей из многообразных, несхожих и независимых друг от друга сочленов. Я же благодаря своему образу жизни мог продвигаться в одном и только в одном направлении. В своей личности абсолютную и изначальную двойственность человека я обнаружил в сфере нравственности. Наблюдая в себе соперничество двух противоположных натур, я понял, что назвать каждую из них своей я могу только потому, что и та и другая равно составляют меня; еще задолго до того, как мои научные изыскания открыли передо мной практическую возможность такого чуда, я с наслаждением, точно заветной мечте, предавался мыслям о полном разделении этих двух элементов. Если бы только, говорил я себе, их можно было расселить в отдельные тела, жизнь освободилась бы от всего, что делает ее невыносимой; дурной близнец пошел бы своим путем, свободный от высоких стремлений и угрызений совести добродетельного двойника, а тот мог бы спокойно и неуклонно идти своей благой стезей, творя добро согласно своим наклонностям и не опасаясь более позора и кары, которые прежде мог бы навлечь на него соседствовавший с ним носитель зла.

Это насильственное соединение в одном пучке двух столь различных прутьев, эта непрерывная борьба двух враждующих близнецов в истерзанной утробе души были извечным проклятием человечества. Но как же их разъединить?

Вот куда уже привели меня мои размышления, когда, как я упоминал, на лабораторном столе забрезжил путеводный свет. Я начал осознавать глубже, чем кто-либо осознавал это прежде, всю зыбкую нематериальность, всю облачную бесплотность столь неизменного на вид тела, в которое мы облечены. Я обнаружил, что некоторые вещества обладают свойством колебать и преображать эту мышечную оболочку, как ветер, играющий с занавесками в беседке. По двум веским причинам я не стану в своей исповеди подробно объяснять научную сторону моего открытия. Во-первых, с тех пор я понял, что предопределенное бремя жизни возлагается на плечи человека навеки и попытка сбросить его неизменно кончается одним: оно вновь ложится на них, сделавшись еще более неумолимым и тягостным. Во-вторых, как — увы! — станет ясно из этого рассказа, открытие мое не было доведено до конца. Следовательно, достаточно будет сказать, что я не только распознал в моем теле всего лишь эманацию и ореол неких сил, составляющих мой дух, но и сумел приготовить препарат, с помощью которого эти силы лишались верховной власти, и возникал второй облик, который точно так же принадлежал мне, хотя он был выражением и нес на себе печать одних низших элементов моей души.

Я долго колебался, прежде чем рискнул подвергнуть эту теорию проверке практикой. Я знал, что опыт легко может кончиться моей смертью: ведь средство, столь полно подчиняющее себе самый оплот человеческой личности, могло вовсе уничтожить призрачный ковчег духа, который я надеялся с его помощью только преобразить,— увеличение дозы на ничтожнейшую частицу, мельчайшая заминка в решительный момент неизбежно привели бы к роковому результату. Однако соблазн воспользоваться столь необыкновенным, столь неслыханным открытием в конце концов возобладал над всеми опасениями. Я уже давно изготовил тинктуру, я купил у некой оптовой фирмы значительное количество той соли, которая, как показали мои опыты, была последним

необходимым ингредиентом, и вот в одну проклятую ночь я смешал элементы, увидел, как они закипели и задымились в стакане, а когда реакция завершилась, я, забыв про страх, выпил стакан до дна.

Тотчас я почувствовал мучительную боль, ломоту в костях, тягостную дурноту и такой ужас, какого человеку не дано испытать ни в час рождения, ни в час смерти. Затем эта агония внезапно прекратилась, и я пришел в себя, словно после тяжелой болезни. Все мои ощущения как-то переменились, стали новыми, а потому неописуемо сладостными. Я был моложе, все мое тело пронизывала приятная и счастливая легкость, я ощущал бесшабашную беззаботность, в моем воображении мчался вихрь беспорядочных чувственных образов, узы долга распались и более не стесняли меня, душа обрела неведомую прежде свободу, но далекую от безмятежной невинности. С первым же дыханием этой новой жизни я понял, что стал более порочным, несравненно более порочным — рабом таившегося во мне зла, и в ту минуту эта мысль подкрепила и опьянила меня, как вино. Я простер вперед руки, наслаждаясь непривычностью этих ощущений, и тут внезапно обнаружил, что стал гораздо ниже ростом.

Тогда в моем кабинете не было зеркала: то, которое стоит сейчас возле меня, я приказал поставить здесь позже — именно для того, чтобы наблюдать эту метаморфозу. Однако на смену ночи уже шло утро — утро, которое, как ни черно оно было, готовилось вот-вот породить день,— моих домочадцев крепко держал в объятиях непробудный сон, и я, одурманенный торжеством и надеждой, решил отправиться в моем новом облике к себе в спальню. Я прошел по двору, и созвездия, чудилось мне, с удивлением смотрели на первое подобное существо, которое им довелось узреть за все века их бессонных бдений; я прокрался по коридору — чужой в моем собственном доме — и, войдя в спальню, впервые увидел лицо и фигуру Эдварда Хайда.

Далее следуют мои предположения — не факты, но лишь теория, представляющаяся мне наиболее вероятной. Зло в моей натуре, которому я передал способность создавать самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что отвергнутое мною добро. С другой стороны, самый образ моей жизни, на девять десятых состоявшей из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло во мне на бездеятельность и тем самым сохранял его силы. Вот почему, думается мне, Эдвард Хайд был ниже ростом, субтильнее и моложе Генри Джекила. И если лицо одного дышало добром, лицо другого несло на себе ясный и размашистый росчерк зла. Кроме того, зло (которое я и теперь не могу не признать губительной стороной человеческой натуры) наложило на этот облик отпечаток уродства и гнилости. И все же, увидев в зеркале этого безобразного истукана, я почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь это тоже был я. Образ в зеркале казался мне естественным и человеческим. На мой взгляд, он был более четким отражением духа, более выразительным и гармоничным, чем та несовершенная и двойственная внешность, которую я до тех пор привык называть своей. И в этом я был, без сомнения, прав. Я замечал, что в облике Эдварда Хайда я внушал физическую гадливость всем, кто приближался ко мне. Этому, на мой взгляд, есть следующее объяснение: обычные люди представляют собой смесь добра и зла, а Эдвард Хайд был единственным среди всего человечества чистым воплощением зла.

Я медлил перед зеркалом не долее минуты — мне предстояло проделать второй и решающий опыт: я должен был проверить, смогу ли я вернуть себе прежнюю личность или мне придется, не дожидаясь рассвета, бежать из дома, переставшего быть моим. Поспешив назад в кабинет, я снова приготовил и испил магическую чашу, снова испытал муки преображения и очнулся уже с характером, телом и лицом Генри Джекила.

В ту ночь я пришел к роковому распутью. Если бы к моему открытию меня привели более высокие побуждения, если бы я рискнул проделать этот опыт, находясь во власти благородных или благочестивых чувств, все могло бы сложиться иначе и из агонии смерти и возрождения я восстал бы ангелом, а не дьяволом. Само средство не обладало избирательной способностью, оно не было ни божественным, ни сатанинским, оно лишь отперло темницу моих склонностей и, подобно узникам в Филиппах, наружу вырвался тот, кто стоял у двери. Добро во мне тогда дремало, а зло бодрствовало, разбуженное тщеславием, и поспешило воспользоваться удобным случаем — так возник Эдвард Хайд. В резуль-

тате, хотя теперь у меня было не только два облика, но и два характера, один из них состоял только из зла, а другой остался прежним двойственным и негармоничным Генри Джекилом, исправить и облагородить которого я уже давно не надеялся. Таким образом, перемена во всех отношениях оказалась к худшему.

Даже и в то время я еще не полностью преодолел ту скуку, которую внушало мне сухое однообразие жизни ученого. Я по-прежнему любил развлечения, но мои удовольствия были (мягко выражаясь) не слишком достойными, а я не только стал известным и уважаемым человеком, но достиг уже пожилого возраста, и раздвоенность моей жизни с каждым днем делалась для меня все тягостнее. Тут мне могло помочь мое новообретенное могущество, и, не устояв перед искушением, я превратился в раба. Мне стоило только выпить мой напиток, чтобы сбросить с себя тело известного профессора и, как плотным плащом, окутаться телом Эдварда Хайда. Я улыбнулся при этой мысли — тогда она показалась мне забавной — и занялся тщательной подготовкой. Я снял и меблировал тот дом в Сохо, до которого впоследствии полиция проследила Хайда, и поручил его заботам женщины, которая, как мне было известно, не отличалась щепетильностью и умела молчать. Затем я объявил моим слугам, что некий мистер Хайд (я описал его внешность) может распоряжаться в доме, как у себя,— во избежание недоразумений я несколько раз появился там в моем втором облике, чтобы слуги ко мне привыкли. Далее я составил столь возмутившее вас завещание; если бы с доктором Джекилом что-нибудь произошло, я благодаря этому завещанию мог бы окончательно преобразиться в Эдварда Хайда, не утратив при этом моего состояния. И вот, обезопасившись, как мне казалось, от всех возможных случайностей, я начал извлекать выгоду из странных привилегий моего положения.

В старину люди пользовались услугами наемных убийц, чтобы их руками творить свои преступления, не ставя под угрозу ни себя, ни свою добрую славу. Я был первым человеком, который прибегнул к этому способу в поисках удовольствий. Я был первым человеком, которого общество видело облаченным в одежды почтенной добродетели и который мог в мгновение ока сбросить с себя этот временный наряд и, подобно вырвавшемуся на

свободу школьнику, кинуться в море распущенности. Но в отличие от этого школьника мне в моем непроницаемом плаще не грозила опасность быть узнанным. Поймите, я ведь просто не существовал. Стоило мне скрыться за дверью лаборатории, в одну-две секунды смешать и выпить питье — я бдительно следил за тем, чтобы тинктура и порошки всегда были у меня под рукой,— и Эдвард Хайд, что бы он ни натворил, исчез бы, как след дыхания на зеркале, а вместо него в кабинете оказался бы Генри Джекил, человек, который, мирно трудясь у себя дома при свете полночной лампы, мог бы смеяться над любыми подозрениями.

Удовольствия, которым я незамедлительно стал предаваться в своем маскарадном облике, были, как я уже сказал, не очень достойными, но и только; однако Эдвард Хайд вскоре превратил их в нечто чудовищное. Не раз, вернувшись из подобной экскурсии, я дивился развращенности, обретенной мной через его посредство. Этот фактотум, которого я вызвал из своей собственной души и послал одного искать наслаждений на его лад, был существом по самой своей природе злобным и преступным; каждое его действие, каждая мысль диктовались себялюбием, с животной жадностью он упивался чужими страданиями и не знал жалости, как каменное изваяние. Генри Джекил часто ужасался поступкам Эдварда Хайда, но странность положения, неподвластного обычным законам, незаметно убаюкивала совесть. Ведь в конечном счете виноват во всем был Хайд и только Хайд. А Джекил не стал хуже, он возвращался к лучшим своим качествам как будто таким же, каким был раньше. Если это было в его силах, он даже спешил загладить зло, причиненное Хайдом. И совесть его спала глубоким сном.

Я не хочу подробно описывать ту мерзость, которой потворствовал (даже и теперь мне трудно признать, что ее творил я сам), я намерен только перечислить события, которые указывали на неизбежность возмездия и на его приближение. Однажды я навлек на себя большую опасность, но так как этот случай не имел никаких последствий, я о нем здесь только упомяну. Моя бездушная жестокость по отношению к ребенку вызвала гнев прохожего, которого я узнал в вашем кузене в тот раз, когда вы видели меня у окна; к нему на помощь приш-

ли родные девочки и врач, и были минуты, когда я уже опасался за свою жизнь; чтобы успокоить их более чем справедливое негодование, Эдвард Хайд был вынужден привести их к двери лаборатории и вручить им чек, подписанный Генри Джекилом. Однако я обеспечил себя от повторения подобных случаев, положив в другой банк деньги на имя Эдварда Хайда; а когда я научился писать, изменяя наклон, и снабдил моего двойника подписью, я решил, что окончательно перехитрил судьбу.

Месяца за два до убийства сэра Дэнверса я отправился на поиски очередных приключений, вернулся домой очень поздно и проснулся на следующий день с каким-то странным ощущением. Тщетно я смотрел по сторонам, тщетно мой взгляд встречал прекрасную мебель и высокий потолок моей спальни в доме на площади, тщетно я узнавал знакомый узор на занавесках кровати красного дерева и резьбу на ее спинке — что-то продолжало настойчиво шептать мне, что я нахожусь вовсе не тут, а в комнатушке в Сохо, где я имел обыкновение ночевать в теле Эдварда Хайда. Я улыбнулся этой мысли и, поддавшись моему обычному интересу к психологии, начал лениво размышлять над причинами этой иллюзии, иногда снова погружаясь в сладкую утреннюю дрему. Я все еще был занят этими мыслями, как вдруг в одну из минут пробуждения случайно взглянул на свою руку. Как вы сами не раз говорили, рука Генри Джекила по форме и размерам была настоящей рукой врача — крупной, сильной, белой и красивой. Однако лежавшая на одеяле полусжатая в кулак рука, которую я теперь ясно разглядел в желтоватом свете позднего лондонского утра, была худой, жилистой, узловатой, землисто-бледной и густо поросшей жесткими волосами. Это была рука Эдварда Хайда.

Я, наверное, почти минуту смотрел на нее в тупом изумлении, но затем меня объял ужас, внезапный и оглушающий, как грохот литавр,— вскочив с постели, я бросился к зеркалу. При виде того, что в нем отразилось, я почувствовал, что моя кровь разжижается и леденеет. Да, я лег спать Генри Джекилом, а проснулся Эдвардом Хайдом. Как можно это объяснить? — спросил я себя и тут же с новым приливом ужаса задал себе второй вопрос: как это исправить? Утро было в разгаре, слуги давно встали, все мои порошки хранились в

кабинете, отделенном от того места, где я в оцепенении стоял перед зеркалом, двумя лестничными маршами, коридором, широким двором и всей длиной анатомического театра. Конечно, я мог бы закрыть лицо, но что пользы? Ведь я был не в состоянии скрыть перемену в моем телосложении. Но тут с неизъяснимым облегчением я вспомнил, что слуги были уже давно приучены к внезапным появлениям моего второго «я». Я быстро оделся, хотя моя одежда, разумеется, была мне теперь велика, быстро прошел через черный ход, где Брэдшоу вздрогнул и попятился, увидев перед собой мистера Хайда в столь неурочный час и в столь странном одеянии, и через десять минут доктор Джекил, уже обретший свой собственный образ, мрачно сидел за столом, делая вид, что завтракает.

Да, мне было не до еды! Это необъяснимое происшествие, это опровержение всего моего предыдущего опыта, казалось, подобно огненным письменам на валтасаровом пиру, пророчило мне грозную кару, и я впервые серьезно задумался над страшными возможностями, которыми было чревато мое двойное существование. Та часть моей натуры, которую я научился выделять, была в последнее время очень деятельной и налилась силой — мне даже начинало казаться, будто тело Эдварда Хайда стало выше и шире в плечах, будто (когда я принимал эту форму) кровь более энергично струится в его жилах; значит, если так будет продолжаться и дальше, думал я, возникнет опасность, что равновесие моей духовной сущности нарушится безвозвратно, я лишусь способности преображаться по собственному желанию и навсегда останусь Эдвардом Хайдом. Препарат не всегда действовал одинаково. Однажды, в самом начале моих опытов, питье не подействовало вовсе, и с тех пор я не раз должен был принимать двойную дозу, а как-то, рискуя жизнью, принял даже тройную. До сих пор эти редкие капризы сложнейшего препарата были единственной тенью, омрачавшей мою радость. Однако теперь, раздумывая над утренним происшествием, я пришел к выводу, что если вначале труднее всего было сбрасывать с себя тело Джекила, то в последнее время труднее всего стало вновь в него облекаться. Таким образом, все наталкивало на единственно возможный вывод: я постепенно утрачивал связь с моим первым и лучшим «я» и

мало-помалу начинал полностью сливаться со второй и худшей частью моего существа.

Я понял, что должен выбрать между ними раз и навсегда. Мои две натуры обладали общей памятью, но все остальные их свойства распределялись между ними крайне неравномерно. Джекил (составная натура) то с боязливым трепетом, то с алчным смакованием ощущал себя участником удовольствий и приключений Хайда, но Хайд был безразличен к Джекилу и помнил о нем, как горный разбойник помнит о пещере, в которой он прячется от преследователей. Джекил испытывал к Хайду более чем отцовский интерес. Хайд отвечал ему более чем сыновним равнодушием. Выбрать Джекила значило бы отказаться от тех плотских склонностей, которым я прежде потакал тайно и которые в последнее время привык удовлетворять до пресыщения. Выбрать Хайда значило бы отказаться от тысячи интересов и упований, мгновенно и навеки превратиться в презираемого всеми отщепенца. Казалось бы, выбор представляется неравным, но на весы приходилось бросить еще одно соображение: Джекил был бы обречен мучительно страдать в пламени воздержания, в то время как Хайд не имел бы ни малейшего понятия о том, чего он лишился. Пусть положение мое было единственным в своем роде, но в сущности этот спор так же стар и обычен, как сам человек; примерно такие же соблазны и опасности решают, как выпадут кости для любого грешника, томимого искушением и страхом; и со мной произошло то же, что происходит с подавляющим большинством моих ближних: я выбрал свою лучшую половину, но у меня не хватило силы воли остаться верным своему выбору.

Да, я предпочел пожилого доктора, втайне не удовлетворенного жизнью, но окруженного друзьями и лелеющего благородные надежды; я предпочел его и решительно простился со свободой, относительной юностью, легкой походкой, необузданностью порывов и запретными наслаждениями — со всем тем, чем был мне дорог облик Эдварда Хайда. Возможно, я сделал этот выбор с бессознательными оговорками, так как я не отказался от дома в Сохо и не уничтожил одежду Эдварда Хайда, которая по-прежнему хранилась у меня в кабинете. Однако два месяца я свято соблюдал свое решение, два месяца я вел чрезвычайно строгую жизнь, о какой и мечтать не мог прежде, и был вознагражден за это блаженным спокойствием совести. Но время притупило остроту моей тревоги, спокойная совесть становилась чем-то привычным, меня начинали терзать томительные желания, словно Хайд пытался вырваться на волю, и, наконец, в час душевной слабости я вновь составил и выпил магический напиток.

Пьяница, задумавший отучить себя от своего порока, лишь в редком случае искренне содрогнется при мысли об опасностях, которым он подвергается, впадая в физическое отупение. Так же и я, постоянно размышляя над своим положением, все же склонен был с некоторым легкомыслием относиться к абсолютному нравственному отупению и к неутолимой жажде зла, которые составляли главные черты характера Эдварда Хайда. Но именно они и навлекли на меня кару. Мой Дьявол слишком долго изнывал в темнице, и наружу он вырвался с ревом. Я еще не допил своего состава, как уже ощутил неудержимое и яростное желание творить зло. Вероятно, именно поэтому учтивая речь моей несчастной жертвы и подняла в моей душе бурю раздражения; бог свидетель, ни один душевно здоровый человек не был бы способен совершить подобное преступление по столь незначительному поводу — я нанес первый удар под влиянием того же чувства, которое заставляет больного ребенка ломать игрушку. Однако я добровольно освободился от всех сдерживающих инстинктов, которые даже худшим из нас помогают сохранять среди искушений хоть какую-то степень разумности; для меня же самый малый соблазн уже означал падение.

Мгновенно во мне проснулся и забушевал адский дух. В экстазе злорадства я калечил и уродовал беспомощное тело, упиваясь восторгом при каждом ударе, и только когда мной начала овладевать усталость, я вдруг в самом разгаре моего безумия ощутил в сердце леденящий ужас. Туман рассеялся, я понял, что мне грозит смерть, и бежал от места своего разгула, ликуя и трепеща одновременно,— удовлетворенная жажда зла наполняла меня радостью, а любовь к жизни была напряжена, как струна скрипки. Я бросился в Сохо и для верности уничтожил бумаги, хранившиеся в моем тамошнем доме; затем я снова вышел на освещенные фонарями улицы все в том же двойственном настроении — я смаковал мое преступление, беззаботно обдумывал, ка-

кие еще совершу в будущем, и в то же время продолжал торопливо идти, продолжал прислушиваться, не раздались ли уже позади меня шаги отмстителя. Хайд весело напевал, составляя напиток, и выпил его за здоровье убитого. Но не успели еще стихнуть муки преображения, как Генри Джекил, проливая слезы смиренной благодарности и раскаяния, упал на колени и простер в мольбе руки к небесам. Завеса самообольщения была рассечена сверху донизу. Передо мной прошла вся моя жизнь, я вновь пережил дни детства, когда я гулял, держась за отцовскую руку, годы самозабвенного труда на благо больных и страждущих — и опять, и опять, с тем же чувством нереальности, я возвращался к ужасу этого проклятого вечера. Мне хотелось кричать, я пытался слезами и молитвами отогнать жуткие образы и звуки, которыми пытала меня моя память, но уродливый лик моего греха продолжал заглядывать в мою душу. Однако, по мере того как муки раскаяния стихали, их начинала сменять радость. Все было решено окончательно. С этих пор о Хайде не могло быть и речи, я волей-неволей должен был довольствоваться лучшей частью моего существа. О, как я этому радовался! С каким истовым смирением я вновь принял ограничения естественной жизни! С каким искренним отречением я запер роковую дверь, которой так часто пользовался прежде, и сломал каблуком ключ!

На следующий день я узнал, что убийство видели, что виновность Хайда твердо установлена и что убитый был человеком известным и пользовался всеобщим уважением. Это было не просто преступление, это было трагическое безумие. Мне кажется, я обрадовался — обрадовался тому, что страх перед эшафотом станет теперь надежной опорой и защитой моим благим намерениям. Джекил будет отныне моей крепостью: стоит Хайду хоть на мгновение выглянуть наружу — и руки всех людей протянутся, чтобы схватить его и предать смерти.

Я решил, что мое будущее превратится в искупление прошлого, и могу сказать без хвастовства, что мое решение принесло кое-какие добрые плоды. Вам известно, как усердно в последние месяцы прошлого года старался я облегчать страдания и нужду; вам известно, что мною немало было сделано для других, а мои собственные дни текли спокойно, почти счастливо. И, право, мне не надоедала эта полезная и чистая жизнь — напротив, с каждым днем она приносила мне все большую радость, но душевная двойственность по-прежнему оставалась моим проклятием, и когда первая острота раскаяния притупилась, низшая сторона моей натуры, которую я столь долго лелеял и лишь так недавно подавил и сковал, начала злобно бунтовать и требовать выхода. Конечно, мне и в голову не приходило воскрешать Хайда — одна мысль об этом ввергала меня в панический ужас! Нет-нет, я вновь поддался искушению обмануть собственную совесть, оставаясь самим собой, и не устоял перед соблазном, как обыкновенный тайный грешник.

Всему наступает конец; переполняется даже самая вместительная мера; и эта краткая уступка моему злому началу оказалась последней соломинкой, безвозвратно уничтожившей равновесие моей души. А я даже не встревожился! Падение это казалось мне естественным — простым возвращением к тем дням, когда я еще не сделал своего открытия. Был прекрасный январский день, сырой от растаявшего снега, но ясный и безоблачный. Риджент-парк звенел от зимнего чириканья и благоухал ароматами весны. Я сидел на залитой солнцем скамье, зверь во мне облизывал косточки воспоминаний, духовное начало дремало, обещая раскаяние впоследствии, но немного его откладывая. В конце концов, размышлял я, чем я хуже всех моих ближних? И тут я улыбнулся, сравнивая себя с другими людьми, сравнивая свою деятельную доброжелательность с ленивой жестокостью их равнодушия. И вот, когда мне в голову пришла эта тщеславная мысль, по моему телу вдруг пробежала судорога, я ощутил мучительную дурноту и ледяной озноб. Затем они прошли, и я почувствовал слабость, а когда оправился, то заметил, что характер моих мыслей меняется и на смену прежнему настроению приходят дерзкая смелость, презрение к опасности, пренебрежение к узам человеческого долга. Я посмотрел на себя и увидел, что одежда повисла мешком на моем съежившемся теле, что рука, лежащая на колене, стала жилистой и волосатой. Я вновь превратился в Эдварда Хайда. За мгновение до этого я был в полной безопасности, окружен уважением, богат, любим — и дома меня ждал накрытый к обеду стол; а теперь я стал изгоем, затравленным, бездомным, я был изобличенным убийцей, добычей виселицы.

Мой рассудок затуманился, но все же остался мне верен. Я и прежде не раз замечал, что в моем втором облике мои способности словно обострялись, а дух обретал новую гибкость. Вот почему там, где Джекил, вероятно, погиб бы, Хайд нашел выход из положения. Тинктура и порошки были спрятаны у меня в кабинете в ящике одного из шкафов. Как до них добраться? Эту задачу я и старался решить, сдавив виски ладонями. Дверь лаборатории я запер навсегда. Если я попробую войти через дом, мои собственные слуги отправят меня на виселицу. Я понял, что должен прибегнуть к помощи посредника, и остановил свой выбор на Лэньоне. Но как увидеться с ним? Как убедить его? Предположим, мне даже удастся избежать ареста на улице — примет ли он меня? А если примет, то каким образом неизвестный и неприятный посетитель сможет убедить знаменитого врача обыскать кабинет его коллеги доктора Джекила? Тут я вспомнил, что у меня кое-что сохранилось от моей прежней личности — мой почерк; и эта искорка, вспыхнув ярким огнем, осветила весь мой дальнейший путь от начала и до конца.

Я, насколько мог, привел свою одежду в порядок, подозвал извозчика и дал адрес первого попавшегося отеля, название которого случайно запомнил. Поглядев на меня (а выглядел я действительно забавно, хоть за этим нелепым маскарадом и крылась трагедия), извозчик не мог сдержать улыбки. Во мне поднялась дьявольская ярость, я заскрежетал зубами, и улыбка мгновенно исчезла с его лица — к счастью для него, но еще к большему счастью для меня, так как через секунду я, несомненно, стащил бы его с козел. Войдя в гостиницу, я огляделся с таким злобным видом, что коридорные задрожали: не посмев даже обменяться взглядом, они почтительно выслушали мои распоряжения, проводили меня в отдельный номер и подали мне туда письменные принадлежности. Хайд, которому грозила смерть, был для меня чем-то новым — его снедало неутомимое бешенство, он готов был убивать и жаждал причинять боль. Тем не менее он сохранял благоразумие. Огромным усилием воли подавив свою ярость, он написал два важнейших письма — Лэньону и Пулу — и приказал отправить их заказными, чтобы получить неопровержимое свидетельство того, что они действительно отправлены.

Затем до ночи он просидел у камина в своем номере, грызя ногти; он пообедал там наедине со своими страхами, и официант бледнел и дрожал под его взглядом; с наступлением ночи он уехал, забившись в угол закрытого экипажа, и приказал кучеру возить его по улицам без всякой цели. «Он», говорю я — и не могу написать «я». В этом исчадии ада не было ничего человеческого, в его душе жили только ненависть и страх. И когда в конце концов, опасаясь, как бы извозчик чего-нибудь не заподозрил, он отпустил экипаж и отправился далее пешком в своем костюме не по росту, привлекавшем к нему внимание всех ночных прохожих, только два эти низменные чувства бушевали в его груди. Он шагал торопливо, гонимый тревогой, что-то бормотал про себя, сворачивал в безлюдные проулки и считал минуты, еще остававшиеся до полуночи. Один раз его остановила какая-то женщина, продававшая, кажется, спички. Он ударил ее по лицу, и она убежала.

Когда я снова стал собой в кабинете Лэньона, ужас моего старого друга, возможно, тронул меня, но точно сказать не могу, это была лишь капля в море того отчаяния и отвращения, с которым я оглядываюсь на эти часы. Во мне произошла решительная перемена. Я страшился уже не виселицы, а того, что останусь Хайдом. Обличения Лэньона я выслушивал, как в тумане, и, как в тумане, я вернулся домой и лег в постель. Совсем разбитый после тревог этого дня, я уснул тяжелым, непробудным сном, и даже терзавшие меня кошмары не могли его прервать. Утром я проснулся ослабевшим, душевно измученным, но освеженным. Я по-прежнему ненавидел и страшился зверя, спавшего во мне, не забыл я и смертельной опасности, пережитой накануне, но ведь я теперь был дома, у себя, возле моих порошков, и радость, охватывавшая меня при мысли о моем чудесном спасении, лучезарностью почти равнялась надежде.

Я неторопливо шел по двору после завтрака, с удовольствием вдыхая утренний холод, как вдруг меня вновь охватила неописуемая дрожь, предвестница преображения — у меня только-только достало времени укрыться в кабинете, как я уже опять горел и леденел страстями Хайда. На этот раз, чтобы стать собой, мне потребовалась двойная доза, и — увы! — шесть часов

спустя, когда я грустно сидел у камина, глядя в огонь, я вновь почувствовал знакомые спазмы и должен был прибегнуть к порошкам. Короче говоря, с этого дня мне удавалось сохранить обличье Джекила только ценой безостановочных усилий и только под действием препарата. В любой час дня и ночи по моему телу могла пробежать роковая дрожь, а стоило мне уснуть или хотя бы задремать в кресле, как я просыпался Хайдом. Это вечное ожидание неизбежного и бессонница, на которую я теперь обрек себя,— я и не представлял, что человек может так долго не спать! — превратили меня, Джекила, в снедаемое и опустошаемое лихорадкой существо, обессиленное и телом и духом, занятое одной-единственной мыслью — ужасом перед своим близнецом. Но когда я засыпал или когда кончалось действие препарата, я почти без перехода (с каждым днем спазмы преображения слабели) становился обладателем воображения, полного ужасных образов, души, испепеляемой беспричинной ненавистью, и тела, которое казалось слишком хрупким, чтобы вместить такую бешеную жизненную энергию. Хайд словно обретал мощь по мере того, как Джекил угасал. И ненависть, разделявшая их, теперь была равной с обеих сторон. У Джекила она порождалась инстинктом самосохранения. Он теперь полностью постиг все уродство существа, которое делило с ним некоторые стороны сознания и должно было стать сонаследником его смерти — но вне этих объединяющих звеньев, которые сами по себе составляли наиболее мучительную сторону его несчастья, Хайд, несмотря на всю свою жизненную энергию, представлялся ему не просто порождением ада, но чем-то не причастным органическому миру. Именно это и было самым ужасным: тина преисподней обладала голосом и кричала, аморфный прах двигался и грешил, то, что было мертвым и лишенным формы, присваивало функции жизни. И эта бунтующая мерзость была для него ближе жены, неотъемлемее глаза, она томилась в его теле, как в клетке, и он слышал ее глухое ворчание, чувствовал, как она рвется на свет, а в минуты слабости или под покровом сна она брала верх над ним и вытесняла его из жизни. Ненависть Хайда к Джекилу была иной. Страх перед виселицей постоянно заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному положению компонента, лишаясь

статуса личности; но эта необходимость была ему противна, ему было противно уныние, в которое впал теперь Джекил, и его бесило отвращение Джекила к нему. Поэтому он с обезьяньей злобой устраивал мне всяческие гадости: писал моим почерком гнусные кощунства на полях моих книг, жег мои письма, уничтожил портрет моего отца, и только страх смерти удерживал его от того, чтобы навлечь на себя гибель, лишь бы я погиб вместе с ним. Но его любовь к жизни поразительна! Скажу более: я содрогаюсь от омерзения при одной мысли о нем, но, когда я вспоминаю, с какой трепетной страстью он цепляется за жизнь и как он боится моей власти убить его при помощи самоубийства, я начинаю испытывать к нему жалость.

Продолжать это описание не имеет смысла, да и часы мои сочтены. Никому еще не приходилось терпеть подобных мук — пусть будет довольно этого; однако привычка принесла — нет, не смягчение этих мук, но некоторое огрубение души, притупление отчаяния, и мое наказание могло бы длиться еще многие годы, если бы не последний удар, бесповоротно лишающий меня и моего облика и моего характера. Запасы соли, не возобновлявшиеся со времени первого опыта, начали иссякать. Я послал купить ее и смешал питье — жидкость закипела, цвет переменился, но второй перемены не последовало; я выпил, но состав не подействовал. Пул расскажет вам, как я приказывал обшарить все аптеки Лондона, но тщетно, и теперь я не сомневаюсь, что в той соли, которой я пользовался, была какая-то примесь, и что именно эта неведомая примесь придавала силу питью.

С тех пор прошло около недели, и я дописываю это мое объяснение под действием последнего из прежних моих порошков. Если не случится чуда, значит, Генри Джекил в последний раз мыслит, как Генри Джекил, и в последний раз видит в зеркале свое лицо (увы, изменившееся до неузнаваемости!). И я не смею медлить с завершением моего письма — до сих пор оно могло уцелеть лишь благодаря величайшим предосторожностям и величайшей удаче. Если перемена застигнет меня еще за письмом, Хайд разорвет его в клочки, но если я успею спрятать его заблаговременно, невероятный эгоизм Хайда и заботы его нынешнего положения могут спасти письмо от его обезьяньей злобы. Да, тяготеющий над нами обоими рок уже изменил и раздавил его. Через

полчаса, когда я вновь и уже навеки облекусь в эту ненавистную личину, я знаю, что буду, дрожа и рыдая, сидеть в кресле или, весь превратившись в испуганный слух, примусь без конца расхаживать по кабинету (моему последнему приюту на земле) и ждать, ждать, что вот-вот раздадутся звуки, предвещающие конец. Умрет ли Хайд на эшафоте? Или в последнюю минуту у него хватит мужества избавить себя от этой судьбы? Это ведомо одному богу, а для меня не имеет никакого значения: час моей настоящей смерти уже наступил, дальнейшее же касается не меня, а другого. Сейчас, отложив перо, я запечатаю мою исповедь, и этим завершит свою жизнь злополучный

Генри Джекил.

САТАНИНСКАЯ БУТЫЛКА

На одном из Гавайских островов жил человек, которого мы будем называть Кэаве, так как, правду сказать, он жив до сих пор, и его настоящее имя должно остаться тайной; родился же он неподалеку от Хонаунау, где в пещере покоятся останки Кэаве Великого. Человек этот был беден, деятелен и храбр, знал грамоту не хуже школьного учителя и слыл к тому же отличным моряком; он плавал и на каботажных судах и водил вельбот у берегов Хамакуа, пока не взбрело ему на ум поглядеть белый свет и чужие города, и тогда он нанялся на судно, уходившее в рейс до Сан-Франциско.

Сан-Франциско — красивый город с красивым портом, и богачей в нем видимо-невидимо, и есть там холм — сплошь одни дворцы. Как-то раз Кэаве, позвякивая монетами в кармане, прогуливался на этом холме и любовался домами по обеим сторонам улицы.

«Какие красивые дома! — думал Кэаве.— И какие, верно, счастливые люди в них живут, не зная забот о завтрашнем дне!»

Так размышлял он, когда поравнялся с домом, который был хоть и поменьше остальных, но нарядный и красивый, как игрушка; ступени крыльца блестели, будто серебряные, живые изгороди походили на цветущие гирлянды, окна сверкали, словно алмазы, и Кэаве остановился, дивясь такому совершенству, открывшемуся его глазам. И, стоя так перед домом, заметил он, что какой-то человек смотрит на него из окна, стекло которого было столь прозрачно, что Кэаве видел этого человека не хуже, чем мы видим рыбу, стоящую в лужице, оставшейся на камнях в час отлива. Человек этот был уже в летах, лыс, с черной бородой; лицо его казалось печальным и хмурым, и он горестно вздыхал. И вот Кэаве

смотрел на этого человека, а тот смотрел из окна на Кэаве, и оба они — подумать только! — позавидовали друг другу.

Вдруг незнакомец улыбнулся, кивнул и, поманив Кэаве, встретил его в дверях дома.

— Мой дом очень красив,— сказал человек с тяжким вздохом.— Не пожелаешь ли ты осмотреть покои?

И он провел Кэаве по всему дому — от погреба до чердака, и все здесь казалось столь совершенным, что Кэаве был поражен.

— Поистине,— сказал Кэаве,— это прекрасный дом. Жил бы я в таком доме, так, верно, смеялся бы от радости с утра до вечера. А ты вот вздыхаешь, почему бы это?

— И ты тоже,— сказал человек,— можешь иметь дом, во всем схожий с этим, стоит тебе только пожелать. У тебя, надо полагать, есть деньги?

— У меня есть пятьдесят долларов,— сказал Кэаве,— но такой дом должен стоить много дороже.

Человек что-то прикинул в уме.

— Жаль, что у тебя так мало денег,— сказал он.— Это причинит тебе лишние хлопоты в будущем, но тем не менее можешь получить и за пятьдесят долларов.

— Этот дом? — спросил Кэаве.

— Нет, не дом,— отвечал человек,— а бутылку. Видишь ли, должен тебе признаться, что все мое богатство, хоть, может, я и кажусь тебе великим богачом и удачником,— этот дом и этот сад,— все возникло из бутылки величиной чуть больше пинты. Вот она.

И, отперев какой-то шкафчик, он достал оттуда круглую пузатую бутылку с длинным горлышком. Бутылка была из белого молочного стекла, переливавшегося всеми цветами и оттенками радуги. А внутри бутылки светилось и трепетало что-то неуловимое, подобное то тени, то языку пламени.

— Вот она, эта бутылка,— сказал человек и, когда Кэаве рассмеялся, добавил: — Ты не веришь мне? Так испытай ее сам. Попробуй-ка ее разбить.

И тогда Кэаве взял бутылку и стал швырять ее об пол, пока не утомился, но бутылка отскакивала от пола, словно детский мяч, и хоть бы что.

— Удивительное дело,— сказал Кэаве.— Поглядеть да потрогать, так кажется, будто эта бутылка из стекла.

— Она и есть из стекла,— еще горестней вздохнув, отвечал человек,— да только стекло закалилось в адском пламени. В этой бутылке живет черт — видишь, там что-то движется, словно тень какая-то. Это черт, или так по крайней мере я думаю. Человек, который приобретет эту бутылку, будет повелевать чертом, и чего бы он отныне себе ни пожелал, все — любовь, слава, деньги, дома, подобные этому, да, да, и даже города, подобные этому,— все получит он по первому своему слову. Наполеон владел этой бутылкой, и она сделала его властелином мира, но потом он продал ее и пал. Капитан Кук владел этой бутылкой, и она открыла ему путь ко многим островам, но и он тоже продал ее, и был убит на Гавайях. Ибо, как только продашь бутылку, сразу лишаешься ее могущественной защиты, и если не удовольствуешься тем, что имеешь, к тебе приходит беда.

— А как же ты сам говоришь, что хочешь ее продать? — спросил Кэаве.

— У меня есть все, чего я могу пожелать, и ко мне подкрадывается старость,— отвечал человек.— Только одного не может сделать черт в бутылке: он не может продлить человеку жизнь. И было бы нечестно утаить от тебя, что у этой бутылки есть недостаток: если человек умрет, не успев ее продать, он обречен вечно гореть в аду.

— Да, уж это и впрямь недостаток, спору нет,— воскликнул Кэаве.— Я бы нипочем не стал связываться с такой чертовщиной. Могу, слава тебе господи, прожить и без дома. А вот накликать вечное проклятие на свою голову — это уж нет, не согласен.

— Полно, не торопись, зачем так далеко заглядывать вперед,— возразил человек.— Нужно только разумно воспользоваться услугами черта, а затем продать бутылку кому-нибудь еще, как я сейчас продаю ее тебе, и ты закончишь дни свои в покое и довольстве.

— А я вот что примечаю,— сказал Кэаве.— Перво-наперво, ты то и дело вздыхаешь, словно влюбленная девушка, а еще — больно уж дешево продаешь ты эту бутылку.

— Я уже сказал тебе, почему я вздыхаю,— отвечал человек.— Чувствую я, что здоровье мое слабеет, и это меня пугает; ведь ты же сам сказал: никому не охота, померев, отправиться в преисподнюю. А вот почему я так дешево продаю,— тут тебе надо объяснить еще одну

особенность этой бутылки. В незапамятные времена, когда Сатана впервые принес бутылку на землю, она стоила неслыханно дорого, и Пресвитер Иоанн, первый, кто ее купил, отдал за нее несколько миллионов долларов. Но дело в том, что эту бутылку нельзя продать иначе, как с убытком для себя. Если ты продашь ее за ту же цену, за какую купил, она снова вернется к тебе, как голубь в голубятню. Понятно, что цена ее из века в век все падала и теперь уже стала на удивление низкой. Я сам купил эту бутылку у одного из моих богатых соседей и уплатил всего девяносто долларов. Я могу продать ее за восемьдесят девять долларов и девяносто девять центов, но ни на цент дороже, иначе она тут же вернется ко мне обратно... Из-за этого возникают два затруднения: во-первых, когда ты хочешь продать такую диковинную бутылку за какие-нибудь восемьдесят долларов, люди думают, что ты просто шутишь. А во-вторых... Ну, да это потом... Я, собственно, не обязан вдаваться во все подробности. Только учти — бутылка продается лишь за ходячую монету.

— Откуда мне знать, что все это правда? — сказал Кэаве.

— Кое-что ты можешь проверить сразу же,— отвечал человек.— Отдай мне пятьдесят долларов, возьми бутылку и пожелай, чтобы твои деньги возвратились к тебе в карман. Если этого не произойдет, честью тебе клянусь, что буду считать сделку несостоявшейся и верну тебе деньги.

— Ты не обманываешь меня? — спросил Кэаве.

Человек торжественно поклялся, что говорит правду.

— Что ж, пожалуй, я рискну,— сказал Кэаве.— Ведь от этого беды не будет.

И он отдал свои деньги человеку, а человек протянул ему бутылку.

— Ну, черт в бутылке,— промолвил Кэаве,— верни мне мои пятьдесят долларов.

И что же — едва произнес он эти слова, как карман его снова стал так же тяжел, как прежде.

— Это и в самом деле чудесная бутылка,— сказал Кэаве.

— А теперь прощай, приятель! — сказал человек.— Проваливай отсюда, и дьявол с тобой!

— Постой! — сказал Кэаве.— Хватит с меня этих шуток. На, бери обратно свою бутылку.

— Ты заплатил за нее меньше, чем я,— заметил человек, потирая руки,— и теперь это твоя бутылка. А мне нужно только одно: побыстрей увидеть твою спину.— И с этими словами он позвонил своему слуге-китайцу, и тот выпроводил Кэаве из дома.

Очутившись на улице с бутылкой под мышкой, Кэаве принялся размышлять:

«Если все, что этот человек говорил,— правда, я, кажется, опростоволосился. Но, может, он просто дурачил меня?»

Тут Кэаве прежде всего пересчитал свои деньги: ровно сорок девять американских долларов и одна чилийская монета.

«Похоже, что все правда,— сказал себе Кэаве.— Ну-ка, испытаем ее теперь по-другому».

Улицы в этой части города были чистые-чистые, прямо как корабельная палуба, и прохожих — ни души, хотя был уже полдень. Кэаве бросил бутылку в водосточную канаву и зашагал прочь; раза два он оглянулся: пузатая, молочно-белая бутылка лежала там, где он ее оставил. Кэаве оглянулся в третий раз и завернул за угол, но не успел он сделать и шага, как что-то ткнулось в его локоть, и — подумайте! — пузатая бутылка уже оттягивает ему карман бушлата, а узкое горлышко ее торчит наружу.

«Похоже, что и это тоже правда»,— подумал Кэаве.

Что же сделал теперь Кэаве? Он купил в лавке штопор и, выйдя из города, направился в безлюдное поле. Там он попытался откупорить бутылку, но сколько ни ввинчивал в пробку штопор, его тут же выпирало обратно, а пробка оставалась цела и невредима.

«Какой-то новый сорт пробки»,— подумал Кэаве, и тут он вдруг весь затрясся, как в лихорадке, и покрылся испариной: ему стало страшно.

Шагая обратно в порт, Кэаве увидел лавчонку, где какой-то человек продавал раковины, дубинки дикарей-островитян, старинные монеты, старых языческих божков, китайские и японские рисунки и прочие разные вещицы, которые привозят в своих сундучках матросы. И тут Кэаве осенила новая мысль. Он вошел в лавчонку и предложил хозяину купить у него бутылку за сто долларов. Торговец сначала только посмеялся и предложил Кэаве пять долларов; однако это и в самом деле была занятная бутылка — такого стекла не выдувал ни один

стеклодув на земле, ее молочная белизна так красиво переливалась всеми цветами радуги, и такая таинственная тень трепетала у нее внутри... Словом, поторговавшись, как водится, хозяин дал Кэаве шестьдесят серебряных долларов за его бутылку и водрузил ее на полке в самом центре своей витрины.

«Ну вот,— сказал себе Кэаве,— я продал ее за шестьдесят долларов, хотя купил за пятьдесят, а по правде, и того дешевле,— ведь один-то доллар у меня был чилийский. Теперь проверим это дело еще раз».

И Кэаве вернулся на корабль, но когда он отомкнул свой сундучок, бутылка была уже там: она его опередила. А у Кэаве на корабле был дружок, которого звали Лопака.

— Что это с тобой? — спросил Лопака.— Чего ты уставился на свой сундук?

Они были одни в кубрике, и Кэаве, взяв с товарища клятву молчать, поведал ему все.

— Диковинная история,— сказал Лопака.— Боюсь, натерпишься ты горя с этой бутылкой. Одно хоть ясно: ты знаешь, какая беда тебе угрожает. А раз так, надо извлечь пользу из этой сделки. Обдумай хорошенько, что ты хочешь себе пожелать, вели бутылке это сделать, а если она исполнит твою волю, я сам куплю ее у тебя. Потому, как мне давно запала на ум одна мыслишка: хочу заиметь шхуну и заняться торговлей на островах.

— Это не по мне,— сказал Кэаве.— Я хочу иметь красивый дом и сад на побережье Кона, где я родился, и чтобы солнце светило прямо в окна, и в саду цвели цветы, и в окнах были стекла, и на стенах картины, и на столах красивые скатерти и безделушки — словом, совсем, как в том доме, где я был сегодня... И пусть даже мой дом будет на один этаж повыше и со всех сторон окружен балконами, как королевский дворец, и я буду жить там без забот и веселиться с моими друзьями и родственниками.

— Вот что,— сказал Лопака.— Давай увезем ее с собой на Гавайи, и, если все, чего ты пожелал, сбудется, я куплю у тебя бутылку, как уже сказал, и попрошу себе шхуну.

На том и порешили, и вскоре корабль возвратился в Гонолулу и доставил туда и Кэаве, и Лопаку, и бутылку.

Не успели они сойти на берег, как повстречали на пристани одного знакомого, и тот с первых же слов начал выражать Кэаве сочувствие.

— Не пойму я что-то, почему ты меня жалеешь? — спросил Кэаве.

— Да разве ты ничего не знаешь? — удивился знакомый.— Ведь твой дядюшка... такой почтенный был старик... скончался, и твой двоюродный брат... такой красивый был малый... утонул в море.

Кэаве очень опечалился, заплакал, и запричитал, и совсем забыл про бутылку. Но у Лопаки другое было на уме, и, когда скорбь Кэаве поутихла, Лопака сказал:

— А я вот о чем думаю: у твоего дядюшки не было ли землицы на Гавайях, в районе Каю?

— Нет,— сказал Кэаве,— в Каю не было. Был участок на гористом берегу, малость южнее Хоокены.

— Теперь эта земля перейдет к тебе? — спросил Лопака.

— Да, ко мне,— молвил Кэаве и снова принялся оплакивать своих усопших родственников.

— Погоди,— сказал Лопака.— Перестань причитать на минуту, мне кое-что пришло в голову. А может, все это наделала бутылка? Потому, как видишь, уже и место готово для твоего дома.

— Ну, если так,— вскричал Кэаве,— хорошенькую же она мне сослужила службу! Кто ее просил убивать моих родственников? А ведь, может, ты и прав — дом-то представлялся мне точнехонько на том самом месте.

— Но дом же еще не построен,— сказал Лопака.

— Нет, да и не похоже, что будет когда-нибудь построен,— сказал Кэаве.— Правда, у дядюшки было немного кофейных деревьев, айвы и бананов, но этого мне только-только хватит на прожитие. А остальной его участок — это просто черная лава.

— Давай-ка сходим к стряпчему,— сказал Лопака.— Все-таки эта мысль не дает мне покоя.

Ну, а когда они пришли к стряпчему, оказалось, что дядюшка Кэаве перед самой смертью вдруг страшно разбогател и оставил после себя целое состояние.

— Вот тебе и деньги на постройку дома! — воскликнул Лопака.

— Если вы намерены построить дом,— сказал стряпчий,— тут у меня есть визитная карточка нового архитектора, его очень хвалят.

— Совсем хорошо! — сказал Лопака.— Смотри-ка, о нас уже позаботились. Надо только слушаться бутылки.

И они отправились к архитектору, а у того уже и чертежи на столе разложены.

— Вы ведь хотите что-нибудь необычное,— сказал архитектор.— А как вам понравится вот это? — И он протянул чертеж Кэаве.

А Кэаве, как только глянул на чертеж, так не удержался и громко ахнул, потому что там был изображен в точности такой дом, какой являлся ему в мечтах.

«Быть этому дому моим,— подумал он.— Знаю, темное это дело и не по душе оно мне, но раз уж я связался с нечистой силой, так пусть хоть не зря».

И он стал объяснять архитектору, чего ему хочется и как надо обставить дом — и про картины на стенах и про безделушки на столах,— а потом спросил его напрямик, сколько это будет стоить.

Архитектор задал Кэаве множество разных вопросов, затем взял перо и принялся вычислять, а покончив с вычислениями, назвал ровнехонько ту сумму, какая досталась Кэаве в наследство.

Лопака и Кэаве переглянулись и кивнули.

«Яснее ясного,— подумал Кэаве.— Хочу не хочу, а быть этому дому моим. Достался он мне от Сатаны и до добра не доведет. Но одно я знаю твердо: пока у меня эта бутылка, я больше никогда ничего себе не пожелаю. А с этим домом мне уже не разделаться, и теперь, куда ни шло, раз связался с нечистой силой, так пусть хоть не зря».

И он заключил с архитектором контракт, и они оба его подписали. А потом Кэаве и Лопака снова нанялись на корабль и поплыли в Австралию, так как уже решили промеж себя ни во что не вмешиваться и предоставить архитектору и черту в бутылке строить дом и украшать его в свое удовольствие.

Плавание их протекало благополучно, только Кэаве все время приходилось быть начеку, чтобы чего-нибудь не пожелать, ибо он поклялся не принимать больше милостей от дьявола. Домой они возвратились в срок. Архитектор сообщил, что дом готов, и Кэаве с Лопакой сели на пароход «Ковчег» и поплыли вдоль берега Кона, чтобы поглядеть на дом — похож ли он на тот, какой являлся Кэаве в мечтах.

Дом стоял на высоком берегу и был хорошо виден проходящим судам. Вокруг леса вздымались ввысь к самым облакам; внизу потоки черной лавы застыли в ущельях, где покоятся в пещерах останки древних царей. Вокруг дома был разбит цветник, пестревший всеми оттенками радуги, и насажены фруктовые деревья: по одну сторону дома — хлебные, по другую — папайя, а прямо перед домом со стороны моря была водружена корабельная мачта, и на верхушке ее вился флаг. Дом был трехэтажный, с просторными покоями и широкими балконами на каждом этаже. Стекла в окнах были прозрачные, как вода, и светлые, как белый день. В покоях стояла красивая мебель. На стенах висели картины в золоченых рамах, с изображением кораблей, и сражений, и разных диковинных уголков земли, или портреты самых прекрасных, какие только есть на свете, женщин, и во всем мире не сыскалось бы картин, писанных такими яркими красками, как те, что висели на стенах нового дома Кэаве. А уж бессчетные безделушки были и подавно неслыханно хороши: часы с мелодичным боем, и музыкальные шкатулки, и крошечные фигурки людей с качающимися головами, и изящные замысловатые головоломки для заполнения досуга одинокого человека. А так как кому захочется жить в столь пышных хоромах — разве что пройтись по ним и поглазеть на все,— дом был опоясан широкими-преширокими балконами, на которых могло бы удобно разместиться население целого города, и Кэаве не знал, что же ему предпочесть: то ли заднюю террасу дома, где открывался вид на фруктовые деревья и цветники и легкий ветерок веял с гор, или балкон, украшавший фасад дома, где можно было вдыхать свежий морской ветер и глядеть вниз с откоса на то, как «Ковчег», примерно раз в неделю, держит путь из Хоокены к холмам Пеле или шхуны с грузом леса, айвы и бананов бороздят прибрежные воды.

Осмотрев все, Кэаве и Лопака уселись на задней террасе.

— Ну что? — спросил Лопака.— Так тебе это представлялось?

— У меня нет слов,— сказал Кэаве.— Это даже лучше, чем мои мечты, и я так доволен, что голова идет кругом.

— Одно меня смущает,— сказал Лопака.— Все это могло ведь получиться и само собой, и, может, черт в

бутылке тут вовсе ни при чем. Если я куплю бутылку, а потом окажется, что никакой шхуны мне не получить значит, я сунул голову в пекло совсем зазря. Я дал тебе слово, это верно, но, по-моему, ты должен не поскупиться и сделать для меня еще одну пробу.

— Но я же поклялся не принимать больше никаких даров от бутылки. И так уж я увяз по горло.

— Да я не о дарах вовсе думаю,— отвечал Лопака.— Мне бы только поглядеть на черта. От этого же тебе никакого проку, значит, и совеститься тут нечего. Просто, если я хоть разочек на него гляну, у меня больше будет веры в это дело. Так что уж будь другом, дай поглядеть на черта. А тогда я тут же куплю у тебя бутылку — видишь, деньги у меня наготове.

— Я только вот чего боюсь,— сказал Кэаве.— Черт, может, очень уж страшный с виду, и ты как разок на него поглядишь, так и раздумаешь покупать бутылку.

— Мое слово крепко,— молвил Лопака.— Гляди, я уже и деньги приготовил.

— Ну, идет,— сказал Кэаве.— Мне и самому любопытно поглядеть. Ладно, позвольте нам взглянуть на вас разок, господин черт!

И только он это сказал, как черт выглянул из бутылки и проворно, что твоя ящерица, ускользнул в нее обратно. А Кэаве и Лопака так и окаменели. Уже спустилась ночь, а они все никак не могли опомниться и обрести дар речи. Но вот наконец Лопака пододвинул к приятелю деньги и взял бутылку.

— Я человек честный,— промолвил он,— и должен свое слово держать, а не то я бы и мизинцем ноги не притронулся к этой бутылке. Ну, да ладно, пусть только у меня будет шхуна да несколько монет в кармане, и я тут же отделаюсь от этой чертовщины. Потому как, правду сказать, очень уж тошно мне стало, когда я его увидел.

— Лопака,— сказал Кэаве,— если можешь, не думай обо мне слишком худо. Я знаю, что сейчас ночь, и дорога сюда плохая, и в такой поздний час негоже ехать мимо гробниц, но, ей-же-ей, после того как я увидел его мерзкую рожицу, я уже не могу ни есть, ни спать, ни молиться богу, пока эта бутылка здесь. Я дам тебе фонарь, и корзину, чтобы спрятать в нее бутылку, и любую картину, и любую самую красивую вещь, какая

приглянется тебе в моем доме, но только уезжай поскорей и переночуй в Хоокене у Нахину.

— Кэаве,— сказал Лопака,— любой на моем месте крепко бы на тебя обиделся. Я-то ведь поступил с тобой, как верный друг,— сдержал слово и купил бутылку. А тут еще и ночь уже и темень, а дорога мимо гробниц в сто раз страшнее для человека с таким грехом на совести и с такой бутылкой под мышкой. Но только меня самого жуть какой страх разбирает, и я не могу тебя винить. Так что ухожу я и молю господа, чтобы ты был счастлив в своем доме, а мне была удача с моей шхуной и чтобы оба мы, окончив наши дни, попали в рай всем чертям и бутылкам вопреки.

И, сказав так, Лопака поскакал под гору, а Кэаве стоял у себя на балконе, и прислушивался к цокоту подков, и смотрел, как мелькает огонек фонаря на дороге под скалой, где покоится прах древних царей. И, стоя так, он дрожал как лист и, сложив ладони, возносил хвалу господу за свое избавление от такой страшной напасти.

Но занялся день, солнечный и яркий, и Кэаве, восторгаясь новым домом, позабыл про свои страхи. Шли дни за днями, и Кэаве жил в новом доме и не уставал радоваться. Задняя терраса дома стала его излюбленным местечком; здесь он ел, и пил, и проводил все свое время: читал гонолулские газеты и узнавал из них о разных событиях, а когда кто-нибудь наведывался к нему, он водил гостей по всем покоям и показывал им картины. И молва о его доме распространилась далеко, и все жители острова Кона стали называть его дом Ка-Хале-Нуи, что значит «Знаменитый Дом», а иной раз называли еще «Сияющий Дом», ибо Кэаве держал слугу-китайца, который день-деньской вытирал в доме пыль и наводил на все глянец, и красивые безделушки, и картины, и стекла в окнах, и позолота — все сияло ярко, как утренние лучи. И сам Кэаве, расхаживая по своим покоям, не мог удержаться, чтобы не петь, так было переполнено радостью его сердце, а когда мимо его дома проплывали суда, он поднимал флаг на своей мачте.

Так проходило время, и вот однажды Кэаве отправился не далеко, не близко, а в Каилуа проведать коекого из своих друзей. Там его знатно потчевали, но на-

утро он как встал, тотчас пустился в обратный путь и скакал во весь опор,— так не терпелось ему снова увидеть свой прекрасный дом. А было это к тому же в канун той ночи, когда, по древнему преданию, души предков встают из могил и бродят по берегам Коны, и Кэаве, однажды спутавшись с чертом, вовсе не хотел попасть теперь в компанию мертвецов. Вот скачет он, уже оставил позади Хонауану и вдруг видит: далеко впереди в море, у самого берега, купается какая-то женщина. Показалось ему, что это молодая, но уже вполне созревшая девушка, но больше он не держал ее в мыслях. Скачет дальше, а в воздухе мелькнула белая рубашка, затем — красная юбка-холоку: это девушка одевалась, выйдя из воды. Когда же он поравнялся с ней, она уже закончила туалет и стояла в своей красной юбке у самой дороги, освеженная купанием, и глаза ее лучились, и была в них доброта. И тут Кэаве, как только взглянул на девушку, сразу натянул поводья.

— Думал я, что всех знаю в этих краях,— сказал Кэаве.— Почему же я не знаю тебя, как это так?

— Я Кокуа, дочь Киано,— отвечала девушка,— и только что возвратилась домой из Оаху. А кто ты?

— Я скажу тебе, кто я,— сказал Кэаве, соскочив с седла,— но не сейчас, а немного позже. Потому что мне запала на сердце одна мысль, но я боюсь, что ты не дашь мне правдивого ответа, если я скажу тебе, кто я: ведь ты, может статься, уже слышала обо мне. Но перво-наперво скажи-ка вот что: ты не замужем?

Услыхав это, Кокуа громко рассмеялась.

— Все-то ты хочешь знать,— сказала она.— А сам ты не женат?

— Нет, Кокуа, я не женат,— отвечал Кэаве,— и, признаться, до этой минуты никогда и не помышлял о женитьбе. Но скажу тебе истинную правду: я увидел тебя здесь, у дороги, увидел твои глаза, подобные звездам, и сердце мое рванулось к тебе, как птица из клетки. А теперь, если я не хорош для тебя, скажи мне это прямо, и я поеду дальше своим путем; но если я, на твой взгляд, не хуже других молодых мужчин, дай мне услышать это, и я сверну со своего пути и заночую у твоего отца, а наутро поведу о тебе речь с этим добрым человеком.

Ничего не ответила ему на это Кокуа, только рассмеялась, глядя на море вдаль.

— Кокуа,— молвил Кэаве,— твое молчание я понимаю как согласие. Так отправимся же вместе в дом твоего отца.

И она, все так же молча, пошла вперед: раза два она обернулась, кинула на него быстрый взгляд и отворотилась снова, держа тесемки своей шляпы в зубах.

Но вот, когда подошли они к дому, Киано вышел на веранду и громко приветствовал Кэаве, назвав его по имени. И тогда девушка взглянула на Кэаве, широко раскрыв глаза, ибо молва о его прекрасном доме достигла и ее слуха, и как же тут не поглядеть. Весь вечер провели они вместе и очень веселились, и у девушки в присутствии родителей развязался язык, и она подшучивала над Кэаве, ибо у нее был сметливый и острый ум. А на следующий день Кэаве переговорил с Киано, а потом разыскал девушку и нашел ее одну.

— Кокуа,— сказал он,— ты насмехалась надо мной вчера весь вечер, и тебе еще не поздно сказать мне: оставь меня и уезжай. Я не хотел говорить тебе, кто я, потому что у меня такой красивый дом, и я боялся, что этот дом будет слишком сильно занимать твои мысли, а человек, который тебя любит,— слишком мало. Теперь тебе все известно, и если ты хочешь прогнать меня с глаз долой, скажи сразу.

— Нет,— сказала Кокуа.

И на этот раз она уже не смеялась, а Кэаве ни о чем больше не спрашивал.

Так посватался Кэаве к Кокуа. Все произошло очень быстро, но ведь и стрела летит быстро, а пуля из ружья — и того быстрее, однако и та и другая могут попасть в цель. Да, все свершилось быстро, и вместе с тем свершилось очень многое: мысль о Кэаве теперь пела у девушки в душе; его голос слышался ей в шуме прибоя, набегавшего на черную лаву, и ради этого человека, которого она видела всего два раза в жизни, Кокуа уже готова была оставить и отца, и мать, и родные края. А Кэаве? Кэаве гнал коня по горной тропе мимо древних гробниц, и звуки его ликующей песни эхом отдавались в пещерах мертвецов. И, прискакав обратно в свой «Сияющий Дом», он все еще продолжал петь. Он сидел и ужинал на просторном балконе, а китаец-слуга дивился на своего господина, который распевал между глот-

ками пищи. Солнце погрузилось в море, и настала ночь, а Кэаве все разгуливал при свете фонарей по балконам своего дома на высоком берегу, и звук его песен тревожил моряков на проплывавших мимо судах.

«Я поднялся высоко-высоко,— говорил себе Кэаве.— Жизнь не может стать прекрасней; я стою на вершине горы; отсюда нет пути наверх — только вниз. Сегодня я впервые велю осветить все комнаты, и искупаюсь в моем красивом бассейне с горячей и холодной водой, и один возлягу на брачное ложе в своей спальне».

И он поднял ото сна своего слугу-китайца и отдал ему приказ растопить печи, и слуга, трудясь внизу возле топок, слышал, как его хозяин весело распевает наверху в своих освещенных покоях. А когда вода нагрелась, слуга позвал хозяина, и Кэаве пошел купаться, и китаец-слуга слышал, как он пел, напуская воду в мраморный бассейн, и как песня внезапно оборвалась. Китаец-слуга все прислушивался и прислушивался, а потом окликнул снизу хозяина и спросил, все ли у него в порядке, и Кэаве ответил «да» и велел ему ложиться спать. Но больше не звучало пение в «Сияющем Доме», и всю ночь до зари китаец-слуга слышал, как его хозяин расхаживает без сна по балконам.

А теперь послушайте, что произошло: когда Кэаве скинул одежды, чтобы искупаться, он заметил, что у него на теле, подобно лишайнику на скале, появилось пятно, и тогда он перестал петь. Ибо он знал, что означает это похожее на лишайник пятно; он понял, что пал жертвой «Китайской напасти», или, проще говоря, проказы.

Что говорить, такой недуг — большое несчастье для каждого. Горька судьба того, кто должен покинуть красивый, удобный дом, покинуть всех своих друзей и переселиться на северный берег острова Молокаи, где о неприступные утесы, грохоча, разбивается прибой. Но что же сказать про этого несчастного, про Кэаве, который только накануне повстречал свою суженую, только сегодня утром завоевал ее ответную любовь, а теперь видел, как все его надежды разлетаются вдребезги, словно кусок стекла!

Долго сидел он на краю бассейна, а потом горестно вскрикнул, вскочил и выбежал вон; и долго еще метался туда и сюда, туда и сюда по балкону в великом отчаянии.

«Не сетуя на судьбу, покинул бы я Гавайи — родину моих предков,— думал Кэаве.— Не ропща, покорился бы я своей участи и оставил бы мой дом, этот прекрасный, многооконный дом на высоком берегу. Не пал бы я духом, отправляясь на Молокаи, в эту Калаупапу, затерянную между утесов и скал, чтобы влачить свои дни и ночи среди пораженных страшным недугом и там, вдали от земли отцов, уснуть вечным сном. Но за какие злые дела, за какие грехи должен был я вчера вечером встретить Кокуа, выходящую из моря, освеженную купанием? Кокуа, похитительница души моей! Кокуа, свет моих глаз! Никогда не увидеть мне теперь тебя, никогда не назвать своей, никогда не ласкать влюбленной рукой, и только об этом, только о тебе, о Кокуа, скорблю я безутешно!»

Вы понимаете теперь, что за человек был этот Кэаве? Ведь он мог бы жить в своем «Сияющем Доме» еще годы и годы, и никто бы не подозревал о его недуге; но на что ему это, если он должен лишиться Кокуа. А ведь он мог бы и Кокуа взять в жены, скрыв свою болезнь, и многие поступили бы именно так, ибо у них души свиней; но Кэаве любил девушку беззаветно, как подобает мужчине, и не мог подвергнуть ее опасности и причинить ей зло.

Уже перевалило за полночь, и вдруг Кэаве вспомнил про бутылку. Тогда он прошел на заднюю террасу дома и вызвал в памяти тот день, когда по его зову черт выглянул из бутылки. И при этом воспоминании ледяной холод пробежал у Кэаве по жилам.

«Страшная вещь — эта бутылка,— думал Кэаве,— и страшен черт, и страшно вечно гореть в адском пламени. Но как иначе могу я излечиться от своего недуга и взять в жены Кокуа? Что ж,— думал он,— ради этого дома я не побоялся связаться с дьяволом, так неужто у меня не хватит духа снова прибегнуть теперь к его помощи, чтобы получить Кокуа?»

И тут он вспомнил, что на следующий день «Ковчег» как раз будет проплывать мимо обратным рейсом в Гонолулу.

«Вот куда должен я немедля отправиться,— подумал Кэаве,— и повидать Лопаку. Ведь вся моя надежда те-

перь — разыскать эту бутылку, от которой я так был рад избавиться когда-то».

Ни на миг не сомкнул Кэаве глаз в эту ночь, и наутро кусок не шел ему в горло; он тут же написал письмо Киано и к прибытию парохода спустился верхом по тропинке, огибавшей скалу, где покоился прах предков. Лил дождь, конь шел шагом, а Кэаве смотрел на черные пасти пещер и завидовал мертвецам, которые спали там, не ведая ни тревог, ни печали, и вспоминал, как всего день назад весело гнал он тут коня, и трудно ему было в это поверить. Так добрался он до Хоокены, а там уже, как повелось, отовсюду собрался народ в ожидании парохода. Все расположились под навесом перед лавкой, перебрасывались шуточками, обменивались новостями, но Кэаве, с его тяжким грузом на сердце, было не до болтовни, и он, сидя вместе со всеми, смотрел на дождь, поливавший крыши, и на прибой, бурливший между скал, и тяжелые вздохи вздымали его грудь.

— Кэаве из «Сияющего Дома» сегодня не в духе,— переговаривались люди между собой. И они были правы, да и как могло быть иначе?

А затем пришел пароход, и лодка доставила Кэаве на борт. На корме было полно хаоле — белых, приехавших по своему обычаю поглядеть на вулкан; вся середина парохода была заполнена канаками, а нос загружен дикими быками из Хило и лошадьми из Каю. Но Кэаве, убитый горем, сидел в стороне от всех и ждал, когда на берегу появится дом Киано. Там, у самого моря, среди чёрных скал, стоял он под сенью кокосовых пальм, а перед дверью его красная юбка, величиной с бабочку и, как бабочка, хлопотливая, порхала туда и сюда, туда и сюда.

— О властительница сердца моего! — вскричал Кэаве.— Я сгублю свою бессмертную душу, чтобы обрести тебя!

Вскоре стемнело, в каютах зажглись огни, и хаоле по своему обычаю уселись играть в карты и пить виски, но Кэаве всю ночь шагал по палубе и весь следующий день, пока пароход огибал Мауи и Молокаи, он все так же метался по палубе из конца в конец, словно дикий зверь в клетке.

Под вечер они миновали Алмазный Мыс и причалили в гавани Гонолулу. Кэаве вместе с толпой пассажиров сошел на берег и сразу же принялся разыскивать

Лопаку. Но Лопака, как выяснилось, приобрел шхуну — такую, что краше не сыщется на островах,— и пустился куда-то в дальнее плавание — не то в Пола-Пола, не то в Кахики — словом, ищи ветра в поле! Но тут Кэаве вспомнил про одного приятеля Лопаки — стряпчего, проживавшего в этом городе (я не стану называть его имени), и осведомился о нем. Ему сказали, что стряпчий этот внезапно очень разбогател и купил себе красивый новый дом на берегу Вайкики. Это сообщение заставило Кэаве призадуматься; он кликнул извозчика и поехал к дому стряпчего.

Дом был новехонький, и деревья в саду еще крохотные, не толще тросточек, и у стряпчего, когда Кэаве пришел к нему, был очень довольный вид.

— Чем могу быть полезен? — спросил Кэаве стряпчий.

— Вы друг Лопаки,— отвечал Кэаве,— а Лопака купил у меня одну вещицу, так сдается мне, что вы могли бы мне помочь напасть на ее след.

Лицо стряпчего омрачилось.

— Не стану притворяться, будто я не понял вас, мистер Кэаве,— сказал он,— хотя дело это темное и неблаговидное. Но, поверьте, я ничего не знаю наверняка, могу только догадываться кое о чем и думаю, что если вы поспрошаете кое-где, то, может быть, и узнаете кое-что.

И он назвал Кэаве имя одного человека, которое я опять же предпочитаю не предавать гласности. И так повторялось изо дня в день, и Кэаве ходил от одного человека к другому и всюду видел новые одежды, и новые экипажи, и новые красивые дома, и очень довольных людей; однако лица их тотчас становились темнее тучи, стоило Кэаве обмолвиться про дело, которое привело его к ним.

«Ясно как день — я напал на след,— думал Кэаве.— Все эти наряды и экипажи — дары Сатаны, а довольные лица этих людей говорят о том, что они, получив свое, благополучно отделались от проклятой бутылки. Вот если я увижу бледные щеки и услышу тяжкий вздох, тогда только буду я знать, что приблизился к цели».

И случилось так, что Кэаве в конце концов направили к одному белому, проживавшему на Беритания-

стрит. Кэаве пришел туда, когда наступил час вечерней трапезы, и, подойдя ближе, увидел, как всегда, новый дом, и молодой сад, и сверкающие электрическими огнями окна, но, когда появился хозяин дома, надежда и страх сжали сердце Кэаве, ибо перед ним стоял юноша, бледный, как мертвец, с черными впадинами глаз и редеющими волосами, а выражение лица у него было, как у осужденного на казнь.

«Нет сомнений — бутылка здесь»,— подумал Кэаве, и перед этим человеком он не стал скрывать цели своего посещения.

— Я пришел купить бутылку,— сказал он.

Услыхав эти слова, белый юноша с Беритания-стрит пошатнулся и прислонился к стене.

— Бутылку? — пролепетал он.— Купить бутылку?! — Тут у него сдавило горло, и, схватив Кэаве за руку, он потащил его в комнату, взял два стакана и наполнил их вином.

— Ваше здоровье! — сказал Кэаве, который в свое время немало якшался с белыми. А затем добавил: — Да, я пришел купить бутылку. Какая ей цена теперь?

Тут юноша выронил стакан и уставился на Кэаве, как на привидение.

— Цена? — воскликнул он.— Цена? Вы что, не знаете ее цены?

— Значит, не знаю, раз спрашиваю,— возразил Кэаве.— Но почему это вас так смутило? Разве что-нибудь неладно с ценой?

— Бутылка за это время сильно упала в цене, мистер Кэаве,— запинаясь, проговорил молодой человек.

— Ну что ж, значит, тем меньше придется платить,— сказал Кэаве.— Сколько вы за нее отдали?

Молодой человек был бледен как полотно.

— Два цента,— промолвил он.

— Что? — вскричал Кэаве.— Два цента? Постойте, так вы, значит, можете ее продать только за один цент? И тот, кто ее купит...— Слова замерли у Кэаве на языке.— Значит, тот, кто купит эту бутылку, уже никому не сможет ее продать! Черт и бутылка останутся у него до самой его смерти, а когда он испустит дух, потащут его прямо в пекло!

Тут белый юноша с Беритания-стрит упал перед Кэаве на колени.

— Богом вас заклинаю, купите ее! — взмолился он.— В придачу к ней я отдам вам все, что имею. Я был безумен, когда купил ее за эту цену. Я присвоил казенные деньги, и мне бы пропадать, не купи я эту бутылку,— меня бы посадили в тюрьму.

— Ах ты, бедняга! — сказал Кэаве.— Чтобы избежать законного наказания за свой бесчестный поступок, ты отважился на такое страшное дело и погубил свою душу! И ты думаешь, я стану колебаться, когда меня ждет любовь! Давай сюда бутылку и сдачу — я знаю, ты держишь ее наготове. Вот тебе монета в пять центов!

Кэаве оказался прав: в ящике стола у этого юноши уже была приготовлена сдача. Бутылка перешла из рук в руки, и лишь только пальцы Кэаве обхватили узкое горлышко, как он тут же шепотом поведал черту свое желание избавиться от страшного недуга. И что вы думаете: когда он вернулся к себе и обнажил свое тело перед зеркалом, кожа его снова была чистой и гладкой, как у младенца. Но странная вещь: едва свершилось это чудо, как все изменилось в душе Кэаве — ему уже было наплевать на проказу, и он почти совсем не вспоминал о Кокуа, одна-единственная мысль не давала ему теперь покоя — мысль о том, что отныне он связан с дьяволом и бутылкой до конца дней своих и ничто уже не спасет его от вечного пламени и раскаленных углей преисподней. Адский огонь пылал перед его мысленным взором, и душа его омертвела, и мрак затмил для него весь белый свет.

Когда Кэаве понемногу пришел в себя, была уже ночь, и в гостинице играл оркестр. На звуки этой музыки он и пошел, потому что боялся оставаться один, и там, среди счастливых лиц, бродил, неприкаянный, и слушал, как музыка то разрастается, то замирает, и смотрел, как дирижер отбивает такт своей палочкой, и все время слышал треск адского пламени, и видел огненные языки, вырывающиеся из черных глубин преисподней. Вдруг оркестр заиграл «Хи-ки-ао-ао». Эту песенку Кэаве певал не раз вместе с Кокуа, и при звуках ее мелодии мужество возвратилось к нему.

«Сделанного не воротишь,— подумал Кэаве,— и если уж я пошел на такое, так пусть хоть не зря».

И тогда он с первым пароходом вернулся на Гавайи и тут же без промедления сыграл свадьбу с Кокуа

и привез ее в свой «Сияющий Дом» на вершине горы.

И вот стали Кэаве и Кокуа жить вдвоем, и когда они бывали вместе, тоска в сердце Кэаве утихала, но стоило ему остаться одному, и страшные мысли начинали его терзать, и он слышал, как гудит адское пламя, и видел огненные языки, вырывающиеся из преисподней. А девушка прилепилась к Кэаве всем сердцем; душа ее пела при виде его, и рука ее льнула к его руке, и была Кокуа так прекрасна от головы до пят, что никто, глядя на нее, не мог сдержать радостной улыбки. У нее был кроткий, приятный нрав. Для каждого находилось доброе слово. Она знала много песенок и распевала, словно птичка, порхая по всем трем этажам «Сияющего Дома» и сияя сама ярче всего, что было в нем. И Кэаве смотрел на нее и слушал ее с восхищением, а потом, уединившись где-нибудь в углу, вспоминал, какой ценой досталась она ему, и стонал, и плакал. И снова, осушив глаза и ополоснув лицо, шел к ней, и садился возле нее на просторном балконе, и сливал свой голос с ее голосом в песне, и улыбкой отвечал на ее улыбку, хотя душу его снедала тоска.

Но мало-помалу наступили дни, когда Кокуа уже не порхала, как прежде, по дому, и песни ее звучали реже, и теперь не только Кэаве плакал украдкой где-нибудь в углу, но и оба они стали сторониться друг друга и сидели на разных балконах, разъединенные всей громадой «Сияющего Дома». Кэаве был так погружен в отчаяние, что почти не замечал этой перемены и был только рад, что может чаще оставаться один и размышлять над своей горькой участью и не надо ему то и дело принуждать себя улыбаться через силу, когда на сердце мрак. Но как-то раз он тихо брел по дому, и почудилось ему, будто плачет ребенок, и он увидел Кокуа: упав ничком, она билась головой о каменные плиты балкона и рыдала в безысходном отчаянии.

— Ты права, Кокуа, это дом слез,— сказал Кэаве.— И все же я с радостью дал бы отрубить себе голову, чтобы ты, хотя бы ты, была счастлива.

— Счастлива! — воскликнула Кокуа.— Когда ты жил один в своем «Сияющем Доме», Кэаве, все считали тебя самым счастливым человеком на острове; смех и песни были у тебя на устах, и лицо твое было светло, как утренняя заря. А потом ты женился на бедной Кокуа, и одному небу известно, чем не угодила она тебе, но только с этого дня ты уже больше не улыбаешься. Ах,— вскричала Кокуа,— что сделала я дурного? Думалось мне: я красива и крепко люблю своего Кэаве. Так в чем же моя вина? Чем омрачила я жизнь моего супруга?

— Бедняжка Кокуа,— промолвил Кэаве. Он опустился возле нее на пол и хотел взять ее за руку, но она отдернула руку.— Бедняжка Кокуа,— повторил он.— Бедное мое дитя... Моя красавица. А я-то ведь думал уберечь тебя от горя! Ну что ж, теперь ты узнаешь все. Тогда по крайней мере ты пожалеешь бедного Кэаве; тогда ты поймешь, как сильно он любил тебя, если не испугался ада, чтобы обладать тобой, и как сильно и по сей день этот несчастный, обреченный человек все еще любит тебя, если его уста могут улыбаться, когда он на тебя глядит.

И тут он поведал ей все, ничего от нее не утаив.

— И ты сделал это ради меня? — вскричала Кокуа.— Ах, о чем же мне тогда тревожиться! — И, обвив руками его шею, она оросила его грудь слезами радости.

— О дитя! — воскликнул Кэаве.— Когда я думаю об адском пламени, мне есть о чем тревожиться!

— Не говори так,— промолвила она.— Не можешь ты погибнуть без вины за одну лишь любовь к верной Кокуа. Слушай меня, Кэаве: я спасу тебя вот этими руками или погибну вместе с тобой. О Кэаве! Ты так любил меня, что сгубил свою душу, и ты думаешь, я не отдам свою жизнь, чтобы спасти тебя?

— Ах, моя голубка, ты можешь отдать ее хоть сто раз — разве это что-нибудь изменит? — воскликнул Кэаве.— Только оставишь меня в одиночестве влачить свои дни, пока не придет час расплаты.

— Ты ничего не понимаешь,— возразила Кокуа.— Я не простая, неграмотная девушка — я училась в школе в Гонолулу. Говорю тебе, я спасу моего возлюбленного супруга. Один цент, сказал ты? Но разве одни только американские деньги в ходу на свете? В Англии, например, есть монета, которая называется фартинг, и она равна примерно половине цента. Ах, горе, горе! — воскликнула Кокуа.— Нет, это нам не поможет: ведь тот, кто купит бутылку за фартинг, уже пропал, а разве сыщется хоть один такой отважный человек, как мой

Кэаве! Но есть еще Франция, и там имеет хождение мелкая монета под названием сантим, и этих сантимов дают пять, не то шесть за один цент. Ничего лучше не придумаешь. Собирайся, Кэаве, едем на французские острова. Сядем на корабль, и он быстро доставит нас на Таити. А там уже можно продать бутылку за четыре сантима, за три, за два, за один сантим. Подумай: есть возможность еще четыре раза продать бутылку, и нас двое, чтобы заняться этим! Ну же, поцелуй меня, мой Кэаве, и прогони тревогу прочь. Кокуа не даст тебя в обиду.

— Ты божий дар! — воскликнул Кэаве.— Не верю я, чтобы господь бог мог покарать меня за то, что я возжелал обрести такое сокровище! Пусть же все будет, как ты сказала: вези меня, куда надумала, вручаю тебе свою жизнь и свое спасение.

С утра Кокуа начала собираться в дорогу; она взяла сундучок Кэаве, который он брал с собой в плавание, и прежде всего запихнула в угол на самое дно бутылку, а сверху положила самые дорогие одежды и самые диковинные безделушки, какие были в доме.

— Ведь нас должны считать богачами,— сказала она,— иначе кто же поверит в волшебную бутылку?

Собираясь в путь, Кокуа все время была весела, как птичка, и лишь порой, когда она украдкой поглядывала на мужа, слеза мутила ее взор, и тогда, подбежав к нему, она нежно его целовала. А у Кэаве будто камень с души свалился; теперь, когда он открыл свою тайну Кокуа и перед ним забрезжил луч надежды, он словно возродился; ноги его опять легко ступали по земле, и он уже больше не вздыхал. Но все же страх не совсем оставил его; временами надежда начинала угасать в нем, подобно тому, как гаснет на ветру слабый огонек свечи, и тогда перед глазами его снова бушевало адское пламя и колыхались огненные языки.

Они тут же распустили слух, что отправляются для развлечения путешествовать в Штаты, и все немало этому удивились, но дознайся кто-нибудь до истины, так, верно, удивился бы еще больше. И вот Кэаве и Кокуа отплыли на пароходе «Ковчег» в Гонолулу, а оттуда вместе с толпой белых пассажиров на «Юматилле» — в Сан-Франциско и там пересели на почтовую бригантину «Птица тропиков», которая доставила их в Папеэте — главное поселение французов на Южных островах. Путешествие было приятным, и с попутным пассатом они прибыли на место в солнечный день и увидели риф, о который разбивался прибой, и Мотуити с его высокими пальмами, и шхуну, скользившую вдоль берега, и белые дома города, раскинувшегося у самого моря под сенью зеленых деревьев, а за ним — высокие горы и облака Таити — острова мудрецов.

Обсудив, порешили, что разумнее всего арендовать дом. Так они и сделали и поселились напротив английского консульства, чтобы сразу щегольнуть деньгами и привлечь к себе внимание своими лошадьми и экипажами. Все это давалось им легче легкого: ведь у них была бутылка, а Кокуа оказалась куда храбрее Кэаве и по любому поводу требовала от черта то двадцать долларов, а то и сто. Так они очень быстро сделались известными всему городу, и об этих приезжих гавайцах, об их верховых лошадях и экипажах, о нарядных туалетах и дорогих украшениях Кокуа шло множество толков.

Они довольно быстро освоились с таитянским языком, ибо он, в сущности, очень похож на гавайский и отличается лишь немногими звуками, а научившись им владеть, тут же принялись предлагать людям свою бутылку. Ну, вы, конечно, понимаете, что даже приступиться к такому делу не очень-то просто; не очень-то просто убедить людей, что вы всерьез готовы продать им за четыре сантима источник юношеского здоровья и неиссякаемого богатства. Приходилось при этом говорить и об опасностях, таящихся в бутылке, после чего люди либо вовсе переставали им верить и только смеялись, либо пугались такой темной сделки, мрачнели и угрюмо спешили прочь от этих Кэаве и Кокуа, связавшихся с Сатаной. И вот, нисколько не преуспев в своих замыслах, супруги стали замечать, что в городе их сторонятся. Дети, завидя их, с визгом бросались врассыпную — а для Кокуа это было прямо как нож острый,— католики при встрече осеняли себя крестным знамением, и мало-помалу все, точно сговорившись, стали их избегать.

Они пали духом. Проведя унылый день в тоске, они сидели ночью без сна в своем новом доме и не обменивались ни единым словом; лишь рыдания Кокуа порой внезапно нарушали тишину. Иногда они принимались

молиться богу; иногда, достав бутылку, ставили ее на пол и целый вечер сидели так, глядя, как трепещет внутри нее бесформенная тень. В такие минуты страх мешал им лечь в постель, и сон долго не смыкал их глаз, а если случалось, что один из них и задремлет, то, пробудившись, он слышал приглушенный плач, доносившийся из темноты, или же замечал, что остался в одиночестве, ибо каждый из них стремился убежать из дома, подальше от бутылки, предпочитая побродить под бананами в своем маленьком садике или прогуляться по берегу моря при свете луны.

Так вот и случилось однажды ночью: Кокуа пробудилась, а Кэаве не было. Она пошарила подле себя, но его место успело остыть. Ей стало страшно, и она приподнялась и села на ложе. В щели между ставнями пробивался слабый свет луны. Он освещал комнату, и Кокуа различила бутылку, стоявшую на полу. За окнами бушевала непогода, высокие деревья перед домом уныло скрипели под ветром, и опавшие листья шелестели на полу веранды. Но в этом шуме ухо Кокуа уловило и другие звуки — жалобные, словно предсмертные, стоны не то человека, не то животного, и они проникли ей в самое сердце. Она тихонько встала, приотворила дверь и выглянула в залитый луной сад. Там, под банановым деревом, уткнувшись лицом в землю, лежал Кэаве, и из груди его вырывались стенания.

Хотела было Кокуа броситься к мужу и утешить его, но внезапно новая мысль приковала ее к месту. Кэаве всегда старался быть мужественным в ее глазах, и, значит, не пристало ей в минуту его слабости стать свидетельницей его стыда. Эта мысль заставила ее возвратиться в дом.

«Боже праведный! — думала Кокуа.— Как беспечна я была, как ничтожна! Ведь это ему, а не мне, грозит геенна огненная; ведь это он, а не я, навлек проклятье на свою душу. Ради меня, ради своей любви к такому жалкому, беспомощному созданию, видит он теперь перед собой — о горе! — огненные врата ада и, лежа на свежем ветру в лунном сиянии, вдыхает смрадный дым преисподней! А я-то, тупая и бесчувственная, до сих пор не понимала, в чем мой долг! А может, и понимала, да шарахалась от него? Но теперь, пока еще не поздно, своей рукой принесу я свою душу на жертвенник любви; теперь я скажу «прощай!» белым ступеням, ведущим в рай, и поджидающим там меня дорогим друзьям. Любовь за любовь, и да будет моя любовь равна его любви! Душу за душу, и пусть гибнет моя, а не его!»

Кокуа была женщиной ловкой и проворной и оделась в мгновение ока. Затем она взяла мелкие монетки — те драгоценные сантимы, которые они всегда держали наготове; монет этих мало находилось в обращении, и они запаслись ими в банке. Когда Кокуа вышла на улицу, ветер уже нагнал на небо тучи, и они затмили луну. Город спал, и Кокуа не знала, в какую сторону ей направиться, но тут она услышала, что в тени под деревьями кто-то кашляет.

— Старик,— сказала Кокуа,— что ты здесь делаешь в такую ненастную ночь?

Старика душил кашель, и он с трудом мог говорить, но все же Кокуа разобрала, что он беден, и стар, и чужой в этих краях.

— Не можешь ли ты оказать мне услугу? — спросила Кокуа.— Ты здесь чужой, и я чужая; ты стар, а я молода. Окажи помощь дочери Гавайев.

— А, так это ты колдунья с восьми островов! — сказал старик.— И ты хочешь завлечь в свои сети душу даже такого старика, как я? Но я уже слышал о тебе и не боюсь твоих злых чар.

— Сядем здесь,— сказала Кокуа,— и позволь, я расскажу тебе одну быль.— И она поведала ему все, что случилось с Кэаве, от начала до конца.

— И вот,— сказала она,— я его жена, и чтобы получить меня, он погубил свою бессмертную душу. Так что же мне теперь делать? Если я сама попрошу его продать мне бутылку, он не согласится. Но если это предложишь ему ты, он с великой охотой продаст ее тебе. А я буду ждать здесь. Ты купишь бутылку за четыре сантима, а я куплю ее у тебя за три, и да поможет бог мне, несчастной!

— Если ты меня обманешь,— сказал старик,— пусть господь покарает тебя смертью.

— Пусть покарает! — вскричала Кокуа.— Не сомневайся, старик! Я не могу тебя предать: господь этого не допустит.

— Дай мне четыре сантима и жди меня здесь,— сказал старик.

Однако, оставшись на улице одна, Кокуа оробела. Ветер завывал в верхушках деревьев, и ей казалось, что она слышит, как бушует адское пламя; уличный фонарь отбрасывал колеблющиеся тени, и ей казалось, что это тянутся к ней жадные руки нечистого. Будь у нее силы, она бросилась бы бежать, закричала бы, но у нее перехватило дыхание; воистину не могла она ни крикнуть, ни двинуться с места и стояла посреди улицы, дрожа, как испуганный ребенок.

И тут она увидела, что старик возвращается и в руке у него бутылка.

— Я исполнил твою просьбу,— сказал старик.— Твой муж плакал от радости, как малое дитя, когда я от него уходил. Эту ночь он будет спать спокойно.— И с этими словами старик протянул Кокуа бутылку.

— Постой,— задыхаясь, промолвила Кокуа.— Раз уж ты связался с нечистой силой, так пусть хоть не зря. Прежде чем ты отдашь мне бутылку, прикажи ей исцелить тебя от кашля.

— Я старый человек, и негоже мне, стоя одной ногой в могиле, принимать милости от дьявола,— сказал старик.— Ну, что же ты? Почему не берешь бутылку? Ты что, раздумала?

— Нет, я не раздумала! — воскликнула Кокуа.— Просто я слаба. Обожди еще немного. Рука моя не подымается, и я вся дрожу от страха перед этой проклятой бутылкой. Повремени еще немного, дай мне собраться с духом.

Старик с сочувствием поглядел на Кокуа.

— Бедное дитя! — сказал он.— Тебе страшно, твое сердце чует беду. Ладно, я оставлю бутылку себе. Я стар, и мне уже не ждать радости на этом свете, ну, а на том...

— Дай мне ее! — вскричала Кокуа.— Возьми деньги. Как ты мог подумать, что я способна на такую низость? Отдай мне бутылку.

— Да благословит тебя бог, дитя! — сказал старик.

Кокуа спрятала бутылку под холоку, попрощалась со стариком и пошла по улице куда глаза глядят. Ибо для нее все пути были теперь едины — все вели в ад. Она то шла, то бежала; порой горестный ее вопль громко раздавался в ночи, а порой она лежала на земле у дороги и тихо плакала. Все, что она слышала о преисподней, вставало перед ее глазами; она видела огненные

языки пламени, вдыхала запах серы и чувствовала, как тело ее опаляет жар раскаленных углей.

Только на рассвете опомнилась она и возвратилась домой. Все было именно так, как сказал старик: Кэаве спал, словно младенец в колыбели. Кокуа стояла и смотрела на него.

«Теперь, мой супруг,— думала она,— настал твой черед спокойно спать. И петь и смеяться, когда проснешься. Но для бедной Кокуа, хотя она и не причинила никому зла — увы! — для бедной Кокуа не будет больше ни сна, ни песен, ни радости — ни на земле, ни на небесах».

И Кокуа легла на ложе рядом со своим супругом, и так истомила ее печаль, что она тут же погрузилась в глубокий сон.

Солнце стояло уже высоко, когда супруг разбудил Кокуа и сообщил ей великую весть. Он, казалось, совсем помешался от радости, ибо даже не заметил ее горя, как ни плохо умела она его скрывать. Слова не шли у нее с языка, но это не имело значения: Кэаве говорил за двоих. Кусок застревал у ней в горле, но кто заметил это? Кэаве один очистил все блюдо. Кокуа смотрела на него и слушала его словно во сне; порой она забывала на миг о том, что произошло, а порой ей начинало казаться, что ничего этого не было, и она прикладывала руку ко лбу. Кокуа знала, что она обречена на вечные муки, и слышать, как ее муж лепечет всякий вздор, словно малое дитя, было ей непереносимо тяжело.

А Кэаве все ел, и болтал, и строил планы, мечтая поскорее возвратиться домой, и благодарил Кокуа за то, что она его спасла, и ласкал ее, и называл своей избавительницей. И он насмехался над стариком, который был так глуп, что купил бутылку.

— Мне показалось, что это вполне достойный старик,— сказал Кэаве.— Но никогда нельзя судить по внешности. Зачем этому старому нечестивцу понадобилась бутылка?

— Быть может, у него были добрые намерения, супруг мой,— смиренно возразила Кокуа.

Но Кэаве сердито рассмеялся.

— Вздор! — воскликнул он.— Говорю тебе, это старый плут да вдобавок еще осел. И за четыре-то сантима

эту бутылку было трудно продать, а уж за три и подавно никто не купит. Опасность слишком велика! Бр! Тут уж попахивает паленым! — вскричал он и передернул плечами.— Правда, я и сам купил ее за один цент, не подозревая о том, что существует более мелкая монета. А потом мучился, как дурак. Но второго такого дурака не сыщется; тот, у кого теперь эта бутылка, утащит ее с собой в пекло.

— О мой супруг! — сказала Кокуа.— Разве не ужасно, спасая себя, обречь на вечные муки другого? Мне кажется, я не могла бы над этим смеяться. Я была бы пристыжена. Мне было бы горестно и тяжко, и я стала бы молиться за несчастного, которому досталась бутылка.

Но тут Кэаве, почувствовав правду в ее словах, рассердился еще пуще.

— Ишь ты какая! — вскричал он.— Ну и горюй себе на здоровье, если тебе так нравится. Только разве это подобает доброй жене? Если бы ты хоть немного сочувствовала мне, ты бы устыдилась своих слов.

И, сказав так, он ушел из дому, и Кокуа осталась одна.

Как могла она надеяться продать бутылку за два сантима? Да никак; и она это понимала. И даже если бы у нее еще теплилась такая надежда, так ведь супруг торопил ее с отъездом туда, где в обращении не было монеты мельче цента. Она принесла себя в жертву, и что же? На следующее же утро супруг осудил ее и ушел из дому.

Кокуа даже не пыталась использовать оставшееся у нее время; она просто сидела одна в доме и то доставала бутылку и с неизъяснимым страхом смотрела на нее, то с содроганием убирала ее прочь.

Но вот наконец возвратился домой Кэаве и предложил жене поехать покататься.

— Мне нездоровится, супруг мой,— отвечала Кокуа.— Прости, но у меня тяжело на душе и нет охоты развлекаться.

Тут Кэаве разгневался еще больше. И на жену разгневался, решив, что она печалится из-за старика, и на себя, потому что видел ее правоту и стыдился своей неуемной радости.

— Вот она — твоя преданность! — вскричал он.— Вот она — твоя любовь! Муж твой едва избежал вечных мук, на которые он обрек себя из любви к тебе, а ты даже не радуешься! У тебя вероломное сердце, Кокуа!

И Кэаве в ярости снова выбежал из дома и слонялся по городу целый день. Он повстречал друзей и бражничал с ними. Они наняли экипаж и поехали за город и там бражничали снова. Но Кэаве все время было не по себе из-за того, что он так беззаботно веселится, когда его жена печалится. В душе он понимал, что правда на ее стороне, и оттого, что он это понимал, ему еще больше хотелось напиться.

А в компании с ним гулял один старик хаоле, очень низкий и грубый человек. Когда-то он был боцманом на китобойном судне, потом бродяжничал, потом мыл золото на приисках и сидел в тюрьме. У него был грязный язык и низкая душа; он любил пить и спаивать других и все подбивал Кэаве выпить еще. Вскоре ни у кого из всей компании не осталось больше денег.

— Эй, ты! — сказал он Кэаве.— Ты же богач — сам всегда хвалился. У тебя есть бутылка с разными фокусами.

— Да,— сказал Кэаве.— Я богач. Сейчас пойду домой и возьму денег у жены — они хранятся у нее.

— Ну и глупо ты поступаешь, приятель,— сказал боцман.— Кто же доверяет деньги бабам! Они все неверные, все коварные, как текучая вода. И за твоей тоже нужен глаз да глаз.

Слова эти запали Кэаве в душу, потому что у него спьяну все путалось в голове.

«А почем я знаю, может, она и вправду мне неверна? — думал он.— С чего бы ей иначе впадать в уныние, когда я спасен? Ну, я ей покажу, со мной шутки плохи. Пойду и поймаю ее на месте преступления».

С этой мыслью Кэаве, возвратившись в город, велел боцману ждать его на углу, возле старого острога, а сам направился один к своему дому. Уже настала ночь, и в окнах горел свет, но из дома не доносилось ни звука, и Кэаве завернул за угол, тихонько подкрался к задней двери, неслышно отворил ее и заглянул в комнату.

На полу возле горящей лампы сидела Кокуа, а перед ней стояла молочно-белая пузатая бутылка с длинным горлышком, и Кокуа глядела на нее, ломая руки.

Кэаве прирос к порогу и долго не мог двинуться с места. Сначала он просто остолбенел и стоял как дурак, ничего не понимая, а затем его обуял страх: он подумал, что сделка почему-либо сорвалась и бутылка вернулась к нему обратно, как было в Сан-Франциско, и тут у него подкосились колени и винные пары выветрились из головы, растаяв, как речной туман на утренней заре. Но потом новая, очень странная мысль осенила его и горячая краска залила щеки.

«Надо это проверить»,— подумал он.

Кэаве осторожно притворил дверь, снова тихонько обогнул дом, а затем с большим шумом зашагал обратно, делая вид, будто только сейчас возвратился домой. И что же! Когда он отворил парадную дверь, никакой бутылки не было и в помине, а Кокуа сидела в кресле и при его появлении вздрогнула и выпрямилась, словно стряхнув с себя сон.

— Я весь день пировал и веселился,— сказал Кэаве.— Я был с моими добрыми друзьями, а сейчас пришел взять денег—мы хотим продолжать наше пиршество.

И лицо и голос его были мрачны и суровы, как страшный суд, но Кокуа в своем расстройстве ничего не заметила.

— Ты поступаешь правильно, супруг мой, ведь здесь все твое,— сказала она, и голос ее дрогнул.

— Да, я всегда поступаю правильно,— сказал Кэаве, подошел прямо к своему сундучку и достал деньги. Но он успел заглянуть на дно сундучка, где хранилась бутылка, и ее там не было.

И тут комната поплыла у него перед глазами, как завиток дыма, и сундучок закачался на полу, словно на морской волне, ибо Кэаве понял, что теперь погибло все и спасения нет.

«Так и есть, этого я и боялся,— подумал он.— Это она купила бутылку».

Наконец он пришел в себя и собрался уходить, но капли пота, обильные, как дождь, и холодные, как ключевая вода, струились по его лицу.

— Кокуа,— сказал Кэаве.— Негоже мне было так говорить с тобой сегодня. Сейчас я возвращаюсь к моим веселым друзьям, чтобы пировать с ними дальше.— Тут он негромко рассмеялся и добавил: — Но мне будет веселее пить вино, если ты простишь меня.

Она бросилась к нему, обвила его колени руками и поцеловала их, оросив слезами.

— Ах! — воскликнула она.— Мне ничего не нужно от тебя, кроме ласкового слова!

— Пусть отныне ни один из нас не подумает дурно о другом,— сказал Кэаве и ушел.

А теперь послушайте: ведь Кэаве взял лишь несколько сантимов — из тех, какими они запаслись сразу по приезде. Никакой попойки у него сейчас и в мыслях не было. Его жена ради него погубила свою душу, и теперь он ради нее должен был погубить свою. Ни о чем другом на свете он сейчас и не помышлял.

Боцман поджидал его на углу, возле старого острога.

— Бутылкой завладела моя жена,— сказал ему Кэаве,— и если ты не поможешь мне раздобыть ее, не будет больше у нас с тобой сегодня ни денег, ни вина.

— Да неужто ты не шутишь насчет этой бутылки?

— Подойдем к фонарю,— сказал Кэаве.— Взгляни: похоже, чтобы я шутил?

— Что верно, то верно,— сказал боцман.— Вид у тебя серьезный, прямо как у привидения.

— Так слушай,— сказал Кэаве.— Вот два сантима. Ступай к моей жене и предложи ей продать тебе за эти деньги бутылку, и она — если я хоть что-нибудь еще соображаю — тотчас же тебе ее отдаст. Тащи бутылку сюда, и я куплю ее у тебя за один сантим. Потому что такой уж тут действует закон: эту бутылку можно продать только с убытком. Но смотри не проговорись жене, что это я тебя прислал.

— А может, ты меня дурачишь, приятель? — спросил боцман.

— Ну пусть так, что ты на этом теряешь? — возразил Кэаве.

— Это верно, приятель,— согласился боцман.

— Если ты мне не веришь,— сказал Кэаве,— так попробуй проверь. Как только выйдешь из дому, пожелай себе полный карман денег, или бутылку самого лучшего рому, или еще чего-нибудь, что тебе больше

по нраву, и тогда увидишь, какая сила в этой бутылке.

— Идет, канак,— сказал боцман.— Пойду попробую. Но если ты решил потешиться надо мной, я тоже над тобой потешусь — вымбовкой по голове.

И старый китобой зашагал по улице, а Кэаве остался ждать. И было это неподалеку от того места, где Кокуа ждала старика в прошлую ночь; только Кэаве был больше исполнен решимости и не колебался ни единого мгновения, хотя на душе у него было черным-черно от отчаяния.

Долго, как показалось Кэаве, пришлось ему ждать, но вот из мрака до него донеслось пение. Кэаве узнал голос боцмана и удивился: когда это он успел так напиться?

Наконец в свете уличного фонаря появился, пошатываясь, боцман. Сатанинская эта бутылка была спрятана у него под бушлатом, застегнутым на все пуговицы. А в руке была другая бутылка, и, приближаясь к Кэаве, он все отхлебывал из нее на ходу.

— Я вижу,— сказал Кэаве,— ты ее получил.

— Руки прочь! — крикнул боцман, отскакивая назад.— Подойдешь ближе, все зубы тебе повышибаю. Хотел чужими руками жар загребать?

— Что такое ты говоришь! — воскликнул Кэаве.

— Что я говорю? — повторил боцман.— Эта бутылка мне очень нравится, вот что. Вот это я и говорю. Как досталась она мне за два сантима, я и сам в толк не возьму. Но только будь спокоен, тебе ее за один сантим не получить.

— Ты что, не хочешь ее продавать? — пролепетал Кэаве.

— Нет, сэр! — воскликнул боцман.— Но глотком рома я тебя, так и быть, попотчую.

— Но говорю же тебе: тот, кто будет владеть этой бутылкой, попадет в ад.

— А я так и так туда попаду,— возразил моряк.— А для путешествия в пекло лучшего спутника, чем эта бутылка, я еще не встречал. Нет, сэр! — воскликнул он снова.— Это теперь моя бутылка, а ты ступай отсюда, может, выловишь себе другую.

— Да неужто ты правду говоришь! — вскричал Кэаве.— Заклинаю тебя, ради твоего же спасения продай ее мне!

— Плевать я хотел на твои басни,— отвечал боцман.— Ты меня считал простофилей, да не тут-то было — видишь теперь, что тебе меня не провести. Ну, и конец, крышка. Не хочешь хлебнуть рому — сам выпью. За твое здоровье, приятель, и прощай!

И он зашагал к центру города, а вместе с ним ушла из нашего рассказа и бутылка.

А Кэаве, словно на крыльях ветра, полетел к Кокуа, и великой радости была исполнена для них эта ночь, и в великом благоденствии протекали с тех пор их дни в «Сияющем Доме».

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Роберт Луис СТИВЕНСОН
Собрание сочинений
в пяти томах
Том I

Редактор тома
Л. Г Краснюк

Оформление художника
Г. А. Раковского

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 06.11.80. Подписано к печати 21.01.81. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,57. Уч.-изд. л. 28,20. Тираж 600 000 экз. Изд № 499. Заказ № 3280. Цена 2 р. 70 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Индекс 70681